Владислав Ходасевич

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

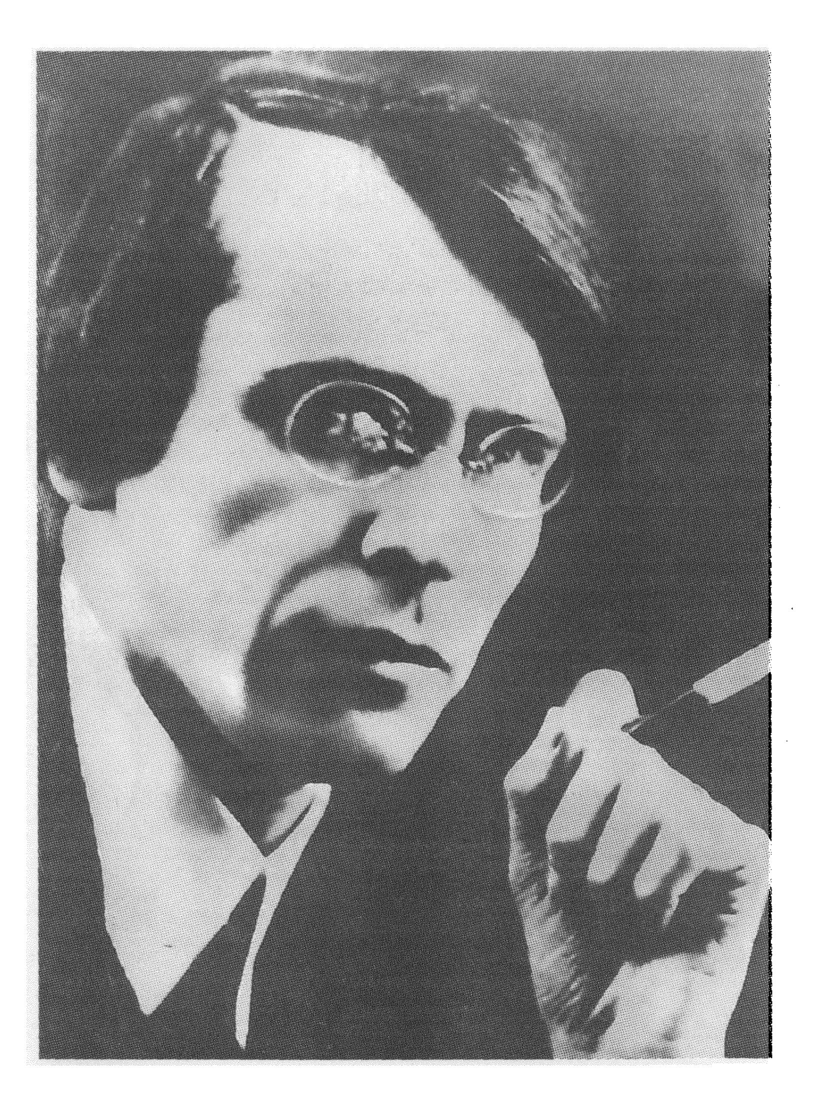
4

Владислав Ходасевич

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1997

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Некрополь
Воспоминания
Письма

МОСКВА «СОГЛАСИЕ» 1997

ББК 83.3Р7
Х 69

Составление, подготовка текста
И. П. АНДРЕЕВОЙ, С. Г. БОЧАРОВА, И. А. БОЧАРОВОЙ,
И. П. ХАБАРОВА

Комментарии
И. П. АНДРЕЕВОЙ, Н. А. БОГОМОЛОВА, И. А. БОЧАРОВОЙ

Редактор
В. П. КОЧЕТОВ

Художественное оформление
Т. Н. РУДЕНКО, С. А. СТУЛОВА

Руководитель программы «Согласие»
В. В. МИХАЛЬСКИЙ

Федеральная программа книгоиздания России

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
согласно проекту № 95—06—17776

Х $\frac{4603020101—021}{8Д1(03)—97}$

ISBN 5—86884—047—X (Т. 4)
ISBN 5—86884—041—0

НЕКРОПОЛЬ
Воспоминания

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

КОНЕЦ РЕНАТЫ

В ночь на 23 февраля 1928 года, в Париже, в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ, покончила с собой писательница Нина Ивановна Петровская. Писательницей называли ее по этому поводу в газетных заметках. Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное — вовсе и не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы, между 1903—1909 годами, она сыграла видную роль. Ее личность повлияла на такие обстоятельства и события, которые с ее именем как будто вовсе не связаны. Однако прежде, чем рассказать о ней, надо коснуться того, что зовется духом эпохи. История Нины Петровской без этого непонятна, а то и незанимательна.

* * *

Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, — найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовоплощалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции.

Процент этой «утечки» в разных случаях был различен. Внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Иногда побеждал один, иногда другой. Победа чаще всего доставалась той стороне личности, которая была даровитее, сильнее, жизнеспособнее. Если талант литературный оказывался сильнее — «писатель» побеждал «человека». Если сильнее литературного таланта оказывался талант жить — литературное творчество отступало на задний план, подавлялось творчеством иного, «жизненного» порядка. На первый взгляд странно, но в сущности последовательно было то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково.

Выпуская впервые «Будем как Солнце», Бальмонт писал, между прочим, в посвящении: «Модесту Дурнову, художнику, создавшему поэму из своей личности». Тогда это были совсем не пустые слова. В них очень запечатлен дух эпохи. Модест Дурнов, художник и стихотворец, *в искусстве* прошел бесследно. Несколько слабых стихотворений, несколько неважных обложек и иллюстраций — и кончено. Но о жизни его, о личности слагались легенды. Художник, создающий «поэму» не в искусстве своем, а в жизни, был законным явлением в ту пору. И Модест Дурнов был не одинок. Таких, как он, было много, — в том числе Нина Петровская. Литературный дар ее был невелик. Дар жить — неизмеримо больше.

Из жизни бедной и случайной
Я сделал трепет без конца —

она с полным правом могла бы сказать это о себе. Из жизни своей она воистину сделала бесконечный трепет, из творчества — ничего. Искуснее и решительнее других создала она «поэму из своей жизни». Надо прибавить: и о ней самой создалась поэма. Но об этом речь впереди.

* * *

Нина скрывала свои года. Думаю, что она родилась приблизительно в 1880 году. Мы познакомились в 1902-м. Я узнал ее уже начинающей беллетристкой. Кажется, она была дочерью чиновника. Кончила гимназию, потом зубоврачебные курсы. Была невестою

одного, вышла за другого. Юные годы ее сопровождались драмой, о которой она вспоминать не любила. Вообще не любила вспоминать свою раннюю молодость, до начала «литературной эпохи» в ее жизни. Прошлое казалось ей бедным, жалким. Она нашла себя лишь после того, как очутилась среди символистов и декадентов, в кругу «Скорпиона» и «Грифа».

Да, здесь жили особой жизнью, не похожей на ее прошлую. Может быть, и вообще ни на что больше не похожей. Здесь пытались претворить искусство в действительность, а действительность в искусство. События жизненные, в связи с неясностью, шаткостью линий, которыми для этих людей очерчивалась реальность, никогда не переживались как *только* и *просто* жизненные; они тотчас становились частью внутреннего мира и частью творчества. Обратно: написанное кем бы то ни было становилось реальным, жизненным событием для всех. Таким образом, и действительность, и литература создавались как бы общими, порою враждующими, но и во вражде соединенными силами всех, попавших в эту необычайную жизнь, в это «символическое измерение». То был, кажется, подлинный случай коллективного творчества.

Жили в неистовом напряжении, в вечном возбуждении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов, были сложнейше запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. Вскоре Нина Петровская сделалась одним из центральных узлов, одною из главных петель той сети.

Не мог бы я, как полагается мемуаристу, «очертить ее природный характер». Блок, приезжавший в 1904 году знакомиться с московскими символистами, писал о ней своей матери: «Очень мила, довольно умная». Такие определения ничего не покрывают. Нину Петровскую я знал двадцать шесть лет, видел доброй и злой, податливой и упрямой, трусливой и смелой, послушной и своевольной, правдивой и лживой. Одно было неизменно: и в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи — всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же. «Все или ничего» могло быть ее девизом. Это ее и сгубило. Но это в ней не само собой зародилось, а было привито эпохой.

О попытке слить воедино жизнь и творчество я говорил выше как о правде символизма. Эта правда за ним и останется, хотя она не ему одному принадлежит. Это — вечная правда, символизмом только наиболее глубоко и ярко пережитая. Но из нее же возникло и великое заблуждение символизма, его смертный грех. Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед нею никаких задач, кроме «саморазвития». Он требовал, чтобы это развитие совершалось; но как, во имя чего и в каком направлении — он не предуказывал, предуказывать не хотел, да и не умел. От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрестанное горение, движение — безразлично во имя чего. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью — идти как можно быстрей и как можно дальше. Это был единственный, основной догмат. Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь *полнота одержимости.*

Отсюда: лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все «переживания» почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. «Личность» становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции — «миги», по выражению Брюсова: «Берем мы миги, их губя».

Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода — на мешках накопленных «переживаний». Но это было именно *последнее* следствие. Ближайшим, давшим себя знать очень давно, почти сразу же, было нечто иное: непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свой по императиву очередного «переживания» влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой — к *разыгрыванию* собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций. Знали, что играют, — но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. «Истекаю клюквенным соком!» — кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящею кровью.

Декадентство, упадочничество — понятие относительное: упадок определяется отношением к первоначальной высоте. Поэтому в применении к искусству ранних символистов термин декадентство был бессмыслен: это искусство само по себе никаким упадком по отношению к прошлому не было. Но те грехи, которые выросли и развились *внутри* самого символизма, — были по отношению к нему декадентством, упадком. Символизм, кажется, родился с этой отравой в крови. В разной степени она бродила во всех людях символизма. В известной степени (или в известную пору) каждый был декадентом. Нина Петровская (и не она одна) из символизма восприняла только его декадентство. Жизнь свою она сразу захотела *сыграть* — и в этом, по существу ложном, задании осталась правдивою, честною до конца. Она была истинной жертвою декадентства.

* * *

Любовь открывала для символиста иль декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным — и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью и т. д. Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех сил. Недаром воспевались даже такие вещи, как «любовь к любви».

Подлинное чувство имеет степени от любви навсегда до мимолетного увлечения. Символистам самое понятие «увлечения» было противно. Из каждой любви они *обязаны* были извлекать максимум эмоциональных возможностей. Каждая должна была, по их нравственно-эстетическому кодексу, быть роковой, вечной. Они во всем искали превосходных степеней. Если не удавалось сделать любовь «вечной» — можно было разлюбить. Но каждое разлюбление и новое влюбление должны были сопровождаться глубочайшими потрясениями, внутренними трагедиями и даже перекраской всего мироощущения. В сущности, для того все и делалось.

Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов. Символисты хотели питаться крепчайшими эссенциями чувств. Настоящее чувство лично, конкретно, неповторимо. Выдуманное или взвинченное лишено этих качеств. Оно превращается в собственную абстракцию, в идею о чувстве. Потому-то оно и писалось так часто с заглавных букв.

Нина Петровская не была хороша собой. Но в 1903 году она была молода — это много. Была «довольно умна», как сказал Блок, была «чувствительна», как сказали бы о ней, живи она столетием раньше. Главное же — очень умела «попадать в тон». Она тотчас стала объектом любвей.

Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия. Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное — уже воспринятое учение о «мигах». Пора было начать «переживать». Она уверила себя, что тоже влюблена. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок — нечто вроде похмелья. Нина решила «очистить душу», в самом деле несколько уже оскверненную поэтовым «оргиазмом». Она отреклась от «Греха», облачилась в черное платье, каялась. В сущности, каяться следовало. Но это было более «переживанием покаяния», чем покаянием подлинным.

В 1904 году Андрей Белый был еще очень молод, золотокудр, голубоглаз и в высшей степени обаятелен. Газетная подворотня гоготала над его стихами и прозой, поражавшими новизной, дерзостью, иногда — проблесками истинной гениальности. Другое дело — как и почему его гений впоследствии был загублен. Тогда этого несчастия еще не предвидели.

Им восхищались. В его присутствии все словно мгновенно менялось, смещалось или озарялось его светом. И он в самом деле был светел. Кажется, все, даже те, кто ему завидовал, были немножко в него влюблены. Даже Брюсов порой подпадал под его обаяние. Общее восхищение, разумеется, передалось и Ни-

не Петровской. Вскоре перешло во влюбленность, потом в любовь.

О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния — не говорю поддельного, но... символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь, они рядили в одежды правды неизмеримо большей. На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...

О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой, у которой имя и отчество и даже имя матери так складывались, что было символически очевидно: она — предвестница Жены, облеченной в Солнце. А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, — укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».

Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене, облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов.

Тем временем Нина оказалась брошенной да еще оскорбленной. Слишком понятно, что, как многие брошенные женщины, она захотела разом и отомстить Белому, и вернуть его. Но вся история, раз попав в «символическое измерение», продолжала и развиваться в нем же.

* * *

Осенью 1904 года я однажды случайно сказал Брюсову, что нахожу в Нине много хорошего.

— Вот как? — отрезал он, — что же, она хорошая хозяйка?

Он подчеркнуто не замечал ее. Но тотчас переменился, как наметился ее разрыв с Белым, потому что, по своему положению, не мог оставаться нейтральным.

Он был представителем демонизма. Ему полагалось перед Женой, облеченной в Солнце, «томиться и скрежетать». Следственно, теперь Нина, ее соперница, из «хорошей хозяйки» превращалась в нечто значительное, облекалась демоническим ореолом. Он предложил ей союз — против Белого. Союз тотчас же был закреплен взаимной любовью. Опять же все это очень понятно и жизненно: так часто бывает. Понятно, что Брюсов ее по-своему полюбил, понятно, что и она невольно искала в нем утешения, утоления затронутой гордости, а в союзе с ним — способа «отомстить» Белому.

Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черною магией, — не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест, выражающий определенное душевное движение. Думаю, что и Нина относилась к этому точно так же. Вряд ли верила она, что ее магические опыты, под руководством Брюсова, в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это как подлинный союз с дьяволом. Она хотела верить в свое ведовство. Она была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова: из новейших научных источников (он всегда уважал науку) он ведь знал, что в «великий век ведовства» ведьмами почитались и сами себя почитали — истерички. Если ведьмы XVI столетия «в свете науки» оказались истеричками, то в XX веке Брюсову стоило попытаться превратить истеричку в ведьму.

Впрочем, не слишком доверяя магии, Нина пыталась прибегнуть и к другим средствам. Весной 1905 года в малой аудитории Политехнического музея Белый читал лекцию. В антракте Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку; его тут же выхватили из ее рук. Замечательно, что второго покушения она не совершила. Однажды она сказала мне (много позже):

— Бог с ним. Ведь, по правде сказать, я уже убила его тогда, в музее.

Этому «по правде сказать» я нисколько не уди-

вился: так перепутаны, так перемешаны были в сознаниях действительность и воображение.

То, что для Нины стало средоточием жизни, было для Брюсова очередной серией «мигов». Когда все вытекающие из данного положения эмоции были извлечены, его потянуло к перу. В романе «Огненный Ангел», с известной условностью, он изобразил всю историю, под именем графа Генриха представив Андрея Белого, под именем Ренаты — Нину Петровскую, а под именем Рупрехта — самого себя (1).

В романе Брюсов разрубил все узлы отношений между действующими лицами. Он придумал развязку и подписал «конец» под историей Ренаты раньше, чем легшая в основу романа жизненная коллизия разрешилась в действительности. Со смертью Ренаты не умерла Нина Петровская, для которой, напротив, роман безнадежно затягивался. То, что для Нины еще было жизнью, для Брюсова стало использованным сюжетом. Ему тягостно было бесконечно переживать все одни и те же главы. Все больше он стал отдаляться от Нины. Стал заводить новые любовные истории, менее трагические. Стал все больше уделять времени литературным делам и всевозможным заседаниям, до которых был великий охотник. Отчасти его потянуло даже к домашнему очагу (он был женат).

Для Нины это был новый удар. В сущности, к тому времени (а шел уже примерно 1906 год) ее страдания о Белом притупились, утихли. Но она сжилась с ролью Ренаты. Теперь перед ней встала грозная опасность — утратить и Брюсова. Она несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин; она пробовала удержать Брюсова, возбуждая его ревность. В ней самой эти мимолетные романы (с «прохожими», как она выражалась) вызывали отвращение и отчаяние. «Прохожих» она презирала и оскорбляла. Однако все было напрасно. Брюсов охладевал. Иногда он пытался воспользоваться ее изменами, чтобы порвать с ней вовсе. Нина переходила от полосы к полосе, то любя Брюсова, то ненавидя его. Но во все полосы она предавалась отчаянию. По двое суток, без пищи и сна, пролеживала она на диване, накрыв голову черным платком, и плакала. Кажется, свидания с Брюсовым протекали в обстановке не более легкой. Иногда находили на нее приступы ярости. Она ломала мебель,

била предметы, бросая их «подобно ядрам из баллисты», как сказано в «Огненном Ангеле» при описании подобной сцены.

Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, уже весной 1908 года, она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хоть не сознаваемая, месть. Осенью 1909 года она тяжело заболела от морфия, чуть не умерла. Когда несколько оправилась, решено было, что она уедет за границу: «в ссылку», по ее слову. Брюсов и я проводили ее на вокзал. Она уезжала навсегда. Знала, что Брюсова больше никогда не увидит. Уезжала еще полубольная, с сопровождавшим ее врачом. Это было 9 ноября 1911 года. В прежних московских страданиях она прожила семь лет. Уезжала на новые, которым суждено было продлиться еще шестнадцать.

Ее скитания за границей известны мне не подробно. Знаю, что из Италии она приезжала в Варшаву, потом в Париж. Здесь, кажется в 1913 году, однажды она выбросилась из окна гостиницы на бульвар Сен-Мишель. Сломала ногу, которая плохо срослась, и осталась хромой.

Война застала ее в Риме, где прожила она до осени 1922 года в ужасающей нищете, то в порывах отчаяния, то в припадках смирения, которое сменялось отчаянием еще более бурным. Она побиралась, просила милостыню, шила белье для солдат, писала сценарии для одной кинематографической актрисы, опять голодала. Пила. Порой доходила до очень глубоких степеней падения. Перешла в католичество. «Мое новое и тайное имя, записанное где-то в нестираемых свитках San Pietro, — Рената», — писала она мне.

Брюсова она возненавидела: «Я задыхалась от злого счастия, что теперь *ему* меня не достать, что теперь другие страдают. Почем я знала — *какие* другие, — Львову он уже в то время прикончил... Я же жила, мстя ему каждым движением, каждым помышлением».

Сюда, в Париж, она приехала весной 1927 года, после пятилетнего нищенского существования в Берлине. Приехала вполне нищей. Здесь нашлось у нее немало друзей. Помогали ей как могли и, кажется, иногда больше, чем могли. Иногда удавалось найти ей работу, но работать она уже не могла. В вечном

хмелю, не теряя рассудка, она уже была точно по другую сторону жизни.

* * *

В дневнике Блока, под 6 ноября 1911 года, странная запись:

Нина Ивановна Петровская «умирает». Известие это Блок получил из Москвы, но почему слово «умирает» он написал в кавычках?

Нина в те дни действительно умирала: это была та болезнь, перед отъездом из России, о которой я говорил выше. Но Блок слово «умирает» поставил в кавычки, потому что отнесся к известию с ироническим недоверием. Ему было известно, что еще с 1906 года Нина Петровская постоянно обещалась умереть, покончить с собой. Двадцать два года она жила в *непрестанной* мысли о смерти. Иногда шутила сама над собой:

Устюшкина мать
Собиралась помирать.
Помереть не померла —
Только время провела.

Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: «Кажется, больше не могу». 7 апреля 1925: «Вы, вероятно, думаете, что я умерла? Нет еще». 8 июня 1927: «Клянусь Вам, иного выхода не может быть». 12 сентября 1927: «Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится». 14 сентября 1927: «На этот раз я скоро должна скончаться».

Это — в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же — и в письмах, и в разговорах.

Что же удерживало ее? Мне кажется, я знаю причину.

Жизнь Нины была лирической импровизацией, в которой, лишь применяясь к таким же импровизациям других персонажей, она старалась создать нечто целостное — «поэму из своей личности». Конец личности, как и конец поэмы о ней, — смерть. В сущности, поэма была закончена в 1906 году, в том самом, на котором сюжетно обрывается «Огненный Ангел». С тех пор и в Москве, и в заграничных странствиях Нины длился мучительный, страшный, но ненужный, лишен-

ный движения эпилог. Оборвать его Нина не боялась, но не могла. Чутье художника, творящего жизнь, *как поэму*, подсказывало ей, что конец должен быть связан еще с каким-то последним событием, с разрывом какой-то еще одной нити, прикреплявшей ее к жизни. Наконец это событие совершилось.

С 1908 года, после смерти матери, на ее попечении осталась младшая сестра, Надя, существо недоразвитое умственно и физически (с нею случилось в детстве несчастие: ее обварили кипятком). Впрочем, идиоткой она не была, но отличалась какою-то предельной тихостью, безответностью. Была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного самозабвения. Конечно, никакой собственной жизни у нее не было. В 1909 году, уезжая из России, Нина взяла ее с собой, и с той поры Надя делила с ней все бедствия заграничной жизни. Это было единственное и последнее существо, еще реально связанное с Ниной и связывавшее Нину с жизнью.

Всю осень 1927 года Надя хворала безропотно и неслышно, как жила. Так же тихо и умерла, 13 января 1928 года, от рака желудка. Нина ходила в покойницкую больницы, где Надя лежала. Английской булавкой колола маленький труп сестры, потом той же булавкой — себя в руку: хотела заразиться трупным ядом, умереть *единою* смертью. Рука, однако ж, сперва опухла, потом зажила.

Нина бывала у меня в это время. Однажды прожила у меня три дня. Говорила со мной на том странном языке девятисотых годов, который когда-то нас связывал, был у нас общим, но который с тех пор я почти уже разучился понимать.

Смертью Нади была дописана последняя фраза затянувшегося эпилога. Через месяц с небольшим, собственной смертью, Нина Петровская поставила точку.

Версаль, 1928

БРЮСОВ

Когда я увидел его впервые, было ему года двадцать четыре, а мне одиннадцать. Я учился в гимназии с его младшим братом. Его вид поколебал мое представление о «декадентах». Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были «декаденты» по фельетонам «Новостей Дня») — увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычнейшего покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Таким молодым человеком изображен Брюсов на фотографии, приложенной к I тому его сочинений в издании «Сирина».

Впоследствии, вспоминая молодого Брюсова, я почувствовал, что главная острота его тогдашних стихов заключается именно в сочетании декадентской экзотики с простодушнейшим московским мещанством. Смесь очень пряная, излом очень острый, диссонанс режущий, но потому-то ранние книги Брюсова (до «Tertia Vigilia» включительно) — суть все-таки лучшие его книги: наиболее острые. Все эти тропические фантазии — на берегах Яузы, переоценка всех ценностей — в районе Сретенской части. И до сих пор куда больше признанного Брюсова нравится мне этот «неизвестный, осмеянный, странный» автор «Chefs d'œuvre». Мне нравится, что этот дерзкий молодой человек, готовый мимоходом обронить замечание:

Родину я ненавижу, —

в то же время, оказывается, способен подобрать на улице облезлого котенка и с бесконечной заботливостью выхаживать его в собственном кармане, сдавая государственные экзамены.

* * *

Дед Брюсова, по имени Кузьма, родом из крепостных, хорошо расторговался в Москве. Был он владелец довольно крупной торговли. Товар был за-

морский: пробки. От него дело перешло к сыну Авиве, а затем к внукам, Авивовичам. Вывеска над помещением фирмы, в одном из переулков между Ильинкой и Варваркой, была еще цела осенью 1920 года. Почти окна в окна, наискосок от этой торговли, помещалась нотариальная контора П.А.Соколова. Там в начале девятисотых годов, по почину Брюсова, устраивались спиритические сеансы. Я был на одном из последних, в начале 1905 года. Было темно и скучно. Когда расходились, Валерий Яковлевич сказал:

— Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству.

Впрочем, к этому времени его увлечение спиритизмом остыло и он, кажется, прекратил сотрудничество в журнале «Ребус».

Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник, фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс. История сватовства и женитьбы Якова Кузьмича описана его сыном в повести «Обручение Даши». Сам Валерий Яковлевич порою подписывал свои статьи псевдонимом «В.Бакулин». В большинстве случаев это были полемические статьи, о которых говаривали, что их главную часть составляют argumenta baculina.

Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам. Там и жила вся семья Брюсовых вплоть до осени 1910 года. Там и скончался Яков Кузьмич, в январе 1908 года. Матрена Александровна пережила мужа почти на тринадцать лет.

Дом на Цветном бульваре был старый, несклад-

ный, с мезонинами и пристройками, с полутемными комнатами и скрипучими деревянными лестницами. Было в нем зальце, средняя часть которого двумя арками отделялась от боковых. Полукруглые печи примыкали к аркам. В кафелях печей отражались лапчатые тени больших латаний и синева окон. Эти латании, печи и окна дают реальную расшифровку одного из ранних брюсовских стихотворений, в свое время провозглашенного верхом бессмыслицы:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене...
. . . .
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне — *и т. д.**

В зале, сбоку, стоял рояль. По стенам — венские стулья. Висели две-три почерневших картины в золотых рамках. Зала служила также столовой. Посредине ее, на раздвижном столе, покрытом клетчатой скатертью, появлялась миска; в комнате пахло щами. Яков Кузьмич выходил из своей полутемной спальни с заветным графинчиком коньяку. Дрожащей рукой держа рюмку над тарелкой, проливал коньяк во щи. Глубоко подцепляя капусту ложкой, мешал в тарелке. Бормотал виновато:

— Не беда, все вместе будет.

И выпивал, чокнувшись с зятем, Б.В.Калюжным, ныне тоже покойным.

Валерий Яковлевич не часто являлся на родительской половине. Была у него в том же доме своя квартира, где жил он с женою, Иоанной Матвеевной, и со свояченицей, Брониславой Матвеевной Рунт, одно время состоявшей секретарем «Весов» и «Скорпиона».

---

* Подробный разбор этого стихотворения напечатан мною в 1914 г. в журнале «София». Брюсов после того сказал мне при встрече:

— Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их.

Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтоб я верил. Я тоже улыбнулся, и мы разошлись. В тот же вечер он сказал кому-то, повысив голос, чтобы я слышал:

— Вот мы сегодня с В.Ф. говорили об авгурах...

Ни о каких авгурах мы не говорили.

(Здесь и далее примечания В.Ф.Ходасевича обозначаются звездочками, редакторские примечания — цифрами. — *Ред.*)

Обстановка квартиры приближалась к стилю «модерн». Небольшой кабинет Брюсова был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, Брюсов, сам не куривший в ту пору, держал на письменном столе спички. Впрочем, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке. На стенах в кабинете и в столовой висели картины Шестеркина, одного из первых русских декадентов, а также рисунки Фидуса, Брунеллески, Феофилактова и др. В живописи Валерий Яковлевич разбирался неважно, однако имел пристрастия. Всем прочим художникам Возрождения почему-то предпочитал он Чиму да Конельяно.

Некогда в этой квартире происходили знаменитые среды, на которых творились судьбы если не всероссийского, то, во всяком случае, московского модернизма. В ранней юности я знал о них понаслышке, но не смел и мечтать о проникновении в такое святилище. Лишь осенью 1904 года, новоиспеченным студентом, получил я от Брюсова письменное приглашение. Снимая пальто в передней, я услышал голос хозяина:

— Очень вероятно, что на каждый вопрос есть не один, а несколько истинных ответов, может быть — восемь. Утверждая *одну* истину, мы опрометчиво игнорируем еще целых семь.

Мысль эта очень взволновала одного из гостей, красивого голубоглазого студента с пушистыми светлыми волосами. Когда я входил в кабинет, студент летучей, танцующею походкой носился по комнате и говорил, охваченный радостным возбуждением, переходя с густого баса к тончайшему альту, то почти приседая, то подымаясь на цыпочки (2). Это был Андрей Белый. Я увидел его впервые в тот вечер. Другой гость, тоже студент, плотный, румяный брюнет, сидел в кресле, положив ногу на ногу. Он оказался С.М.Соловьевым. Больше гостей не было: «среды» клонились уже к упадку.

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать — пел) свои стихи, впоследствии в измененной редакции вошедшие в «Пепел»: «За мною грохочущий город», «Арестанты», «Попрошайка». Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С.М.Соловьев прочитал полученное от Блока стихотворение «Жду я

смерти близ денницы». Брюсов строго осудил последнюю строчку. Потом он сам прочитал два новых стихотворения: «Адам и Ева» и «Орфей — Эвридике». Потом С.М.Соловьев прочитал свои стихи. Брюсов тщательно разбирал то, что ему читали. Разбор его был чисто формальный. Смысла стихов он отнюдь не касался и даже как бы подчеркивал, что смотрит на них как на ученические упражнения, не более. Это учительское отношение к таким самостоятельным поэтам, какими уже в ту пору были Белый и Блок, меня удивило и покоробило. Однако, сколько я мог заметить, оно сохранилось у Брюсова навсегда.

Беседа за чаем продолжалась. Разбирать стихи самого Брюсова, как я заметил, было не принято. Они должны были приниматься как заповеди. Наконец произошло то, чего я опасался: Брюсов предложил и мне прочитать «мое». Я в ужасе отказался.

* * *

В девятисотых годах Брюсов был лидером модернистов. Как поэта многие ставили его ниже Бальмонта, Сологуба, Блока. Но Бальмонт, Сологуб, Блок были гораздо менее *литераторами*, чем Брюсов. К тому же никого из них не заботил так остро вопрос о занимаемом *месте* в литературе. Брюсову же хотелось создать «движение» и стать во главе его. Поэтому создание «фаланги» и предводительство ею, тяжесть борьбы с противниками, организационная и тактическая работа — все это ложилось преимущественно на Брюсова. Он основал «Скорпион» и «Весы» и самодержавно в них правил; он вел полемику, заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал он себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна. Иногда экипаж начинал бунтовать. Брюсов смирял его властным окриком, — но иной раз принужден был идти на уступки «конституционного» характера. Затем, путем интриг внутри своего «парламента», умел его развалить и парализовать. От этого его самодержавие только укреплялось.

Чувство равенства было Брюсову совершенно чуждо. Возможно, впрочем, что тут влияла и мещанская среда, из которой вышел Брюсов. Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. Зато и желание при случае унизить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. «Всяк сверчок знай свой шесток», «чин чина почитай»: эти идеи заносились Брюсовым в литературные отношения прямо с Цветного бульвара. Брюсов умел или командовать, или подчиняться. Проявить независимость — означало раз навсегда приобрести врага в лице Брюсова. Молодой поэт, не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением, мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример — Марина Цветаева. Стоило возникнуть дружескому издательству или журналу, в котором главное руководство принадлежало не Брюсову, — тотчас издавался декрет о воспрещении сотрудникам «Скорпиона» участвовать в этом издательстве или журнале. Так, последовательно воспрещалось участие в «Грифе», потом в «Искусстве», в «Перевале».

Власть нуждается в декорациях. Она же родит прислужничество. Брюсов старался окружить себя раболепством — и, увы, находил подходящих людей. Его появления всегда были обставлены театрально. В ответ на приглашение он не отвечал ни да, ни нет, предоставляя ждать и надеяться. В назначенный час его не было. Затем начинали появляться лица свиты. Я хорошо помню, как однажды, в 1905 году, в одном «литературном» доме хозяева и гости часа полтора шепотом гадали: придет или нет?

Каждого новоприбывшего спрашивали:

— Вы не знаете, будет Валерий Яковлевич?

— Я видел его вчера. Он сказал, что будет.

— А мне он сегодня утром сказал, что занят.

— А мне он сегодня в четыре сказал, что будет.

— Я его видел в пять. Он не будет.

И каждый старался показать, что ему намерения Брюсова известнее, чем другим, потому что он стоит ближе к Брюсову.

Наконец Брюсов являлся. Никто с ним первый не заговаривал: ему отвечали, если он сам обращался.

Его уходы были так же таинственны: он исчезал внезапно. Известен случай, когда перед уходом от

Андрея Белого он внезапно погасил лампу, оставив присутствующих во мраке. Когда вновь зажгли свет, Брюсова в квартире не было. На другой день Андрей Белый получил стихи: «Бальдеру Локи»:

Но последний царь вселенной,
Сумрак, сумрак — за меня!

* * *

У него была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Затем рука Брюсова так же стремительно опускалась и хватала протянутую руку. Пожатие совершалось, но происшедшая заминка, сама по себе мгновенная, вызывала длительное чувство неловкости. Человеку все казалось, что он как-то не вовремя сунулся со своей рукой. Я заметил, что этим странным приемом Брюсов пользовался только на первых порах знакомства и особенно часто применял его, знакомясь с начинающими стихотворцами, с заезжими провинциалами, с новичками в литературе и в литературных кругах.

Вообще, в нем как-то сочеталась изысканная вежливость (впрочем, формальная) с любовью к одергиванию, обуздыванию, запугиванию. Те, кому это не нравилось, отходили в сторону. Другие охотно составляли послушную свиту, которой Брюсов не гнушался пользоваться для укрепления влияния, власти и обаяния. Доходили до анекдотического раболепства. Однажды, приблизительно в 1909 году, я сидел в кафэ на Тверском бульваре с А.И.Тиняковым, писавшим посредственные стихи под псевдонимом «Одинокий». Собеседник мой, слегка пьяный, произнес длинную речь, в конце которой воскликнул буквально так:

— Мне, Владислав Фелицианович, на Господа Бога — тьфу! (Тут он отнюдь не символически плюнул в зеленый квадрат цветного окна.) Был бы только Валерий Яковлевич, ему же слава, честь и поклонение!

Гумилев мне рассказывал, как тот же Тиняков, сидя с ним в Петербурге на «поплавке» и глядя на Неву, вскричал в порыве священного ясновидения:

— Смотрите, смотрите! Валерий Яковлевич шествует с того берега по водам!

* * *

Он не любил людей, потому что, прежде всего, не уважал их. Это, во всяком случае, было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Неплохо он относился к З.Н.Гиппиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было удивление Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М.Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности: к самому Каину. В юности, может быть, он любил еще Александра Добролюбова, но впоследствии, когда тот ушел в христианство и народничество, Брюсов перестал его выносить. Добролюбов вел бродяжническую жизнь. Иногда приходил в Москву и по нескольку дней жил у Брюсовых: с Надеждой Яковлевной, сестрой Брюсова, его связывали некоторые религиозные мысли. Он вегетарианствовал, ходил с посохом и называл всех братьями и сестрами. Однажды я застал Брюсова в Литературно-Художественном Кружке. Было часа два ночи. Брюсов играл в chemin de fer. Я удивлялся.

— Ничего не поделаешь, — сказал Брюсов, — я теперь человек бездомный: у нас Добролюбов.

Он не возвращался домой, пока Добролюбов не «уходил».

Борис Садовской, человек умный и хороший, за суховатой сдержанностью прятавший очень доброе сердце, возмущался любовной лирикой Брюсова, называя ее постельной поэзией. Тут он был не прав. В эротике Брюсова есть глубокий трагизм, но не онтологический, как хотелось думать самому автору, — а психологический: не любя и не чтя людей, он ни разу не полюбил ни одной из тех, с кем случалось ему «припадать на ложе». Женщины брюсовских стихов похожи одна на другую, как две капли воды: это потому, что он ни одной не любил, не отличил, не

узнал. Возможно, что он действительно чтил любовь. Но любовниц своих он не замечал.

Мы, как священнослужители,
Творим обряд —

слова страшные, потому что если «обряд», то решительно безразлично, с кем. «Жрица любви» — излюбленное слово Брюсова. Но ведь лицо у жрицы закрыто, *человеческого* лица у нее и нет. Одну жрицу можно заменить другой — «обряд» останется тот же. И, не находя, не умея найти человека во всех этих «жрицах», Брюсов кричит, охваченный ужасом:

Я, дрожа, сжимаю труп!

И любовь у него всегда превращается в пытку:

Где же мы? На страстном ложе
Иль на смертном колесе?

* * *

Он любил литературу, только ее. Самого себя — тоже только во имя ее. Воистину он свято исполнил заветы, данные самому себе в годы юношества: «не люби, не сочувствуй, сам лишь себя обожай беспредельно» и — «поклоняйся искусству, только ему, безраздельно, бесцельно». Это бесцельное искусство было его идолом, в жертву которому он принес несколько живых людей и, надо это признать, — самого себя. Литература ему представлялась безжалостным божеством, вечно требующим крови. Она для него олицетворялась в учебнике истории литературы. Такому научному кирпичу он способен был поклоняться, как священному камню, олицетворению Митры. В декабре 1903 года, в тот самый день, когда ему исполнилось тридцать лет, он сказал мне буквально так:

— Я хочу жить, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут.

Однажды покойная поэтесса Надежда Львова сказала ему о каких-то его стихах, что они ей не нравятся. Брюсов оскалился своей, столь памятной многим, ласково-злой улыбкой и отвечал:

— А вот их будут учить наизусть в гимназиях, а таких девочек, как вы, будут наказывать, если плохо выучат.

«Нерукотворного» памятника в человеческих

сердцах он не хотел. «В века», назло им, хотел врезаться: двумя строчками в истории литературы (черным по белому), плачем ребят, наказанных за незнание Брюсова, и — бронзовым истуканом на родимом Цветном бульваре.

* * *

Его роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною, в особенности страдающей, была Нина. Закончив «Огненного Ангела», он посвятил книгу Нине и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей». Сам он, однако же, погибать не хотел. Исчерпав сюжет и в житейском, и в литературном смысле, он хотел отстраниться, вернувшись к домашнему уюту, к пухлым, румяным, заботливою рукой приготовленным пирогам с морковью, до которых был великий охотник. Желание порвать навсегда он выказывал с нарочитым бездушием.

С Ниной связывала меня большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли — из чистого озорства. Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не рассказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Осенью 1911 года, после тяжелой болезни, Нина решила уехать из Москвы навсегда. Наступил день отъезда — 9 ноября. Я отправился на Александровский вокзал. Нина сидела уже в купэ, рядом с Брюсовым. На полу стояла откупоренная бутылка коньяку (это был, можно сказать, «национальный» напиток московского символизма). Пили прямо из горлышка, плача и обнимаясь. Хлебнул и я, прослезившись. Это было похоже на проводы новобранцев. Нина и Брюсов знали, что расстаются *навеки*. Бутылку допили. Поезд тронулся. Мы с Брюсовым вышли из вокзала, сели в сани и молча доехали вместе до Страстного монастыря.

Это было часов в пять. В тот день мать Брюсова справляла свои именины. Года за полтора до этого

знаменитый дом на Цветном бульваре был продан, и Валерий Яковлевич снял более комфортабельную квартиру на Первой Мещанской, 32 (он в ней и скончался). Мать же, Матрена Александровна, с некоторыми другими членами семьи, переехала на Пречистенку, к церкви Успенья на Могильцах. Вечером, после проводов Нины, — отправился я поздравлять.

Я пришел часов в 10. Все были в сборе. Именинница играла в преферанс с Валерием Яковлевичем, с его женой и с Евгенией Яковлевной.

Домашний, уютный, добродушнейший Валерий Яковлевич, только что, между вокзалом и именинами, постригшийся, слегка пахнущий вежеталем, озаренный мягким блеском свечей, — сказал мне, с улыбкой заглядывая в глаза:

— Вот при каких различных обстоятельствах мы нынче встречаемся!

Я молчал. Тогда Брюсов, стремительно развернув карты веером и как бы говоря: «А, вы не понимаете шуток?» — резко спросил:

— А вы бы что стали делать на моем месте, Владислав Фелицианович?

Вопрос как будто бы относился к картам, но он имел и иносказательное значение. Я заглянул в карты Брюсова и сказал:

— По-моему, надо вам играть простые бубны.

И, помолчав, прибавил:

— И благодарить Бога, если это вам сойдет с рук.

— Ну, а я сыграю семь треф.

И сыграл.

* * *

Я на своем веку много играл в карты, много видал игроков, и случайных, и профессиональных. Думаю, что за картами люди познаются очень хорошо; во всяком случае, не хуже, чем по почерку. Дело вовсе не в денежной стороне. Самая манера вести игру, даже сдавать, брать карты со стола, весь стиль игры — все это искушенному взгляду говорит очень многое о партнере. Должен лишь указать, что понятия «хороший партнер» и «хороший человек» вовсе не совпадают полностью: напротив того, кое в чем друг другу

противоречат, и некоторые черты хорошего человека невыносимы за картами; с другой стороны, наблюдая отличнейшего партнера, иной раз думаешь, что в жизни от него надобно держаться подальше.

В азартные игры Брюсов играл очень — как бы сказать? — не то чтобы робко, но тупо, бедно, — обнаруживая отсутствие фантазии, неумение угадывать, нечуткость к тому иррациональному элементу, которым игрок в азартные игры должен научиться управлять, чтобы повелевать ему, как маг умеет повелевать духам. Перед духами игры Брюсов пасовал. Ее мистика была ему недоступна, как всякая мистика. В его игре не было вдохновения. Он всегда проигрывал и сердился, — не за проигрыш денег, а именно за то, что ходил, как в лесу, там, где другие что-то умели видеть. Счастливым игрокам он завидовал тою же завистью, с какой некогда позавидовал поклонникам Прекрасной Дамы:

Они Ее видят! Они Ее слышат!

А он не слышал, не видел.

Зато в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно — смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он *любил* таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.

В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была — да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы — во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями.

Написав для книги «Все напевы» (построенной по тому же плану) цикл стихотворений о разных способах

самоубийства, он старательно расспрашивал знакомых, не известны ли им еще какие-нибудь способы, «упущенные» в его каталоге.

По системе того же «исчерпания возможностей» написал он ужасную книгу: «Опыты» — собрание бездушных образчиков всех метров и строф. Не замечая своей ритмической нищеты, он гордился внешним, метрическим богатством.

Как он радовался, когда «открыл», что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пэоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники.

— Почему ж не вошло? — спросил он.

— Плохо, — отвечал я.

— Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!

В другой раз не мне было суждено огорчить его. К общеупотребительным рифмам смерть — жердь — твердь он нашел четвертую — умилосердь — и тотчас написал на эти рифмы сонет. Я поздравил его, но пришедший С.В.Шервинский сказал, что «умилосердь» уже есть у Вячеслава Иванова. Брюсов сразу погас и осунулся.

* * *

Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов...

Это двустишие Брюсова цитировалось много раз. Расскажу об одном случае, связанном не прямо с этими строчками, но с мыслью, в них выраженной.

В начале 1912 года Брюсов познакомил меня с начинающей поэтессой Надеждой Григорьевной Львовой, за которой он стал ухаживать вскоре после отъезда Нины Петровской. Если не ошибаюсь, его самого познакомила с Львовой одна стареющая дама, в начале девятисотых годов фигурировавшая в его стихах. Она старательно подогревала новое увлечение Брюсова.

Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница,

простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила «'ак» вместо «как», «'оторый», «'инжал».

Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.

Разница в летах между ней и Брюсовым была велика. Он конфузливо молодился, искал общества молодых поэтов. Сам написал книжку стихов почти в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Выпустить эту книгу под своим именем он не решился, и она явилась под двусмысленным титулом: «Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова». Брюсов рассчитывал, что слова «Стихи Нелли» непосвященными будут поняты как «Стихи, сочиненные Нелли». Так и случилось: и публика, и многие писатели поддались обману. В действительности подразумевалось, что слово «Нелли» стоит не в родительном, а в дательном падеже: стихи к Нелли, посвященные Нелли. Этим именем Брюсов звал Надю без посторонних.

С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова — между ней и домашним очагом. С лета 1913 года она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер — подарок Брюсова. Это был тот самый браунинг, из которого восемь лет тому назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября, кажется — 23-го числа, вечером, Львова позвонила по телефону к Брюсову, прося тотчас приехать. Он сказал, что не может, занят. Тогда она позвонила к поэту Вадиму Шершеневичу: «Очень тоскливо, пойдемте в кинематограф». Шершеневич не мог пойти — у него были гости. Часов в 11 она звонила ко мне — меня не было дома. Поздним вечером она застрелилась. Об этом мне сообщили под утро.

Через час ко мне позвонил Шершеневич и сказал, что жена Брюсова просит похлопотать, чтобы в газетах не писали лишнего. Брюсов мало меня заботил, но мне не хотелось, чтобы репортеры копались в истории Нади. Я согласился поехать в «Русские Ведомости» и в «Русское Слово».

Надю хоронили на бедном Миусском кладбище,

в холодный, метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку, стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он — в поношенной шинели с зелеными кантами, она — в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускною бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что? Частица соучастия в брюсовском преступлении лежала на многих из нас, все видевших и ничего не сделавших, чтобы спасти Надю. Несчастные старики этого не знали. Когда они приблизились ко мне, я отошел в сторону, не смея взглянуть им в глаза, не имея права утешать их.

Сам Брюсов на другой день после Надиной смерти бежал в Петербург, а оттуда — в Ригу, в какой-то санаторий. Через несколько времени он вернулся в Москву, уже залечив душевную рану и написав новые стихи, многие из которых посвящались новой, уже санаторной «встрече»... На ближайшей среде «Свободной Эстетики», в столовой Литературно-Художественного Кружка, за ужином, на котором присутствовала «вся Москва» — писатели с женами, молодые поэты, художники, меценаты и меценатки, — он предложил прослушать его новые стихи. Все затаили дыхание — и не напрасно: первое же стихотворение оказалось декларацией. Не помню подробностей, помню только, что это была вариация на тему

Мертвый, в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий,

а каждая строфа начиналась словами: «Умершим — мир!» Прослушав строфы две, я встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию.

За дверью я пожалел о своей поездке в «Русское Слово» и «Русские Ведомости».

* * *

Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности — председательствовать. Засе-

2—3400

дая — священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф — эти слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционною властью председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол», — все это было для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. В эпоху 1907—1914 годов он заседал по три раза в день, где надо и где не надо. Заседаниям жертвовал совестью, друзьями, женщинами. В конце девяностых или в начале девятисотых годов он, декадент, прославленный эпатированием буржуа, любящий только то, что «порочно» и «странно», — вздумал, в качестве домовладельца, баллотироваться в гласные городской думы — московской городской думы тех времен! В качестве председателя дирекции Литературно-Художественного Кружка часами совещался с буфетчиком на тему о завтрашнем дежурном блюде.

Осенью 1914 года он вздумал справить двадцатилетие литературной деятельности. И.И.Трояновский и г-жа Неменова-Лунц, музыкантша, составили организационную комиссию. За ужином после очередного заседания «Свободной Эстетики» прибор Брюсова был украшен цветами. Организаторы юбилея по очереди заклинали разных людей сказать речь. Никто не сказал ни слова — время было неподходящее. Брюсов уехал в Варшаву, военным корреспондентом «Русских Ведомостей». Мысли об юбилее он не оставил.

Он был антисемит. Когда одна из его сестер выходила замуж за С.В.Киссина, еврея, он не только наотрез отказался присутствовать на свадьбе, но и не поздравил молодых, а впоследствии ни разу не переступил их порога. Это было в 1909 году.

К 1914-му отношения несколько сгладились. Мобилизованный Самуил Викторович очутился чиновником санитарного ведомства в той самой Варшаве, где Брюсов жил в качестве военного корреспондента. Они иногда видались.

После неудачи московского юбилея Брюсов решил отпраздновать его хоть в Варшаве. Какие-то польские писатели согласились его чествовать. Впоследствии он рассказал мне:

— Поляки — антисемиты куда более последова-

тельные, чем я. Когда они хотели меня чествовать, я пригласил было Самуила Викторовича, но они вычеркнули его из списка, говоря, что с евреем за стол не сядут. Пришлось отказаться от удовольствия видеть Самуила Викторовича на моем юбилее, хоть я даже указывал, что все-таки он мой родственник и поэт.

Отказаться от удовольствия справить юбилей он не мог.

Этот злосчастный юбилей он справил-таки в Москве, в декабре 1924 года. Торжество происходило в Большом театре. По городу были расклеены афиши, приглашающие всех желающих. Более крупными буквами, чем имя самого Брюсова, на них значилось: «С участием Максима Горького». Хотя устроители и, конечно, сам Брюсов отлично знали, что Горький в Мариенбаде и в Россию не собирается.

* * *

Как и почему он сделался коммунистом?

Некогда он разделял идеи самого вульгарного черносотенства. Во время русско-японской войны поговаривал о масонских заговорах и японских деньгах.

В 1905 году он всячески поносил социалистов, проявляя при этом анекдотическое невежество. Однажды сказал:

— Я знаю, что такое марксизм: грабь что можно и — общность мужей и жен.

Ему дали прочесть Эрфуртскую программу. Прочитав, он коротко сказал:

— Вздор.

Я пишу воспоминания, а не критическую статью. Поэтому укажу только вкратце, что такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу не содержат никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» — это программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал:

— Que faire? J'aime les t-t-troubles [1].

(Аристократ был заика.)

---

[1] — Что поделаешь? Я люблю б-б-беспорядки *(фр.)*.

Эти слова можно бы поставить эпиграфом ко всем радикальным стихам Брюсова из эпохи 1905 года. Знаменитый «Каменщик» также не выражал взглядов автора. Это — стилизация, такая же подделка, такое же поэтическое *упражнение*, как напечатанная тут же детская песенка про палочку-выручалочку, как песня сборщиков («Пожертвуйте, благодетели, на новый колокол») и другие подобные стихи. «Каменщик» точно так же не выражал взглядов самого Брюсова, как написанная в порядке «исчерпания тем и возможностей» «Австралийская песня»:

Кенгуру бежали быстро —
Я еще быстрей.
Кенгуру был очень жирен,
И я его съел.

Самое происхождение «Каменщика» — чисто литературное. Это — не более и не менее, как исправленная редакция стихотворения, написанного еще до рождения Брюсова. Под тем же заглавием оно напечатано в «Лютне», старинном заграничном сборнике запрещенных русских стихов. Кто его автор — я не знаю.

Пока фельетонисты писали статьи об обращении «эстета» Брюсова к «общественности», — Брюсов на чердаке своего дома учился стрелять из револьвера, «на случай, если забастовщики придут грабить». В редакции «Скорпиона» происходили беседы, о которых Сергей Кречетов сложил не слишком блестящие, но меткие стишки:

Собирались они по вторникам,
Мудро глаголя.
Затевали погромы с дворником
Из Метрополя*.
. . . .
Так трогательно по вторникам,
В согласии вкусов,
Сочетался со старшим дворником
Валерий Брюсов.

В ту же пору его младший брат написал ему латинские стихи с обращением:

Falsus Valerius, duplex lingua!

В 1913 году он был приглашен редактировать литературный отдел «Русской Мысли» — и однажды сказал:

---

* Изд-во «Скорпион» помещалось в здании Метрополя.

— В качестве одного из редакторов «Русской Мысли», я в политических вопросах во всем согласен с Петром Бернгардовичем (Струве).

Впоследствии, накануне февральской революции, в Тифлисе, на банкете, которым армяне чествовали Брюсова как редактора сборника «Поэзия Армении», — он встал и, к великому смущению присутствующих, провозгласил тост «за здоровье Государя Императора, Державного Вождя нашей армии». Об этом рассказывал мне устроитель банкета, П.Н.Макинциан, впоследствии составитель знаменитой «Красной Книги ВЧК». (В 1937 году он был расстрелян.)

* * *

Демократию Брюсов презирал. История культуры, которой он поклонялся, была для него историей «творцов», полубогов, стоящих вне толпы, ее презирающих, ею ненавидимых. Всякая демократическая власть казалась ему либо утопией, либо охлократией, господством черни.

Всякий абсолютизм казался ему силою созидательной, охраняющей и творящей культуру. Поэт, следовательно, всегда на стороне существующей власти, какова бы она ни была, — лишь была бы отделена от народа. Ему, как «гребцу триремы», было

все равно,
Цезаря влечь иль пирата.

Все поэты были придворными: при Августе, Меценате, при Людовиках, при Фридрихе, Екатерине, Николае I и т. д. Это была одна из его любимых мыслей.

Поэтому он был монархистом при Николае II. Поэтому, пока надеялся, что Временное правительство «обуздает низы» и покажет себя «твердою властью», — он стремился заседать в каких-то комиссиях и, стараясь поддержать принципы оборончества, написал и издал летом 1917 года небольшую брошюру в розовой обложке, под заглавием: «Как кончить войну?» и с эпиграфом: «Si vis pacem, para bellum»[1]. Идеей брошюры была «война до победного конца».

После «октября» он впал в отчаяние. Одна дама,

---

[1] «Хочешь мира — готовься к войне» *(лат.)*.

всегда начинавшая свою речь словами: «Валерий Яковлевич говорит, что», — в начале ноября встретилась со мной у поэта К.А.Липскерова. Когда хозяин вышел из комнаты распорядиться о чае, дама опасливо посмотрела ему вслед и, наклонясь ко мне, прошептала:

— Валерий Яковлевич говорит, что теперь нами будут править жиды.

В ту зиму я сам не встречался с Брюсовым, но мне рассказывали, что он — в подавленном состоянии и оплакивает неминуемую гибель культуры. Только летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, — он приободрился и заявил себя коммунистом.

Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою «сильную власть», один из видов абсолютизма, — и поклонился ей: она представилась ему достаточною защитой от демоса, низов, черни. Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом — ибо не все ли равно, во имя чего, — была бы власть.

В коммунизме он поклонился новому самодержавию, которое, с его точки зрения, было, пожалуй, и лучше старого, так как Кремль все-таки оказался лично для него доступнее, чем Царское Село. Ведь у старого самодержавия не было никакой официально покровительствуемой эстетической политики — новое же в этом смысле хотело быть активным. Брюсову представлялось возможным прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность «направлять» литературу твердыми административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними, — единым окриком. А сколько заседаний, уставов, постановлений! А какая надежда на то, что в истории литературы будет сказано: «в таком-то году повернул русскую литературу на столько-то градусов». Тут личные интересы совпадали с идеями.

* * *

Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным — коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который, в сущности, остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили.

Ему предоставили несколько более или менее видных «постов» — не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил «заседал» и «заведовал».

От писательской среды он отмежевался еще резче, чем она от него. Когда в Москве образовался Союз писателей, Брюсов занял по отношению к нему позицию гораздо более резкую и непримиримую, чем занимали настоящие большевики. Помню, между прочим, такую историю. При уничтожении Литературно-Художественного Кружка была реквизирована его библиотека и, как водится, расхищалась. Книги находились в ведении Московского Совета, и Союз писателей попросил, чтобы они были переданы ему. Каменев, тогдашний председатель Совета, согласился. Как только Брюсов узнал об этом, он тотчас заявил протест и стал требовать, чтобы библиотека была отдана Лито, совершенно мертвому учреждению, которым он заведовал. Я состоял членом правления Союза, и мне поручили попытаться уговорить Брюсова, чтобы он отказался от своих притязаний. Я тут же взял телефонную трубку и позвонил к Брюсову. Выслушав меня, он ответил:

— Я вас не понимаю, Владислав Фелицианович. Вы обращаетесь к должностному лицу, стараясь его склонить к нарушению интересов вверенного ему учреждения.

Услышав про «должностное лицо» и «вверенное учреждение», я уже не стал продолжать разговора. Библиотеку перевезли в Лито.

К несчастью, ревность к службе заходила у Брюсова и еще много дальше. В марте 1920 года я заболел от недоедания и от жизни в нетопленом подвале. Пролежав месяца два в постели и прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал с месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить месяца три невероятных усилий, причем я все время натыкался на какое-то невидимое, но явственно ощутимое препятствие. Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академичес-

ком центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже «по долгу службы» это не входило в его обязанности (3).

* * *

Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае — попрекали былой принадлежностью к «буржуазной» литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Я думаю, что тщательное формальное исследование коммунистических стихов Брюсова показало бы в них напряженную внутреннюю работу, клонящуюся к попытке сломать старую гармонию, «обрести звуки новые». К этой цели Брюсов шел через сознательную какофонию. Был ли он прав, удалось ли бы ему чего-нибудь достигнуть, — вопрос другой. Но именно наличие этой работы сделало его стихи переутонченными до одеревенения, трудноусвояемыми, недоступными для примитивного понимания. Как агитационный материал они не годятся — и потому Брюсов-поэт оказался, по существу, ненужным. Оставался Брюсов-служака, которого и гоняли с «поста» на «пост», порой доходя до вольного или невольного издевательства. Так, например, в 1921 году Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу — с не менее важной должностью в Гуконе, то есть... в Главном Управлении по Коннозаводству*. Что ж? Он честно трудился и там и даже, идя в ногу с нэпом, выступал в печати, ведя кампанию за восстановление тотализатора.

Брюсов, конечно, видел свое полное одиночество. Одно лицо, близкое к нему, рассказывало мне в начале 1922 года, что он очень одинок, очень мрачен и угнетен.

Еще с 1908, кажется, года он был морфинистом. Старался от этого отделаться — но не мог. Летом 1911

---

* Как ни странно, некоторая логика в этом была: самые первые строки Брюсова, появившиеся в печати, — две статьи о лошадях в одном из специальных журналов: не то «Рысак и Скакун», не то «Коннозаводство и Спорт». Отец Брюсова, как я указывал, был лошадник-любитель. Когда-то я видел детские письма Брюсова к матери, сплошь наполненные беговыми делами и впечатлениями.

года д-ру Г.А.Койранскому удалось на время отвлечь его от морфия, но в конце концов из этого ничего не вышло. Морфий сделался ему необходим. Помню, в 1917 году во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату — и вернулся помолодевшим.

В конце 1919 года мне случилось сменить его на одной из служб. Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровяными пятнами. Последние годы он часто хворал, — по-видимому, на почве интоксикации.

Одинокий, измученный, обрел он, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сластями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу.

Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его.

Сорренто, 1924

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

В 1922 году, в Берлине, даря мне новое издание «Петербурга», Андрей Белый на нем надписал: «С чувством конкретной любви и связи сквозь всю жизнь».

Не всю жизнь, но девятнадцать лет судьба нас сталкивала на разных путях: идейных, литературных, житейских. Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал. Я уже не принадлежал к тому поколению, к которому принадлежал он, но я застал его поколение еще молодым и деятельным. Многие люди и обстоятельства, сыгравшие заметную роль в жизни Белого, оказались таковы же и по отношению ко мне.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохою символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и боязнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому «возвышающему обману» хочется противопоставить *нас возвышающую правду:* надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

* * *

Меня еще и на свете не было, когда в Москве, на Пречистенском бульваре, с гувернанткой и песиком,

стал являться необыкновенно хорошенький мальчик — Боря Бугаев, сын профессора математики, известного Европе учеными трудами, московским студентам — феноменальной рассеянностью и анекдотическими чудачествами, а первоклассникам-гимназистам — учебником арифметики, по которому я и сам учился впоследствии. Золотые кудри падали мальчику на плечи, а глаза у него были синие. Золотой палочкой по золотой дорожке катил он золотой обруч. Так вечность, «дитя играющее», катит золотой круг солнца. С образом солнца связан младенческий образ Белого.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудак, но и сущий урод лицом. Однажды в концерте (уже в начале девятисотых годов) Н.Я.Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» — «Это мой папа», — отвечал Андрей Белый с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастия, которою он любил отвечать на неприятные вопросы.

Его мать была очень хороша собой. На каком-то чествовании Тургенева возле знаменитого писателя сочли нужным посадить первых московских красавиц: то были Екатерина Павловна Леткова, впоследствии Султанова, сотрудница «Русского Богатства», в которую долгие годы был безнадежно влюблен Боборыкин, и Александра Дмитриевна Бугаева. Они сидят рядом и на известной картине К.Е.Маковского «Боярская свадьба», где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны — одна из дружек. Отца Белого я никогда не видел, а мать застал уже пожилою, несколько полною женщиной со следами несомненной красоты и с повадками записной кокетки. Однажды, заехав с одною родственницей к портнихе, встретил я Александру Дмитриевну. Приподымая широкую тафтяную юбку концами пальчиков, она вертелась пред зеркалом, приговаривая: «А право же, я ведь еще хоть куда!» В 1912 году я имел случай наблюдать, что сердце ее еще не чуждо волнений.

Физическому несходству супругов отвечало рас-

хождение внутреннее. Ни умом, ни уровнем интересов друг другу они не подходили. Ситуация была самая обыкновенная: безобразный, неряшливый, погруженный в абстракции муж и красивая, кокетливая жена, обуреваемая самыми «земными» желаниями. Отсюда — столь же обыкновенный в таких случаях разлад, изо дня в день проявлявшийся в бурных ссорах по всякому поводу. Боря при них присутствовал.

Белый не раз откровенно говорил об автобиографичности «Котика Летаева». Однако, вчитываясь в позднюю прозу Белого, мы без труда открываем, что и в «Петербурге», и в «Котике Летаеве», и в «Преступлении Николая Летаева», и в «Крещеном китайце», и в «Московском чудаке», и в «Москве под ударом» завязкою служит один и тот же семейный конфликт. Все это — варианты драмы, некогда разыгравшейся в семействе Бугаевых. Не только конфигурация действующих лиц, но и самые образы отца, матери и сына повторяются до мельчайших подробностей. Изображение наименее схоже с действительностью в «Петербурге». Зато в последующих романах оно доходит почти до фотографической точности. Чем зрелее становился Белый, тем упорнее он возвращался к этим воспоминаниям детства, тем более значения они приобретали в его глазах. Начиная с «Петербурга», все политические, философские и бытовые задания беловских романов отступают на задний план перед заданиями автобиографическими и, в сущности, служат лишь поводом для того, чтобы воскресить в памяти и переосознать впечатления, поразившие в младенчестве (4). Не только нервы, но и самое воображение Андрея Белого были раз навсегда поражены и — смею сказать — потрясены происходившими в доме Бугаевых «житейскими грозами», как он выражается. Эти грозы оказали глубочайшее влияние на характер Андрея Белого и на всю его жизнь.

В семейных бурях он очутился листиком иль песчинкою: меж папой, уродом и громовержцем, окутанным облаком черной копоти от швыряемой об пол керосиновой лампы, — и мамочкой, легкомысленной и прелестной, навлекающей на себя гнев и гибель, как грешные жители Содома и Гоморры. Первичное чувство в нем было таково: папу он боялся и втайне ненавидел до очень сильных степеней ненависти: недаром

потенциальные или действительные преступления против отца (вплоть до покушения на отцеубийство) составляют фабульную основу всех перечисленных романов. Мамочку он жалел и ею восторгался почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись чувствами вовсе противоположными. Ненависть к отцу, смешиваясь с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг раскрывались через отца, оборачивалась любовью. Влюбленность в мамочку уживалась с нелестным представлением об ее уме и с инстинктивным отвращением к ее отчетливой, пряной плотскости.

Каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью — и наоборот. «Раздираемый», по собственному выражению, между родителями, Белый по всякому поводу переживал относительную правоту и неправоту каждого из них. Всякое явление оказывалось двусмысленно, раскрывалось двусторонне, двузначаще. Сперва это ставило в тупик и пугало. С годами вошло в привычку и стало модусом отношения к людям, к событиям, к идеям. Он полюбил совместимость несовместимого, трагизм и сложность внутренних противоречий, правду в неправде, может быть — добро в зле и зло в добре. Сперва он привык таить от отца любовь к матери (и ко всему «материнскому»), а от матери любовь к отцу (и ко всему «отцовскому») — и научился понимать, что в таком притворстве нет внутренней лжи. Потом ту же двойственность отношения стал он переносить на других людей — и это создало ему славу двуличного человека. Буду вполне откровенен: нередко он и бывал двуличен, и извлекал из двуличия ту выгоду, которую оно иногда может дать. Но в основе, в самой природе его двуличия не было ни хитрости, ни оппортунизма. И то и другое он искренно ненавидел. Но в людях, которых любил, он искал и, разумеется, находил основания их не любить. В тех, кого не любил или презирал, он не боялся почуять доброе и порою бывал обезоружен до нежности. Собираясь действовать примирительно — вдруг вскипал и разражался

бешеными филиппиками; собираясь громить и обличать — внезапно оказывался согласен с противником. Случалось ему спохватываться, когда уже было поздно, когда дорогой ему человек становился врагом, а презираемый лез с объятиями. Порой он лгал близким и открывал душу первому встречному. Но и во лжи нередко высказывал он только то, что казалось ему «изнанкою правды», а в откровенностях помалкивал «о последнем».

В сущности, своему «раздиранию» между родителями он был обязан и будущим строем своих воззрений. Отец хотел сделать его своим учеником и преемником — мать боролась с этим намерением музыкой и поэзией: не потому, что любила музыку и поэзию, а потому, что уж очень ненавидела математику. Чем дальше, тем Белому становилось яснее, что все «позитивное», близкое отцу, близко и ему, но что искусство и философия требуют примирения с точными знаниями — «иначе и жить нельзя». К мистике, а затем к символизму он пришел трудным путем примирения позитивистических тенденций девятнадцатого века с философией Владимира Соловьева. Недаром прежде, чем поступить на филологический факультет, он окончил математический. Всего лучше об этом рассказано им самим. Я только хотел указать на ранние биографические истоки его позднейших воззрений и всей его литературной судьбы.

* * *

Я познакомился с ним в эпоху его романа с Ниной Петровской, точнее — в ту самую пору, когда совершался между ними разрыв.

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась и его двойственность, о которой я только что говорил. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающем всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не

отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед «падением» ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили.

Нина Петровская пострадала за то, что стала его возлюбленной. Он с нею порвал в самой унизительной форме. Она сблизилась с Брюсовым, чтобы отомстить Белому — и в тайной надежде его вернуть, возбудив его ревность.

В начале 1906 года, когда начиналось «Золотое Руно», однажды у меня были гости. Нина и Брюсов пришли задолго до всех. Брюсов попросил разрешения удалиться в мою спальню, чтобы закончить начатые стихи. Через несколько времени он вышел оттуда и попросил вина. Нина отнесла ему бутылку коньяку. Через час или больше, когда гости уже собрались, я заглянул в спальню и застал Нину с Брюсовым сидящими на полу и плачущими, бутылку допитой, а стихи конченными. Нина шепнула, чтобы за ужином я попросил Брюсова прочесть новые стихи. Ничего не подозревая (я тогда имел очень смутное понятие о том, что происходит между Ниной, Белым и Брюсовым), я так и сделал. Брюсов сказал, обращаясь к Белому:

— Борис Николаевич, я прочту подражание вам.

И прочел. У Белого было стихотворение «Предание», в котором иносказательно и эвфемистически изображалась история разрыва с Ниной. Этому «Преданию» Брюсов и подражал в своих стихах, сохранив форму и стиль Белого, но придав истории новое окончание и представив роль Белого в самом жалком виде. Белый слушал, смотря в тарелку. Когда Брюсов кончил читать, все были смущены и молчали. Наконец, глядя Белому прямо в лицо и скрестив, по обычаю, руки, Брюсов спросил своим самым гортанным и клекочущим голосом:

— Похоже на вас, Борис Николаевич?

Вопрос был двусмысленный: он относился разом и к стилю брюсовского стихотворения, и к поведению Белого. В крайнем смущении, притворяясь, что имеет в виду только поэтическую сторону вопроса и не до-

гадывается о подоплеке, Белый ответил с широчайшей своей улыбкой:

— Ужасно похоже, Валерий Яковлевич!

И начал было рассыпаться в комплиментах, но Брюсов резко прервал его:

— Тем хуже для вас!

Зная о моей дружбе с Ниной, Белый считал, что чтение было сознательно мною подстроено в соучастии с Брюсовым. Мы с Белым встречались, но он меня сторонился. Я уже знал, в чем дело, но не оправдывался: отчасти потому, что не знал, как начать разговор, отчасти из самолюбия. Только спустя два года без малого мы объяснились — при обстоятельствах столь же странных, как все было странно в нашей тогдашней жизни.

* * *

В 1904 году Белый познакомился с молодым поэтом, которому суждено было стать одним из драгоценнейших русских поэтов. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. В своих воспоминаниях Белый изобразил историю этой связи в двух версиях, взаимно исключающих друг друга и одинаково неправдивых. Будущему биографу обоих поэтов придется затратить немало труда на восстановление истины.

Поэт приехал в Москву с молодой женой, уже знакомой некоторым московским мистикам, друзьям Белого, и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и раздували его. Потом не нужно было и раздувать — оно превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. Я не берусь в точности изложить историю этой любви, протекавшую то в Москве, то в Петербурге, то в деревне, до крайности усложненную сложными характерами действующих лиц, своеобразным строем символистского быта и, наконец, многообразными событиями литературной,

философской и даже общественной жизни, на фоне которых она протекала, с которыми порой тесно переплеталась и на которые, в свою очередь, влияла. Скажу суммарно: история этой любви сыграла важную роль в литературных отношениях той эпохи, в судьбе многих лиц, непосредственно в ней даже не замешанных, и в конечном счете — во всей истории символизма. Многое в ней еще и теперь не ясно. Белый рассказывал мне ее неоднократно, но в его рассказах было вдоволь противоречий, недомолвок, вариантов, нервического воображения. Подчеркиваю, что его устные рассказы значительно рознились от печатной версии, изложенной в его воспоминаниях.

По соображении всех данных, история романа представляется мне в таком виде. По-видимому, братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамою благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иного оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственность Белого, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, — и то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием. Следствие беловского отступления нетрудно себе представить. Гнев и презрение овладели той, кого он любил. И она отплатила ему стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская, которой она была во столько же раз выносливее и тверже. Что же Белый? Можно сказать с уверенностью, что с этого-то момента он и полюбил по-настоящему, всем существом и, по моему глубокому убеждению, — навсегда. Потом еще были в его жизни и любви, и быстрые увлечения, но та любовь сохранилась сквозь все и поверх всего. Только ту женщину, одну ее, любил он в самом деле. С годами, как водится, боль притупилась, но долго она была жгучей. Белый страдал неслыханно, переходя от униженного смирения к бешенству и гордыне, — кричал, что отвергнуть его любовь есть кощунство. Порою страдание

подымало его на очень большие высоты духа — порою падал он до того, что, терзаясь ревностью, литературно мстил своему сопернику, действительному или воображаемому. Он провел несколько месяцев за границей — и вернулся с неутоленным страданием и «Кубком мятелей» — слабейшею из его симфоний, потому что она была писана в надрыве.

* * *

В августе 1907 года из-за личных горестей поехал я в Петербург на несколько дней — и застрял надолго: не было сил вернуться в Москву. С литераторами я виделся мало и жил трудно. Ночами слонялся по ресторанам, игорным домам и просто по улицам, а днем спал. Вдруг приехала Нина Петровская, гонимая из Москвы неладами с Брюсовым и минутной, угарной любовью к одному молодому петербургскому беллетристу, которого «стилизованные» рассказы тогда были в моде. Брюсов за ней приезжал, пытался вернуть в Москву — она не сразу поехала. Изредка вместе коротали мы вечера — признаться, неврастенические. Она жила в той самой Английской гостинице, где впоследствии покончил с собой Есенин.

28 сентября того года Блок писал своей матери из Петербурга: «Мама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются Любы*, Натальи Николаевны** и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен». Наконец Белый приехал, чтобы вновь быть отвергнутым. Встретились мы случайно. Однажды, после литературного сборища, на котором Бунин читал по рукописи новый рассказ заболевшего Куприна (это был «Изумруд»), я вышел на Невский. Возле Публичной библиотеки пристала ко мне уличная женщина. Чтобы убить время, я предложил угостить ее ужином. Мы зашли в ресторанчик. На вопрос, как ее зовут, она ответила странно:

— Меня все зовут *бедная Нина*. Так зовите и вы.

Разговор не клеился. Бедная Нина, щупленькая брюнетка с коротким носиком, устало делала глазки и

* Любовь Дмитриевна, жена Блока.
** Артистка Н.Н.Волохова, которой посвящена «Снежная Маска».

говорила, что ужас как любит мужчин, а я подумывал, как будет скучно от нее отделываться. Вдруг вошел Белый, возбужденный и не совсем трезвый. Он подсел к нам, и за бутылкою коньяку мы забыли о нашей собеседнице. Разговорились о Москве. Белый, размягченный вином, признался мне в своих подозрениях о моей «провокации» в тот вечер, когда Брюсов читал у меня стихи. Мы объяснились, и прежний лед между нами был сломан. Ресторан между тем закрывали, и Белый меня повез в одно «совсем петербургское место», как он выразился. Мы приехали куда-то в конец Измайловского проспекта. То был низкосортный клуб. Необыкновенно почтенный мужчина с седыми баками, которого все звали полковником, нас встретил. Белый меня рекомендовал, и, заплатив по трешнице, которая составляла вернейшую рекомендацию, мы вошли в залу. Приказчики и мелкие чиновники в пиджачках отплясывали кадриль с девицами, одетыми (или раздетыми) цыганками и наядами. Потом присуждались премии за лучшие костюмы — вышел небольшой скандал, кого-то обидели, кто-то ругался. Мы спросили вина и просидели в «совсем петербургском месте» до рыжего петербургского рассвета. Расставаясь, условились пообедать в «Вене» с Ниной Петровской.

Обед вышел мрачный и молчаливый. Я сказал:

— Нина, в вашей тарелке, кажется, больше слез, чем супа.

Она подняла голову и ответила:

— Меня надо звать *бедная Нина.*

Мы с Белым переглянулись — о женщине с Невского Нина ничего не знала. В те времена такие совпадения для нас много значили.

Так и кончился тот обед — в тяжелом молчании. Через несколько дней, зайдя к Белому (он жил на Васильевском острове, почти у самого Николаевского моста), увидел я круглую шляпную картонку. В ней лежали атласное красное домино и черная маска. Я понял, что в этом наряде Белый являлся в «совсем петербургском месте». Потом домино и маска явились в его стихах, а еще позже стали одним из центральных образов «Петербурга».

Несколько дней спустя после нашего обеда Нина уехала в Москву, а в самом конце октября (если мне память не изменяет) тронулись и мы с Белым. На

станциях он пил водку, а в Москве прожил дня два — и кинулся опять в Петербург. Не мог жить ни с *нею*, ни без *нее*.

* * *

Четыре года, протекшие после того, мне помнятся благодарно: годами, смею сказать, нашей дружбы. Белый тогда был в кипении: сердечном и творческом. Тогда дописывался им «Пепел», писались «Урна», «Серебряный Голубь», важнейшие статьи «Символизма». На это же время падают и самые резкие из его полемических статей, о тоне которых он потом жалел часто, о содержании — никогда. Тогда же он учинял и самые фантастические из публичных своих скандалов, — однажды на сцене Литературно-Художественного Кружка пришлось опустить занавес, чтобы слова Белого не долетали до публики. Зато в наших встречах он оборачивался другой стороной. Приходил большею частью по утрам, и мы иногда проводили вместе весь день, то у меня, то гуляя: в сквере у храма Христа Спасителя, в Ново-Девичьем монастыре; однажды ездили в Петровско-Разумовское, в грот, связанный с убийством студента Иванова. Белый умел быть и прост, и уютен: gemüthlich — по любимому его слову. Разговоры его переходили в блистательные импровизации и всегда были как-то необыкновенно окрыляющи. Любил он и просто рассказывать: о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года, о профессорской Москве, которую с бешенством и комизмом изображал в лицах. Случалось — читал только что написанное и охотно выслушивал критические возражения, причем был, в общем, упрям. Лишь раз удалось мне уговорить его: выбросить первые полторы страницы «Серебряного Голубя». То был слепок с Гоголя, написанный, очевидно, лишь для того, чтобы разогнать перо.

Разговоры специально стихотворческие велись часто. Нас мучил вопрос: чем, кроме инструментовки, обусловлено разнозвучание одного и того же размера? Летом 1908 года, когда я жил под Москвой, он позвонил мне по телефону, крича со смехом:

— Если свободны, скорей приезжайте в город. Я

сам приехал сегодня утром. Я сделал открытие! Ей-Богу, настоящее открытие, вроде Архимеда!

Я, конечно, поехал. Был душный вечер. Белый встретил меня загорелый и торжествующий, в русской рубашке с открытым воротом. На столе лежала гигантская кипа бумаги, разграфленной вертикальными столбиками. В столбиках были точки, причудливо связанные прямыми линиями. Белый хлопал по кипе тяжелой своей ладонью:

— Вот вам четырехстопный ямб. Весь тут, как на ладони. Стихи одного метра разнятся ритмом. Ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений. «Мой дядя самых честных правил» — четыре ударения, а «И кланялся непринужденно» — два: ритмы разные, а метр все тот же, четырехстопный ямб.

Теперь все это стало азбукой. В тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Это открытие в дальнейшей разработке имеет несовершенства, о которых впоследствии было много писано. Тогда, на первых порах, разобраться в них было труднее. Однако у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати «Пепел» и «Урну» — и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены. Сколько ни спорил я с Белым — ничего не помогало. Стихи вошли в его сборники в новых редакциях, которые мне было больно слышать. Тогда-то и начал я настаивать на необходимости изучение ритмического содержания вести не иначе как в связи с содержанием смысловым. Об этом шли у нас пререкания то с глазу на глаз, то в кружке ритмистов, который составился при издательстве «Мусагет». Внесмысловая ритмика мне казалась ложным и вредным делом. Кончилось тем, что я перестал ходить на собрания.

Белый в ту пору был в большой моде. Дамы и барышни его осаждали. Он с удовольствием кружил

головы, но заставлял штудировать Канта — особ, которым совсем не того хотелось.

— Она мне цветочек, а я ей: сударыня, если вы так интересуетесь символизмом, то посидите-ка сперва над «Критикой чистого разума»!

Или:

— Ах, что за прелесть эта милейшая мадмуазель Штаневич! Я от нее в восторге!

— Борис Николаевич, да ведь она Станевич, а не Штаневич!

— Да ну, в самом деле? А я ее все зову Штаневич. Как вы думаете, она не обиделась?

Неделю спустя опять:

— Ах, мадмуазель Штаневич!

— Борис Николаевич! Станевич!

— Боже мой! Неужели? Какое несчастие!

А у самого глаза веселые и лживые.

Иногда у него на двери появлялась записка: «Б.Н.Бугаев занят и просит не беспокоить». «Это я от девиц», — объяснял он, но не всегда на сей счет был правдив. Мне жаловался: «Надоел Пастернак». Полагаю, что Пастернаку — «Надоел Ходасевич».

Однажды — чуть ли не в ярости:

— Нет, вы подумайте, вчера ночью, в метель, возвращаюсь домой, а Мариэтта Шагинян сидит у подъезда на тумбе, как дворник. Надоело мне это! — А сам в то же время писал ей длиннейшие философические письма, из благодарности за которые бедная Мариэтта, конечно, готова была хоть замерзнуть.

В 1911 году я поселился в деревне, и мы стали реже видеться. Потом Белый женился, уехал в Африку, ненадолго вернулся в Москву и уехал опять: в Швейцарию, к Рудольфу Штейнеру. Перед самой войной пришло от него письмо, бодрое, успокоенное, с рассказом о мускулах, которые он себе набил, работая резчиком по дереву при постройке Гетеанума. Я думал, что наконец он счастлив.

* * *

В тот вечер, когда в Москве получилось по телефону известие об убийстве Распутина, Гершензон повел меня к Н.А.Бердяеву. Там обсуждались события. Там, после долгой разлуки, я впервые увидел Белого.

Он был без жены, которую оставил в Дорнахе. С первого взгляда я понял, что ни о каком его успокоении нечего говорить. Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который заряжен миллионами вольт электричества. Потом он приходил ко мне — рассказывать о каких-то шпионах, провокаторах, темных личностях, преследовавших его и в Дорнахе, и во время переезда в Россию. За ним подглядывали, его выслеживали, его хотели сгубить в прямом смысле и еще в каких-то смыслах иных.

Эта тема, в сущности граничащая с манией преследования, была ему всегда близка. По моему глубокому убеждению, возникла она еще в детстве, когда казалось ему, что какие-то темные силы хотят его погубить, толкая на преступление против отца. Чудовищ, которые были и подстрекателями, и Эринниями потенциального отцеубийства, Белый на самом деле носил в себе, но инстинкт самосохранения заставил его отыскивать их вовне, чтобы на них сваливать вину за свои самые темные помыслы, вожделения, импульсы. Все автобиографические романы, о которых говорено выше, начиная с «Петербурга» и кончая «Москвой под ударом», полны этими отвратительными уродами, отчасти вымышленными, отчасти фантастически пересозданными из действительности. Борьба с ними, то есть с носимым в душе зародышем предательства и отцеубийства, сделалась на всю жизнь основной, главной, центральной темой всех романов Белого, за исключением «Серебряного Голубя». Ни с революцией, ни с войной эта тема, по существу, не связана и ни в каком историческом обрамлении не нуждается. В «Котике Летаеве», в «Преступлении Николая Летаева» и в «Крещеном китайце» Белый без него и обошелся. С событиями 1905 и 1914 годов связаны только «Петербург», «Московский чудак» и «Москва под ударом». Но для всякого, кто читал последние два романа, совершенно очевидно, что в них эта связь грубейшим образом притянута за волосы. «Московского чудака» и «Москву под ударом» Белый писал в середине двадцатых годов, в советской России. И в тексте, и в

предисловии он изо всех сил подчеркивал, будто главный герой обоих романов, математик Коробкин, олицетворяет «свободную по существу науку», против которой ведет страшную интригу капиталистический мир, избравший своим орудием Митю, коробкинского сына. В действительности до всей этой абсолютно неправдоподобной «концепции» Белому не было никакого дела. Его истинной целью было — дать очередной вариант своей излюбленной темы о преступлении против отца. Темные силы, толкающие Митю на преступление, наряжены в маски капиталистических демонов единственно потому, что этого требовал «социальный заказ». Замечательно, что «Московский чудак» и «Москва под ударом» должны были, по заявлению Белого, составить лишь начало обширного цикла романов, который, однако, не был докончен, так же как цикл, посвященный истории Николая Летаева. Почему? Потому что в обоих случаях Белый охладевал к своему замыслу тотчас после того, как была написана единственно важная для него часть — о преступлении сына против отца.

Только в «Петербурге», самом раннем из романов этой «эдиповской» серии, тема революции 1905 года действительно занимала Белого. Однако, по его собственным словам, первая мысль связать личную тему с политической возникла и в «Петербурге» потому, что в политических событиях той эпохи прозвучал знакомый Белому с детства мотив подстрекательства, провокации. По своей неизменной склонности к чертежам, он изображал структуру «Петербурга» в виде двух равных окружностей, из которых одна изображала личную, другая — политическую тему; вследствие очень незначительного, гораздо менее радиуса, расстояния между центрами, большая часть площади у этих окружностей оказывалась общей: она-то и представляла собою тему провокации, объединяющей обе стороны замысла и занимающей в нем центральное место.

«Петербург» был задуман как раз в те годы, когда провокационная деятельность департамента полиции была вскрыта и стала предметом общего негодования и отвращения. У Белого к этим чувствам примешивался и даже над ними доминировал ужас порядка вполне мистического. Полиция подстрекала

преступника, сама же за ним следила и сама же его карала, то есть действовала совершенно так, как темные силы, на которые Белый сваливал свои отцеубийственные помыслы. Единство метода наводило его мысль, точнее сказать — его чувство, на единство источника. Политическая провокация получала в его глазах черты демонические в самом прямом смысле слова. За спиной полиции, от директора департамента до простого дворника, ему чудились инспираторы потустороннего происхождения. Обывательский страх перед городовым, внушенный ему еще в детстве, постепенно приобретал чудовищные размеры и очертания. Полиция всех родов, всех оттенков, всех стран повергала его в маниакальный ужас, в припадках которого он доходил до страшных, а иногда жалких выходок. Ненастной весенней ночью, в пустынном немецком городке Саарове, мы возвращались от Горького к себе в гостиницу. Я освещал дорогу карманным фонариком. Единственный саaровский ночной сторож, старый инвалид, замученный мраком, дождем и скукой, брел по дороге шагах в десяти от нас, — должно быть, привлеченный огнем, как ночная бабочка. Вдруг Белый его увидел:

— Кто это?

— Ночной сторож.

— Ага, значит — полиция? За нами следят?

— Да нет же, Борис Николаевич, ему просто скучно ходить одному.

Белый ускорил шаги — сторож отстал. На нашу беду, в гостинице, куда примчались мы чуть не рысью, пришлось долго звонить. Тем временем подошел сторож. Он стоял поодаль в своем резиновом плаще с острым куколем. Наконец он сделал несколько шагов к нам и спросил, в чем дело. Вместо ответа Белый изо всех сил принялся дубасить в дверь своею дубинкой. Нам отперли. Белый стоял посреди передней, еле дыша и обливаясь потом.

* * *

Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже

больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и в разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцевском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал «Записки чудака», книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое.

С конца 1920 года я жил в Петербурге. Весной 1921 года переселился туда и он, там писателям было вольготнее. Ему дали комнату в гостинице на улице Гоголя, почти против бывшего ресторана «Вена», где почти четырнадцать лет тому назад мы обедали с Ниной Петровской. Он сторонился от поэтического Петербурга, подолгу гостя в Царском Селе у Иванова-Разумника. Возобновились наши свидания и прогулки — теперь уж по петербургским набережным. В белые ночи, в неизъяснимо прекрасном Петербурге тех дней, ходили мы на тихое поклонение Медному Всаднику. Однажды я водил Белого к тому дому, где умер Пушкин.

Как-то раз вбежал он ко мне веселый и светлый, каким я давно уже его не видал. Принес поэму «Первое свидание» — лучшее из всего, что написано им в стихах. Я был первым слушателем поэмы — да простится мне это горделивое воспоминание. Да простится мне и другое: в те самые дни написал он и первую свою статью обо мне — для пятого выпуска «Записок Мечтателей». То был последний выпуск, проредактированный еще Блоком, но вышедший уже после смерти Блока.

Он давно мечтал выехать за границу. Говорил, что хочется отдохнуть, но были у него и другие причины, о которых он мне тогда не сообщал и о которых я только догадывался. Большевики не выпускали его. Он нервничал до того, что пришлось обратиться к врачу. Он подумывал о побеге — из этого тоже ничего не вышло, да и не могло выйти: он сам всему Петербургу разболтал «по секрету», что собрался бежать. Его стали спрашивать: скоро ли вы бежите? Из этого он, разумеется, заключил, что чрезвычайка за ним следит, и разумеется — доходил до приступов дикого страха. Наконец, после смерти Блока и расстрела Гумилева,

большевики смутились и дали ему заграничный паспорт.

* * *

Еще в начале 1919 года он получил уведомление о том, что отныне порываются личные узы меж ним и некоторыми дорогими ему обитателями Дорнаха.

Этого удара он ожидал, но ему хотелось все-таки объясниться, кое-что выяснить в отношениях. Потому-то и рвался за границу.

Вторая цель поездки, тоже связанная с Дорнахом, была важнее. Надо иметь в виду, что значение и вес антропософского движения Белый чудовищно преувеличивал. Ему казалось, что от антропософов вообще и от Рудольфа Штейнера в особенности что-то в мире зависит. Вот он и ехал сказать братьям антропософам и их руководителю, «на плече которого некогда возлежал», о тяжких духовных родах, переживаемых Россией, о страданиях многомиллионного народа. Открыть им глаза на Россию почитал он своею миссией, а себя — послом от России к антропософии (так он выражался). Самая эта миссия, повторяю, может показаться делом нестоящим. Но Белый смотрел иначе, а нам важна психология Белого.

Что же случилось? По личному поводу с ним не только не захотели объясняться, но и выказали к нему презрение в форме публичной, вызывающей и оскорбительной нестерпимо. Что касается «посольства», дело обернулось еще хуже. Оказалось, что ни д-р Штейнер, ни его окружение просто не намерены заниматься такими преходящими и мелкими вещами, как Россия. Может быть, у Штейнера были и другие причины: он мог ожидать (и оказался бы в этом прав), что Белый отнюдь не ставит знака равенства между Россией и большевиками; меж тем дело как раз шло к Рапалльскому договору... Как бы то ни было, миссию Белого Дорнах решил игнорировать, и сам Штейнер явно уклонялся от свидания (чему опять же могли быть не только политические причины). Наконец в каком-то собрании, в Берлине, Белый увидел Штейнера. Подлетел — и услышал подчеркнуто обывательский вопрос, заданный отечески-снисходительным тоном:

— Na, wie geht's?[1]

Белый понял, что говорить не о чем, и ответил с презрительным бешенством:

— Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt![2]

Может быть, с того дня он и запил.

Он жил в Цоссене, под Берлином, недалеко от кладбища, в доме какого-то гробовщика (5). Мы встретились летом 1922 года, когда я приехал из России. Теперь он был совсем уже сед. Глаза еще более выцвели — стали почти что белыми.

С осени он переехал в город — и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen[3]. Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои «вариации» — искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались — в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья, отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому — чтобы через себя показать ее Дорнаху. Дорнах не выходил у него из головы. По всякому поводу он мыслию возвращался к Штейнеру. Однажды, едучи со мной в Untergrund'e[4] и нечаянно поступая вполне по-прутковски: русские, окружающим непонятные слова шепча на ухо, а немецкие выкрикивая на весь вагон, — он сказал мне:

— Хочется вот поехать в Дорнах да крикнуть д-ру Штейнеру, как уличные мальчишки кричат: «Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!»[5].

---

[1] — Ну, как дела? (*нем.*)

[2] — Затруднения с жилищным ведомством! (*нем.*)

[3] танцевальных залах (*нем.*).

[4] подземке (*нем.*).

[5] «Господин доктор, вы старая обезьяна!» (*нем.*)

Он словно старался падать все ниже. Как знать, может быть, и надеялся: услышат, окликнут... Но Дорнах не снисходил со своих высот, а Белый жил как на угольях. Свои страдания он «выкрикивал в форточку» — то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, порой полузнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гулякам, смазливым пансионским горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в некую Mariechen, болезненную, запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пивной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапищами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не понимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor — не простой человек. Возвращаясь домой, раздевался он догола и опять плясал, выплясывая свое несчастие. Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физическое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился.

Его охраняли, за ним ухаживали: одни из любопытства, другие — с истинною любовью. Из таких людей, опекавших его самоотверженно и любовно, хочу я назвать двоих: С.Г.Каплуна (Сумского), его тогдашнего издателя, и поэтессу Веру Лурье. К несчастию, он был упрямее и сильнее всех своих опекунов, вместе взятых.

Мы виделись почти каждый день, иногда с утра до глубокой ночи. Осенью появилась в Берлине Нина Петровская, сама полубезумная, нищая, старая, исхудалая, хромая. 8 ноября, как раз накануне того дня, когда исполнилось одиннадцать лет со дня ее отъезда из России, они у меня встретились, вместе ушли и вместе провели вечер. Оба жаловались потом. Даже безумства никакого не вышло. С ними случилось самое горькое из всего, что могло случиться: им было просто скучно друг с другом. То было последнее на земле свидание Ренаты с Огненным Ангелом. Больше они не встречались.

С середины ноября я поселился в двух часах езды от Берлина. Белый приезжал на три, на четыре дня, иногда на целую неделю. Каким-то чудом работал — чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще. Мы вместе придумывали для них заглавие. Наконец остановились на том, которое предложила Н.Н.Берберова: «Начало века».

Иногда его прорывало — он пил, после чего начинались сумбурные исповеди. Я ими почти не пользуюсь в данной статье, потому что в такие минуты Белый смешивал правду с воображением. Слушать его в этих случаях было так утомительно, что нередко я уже и не понимал, что он говорит, и лишь делал вид, будто слушаю. Впрочем, и он, по-видимому, не замечал собеседника. В сущности, это были монологи. Надо еще заметить, что, окончив рассказ, он иногда тотчас забывал об этом и принимался все рассказывать сызнова. Однажды ночью он пять раз повторил мне одну историю. После пятого повторения (каждое — минут по сорок) я ушел в свою комнату и упал в обморок. Пока меня приводили в чувство, Белый ломился в дверь: «Пустите же, я вам хочу рассказать...»

Впрочем, из всей совокупности его тогдашних истерик я понял одно: новая боль, теперешняя, пробудила старую, и старая оказалась больнее новой. Тогда-то мне и пришло в голову то, что впоследствии, по соображении многих обстоятельств, перешло в уверенность: все, что в сердечной жизни Белого происходило после 1906 года, было только его попыткой залечить ту, петербургскую, рану.

К весне он стал все-таки уставать. С горькой улыбкой говорил: «Надо жениться, а то кто меня пьяного в постель уложит?» Из Москвы приезжала антропософка К.Н.Васильева, звала с собою в Россию, к антропософской работе. Белый, прикрыв дверь от нее, шипел: «Хочет меня на себе женить». — «Да ведь вы сами хотите жениться?» — «Не на ней! — яростно хрипел он, — к черту! Тетка антропософская!»

Он еще не поехал, словно чашу свою хотел испить до конца. К осени 1923 года, кажется, он ее испил — и в самую последнюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Прежде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного «в постель уложить». Во-вторых — потому, что понял: в эмиграции у него нет и не будет аудитории, а в России она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда, после одной лекции, ему кричали из публики: «Помните, что мы здесь вас любим!»

* * *

Нельзя отрицать, что перед отъездом он находился в состоянии неполной вменяемости. Однако, как часто бывает в подобных случаях, сквозь полубезумие пробивалась хитрость. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами (многие тогда находились на таком положении) может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил совершенно бессмысленные поклепы на своего издателя. Вообще — искал ссор и умел их добиться. К несчастию, последняя произошла со мной. Расскажу о ней кратко, минуя некоторые любопытные, но слишком сложные подробности.

В связи с получением визы ему приходилось неоднократно посещать берлинские советские учреждения, где он до такой степени ругал своих заграничных друзей, что даже коммунистам стало противно его слушать. Один из них, некто Г., сказал об этом М.О.Гершензону, который как раз в это время тоже возвращался в Россию после лечения и тоже выхлопатывал себе визу. Гершензон, очень любивший Белого, был до крайности угнетен сообщением Г., которому, кстати сказать, нельзя было не верить, ибо он слово в слово повторял фразы, которые и нам приходилось слышать от Белого. Гершензон уехал значительно раньше Белого, но перед своим отъездом не вытерпел — рассказал мне все. Зная душевное состояние Бориса Николаевича, я решил стерпеть и смолчать, но в конце концов этого испытания не выдержал.

В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) — в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: «Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком». В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в Москве нашим другом и заступником и готов за нас *«пойти на распятие»*. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе и такого «мандата» ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, «всю жизнь» я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что «распинаться» за нас он не будет. Напротив...

По существу, он был не прав — даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его — несмотря на все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.

О том, как он жил в советской России, мне известно не много. Он все-таки женился на К.Н.Васильевой, некоторое время вел антропософскую работу. Летом 1923 года, в Крыму, гостя у Максимилиана Волошина, помирился с Брюсовым. В советских изданиях его почти не печатали. Много времени он отдавал писанию автобиографии.

История этой работы своеобразна. Еще перед поездкою за границу он прочел в Петербурге лекцию — свои воспоминания о Блоке. Затем он эти воспоминания переделывал дважды, каждый раз значительно расширяя. Вторая из этих переделок, напечатанная в берлинском журнале «Эпопея», навела его на мысль превратить воспоминания о Блоке в воспомина-

ния обо всей эпохе символизма. В Берлине он успел написать только первый том, рукопись которого осталась за границей и не была издана. В России Белый принялся за четвертую редакцию своего труда. Он начал с более ранней эпохи, с рассказа о детских и юношеских годах. Этот том вышел под заглавием «На рубеже двух столетий». За ним, под заглавием «Начало века», последовал первый том мемуаров литературных. Тут произошел в Белом психологический сдвиг, для него характерный. Еще в Берлине он жаловался на то, что работа, выраставшая из воспоминаний о Блоке, выходит слишком апологетической: Блок в ней прикрашен, «вычищен, как самовар». В Москве Белый решился исправить этот недостаток. Но в самое это время были опубликованы неприятные для него письма Блока — и он сорвался: апологию Блока стал превращать в издевательство над его памятью.

Он успел, однако же, написать еще один том, «Между двух революций», появившийся только в конце 1937 года, то есть почти через три года после его смерти. В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. Возможно, что он отчасти исходил из того положения, что если Блок оказался представлен в таком дурном виде, то остальные подавно стоят того же. Но, зная хорошо Белого, я уверен, что тут действовала еще одна своеобразная причина.

Прикосновенность к религии, к мистике, к антропософии — все это, разумеется, ставилось ему в вину теми людьми, среди которых он теперь жил и от которых во всех смыслах зависел. В автобиографии все это надо было отчасти затушевать, отчасти представить в ином смысле. Уже в предыдущем томе Белый явно нащупывал такие идейные извороты, которые дали бы ему возможность представить весь свой духовный путь как поиски революционного миросозерцания. Теперь, говоря об эпохе, лежавшей «между двух революций», он не только перед большевиками, но и перед самим собой (это и есть самое для него характерное) стал разыгрывать давнего, упорного, сознательного не только бунтовщика, но даже марксиста или почти марксиста, рьяного борца с «гидрой капитализма». Между тем объективные и общеизвестные факты его личной и писательской биографии такой кон-

цепции не соответствовали. Любой большевик мог поставить ему на вид, что деятельным революционером он не был и что в этом-то и заключается его смертный грех перед пролетариатом. И вот совершенно так, как в автобиографических романах он свою сокровенную вину перед отцом перекладывал на таинственных демонических подстрекателей, так и теперь всю свою жизнь он принялся изображать как непрерывную борьбу с окружающими, которые будто бы совращали его с революционного пути. Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей — и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольском виде бывших своих друзей. Его замечательный дар сказался и тут: все вышли похожи на себя, но еще более — на персонажей «Петербурга» или «Москвы под ударом». Не сомневаюсь, что он работал с увлечением истинного художника — и сам какой-то одной стороной души верил в то, что выходит из-под пера. Однако, если бы большевики обладали большею художественной чуткостью, они могли бы ему сказать, что как его квазиисторические романы в действительности суть фантастические, ибо в них нереальные персонажи действуют в нереальной обстановке, так же фантастична и его автобиография. Больше того: они могли бы ему сказать, что он окончательно разоблачил самого себя как неисправимого мистика, ибо он не только сочинил, исказил, вывернул наизнанку факты вместе с персонажами, но и вообще всю свою жизнь представил не как реальную борьбу с наймитами капитализма, а как потустороннюю борьбу с демонами. Автобиография Белого есть такая же «серия небывших событий», как его автобиографические романы (6).

Я совсем не хочу сказать, что он внутренне был чужд революции. Но, подобно Блоку и Есенину, он ее понимал не так, как большевики, и принимал ее — не в большевизме. Это, впрочем, особая, сложная и не мемуарная тема.

Умер он, как известно, 8 января 1934 года, от

последствий солнечного удара. Потому-то он и просил перед смертью, чтобы ему прочли его давнишние стихи:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Слушая в последний раз эти пророческие стихи, он, вероятно, так и не вспомнил, что некогда они были посвящены Нине Петровской.

Париж, 1934—1938

МУНИ

1

Я ВСЕ-ТАКИ БЫЛ

Самуил Викторович Киссин, о котором я хочу рассказать, в сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятьсот десятых годов. Не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли «фон» тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был «человеком толпы», отнюдь нет. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть «типом». Он был *симптом*, а не *тип*.

Мы познакомились в конце 1905 года. Самуил Викторович жил тогда в Москве, «бедным студентом», на те двадцать пять рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори», под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва до конца его жизни (хотя под конец он стал подписываться: С.Киссин). Так буду и я называть его здесь.

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно «открыли» друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Внешняя история Муниной жизни очень несложна. Он родился в октябре 1885 года, в Рыбинске, в еврейской семье небольшого достатка. Окончив Рыбинскую гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Летом 1909 года женился на Лидии Яковлевне Брюсовой, сестре поэта. В первые же дни войны был мобилизован, произведен в зауряд-военные чиновники и скончался в Минске, 28 марта 1916 года. След, им оставленный в жизни, как и в литературе, не глубок. Но — незадолго до смерти, с той иронией, которая редко покидала его, он сказал мне:

— Заметь, что я все-таки был.

2

ПРЕДВЕСТИЯ УПРАЗДНЯЮТСЯ

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе — тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство. Буржуа, вдруг ощутивший волю к «дерзаниям», накинулся на «вопросы пола». Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно надо всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Мы с Муни жили в трудном и сложном мире, который мне сейчас уже нелегко описать таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, предгрозовом воздухе тех лет было трудно дышать, нам все представлялось двусмысленным и двузначащим, очертания предметов казались шаткими. Действительность, распыляясь в сознании, становилась сквозной. Мы жили в реальном мире — и в то же время в каком-то особом туманном и сложном его отражении, где все было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обретало второй, который надобно было расшифровать. Он нелегко нам давался, но мы знали, что именно он и есть настоящий.

Таким образом, жили мы в двух мирах. Но, не умея раскрыть законы, по которым совершаются события во втором, представлявшемся нам более реальным, нежели просто реальный, — мы только томились в темных и смутных предчувствиях. Все совершающееся мы ощущали как *предвестия*. Чего?

Как и многим тогда, нам казалось, что вскоре должны «наступить события». Но, в отличие от многих других, наши предчувствия были окрашены очень мрачно. Мы сами не представляли себе вразумительно, что именно произойдет. Мы старались об этом не

говорить с посторонними. Но то, что проскальзывало, было неприятно. Нас не любили за «скептицизм» и «карканье». В одном стихотворном письме 1909 года Муни писал мне ясно:

Стихам Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли.

Мы были только неопытные мальчишки, лет двадцати, двадцати с небольшим, нечаянно зачерпнувшие ту самую каплю запредельной стихии, о которой писал поэт. Но и другие, более опытные и ответственные люди блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики плохих магов (а иногда и попросту шарлатанов), мы умели вызывать мелких и непослушных духов, которыми не умели управлять. И это нас расшатывало. В «лесу символов» мы терялись, на «качелях соответствий» нас укачивало. «Символический быт», который мы создали, то есть символизм, ставший для нас не только методом, но и просто (хоть это вовсе не просто!) образом жизни, — играл с нами неприятные шутки. Вот некоторые из них, ради образчика.

Мы с Муни сидели в ресторане «Прага», зал которого разделялся широкой аркой. По бокам арки висели занавеси. У одной из них, спиной к нам, держась правой рукой за притолоку, а левую заложив за пояс, стоял половой в своей белой рубахе и в белых штанах. Немного спустя из-за арки появился другой, такого же роста, и стал лицом к нам и к первому половому, случайно в точности повторив его позу, но в обратном порядке: левой рукой держась за притолоку, а правую заложив за пояс и т.д. Казалось, это стоит один человек — перед зеркалом. Муни сказал, усмехнувшись:

— А вот и отражение пришло.

Мы стали следить. Стоящий спиною к нам опустил правую руку. В тот же миг другой опустил свою левую. Первый сделал еще какое-то движение — второй опять с точностью отразил его. Потом еще и еще. Это становилось жутко. Муни смотрел, молчал и постукивал ногой. Внезапно второй стремительно повернулся и исчез за выступами арки. Должно быть, его позвали. Муни вскочил, побледнев, как мел. Потом успокоился и сказал:

— Если бы ушел наш, а отражение осталось, я бы не вынес. Пощупай, что с сердцем делается.

В другой раз мы шли по Тверской. Муни говорил, что у него бывают минуты совершенно точного предвидения. Но оно касается только мелких событий.

— Да что там! Видишь, вон та коляска. У нее сейчас сломается задняя ось.

Нас обгоняла старенькая коляска на паре плохих лошадей. В ней сидел седой старичок с такою же дамой.

— Ну что же? — сказал я. — Что-то не ломается.

Коляска проехала еще сажен десять, ее уже заслоняли другие экипажи. Вдруг она разом остановилась против магазина Елисеева посреди мостовой. Мы подбежали. Задняя ось была переломлена посредине. Старики вылезли. Они отделались испугом. Муни хотел подойти попросить прощения. Я насилу отговорил его.

В тот же день, поздно вечером, мы шли по Неглинному проезду. С нами был В.Ф.Ахрамович, тот самый, который потом сделался рьяным коммунистом. Тогда он был рьяным католиком. Я рассказал ему этот случай. Ахрамович шутя спросил Муни:

— А заказать вам нельзя что-нибудь в этом роде?

— Попробуйте.

— Ну, так нельзя ли нам встретить Антика? (В.М.Антик был издателем желтых книжек «Универсальной библиотеки». Все трое мы в ней работали.)

— Что ж, пожалуйста, — сказал Муни.

Мы приближались к углу Петровских линий. Оттуда, пересекая нам дорогу, выезжал извозчик. Поравнявшись с нами, седок снял шляпу и поклонился. Это был Антик.

Муни сказал Ахрамовичу с укором:

— Эх вы! Не могли пожелать Мессию.

Эта жизнь была утомительна. Муни говорил, что все это переходит уже просто в гадость, в неврастению, в душевный насморк. И время от времени он объявлял:

— Предвестия упраздняются.

Он надевал синие очки, «чтобы не видеть лишнего», и носил в кармане столовую ложку и большую бутылку брома с развевающимся рецептом.

3

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО (D'INACHEVÉ)

Муни не был ленив. Но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайной, он обладал к тому же огромным количеством познаний. Но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его: открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло — перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, — и у него опускались руки. Оказывалось, чего ни коснись — за все надобно было браться чуть не с пеленок, а теперь время уже упущено.

Писал он стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничто ни разу не было доведено до конца: либо он просто бросал, либо недорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Разумеется, он всегда был полон проектов, замыслов, планов. Шутя над собой, говорил, что у него, как у Козьмы Пруткова, главнейшие произведения хранятся в кожаном портфеле с надписью: «Из неоконченного (d'inachevé)».

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально. При таких взглядах он имел несчастие быть до конца правдивым — во всем, что касалось литературы. Будучи в душе мягок и добр, он старался скрывать свои мнения вовсе, но уж ежели приходилось — он их высказывал без прикрас. В литературном мире он был неприятен и неудобен. На авторских чтениях в кругу друзей, когда хочется выслушивать одни комплименты, хотя бы предательские, он иногда умудрялся испортить весь вечер, начавшийся так приятно. Его старались не приглашать, потому что боялись и не любили: все, от маленьких литературных мальчиков до мужей прославленных и увенчанных. Кажется, кроме меня, только Б.К.Зайцев да покойный С.С.Голоушев (Сергей Глаголь) умели к нему подойти с любовью. А он в ней очень нуждался.

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка я погляжу глазами. Голосом — смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что «это не так уж плохо». Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь!

Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне этакое читаешь?

И начинал разбор, подробный, долгий, уничтожающий. Если я слишком упорствовал, отстаивая свое творение, Муни, наконец, говорил:

— Хорошо, будь по-твоему. Напечатай и подпиши: Николай Поярков.

(Поярков был глубоко бездарный поэт, впрочем, несчастный и жалкий. Теперь его уже нет на свете.)

Должен признаться, что я относился к его писаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. «Едкие осуждения» мы по совести предпочитали «упоительным похвалам». Только с началом войны, когда Муни уехал, я стал понемногу освобождаться из-под его тирании. Я знал, что, как ни полезна мне Мунина строгость, все же в конце концов она меня и задушит. Иногда наезжая с войны, Муни замечал это и откровенно сердился, словно ревнуя к чему-то или к кому-то. Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону:

— Нет, прости, не приду.

— Почему?

— Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров.

И повесил трубку. Это был наш последний разговор. На другой день, не зайдя ко мне, он уехал, а еще через два дня его не стало.

4

ТЕНЬ ОТ ДЫМА

В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще — просто на улицах или в ресторанах. Нескончаемые беседы на нескончаемые темы привели к особому языку, состоявшему из цитат, намеков, постепенно сложившихся терминов. Друг друга мы понимали с полунамека, другие не понимали нас вовсе — и обижались. Но мы порой как бы утрачивали способность говорить на общепринятом языке. Надо признать, что, вероятно, в обществе мы были отчасти невыносимы.

Обычно вечер наш начинался в кафэ на Тверском бульваре, а кончался поблизости, на углу Малой Бронной, в Международном ресторане. В большой, безобразной зале, среди мелкошерстной публики, под звуки надрывисто-залихватского оркестра, в сени пыльных лавров, сперва за графином водки, потом за четвертинкой Мартеля, мы просиживали до закрытия. Тогда выходили на улицу и в любую погоду (что были нам дождь и снег?) скитались по городу, забредая в Петровский парк и в Замоскворечье, не в силах расстаться, точно влюбленные, по нескольку раз провожая друг друга до дому, часами простаивая под каким-нибудь фонарем, — и вновь начиная ту же прогулку. Был договор такой:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье, —

конец вечера или хоть конец ночи должен быть проведен вместе. Назначались свидания в три, в четыре, в пять часов ночи. В ясную погоду, весной и летом, происходили свидания «у звезды»: мы встречались на Тверском бульваре, когда светало и только из-за Страстного монастыря восходила утренняя звезда.

Все, что лежало за пределами этой *нашей* жизни, с ее символическим обиходом, воспринималось Муни как докучная смена однообразных и грубых снов. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не

суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими, в годы революции дважды побывала в типографии, однажды была вполне набрана, — и все-таки ее нет.

Все, за что брался Муни, в конце концов не удавалось и причиняло боль, — потому, вероятно, что и брался-то он с тайным страхом и отвращением. Все «просто реальное» было ему нестерпимо. Каждое жизненное событие тяготило его и непременно каким-то «другим концом» ударяло по нему. В конце концов все явления жизни превращались для него в то, что он звал «неприятностями». Он жил в непрерывной цепи этих неприятностей. Чтобы их избежать, надо было как можно меньше соприкасаться с действительностью. Бывало, о чем ни расскажешь ему, что ни предложишь — он отвечал, морщась: «Ну к чему это?» Он говорил, что ему противно и страшно «лить воду на мельницу действительности». Но всем живущим без этого страха и отвращения он завидовал. Однажды, осенней ночью, мы проходили мимо запертой Иверской часовни. На ступеньках сидели, стояли, лежали хромые, больные, нищие, расслабленные, кликуши. Муни сказал:

— Знают, чего хотят. А ко мне, не к стихам, а ко мне самому, каков я есть, надо бы поставить эпиграф:

Другие дым, я тень от дыма,
Я всем завидую, кто дым.

Самая смерть его в шуме войны прошла незамеченной. Еще и теперь иногда меня спрашивают: «А где сейчас Муни? Вы о нем ничего не знаете?»

5

СЕМИПУДОВАЯ КУПЧИХА

Муни состоял из широкого костяка, обтянутого кожей. Но он мешковато одевался, тяжело ступал, впалые щеки прикрывал большой бородой. У него были непомерно длинные руки, и он ими загребал, как горилла или борец.

— Видишь ли, — говорил он, — меня, в сущности, нет, как ты знаешь. Но нельзя, чтобы это знали другие, а то сам понимаешь, какие пойдут неприятности.

И кончал, по обыкновению, цитатой:

— Моя мечта — это воплотиться, но чтобы уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху.

В одном из его рассказов главный герой, Большаков, человек незадачной жизни, мучимый разными страстями и неприятностями, решает «довоплотиться» в спокойного и благополучного Переяславцева. Сперва это ему удается, но потом он начинает бунтовать, и, наконец, Переяславцев убивает его.

После одной тяжелой любовной истории, в начале 1908 года, Муни сам вздумал довоплотиться в особого человека, Александра Александровича Беклемишева (рассказ о Большакове был написан позже, именно на основании опыта с Беклемишевым). Месяца три Муни не был похож на себя, иначе ходил, говорил, одевался, изменил голос и самые мысли. Существование Беклемишева скрывалось, но про себя Муни знал, что, наоборот, — больше нет Муни, а есть Беклемишев, принужденный лишь носить имя Муни «по причинам полицейского, паспортного порядка».

Александр Беклемишев был человек, отказавшийся от всего, что было связано с памятью о Муни, и в этом отказе обретающий возможность жить дальше. Чтобы уплотнить реальность своего существования, Беклемишев писал стихи и рассказы; под строгой тайной посылал их в журналы. Но редакторы, только что печатавшие Муни, неведомому Беклемишеву возвращали рукописи, *не читая*. Только Ю.И.Айхенвальд, редактировавший тогда литературный отдел «Русской Мысли», взял несколько стихотворений незнакомого автора.

Двойное существование, конечно, не облегчало жизнь Муни, а усложняло ее в геометрической прогрессии. Создалось множество каких-то совсем уж невероятных положений. Наши «смыслы» становились уже не двойными, а четверными, восьмерными и т.д. Мы не могли никого видеть и ничего делать. Отсюда возникали бездействие и безденежье. Случалось, что за день, за два, а однажды и за три дня мы вдвоем выпивали бутылку молока и съедали один калач. В довершение всего, Муни бунтовал против Беклемишева («лез из кожи», как мы называли), и дело могло кончиться так, как впоследствии кончилось у Боль-

шакова с Переяславцевым. И вот однажды я оборвал все это — довольно грубо. Уехав на дачу, я написал и напечатал в одной газете стихи за подписью — Елисавета Макшеева. (Такая девица в восемнадцатом столетии существовала, жила в Тамбове; она замечательна только тем, что однажды участвовала в представлении какой-то державинской пьесы.) Стихи посвящались Александру Беклемишеву и содержали довольно прозрачное и насмешливое разоблачение беклемишевской тайны. Впоследствии они вошли в мою книгу «Счастливый домик» под заглавием «Поэту». Прочтя их в газете, Муни не тотчас угадал автора. Я его застал в Москве, на бульварной скамейке, подавленным и растерянным. Между нами произошло объяснение. Как бы то ни было, разоблаченному и ставшему шуткою Беклемишеву оставалось одно — исчезнуть. Тем дело тогда и кончилось. Муни вернулся «в себя», хоть не сразу. К несчастию, «беклемишевская история» и попытки «воплотиться в семипудовую купчиху» повлекли за собой другие, более житейские, события, о которых сейчас рассказывать не время. Однако мы жили в такой внутренней близости и в ошибках Муни было столько участия моего, что я не могу не винить и себя в этой смерти.

6

ОБУРЕВАЕМЫЙ НЕГР

Муни написал две маленькие «трагедии» довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга: на Зимней Канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-уок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же: «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я обуреваем». И еще: «Это-го ни-че-го не бу-дет».

В последнем действии на сцене изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине, за стеклом, виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют,

покачиваясь. Вдруг раздается треск, вагон останавливается. За сценою замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет:

— Случилось несчастие. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декорации устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется. Недовольные могут получить деньги обратно.

В этой «трагедии» Муни предсказал собственную судьбу. Когда «события», которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их «слишком реальными» декорациями. Последнею и тягчайшей «неприятностью» реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал:

— Кончено. Я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу.

Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту: в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами — в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться. Но его письма «оттуда» были полны отчаяния. «Реальность» насела на него самою страшной формой. Все попытки высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: «Ведь он в тылу. Чего же еще?» — и по-своему было право.

Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25 марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск, на рассвете 28 марта, Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная».

Однажды, осенью 1911 года, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попалось на глаза,

был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону:

— Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу.

Муни приехал.

В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как — помнишь? — ты, в пустой квартире у Михаила».

Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая: «наше» не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через сорок минут он умер.

Robinson, сентябрь 1926

ГУМИЛЕВ И БЛОК

Блок умер 7-го, Гумилев — 27 августа 1921 года. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему — я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим, реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга — и это не скрывали. Однако в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 года, в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжествен-

ной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленого и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее — все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

— В сущности, это не моя квартира, — отвечал Гумилев, — это квартира М. — Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям, Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, — любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стала называться «Лидиным», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 году я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму.

Посидев, сколько следовало для столь натянуто-

го визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки — в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А.Ф.Кони — и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах

чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

* * *

В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. Дом Литераторов, одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные «Дни русской культуры».) Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А.Ф.Кони, Н.А.Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители Дома Литераторов — Н.М.Волковыский, Б.И.Харитон, В.Я.Ирецкий. За столом президиума, в центре — Котляревский (председатель), по правую руку от него — Ахматова, Щеголев и я, по левую — Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.

Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности — заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под несочувственными взглядами битком набитого зала он

приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:

— Русское общество *не* должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно *не* встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.

По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.

Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение...» Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

— Не ожидал я от Блока такой бестактности.

Однако в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, хотя бы «тайную». И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.

Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако на этот раз в его опоздании на пушкинский вечер, и в его фраке (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он

уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.

Вечер был повторен три раза. Я наконец написал свою речь («Колеблемый треножник») и читал ее. «За кулисами», в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только в те вечера мы с ним говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета) так вышло, что в какой-то пустынной комнате, за холодным клеенчатым столом, просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С.М.Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор».

В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как будто с самим собою, смотря в глубь себя, очень сдержанно, порою — полунамеками, смутно, спутанно, но за его словами ощущалась суровая, терпковатая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.

* * *

Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были миросозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «сокрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл,

должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Недаром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика — Гумилева — обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю — Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной», казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых — Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Еще года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи — О.Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а не сочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, «Цех» заглох. В начале 1921 года Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет ли это *первый* «Цех», то есть беспартийный, или *второй*, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в Доме Искусств, много хворал и почти никого не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? — спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я там пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек. Читали стихи, разбирали их. «Цех» показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена — молодого стихотворца Нельдихена. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, притом — дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые
висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие
хозяйки —
О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож
на Байрона...

Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть: излияния Нельдихена уже были в славе. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь формальностью, до которых

Гумилев был охотник. Когда Нельдихен кончил, Гумилев в качестве «синдика» произнес приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустишие Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять, —

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в «Цехе». К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет.

— Не мое дело, — сказал он, — разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен — поэт, и мой долг — принять его в «Цех».

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Однако я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены «Цеха» — в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно — повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня

выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не подымать истории», чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами «Цеха», которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мешочнического и коммерческого свойства. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из правления не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из «Цеха».

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная Газета». В редакцию вошли А.Н.Тихонов, Е.И.Замятин и К.И.Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и «Цеха». Называлась она «Без божества, без вдохновенья». «Литературная Газета» прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов «из ничего».

Это был мой последний разговор с Блоком. Но издали я его видел еще один раз. 1 марта был назначен вечер его стихов в Малом театре. По советскому времени было уже почти восемь часов, по настоящему пять. Не спеша, шел я по Театральной улице, потому что люблю это время дня. Было светло и пустынно. В Чернышевом сквере я услыхал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас же — торопливый, но слабый голос:

— Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, задыхаясь, без умолку лепетала: о том, что волнуется за Сашу, что мы вот-вот опоздаем, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей (Чуковский должен был сказать вступительное слово). Потом — что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное — как бы нам только не опоздать! Наконец мы пришли. Места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала — должно быть, на сцену.

Во втором отделении, после антракта, вышел Блок. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и стал читать, по обыкновению пряча в карман то одну, то другую руку. Он прочитал лишь несколько стихотворений — с проникновенною простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина: «с важностью». Слова он произносил очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, лишь тем, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему хлопали, он не высказывал ни благодарности, ни притворного невнимания. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. Последним он прочитал «Перед судом» — одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?
Посмотри, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала — в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать»! «Двенадцать»! — но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал) — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные

интонации. Публика требовала, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было. Может быть, с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно, так разительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти к нему за кулисы.

Через несколько дней, уже больной, он уехал в Москву. Вернувшись, слег и больше уже не встал.

В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

Вероятно, тот, кто первый сказал, что Блок задохнулся, взял это именно отсюда. И он был прав. Не странно ли: Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, его лечили врачи — и никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого что был болен весь, оттого что не мог больше жить. Он умер от смерти.

* * *

Мой уход из «Цеха Поэтов» не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в Доме Искусств, и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он как птица небесная, гово-

рил — что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать «Дом Поэтов» (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь — из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по Дому Искусств. Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще не свойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В.И.Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

— Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

— Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе — и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам, у костров, собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть «Коробейников», которых он так любил. Странно — никто не знал «Коробейников».

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей.

В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу

«Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении публика стала вызывать:

— Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

Париж, 1931

ГЕРШЕНЗОН

Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнею ночью, в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мною калитку, Гершензон пошутил:

— Вот какой вы народ, поэты: мы о вас пишем, а нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи об нас, об историках.

— Погодите, Михаил Осипович, вот я напишу о вас.

Он усмехнулся в усы:

— Не напишете. Ну, покойной ночи.

— Покойной ночи.

Я потом всегда помнил свое обещание, не раз брался и за стихи — да так и не написал их: все казалось мне слабо и недостойно его.

Но все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение «2-го ноября». Речь идет о том дне, когда, после октябрьского переворота, люди в Москве впервые

Повыползли из каменных подвалов
На улицы.

Дальше — рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осиповичу:

К моим друзьям в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома,—
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.

Книжка вышла в 1920 году, и Гершензон тогда же читал ее, но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 году, посылая ему из Петербурга 2-е издание, дополненное, я внутри, на полях, против приведенных строк, приписал: «Это про Вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и вышло. 23 октября 1924 года он писал мне: «Не знаю, где вы теперь... Сижу дома, хожу по комнате, читаю, — сегодня читал Ваше “Путем зерна”».

Вероятно, он взял именно второе издание, прочел, увидел мою приписку — и захотел написать мне.

Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 года. Я ответил на него спустя несколько дней — но сам уже не получил ответа: Гершензон умирал.

* * *

Летом 1915 года я послал Гершензону оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевностью. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его — все же не представлял себе Гершензона иначе, как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются «солидные ученые». Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором *единственной* статьи о Пушкине.

Однако приехавший вскоре Б.А.Садовской пришел ко мне как-то вечером и сказал:

— Пойдемте завтра к Гершензону. Он вас зовет.

Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травою двор. Во дворе направо — сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет в глубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее — семья его. Небольшая столовая служит и для «приемов». А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно.

Хоть и ободренный письмом и зовом (через Садовского) — все же впервые пришел я сюда не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых семь лет, до последнего дня пред отъездом моим из России, ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами, и новыми стихами, и задуманными работами, и, кажется, всеми огорчениями и всеми радостями — хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много.

* * *

Маленький, часто откидывающий голову назад, густобровый, с черной бородкой, поседевшей сильно в

последние годы; с такими же усами, нависающими на пухлый рот; с глазами слегка навыкате; с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенснэ; с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, — наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал. Говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такою в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко-еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оканием заправского волгаря.

Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала не много мебели. Две невысокие (человеку до пояса) книжные полки; два стола: один — вроде обеденного, но не большой, другой — письменный, совсем маленький; низкая, плоская кровать у стены, с серым байковым одеялом и единственной подушкой; вот и все, кажется, если не считать двух венских стульев да кожаного, с высокою спинкой, старинного кресла. В это кресло (левая ручка всегда отскакивает, расклеилась) Гершензон усаживает гостя. Оно — историческое, из кабинета Чаадаева.

Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин (фототипия) да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть — Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости, но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги — только самые необходимые для текущей работы; прочие — в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего.

* * *

Кончая гимназию, Гершензон мечтал о филологическом факультете, но отец не хотел и слышать об этом. В восьмидесятых годах, да и позже, для филолога было два пути: либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство, иначе говоря — служба по министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик Гершензон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию,

где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение, по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два — и не вынес: послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателем. Потому вольнослушателем, что в число студентов попасть не мечтал: под процентную норму подходили лишь те, кто кончал гимназию с золотой медалью; у Гершензона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное: из министерства получен ответ, что Гершензон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая: на филологический факультет евреи не шли, и прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея: он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершензона бедой: отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в «чудо» и решил, что Михаил Осипович *уже крестился*. Кончилось дело если не родительским проклятием, то во всяком случае — полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские стогны Гершензон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут — снова беда: дисциплина была в те времена нешуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять: дали Гершензону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже... за неимением форменного пальто, ему дали николаевскую шинель! Николаевскую шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с пелериной, доходившей ему чуть не до колен! Она была ему так непомерно велика, что:

— Вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках!

Так началась ученая карьера Гершензона и его бедность.

* * *

Тыча себе тремя пальцами куда-то «под ложечку», туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершензон говорит:

— Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром, до сих пор: а выше всегда спокоен и ясен.

Житейские тревоги часто доходили ему «под табак». Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа.

Это, однако ж, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых «людей мысли». Не притворялся и бессребреником. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя «в этом деле максималистом». Книжная лавка писателей стоном стонала, когда, в 1919 году, он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки.

В тяжкие годы революции он занимался «полезными изобретениями». Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком и, таким образом, заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающийся: ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе, без дров. Можно и суп.

Дело прошлое: знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками *ничего* не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, — не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но — ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг — так весело поглядит — и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя.

* * *

Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было

сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, — но дурею; кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу — тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, — а я ничего не понимаю и отвечаю невпопад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика — с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся.

Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весною семнадцатого года мы с ним однажды отправились в Художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Камергерскому переулку. Вечер только еще наступал. Магазины сияли. По тротуарам сплошной стеной шел народ — главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился:

— Послушайте, это что за улица?

— Михаил Осипович, что с вами? Да ведь это Тверская.

— Тверская? Ага! Фу-ты, какая здесь роскошь, однако!

Его понятия о «роскоши» были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен во всем, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве. В 1920 году мы жили в одном санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою. Но — на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая:

— Фу-ты, какой он франт!

Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать «роскошное» платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатывались со смеху, слушая модные наблюдения Михаила Осиповича: выходило, что дама одета была в каких-то одних только «позументах» и «декольте».

Летом 1923 года, в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом:

— Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я было вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафэ, выпить стакан кофе. Но после одумался: ведь отец семейства!..

Это было сказано без малейшей иронии, совершенно серьезно.

Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм.

* * *

Те, кто прожил в Москве самые трудные годы — восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, — никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем. Но поставив Союз на ноги и пожертвовав этому делу огромное количество времени, труда и нервов, — он сложил с себя председательство и остался рядовым членом Союза. И все-таки в самые трудные минуты Союз шел все к нему же — за советом и помощью.

Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду — и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон — плохо мне было бы в 1916—1918 годах, когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги; Гершензон, а не кто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке — и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой, без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением.

Доброта не делала его ни пресным, ни мягкоте-

лым. Был он кипуч, порывист и любил правду, всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, — прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден — но и не сглаживал углов, не золотил пилюль.

— Начистоту! — покрикивал он, — начистоту!

Это было одно из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона, и в его доме, и в его отношении к детям — была эта *чистота правды.*

* * *

При всей доброте, не был он слеп. В людях тщательно разбирался и, не будучи по природе обидчиком, — просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но если не находил — вычеркивал человека из своего обихода.

При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал:

— Он похож на магазин с вывеской: «любой предмет — пятьдесят копеек на выбор».

Однажды я высказал удивление: зачем X, что бы ни писал, — поминает про свою ссылку в Сибирь?

— Ну как же вы не понимаете? — сказал Гершензон. — Это же его орден; орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром.

Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего Поля к Арбатским Воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг, в начале Арбата, он кинулся к выходу. Я его стал удерживать:

— Куда вы? нам еще две остановки.

— Нет, нам слезать!

И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинулся:

— Зачем вы меня удерживали? Что ж, вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет, уж лучше дойдем пешком.

— Да кто это?

— Профессор Р.: самый надутый дурак, какого я знаю.

Не выносся глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, — он был незлобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: «Новое о стихосложении Пушкина». Книжка, однако ж, была завернута в номер не то «Земщины», не то «Русской Земли» — с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смеялся, а говоря о Боброве, всегда прибавлял:

— А все-таки человек он умный.

* * *

Еще в начале знакомства он вдруг спросил:

— У вас хороший характер?

— Неважный.

— Ну, значит, скоро поссоримся: у меня ужасный характер. Вот вы увидите.

Слава Богу, мы не поссорились. «Ужасного» в его характере оказалось одно: упрямство. В общем он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними. Но часто бывало иначе: он вдруг безнадежно махал рукой и, воскликнув: «Бог знает что вы говорите!» — резко переходил на другую тему.

Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два «пунктика», против которых не помогало ничто: во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения; во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это — пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе: безвкусица. Но Гершензон настаивал на пошлости. Так и не сговорились.

Дважды мне довелось делать с ним общую работу; иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж надо отдать справедливость: в тех случаях, когда уступать приходилось ему, — он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли: признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь более верный.

Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. В свои историко-литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для *проверки догадок*, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его «Мудрость Пушкина» оказалась в известной мере «мудростью Гершензона». Но — во-первых, это все-таки «мудрость», а во-вторых — то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано только им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, «что и не снилось нашим мудрецам». Но, конечно, бывали у нас и такие, примерно, диалоги:

Я. Михаил Осипович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так.

Гершензон. А я знаю, что это так!

Я. Да ведь сам Пушкин...

Гершензон. Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть — и еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия.

К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы об Огареве, Печерине, Герцене. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он «чувствовал» умерших как живых. Однажды, на какое-то мое толкование стихов Дельвига, он возразил:

— Нет, у Дельвига эти слова означают другое: ведь он был толстый, одутловатый...

* * *

Он терпеть не мог, чтоб его называли критиком. «Я историк, а не критик», — поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей особенно восхищался Андреем Белым; Вячеслав Иванов, Сологуб, Блок были его любимыми поэтами; высоко ставил и лично любил А.М.Ремизова, любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. В общем же был широк и старался

найти хорошее даже в писателях, внутренно ему чуждых.

За девять лет нашего знакомства я привык читать или посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна — и беспощадна. Резко, «начистоту» высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бранил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона. Ибо знал, что и брань, и похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать.

Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения (7). Страдания были сильные. Он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище. На его могиле можно бы написать слова из послания Пушкина к Чаадаеву:

Всегда мудрец, а иногда мечтатель.

Сорренто, 12 апреля 1925

СОЛОГУБ

И верен я, отец мой, Дьявол,
Обету, данному в злой час,
Когда я в бурном море плавал
И Ты меня из бездны спас.
Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восставлю
И, соблазняя, соблазню.

Федор Сологуб

У тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной
хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.

Федор Сологуб

Он был сыном портного и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена «выйти в люди» человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того много больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появился — древний и молчаливый. «Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений...» — так начинает он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книге стихов. Кто-то рассказывал, что Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал — и не слышал. Молчал. Закрывал глаза. Засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем.

Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, — большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые, висящие вниз усы. Пенснэ на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом:

— А вы все еще существуете?

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил.

А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя, в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел.

* * *

Обычно в творчестве поэта легко проследить изменение формальных навыков. Разнятся темпы таких изменений: у некоторых поэтов медленней, у других быстрее; у одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. Разнятся и направления, в которых совершается эволюция формы: один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности; одни расширяют словарь свой, другие суживают; одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют; одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие (это случается совсем не так редко, как принято думать) — напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и главное — они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и непо-

вторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует.

Сейчас нам известны стихи Сологуба за сорок лет. Он писал очень много, быть может — слишком. Число его стихотворений выражается цифрой, во всяком случае, четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книги, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими, признаками (но иногда чисто просодическими: такова его книга, составленная из одних триолетов). Составлял книги приблизительно так, как составляют букеты; запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты или разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб, несомненно, знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты.

Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 до 1911 года. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка — и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых двадцать восемь лет. И снова — не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив: все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить бо́льшую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах — да и то разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу «нашел себя», сразу очертил круг свой — и не выходил из него. С годами ему только легче и

лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным.

Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически немолодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь — без молодости, его поэзия — без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживя физически, других он пережил поэтически: умер *в полноте* творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе.

* * *

Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от «сатанических» пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в «просветлении» Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой декадентский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий.

Не спорю: такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция — наш конек. Открыли «эволюцию» — и можем с чистым сердцем хвалить покойника: хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться.

К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба: ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать наличность у Сологуба этих «просветленных» и «примиренных» мотивов, в частности — его любви к России. Но видеть в них «эволюцию» я бессилен. Эволюция была бы налицо, если б эти мотивы составляли характерный и исключи-

тельный признак сологубовской поэзии последнего периода; если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастание, наконец — то, как ими вытесняются прежние, с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые, в случае эволюции, должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, — на самом деле существовали всегда или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным «просветлением» Сологуба.

Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб будто бы в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, «прогнавшему скорбные думы», не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любование речкой с купающимися ребятами не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов! А вот это:

Не забудем же дорог
В Божий радостный чертог,
В обиталище блаженных,
И пойдем под Божий кров
Мы в толпе Его рабов,
Терпеливых и смиренных.

Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам — в 1898 году? А вот — о земле:

Вы не умеете целовать мою землю,
Не умеете слушать Мать Землю сырую
Так, как я ей внемлю,
Так, как я ее целую.

О, приникну, приникну всем телом
К святому материнскому телу,
В озарении святом и белом
К последнему склонюсь пределу, —

Откуда вышли цветы и травы,
Откуда вышли вы, сестры и братья.

Только мои лобзанья чисты и правы,
Только мои святы объятья.

Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в «Пламенном Круге».

Неверно и то, что будто бы «декадент» Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно озаглавленная: «Родине». Тогда же появились и «Политические сказочки», свидетельницы о том, что «певец порока и мутной мистики» не чуждался реальнейших вопросов своего века.

И в 1911 году он писал:

Прекрасные, чужие, —
От них в душе туман;
Но ты, моя Россия,
Прекраснее всех стран.

Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней.

Обратно: так ли уж он до конца, весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу?

Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклоненья, —
И наша слабость,
Земная слабость
Алтари ему воздвигала.
Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Вельзевулом и Молохом.

Это сказано в большевицкой России, за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное:

Знаю знанием последним,
Что бессильна эта тьма,
И не верю темным бредням
Суеверного ума.

Посягнуть на правду Божью —
То же, что распять Христа,
Заградить земною ложью
Непорочные уста.

Или:

В ясном небе — светлый Бог Отец,
Здесь со мной — Земля, святая Мать...

Но — через несколько страниц снова:

Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей.

А пока что — восхваляя пройденный им на земле «лукавый путь веселого порока», Сологуб приглашает: «Греши со мной».

По совести — очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного «прогресса» мы в творчестве Сологуба не найдем — так же, как и «регресса». Тем-то и примечательна, между прочим, его поэзия, что она — без какой бы то ни было эволюции. Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу. Но именно того, как и когда *слагался* Сологуб, — мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся — и таким пребывшим до конца. Его «сложение» очень сложно; оно как будто внутренно противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу всегда неизменно. Как жизнь Сологуба — без молодости, как поэзия — без ювенилий, так и духовная жизнь — без эволюции.

Сологуб кощунствовал и славословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда: будто Сологуб от чего-то «шел» и к чему-то «пришел», от кощунств к славословиям или от славословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось, противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении

скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально и верно и какие в нем самом были противоречия. Оно — ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает.

«Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю свою душу», — говорит Сологуб в предисловии к «Пламенному Кругу» — и не устает повторять это в стихах и в прозе.

Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преображений. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное *Я*: «Ибо все и во всем — *Я*, и только *Я*, и нет иного, и не было, и не будет». «Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимыя и вовеки вожделенныя». В процессе этого нескончаемого восхождения *Я* созидает миры видимые и невидимые: вещи, явления, понятия, добро и зло, Бога и дьявола. И добро, и зло, и Бог, и дьявол — только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью — переходом к новому циклу:

И все, что жило и дышало
И отцвело,
В иной стране взойдет сначала,
Свежо, светло.

То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержала для него великое множество переживаний, «восторгов», говоря его словом (и словом Пушкина). То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, Богу. И очарования зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса («горькими»).

Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в «нескончаемой лестнице совершенств», она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной — как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни, им раньше пройденные. Но неверно распрост-

раненное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла — только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к «лестнице совершенств». По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, эта жизнь — Ева, «бабища дебелая и румяная». Это — грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон-Кихоту. Но и в следующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в «обителях навеки недостижимых и вовеки вожделенных».

Где ж эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя «земля Ойле». Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает:

Звезда Маир сияет надо мною,
    Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
    Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира,
    Земля Ойле,
И ясен свет мерцающий Маира
    На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,
    Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
    Своей волной.

Бряцанье лир, цветов благоуханье,
    Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
    Хваля Маир.

Был ли сам он утешен своей «лестницей»? Я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несуществен. Однажды обретенной им для себя истине он смотрел в глаза мужественно, и, во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, «лестница» иногда казалась ему скучновата. Утомительна и сурова — это уж непременно:

Кто смеется? Боги,
Дети да глупцы.
Люди, будьте строги,
Будьте мудрецы,
Пусть смеются боги,
Дети да глупцы.

Сам он, впрочем, часто шутил. Но шутки его всегда горьки и почти всегда сводятся к каламбуру, к улыбке слов. «Нож да вилка есть, а нож-резалка есть?» «Вот и не поймешь: ты Илия или я Илия?» «Она Селениточка — а на селе ниточка». Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит. А если видит, то страшные или злые.

* * *

Несовершенна, слишком несовершенна казалась Сологубу жизнь. «Земное бремя — пространство, время» слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали: «мелкого беса» видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. «Это он о себе», — намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно: «Нет, мои милые современники, это о вас».

О нем было принято говорить: злой. Мне никогда не казалось, однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее — он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером (я сам не имел случая на него жаловаться), Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906 или 1907 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, то есть лет через семнадцать, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес, по обыкновению своему, чрезвычайно экзальтированную, бурно-восторженную речь (передаю со слов одного из присутствовавших). Закончив, Белый осклабился улыбкой столь же восторженной и

неискренной, как была его речь, и принялся изо всех сил жать Сологубу руку. Сологуб гадливо сморщился и произнес с расстановкой, сквозь зубы:

— Вы делаете мне больно.

И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил (8).

В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать:

Быть с людьми — как бремя!
О, зачем же надо с ними жить,
Отчего нельзя все время
Чары деять, тихо ворожить?

Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но, в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встречах, на его любезное, впрочем — суховатое обращение, я както старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу, в конечном счете, решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей.

На Ойле, далекой и прекрасной,
Вся мечта и вся любовь моя...

На земле знавал он только несовершенный отсвет любви ойлейской.

* * *

Впрочем, двух людей, двух женщин, он любил — и обеих утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал:

...Рассказать, чем сердце жило,
Чем болело и горело,
И кого оно любило,
И чего оно хотело.

Так мечтаешь хоть недолго
О далекой, об отцветшей.
Имя сладостное Волга
Сходно с именем ушедшей.

Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частию в Костроме, частию в Петербурге. Мечтой их было уехать из советской России, где господствовали, по его выражению, «вчеловеченные звери». Сологуб писал:

Снова саваны надели
Рощи, нивы и луга.
Надоели, надоели
Эти белые снега,

Эта мертвая пустыня,
Эта дремлющая тишь!
Отчего ж, душа-рабыня,
Ты на волю не летишь,

К буйным волнам океана,
К шумным стогнам городов,
На размах аэроплана,
В громыханье поездов,

Или, жажду жизни здешней
Горьким ядом утоля,
В край невинный, вечно-вешний,
В Элизийские поля?

Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому (кажется, двоюродной сестрой). Весной 1921 года Луначарский подал в Политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Ходатайство было поддержано Горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times'е, а Сологуб — ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т. д.

Копия этого письма, датированного, кажется, 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и

показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку: Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержало. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны: когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда, в припадке меланхолии она бросилась в Неву с Тучкова моста (9).

Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиною месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор — на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб «ужинает в незримом присутствии покойницы». В ту пору я видел его два раза: вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны — у П.Е.Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 года — у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия.

Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали (в последние три года — вовсе нигде), но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, духовно торжествовал над ней. Недаром, упорствуя, не сдаваясь, в холоде и голоде, весной 1921 года, в двенадцать дней, написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто бы даже немыслимый цикл стихов: двадцать семь пьес в стиле французских бержерет. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он во дни «пролетарского искусства» выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над «злою жизнью»:

Тирсис под сенью ив
Мечтает о Нанетте
И, голову склонив,
Выводит на мюзетте:
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь.

И эхо меж кустов,
Внимая воплям горя,

Не изменяет слов,
Напевам томным вторя:
Любовью я, — тра, та, там, та, — томлюсь,
К могиле я, — тра, та, там, та, — клонюсь...

Париж, январь 1928

ЕСЕНИН

Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием: «Стихи. 1920—24». Тут были собраны пьесы новые — и не совсем новые, то есть уже входившие в его сборники. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии.

Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. Я и начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике — итог целой жизни и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. Тогда я перечел «Собрание стихов и поэм» его — первый и единственный том, изданный Гржебиным. А когда перечел, то понял: *сейчас* говорить об Есенине невозможно. Книжка, меня (и многих других) взволновавшая, есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные; они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны; мне показалось, что, так ли, иначе ли, — судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них — значило либо недоговаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решил ждать, что будет. К несчастию, ждать оказалось недолго: в ночь с 27 на 28 декабря, в Петербурге, в гостинице «Англетер», «Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь».

* * *

Он родился 21 сентября 1895 года, в крестьянской семье, в Козминской волости, Рязанской губернии и

уезда. С двух лет, по бедности и многочисленности семейства, был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с шестнадцатилетнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу.

В своей автобиографии он рассказывает: «18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий... Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова».

«Грянул» он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей Козминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А «идеи» если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались.

В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он, в сущности, не знал. Для него родина — своя деревня да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае — ряд таких деревень: избяная Русь, родная сторонушка, не страна: единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия — Русь, Русь — деревня.

Для обитателей этой Руси весь жизненный подвиг — крестьянский труд. Крестьянин забит, нищ, гол. Так же убога его земля:

Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.

Такой же нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог:

Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил Он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом, в дуброве,
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой, —
Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь...
И сказал старик, протягивая руку:
— На, пожуй... маленько крепче будешь.

Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог — отец. Земля — мать. Сын — урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинающий Есенин — полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетою в традиционные образы христианского мифа. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о *христианстве* Есенина было бы рискованно. У него христианство — не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих:

Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожно и светло.
Плещет алый мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

Вот оно: небо — корова; хлеб, урожай — телок; небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожае. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная

и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить.

* * *

В конце 1912 года, в Москве, стал ко мне хаживать некий X. Называл он себя крестьянским поэтом; был красив, чернобров, статен; старательно окал, любил побеседовать о разных там яровых и озимых. Держался он добрым молодцем, Бовой-королевичем. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От С.В.Киссина (Муни), покойного моего друга, я знал, что X в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник.

В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило, позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. X не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывало, придет — на все лады извиняется: да можно ли? да не помешал ли? да, пожалуй, не ко двору пришелся? да не надоел ли? да не пора ли уж уходить? А сам нет-нет да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так: поучить, наставить. Потому что — нам где же, мы люди темные, только вот, разумеется, которые ученые — они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да... Любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно ужо — красного петуха (неизвестно, что: пус*тят* или пус*тим*). Чтобы, значит, был царь — и мужик, больше никого. Капиталистов под жабры, потому что жиды (а Вы сами, простите, не из евреев?) и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеною завладеть. Интеллигенции — земной поклон за то, что нас, неучей, просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим: вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных — тоже: это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь — она вся хрестьянская, да. Мужик — что? Тьфу, последнее дело, одно слово — смерд. А только ему полагается первое место, потому что он — вроде как соль земли...

А потом, помолчав:

— Да. А что она, соль? Полкопейки фунт.

Муни однажды о нем сказал:

— Бова твой подобен солнцу: заходит налево — взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке.

Меж тем Х изнывал от зависти: не давали ему покою лавры другого мужика, Николая Клюева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги: одну — с предисловием Брюсова, другую — со вступительной статьею В.Свенцицкого, который без обиняков объявил Клюева *пророком*.

Действительно, гораздо более даровитый, чем Х, Клюев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь: Городецкий о нем звонил во все колокола. Х, понятно, не усидел: тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло: в пророки он не попал и вскоре вернулся, — однако не без трофея: с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Клюевым: все трое — в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре, в одном из своих очерков петербургской литературной жизни, хорошо рассказал Г.Иванов:

«Приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге?

— Слава тебе Господи, не оставляет Заступница нас, грешных. Сыскал клетушку, — много ли нам надо? Заходи, сынок, осчастливь. На Морской за углом живу.

Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте, при воротничке и галстуке, и читал Гейне в подлиннике.

— Маракую малость по-басурманскому, — заметил он мой удивленный взгляд. — Маракую малость. Только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей. Да что ж это я, — взволновался он, — дорогого гостя как принимаю. Садись, сынок, садись, голубь. Чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас. А то, — он подмигнул, — если не торопишься, может, пополуд-

ничаем вместе? Есть тут один трактирчик. Хозяин хороший человек, хоть и француз. Тут, за углом. Альбертом зовут.

Я не торопился. "Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, — сейчас обряжусь..."

— Зачем же вам переодеваться?

— Что ты, что ты — разве можно? Ребята засмеют. Обожди минутку — я духом.

Из-за ширмы он вышел в поддевке, смазных сапогах и малиновой рубашке: "Ну вот, — так-то лучше!"

— Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят.

— В общую и не просимся. Куда нам, мужичкам, промеж господ? Знай, сверчок, свой шесток. А мы не в общем, мы в клетушку-комнатушку, отдельный то есть. Туда и нам можно».

Вот именно в этих клетушках-комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский style russe, не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для Городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня: он уже побывал к тому времени и символистом, и мистическим анархистом, и мистическим реалистом, и акмеистом. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламно. Но Клюев, хоть и «маракал по-басурманскому», был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его Городецкий, в действительности не бывает, — но барину не перечил: пущай забавляется. А сам между тем не то чтобы вовсе тишком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу Городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам, — выжидал. Чего?

* * *

То, что мой X выбалтывал несуразно, отрывочно и вразброд, можно привести в некоторую систему. Получится приблизительно следующее.

Россия — страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика, — накипь, которую надо

соскоблить. Мужик — единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник — все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высижены в Петербурге чиновниками, он отменит, ради своих законов, неписаных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит и вместо церкви синодской построит новую — «земляную, лесную, зеленую». Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана-Дурака в Ивана-Царевича.

Такова программа. Какова же тактика? Тактика — выжидательная. Мужик окружен врагами: все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее, решающее слово. Следовательно, пока что ему не по дороге ни с кем. Приходится еще ждать: кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит — это пока все равно: хулиган ли мастеровой пойдет на царя, царь ли кликнет опричнину унимать беспокойную земщину — безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли — все солома. Только бы полыхнуло.

Такова была клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то чтобы простоват — а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, несознанно, в клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно: плохо мужику и плохо мужицкому Богу. В Петербурге его просветили: ежели плохо, так надобно, чтобы стало лучше. И будет лучше: дай срок — подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив:

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь.

. . . .

Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси — в ряду с Алексеем Кольцовым, «смиренным Миколаем» Клюевым и беллетристом Чапыгиным:

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Грядущее уничтожение «смердящих снов», установление «иной крепи» видится Есенину еще смутно. «Звездный шум», который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по-разному. Но Есенин уверен в одном: что

...не избегнуть бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури
Кольцом незримых врат.

Освобожденная Русь — град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через «бурю», в которой развернется мужицкая удаль. Иначе сказать — через революцию. Появление этого сознания — важнейший этап в душевной биографии Есенина.

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и с самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась, но — это нужно заметить — в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И, пока она длилась, Городецкий и Клюев явно ориентировались направо. Книга неистово патриотических стихов Городецкого «Четырнадцатый год» у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок: золотое перо. Он возил и Клюева в Царское Село, туда, где такой же мужичок, Григорий Распутин, норовил пустить красного петуха сверху. От клюевщины несло распутинщиной.

Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Клюева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он сусальным мужичком, носил щегольские сафьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком; на шнуре висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Клюева и Есенина в трамвае, в Москве, когда приезжали они читать стихи в «Обществе Свободной Эстетики». Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. От ориентации на Царское Село — тоже.

* * *

Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше и которая писана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива».

По-видимому, эта вторая, московская, автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важное отличие от берлинской: на сей раз Есенин в особом, дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал: именно — о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915—1917 годов. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах: например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому: 3 октября вместо 21 сентября; *церковно*-учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто, — и т.п. Что же касается неприятной темы о сношениях с Царским Селом — то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для

Есенина настал, наконец, момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. (Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина.) Так ли, иначе ли, — Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное.

«В 1916 году был призван на военную службу», — пишет Есенин. «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском, недалеко от Разумника-Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее».

Тут, несомненно, многое сказано — и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно, были какие-то связующие звенья, а главное — обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто «по просьбе Ломана». По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно-нервозном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкции «Друга» или его кругов. Ей было, во всяком случае, не до стихов, тем более — никому неведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно — а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе: это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан и которые были близки к императрице... Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царскосельских кружков: он, как-то вскользь, бросает фразу о том, что жил в Царском «недалеко от Разумника-Иванова». Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним Разумником-Ивановым.

Далее Есенин пишет: «Революция застала меня

5—3400

на фронте, в одном из дисциплинарных баталионов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) — трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей, предлагал мне купить у него или выменять раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году, и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 — в начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно — и уж во всяком случае, разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона.

Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает хоть и очень темно и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было «в грозе и буре патриотизма» и что оно пришлось «кстати» для *«общества распутинской складки»*, Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи. О том, что дело шло о стихах в честь государя, Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что, когда «юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон». Это значит, конечно, что за какой-то «бунт», может быть под пьяную руку, офицеры попугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, «избежал». Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих при-

дворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон. Таким образом, он выставлял себя как бы даже «революционером».

Излагая дальнейшую жизнь Есенина, Устинов рассказывает, что при Временном правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября «повернулся лицом к большевицким Советам». В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в Царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что «искал поддержки в Иванове-Разумнике». Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там, и здесь — а вполне последовательно держался клюевской тактики. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет *Россию*; ждал, что из этого пламени фениксом, жаром-птицею, возлетит мужицкая *Русь*. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых — в рядах левых, там, где «крайнее», с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году был он на каком-то большевицком собрании и «приветливо улыбался решительно всем — кто бы и что бы ни говорил. Потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово... и сказал:

— Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...»

В автобиографии 1922 года он написал: «В Р.К.П. я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее».

«Левее» значило для него — дальше, позже, *за* большевиками, *над* большевиками. Чем «левее» — тем лучше.

* * *

Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург (я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались), то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности.

Небо — корова. Урожай — телок. Правда земная — воплощение небесной. Земное так же свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана: произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого — искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле. Земля — мать, родящая от неба. Единственное религиозно правое делание — помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие.

Сам Есенин заметил, что образ телка-урожая у него «сорвался с языка». Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. Следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ: земля — корова. Образ древнейший, не Есениным созданный. Но Есенин как-то сам, собственным путем на него набрел, а набредя — почувствовал, что это в высшей степени отвечает самым основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула, небо — корова, должна была не то чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. (Впоследствии мы узнаем, что так и случилось: Есенин к ней вернулся.)

Россия для Есенина — Русь, та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отожествление: если земля — корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие «родина», и любовь к родине олицетворится в любви к корове. Этой корове и несет Есенин благую весть о революции как о предшественнице того, что уже «больше революции»:

О родина, счастливый
И неисходный час!
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.

Процесс революции представляется Есенину как смешение неба с землею, совершаемое в грозе и буре:

Плечьми трясем мы небо,
Руками зыбим мрак
И в тощий колос хлеба
Вдыхаем звездный злак.

О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом.
На золотой повети
Гнездится вешний гром.

Овсом мы кормим бурю,
Молитвой поим дол,
И пашню голубую
Нам пашет разум-вол.

Грядущее, то, что «больше революции», — есть уже рай на земле, — и в этом раю — мужик:

Осанна в вышних!
Холмы поют про рай.
И в том раю я вижу
Тебя, мой отчий край.

Под Маврикийским дубом
Сидит мой рыжий дед,
И светит его шуба
Горохом частых звезд.

И та кошачья шапка,
Что в праздник он носил,
Глядит, как месяц, зябко
На снег родных могил.

* * *

Все, что в 1917—1918 годах левыми эсерами и большевиками выдавалось за «контрреволюцию», было, разумеется, враждебно Есенину. Временное правительство и Корнилов, Учредительное собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы — все это одинаково была «гидра», готовая поглотить загоревшуюся «Звезду Востока». Возглашая, что

В мужичьих яслях
Родилось пламя
К миру всего мира, —

Есенин искренно верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против:

Сгинь ты, английское юдо,
Расплещися по морям!
Наше северное чудо
Не постичь твоим сынам!

Ему казалось, что Россия страдает, потому что темные силы на нее ополчились:

Господи, я верую!
Но введи в Свой рай
Дождевыми стрелами
Мой пронзенный край.

Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходит в мир последняя истина:

За горой нехоженой,
В синеве долин,
Снова мне, о Боже мой,
Предстает твой сын.

По тебе томлюся я
Из мужичьих мест;
Из прозревшей Руссии
Он несет свой крест.

Далее силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бичующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды и, наконец, Голгофы. Казалось бы, дело идет, с несомненностью, о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие «Инонии», то увидим, что все образы христианского мифа здесь даны в измененных (или искаженных) видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит оттого, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдохристианскую терминологию и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.

Бог-отец = небу = истине.

Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей.

Для есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого *могло бы* не быть, если бы не... «контрреволюция». Примечательно, что в «Пришествии» подробно описаны бичевание, отречение Петра и предательство Иуды, а самое распятие, то есть хоть и временное, но полное торжество врагов, — только робко и вскользь упомянуто: это именно потому, что контрреволюция, с которой, так сказать, как с натуры, Есенин писал муки *своего* Христа — в действительности ни секунды не торжествовала. Так что, в сущности, *есенинский* Христос и не распят: распятие упомянуто ради полноты аналогии, для художественной цельности, но — вопреки исторической и религиозной правде (имею в виду религию Есенина).

Потому-то «Пришествие» и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом:

Холмы поют о чуде,
Про рай звенит песок.
О, верю, верю — будет
Телиться твой восток!

В моря овса и гречи
Он кинет нам телка...
Но долог срок до встречи,
А гибель так близка!

То есть верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции.

Потому и понятно есенинское восклицание в начале следующей поэмы:

Облака лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал свою главную мысль. Негодовать было тоже напрасно или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому богу — с верою и благочестием. Он говорил: «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христо-

вой — этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева.

Несомненно, что и телок есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец — закланный, телок же благополучен, рыж, сыт и обещает благополучие и сытость:

От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.

И от вечера до ночи,
Незакатный славя край,
Будет звездами пророчить
Среброзлачный урожай.

Таково будет царство телка. И оно будет — новая Русь, преображенная, иная: не Русь, а *Инония*.

* * *

Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до «Инонии» не было — потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином. Самое для него ценное, вера в высшее назначение мужицкой Руси, и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждения исторического христианства ему хорошо известны и что он, да Клюев, да еще кое-кто очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве — с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с «народом» и с «землей», на твердую уверенность, что «народ» и «земля» это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которою обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенна, несвязна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно бы облекла его чувство, — подпадал под чужие влияния.

В 1917 году влияние Клюева, по существу близ-

кого Есенину, сменилось левоэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической: не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что «есть Социализм и социализм». Что социализм с маленькой буквы — только социально-политическая программа, но есть и Социализм с буквы заглавной: он является «религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства... Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов». «Новая вселенская идея (Социализм) будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего заклепанные христианством на теле человечества». «В христианстве страданиями одного Человека спасался мир: в Социализме грядущем — страданиями мира спасен будет каждый человек».

Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к есенинской поэме. Хронологически статья писана после «Инонии», но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не «Инония» навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или не новые мысли, а «Инония» явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником.

Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей.
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.

Тут Есенин заблуждался. «Инонию» он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не «по Библии», а «по Иванову-Разумнику».

Есенин, со своей непосредственностью, перестарался. Поэма получилась открыто антихристианская и грубо кощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин «борется» не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем «Анти-Христом», «под властной рукой которого двадцать (?) веков росла и ширилась историческая церковь». По Иванову-Разум-

нику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины, грядущего Социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым... упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался «страданиями одного *Человека»*... Нет уж, честное антихристианство Есенина в «Инонии» больше располагает к себе, чем его ивановская интерпретация.

Не будем играть словами. Есенин в «Инонии» отказался от христианства вообще, не только от *«исторического»*, а то, что свою истину он продолжал именовать Исусом, только «без креста и мук», — с христианской точки зрения было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, — но это не меняет самого факта.

Другое дело — литературные достоинства «Инонии». Поэма очень талантлива. Но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты «Инонии».

* * *

«Инония» была лебединой песней Есенина как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет, сходились или не сходились в его писаниях логические концы с концами, худо ли, хорошо ли, — как ни судить, а несомненно, что Есенин высказывал, «выпевал» многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был «пророком». Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок, — но пророком. С «Инонией» он высказался весь, до конца. После нее ему, в сущности, сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать — или не настать. По меньшей мере, Россия должна была к ней двинуться — или не двинуться.

Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нрави-

лась его стройность; мягкие, но уверенные движения; лицо не красивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но не шумная и не резкая. Он был очень ритмичен. Смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное — отличнейшего товарища.

Мы не часто встречались и почти всегда — на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь, вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились, уже на рассвете, у дома, где жил Есенин, на Тверской, возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости — да так оба и не собрались. Думаю — потому, что Есенину был не по душе круг моих друзей, мне же — его окружение.

Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно, и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие. Мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию — и били их. Основным образом делились на два типа. Первый — мрачный брюнет с большой бородой. Второй — белокурый юноша с длинными волосами и серафическим взором, слегка «нестеровского» облика. И те и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего — тут же расстрелять, если того «потребует революция». Все писали стихи, и все имели непосредственное касательство к че-ка. Кое-кто из серафических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были.

Помню такую историю. Тогда же, весной 1918 года, Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: «Сами приходите и вообще публику приводите». Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к

беседам. Порою вставлял словцо — и неглупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотел щегольнуть — и простодушно предложил поэтессе:

— А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою.

Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевицкими «сферами».

Еще ранее, чем «Инонию», написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою «социальную базу», выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами как «хулиган» и «шпана». Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин.

В начале 1919 года вздумал он записаться в большевицкую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что «больше революции», вступление в РКП было бы огромнейшим «понижением», что из созидателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР? Думаю — не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул: «Мать моя родина! Я большевик».

«Пророческий» период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее.

* * *

Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к Социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой. Понял, что на пути в Инонию большевики не попутчики. И вот он бросает им горький и ядовитый упрек:

Веслами отрубленных рук
Вы гребете в страну грядущего!

У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню. Он пишет «Пугачева», а затем едет куда-то в деревню — прикоснуться к земле, занять у нее новых сил.

Деревня не оправдала надежд. Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но, по слабости человеческой, он не захотел заметить внутренних, органических причин, по которым она и после «грозы и бури» не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на «город», на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват прибежавший из города автомобиль, трубящий в «погибельный рог». По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне — и отравляют ее:

О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб бревенчатый живот
Трясет стальная лихорадка.

И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится жеребенок, он проклинает:

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной Аллилуйя.
Оттого-то, в сентябрьскую склень,
На сухой и холодный суглинок,
Головой размозжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то вросла тужиль
В переборы тальянки звонкой,
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность и озлобление:

Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затих и присел,
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.

Он сравнивает себя, «последнего поэта деревни», с затравленным волком, который бросается на охотника:

Как и ты, я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний смертельный прыжок.

Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. «Нет любви, ни к деревне, ни к городу». Избы и дома ему одинаково не милы. Ему хочется стать бродягой:

Оттого, что в полях забулдыге
Ветер громче поет, чем кому.

Он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами —

Оттого, что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.

Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого, но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя, оттого же, отчего и он сам: оттого, что не сбылись ее надежды на то, что «больше революции», «левее большевиков»; оттого, что былое она сгубила, а к тому, о чем мечтала, — не приблизилась:

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

. . . .

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Где ж вы, те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.

Нет, таких не подмять. Не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя... Рассея...
Азиатская сторона!

С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами советской России. Теперь ему стали мерзки большевики и те, кто с ними. Опостылели былые приятели, занявшие более или менее кровавые, но теплые места:

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

. . . .

Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал.

Да! теперь решено! Без возврата
Я покинул родные поля.

. . . .

Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

. . . .

Я уж готов. Я робкий.
Глянь на бутылок рать!
Я собираю пробки
Душу мою затыкать.

В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача.

Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слиш-

ком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское «турнэ» по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризуемый быстрой сменой настроений.

Прежде всего Есенин, по-видимому, захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе — и мысли, конечно, сразу обратились к деревне:

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

. . . .

И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с поклоном
К тем полям, что когда-то любил.

В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве,—
Шлю привет воробьям и воронам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил...»

. . . .

Он пишет глубоко задушевное «Письмо к матери»:

. . . .

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном, ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

. . . .

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

Наконец он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование — самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше — ничто.

* * *

Перед самой революцией, в декабре 1916 года, крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник «Запевки», с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут «писатели из народа», знающие мужика лучше, чем мы, интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде Чурилы Пленковича, в шелковых лапотках. Ведь такой мужик, какого живописуют крестьянские поэты, — вряд ли когда и был, — и, уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом:

«Многоуважаемый Владислав Фелицианович!

Очень благодарен Вам за письмо Ваше. Напрасно думаете, что буду "гневаться" за высказанное Вами, — наоборот, рад, что слышу искренние слова.

Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет?.. И что прекраснее: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками да присказками, или нынешнего дня Чурила, в американских щиблетах, с Карлом Марксом или "Летописью" в руках, захлебывающийся от открываемых там истин?.. Ей-Богу, прежний мне милее!.. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола, со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни... Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков! Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно "лозунгами"... Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу Жар-Птицу, пойду к тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах

предков моих били смертным боем. Ну как не очароваться такими картинками?..*

И этого не будет! Придет предприимчивый человек и построит (уничтожив мельницу) какой-нибудь "Гранд-отель", а потом тут вырастет город с фабричными трубами... И сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженая курсистка, или с Вейнингером в руках, или с "Ключами счастья".

Извините, что отвлекаюсь, Владислав Фелицианович. Может быть, чушь несу я страшную, это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без сказки какое житье на свете?..

Очень ценны мысли Ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте, около мельниковой дочери, а не стриженой курсистки. О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса, мой слаб для этого...»**

Когда Ширяевец мне писал: «Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет», — знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее — совершенно такого былинно-песенного «народа» никогда и не было? Думаю, знал, — но старался эту мысль гнать от себя: жил верою в идеального мужика, в «сказку», — «а без сказки какое житье на свете?».

Ширяевец не напрасно упомянул Есенина: весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый «народ». И Есенин жил «в сказке», лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком.

Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду: все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора — деревня захочет и сумеет за себя

---

* Далее следует полностью стихотворение С.Клычкова «Мельница в лесу», которое опускаю.

** Конец письма опускаю: он не имеет отношения к данной теме.

постоять. Теперь, после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. «Вновь посетив родимые места», он с ужасом замечает:

Какое множество открытий
За мною следовало по пятам!

Сперва он не узнает местности. Потом — не сразу находит дом матери. Потом, встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю «под Маврикийским дубом». Потом узнает, что сестры стали комсомолками, что «на церкви комиссар снял крест». Пришли домой — он видит: «на стенке календарный Ленин». И вот —

Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Сестра же, «раскрыв, как Библию, пузатый "Капитал"», — «разводит» ему «о Марксе, Энгельсе»:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И, слушая сестрины речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому —

По-байроновски, наша собачонка
Меня встречает лаем у ворот.

Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды: Есенин утешается тем, что хоть в прошлом — эта правда все же существовала. Но в стихотворении «Русь советская», получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше: он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приюта — ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть Инония, — нет. Есть — грубая, жестокая, пошлая «Русь советская», распевающая «агитки Бедного Демьяна». И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от «народа» — была заблуждением:

Вот так страна! Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Он прощается с деревней, обещая смиренно «принять» действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии (это случилось раньше) — теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться: мечтой оказалась сама идеальная, избяная Русь.

Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в нэповское болото (за границу уехал он в самом начале нэпа), ощутив всю позорную разницу между большевицкими лозунгами и советской действительностью даже в городе, — Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он (и Клычков, принимавший участие в этих скандалах) были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом «Доме Печати». О бестактности и унизительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова «простили». Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболь, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года, в Италии, что так «крыть» большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России; всякий сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции — доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа: не хотели подчеркивать и официально признавать «расхождения» между «рабоче-крестьянской» властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского.

Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он «повернуть к родному краю». Снова пытался смириться, отказавшись и от Инонии, и от Руси, — принять и полюбить Союз Советских Республик, каков он есть. Он добросовестно

даже засел за библию СССР, за Марксов «Капитал», — и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, — но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец он сделал последний, действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда о несостоявшейся Инонии только еще начинала ему открываться:

— Друг мой, друг мой! Прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно — умереть.

* * *

История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, — не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевицкая революция есть путь к тому, что «больше революции», а она оказалась путем к последней мерзости — к нэпу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса, как Библию.

И, однако, сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная, драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своею совестью, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, — и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его — любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана:

Я люблю родину,
Я очень люблю родину!

Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Руссию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Рассею, пытался принять даже СССР, — одно лишь верное имя не пришло ему на уста: *Россия*. В том и было его главное заблуждение, не злая воля, а горькая ошибка. Тут и завязка, и развязка его трагедии.

Chaville, февраль 1926

ГОРЬКИЙ

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений «На дне» и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное «Песнью о соколе». Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в «Парус», там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная Литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленых домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каж-

дый вечер к ней собирались люди. Приходили А.Н.Тихонов и З.И.Гржебин, ворочавшие делами «Всемирной Литературы». Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин — во фраке, с какого-то «дипломатического» обеда, хотя я не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П.П.Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии — сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького — работа моей племянницы — стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабаня пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: «Да, плохи, плохи дела», — и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото, и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского союза писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю.К.Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня сроку, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще

раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал:

— Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького, Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозванию Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам Дома Искусства, Дома Литераторов, Дома Ученых, «Всемирной Литературы»; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы — просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных — словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

— Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, пони-

маете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать — мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел «шармировать» нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограниченно и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: «неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний». Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии — каюсь — я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весною 1921 года. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии

сыгравшая важную роль и в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 года я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле «Беранек», где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 года, и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места и потому, что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а

говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: он вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу — часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек — стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков — красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось — он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем — чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты: либо в 501 (говоря словами Державина, «по грошу в долг и без отдачи»), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или, чаще, отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

— Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил всего больше. Другое дело — партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность: играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил, и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся:

— Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в «Вестнике Европы» за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился дня три. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в

Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. «Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! — закричал он. — После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!»

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем он был бодр, крепок — недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендою о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы — он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

* * *

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все россказни о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, — ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и под-

хваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли, как душевную рану, — ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927—1928 годах я несколько раз указывал покойному А.А.Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии.

В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот — я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Сорренто весной 1924 года, Горький поселился в большой, неуютной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят — прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что

как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился — других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от «нашей» виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось — сняли ту самую виллу «Il Sorito», которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Кастелламаре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М.И.Будберг, комната Н.Н.Берберовой, моя комната и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую — И.Н.Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек: еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, — и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на «Sorito» весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е.П.Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле «Минерва»: писатель Андрей Соболь, приехавший из Москвы на поправку после покушения на

самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П.П.Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозванию Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

— Это мой карандаш!

— Нет, мой!

— Нет, мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. «Свежий воздух — яд для организма», — говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

— Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

— Да он же мне нужен!

— Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь — через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: «Владимир Ильич», «Феликс Эдмундович», но ему больше шло бы звать их «дядя Володя», «дядя Феликс». Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замеча-

тельный клоунский талант, и, если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто — пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович — теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки Асти, бутылку мандаринного ликера, конфет — и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали «Солнце всходит и заходит». Он сперва умолял: «Перестаньте вы, черти драповые», — потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель «Минерва» — заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу — туда и обратно — с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку «Минервы» синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это — сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: «Положение, какаче которого быть не может».

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

* * *

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходи-

лось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табль-д'отом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафэ на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города — положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю — не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников — до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях — Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами — вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятель-

стве: в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть — лучшем из всего, что им написано, и, несомненно, — центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема — правда и ложь. Ее главный герой — странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука — личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека», — провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и — главное — нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного — своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: «Молчать! Вы все — скоты! Дубье... молчать о старике!.. Старик — не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая». Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки:

«Старик? Он — умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!»

Знаменитая фраза: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» — вложена также в уста Сатина. Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности — надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он не высоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты — приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты — делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей «На дне», заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем — не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году, рассказа о возвышенном чиже, «который лгал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная, деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», — писал он Е.Д.Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я

вижу, как он, со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

* * *

13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: «Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и "ликование народа". А у нас? — думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т.д.»

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому «великому реалисту» поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он *не* плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же — в начинающем писателе (опять-таки — в очень

даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям уже установившимся он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобресть известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели — вплоть до изобретателей перпетуум мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, — до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из «На дне», положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, — вплоть до маниаков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непре-

менно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было — после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, — незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих — а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти «семейные пожарчики», как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце прибавить, уже задорно и весело, что «в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!» И он прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей «многолетней революционной работе». Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде-вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на

улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость — должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Соррентинскую правду» — рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре.) Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором — ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот — Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

— Во! Глядите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

* * *

В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, — и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли го-

раздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие *он требовал для себя права мечтать* о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения. Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А.В.Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел — и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества, trouble fête. В «На дне», в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: «Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!» В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: «Эх... испортил песню... дур-рак!» На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее, обоих, потому что оба виноваты в *порче песни*.

В этом — весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

— Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.

Он ответил, насупившись:

— Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на «низкие истины» Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

* * *

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастия. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Икскуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Феодоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в Доме Искусств, где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: «Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу». Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только «сегодня к вечеру» и его дня через два

привезет А.Н.Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать — я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о «недоразумении» и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать — зимой, с мальчишкою-провожатым, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и — кто знает? — может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой «театр для себя» был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну — зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения с многими членами императорской фамилии. И вот однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, не предвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья и спасшемуся от расстрела

юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и, таким образом, утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 году он мне сам рассказал все это — не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

— Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

— Были.

— Почему же она не попросила их показать?

— То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: «Оказывается, поэт Палей жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи оного поэта, кажется, они плохи».

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришло в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на

своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

* * *

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь — даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное — он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться — даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 года он мне писал:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в "Накануне" напечатано: "Джиоконда, картина Микель-Анджело", а в России Надеждою Крупской и каким-то М.Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл.Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л.Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: "Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги". Все сие будто бы* отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя".

Сверх строки мною вписано "будто бы" тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в

* Слова: «будто бы» вписаны над строкой.

этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу “Указатель”.

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжко!»

В этом письме правда — только то, что ему было «трудно и тяжко». Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого «духовного вампиризма». Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это — опять только «театр для себя». И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе «Указателя» как о совершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, *давным-давно у него имелся.* За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 года, в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там бар. М.И.Будберг. Заведующий издательством С.Г.Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» у него в руках, — и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности — повторяю — перед самим собой.

Из письма М. Горького. Факсимиле

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в «На дне», когда Татарин кричит ему: «А! Карта рукав совал!» — а он отвечает, конфузясь: «Что же мне, в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же «На дне» поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить».

* * *

«То — люди, а то — человеки», — говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтил. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, — презирал, обзывал «мещанами». Однако ж он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: «У всех людей души серенькие, все подрумяниться желают». К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенней, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного «шармерства».

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом — коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной, нежданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых «книг для народа», то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора — крупный доход. «Жизнь ваша, Алексей Максимович, — чистые денежки», — говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького — самородка, Горького — буревестника, Горького — страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычайной, — но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот — я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед «массами» в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того «золотого сна», который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот —

воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, — он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: «Нельзя, биографию испортишь». Или: «Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь».

* * *

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, — огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о «биографии», должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, — может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромен — даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того — от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно — 70-х, 80-х годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например — с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, — и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и

обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив — непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в «Рассказе о тараканах» и заново написать последнюю часть «Дела Артамоновых». Была, наконец, одна область, в которой он себя сознавал беспомощным, — и страдал от этого самым настоящим образом.

— А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человечная непоследовательность, с которою этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив — мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю.И.Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 года, в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал «Беседа». Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького — один под настоящим именем, другой под псевдонимом — и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке «Беседы» мы напечатали «Рассказ о герое» за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе», — под псевдонимом «Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского «Руля», в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, — и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельной радостью:

— Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболь попросил дать ему для ознакомления все номера «Беседы» (в советскую Россию она не допускалась). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболь стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в «Беседе», в том числе о рассказах Горького, — и вдруг выпалил:

— А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не помню, что Горький ответил и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

— Вы не вздумайте Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини.

* * *

Перед тем, как послать в редакцию «Современных Записок» свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

— Хорошо, Алексей Максимович.

— Не забудете?

— Не забуду.

Париж, 1936

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В 1934 г., в Москве, в издательстве «Academia», вышла книжка избранных стихов Брюсова. В приложении даны «Материалы к биографии», составленные его вдовой, которая подтверждает, что в основу «Огненного Ангела» был положен действительный «эпизод».

2. С годами эти черты в нем усиливались и под конец приняли несколько карикатурный оттенок. Тут, по-видимому, проявилось его сходство с отцом. Ср. воспоминания проф. Н.И.Стороженки.

3. Покойный критик Ю.И.Айхенвальд, высланный из России в 1922 г., писал мне впоследствии: «О Брюсове... И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т.е. экономически, мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя — я это знаю наверное, из источника безукоризненного — произошла при его содействии» (Письмо от 5 августа 1926 г.).

4. Тождеству действующих лиц и их ситуации в романах Андрея Белого была мною посвящена статья «Аблеуховы — Летаевы — Коробкины». См.: «Современные Записки», 1927, кн. 31-я.

5. О его жизни в Цоссене см. замечательные воспоминания Марины Цветаевой в «Современных Записках», 1934, кн. 55-я. В той же книге мною опубликованы три письма его.

6. О воспоминаниях Белого см. также мои статьи в газ. «Возрождение» от 28 июня и 5 июля 1934 г. и от 27 мая 1938 г.

7. 31 августа 1926 г. в «Известиях ВЦИК» было напечатано письмо С.Мицкевича, зам. председателя жилищной секции ЦЕКУБУ (т.е. Центральной комиссии по улучшению быта ученых). «В практике жилищной секции ЦЕКУБУ, — писал Мицкевич, — имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнения, страдания и мытарства, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников (доктор Тезяков, известный профессор-литератор Гершензон и др.)».

8. Сам Андрей Белый («Начало века», стр. 448) передает эту сцену несколько иначе: «Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувши мумиевидную голову, белый, как смерть; вдруг, пленительно зуб показав (и отсутствие зуба), он руку потряс сердечно; и — облобызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой: "Ой, сделали больно, — и пальцы тряс, сморщась, — ну, можно ли эдаким способом пальцы сжимать?" И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал».

Должно заметить, однако, что лицо, рассказавшее мне об этом

эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами.

9. Ее сестра, тоже переводчица и писательница, Александра Николаевна Чеботаревская, жила в Москве. В день похорон Гершензона (февраль 1925) было решено речей не произносить. Однако какой-то коммунист, растолкав присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был «не наш», все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накипело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером, после нервного припадка, она пошла на Большой Каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знамением Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый («Начало века», стр. 447) пишет, что обе сестры покончили с собой «на почве психического заболевания».

ВОСПОМИНАНИЯ

О себе

О СЕБЕ

Писать автобиографию на нескольких страничках — и бессмысленно, и не хочется. Лучше расскажу, очень внешне, свою жизнь за последние годы, начиная с весны 1916-го, когда как-то сразу стряслись надо мной две беды: умер самый дорогой мне человек, С.В.Киссин (Муни), а я сам заболел туберкулезом позвоночника. Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917-го — снова в Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские Ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь».

Весной 1918 года началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех, проживших эти годы в России. Работал сперва в театрально-музыкальной секции Московского Совета, потом в Тео Наркомпроса, с Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым, Новиковым. Читал в московском Пролеткульте о Пушкине. Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего же «урока» — опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из Лицея — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

С конца 1918 года заведовал Московским отделением «Всемирной Литературы». Эту работу, скучную, очень «административную», едва дотащил до лета 1920 года, когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро. Ушел из «Всемирной Литературы».

В 1918 году в конце лета затеял вместе с П.П.Муратовым Книжную лавку писателей. Добыли книг на комиссию от знакомых издателей. Добыли откуда-то денег на обзаведение, поселились в Леон-

тьевском пер., 16. Стали за прилавок. Е.Д.Кускова была первой покупательницей: когда шкафы были еще пусты, купила какую-то газету за 30 коп. Кажется, это и составило запасной капитал. Торговали в Лавке: Б.А.Грифцов, М.В.Линд, П.П.Муратов, Е.Л.Янтарев, А.С.Яковлев, М.А.Осоргин, я. Работали в очередь. Моя жена сидела за кассой, зимой, изнывая в нетопленом магазине, — по целым дням. Кое-как были сыты. Зиму 1919—1920 года провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленого дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем с сахарином. Мы с женой в это время служили в Книжной Палате Московского Совета: я — заведующим, жена — секретарем.

К весне 1920 года, выпустив «Путем зерна», — слег: заболел фурункулезом. Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки от талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом — за кухарку, потом — за сестру милосердия. Своими руками перевязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету). Летом стало полегче. Поместились в санатории. Жена — на 6 недель, я на $1^1/_2$ месяца.

Осенью, после семи белых билетов, меня, еще покрытого остатками нарывов, с болями в позвоночнике, какие-то умники «пересмотрели» и признали: «годен в строй». Спас Горький, отвезший в Кремль мое письмо к Ленину. Снова пересмотрели уже настоящие врачи — и отпустили. Задумал бежать в Петербург. На прощанье в Москве обокрали квартиру: всю одежду мою и женину. Это была катастрофа. Кое-как прикрыли наготу с помощью родных, распродали мебель — и в Петербург.

Там поселился в Доме Искусств. Сперва снова лежал около месяца. С начала 1921 года жил сносно. У меня — ученый паек и кое-какая работа, у жены — служба. Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10—12 тепла. В Петербурге настоящая литература: Сологуб,

Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: «Серапионовы братья», кружок «Звучащая раковина». Конец лета провел в «Бельском Устье», в Покровском уезде, Псковской губ., в колонии Дома Искусств. Отъедался вообще и объедался фруктами. Много писал стихов с середины лета 1921 до февраля 1922-го. Готова у меня книга новая «Тяжелая лира». В эту же зиму издал и переиздал в Петербурге шесть книг своих.

И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои.

Берлин, июль 1922

МЛАДЕНЧЕСТВО

Отрывки из автобиографии

Очень важная во мне черта — нетерпеливость, доставившая мне в жизни много неприятностей и постоянно меня терзающая. Может быть, происходит она оттого, что я, так сказать, опоздал родиться и с тех пор словно все время бессознательно стараюсь наверстать упущенное. Старший из моих братьев был на целых двадцать два года старше меня, а сестра, ближайшая ко мне по времени рождения, — на одиннадцать. Когда я родился, отцу шел пятьдесят второй год, а матери сорок второй. В семье очутился я Веньямином, поскребышем, любимцем. Надо мною тряслись, меня баловали, — все вместе довольно плохо отразилось на моем здоровье, на характере, даже на некоторых привычках. Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень — средством расстраивать желудок, а фрукты — баловством. В конце концов у меня выработался некий *вкусовой инфантилизм*, то есть я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда.

Мое опоздание помешало мне даже в литературе. Родись я на десять лет раньше, был бы я сверстником декадентов и символистов: года на три моложе Брюсова, года на четыре старше Блока. Я же явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из мне современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, «дикими». Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть.

Первым проявлением моей нетерпеливости было

то, что я поспешил увидеть свет на две недели раньше, чем мне полагалось. Это событие произошло в 1886 году, 16 мая по старому стилю, в полдень. Родители мои жили в Москве, в Камергерском переулке, в доме Георгиевского монастыря, впоследствии перешедшем к Синодальному ведомству. Дом был кирпичный, неоштукатуреный, двухэтажный — верхние этажи надстроены позже — и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем — увеселительное заведение Шарля Омона и, наконец, — Художественный театр, существующий в этом здании и по сей день.

Поторопившись родиться, поторопился я совершить первую в моей жизни бестактность: досточтимому отцу Овельту, настоятелю польской церкви (что в Милютинском переулке), при погружении меня в купель совершенно отчетливо показал я нос. Достоверное предание о сем происшествии сохранилось в семье. За веселым началом последовало, однако ж, печальное продолжение. Я был слаб и хил чрезвычайно. А тут еще через несколько дней на языке у меня появилась опухоль, которая быстро росла и из-за которой я наотрез отказывался принимать пищу. Кормилицы, которых брали ко мне, уходили на другой день, говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно «не жилец». Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: «Бог милостив — я его выхожу». Доктора между тем не знали, что делать, не решаясь на операцию. Когда я уже почти умирал, одному из них, Смиту, англичанину родом, пришло в голову прижечь волдырь ляписом. Это подействовало, мой типун исчез так же быстро, как появился. Смит надолго остался моим детским врачом, а на языке у меня на всю жизнь сохранилось небольшое затвердение, которое мой отец называл заплаткой. Осталась при мне и кормилица, Елена Александровна Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова. Своего мальчика, ровесника моего, она отдала в Воспитательный дом, где он вскоре и умер. Таким образом, моя жизнь стоила жизни другому существу. О самой няне я скажу позже.

О носе, показанном ксендзу Овельту, о заплатке, о появлении няни я знаю, разумеется, по рассказам. Все это события до-памятные, для меня как бы до-

исторические. Сюда же относится и рассказ о первом слове, мною произнесенном. Сестра Женя, которой было тогда двенадцать лет, катала меня, как куклу, в плетеной колясочке на деревянных колесах. В это время вошел котенок. Увидев его, я выпучил глаза, протянул руки и явственно произнес:

— Кыс, кыс!

По преданию, первое слово, сказанное Державиным, было — Бог. Это, конечно, не в пример величественней. Мне остается утешаться лишь тем, что вообще

есть же разность
Между Державиным и мной,

а еще тем, что, в конце концов, выговаривая первое слово, я понимал, что говорю, а Державин — нет.

Любовь к кошкам проходит через всю мою жизнь, и меня радует, что с их стороны пользуюсь я взаимностью. Мне нравится заводить с ними летучие уличные знакомства, и признаюсь, моему самолюбию льстит, когда бродячий и одичалый кот по моему зову подходит ко мне, жмется к ногам, мурлычет и идет за мной следом. Несколько лет тому назад, поздно вечером, познакомился я с одним таким зверем у Pont de Passy. Немного поговорив, мы пошли вместе, сперва по набережной, потом по авеню Боске. Он не отставал от меня и на рю Сен-Доминик, по которой двигалось много народу, расходившегося с декоративной выставки. Как истые парижане, мы зашли в бистро и выпили: я — рюмку коньяку, он — блюдечко молока. Потом он проводил меня до дому и, судя по всему, был не прочь остаться со мной, но, к несчастью, я жил в отеле.

Существует ходячее мнение, будто бы кошки не приживаются к человеку и будто бы они глупы. Их сравнивают с собаками. Я не люблю этих ребяческих рассуждений. Не стоит искать в животных маленького, расхожего ума. За таким умом лучше ходить просто в гости, потому что и самый глупый из наших знакомых все-таки умнее самой умной собаки. Кошки не любят снисходить до проявления мелкой сообразительности. Они не тем заняты. Они не умны, они мудры, что совсем не одно и то же. Сощуривая глаза, мой Наль погружается в таинственную дрему, а когда из нее возвращается — в его зрачках виден отсвет какого-то иного бытия, в котором он только что пребывал.

Кошки настроены мечтательно и философически. Они непрактичны и не всегда считаются с обстоятельствами. Поэтому безоглядна их храбрость. Двухмесячный котенок, когда я его пугаю, не обращается в бегство, а спешит перейти в наступление. Они горды, независимы и любят рассчитывать только на себя. Поэтому дружба их лишена бурных проявлений и в ней нет ни намека на подхалимство. Обидевшись на вас, кот способен дуться по целым дням и целыми неделями, делая вид, что он вас не замечает. Кот решительно не желает сторожить ваш дом, потому что он вам не слуга. Но он любит быть вашим собеседником — молчаливым, мурлыкающим или мяукающим — всегда по-разному. Он любит спорт и хочет, чтоб вы разделяли его увлечение. Покойный Мурр являлся ко мне в любой час дня или ночи и до тех пор кричал (несколько в нос): «Сыграем! Сыграем!» — покуда я не соглашался сыграть с ним в прятки. Он носился по комнатам, прячась за мебель и за портьеры и заставляя меня его отыскивать, — и готов был длить забаву до бесконечности, хотя у меня уже ноги подкашивались от утомления. Зато и нет ничего более трогательного, чем кошачья дружба. Она проявляется в особенности тогда, когда плохи ваши обстоятельства или тяжело у вас на душе. Положительно могу утверждать, что стоило мне быть расстроенным — кот, до этой минуты не обращавший на меня внимания, тотчас приходил ласкаться. Это кошачье участие всегда исполняет меня глубокого умиления. Вот и теперь, когда Зайчуров, дорогой друг мой, встретив меня в печальную булонскую ночь, бежит за мною по улице, — горечь отходит от моего сердца и начинает казаться, будто

Легко мне жить и дышать мне не больно.

Первое воспоминание относится у меня к очень ранней поре: никак не позже чем к лету 1888, а может быть, даже к лету 1887 года — к тому времени, когда я еще не умел ходить или ходил очень плохо. Заключаю это из того, что отчетливо помню свой наряд: на мне — пикейная круглая шляпа с полями и длинная пикейная пелерина, такая, в какой ходить по земле невозможно. Няня держит меня на руках. Мы с ней стоим в Петровском-Разумовском на плотине, у входа

в парк. За спиной у нас пруд, а перед нами — просторное болото. Влево, к фабрике Иокиша, уходит Михалковское шоссе. На шоссе стоит городовой. Он подходит к няне, говорит с ней, потом протягивает мне палец, я за этот палец хватаюсь, и городовой целует мне руку. Мне очень совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями, но с этой сцены начинается моя жизнь, ибо с нее начинается мое сознание. Я должен даже покаяться, что знакомство с этим городовым (у него была русая борода и русые усы) продолжалось у меня очень долго. Я сравнительно часто бывал в Петровском-Разумовском уже после того, как мы перестали ездить туда на дачу, а городовой все стоял на своем посту, только его перевели к паровичку. Таким образом, я рос у него на глазах. Когда уже был я взрослым, он неизменно козырял мне и спрашивал про моих родителей, про сестер и братьев. В последний раз я видел его в 1911 году.

С Разумовским вообще связаны мои ранние воспоминания. Одно из них — сильнейшая гроза, бурный ливень, а потом — голубое небо, и солнце, и капли, падающие с деревьев. Над Михалковским шоссе — беловатый туман, и в этот туман уезжает пролетка, в которой сидят отец с матерью. И все кругом говорят, что отец едет в Париж на выставку. Действие происходит, следственно, в 1889 году. Помню затем возвращение отца, привезенную им бронзовую модель Эйфелевой башни и рассказы его об этой башне, потрясающие мое воображение.

Парижская выставка 1889 года дает мне возможность датировать чрезвычайно важное событие моей жизни. В то лето приезжала из Ярославля моя сестра Маня, с мужем Михаилом Антоновичем, которого я смертельно боялся и которого ненавидел всею душой за то, что он меня обучал хорошим манерам. Впоследствии я понял, что это хороший и добрый человек, но о педагогике он не имел ни малейшего представления. Он меня дрессировал, как собачку. Дело не в нем, однако. Мне ясно помнится летнее утро и скамеечка на дорожке, идущей от калитки к террасе. Мы с Маней сидим на скамеечке, и сестра учит меня читать. Я уже знаю буквы (когда и как научился — не помню), но слоги мне не даются. В азбуке, по которой мы учимся (теперь я узнал бы ее из тысячи других), как водится,

напечатаны маленькие картинки, а под ними — соответствующие слова: нарисовано ухо — под ним стоит «УХО», нарисованы сани — под ними — «САНИ». Я очень скоро сообразил, что не стоит трудиться разбирать слова, если можно читать, просто смотря на картинку. Мы уже миновали и сани, и ухо, и дом, и многое другое, как вдруг мой прием обнаружился: посмотрев на очередную картинку, я не задумываясь прочел: пчела. Не тут-то было: это была не пчела, а оса. Азбуку заменили другой, без картинок, и мне пришлось учиться читать по-настоящему. Годам к четырем я был уже чтец заправский, и вскоре стал поглощать книжку за книжкой. Брат Миша постепенно составил мне целую библиотеку из сказок и нравоучительных повестей, изданных Обществом распространения полезных книг. «Конька-Горбунка» я вскоре выучил наизусть и очень его полюбил (и люблю до сих пор). Книжечки были тоненькие, в разноцветных обложках. Продавались они по копейке, по две. Вскоре начали мне дарить книжки и подороже. Подарили Пушкина, уверяли, что это очень хорошо, — мне же после «Конька-Горбунка» сказки Пушкина казались незначительны. Подарили мне также Лермонтова, но эту книжку я много лет и раскрыть боялся: картинка, изображающая скелет на кровати (иллюстрация к «Боярину Орше»), навела на меня настоящий ужас. Она снилась мне по ночам.

Я очень рано узнал о смерти, хотя в семье нашей никто не умирал. Я боялся темноты, покойников и особенно — ада, в который Бог отправляет грешников, чтобы их там мучили черти. Я также знал, что черти иногда появляются на земле, в полночь, а на рассвете проваливаются. Поэтому, когда брат Стася провалился на экзамене, он стал мне казаться существом весьма подозрительным, тем более что дома его все ругали и от него сторонились. Это подозрительное отношение особенно усилилось, когда Стася поступил на медицинский факультет и я узнал, что существует на свете страшное место — *антонический театр*, где лежат покойники и где их режут. Я очень хорошо понял, почему театр называется *антоническим*: туда попадают люди, у которых случился *Антон-фагонь*, страшная болезнь, от которой (слышал я) нет спасения и после которой одна дорога — в огонь, в ад. Я очень боялся,

что и у меня будет Антон-фагонь. Я старался вести себя хорошо, чтобы не случилось со мною такого ужаса.

Не тут-то было: в один прекрасный день мне-таки объявили, что вечером меня повезут в театр. Я заорал благим матом и орал так до самого вечера. Наконец мне сказали, что едем мы не в театр, а к няне в деревню. На это я согласился — не без опаски. Наконец привели извозчика. Меня вынесли, укутанного с головой. Уселись, тронулись. Я впервые был ночью на улице. Большая Дмитровка, освещенная редкими фонарями, в которых плясали и колыхались красные огни, представилась мне бездной, в которую мы проваливаемся. Наконец приехали. Нянина деревня мне показалась красивым, нарядным местом. По стенам было много золота. Множество народу разместилось по всем этажам, на балконах, вдоль которых тянулись черные трубки. Над трубками торчали острые золотые огоньки: Большой театр тогда еще освещался газом. Вдруг огоньки стали синими, вокруг потемнело. Зато справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство, похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие — черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, все вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит оттого, что много людей одновременно бьют в ладоши. Потом было что-то еще, какая-то смесь огней, людей, лошадей, потом мы очутились дома, и я должен был признаться, что нянина деревня мне очень понравилась и что я хочу сейчас же ехать туда опять. Мне сказали, что скоро опять поедем, когда там будут «Волшебные пилюли». А сегодня была «Кипрская статуя».

С того дня все мое детство окрашено страстью к балету и не вспоминается мне иначе, как в связи с ним.

Балет возымел решительное влияние на всю мою жизнь, на то, как слагались впоследствии мои вкусы, пристрастия, интересы. В конечном счете, через балет пришел я к искусству вообще и к поэзии в частности. Большой театр был моей духовной родиной. С благоговением и благодарностью вспоминаю его торжественное великолепие, его облачный и мифологический плафон, его пышную позолоту, алый бархат партера, пурпурный штоф занавесей в его ложах, величавую и строгую пустоту царской ложи, в таинственном полумраке которой тускнеет зеркало; в большие дни зажигаются там золотые тяжелые канделябры. Мне до мелочей памятны полукруглые коридоры театра, отшлифованные ступени его каменных лестниц и совершенно особенный, неповторимый, немного приторный запах зрительного зала: он казался мне смесью шоколада, духов и сукна.

Вряд ли мир видел столь юного балетомана. Однако лет с четырех я стал именно балетоманом и благодаря этой ранней сознательности помню такие балетные времена, каких сверстники мои, разумеется, уж не помнят. Очень скоро, без посторонней помощи, силою лишь любви и внимания, научился я отличать друг от друга не только балеты, но и отдельных артистов и даже тонкости их восхитительного ремесла. Уже весьма пожилую, уже сходящую со сцены Гейтен, признаюсь, помню смутно. Зато отчетливо видятся мне и милая Рославлева с мягкою задушевностью ее танца, и хрупкая Джури с ее игольчатыми движениями, и вся быстрота и огонь — Федорова 2-я, и чистый профиль Домашевой 2-й (той, что позднее перешла в драму), и первые успехи восходящей звезды — Гельцер.

В годы раннего моего балетоманства обстановочная часть находилась в руках «машиниста и декоратора» Вальца. Впоследствии к ней привлекли настоящих художников. С появлением Клодта и в особенности К.А.Коровина декорации и костюмы, разумеется, много выиграли в отношении художественном. Коровинская «Эсмеральда» была событием. Но должен признаться, что о пресечении вальцевской традиции мне порою хотелось вздохнуть. Постановки Вальца были отчасти безвкусны, но в них было столько таланта и волшебства, в самом их безвкусии было столько

прелести, а в их наивном натурализме столько нечаянной и прелестной условности, что их все-таки нельзя не назвать очаровательными. В 1921 году, в Петербурге, случилось мне видеть «Раймонду», поставленную в выцветших, «дореформенных» декорациях того же стиля, — это было необыкновенно хорошо.

Было бы удивительно, если бы увлечение балетом не вызвало с моей стороны попыток самостоятельного творчества в том же роде. И в самом деле — по целым дням вертелся я на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты, в которых я был единственным действующим лицом, — так сказать, монобалеты. К кому-то из моих братьев порой заходил артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Я смотрел на него с обожанием. Как танцовщик принадлежал он к числу заметных, но все же второстепенных величин. В «Коньке-Горбунке» и в «Жизни за Царя» танцевал он мазурку в первой паре — это была его коронная роль. Он дал мне несколько уроков или, вернее, показал несколько приемов, благодаря которым мои упражнения перестали быть слишком дилетантскими. По-видимому, способности к танцам у меня были очень большие. Меня показывали знакомым, как чудо-ребенка. Общие одобрения доходили до того, что, хоть родители мои были людьми старинных воззрений, все же весьма серьезно обсуждался вопрос, не следует ли меня впоследствии отдать не в гимназию, а в театральное училище. К этому все и шло, и я уже воображал себя на голубой, лунной сцене Большого театра, в трико, с застывшей улыбкой на лице, округленно поднявшим левую руку, а правой — поддерживающим танцовщицу в белой пачке, усеянной золотыми блестками. Этим мечтам не суждено было исполниться. Лет с шести я стал хворать бронхитами. Доктор Смит объявил, что мои легкие не выдержат балетной учебы. Я покорился, потому что был очень послушным ребенком и потому, что к тому времени начались у меня некоторые другие увлечения, о которых скажу впоследствии. Тем не менее я и теперь иногда жалею, что не довелось мне стать танцовщиком. Навсегда сохранилась у меня любовь к балету. Я люблю танцовщиков и танцовщиц — хотя бы просто за то, что они избрали себе красивое и утешительное поприще, на котором не довелось мне стать их товарищем. Мне

всегда хочется видеть их счастливыми, и смерть кого-нибудь из них меня всякий раз глубоко волнует.

Я забыл сказать, что в балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика. Оно и понятно: в классическом балете танцовщице принадлежит роль несравненно более видная и выигрышная. Должно быть, это обстоятельство (в связи с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились черты и наклонности женственные. Я не очень любил играть с детьми, но уж если играть, то предпочитал с девочками. К тому же и рос я, так сказать, в гинекее: с мамою, с няней, с бабушкой, с сестрой Женей. Женя же (хоть она и уверяет теперь, будто это неправда) была и осталась отчаянной модницей. Мне нравилось, что она такая нарядная, тоненькая и стройная, что у нее красивые руки и ноги, что даже коричневое гимназическое платье с черным фартуком так хорошо на ней сидит. То и дело она совещалась с мамой и Сашенькой (домашней портнихой), ходила по магазинам, рассматривала модные картинки. Я стал очень недурно разбираться в дамских нарядах, потому что во мне развилось к ним внимание, и уверен, что до сих пор кое-что в этом смыслю. Главное же — я сам стал настоящий франт. Помню дикий скандал, учиненный мною из-за того, что на матросский воротничок нашили мне какой-то мещанский золото-красный сутажик, тогда как хороший тон требовал широкой белой или черной тесьмы. Я терпеть не мог дурно одетых дам и любил гулять с Женей, потому что она была хорошо одета. Чаще всего мы ходили в Солодовниковский пассаж, в котором я знал наизусть все магазины: Ускова (материи), Рудометкина (приклад, сейчас же у входа, слева), Семенова (также приклад, но ужасно дорого!). Пассаж был местом прогулок, свиданий, ухаживаний. Московские львы в клетчатых серых брюках разгуливали по нему с тросточками или стояли у стен, «заглядывая под шляпки», как тогда выражались. Пианист Лабоди, автор популярных вальсов, и крошечный офицер Тишенинов (впоследствии генерал) считались, кажется, первыми сердцеедами. В соседнем пассаже, Голофтеевском (где однажды в год служились молебны, после которых играл оркестр и публика гуляла по каменным плитам, устланным можжевельником), случилась со мной исто-

рия. Мама зашла в меховой магазин Михайлова (в тот, у дверей которого дежурили полосатый тигр и бурый медведь с деревянным подносом в лапах), мне же велела ждать, сидя на скамеечке. Через несколько минут нетерпение, вечный враг, стало меня терзать. Я вообразил, что мама обо мне забыла и вышла в противоположную дверь: магазин был сквозной. Не растерявшись, решил я идти домой и стал искать, кто бы мог меня проводить. Наконец я увидел барышню, достаточно нарядную и хорошенькую блондинку, с которой не стыдно пройти по улице (блондинки мне нравились, я твердо решил жениться на блондинке, которую будут звать Марией). Подойдя к ней, я шаркнул, приподнял шапочку и сказал:

— Проводите меня домой, я потерялся.

Потом мы шли с барышней по Кузнецкому переулку вверх, и я занимал ее рассказами о своих танцах. Дойдя до дому, я заставил свою спутницу подняться по лестнице и позвонить, потому что мне было не дотянуться до звонка. Пока открывали дверь, барышня исчезла. Няня при виде меня обомлела и, закинув меня на плечо, помчалась назад к пассажу. Перед пассажем увидели мы толпу народа, окружавшего маму, которая билась в истерике. Ей не столько сочувствовали, сколько ее ругали. Встреча была патетическая, но дома меня поставили в угол.

С няней ходил я в Александровский сад, а чаще — в Нарышкинский сквер. Я ехал на трехколесном велосипеде, а няня шла рядом. Узкая полоса тротуара перед выступающим вперед крыльцом Университетской типографии была покрыта чугунной плитой с нарезками. Проезжать по ней мне казалось очень опасно и трудно, плита же под колесами велосипеда глухо гремела, и от нарезов по велосипеду бежала жесткая дрожь, от которой в локтях становилось щекотно. В сквере была отгороженная площадка для детских игр. Няньки сидели кругом на лавочках — то был настоящий клуб нянек и гувернанток, а кстати и рекомендательная контора. К няне моей то и дело подходили какие-то женщины в толстых «дипломатах» и непременно — с толстым клетчатым или серым платком на руке. Подсаживаясь, они каким-то льстивым и таинственным голосом говорили:

— Миленькая, не слыхали ли местечка?

Это «местечко» казалось мне чем-то таинственным, чем-то вроде сердечка: оно где-то бьется часто и мелко, как часики, — иногда его, вероятно, можно расслышать, но как и где, и почему именно няня могла его слышать, и зачем оно нужно всем этим женщинам?

В 1918 году, когда большевиками овладела мания ставить памятники, на этой площадке водрузили почему-то памятник Генриху Гейне. Какой-то чахоточный господин с бородкой сидел в кресле, а у ног, ластясь, примостилась полуголая баба с распущенными косами — не то Лорелея, не то Муза. Памятник сделан был из какой-то белой дряни и внутри пуст. Зимой 1921 года я проходил мимо него. У Гейне нос был совсем черный, а у Лорелеи отбили зад, на месте которого образовалась дыра, наполненная грязной бумагой, жестянками и всяким мусором. Детей не было, не было даже ворон на голых деревьях.

Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городовой нас остановил, и в ту же минуту по коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парою вороных лошадей, шедших тяжелым, медленным «тропцем». В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: «Государь!» Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо, показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых.

Государь мне очень понравился. В тот же день (или на другой день) мы с няней пошли смотреть его на площадь перед генерал-губернаторским домом. Толпа ждала его выхода и долго ревела «ура», когда на балкон вышла группа военных, в которой я не успел различить государя. Вечером на Большой Дмитровке горела иллюминация. От фонаря к фонарю на проволоках висели разноцветные шкалики, а на тумбах вдоль тротуара, чадя и шипя, полыхали плошки. Их пляшущие огни делали страшными лица прохожих, и страшными мне казались огромные тени флагов, летавшие по домам.

С осени 1886 года жили мы на Большой Дмит-

ровке, в доме Нейдгардта. В те времена московские дома различались не по номерам, а по фамилиям домовладельцев, которые, впрочем, редко писались над воротами. Обычно, чтобы найти нужный дом, приходилось справляться у местных жителей. Это неудобство, однако же, придавало московской жизни своеобразный уют, с которым москвичи не хотели расстаться: вплоть до революции наряду с официальной нумерацией (при которой дом Нейдгардта получил номер 14) сохранялся обычай звать дома по фамилиям.

Прямо против наших окон приходилось красивое старинное здание, выстроенное в стиле московского ампира. Теперь его уже нет. В нем помещалось нечто вроде кафешантана, носившего имя «Салон де варьете». По вечерам подъезжали к нему коляски, лихачи, тройки; за освещенными окнами виднелась нарядная публика. Место считалось весьма неприличным, и моей сестре было строго запрещено по вечерам подходить к окну. Я же перед окном в столовой проводил целые часы, то с книгой, то расставляя солдатиков на широком подоконнике, несколько загроможденном горшками с фикусами, филодендронами и другими растениями, бывшими в моде. Всего же чаще я просто глядел на улицу, довольно, впрочем, пустынную: трамвай прошел по Большой Дмитровке много позже, а тогда не было даже конки. Несколько наискосок от нас помещалась пивная, в узкую дверь которой то и дело шмыгали люди в чуйках, рабочие, оборванцы, порою — солдаты с бабами; зимою из двери вырывались клубы занимавшего меня пара. По обеим ее сторонам были синие вывески с пенистыми кружками и надписями: над кружкою — «Кружка пива», а внизу — «5 коп.»

Каждый день, ровно в три часа, к нашему дому подъезжала шикарная узенькая пролетка без верха, так называемая эгоистка, зимой — такие же узкие сани. Это домовладелец, камер-юнкер Александр Борисович Нейдгардт, красивый молодой господин с русыми усами, в черном пальто с бархатным воротником и в цилиндре либо в бобровой шинели и высокой бобровой шапке, являлся наводить порядок. Старый дворник Антон уже ждал его у ворот, а потом долго ходил за ним по лестницам и дворам, держа шапку в руках:

ни в дождь, ни в мороз шапку надевать не дозволялось. Демократическое население дома ненавидело Нейдгардта и называло его Богородицей. Детей, обычно играющих на дворе, перед его приездом дворники разгоняли. Двор пустел.

Как памятен мне этот двор, квадратный, немного покатый к воротам, сперва мощенный мелким булыжником, потом залитый асфальтом. Памятно мне и его население: вдова Горбунова с двумя сыновьями-гимназистами, акушерка Баркова, многосемейный портной Раич, страдающий ревматизмом, зимою и летом ходящий в валенках, Аксинья, торговка яблоками, вечно пьяная старуха, тощая и презлющая, готовая «осрамить» кого хочешь; в пылу перебранки сражает она противника тем классическим аргументом, каким баба Ивана Никифоровича поразила Ивана Ивановича: повернувшись спиной, подымает юбки. Порою проходят мастерицы модистки Шипулиной — гордячки ужасные; в синих коленкоровых платьях и белых пелеринках, с ножницами на поясе, пробегают девочки из модной мастерской Екатерины Алексеевны Ильиной; среди них — Анюта, молочная сестра моя: она за что-то наказана и осуждена всю неделю носить бумажный колпак. Иногда я вывожу из сарая, точно коня, свой велосипед и катаюсь по двору. Иногда мы играем в чижика с маленьким сыном Раича либо с губастым Степкой, сыном шипулинской кухарки.

Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною — покатая железная крыша — навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю — и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед.

Рядом со мною с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом — нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкою под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится и прикладывается ко всем иконам и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол.

Меня наказали за то, что я был неосторожен, и для того, чтобы я был вперед осторожнее. Но такая логика детскому уму недоступна либо еще хуже — представляется ему лживою казуистикой. По-моему выходило просто, что меня наказали за то, что я упал из окна. Иными словами — вместо того, чтобы меня жалеть, утешать и даже вознаграждать за Бог весть откуда свалившееся несчастье, — мне причиняют новое, незаслуженное горе. Такие случаи были часты в моем детстве, как, вероятно, в детстве каждого из нас. Я их переживал мучительно. Мне казалось не то ужасно, что именно со мною несправедливы, но что вообще — как можно жить в мире, где делается такое? От этих мыслей я как бы внутренно задыхался, захлебывался. Надо еще прибавить, что я был необычайно серьезен (актер Сашин, известный в свое время комик, прозвал меня маленьким старичком), — над серьезностью этой подтрунивали, и тогда я казался себе предметом общего издевательства. Однажды на даче кухарка Агафья резала цыплят. Отрезав цыпленку голову, она выпускала его из рук; истекая кровью и шатаясь, как пьяный, безголовый цыпленок бежал несколько шагов по траве и падал. Какие-то бабы смеялись. Случилось после того, что сестра меня чем-то обидела — я заревел. Она надо мной подшутила. Тогда, свету невзвидев, я высказал все, что в душе скопилось:

— Да вот — зарезали петуха и над ним смеетесь!

Как многие дети, я часто задумывался, не подкидыш ли я, и преисполнялся к себе жгучею жалостью.

Порою, после какой-нибудь неприятности, я находил наслаждение в том, что изо всех сил бередил эту рану. Я запирался в самом отдаленном и отнюдь не для того предназначенном уголке квартиры и там, в тесноте, при свете огарка, предавался страшным мечтам. Мне виделись душераздирающие семейные сцены, навеянные чтением Диккенса и Шпильгагена. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: «он». Каждый раз все кончалось тем, что «он», произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, все устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: «Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым». Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания — и сам начинал плакать. То были, однако, сладкие слезы, очистительные, как все, проливаемые над вымыслом. Свое странное убежище я покидал умиротворенный и размягченный сердечно, в некой духовной приподнятости, и давал себе слово впредь быть именно таким хорошим и великодушным, каким только что себя воображал.

Приступы сих трагических переживаний особенно часты были, когда мне было лет восемь и я уже учился в школе. Постепенно они начали себе находить выражение и отчасти исход в стихах, слагавшихся, впрочем, под влиянием литературных образцов особого рода. Но тут я хочу вернуться немного назад, к самому возникновению писательских моих опытов.

Мне было лет шесть, когда сочинил я первое двустишие, выражавшее самую сущность тогдашних моих чувств:

Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает — Женичку.

Не следует думать, что это двустишие вовсе лишено рифмы. В основу рифмоида «люблю — Женичку» положено очень верное чувство рифмы и ритма. В книжной поэзии я помню только один случай такой рифмовки дактилического окончания с мужским: «антраша» и «профессорша» у Андрея Белого в «Первом свидании». Она, однако же, часто встречается в народных песнях, от самых старых до современных частушек

включительно. Гораздо труднее мне было бы защитить другое стихотворение, сохранившееся в моей памяти. Оно было навеяно вербным торгом, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:

Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездиют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.

Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова — не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито как мое собственное. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым *своим* стихотворением считает «Казачью колыбельную песню» Лермонтова.

Тогда же я пробовал силы в драматургии. Симметрия, должно быть, казалась мне основным архитектоническим законом драмы. Поэтому в толстой клеенчатой тетради сосчитал я страницы, разделил ее на четыре равные части и в соответствующих местах надписал: «Действие первое», «Действие второе», «Действие третье», «Действие четвертое». Затем тетрадь была заполнена текстом, представляющим собою комедию «Нервный старик» — подражание какой-то комедии Мясницкого, которую в то время мои братья репетировали для любительского спектакля. За комедией последовала драма «Выстрел». Страницы были отсчитаны, как и в первый раз, но дальше одной сцены дело не пошло. Зато эту сцену я помню в точности: «Гостиная в доме г-жи Ивановой. Г-жа Иванова, г-жа Петрова. Перед поднятием занавеса за сценою слышен выстрел.

Г-жа Петрова. Ах, что это такое? Кажется, выстрел!

Г-жа Иванова. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился».

В столь юном возрасте человек развивается быстро. Вскоре я стал писать стихи гораздо более осмысленные. То были четверостишия или шестистишия нравоучительного содержания, вроде апологов Дмитриева, но, разумеется, чрезвычайно наивные. (Впрочем, и дмитриевские апологи довольно грешат наивностью: недаром Пушкин с Языковым так потешались над ними.) Наконец, от апологов перешел я к чистой лирике, в которой пытался передать сердцещипательные и надрывные свои переживания. Романы дали толчок содержанию. Форму пришлось заимствовать из другого источника. Сестра, братья, какая-то молодежь, бывавшая в доме, порой напевала романсы, отчасти цыганские, отчасти салонные. «Очи черные», «Глядя на луч пурпурного заката» и тому подобные произведения сделались моими литературными образцами. Романс, начинавшийся словами:

Как прощались,
Расставались,
Слезы так текли рекой,
Но мы вскоре
Забудем горе,
Лишь увидимся с тобой, —

казался мне верхом поэтического совершенства. Я стал сочинять любовные романсы самого что ни на есть унылого содержания и порою при этом пускал слезу. Как-то мне подарили целую пачку карнэ де баль; то были кусочки разноцветного глянцевого картона, сложенные пополам; на второй странице отпечатано было золотом расписание танцев, а прочие три оставались чистыми. К каждой такой тетрадочке на розовом или голубом шелковом шнурке был привешен тоненький лакированный карандашик, тоже розовый или голубой. Этими-то карандашиками и писал я, покрывая чистые страницы тетрадочек томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, облака, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя «поэзия» явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки. Чахотка мне угрожала действительно. Доктор Смит прописал мне креозот, который я пил в изрядном количестве, в молоке, прямо из чашки, чем и сгубил навсегда свои зубы. Сладкова-

тый вкус и дегтярный запах креозота мне очень нравились (и нравятся до сих пор).

В то время (лет восьми) стал я ходить в детское училище Л.Н.Валицкой, на Маросейке. В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности. С необычайной тщательностью выделывал я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспредметны. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле — прелестной девочкой. Не думаю, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась.

Здоровье мое было слабо. Летом 1895 года решено было везти меня не на подмосковную дачу, как всегда, а на Волгу, под Ярославль, где жила старшая из моих сестер. Мы с мамою поселились в восьми верстах от Ярославля, в Толгском монастыре, основанном на берегу Волги в честь явленной иконы Толгской Божией Матери. Мы жили в монастырской гостинице, довольно пустынной, с широкими сводчатыми коридорами, в которых всегда пахло черным хлебом, и с просторными, тоже сводчатыми комнатами. Волга и пароходы мне чрезвычайно нравились. К приходу каждого парохода (из которых только один, «Князь Михаил Тверской», был двухэтажный) я бегал на самолетскую пристань, где всякий раз служились молебны. У самой гостиницы находилось небольшое кладбище с обомшелыми, вросшими в землю плитами. За кладбищем начинался большой монастырский парк, преимущественно состоявший из кедров. Туда я ходил гулять и там понемногу завел знакомства с монахами. Один из них, рыжий, как огонь, тощий и горбоносый отец Александр, монастырский живописец, особенно меня полюбил. Из кедровой коры смастерил он лодочку с парусом — я пускал ее на маленьком пруду в парке. Иногда сам настоятель монастыря появлялся в аллее. Я подходил под благословение. Случалось — он брал меня за руку, и мы немного гуляли вместе.

В конце лета приехал на Толгу Иоанн Кронштадтский. Под вечер толпа народу встречала его на берегу и провожала в монастырь. На следующее утро служил он обедню — меня с другими детьми поставили впереди. В тот же день, часа в четыре, я, по обычаю, побежал в парк. О. Иоанн шел с настоятелем и о. Александром. Он благословил меня и спросил, как зовут. Он держался необыкновенно просто и куда менее осанисто, чем многие из знакомых моих монахов. Такое же простое было у него и лицо — оно показалось мне очень женственным и деревенским, и мне было странно, что он окружен таким почитанием. К вечеру он уехал. Толпа народа вновь собралась на берег с иконами и хоругвями. Пароход отчаливал, было ветрено и прохладно. Отец Иоанн стоял один на корме, ветер трепал его рясу и волосы. Так продолжалось, пока пароход не ушел совсем далеко. Толпа не двигалась. Было так тихо, что слышался плеск воды, набегавшей на берег, и так прекрасно и грустно, что я заплакал.

VI

Если пристально вспоминать, то едва ли не с любым днем в году окажется связано какое-нибудь событие. Непременно сыщется что-нибудь, что хоть очень давно, хоть в раннем детстве, а связалось в памяти с этим днем — навсегда. Так что мы чуть ли не каждый день можем праздновать какую-нибудь годовщину.

Вот и у меня на днях такая маленькая годовщина.

Лет шести пристрастился я писать стихи. Первые, помнится, были о сестре Жене — объяснение в чрезвычайной любви. Потом — о разбойнике, что в лесной чаще пробирался к мирному домику с ужасными целями, но — «глаз он выколол о сук»... Потом подарили мне пачку разноцветных карнэ де баль, оставшихся от какого-то бала. К каждой книжечке был привязан тоненький карандашик, отточенный, как булавка. Все это было глянцевое, и от всего пахло пудрой. На этих карнэ де баль написал я пропасть необычайно сердцещипательных произведений. Подражал тогдашним романсам: «Очи черные», «Как прощались, расставались» и проч. Это был целый поток любовной лирики. Она была обращена к воображаемой особе, с самыми золотыми волосами и самыми голубыми глазами на свете. Особа была окончательно несчастна и погибала от любви на каждом карнэ де баль. Я тоже.

Мы жили в Москве. Весной 1896 года выдержал я вступительные экзамены в гимназию, надел фуражку с кокардой, из ворот Толмачевского дома на Тверской видел торжественный въезд Николая II, налюбовался иллюминацией Кремля, надышался запахом плошек, — а в конце мая поехал на дачу в «Озерки», под Петербургом. Пейзаж «Озерков», с горой, поросшей сосновой рощей, с песчаным белесоватым скатом к озеру, с гуляющей публикой, с разноцветными дачами, — смесь пошлого и сурового — запомнился навсегда. Как фантастично и как правдиво он передан через десять лет Блоком — в «Незнакомке» и в «Вольных мыслях»!

В июле отправили меня гостить к дяде, на «Сиверскую». Сопоставляя с некоторыми семейными событиями, вижу, что это было между 15 и 25 по старому стилю, то есть — между 3 и 13 по новому. Значит — как раз тридцать лет тому назад.

Я у дяди скучал и томился. Дом был натянутый и сухой. Общества подходящего — никакого. Нужно чинно гулять по дорожкам и посиживать на скамеечках.

Мимо дач, по самому краю обрыва (под ним — река с холстяной купальней), бежала одна такая дорожка.

Однажды увидел я: из соседней дачи вышли какие-то люди; выкатили огромное кресло на колесах, а в кресле — важный, седой старик, в золотых очках, с длинной белою бородой. Ноги покрыты пледом.

— Знаешь, кто это?

— Ну?

— Это Майков.

Майков!.. Я был потрясен.

Кажется, что моим любимым поэтом в ту пору был Александр Круглов, автор ныне забытый. Проза его слабовата. Но стихи, стихи для детей, у него есть прекрасные: очень какие-то светлые, главное же — не слащавые, без пошлого подлаживания «под детское понимание» и без нравоучений. В стихах Круглова — какое-то ровное и чистое дыхание. Странно, что, кроме Брюсова, я не встречал людей, знающих поэзию Круглова. Брюсов ее, несомненно, оценил: в его стихотворениях «Терем» и «Эпизод» есть явственный отголосок двух пьес Круглова.

Вторым любимцем моим (или вровень с Кругловым) был Майков. Я знал много его стихов наизусть и — дело прошлое! — воровал из них без зазрения совести. В стихотворение «Верба», вслед за описанием шаров, морских жителей и гарцующих жандармов, была мною красиво вставлена и такая строфа:

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

Должен еще покаяться, что, будучи уличен в плагиате, предерзко отрицал это обстоятельство и чуть не до слез божился, что стихи мои собственные, а если такие же есть у Майкова, значит — совпадение.

Но это было раньше. Теперь же, увидев Майкова, я был взволнован. Писатель, поэт... Я читал очень много, но живого поэта никогда не видал и даже в реальном существовании подобных существ был в глубине души не уверен. И вдруг — вот он, живой, настоящий поэт! Да кто еще! Майков!

Я стал похаживать вокруг заветной дачи — и мне повезло. Однажды Майкова выкатили в кресле на дорожку к обрыву и здесь оставили одного. Будь с ним люди, я бы никак не решился. Но Майков был один, неподвижен — уйти ему от меня было невозможно... Я подошел и — отрекомендовался, шаркнул ногой, — все как следует, а сказать-то и нечего, все куда-то вон вылетело. Только пробормотал:

— Я вас знаю.

И закоченел от благоговения перед поэтом — и просто от страха перед чужим стариком.

Прекрасно было, что Майков не улыбнулся. В лице у него не мелькнуло ни тени желания меня ободрить, ни тени снисхождения. Очень серьезно и сухо он что-то спросил. Я ответил. Так минут с десять мы говорили. О чем — не помню, конечно. Остался лишь в памяти его тон — тон благосклонной строгости. Скажу и себе в похвалу, что, начав так развязно и глупо, я все же имел довольно такта, чтоб не признаться ему в любви. Сказал только, что знаю много его стихов.

— Что же, например?

— «Ласточки»...

Тут я снова не выдержал и тотчас угостил Майкова его же стихами. «Продекламировал», «с чувством», со слезой, как заправский любитель драматического искусства. Дома мои декламаторские способности — увы! — ценились высоко... Признаться, при последнем стихе: «О, если бы крылья и мне!» — я зачем-то каждый раз изо всех сил хлопал себя обеими руками по голове. На этот раз я невольно удержался от этого сильного жеста, но все же мне показалось, что после моего чтения Майков сделался менее разговорчив. Теперь-то я очень себе представляю, почему это случилось... Но тогда моя радость и гордость не омрачились ничем. Вскоре за Майковым пришли, его увезли. Он сказал мне «прощай» — и я больше его никогда не видел. Встреча эта меня глубоко взволно-

вала, и я долго о ней никому не рассказывал. Это было торжественное и важное: первое знакомство с поэтом. Потом — скольких еще я знавал, и в том числе более замечательных, но, признаюсь, того чувства, как тридцать лет назад, — уже не было.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Из советских воспоминаний

К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь *для себя*, я вознамерился поступить на советскую службу.

В январе 1918 года покойный мой брат, присяжный поверенный, предложил мне стать секретарем только что учрежденных третейских судов при Комиссариате труда Московской области. Я согласился.

Фабрики и заводы тогда еще не были национализированы. Третейские суды должны были разбирать тяжбы рабочих и служащих с предпринимателями. По каждому делу составлялся суд из трех лиц. Одного судью выбирал предприниматель, другого — рабочие. Эти судьи, в свою очередь, выбирали третьего, суперарбитра, но выбор их был ограничен: они должны были избрать одного из уполномоченных комиссариатом. Уполномоченных таких было два: присяжный поверенный Алексей Николаевич Васильев и мой брат.

Как водится, судьи, выбранные рабочими и предпринимателями, в сущности, были их поверенными. Действительным судьей оказывался суперарбитр, голос которого и решал тяжбу. Так как суперарбитр принадлежал к составу комиссариата, то, в конечном счете, эти суды были правительственные, с назначенным от правительства судьей. Зачем нужно было придавать им видимость выборности и называть третейскими и зачем они были учреждены при Комиссариате труда, а не входили в состав Комиссариата юстиции — это выяснится из дальнейшего.

Впервые придя на службу, я был поражен внешним видом учреждения. Впоследствии все к таким вещам привыкли, но поначалу зрелище мне показалось чудовищным. Комиссариат помещался где-то возле Ильинки (если не ошибаюсь — в Хрустальном переулке), в огромном опустошенном здании, разумеется — нетопленом. Нижние этажи стояли почти пустые. То

был ряд колоссальных зал с разбитыми окнами. Снег, врывавшийся в окна и заносимый на сапогах, оттаивал на полу, мешаясь с грязью. Кое-где устроены были переборки из свежих досок; образовались крошечные закутки с печурками, ворохами бумаг и пишущими машинками. В верхних этажах было уютнее. Но и тут снова — перегородки, пестреющие приколотыми, пришпиленными, приклеенными бумажками с чернильными, карандашными (черными, красными, синими) и машинными надписями. Все это — инструкции, объявления, расписания, разъяснения, правила, циркуляры, декреты и прочее. Но, несмотря на инструкции, расписания и разъяснения, никто ничего не понимает: ни посетители, ни служащие. Правила противоречат друг другу, разъяснения ничего не разъясняют, и объявления ничего не делают явным. Неисчислимые отделы и канцелярии поминутно переезжают из этажа в этаж, выбрасывая из поломанных шкафов «чужие» дела и захватным порядком овладевая чернильницами. Где вчера было одно, там уж нынче другое, и отыскать вчерашнее невозможно. И вчерашний чиновник пропал, и должность его упразднили, и у кого вчера была ручка со ржавым пером — у того утащили ее, а новую негде взять: самому надо стащить у кого-нибудь. И бумаги, оставленные в столе, — глядишь, назавтра уехали со столом — неизвестно куда. Посетители пристают в коридорах, на лестницах:

— А где здесь, товарищ, комната № 84?

— А где мне, родимый, справочку получить насчет сына? На войне он...

— А что, господин товарищ, хлебные карточки здесь выдаются?

— Шапку вы тут не видели? Вот сейчас положил — и нету.

Мимо всего этого надо скорей пробежать в свою комнату. У нас, в отделе третейских судов, очень мало служащих, а потому есть некоторый порядок.

Обязанности мои: вести протоколы заседаний и составлять третейские записи. Первое — дело нехитрое. Но второе — мучительно.

Приходят ко мне представители сторон (само собой разумеется — всегда с опозданием: ждут друг друга часами). Я проверяю доверенности и мандаты. После этого надо составить такую бумагу: «Мы, такие-

то, представители такого-то предпринимателя, и такие-то, представители таких-то рабочих или служащих, согласились разрешить наш спор путем третейского разбирательства при таком-то составе суда. Вопросы, подлежащие разрешению, заключаются в том-то и в том-то. Решению суда обязуемся подчиниться безусловно за себя и за своих доверителей. Подписи».

И вот начинается выяснение и формулировка вопросов, подлежащих решению. Поверенный предпринимателя почти всегда — адвокат. С ним легко. Но рабочие присылают наиболее «сознательных» товарищей. Эти, прежде всего, никак не хотят понять, что составление записи — еще не суд, а я — не судья. Они спорят по существу, остановить их немыслимо. На то, что я не хочу их выслушивать, они негодуют. Когда раз двадцать, на все лады, объяснишь им, в чем дело, — начинается бесконечный спор о формулировке вопросов. «Сознательные» не понимают простейших редакций, которые предлагаю им я. Зато они требуют, чтобы вопросы ставились в их редакции, которую, кроме них, понять не сможет никто на свете. Наконец, иногда — после нескольких «сеансов», после того как рабочие по нескольку раз возвращаются к себе на завод за инструкциями своих доверителей, — запись, наконец, составлена и подписана. Представители «капитала» отдуваются и вытирают потные лбы. С облегчением вздыхаю и я, хоть предчувствую, что сейчас произойдет еще одно осложнение. И оно почти всякий раз происходит. После торжественной паузы, переглянувшись с товарищами, кто-нибудь из рабочих выступает вперед и заявляет мне веско, медленно:

— Я, товарищ, должон теперь же вперед сказать по уполномочию товарищей, что если решение суда будет не по-нашему, то мы ему не подчинимся.

Начинаю объяснять, что такое суд; говорю о том, что его определение никем не может быть предрешено; что решения третейского суда безапелляционны. Объясняю все это в простейших терминах, не торопясь, заставляя продумывать каждую мою фразу. Подвигаемся медленно — и приходим, наконец, к выводу, что, каково бы ни оказалось решение суда, — надо будет ему подчиниться. Итак, все улажено. Рабочие мною очень довольны и на прощание говорят мне дружески, как своему человеку:

— Ну, до свидания, спасибо. Будь, значит, по-вашему. Подчинимся, значит, решению суда. Только вот наши-то навряд подчинятся. Нас-то ведь трое, а на фабрике — пятьсот человек.

Представитель кровожадного капитала смотрит на меня с ужасом. Канитель начинается сызнова. Объясняю рабочим значение их мандатов, говорю им, что они подписались не только за себя лично, но и за всех. Слушают, кивают головами, поддакивают, но между собою переглядываются с таким видом, что мне становится ясно: ни к чему все мои уговоры.

Повторяю — подписание третейских записей почти никогда не проходило без этих сцен. Два раза мне так и не удалось добиться согласия на подчинение суду. Рабочие уходили, не сторговавшись со мной. Куда обращались они потом и что дальше происходило — не знаю.

Заседания суда проходили столь же негладко. Рабочие обязывались приводить свидетелей. Ради этого откладывались заседания, но свидетели не являлись. Это не мешало рабочим требовать, чтобы суд считался с показаниями, которых не слышал. Явившиеся свидетели зачастую лгали с поразительной откровенностью. Их уличали — они даже не смущались. Припугнуть их нельзя было ничем — присяги не существовало.

Моральная обстановка суда была тяжелая. Предприниматели не верили в его беспристрастие, считая, что он — большевицкий: большевики в это самое время кричали на всех перекрестках, что они учреждают свой, классовый, пролетарский суд. Рабочие суда не уважали, считая, что он должен быть их слугой. Грозили. Напоминали: мы вас поставили, мы и скинем. Не будучи уверены в своем авторитете, арбитры старались не решать дел перевесом своего голоса, а добиваться решения единогласного. Другими словами — стремились найти компромисс и закончить дело миром — уже после разбирательства и судоговорения. Совещания суда превращались в торг между поверенными сторон, которые, впрочем, проявляли немало уступчивости: представитель хозяина опасался, что, пожалуй, по решению «большевицкого» арбитра потеряешь больше. Судья же, приведенный рабочими, всегда помнил, что в крайнем случае его доверители просто не станут считаться с решением суда.

Когда невозможно было добиться единогласия, арбитр постановлял решение сам. Тут-то и происходило самое любопытное.

Арбитр, назначенный большевиками, судит рабочих с предпринимателями. Казалось бы — ясно, как будут решаться дела: именно так, как ожидают стороны, то есть непременно в пользу рабочих. Однако в действительности выходило не так, и вовсе не потому, что судьи были людьми какой-то исключительной независимости. Назначенные большевиками, они бы и не могли проявлять беспристрастия вопреки большевицкой воле, потому что их в этом случае просто сместили бы. Разгадка их беспристрастия лежала глубже.

Большевики действовали демагогически. Поэтому третейским судам старались они придать в глазах рабочих видимость «хороших», «пролетарских» судов, то есть направленных против предпринимателей. Для того и состояли они при Комиссариате, ведающем охраной труда, для того-то и суперарбитр назначался большевиками, чтобы рабочие были уверены, будто это их собственный, «классовый» суд, которому они могут приказывать и грозить. После всего, что они слыхали на митингах, рабочие имели основания ожидать и требовать такого суда.

Однако, ставши хозяевами в стране, большевики были теперь заинтересованы в сохранении хотя бы того, что еще можно сохранить. Рабочие, распропагандированные теми же большевиками, предъявляли к хозяевам требования непомерные, ни с чем не сообразные — и касательно заработной платы, и касательно распорядка на предприятиях. Удовлетворяя эти требования, сберечь предприятия было немыслимо. Отсюда ясно, что Комиссариат труда давал своим суперарбитрам как раз не те инструкции, каких ожидали рабочие. Он рекомендовал при решении дел исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны. Рекомендовалось по возможности решать дела в пользу предпринимателей. Само собой, эта инструкция хранилась в глубокой тайне.

Чтобы примерно показать, до чего простирались требования рабочих, расскажу об одном деле. Правда, оно и тогда казалось исключительным.

Россия была покрыта сетью магазинов, мастерских и агентств компании Зингер. В каждом городке, в

каждом большом селе, в каждом железнодорожном или рабочем поселке были агенты по продаже зингеровских швейных машин в рассрочку. Всех рабочих, служащих и агентов Зингера было не помню сколько: какое-то пятизначное число. В начале 1918 года вся эта армия предъявила к компании Зингер иск, по которому требовала: 1) колоссальной какой-то доплаты к жалованию — за все время с начала войны, притом не только для тех, кто оставался на работе, но и для тех, кто был мобилизован; 2) семьям всех убитых на войне или умерших во время войны — вознаграждение в размере полного заработка за время с начала войны по 1918 год, плюс еще за десять лет вперед, то есть по 1928 год; 3) то же самое — всем раненым, вне зависимости от степени утраты трудоспособности; 4) процентов на все эти суммы — с начала войны по день уплаты. Был и еще ряд требований, не менее фантастических, но в чем они заключались, уже не помню.

Суперарбитром по этому делу был мой брат. Миром кончить не удалось. Он отложил решение, и мы тем временем попробовали подсчитать, какая получилась бы сумма, если бы претензию удовлетворить полностью. К сожалению, точная цифра улетучилась из моей памяти, но, во всяком случае, дело шло приблизительно о двух миллиардах золотых рублей, то есть приблизительно о двадцати пяти миллиардах нынешних франков.

Обычно от предъявления вздорных исков удерживает перспектива уплатить судебные издержки в пользу ответчика. Разумеется, большевики ввели правило, согласно которому издержки возлагались на предпринимателей независимо от исхода дела. Рабочим это давало большое нравственное удовлетворение, а хозяева не роптали: сумма издержек определялась совершенно ничтожная: обычно — рублей 15—20 по многотысячному делу.

Из сказанного понятно, чего достигали большевики своей политикой. Разжигая «классовое сознание» рабочих, они не препятствовали требовать с предпринимателей что угодно. Но фактически эти требования не удовлетворялись. Правда, рабочие в подавляющем большинстве случаев оставались решением суда недовольны, но большевиков винить в этом не могли: ведь суды были *третейские*, а не государственные. Если бы

те же дела разбирались учреждениями Комиссариата юстиции, большевикам пришлось бы или всегда и полностью удовлетворять иски рабочих (что по тем временам было еще невыгодно), или же принимать на себя всю ответственность перед «негодующим пролетариатом», что было бы еще тяжелее. Система же «третейских судов» давала большевикам возможность достигать желательных результатов, не вызывая нареканий со стороны рабочих.

Предприниматели, разумеется, подчинялись решениям суда беспрекословно. Рабочие, несмотря на все увещания, которыми сопровождалось составление третейских записей, — отнюдь не всегда. Исполнительной власти, которая могла бы их понудить к этому, в распоряжении третейских судов не было. Исполнительная власть находилась в руках районных Советов, которые сами поддерживали рабочих в их нежелании подчиниться решению суда. Делалось это по разным причинам: во-первых — по демагогическим расчетам большевиков, во-вторых — потому что члены Советов в большинстве были сами люди того же правосознания, как рабочие. Сюда же надо прибавить и тот сепаратистский восторг, которым были охвачены районные Советы: они ощутили себя «властью на местах» и всякому сколько-нибудь «центральному» учреждению старались не подчиняться из чувства собственного достоинства и ради сохранения престижа. Это была эпоха борьбы районных Советов с городским, а городского — с Совнаркомом. Доходило до чудовищных курьезов. По какому-то делу Комиссариат труда послал несколько бумаг Рогожскому совдепу, требуя, чтобы тот принял меры к исполнению решения, которым рабочие были недовольны. Все было напрасно. Наконец я позвонил по телефону в Совет, и мне оттуда ответили:

— Вы, товарищ, лучше отступитесь, а то мы против вас двинем воинскую часть.

Не располагая в тот момент ни артиллерией, ни танками, я был вынужден не настаивать.

Месяца через полтора после начала моей службы я вызван был к В.П.Ногину, который стоял во главе комиссариата. Это был рыжий, вихрастый человек в очках, средних лет, вполне порядочный, — типичный представитель низовой интеллигенции. Он предложил

мне покинуть третейские суды и заняться не более и не менее как кодификацией декретов и постановлений, изданных по Комиссариату труда за все время с начала советской власти. Другими словами — составить кодекс законов о труде для первой в мире республики трудящихся. Чувствовалось, что эта идея пришла ему в голову внезапно.

Мне было очень трудно не засмеяться. Выходило, что хотя всего лишь на время «переходного периода», но все-таки мировой пролетариат победил для того, чтобы я мог, наконец, дать ему законы. «За что боролись?» — подумал я.

Еще забавнее было то, что, когда я указывал Ногину на ничтожность моих юридических познаний, он не хотел и слушать:

— Справитесь, — повторял он, — ей-Богу, справитесь. Нам это не к спеху.

Однако я наотрез отказался стать новым Ликургом или Солоном. Мы с Ногиным помирились на том, что я составлю сводку изданных постановлений, распределю их по отделам и т. д. — словом, займусь подготовительной работой для будущей кодификации.

Я начал с того, что затребовал материалы. Оказалось, что они состоят из необозримого множества машинописей и газетных вырезок. Тут были декреты Совнаркома, циркуляры нашего комиссариата и — целое море всевозможных постановлений и правил, составленных множеством новых учреждений по всей России. Не говоря уже обо всей этой разноголосице, я сразу же обнаружил, что распоряжения даже центральной власти, неотмененные и сохраняющие силу, в корне противоречат друг другу на каждом шагу. Примирять их нельзя было — надо было *выбирать*, отвергая одно и подтверждая другое, то есть именно законодательствовать. Чтобы не вступать на этот путь, я вздумал составить просто коллекцию декретов и постановлений. Но мои материалы оказались в таком хаотическом состоянии, что и коллекционировать их было немыслимо. Многие постановления не были датированы. В других не было указаний, кем они изданы. Третьи, наконец, представляли собой какие-то отрывки с потерянными началами, серединами или концами.

Провозившись над этой трухой несколько дней и поняв из разговоров с Ногиным, что ни разъяснений,

ни указаний, ни недостающих материалов мне ждать неоткуда, я подал в отставку. Она не была принята. Тогда я просто перестал ходить в комиссариат. Решение «созрело» однажды утром. Я встал, выпил чаю — и понял вдруг, что идти в комиссариат не могу. До такой степени не могу, что нет сил зайти туда хотя бы за портфелем, который остался в ящике моего стола. Отличный был портфель, светло-коричневой кожи, с великолепнейшими застежками. Но я за ним не пошел, завидуя Фоке, который все же унес от Демьяна кушак и шапку.

Читатель спросит: а что же сделал Ногин, узнав, что законодатель сбежал? Этот вопрос интересовал и меня. Но когда я через несколько времени осторожно навел справки, оказалось, что Ногин ничего обо мне не спрашивал и исчезновения моего не заметил. По-видимому, он так был занят, что совсем позабыл о своем намерении издать законы.

ПРОЛЕТКУЛЬТ И Т.П.

Из воспоминаний

Сейчас вся Россия готовится к торжественному чествованию памяти Пушкина. Несомненно, что составленные грандиозные планы далеко не будут выполнены во всем объеме, что разными мелкими властями и властелинами будет проявлено немало головотяпства. Однако нельзя не признать, что теперешние «веяния» глубоко разнятся от всех первоначальных, «революционных», которыми были отмечены годы военного коммунизма, когда и сам Пушкин, и наука о нем были взяты на подозрение, когда русской литературой при помощи безвольного Луначарского управлял Каменев.

Невольно мне вспоминаются те времена и мои бессильные попытки «продвинуть в массы» именно Пушкина.

Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта. В конце сентября состоялось собрание, на котором впервые лекторы встретились со своими будущими слушателями. Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось, однако, установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет цикл эпизодических лекций, объединенных общею темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.

Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория, в смысле подготовленности, была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких. На совершенно неподготовленных пришлось

сразу махнуть рукой: было ясно, что вскоре они отпадут, потому что им место не в литературной студии, а в начальной школе. Но и с тою частью, которой, видимо, было суждено удержаться, надо было приноровлять лекции так, чтобы они были не слишком элементарны для одних и не слишком затруднительны для других.

Начиная с первой же лекции мои слушатели стали в антрактах обращаться за разъяснениями: одним хотелось точней уяснить непонятное, другие, напротив, просили несколько углубить и расширить то, о чем в лекции говорил я слишком для них элементарно. Эти кулуарные разговоры позволили ближе ознакомиться со студийцами. На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безразборному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься.

Занятия шли успешно, но это именно и не нравилось верховным руководителям Пролеткульта. С их точки зрения, мои слушатели, из которых должны были составиться кадры пролетарской литературы, должны были перенять у Пушкина «мастерство», литературную «технику», но ни в коем случае не поддаваться обаянию его творчества и его личности. Следовательно, мои чтения представлялись им замаскированной контрреволюцией, тогда как в действительности одурачиванием рабочей аудитории, то есть настоящею контрреволюцией, занимался именно совет Пролеткульта. К этому прибавились мотивы личного характера: в то время как лекции «буржуазных специалистов» собирали по 30—40 слушателей, а иногда (некоторые лекции Андрея Белого) до 60, слушать коммунистических «руководителей» приходило человек по пятнадцати. Чувствуя, что студийцы все более поддаются влиянию «спецов», главари Пролеткульта решили с этим бороться. Удалить нас вовсе — значило бы признать свое бессилие, раскрыть карты и вос-

становить слушателей против совета Пролеткульта. Поэтому нам начали просто мешать. Для начала придумали такой трюк: мне было объявлено, что лекционная система оставляет студийцев слишком пассивными: надо привлечь их к активной работе по Пушкину, то есть перейти на семинарий. Сколько я ни возражал, что семинарий требует регулярной посещаемости, в тогдашних условиях недостижимой, — мне был один ответ: совет Пролеткульта постановил. Делать нечего, я перешел на систему семинария. Мне пришлось сразу указать слушателям на то, что новая система требует от них постоянного присутствия и некоторой домашней работы, без которой семинарий немыслим. Мне ответили: постараемся, — но голоса были неуверенные.

Случилось то, чего надо было ожидать. Уже на второе собрание семинария не явилась часть бывших на первом, зато явились новички, которым пришлось объяснять все сызнова. Студийцы смущались, конфузились передо мной и друг перед другом — «активное участие» приходилось из них вытягивать чуть не клещами, добывая его в микроскопических дозах. В конце концов, все сводилось к тому, что я один, надсаживаясь, «играл» и за руководителя, и за весь семинарий.

Когда все-таки студийцы начали кое-как втягиваться в работу, последовал новый приказ: отменить семинарий и читать систематический курс: «Жизнь и творчество Пушкина».

По существу, это было даже лучше семинария. Но я видел, что новая перемена вызвана не заботой о пользе дела, а желанием снова ему помешать. Как раз в это время произошел случай, несколько испортивший мои отношения со студийцами. При Пролеткульте решено было издавать журнал «Горн», под редакцией самих студийцев. Меня попросили написать статью о книжке стихов Герасимова. Он был не совсем новичок в литературе — еще в 1915 году я довольно сочувственно отзывался о нем в «Русских Ведомостях». Я согласился и написал о Герасимове то, что думал, то есть что человек он даровитый, но пока еще целиком зависит от своих учителей-символистов, преимущественно от Блока и Брюсова. Велико было мое удивление, когда я получил первый номер «Горна» и увидел, что из статьи выброшены все мои упреки Герасимову, а

8—3400

похвалы оставлены, так что статья стала гораздо более хвалебной, нежели была в рукописи. На мои протесты было отвечено, что о литературных достижениях пролетариата надо писать «отчетливей», то есть кричать о хорошем и замалчивать слабое, и что даже в таком виде, как статья напечатана, она все-таки Герасимову (одному из редакторов «Горна») не нравится: «Вы его мало похвалили». Действительно, я заметил, что Герасимов перестал посещать мои лекции. Все это мне не понравилось: в те времена кумовство даже и в «гнилой» буржуазной критике не поощрялось — ему только еще предстояло расцвести в эмиграции.

В одно из воскресений зашел я в качестве гостя на исполнительное собрание, где студийцы читали стихи и между собой обсуждали прочитанное. Читались стихи посредственные, а то и вовсе плохие. Но — с какой юмористической почтительностью говорили чтецы и слушатели друг о друге! Сколько хитрецы было в похвалах, расточаемых для того, чтобы самому получить такую же похвалу в ответ! В довершение всего, некий Семен Родов имел наглость при мне прочитать свою большевицкую поэму, которую перелицевал из антибольшевицкой, читанной мне больше года тому назад, когда автор был еще просто студентом и не носил пролетарской кожаной куртки.

Я ушел с тяжелым чувством. Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубною теорией «пролетарского искусства» испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности, очень хорошую. В таком настроении предстояло мне приступить к чтению курса. Дело шло к весне, и я предложил отложить его до осени. Куда! Мне с важностью заявили, что «у пролетариев нет каникул». Я начал читать. Лекции по-прежнему стали собирать человек по сорок слушателей, то есть больше, чем семинарий, на который не приходило больше пятнадцати. То же самое происходило у других «буржуазных» лекторов, хотя им, как и мне, всячески мешало начальство. К руководителям Пролеткульта по-прежнему ходило мало народа. Было ясно, что «контрреволюции» вскоре будет нанесен решительный удар. И в самом деле, придя на четвертую лекцию, на которой я должен был говорить о петербургской жизни Пушкина по выходе из Лицея, я вдруг узнал, что все лекции отменены, а студийцы отправлены на фронт. В

опустелых залах я встретил кое-кого их них. Эту отправку они ощущали как почетную ссылку, были злы на совет Пролеткульта, но недовольны и лекторами, навлекшими на них такую напасть.

С осени я в Пролеткульт не вернулся, да и ученики мои, вернувшись с войны, вышли из Пролеткульта, чем недвусмысленно выказали свое отношение к его начальству. Литературная студия навсегда прекратила существование, а ее основное ядро сорганизовалось в группу пролетарских поэтов, получившую название «Кузница». Она просуществовала несколько лет. Ничего выдающегося она не сделала именно потому, что ее участникам не дали возможности пополнить свое литературное образование. Постепенно сошли на нет и исчезли со страниц советской печати ее участники, как даровитые, вроде Казина и Герасимова, так и не обладавшие талантом, вроде Александровского. Не только не состоялась пролетарская литература, но и были загублены люди, несомненно достойные лучшей участи. Бессовестно захваленные, но не вооруженные знанием дела, они не выдержали конкуренции попутчиков.

На этом кончилась моя первая попытка ознакомления «широких масс» с Пушкиным. Вторая относится к более позднему времени — к весне 1921 года. Я жил в Петербурге. Подголадывал. Однажды вечером — стук в дверь. На пороге какая-то женщина — пришла приглашать меня читать лекции о Пушкине в клубе имени Подбельского. Поначалу я отказался, наученный московским опытом. Но женщина привела доводы неопровержимые: сколько-то фунтов черного хлеба и фунт повидла в неделю. Оказалось к тому же, что и клуб находится недалеко — поблизости от Мариинского театра (я жил на углу Мойки и Невского). Кончилось тем, что я согласился. Моими слушателями оказались служащие почтового ведомства, в огромном большинстве — женщины. Три раза я им рассказывал о Пушкине. Слушали хорошо, вникали, после лекции забрасывали вопросами, в большинстве случаев очень дельными. Я уже начал даже испытывать некоторое удовольствие от этих занятий. Как вдруг, в один прекрасный день, получаю вызов к клубному комиссару, которого никогда не видел и о самом существовании которого до тех пор не подозревал. Являюсь. Обык-

новенный комиссар, как все: гимнастерка, растрепанная бородка, пенснэ, револьвер. Он мне сказал:

— На будущей неделе мы празднуем двухлетний юбилей курсов. Пускай кто-нибудь из ваших слушательниц прочтет доклад о Пушкине.

Я почтительно доложил, что никто из слушательниц этого сделать не может, ибо познания их еще слишком ограниченны.

— А между тем надо, — сказал комиссар, — будет начальство, пресса.

— К сожалению, немыслимо.

— Тогда вы сочините, а она пускай прочитает. Понимаете? Вечер должен быть показательный.

Я очень спокойно объяснил ему, что есть большая разница между «показательным», когда показывают то, что есть, и «показным», когда показывают то, чего нет. Мое объяснение ему не понравилось. Он рассердился и объявил, что больше я у них не служу.

Больше о Пушкине я не читал, но пригласили меня еще раз — при обстоятельствах столь неправдоподобных, что, вероятно, читатели мне не поверят. Мне было кем-то предложено читать популярно-научные и литературные лекции (в частности, о Пушкине) в кружке для самообразования, который начальство предписало устроить при... Российской Академии Наук. Я сперва думал, что речь идет о сторожах и уборщицах, но мне пояснили, что посещение кружка будет обязательно для всех без исключения работников Академии. Перспектива объяснять Хвольсону, отчего бывает гром и молния, Павлову рассказывать о системе кровообращения, а Модзалевскому сообщать, что Пушкин родился в 1799 году, меня ужаснула. Я отказался.

КНИЖНАЯ ПАЛАТА

Из советских воспоминаний

Уже при Временном правительстве московский цензурный комитет претерпел глубокие изменения. После октябрьского переворота он был превращен в «подотдел учета и регистрации» при отделе печати Московского Совета. Из прежних функций за ним сохранились две: регистрация выходящих изданий — во-первых, и распределение так называемых «обязательных экземпляров» по государственным книгохранилищам — во-вторых. К этим двум функциям, полезным и даже необходимым, была прибавлена третья. Национализировав типографии и взяв на учет бумажные запасы, советское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требовалось получить особый «наряд» на типографию и бумагу. Без наряда ни одна типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумаги. Выдача этих нарядов была сосредоточена в руках новоиспеченного учреждения. Во главе его с лета 1918 года стал Валерий Брюсов.

Ввести прямую цензуру большевики еще не решались — они ввели ее только в конце 1921 года. Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тотчас получили возможность прекратить выдачу нарядов неугодным изданиям, чтобы таким образом мотивировать их закрытие не цензурными, а экономическими причинами. Все антибольшевицкие газеты, а затем и журналы, а затем и просто частные издательства были постепенно уничтожены. Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов, но, разумеется, директивы получались им свыше. Не будучи советским цензором «де-юре», он им все-таки очутился на деле. Ходили слухи, что его служебное рвение порой простиралось до того, что он позволял себе давать начальству советы и указания, кого и что следует пощадить, а что прекратить. Должен, однако, заметить, что я не знаю, насколько такие слухи были справедливы и на чем основывались. Несколько забегая вперед, скажу, что впоследствии, просматривая делопроизводство под-

отдела, никаких *письменных* следов такой деятельности Брюсова я не нашел.

Еще в 1918 году подотдел учета и регистрации был переведен из прежнего помещения цензурного комитета в дом гостиницы «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки. Однако в октябре или ноябре 1919 года весь этот дом был полностью предоставлен центральному комитету коммунистической партии. Подотделу приказали немедленно выселиться — и он не без труда нашел себе пристанище на Девичьем Поле, где ему отвели две комнаты в доме Архива Министерства юстиции. Брюсов, живший на 1-й Мещанской, очутился в необходимости ездить на службу через весь город. Ни автомобиля, ни лошади ему не полагалось тогда по штату, а трамваи почти не действовали. Брюсов к тому же был болен и иногда по целым неделям лежал в постели: у него был фурункулез — по-видимому, на почве интоксикации (уже двенадцать лет он был морфинистом). В конце года он подал в отставку. Мне предложили занять его место.

В ту пору советские учреждения еще переживали эпоху, которую можно назвать эпохой перманентного становления. Круг деятельности каждого из них непрестанно менялся, так же как его права и обязанности. Происходило это, главным образом, вследствие неутихавшей борьбы местных советов с органами центрального правительства. Неудивительно, что и цензурные функции рано или поздно были отняты у Московского Совета и переданы куда-то выше — куда именно, я уже не помню. Произошло это, вероятно, в середине 1919 года. Таким образом, когда мне предложили занять место Брюсова, одиозная часть его прежних обязанностей совершенно уже отпала. Самый подотдел учета и регистрации к этому времени стал называться Московской Книжной Палатой. Все дело ее заключалось в том, чтобы вести библиографическую регистрацию выпускаемых типографиями печатных произведений и получать с типографий так называемые «обязательные экземпляры». Число таких экземпляров к этому времени было доведено до двадцати пяти (до войны их было значительно меньше). Двадцать два из них Книжная Палата должна была рассылать по книгохранилищам, имеющим государственное значение: прежде всего — в Публичную библиотеку, в Румянцевский и Истори-

ческий музеи, в библиотеку Академии наук, в университетские библиотеки и т. д.

При таком ограничении деятельности ничто не мешало мне занять предлагаемую должность. Я согласился — не ради заработка, ибо месячный «оклад» заведующего Книжной Палатой приблизительно равнялся цене пятнадцати фунтов черного хлеба на вольном рынке (то есть копейкам тридцати в месяц по довоенному расчету). Но в те времена был «богат» и сравнительно спокоен не тот, у кого было больше стремительно падающих «дензнаков», а тот, у кого в бумажнике было больше казенных удостоверений и других бумаг с красной печатью. Бумаги такие давали право на квартиру, на телефон, на продовольственную карточку, на неучастие в очистке железнодорожных путей от снега и на другие привилегии того же порядка — вплоть до известных даже гарантий личной неприкосновенности. Я был не прочь получить несколько лишних удостоверений, тем более что работу в Театральном отделе к тому времени уже прекратил, а от заведования московским отделом «Всемирной Литературы» мечтал отделаться. Наконец, Книжная Палата устраивала меня еще потому, что я жил поблизости от ее нового обиталища — в Хамовниках.

Штат Книжной Палаты был невелик: кроме меня, состоял он из секретаря, регистратора, машинистки и курьера Янчука — человека ворчливого и кудластого, уже пожилого, весьма недовольного новыми порядками: он служил еще в цензурном комитете и достался Книжной Палате, так сказать, по наследству, вместе с мебелью и многочисленными фотографиями старых цензоров. Фотографии эти, в деревянных рамочках, он развесил в моем кабинете и тщательно стирал с них пыль тряпкой. На меня он сперва косился — потом мы подружились.

Работы, в сущности, было немного, но она осложнялась мучительно: не было письменных принадлежностей, лент для машины, не было даже оберточной бумаги и веревок для перевязки книг, рассылаемых по библиотекам. Все это приходилось добывать с великим трудом. Посылки нужно было доставлять в Главный почтамт, на Мясницкую, — Янчук раздобыл салазки и раза два в неделю впрягался в них. В помещении Палаты было градуса три тепла, не больше.

Руки у регистратора опухали и трескались от холода: книги на холоде не лучше железа. Работали все в перчатках.

Эти трудности, порядка технического, были, однако ж, не главной бедой. Еще трудней обстояло дело с типографиями. По декрету, грозящему самыми строгими карами, книги должны были доставляться в Палату из типографий немедленно по выходе. На деле они запаздывали. Случалось, что книга давно уже появилась в продаже, а в Палату она все еще не поступала. Я звонил по телефону в типографии, рассылал приказы заведующим — дело все-таки подвигалось медленно. Виною была отчасти всеобщая расхлябанность, отчасти то, что и типографии находились в таких же тяжелых обстоятельствах, как мы сами. У них тоже не было упаковочных материалов и перевозочных средств, а служащие были распущенны, голодны и измученны. В один прекрасный день (это было, помнится, в самом конце 1919 года) я нашел у себя на столе обрывок бумаги, на котором было карандашом нацарапано: «Больше газет доставлять не буду — больно вы далеко забрались». Это послание исходило от рассыльного бывшей сытинской типографии на Тверской, где печатались «Известия» и «Правда». И действительно, с этого дня доставка газет прекратилась. Бесчисленные мои звонки по телефону и бесчисленные письменные «приказы» оставались без всяких последствий. Меж тем библиотеки наседали на меня и грозились жаловаться в Совет. Наконец Совет сам затребовал у меня объяснений. Я представил всю переписку мою с заведующим типографией «Известий». Кончилось тем, что его арестовали и посадили в Чека за саботаж, — что было довольно забавно, ибо он был коммунист. Просидев там недели две, он был выпущен, как «незаменимый работник», но из-за всей этой истории «Известия» и «Правда» не доставлялись в Палату около трех месяцев. В конце марта или в начале апреля я раздобыл автомобиль и отправился сам на склад «Известий» за комплектами недоставленных номеров. Однако мне удалось добыть всего два или три комплекта, и то потрепанных и подмоченных. Я «присудил» один из них Публичной библиотеке, другой — Румянцевскому музею, третий, если только он был, — Историческому. Только в этих хранилищах и можно по сию пору

получить комплекты «Известий» и «Правды» за первые три месяца 1920 года. Больше нигде их нет — и не будет.

Немалое количество страданий мне причинили также и «безнарядные» книги. Дело в том, что при известных связях и за известную мзду можно было иногда добывать бумагу без всякого наряда и без наряда же печатать книги в типографиях. Такие книги появлялись на рынке, я порою отлично знал, кто их издатель; порою авторы мне их дарили с дружескими надписями. Но на этих книгах имелись самые фантастические обозначения места издания: Амстердам, Антверпен, Филадельфия и т.п. Типография, разумеется, не была обозначена никогда. В Палату такие книги, естественно, не доставлялись, и, таким образом, в государственных книгохранилищах образовался пробел. Издание, которое можно было купить в любой книжной лавке, не попадало в Румянцевский музей. Правда, музеи и библиотеки порою приобретали их за собственный счет, но средства их были ограниченны, они требовали книг от меня, а я не мог сделать ничего, ибо к системе полицейского розыска прибегать не хотел по причинам вполне понятным.

Еще одним источником постоянных неприятностей были афиши. Как я уже говорил, выдача нарядов была изъята из компетенции моего учреждения. Однако же некий рудимент старого порядка сохранился. Разрешения на устройство спектаклей, докладов, лекций, митингов и т. п. выдавались органами Наркомвнудела. Наркомвнудел же рассматривал и текст афиш. Однако для отпечатания афиши требовалась виза Книжной Палаты. Мне была дана инструкция, согласно которой я не имел права входить в рассмотрение этого текста. Я должен был разрешать печатание любой афиши, если на ней было разрешение Наркомвнудела. Моя обязанность заключалась лишь в том, чтобы сдерживать расходование бумаги: контролю моему подлежал только формат афиш и количество экземпляров. Частные устроители, конечно, подчинялись мне беспрекословно. Но казенные и партийные организации непременно хотели печатать афиши большего формата и в большем количестве, чем я мог допустить. Я не давал нарядов — на меня жаловались в Совет. То и дело мне приходилось оправдываться

перед большевиками по жалобам на то, что я препятствую устройству большевицких собраний и зрелищ. В конце концов чаще всего я оказывался побежден: устроители получали свыше разрешение на печатание афиш ненормированных. По существу, мне это было глубоко безразлично, но пря, каждый раз возникавшая, была утомительна. Сколько я ни просил избавить меня от афишных нарядов — они все-таки оставались в ведении Книжной Палаты до самого конца ее существования и до конца моей службы в ней.

Зато немалым мне развлечением служило рассматривание книг, проходивших через Палату. Недавно М.Осоргин во «Временнике Друзей Русской Книги» дал любопытное описание рукописных изданий Книжной лавки писателей — изданий, выпущенных не только на обоях, но подчас и на рогоже, и даже на осиновом поленце. Конечно, что касается печатных произведений, то до осиновых дров дело не доходило. Однако книг и журналов, отпечатанных довольно фантастическим образом, довелось мне видеть немало. Они поступали главным образом из провинции, но иногда выпускались и в самой Москве. Тут были книги, отпечатанные на обоях, на оберточной бумаге и даже на оборотной стороне каких-то казенных бланков и ведомостей. Помню какую-то книгу (не помню только ее заглавия), отпечатанную так, что на всех нечетных страницах шел печатный текст, а на четных — разграфленные перечни каких-то товаров с проставленными от руки цифрами. Немножко напоминало письмо городничего к Анне Андреевне.

Наконец, довелось мне быть наблюдателем нескольких презанятных библиографических историй, о которых я расскажу в следующий раз.

С какой истории начать — я не знаю: хронологическая их последовательность улетучилась из моей памяти, а если бы и сохранилась — все равно была бы несущественна. Поэтому начну наугад, с истории, в которой, собственно говоря, никакой «истории» даже не было, а просто была безалаберщина, бестолковщина, характерная, впрочем, для той эпохи. Дело же все заключалось в том, что Госиздат вздумал выпустить календарь-альманах на 1920 год — нечто вроде блаженной памяти гатцуковского «Царя-Колокола», но, разумеется, на советский лад. Началось с того, что

календарь, как водится, запоздал: вышел не то в марте, не то в апреле. Отличительной и «революционной» его чертой было то, что названия христианских праздников были из него выброшены, вместе со святцами. Вместо праздников было означено просто: «День отдыха», а вместо святцев указывалось, какое революционное событие и в каком году приходилось на данный день. Все это было вполне естественно, и составители могли рассчитывать на благоволение начальства. Но, на беду свою, забыли они проставить только одно — дни недели. Календарь появился без понедельников, вторников и т. д. Конечно, с точки зрения вечности это было даже хорошо: он годился на любой год. Но в то же время он не годился ни на какой, и его спешно отправили на бумажную фабрику — шинковать. А издан он был в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров — и это во времена бумажного голода.

В другой истории проштрафилась — и серьезно — сама ВЧК. Жил-был в Москве некто Павел Никитич Макинциан. Знал я его потому, что несколько лет до того, еще во время войны, был он организатором известного сборника «Поэзия Армении», вышедшего под редакцией Брюсова. В этом сборнике я участвовал в качестве одного из переводчиков. Тот же Макинциан давал уроки армянского языка Брюсову и его жене. Им же была устроена поездка Брюсова по Кавказу. В сотрудничестве с Брюсовым он же редактировал и «Армянский сборник» издательства «Парус» — в этом сборнике также были мои переводы. Затем, уже при большевиках, нередко заходил он ко мне во «Всемирную Литературу» по каким-то делам. То было время гражданской войны. Я разговаривал с Макинцианом на темы самые рискованные вполне откровенно, как со старым знакомым. Однажды пришел он ко мне, когда я уже заведовал Книжной Палатой, и сказал, что ему нужна книга, которой уже нет в продаже, но которая ему необходима для работы, — не на время, а в вечную собственность, так как ему придется ее изрезать. Он слышал, что в Книжной Палате имеются запасные экземпляры всех поступающих книг, и хотел бы получить один такой экземпляр. Я ответил, что без письменного разрешения отдела печати выдать книгу ему не могу. Через несколько дней он принес мне такое разрешение, в котором было сказано, что книга

может быть выдана *сотруднику ВЧК Макинциану* для очередной работы. Я припомнил свои с ним разговоры, и мне стало не по себе. Через несколько времени появилась известная «Красная Книга ВЧК», на обложке которой было указано, что она составлена Макинцианом. В ней было, должно быть, страниц триста, а то и больше. В ней рассказывалась история нескольких организаций и заговоров, раскрытых ВЧК. Нельзя отрицать, что работа велась сотрудниками ВЧК с замечательной ловкостью. Этим-то ВЧК и хотела похвастаться в своем издании, но не сообразила того, что слишком откровенно разоблачает свои приемы. Кончилось тем, что книга была экстренно изъята из продажи, а затем вновь появилась, но уже сокращенная по крайней мере на две трети. Кажется, из нее выбросили все, кроме истории взрыва в Леонтьевском переулке. После этого звезда Макинциана закатилась, а полное издание «Красной Книги» стало библиографической редкостью.

Третья история произошла с моим покойным учителем и другом М.О.Гершензоном. Однажды он мне сказал: «Я нашел настоящую *скрижаль Пушкина* — его философия искусства, его credo». Будучи несколько скрытен в том, что касалось его текущей работы, он на расспросы мои ответил только, что это — всего лишь одна страница, которая давно напечатана, но на нее не умели обратить должного внимания и даже не включили ни в одно собрание сочинений Пушкина. Прошло сколько-то времени. Однажды утром (кажется, это было в начале 1920 года) Гершензон занес мне в подарок только что вышедшую свою книгу «Мудрость Пушкина». На первом месте, почти без комментариев, напечатана была «Скрижаль Пушкина» — тот самый отрывок, о котором он мне говорил. В тот день я был занят, книгу не раскрывал, а вечером пошел в гости к Георгию Чулкову, которого застал в радостном возбуждении.

— Ну, что, «Скрижаль Пушкина» видели?

— Нет еще, — сказал я.

— В таком случае полюбуйтесь.

Чулков протянул мне книгу. Пока я читал, он смотрел на меня испытующе, а затем спросил:

— Что, похоже на Пушкина?

Я был в замешательстве. То, что я прочитал, по существу *могло* выражать эстетику Пушкина, во вся-

ком случае, не противоречило ей. Но самое изложение до чрезвычайности мало было похоже на пушкинское. Я сказал Чулкову, что, по-моему, это — не Пушкин.

— Ну, ваше счастье, — сказал Чулков. — А то сели бы в калошу вместе с вашим Гершензоном. Сейчас я видел Сакулина. Он в ужасе. Заметка-то ведь не Пушкина, а Жуковского, — Пушкин только зачем-то списал ее для себя. Гершензон нашел ее в шляпкинском описании бумаг Пушкина и вообразил, что это — сам Пушкин.

«Ужас» Сакулина был напускной и радостный, так же как ужас Чулкова. Оба они терпеть не могли Гершензона и теперь злорадствовали вместе с многими другими. Сакулин, впрочем, поступил честно: если не ошибаюсь, он сам отправился к Гершензону и все ему разъяснил. Гершензон был почти в отчаянии от своей ошибки. Тотчас же он бросился на склад «Книгоиздательства писателей», велел остановить рассылку книги по магазинам и заставил мальчика, служащего на складе, вырезать из всех экземпляров тот листок, который был занят «Скрижалью Пушкина», то есть страницы пятую и шестую. В таком виде книга и поступила в продажу — без первой статьи, означенной, однако же, в оглавлении. Затем прибежал он ко мне с просьбою, чтобы прежде рассылки книги по библиотекам я приказал вырезать из нее тот же злосчастный листок. В сущности, я не имел на это права, но, видя отчаяние Гершензона, пообещал ему это сделать. К несчастью, придя в Палату, я узнал, что книга уже разослана. Таким образом, по музеям и библиотекам она пошла в полном виде.

Эти библиотечные экземпляры с сохраненным листком должны были бы стать библиографической редкостью, потому что вслед за тем Гершензон обратился ко всем знакомым, которым успел послать книгу, с просьбою вырезать и вернуть ему этот листок. На деле из этого все-таки ничего не вышло: Гершензон получил листки, но некто Ш., по роду занятий философ, по характеру весельчак и бурш, умудрился купить у мальчишки из книгоиздательства изрядное количество вырезанных листков и раздавал их направо и налево всем желающим. В результате образовалось очень большое количество экземпляров «Мудрости Пушкина» с вырезанным и обратно вклеенным листком.

В заключение расскажу еще об одной книжной драме, разыгравшейся на сей раз в Кремле. Бухарин только что выпустил свою «Экономику переходного периода». Его отношения с Лениным были в ту пору натянуты, и в самой книге имелись какие-то более или менее замаскированные выпады против Ленина. Несмотря на это (или, быть может, именно потому), Бухарин решил проявить по отношению к вождю величайший наружный пиетет. Вслед за титульным листом в книгу вклеены были еще два листка: на первом из них, на меловой бумаге, отпечатан был портрет Ленина (впоследствии довольно известный — за письменным столом, лицом к зрителю); второй представлял собою кусок мягкого розового картона с искусственно оборванными краями, — вроде тех, что употребляются для свадебных приглашений; на этом картоне, крупнейшим, замысловатым шрифтом (тоже вроде употребляющихся в матримониальных случаях) отпечатано было посвящение Ленину; точного текста не помню, но он был довольно витиеват, вроде того, что — товарищу, другу, революционеру Владимиру Ильичу Ленину с такими-то и такими-то пылкими чувствами посвящает ученик и соратник. Ленин очень хорошо понял бухаринское лицемерие и приказал немедленно вырезать из книги и портрет свой, и посвящение. Так и было сделано. Однако же некто Щелкунов, библиофил, небезызвестный своим собранием эротических книг и рисунков, сделал примерно то же самое, что с книгою Гершензона сделал философ Ш. Он задешево приобрел в Госиздате штук пятьдесят бухаринской книги с портретом и посвящением, а затем постепенно распродавал эти экземпляры из-под полы, в качестве библиографической редкости, по высокой цене. На этом деле он, говорят, хорошо заработал, в отличие от Ш., который действовал бескорыстно, единственно ради злой шалости.

Меж тем прошла весна 1920 года. От голода и нетопленой квартиры я расхворался. Месяц пролежал в постели, потом то ходил, то снова лежал. Было ясно, что на следующую зиму оставаться в таких условиях нельзя. Мне предложили переехать в Петербург, где обещали теплую комнату в Доме Искусств и возможность литературного, а не служебного заработка. Летом я подал в отставку. Прямым начальством моим

стоял заведующий Отделом печати Н.С.Клестов-Ангарский, старый большевик, немножко журналист и литератор. Это был неуклюжий рыжебородый человек, в сущности не злой, но грубый, невоспитанный, к тому же отчаянный неврастеник. Власть несколько вскружила ему голову. Он самодурствовал и старался притеснять писателей, которым приходилось иметь с ним дело. Ничем не объяснимым исключением были В.Г.Лидин и я. Ангарский с чего-то нас полюбил — такою же несуразной и неуклюжей любовью, каков был он весь. Отставки моей он не принял, не желая со мной расстаться, и заявил не шутя, что если я уйду из Книжной Палаты без его разрешения, то он посадит меня «куда следует» за саботаж.

Тем временем в жизни самой Палаты назрела трагедия. Наркомпрос решил устроить Всероссийскую Центральную Книжную Палату, которая, естественно, должна была поглотить московскую. Решение было разумное по существу, а для меня и выгодное, ибо я надеялся, что ликвидация московской Палаты даст мне свободу. Однако — не тут-то было. Московский Совет заупрямился и решил сохранить «свою» Палату. Началась междуведомственная война — одна из бесчисленных в ту пору. На совещания по организации Центральной Палаты, происходившие в Госиздате, Ангарский командировал меня с поручением «совать палки в колеса». Признаюсь — это поручение я не старался выполнить, да и все равно у меня ничего бы не вышло — дни московской Палаты были сочтены. Наконец декретом правительства она была упразднена. Ее имущество вместе с библиотекой должно было перейти в собственность Центральной Палаты. Ангарский не уступал ни пяди своих позиций и решил спрятать библиотеку «в укромное место», как он говорил. Он дал мне записку к заведующему отделом транспорта с просьбою экстренно прислать сколько-то грузовиков и подвод для перевозки книг. Я знал, что он просто хочет сгноить книги в подвалах своего отдела — только бы не сдаться и «насолить» новой Палате. Мне было жаль книг, и я под разными предлогами грузовиков не требовал, пока в одно прекрасное утро библиотека Книжной Палаты не была увезена служащими Госиздата.

Книжная Палата кончилась, но Ангарский все-

таки не желал меня отпустить на волю. Теперь он заявлял, что я «числюсь за отделом печати», который даст мне новую должность. Вот тогда-то я понял, что значат грибоедовские слова:

Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь!

Здоровье мое было из рук вон плохо, о переезде в Петербург нечего было и думать. Я приходил в уныние, как вдруг приключилась беда, которая меня выручила. Меня в восьмой уже раз призвали на военную службу и, несмотря на то, что у меня было семь белых билетов, — признали годным в строй. Нелепость была очевидная, я знал, что с военной службы меня тотчас отпустят, но пока что решил воспользоваться этой оказией. Я пошел к Ангарскому, показал ему бумажку с приказом через три дня явиться на какой-то «пересыльный пункт» во Псков — и получил вольную.

На этом кончилась моя советская служба. 17 ноября 1920 года, после великих и презабавных хлопот (которые, впрочем, тогда совсем не казались забавными), я сел в поезд — и с этого дня кончилась моя тридцатипятилетняя жизнь в Москве.

БЕЛЫЙ КОРИДОР

Из кремлевских воспоминаний

У ЛУНАЧАРСКОГО В БЕЛОМ КОРИДОРЕ

К концу 1918 года, в числе многих московских писателей (Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, Пастернака и др.), я очутился сотрудником Тео, то есть Театрального отдела Наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведовать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа.

Писатели были в Тео только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда являлись и неизвестно куда пропадали, высказав свое мнение. В Тео преимущественно заседали, но, вероятно, не было и двух заседаний с одинаковым составом участников. Поэтому ни один вопрос не ставился точно и ни одно дело не доводилось до конца. Впрочем, никто и не знал, что надо делать. Говорили преимущественно «к порядку дня» и перманентно «организовывались», неизвестно с какою целью. Однако заседали секционно, коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции и мандаты, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Все пересаживались, как крыловский квартет.

Были разные секции. Вячеслав Иванов, например, заведовал историко-театральной, а Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником) стоял во главе репертуарной, в которой сидел и я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар: Шекспира, Гоголя, Мольера, Островского. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то «делегаты с мест» и, к стыду Каменевой,

заявляли, что пролетарит не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: «Теща в дом — все вверх дном», «Денщик подвел» и тому подобного. Нас заваливали рукописями новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания — в остановившихся типографиях на несуществующей бумаге. В зной и в мороз, в пиджаках, зипунах, гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в штиблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленые квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Однажды в Тео на лестнице я встретил Андрея Белого. Перед тем мы не виделись месяца два. На нем лица не было. Кажется, мы даже ничего не сказали друг другу — только посмотрели в глаза. Через несколько дней, возвратясь домой с рынка, где пытался купить муки, я застал его у себя. Он писал мне записку: один молодой поэт выхлопотал нам аудиенцию у Луначарского, который готов выслушать писателей; аудиенция завтра в восемь часов вечера; встреча у Троицких ворот Кремля.

* * *

Усталые, голодные, назаседавшиеся в заседаниях и настоявшиеся в очередях, мы встретились в темноте у Манежа. Пришли: Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак, Георгий Чулков, еще кто-то. Никто не опоздал. Двинулись по мосту к воротам. У кого-то в руках пропуск — на столько-то человек. Часовой каждого трогает за плечо и считает вслух: «Один,

другой, третий...» — и гуськом пропускает нас в темную щель ворот. В Кремле тишина, снег, ночь.

Сейчас же за Троицкими воротами, к арке, соединяющей Большой дворец с Оружейной палатой, идет узкая улица. Заходим налево, в комендатуру. Опять проверка — и новые пропуска: в *Белый коридор*. Минуем Потешный дворец и входим в большую дверь, почти под Оружейной палатой. За дверью темно, только где-то в глубине здания, в полуподвале, виднеется смутно освещенный гараж. Подымаемся по темной лестнице. На поворотах стоят часовые. Наконец — площадка, тяжелая дверь, а за ней ярко освещенный коридор.

Не знаю, большевики ли дали ему это имя, или он так звался раньше, — но коридор действительно белый: типичный коридор старого казенного здания — прямой, чистый, сводчатый. Гладкие белые стены, белые двери справа и слева, как в гостинице. Широкая красная дорожка стелется до конца, где коридор упирается в зеркало.

В ту пору Белый коридор был населен сановниками. Там жили Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Каждый апартамент состоял из трех-четырех комнат. Коридор жил довольно замкнутой жизнью, не лишенной уюта и своеобразия. Сюда не допускался простой народ, и здесь можно было не притворяться. На этой почве случались маленькие конфузы. Наутро после взрыва в Леонтьевском переулке, когда весь Кремль был охвачен паникой, когда (по тогдашнему выражению Каменева) все думали, что «уже началось», Ольге Давыдовне было необходимо куда-то ехать. Она шла по коридору. Теща Демьяна Бедного, простая женщина, увидала ее, подбежала и наспех перекрестила!

Мы вошли к Луначарскому. Просторная комната; типично дворцовая мебель восьмидесятых годов, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом. Вероятно, до революции здесь жили дворцовые служащие.

Поздоровавшись, сели мы как-то нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас, посреди комнаты. Позади его помещался писатель Иван Рукавишников, козлобородый, рыжий, в зеленом френче. Когда мы вошли, он уже сидел в большом кресле, с которого не поднялся ни при нашем появлении, ни

потом. Он только слегка кивнул головой, что-то промычав. Его присутствие, так же как неподвижность, слегка удивили нас. Но позже все объяснилось.

Луначарский откинулся назад, сверкнул стеклами пенснэ, внимательно осмотрел нас (мне показалось — пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он неумен, самовлюблен и склонен к вычурам. Против ожидания, он говорил совсем просто. Любование собой сказалось только в чрезвычайной пространности его речи, а ее плавности мешало непрестанное подрыгивание ногой.

Подробностей того, что сказал Луначарский, я, конечно, не помню. В общем, это была вполне характерная речь либерального министра из очень нелиберального правительства, с приличною долей даже легкого как бы фрондирования. Все, однако, сводилось к тому, что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой «весны» он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к «весне», а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть (это выражение заметно ласкало слух оратора, и он его произнес многократно, с победоносным каждый раз взором) — рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабочая власть желает нам всяческого успеха, но просит помнить, что лес рубят — щепки летят.

Все это, повторяю, было высказано очень складно и длинно, но не оставляло сомнений в том, что летящие щепки (это выражение мне запомнилось в точности) — это и есть писатели. Видя, должно быть, наши вытянутые физиономии, Луначарский захотел нас утешить. В заключение он прибавил, что ему известно, как тяжело нам служить в учреждениях, и что, разумеется, дело писателей — писать, а не заседать, но это можно облегчить, если устроить еще одно учреждение, а именно литературный отдел Наркомпроса, в параллель к театральному. Он даже пообещал, что вскоре начнется обширнейшая серия заседаний на тему об организации такого отдела и мы будем привлечены к участию в этих заседаниях.

После этих слов стало уже окончательно ясно, что с ним говорить не о чем и не к чему. Однако мы все ощущали такой острый стыд за него, что не имели сил просто встать и откланяться. Мы переглянулись между собою, и, наконец, кто-то ему ответил несколько слов, ничего не значащих. Казалось, аудиенция кончена. Но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес:

— Пр-рошу... ссллова...

Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахинею. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-а-азволил п-п-р-редложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-дааа... дворец из стекла и мррррамора... и алллюми-иния... м-м-дааа... и чтобы всем комнаты и красивые одежды... эдакие х-х-хитоны, — и как его? это самое... — ком-мунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инст-р-рументах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или — как ее там? — опера, то сейчас это все кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом, ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяче пятистам сорока восьми с половиной квадратным саженям, а каждая комната — восемь сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.

Луначарскому, видимо, было неловко, он смущенно на нас поглядывал, но у нас лица были каменные. Когда Рукавишников затих, мы встали и ушли, молча пожав руку Луначарскому. С Рукавишниковым не прощались. У подъезда стояли сани с медвежьей полостью. Кто-то спросил туго набитого кучера:

— Это за кем лошадь?

— За товарищем Рукавишниковым.

Тот же часовой, те же Троицкие ворота, за ними — тьма. Прочитав пропуск, часовой гуськом выпускает нас в узкую щель и считает вслух: «Один, другой, третий...» Каждого трогает за плечо. Так слепой циклоп Полифем, боясь упустить Одиссея со спутниками, считал и щупал своих баранов у выхода из пещеры.

Проходим по мосту. Молча идем дальше. Почти всем по пути: на Арбат, на Смоленский бульвар, в Хамовники...

* * *

Рукавишников, плодовитый, но безвкусный писатель, был родом из нижегородских миллионеров. Промотался и пропился он, кажется, еще до революции. Он был женат на бывшей цирковой артистке, очень хорошенькой, чем и объяснялось его положение в Кремле. Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию — цирковую, которую и возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда, рядом с автомобилем Каменевой, появился парный выезд Рукавишниковой: вороные кони под синей сеткой — из придворных конюшен. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более и не менее как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров являлся заседать тоже.

Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Моховой, взрывая снежные кучи, под свист мальчишек, выбрасывая из ноздрей струи белого пара, широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи жались к сторонке и шептали:

— С нами крестная сила!

ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР У КАМЕНЕВЫХ

Однажды мы в Театральном отделе просидели часов до пяти. Я сидел далеко от Каменевой. Вдруг получаю от нее записку. Пишет, что заседание затянулось, а между тем у Балтрушайтиса есть две ирландские пьесы, которые необходимо экстренно прочесть и обсудить в репертуарной секции. Так вот — свободен ли я

сегодня после девяти часов вечера? Отвечаю на той же записке: «Да» — и спустя несколько минут получаю от секретаря полоску бумаги с красной печатью и подписью Каменевой — пропуск в Кремль. Секретарь шепчет:

— Ольга Давыдовна просит собраться у нее на дому, потому что здесь не топлено и нельзя задерживать низших служащих.

Я подумал, что и впрямь уж лучше слушать ирландские пьесы в тепле, чем в холоде. С Неглинной пошел по сугробам к себе на Девичье Поле, а вечером — с Девичьего Поля в Кремль.

Дверь Каменевых — в самом конце Белого коридора, направо. Постучав, попадаю в столовую. Посредине комнаты большой круглый стол. Несколько стульев. В углу, слева от входа, — камин. Стены голые, коричнево-серые. Вообще у комнаты вид нежилой, казарменный. Кроме входной, в ней еще две двери, из которых левая закрыта. Хозяйка ведет меня в правую, в кабинет Каменева.

Войдя, вижу, что «наших» из репертуарной секции никого еще нет. Каменев, в новом, еще не обмятом костюме из коричневой кожи, беседует с двумя или тремя людьми большевицкого типа. Знакомимся, но, по русскому обычаю, фамилии так произносятся, что не разобрать их. Немного поговорив со мной, Ольга Давыдовна исчезает. Каменев продолжает разговор со своими гостями. Зачем они здесь? Впрочем, они, вероятно, уйдут, когда начнется наше заседание.

От тепла я давно отвык. В толстом свитере, в кожаной куртке на байковой подкладке, в валенках — мне становится слишком жарко, размаривает. Чтобы не задремать, разглядываю комнату. Ковер, большой письменный стол, телефон. Мягкая мебель — точно такая, как у Луначарского: очевидно, весь Белый коридор ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темно-зеленый. Подхожу, вижу за стеклами корешки, улыбаюсь.

В ту пору Книжная лавка писателей, где работал и я, почти одна торговала на всю Москву. Мы хорошо знали рынок. Огромный спрос был на философию, на стихи и на художественные издания, в особенности на последние. Новый покупатель кинулся на них жадно. Шел к нам «за искусством» и сознательный рабочий, и

молодой пролеткультовец, и партиец. Но всего больше — попросту спекулянт, забронированный сорока мандатами, спешащий превратить падающие советские деньги в более прочные ценности. Конечно, золото, камни, валюта — лучше, но хранить их опасно. А книги пока еще разрешаются. Ну, конечно, и украшение для жилища, культурный лоск. Помню, один подкатил к лавке с разобранным книжным шкафом американской системы:

— Вот, купил шкаф по случаю. Теперь надо в него книг набрать.

Бенуа, Грабарь, издания Общины св. Евгении, всевозможные монографии о художниках, «Царская и императорская охота», Ровинский, Мутер, Рейнак, книги великого князя Николая Михайловича, издания «Скорпиона», «Грифа», «Альционы», «Золотое Руно», «Аполлон», «Старые годы», даже «роскошное» сытинское издание «Войны и мира», — все это было нарасхват, вместе со словарем Брокгауза и с изданиями классиков. Требовалось все видное, переплетное, многотомное.

Все эти Грабари, Бенуа, «Скорпионы» да «Альционы» глянули на меня из-за стекол каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, не разрезано. Да и где ж так скоро прочесть все это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни советские дамы, знавшие только Эрфуртскую программу, спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились «салонами». По обязанности они покровительствовали пролетарским писателям, но «у себя», на равной ноге, хотелось им принимать «буржуазных».

Меж тем собирались «наши». Пришел Балтрушайтис с папкой в руках (вот они где, ирландские пьесы!), за ним — Чулков, Иван Новиков, Волькенштейн. Пришел Сураварди, о котором надо сказать особо. Родом индус, он приехал в Россию из Оксфорда, в 1916 году, в качестве туриста. Побывал в Петербурге, в Киеве, в Крыму, а к концу 1917 года очутился в Москве. С изумительной быстротой научился он русскому языку и вскоре в литературной и театральной Москве стал всеобщим любимцем. Бывал всюду, работал в Художественном театре, основательно ознако-

мился с русской литературой и сумел полюбить не только ее, но и самую Россию — полюбить бескорыстно, в самые тяжкие годы ее. С нами он голодал, холодал, с нами же очутился и в репертуарной секции Тео. В 1920 году он бежал из советской России (его не хотели выпускать) и долгие годы жил в Праге, в Берлине, в Париже жизнью русского эмигранта. Сейчас он в Индии.

Вдруг появился Вяч.Иванов, с ним еще кто-то из секции историко-театральной. Их неожиданный приход я старался себе объяснить тем, что, должно быть, на этот раз решено расширить состав «присутствия»: должно быть, ирландские пьесы этого требуют... Так ли, иначе ли, но, по-видимому, все, наконец, в сборе. Можно и заседать, скоро десять. Однако Каменев со своими знакомыми не уходит.

Сураварди мне шепчет:

— Кажется, нас заманили в гости?

Я пожимаю плечами:

— Надеюсь, нет.

Вдруг шум, восклицания, смех в столовой — и разом вваливается целая кавалькада: Иван Рукавишников в своем зеленом френче, за ним Луначарский, сияющий, оживленный, между двух дам: одна — жена Рукавишникова, в черном шелковом платье с бесчисленными оборками, с огромнейшим вырезом на груди, другая — секретарша Луначарского с длиннейшим, словно приклеенным, носом. Вполне придворная тонкость: она в точно таком же платье, как госпожа Рукавишникова, только вырез гораздо меньше. Очевидно, эту компанию ждали. В комнате прибавляют света, мужчины осанятся, дамы щебечут. Теперь я уже и сам начинаю думать, что Сураварди прав: мы действительно угодили в гости. Хочу спросить Балтрушайтиса, в чем дело, но в эту минуту Луначарский, усевшись к письменному столу, громко спрашивает:

— Итак, можно приступить к чтению?

Все занимают места. Я смотрю на Балтрушайтиса: разве не он будет читать? В руках у него попрежнему папка с ирландскими пьесами. Луначарский говорит:

— Я предложу вашему вниманию две пьесы Ивана Васильевича.

Как? Пьесы Рукавишникова? А ирландские? Но

дело сделано: очевидно, за наше жалованье мы обязаны не только служить в Тео, но и составлять литературный салон Ольги Давыдовны.

Луначарский начинает читать. Час от часу не легче! Он читает по книге! Значит, мы должны слушать рукавишниковские пьесы, да еще не новые, а давно напечатанные, которые, если бы даже было нужно, мы бы могли прочесть сами. Это значит: нас заманили, чтобы фактом нашего присутствия чтение старых пьес мужа г-жи Рукавишниковой превратить в литературное событие!

Рукавишников был не бездарен, но пошл. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами вперемежку с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Луначарский читал по всем правилам драматического искусства, за разных лиц — на разные голоса. Видимо, к чтению он заранее подготовился. Слушать его кривляние было тяжко. «Часовщик» тянулся долго. Надоедал припев, повторяющийся много раз и, кажется, очень нравившийся Луначарскому. Слегка раскачиваясь и поблескивая пенснэ, он произносил стремительной скороговоркой:

Быстро, быстро, быстро, быстро... —

потом обрывал, выдерживал паузу и медленно говорил:

...мчится время...

и, опять после паузы, поскорее:

...в мастерской часовщика.

Когда оно этак промчалось раз десять, пьеса кончилась. Но так как в Кремле время мчится не так быстро, как в мастерской часовщика (и как нам хотелось бы), то всем надоело. Хозяин пригласил пить чай.

Стол в столовой не только был «сервирован», но и, так сказать, маскирован. Сервирован — узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не подаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На

таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанного топленым маслом, а в сахарнице — куски грязного, так называемого «игранного», сахару: свое название он получил оттого, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощения хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы.

Общий разговор не налаживался. «Они» — между собой, «мы» — тоже между собой. Один Вячеслав Иванов сумел найти общую тему с хозяевами. Меж тем близилась полночь, а впереди предстояла еще целая пьеса.

Опять перешли в кабинет. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. Есть на мельнице инфернальный кот. Он не говорит, но на протяжении всей пьесы то и дело кричит «мяу». Луначарского давно уже нет на свете, и как-то неловко сейчас вспоминать его долгое, звучное, истомное мяукание с руладами. Но тогда было невыносимо смешно смотреть, с каким артистическим увлечением мяукал министр народного просвещения. И главное — невозможно было отделаться от забавной мысли о том, как он это мяуканье репетировал, — может быть, вместе с автором.

После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декадентщина не подходит и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишникова. Поэтому разговор сразу принял общий характер. Большевики говорили что-то большевицкое, но некстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти? Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами — вплоть до Агриппы Неттесгеймского. Наконец — не могу этого утаить — кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута: о «творчестве» Рукавишникова говорили как будто всерьез и имя его хоть без восторгов, но все же произносилось наряду с разными высокими именами: дескать, Гете полагал вот что, а Рукавишников — вот что, Новалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников — иначе. Так

что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э-э», или «угу», или уж вовсе без обиняков: «ммм». Дело в том, что он был, по обыкновению, пьян.

Был второй час на исходе. Стали прощаться. Хозяева уговаривали побыть еще. Вячеслав Иванов сказал с улыбкой:

— Нет, пора. Хорошо вам, вы останетесь в Акрополе, а нам еще идти в город.

Простившись с обитателями Акрополя, мы вышли. Опять у подъезда лошади Рукавишниковых. Опять Полифем у ворот считает нас, трогая за плечо: «Один, другой, третий... Проходи!» Ночь. Мороз. Впереди Воздвиженка — непроглядная. Кажется, что не хватит сил дойти до дому.

Ничего, дойдем, Бог нас не оставит.

У КАМЕЛЬКА В СЕМЬЕ КАМЕНЕВЫХ

I

К началу 1920 года я уже не служил в Театральном отделе, зато заведовал двумя маленькими учреждениями: Московским отделением издательства «Всемирная Литература» и Московской Книжной Палатой. Одно помещалось на Знаменке, другое — на Девичьем Поле. Оба находились под вечной угрозой уплотнения и выселения. Лично я тоже мучился, живя в полуподвальном этаже, в квартире, не топленной больше года. С улицы сквозь гнилые рамы текли в комнаты потоки талого снега. Стекла были на палец покрыты льдом. Я стал мечтать о том, чтобы сразу избавиться от всех трех кризисов, отыскав такую квартиру, в которую можно было бы поместить и оба мои учреждения, и себя самого. Весь январь и половина февраля ушли на бесплодные поиски.

Приближение болезни я почти всегда ощущаю заранее. Так было и в этот раз. Чувствовал, что уж больше месяца на ногах мне не продержаться: слягу от изнурения и истощения. Однако решил напрячь последние силы. Ходил из конца в конец города, осматривая разгромленные квартиры — без окон, без две-

рей, без обоев, с ваннами, полными заледеневших нечистот, с полами, прожженными до земляного наката, потому что на них перед этим разводились костры. Никуда нельзя было въехать без ремонта, о котором при тогдашних обстоятельствах нечего было и думать. Между тем я слабел с каждым днем. Наконец решил идти к Каменеву как председателю Московского Совета: пусть он мне даст письмо в центральный жилищный отдел. Я позвонил к нему по телефону: он мне назначил свидание вечером, у себя на дому.

Я пришел в установленный час, но его еще не было. Ольга Давыдовна, у которой к тому времени почему-то отняли Театральный отдел и дали в заведование Отдел социального обеспечения, сидела в столовой за круглым столом со своим подчиненным — коммунистом Дивильковским. Случайно я кое-что знал о нем. Это был старый большевик, честный человек, не сумевший сделать карьеры; по-видимому, он страдал горловой чахоткой, был тощ, зелен лицом, очень беден и обременен семейством. Кстати сказать, это отец того Дивильковского, который впоследствии состоял при Воровском и был ранен в Лозанне, когда Воровский был убит. Другой сын, лет двенадцати, в ту зиму захворал туберкулезом; его поместили в санаторий, где находился один мой родственник; бедный мальчик мечтал иметь монте-кристо; случайно у меня было такое ружьишко, которое я ему и послал — в подарок от неизвестного.

Ольга Давыдовна долго мытарила Дивильковского разговором о съезде каких-то работниц, близоруко ныряла в портфель, доставала оттуда бесчисленные листы ремингтонированной бумаги и без умолку тараторила: энергично проводила какую-то там кампанию. Дивильковский кашлял и смиренно с ней соглашался. Я сидел у камина, и, как в прошлое посещение, меня разморило от непривычного тепла.

Наконец, насытясь программами и проектами, она спросила у Дивильковского:

— Как ваш мальчик?

— Плох. Доктор велел давать портвейну или коньяку с молоком — да где ж их достанешь?

Я думаю, что это было сказано не без тайной надежды: вся Москва знала, что именно у Каменевых вино водится в изобилии. В частности, «каменевский»

коньяк, которым они кое-кого угощали, даже славился.

Казалось, Ольга Давыдовна была тронута:

— Бедный мальчик, я дам ему рису. Кажется, у нас и вино найдется.

Потом опять пошли разговоры, потом пришел Каменев, потом Ольга Давыдовна выбежала из комнаты и вернулась с крошечным мешочком — не более полуфунта:

— Вот рис для вашего сына.

А вино? Вино было забыто, затараторено. Дивильковский взял рис, низко кланялся, благодарил, ушел.

Я изложил Каменеву свое дело. Он долго молчал, а потом ответил мне так:

— Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать. Но поверьте — вам от этого будет только хуже.

— Почему хуже?

— А вот почему. Сейчас они просто для вас ничего не сделают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для жилья давно заняты, а пустуют такие, в которые вселиться немыслимо.

Я молчу, но сам чувствую, как лицо у меня вытягивается. Каменев, после паузы, продолжает:

— Конечно, у них есть припрятанные квартиры. Но ведь вы же и сами знаете, что это — преступники, они торгуют квартирами, а задаром их вам никогда не укажут.

Снова молчание.

— Если вы непременно хотите, я дам письмо, — повторяет Каменев. — Только ведь вы меня же потом проклянете.

Молчу. Надо поблагодарить и уйти, но подняться почти нет сил, потому что я болен, а главное — потому, что после Каменева уже обращаться некуда. Покуда я здесь — вдруг что-нибудь еще наклюнется? Если же я уйду — все будет кончено, и надеяться больше не на что. Должно быть, все это написано у меня на лице, и Каменев неожиданно спрашивает, не без легкого раздражения:

— Ну, а что бы вы *раньше* сделали в таком случае?

— *Раньше* — я бы купил «Русское Слово» и снял бы квартиру по объявлению.

Каменев, не ответив, уходит в свой кабинет и возвращается в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Прощается. Я тоже хочу уйти, но Ольга Давыдовна меня удерживает:

— Посидите, пожалуйста, — я с вами хотела посоветоваться по одному делу.

Опять сажусь у огня и, к стыду своему, чувствую, что я рад остаться: в ушах шумит, сердце тяжело бьется, к ногам и рукам привязаны пудовые гири. Тащиться домой через всю Москву нет сил.

Из просителя я превращаюсь в знакомого. Мы с Ольгой Давыдовной коротаем вечер. Она в черной юбке и в белой батистовой кофточке. Должно быть, за день она тоже немного устала, прическа ее рассыпалась. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не родятся, а делаются; идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу — певицей или танцовщицей; дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Этой чепухи я уже много слышал на своем веку — и от большевиков, и не только от них. Возражаю лениво, не для того, чтобы переубедить ее, а для того, чтобы не вводить в заблуждение мнимым согласием. Боже мой! что за странная женщина! Дала бы мне спокойно отдохнуть и посидеть в тепле! Не тут-то было, ей нужно перемалывать «культурные» темы! Вместо того чтобы самой отдохнуть, она произносит передо мной целую речь — интересно знать, которую за сегодняшний день?

После всевозможных околесиц для меня становится ясно, что Ольга Давыдовна не хочет примириться с утратой Театрального отдела. Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт. В чем состоит разница, мне не ясно, да и не интересно, но нельзя сомневаться, что Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы

сообща обсудить проект. Это значит — опять будут морить людей заседаниями, в которых я лично могу не участвовать, потому что у меня две службы, но в которых заставят участвовать тех, у кого нет службы и кого можно за неучастие обвинить в саботаже. Мне хочется выгородить товарищей, и я начинаю доказывать Ольге Давыдовне, что писателей звать не стоит, что они могут читать лекции по своей специальности, когда все будет готово, но организовывать они ничего не умеют, это не их дело. Между прочим, оно так и есть в действительности, но Ольга Давыдовна мечтает именно хорошенько позаседать. К счастию, в эту минуту входит толстая баба в валенках — прислуга. Она зовет Ольгу Давыдовну к сыну. Ольга Давыдовна убегает.

В ожидании, пока она вернется, я прогуливаюсь по комнате. Подхожу к окну, возле которого стоят высокие деревянные козлы. На них — картонная модель театральной сцены, замеченная мною еще в прошлое посещение. Она потрепалась, покрылась пылью, занавес висит косяком. Заглядываю внутрь и вижу пустую сцену, без декораций, посредине которой лежит желтая кобура револьвера. Тогда это зрелище показалось мне олицетворением театральной деятельности Ольги Давыдовны, и я улыбнулся. Теперь вспоминаю его как предзнаменование гораздо более мрачное.

Ольга Давыдовна возвращается и говорит сокрушенным голосом:

— Что за несчастный мальчик! Хворает уже больше месяца! Совсем уже было поправился — а вот сегодня опять ему хуже. А ведь какой способный! Прекрасно учится, необыкновенно живо все схватывает, прямо на лету! Всего четырнадцать лет (кажется, она сказала именно четырнадцать) — а уже сорганизовал союз молодых коммунистов из кремлевских ребят... У них все на военную ногу...

Если не ошибаюсь, этот потешный полк маленького Каменева развился впоследствии в комсомол. О сыне Ольга Давыдовна говорит долго, неинтересно, но мне даже приятно слушать от нее эти человеческие, не из книжек нахватанные слова. И даже становится жаль ее: живет в каких-то затверженных абстракциях, схемах, мыслях, не ею созданных; недаровитая и неумная, все-то она норовит стать в позу, сыграть какую-то

непосильную роль, вылезть из кожи, прыгнуть выше головы. Говорит о работницах, которых не знает, об искусстве, которого также не знает и не понимает. А, вероятно, если бы взялась за посильное и подходящее дело — была бы хорошим зубным врачом... или просто хорошей хозяйкой, доброю матерью. Ведь вот есть же в ней настоящее материнское чувство...

И вдруг...

II

Вдруг — отвратительно, безобразно, постыдно, без всякого перехода, без паузы, как привычный следователь, который хочет поймать свидетеля, Ольга Каменева ошарашивает меня вопросом:

— А как по-вашему, Балтрушайтис искренне сочувствует советской власти?

Этот шпионский вопрос вдвойне мерзок потому, что Балтрушайтис, как всем известно, личный знакомый Каменевых. Он бывает у них запросто, а меж тем Ольга Давыдовна шпионит о нем окольными путями. И этот вопрос еще вчетверо, вдесятеро, в тысячу раз мерзок тем, когда и как задан. Оказывается, она говорила о больном сыне — для того только, чтобы неожиданней подцепить меня. Конечно, это уж очень нехитрый прием, пригодный разве только для уловления уж очень простых и неподготовленных людей. И конечно — Ольга Давыдовна знает, что вряд ли я на него попадусь. Тем не менее вслед за вопросом о благонадежности Балтрушайтиса она спрашивает о Бальмонте, о Брюсове, о целом ряде писателей. При этом, то щурясь, то поднимая к глазам лорнетку, она изо всех сил глядит мне в лицо. Ни оборвать, ни замять этот разговор нельзя, потому что это для нее будет значить, что тема о любви писателей к советской власти кажется мне рискованной. И вот я поддерживаю этот разговор как ни в чем не бывало, и мы беседуем, перебирая знакомых одного за другим, и выходит по моим сведениям, что все это люди с точки зрения преданности советской власти отменнейшие. Похоже на разговор Чичикова с Маниловым. Вся трудность для меня заключается в том, что о каждом человеке надо сказать по-разному, но ни в коем случае

9—3400

нельзя допустить, чтобы кто-нибудь показался Ольге Давыдовне менее благонадежным, чем другие.

После небольшой паузы, глядя в огонь и рассеянно мешая кочергой уголья, Ольга Давыдовна полунебрежно, но в то же время не скрывая легкой досады, спрашивает:

— А вы, значит, по-прежнему заведуете Московским отделением «Всемирной Литературы»?

— Да, — отвечаю я, но этот вопрос заставляет меня снова насторожиться.

Дело в том, что идея этого издательства принадлежала Максиму Горькому, который и стоял во главе его. В то же время мне было известно, что между семействами Горького и Каменева идет вражда. Когда в Москве утверждался Театральный отдел, на заведование им претендовала жена Горького, М.Ф.Андреева, бывшая артистка Художественного театра. По разным причинам кандидатура Андреевой в Москве провалилась, и вместо Всероссийского Театрального отдела ей дали в заведование маленький петербургский отдел, а управлять всероссийским посадили г-жу Каменеву. Андреева, однако же, не сдавалась и, говорят, вела под Каменеву подкопы. Ольга Давыдовна всячески защищалась и, между прочим, на помощь себе призывала Мейерхольда. В начале 1919 года, будучи в Петербурге, я даже от нечего делать сымпровизировал на эту тему целую былину в народном духе. В квартире Горького она имела большой успех. Теперь я помню из нее лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай свово коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку».
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее о сыру землю... — *и т.д.*

Памятуя все это, я предвидел, что вопросы мне будут заданы каверзные, и решил держать ухо востро. Ольга Давыдовна, все тем же небрежным тоном, как

бы стараясь дать мне понять, что предмет разговора не особенно ее занимает, сказала:

— Говорят, Горький по уши ушел в свою «Всемирную Литературу», так что сам уже давно ничего и не пишет. Это верно?

— Не знаю, откуда у вас такие сведения, — отвечал я. — Мне, напротив, показалось, что он делами издательства интересуется даже меньше, чем можно было ожидать.

Это была правда. Кроме того, я думал, что лишаю Ольгу Давыдовну возможности злословить дальше. Поэтому я был очень доволен своим ответом, но радость моя была преждевременна. Оказалось, что тут-то я и попался. Ольга Давыдовна словно ждала моих слов — и тотчас вся оживилась:

— А, значит, верно мне говорили, что «Всемирная Литература» устроена только для того, чтобы какие-то (она назвала две фамилии, которые я здесь опускаю) могли мошенничать за счет государства? Ну, разумеется! Я просто не понимаю, как можете вы работать в издательстве Горького! Это же гнездо мошенников, потому что он сам мошенник и покровитель мошенников!

К счастию моему, в эту самую минуту, не стучась, в комнату ввалились два красноармейца с винтовками. Снег сыпался с их шинелей — на улице шла метель. У одного из них в руках был пакет:

— Товарищу Каменеву от товарища Ленина.

Ольга Давыдовна протянула руку:

— Товарища Каменева нет дома. Дайте мне.

— Приказано в собственные руки. Нам намедни попало за то, что вашему сынку отдали.

Ольга Давыдовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет и относит его в соседнюю комнату. Красноармейцы уходят. Она снова садится перед камином и говорит:

— Экие чудаки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверить решительно все что угодно. Он был совсем еще маленьким, когда его царские жандармы допрашивали, — и то ничего не добились. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все

уйдут, вдруг возьмет да и скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса». Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, — признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дела, мы спрашиваем мнение Лютика.

«Вот тебе на! — думаю я. — Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть — отбывает каторгу, может быть — рискует жизнью, а потом, когда партия приходит, наконец, к власти, — проницательный мальчишка, чуть ли не озаренный свыше, этакий домашний оракул, объявляет его "предателем рабочего класса" — и мальчишке этому верят!»

Тем временем Ольга Давыдовна говорит:

— А какой самостоятельный — вы и представить себе не можете! В прошлом году пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем Раскольниковым. Мы не хотели пускать — опасно все-таки, — но он настоял на своем. Я потом говорю товарищу Раскольникову: «Он, наверное, вам мешал? И не рады были, что взяли?» А товарищ Раскольников отвечает: «Что вы! Да он у вас молодчина! Приехали мы с ним в Нижний. Там всякого народу ждет меня по делам — видимо-невидимо. А он взял револьвер, стал у моих дверей — никого не пустил!» Вернулся наш Лютик совсем другим: возмужал, окреп, вырос... Товарищ Раскольников тогда командовал флотом. И представьте — он нашего Лютика там на Волге одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки — как матросы носят. Ну — настоящий маленький матросик!

Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками: ребенок, которого кровь на руках вот у этих счастливых родителей!

А Ольга Давыдовна не унимается:

— Мне даже вспомнилось: ведь и раньше, бы-

вало, детей одевали в солдатскую форму или в матросскую...

Вдруг она умолкает, пристально и как бы с удивлением глядит на меня, и я чувствую, что моя мысль ей передалась. Но она надеется, что это еще только ее мысль, что я не вспомнил еще о наследнике. Она хочет что-нибудь поскорее прибавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, — и топит себя еще глубже:

— То есть я хочу сказать, — бормочет она, — что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком. Ведь вот и раньше бывало, что с детства записывали во флот...

Я смотрю на нее. Я вижу, что она знает мои мысли и знает, что я знаю все ее мысли. Она хочет как-нибудь оборвать разговор, но ей дьявольски не везет, от волнения она начинает выбалтывать как раз то самое, что хотела бы скрыть, и в полном замешательстве она срывается окончательно:

— Только бы он был жив и здоров!

Я нарочно молчу, чтобы заставить ее глубже почувствовать происшедшее.

Пауза. Потом она встает, поправляет волосы и говорит неестественным голосом, как на сцене:

— Что ж это Лев Борисович не приходит? Мы бы вместе выпили чаю.

Но я встаю и прощаюсь. Опять часовой, мост, башня — Кутафья. За башнею — тьма: Воздвиженка, Арбат, Плющиха. Иду, натыкаясь на снеговые сугробы, еле волоча ноги, задыхаясь и обливаясь потом от слабости.

Две недели спустя я слег — на три месяца, но начавшаяся болезнь мучила меня с перерывами восемь лет.

В Белом коридоре я больше никогда не был — Бог миловал.

ПАРИЖСКИЙ АЛЬБОМ

VII

Начало 1920 года, герценовские торжества. Парадный спектакль в Большом театре. Лучше сказать — смесь спектакля с заседанием. Билеты, как водится, «распределены по организациям»: всучаются кому не надо — и недоступны для тех, кто хотел бы попасть в театр.

Звонок по телефону. От имени Всероссийского союза писателей просят пойти. Сообщают номер ложи. Подхожу к театру. Толпа безбилетных ломится в двери: это — остатки интеллигенции, учащиеся. Входы охраняются часовыми с винтовками. Кое-как пробиваюсь в театр, но в ложу меня не пускают. «Давайте билет». А билет — у Эфроса, один на всех. Надо ждать, пока соберутся «наши». Ждать посылают в комнату коменданта.

У коменданта — неразбериха и толчея. У него требуют билетов, но сам он — душою не здесь. Он звонит по телефону.

— Пожалуйста, МЧК. Попросите товарища такого-то. Товарищ такой-то? Да, я. Значит, в одиннадцать? Ладно, приеду. А Катя приедет? Так. Сколько достали? Две? На пятерых-то не маловато? Ну ладно, я тоже принесу. Да уж будьте покойны: хороший, эстонский. Пришлите за мной машину к одиннадцати. Пока!

Речь явно идет о спирте. «Эстонский», то есть доставленный «дипломатическими курьерами» из Эстонии, особенно славился в ту пору.

В комендантскую вваливается красноармеец:

— Товарищ комендант, пожалуйте тыщу рублей ломовому.

— Что привез?

— Нежданову.

Нежданова будет петь в отрывке из «Эрнани».

Наконец мы в ложе бельэтажа: Гершензон, два Эфроса, Лидин, Жилкин и я. Оркестр под управлением Кусевицкого играет «Интернационал». На сцене —

Каменев, Луначарский и другое начальство. Произносятся бесконечные речи, читаются декреты, указы. Соловьем растекается Луначарский. Потом, очень долго, расхаживая по сцене, говорит по-французски Садуль. Его плохо слышно. Остается смотреть, как он то и дело останавливается, сгибается в три погибели и, не прерывая речи, закручивает размотавшиеся обмотки. Но это плохо ему удается, и предательские кальсоны все время выбиваются наружу. Среди гигантских декораций, на ярком свете, все это очень неимпозантно. В зале хихикают.

Впрочем, театр почти пуст. Толпу желающих не пустили. Билеты, распределенные на заводах и в канцеляриях, — не использованы. Лишь кое-где в партере мелькают ситцевые платки да красноармейские шапки. Все в шубах. Светло, холодно и нестерпимо скучно.

В тот вечер мне показали Дзержинского. Наша ложа была ближайшая к царской. Дзержинский сидел в царской, совсем близко от меня. Больше я его никогда не видел.

У Дзержинского было сухое, серое лицо. Острый нос, острая бородка, острая верхняя губа, выдающаяся вперед, как часто бывает у поляков. Выглядывая из потертого мехового воротничка, Дзержинский мне показался не волком, а эдаким рваным волчком, вечно голодным и вечно злым. Такие бросаются на добычу первыми, но им мало перепадает. Вскоре они отбегают в сторону, искусанные товарищами и голодные пуще прежнего.

О личной жизни Дзержинского не ходило рассказов. Кажется, ее и не было. Он был «вечный труженик». Пока верхи — Каменевы, Луначарские — потягивали коньячок, а низы — мелкие чекисты, комиссары, коменданты — глушили эстонский спирт, Дзержинский не уставал «работать». Не будем отягощать памяти о нем — несовершёнными преступлениями. Достаточно совершённых. По-видимому, Дзержинский не воровал, не пьянствовал, не нагревал рук на казенных поставках, не насиловал артисток подведомственных театров. Судя по всему, он лично был бескорыстен. В большевицком бунте он исполнял роль «неподкупного». Однажды затвердив Маркса и уверовав в Ленина, он, как машина, как человеческая мясорубка, действовал, уже не рассуждая. Он никогда не был «вождем» или «идеологом», а

лишь последовательным учеником и добросовестным исполнителем. Его однажды пустили в ход — и он сделал все, что было в его силах. А силы были нечеловеческие: машинные. Сказать, что у него «золотое сердце», было хуже чем подло: глупо. Потому что не только «золотого», но и самого лютого *сердца* у него не было. Была шестерня. И она работала, покуда не стерлась: 20 июля, в 4 часа 40 минут.

Разумеется, были перебои и в этой машине. Тут действовал атавизм: ведь шестерня все-таки происходила от человеческого сердца. Дзержинский был сделан Лениным из человека, как доктор Моро делает людей из зверей... Покойного Виленкина Дзержинский допрашивал сам. Уж не знаю, что было при этом, только впоследствии машина стала давать перебои. Рассказывая одному писателю о допросе Виленкина, Дзержинский, по-видимому, галлюцинировал, говорил двумя голосами, за себя и за Виленкина. Писатель передавал мне, что это было очень страшно и похоже на то, как в Художественном театре изображается разговор Ивана Карамазова с чертом.

В период болезни Ленина, а затем после его смерти многим большевикам пришлось действовать не машинально, не «по наряду», а по собственному разумению. В довершение беды, нэп потребовал действий не по разрушению и пресечению, а по созиданию и налаживанию, да еще в направлении непредусмотренном. В число таких «строителей поневоле» попал и Дзержинский. Но ни в наркомпути, ни, особенно, в совнархозе он ничего не сделал. Поставить их на такую «высоту», как ЧК, было ему не по силам. Единственное, что он мог, — это нагнать страху на подчиненных. Действовало его ужасное имя. В одной из своих «хозяйственных» речей он недавно сказал:

— Меня боятся, но...

Дальше шло много разных «но», которые все свидетельствовали о его бессилии. Убивать легко, творить трудно.

Это знают большевики, и, конечно, раздастся теперь очередной лозунг:

«Дзержинский умер, но дело его живет».

Основное дело, заплечное мастерство, в котором силен каждый коммунист и к которому каждый имеет касательство.

Уж на что мягкий был человек Воровский, порой почти обаятельный (я его знавал). Уж какая мирная, торговая и дипломатическая специальность у «европейца» X! А вот — рассказ того же писателя.

Однажды этот писатель застал где-то компанию: Воровский, X и неизвестный поляк-инженер. Инженер с пылом говорит о каких-то широких планах, вроде электрификации. Все в восторге, наперебой расхваливают инженера и чуть ли не обнимают. А когда он уходит, большевики говорят писателю, кивая на дверь:

— Последние часы бедняга догуливает. Сегодня его арестуют — и к стенке...

— Как? Почему?

— Польский шпион. Он еще не знает, что нам все известно.

— Почему же его просто не арестуют?..

— А потому, что надо еще от него добыть кое-какие сведения. Не уйдет.

Так — Воровский и X работали на Дзержинского, в должности обыкновенных провокаторов...

Дзержинский умер, но дело его живет.

ЗДРАВНИЦА

Из московских воспоминаний

Было мне лет пятнадцать, когда старший брат (он был много старше меня) однажды положил предо мною книгу в зеленой обложке и сказал:

— На-ка, прочти. В наше время было запрещено.

Некрасивыми буквами на обложке стояло: *«Н. Г. Чернышевский. Что делать?»*

В гимназии в это время читал я Гомера, Овидия, Тита Ливия, «Слово о полку Игореве». Дома зачитывался Шекспиром, декламировал монологи Ричарда III и знал наизусть «Гамлета» в переводе Полевого. В кругу таких чтений Чернышевский сразу мне показался каким-то провинциалом. Мысленно я вводил Ричарда или Кориолана в круг персонажей «Что делать?» — и мне представлялся образ орла в курятнике. После прозы Ливия или «Слова о полку» доморощенная проза Чернышевского была жалка. Прочитав страниц восемьдесят, я вернул книгу брату. В тот день я узнал, что в мировой литературе существует свое *захолустье.*

Впоследствии я научился снисходительнее соразмерять свои требования, но «Что делать?» ни разу не мог дочитать до конца. Роман остался в моем сознании образцом литературно-общественного плюсквамперфектума. И уж никак я не ожидал, что почти через двадцать лет после первого знакомства с «Что делать?» доведется мне лично встретиться с его героиней — да еще жить с нею под одной кровлей.

* * *

Мария Александровна Сеченова, вдова знаменитого ученого, увековеченная в «Что делать?» под именем Верочки, Веры Павловны Лопуховой, всего лишь на днях скончалась в Москве, в убежище для престарелых деятелей медицинской науки.

Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось «здравницей для переутомленных работников умственного труда». Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в такое постоянное убежище для медиков.

В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней, так же как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещались обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.

Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом — небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова — все всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами — шляпа, на книгах — распоротый пакет табаку.

Из этих-то «двух углов» и происходила тогда известная «Переписка». Впрочем, к моему появлению она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов.

В первый же день, за несколько минут до обеда, Гершензон повел меня в столовую и показал пришпиленную к стене картину. То была целая хартия, аршина в три шириной, вышиной вершков в десять. Вдоль хартии протекала синяя акварельная река. Розовые голые человечки, в неизъяснимом количестве, теснясь и толкаясь, местами погуще, местами пореже, валились и лезли в воду. Иные уже в ней барахтались — особенно старики и младенцы. По берегу стояли столбы с цифрами: 1—4, 5—15, 81—90 и т.п. Гершензон пояснил, что сия «река времени» принадлежит кисти профессора Г., гинеколога, который сейчас появится. Изображает картина сравнительную смертность в различных возрастах: потому и цифры на столбах. Река же есть смерть. А показал мне Гершензон картину затем, чтобы я чего-нибудь не «брякнул» при авторе. Я поклялся не брякать. Автор явился, волоча правую ногу и раз навсегда подняв левую бровь. Он был высок, бородат, сед, худ, важен.

Он сел на председательское место и отнесся ко мне неодобрительно: поэтов не уважал. Но через несколько дней мы сдружились. Дело в том, что профессор был автором двухтомной и препочтенной «Оперативной гинекологии», а я, как раз за год до того, эту книжищу вынужден был проштудировать для одной предполагавшейся работы (которую до конца не довел). Узнав об этом, профессор весьма удивился, приятно осклабился и признал за мной право на существование. С тех пор мы частенько беседовали о прорезывании головки, о повороте на ножку и на прочие тому подобные темы.

Был профессор суров, прям, не оставлял иллюзий, называл вещи своими именами и говорил со словоерсами. Если кто-нибудь за столом замечал, что утка с душком, он тотчас откликался:

— Не беда-с, хорошо, что дают хоть тухлую-с. Дичь, будучи изжарена в начале процесса разложения, может быть употребляема в пищу без опасений.

Здравницу он откровенно называл богадельней, от чего многих коробило. Если кто был печален, он утешал:

— Богадельня — это вам не свадебное путешествие-с. Отсюда дорога — на кладбище-с.

Зато великий оптимист был наш врач, мужчина бодрый, веселый, в соку и в расцвете лет. За отсутствием медикаментов, лечил он термометром и взвешиванием. Чтобы не расстраиваться, он, подобно алхимикам, подбрасывавшим в составы свои настоящего золота, любил взвешивать пациентов один раз «после стула», а в следующий тотчас после обеда. И результатами утешался, записывая их в книгу.

* * *

Население здравницы было текучее. За отсутствием гостиниц, служила она иногда пристанищем для ученых, приезжавших в Москву по делам. Так, останавливался в ней Н.Н.Фирсов, казанский профессор, специалист по пугачевщине, тот самый, который в Академическом издании «Истории Пугачевского бунта» как дважды два доказал, что девяносто лет тому назад Пушкину неизвестны были нынешние методы исторического исследования... Приезжали и другие.

Из числа постоянных обитателей, кроме Г., вспоминается мне г-жа Б., одна из старейших женщин-врачей, горбатая, с тонким и грустным еврейским лицом, умная, добрая. Ей посчастливилось уехать в Ригу, к сыну, и все за нее радовались. Ее место заняла Л.И.Аксельрод-Ортодокс, привезенная из Тамбова по приказанию Ленина, но безжалостно им забытая в здравнице. Бедная Л.И. все томилась: призовут ее в Кремль или не призовут? Наконец призвали и поручили читать какие-то лекции. Кроме нее, были еще две политические дамы, но уже вышедшие в тираж, совсем дряхлые. Обе по стольку-то лет отсидели в тюрьмах, а ныне кончали век в «богадельне». Одна была маленькая и толстая, другая — высокая, тощая, стриженая, с неприятным подергиванием лица и к тому же гундосая. Как повелось еще в древности и как в свое время заметил Брейгель, толстая ненавидела тощую, а тощая толстую. Они жили в одной комнате. Нападала толстая, потому что от тощей будто бы нестерпимо пахло какими-то мазями, которые та запускала в нос свой. А главное — потому, что тощая по ночам храпела чрезмерно и на все лады, даже до присвиста. Они помирились на том, что тощая разрешила к большому пальцу правой ноги своей привязывать веревочку, другой конец которой был привязан к кровати толстой. Просыпаясь от храпа тощей, толстая дергала за веревочку, тощая просыпалась, и на время храп обрывался. Таким образом, партийная связь двух дам была как бы закреплена вещественным образом.

Профессор М., специалист по судебной медицине, жил поблизости, у себя дома, а в здравницу приходил только обедать и ужинать. На своем веку вскрыл он какое-то невероятное количество трупов. Говорят, во время войны старший сын его был на фронте и писал отцу письма. Внезапно, однажды ночью, профессор разбудил домашних и объявил, что сын только что убит. Никакие уговоры не действовали. Наутро М. купил гроб и поехал в ту часть, где служил его сын. Приехав, узнал, что прапорщик М. действительно был убит в ту самую ночь, когда отец видел сон. Похоронив сына, М. вернулся в Москву и с тех пор обратился к религии. Жизнь его протекала между церковью и анатомическим театром. В обхождении был он мягок, доброжелателен и все как-то странно задумывался, поглаживая бороду или потирая ладонью лоб.

Странные разговоры водили все эти люди, сходясь за обедом или ужином. Каждый громко говорил о своем, никого не слушая и ни к кому не обращаясь. Особенно языки развязывались за десертом.

— Вот, скоро от вас уеду, — говорила г-жа Б., — в Ригу поеду, к сыну...

— Вы представьте себе, — бормотал М., — пять лет страдал человек головными болями, вчера помер. Я его нынче вскрыл и в правом мозговом полушарии нашел глисту. Вот история!

— В семидесятых годах, — перебивал Г., — гинекологическая клиника была на Рождественке. Диваны были клеенчатые. А знаете вы, чем пахло? — внезапно покрикивал он, обращаясь ко мне. — Чем пахло?

Я решительно не знал, чем пахло пятьдесят лет тому назад в гинекологической клинике.

— А первородным калом-с! Вот чем-с!

— Маркс... Маркс... Маркс... Энгельс... Плеханов... Богданов... Ленин... — как телеграф, выстукивала г-жа Ортодокс. — Каутский... Мартов... Ленин... Маркс... Маркс...

Мария Александровна Сеченова за столом молчала. Была она маленькая, сухонькая старушка, очень моложавая. Никак я не думал, что было ей уже восемьдесят пять лет. Одевалась чрезвычайно опрятно, даже не без щегольства. Чуть ли не ежедневно являлась в чистой английской кофточке, с удачно подобранным галстучком.

Странное обстоятельство нас довольно часто соединяло. В здравнице жила молодая дама, приезжая из Крыма, женщина-врач. Старушки ее любили и звали Белочкой. Ничем она не выделялась, кроме того, что была моложе других. Мы с ней довольно часто беседовали. И вот Сеченовой пришло в голову, что разговоры наши весьма опасны для Белочки. В воображении Сеченовой развертывался роман, в котором я играл роль коварного соблазнителя, а тридцатилетняя Белочка — роль невинной жертвы. Чтобы не допустить Белочку до «непоправимого шага», «после которого все уже будет напрасно», Сеченова старалась не оставлять нас одних.

Я сначала был этим доволен, потому что незамысловатые беседы веселее вести втроем, чем вдвоем.

Кроме того, я надеялся что-нибудь выведать у старушки о временах прошедших. Надежды не оправдались. Сеченова была незанимательна. Ни разу не рассказала ничего любопытного. Сидела, накрахмаленная, сухая, с чисто вымытыми морщинками маленьких рук, и почти ничего не говорила. На лице ее не было написано ничего, кроме мужественного упорства, с которым человек должен переносить скуку жизни.

Лето было жаркое, и мы с Белочкой иногда ходили подышать воздухом на Девичье Поле. Сеченова ходила с нами. Садились мы на скамеечку в сквере. Голодные, ободранные ребятишки из советских приютов, под управлением голодной барышни, водили бесконечные хороводы:

Как для Ванюшки-Ванюши
Испекла я каравай,
Вот такой вышины,
Вот такой низины...
Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!

Однажды зашла речь о человеке, который недавно отравился цианистым калием. Сеченова спросила:

— Он сразу действует?

— Сразу.

Потом говорили о чем-то еще. И вдруг — Мария Александровна:

— А его очень трудно достать?

Пошли к дому. Дети все пели песню свою, с единственным вариантом:

Как для Ванюшки-Ванюши
Испекла я каравай,
Вот такой ширины,
Вот такой узины...
Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!

* * *

Осенью Белочка уехала. Я прочитал всю библиотеку здравницы: «Исторический Вестник» за три года и полное собрание сочинений Дениса Давыдова. Люди сменялись. Поселился в здравнице Юлий Алексеевич Бунин (старший брат И.А.), человек всей Москве знакомый и всею Москвой любимый. Был он не столько болен, сколько угнетен. Знали мы давно друг друга, но

только тут как-то вдруг сжились. Несмотря на разницу лет, взглядов, вкусов, здесь, в здравнице, мы оказались самыми близкими людьми, он — мне, я (смею думать) — ему. Вот и коротали вместе и дни, и вечера. Говорили об общих знакомых, вспоминали Литературно-Художественный Кружок, который сам по себе, без Юлия Алексеевича, не вспоминается... Если мне удалось в те дни несколько развлечь тоску этого бесконечно доброго и благородного человека — я за то благодарен судьбе.

Поздней осенью я покинул здравницу, а потом затеял перебраться в Петербург. 16 ноября, накануне отъезда, что-то вдруг потянуло меня в здравницу, еще раз проститься с Буниным. Я совершенно уверен был, что более его не увижу. Я прибежал в здравницу в десятом часу вечера. Юлий Алексеевич лежал на кровати, одетый, под одеялом. Мы немного поговорили и обнялись на прощание. Через несколько месяцев его не стало.

Уходя, в коридоре я встретил Сеченову. Она куда-то спешила, семеня мелкими шажками. Вот теперь умерла и она. Представляю себе, как из белого дома в 3-м Неопалимовском переулке выносили ее маленький гробик. Она завещала похоронить себя без церковного обряда: до девяноста четырех лет осталась верна несложным идеям юности.

О прочих обитателях здравницы я ничего не знаю.

«ДИСК»

В 1920—1922 годах общество «Старый Петербург» (впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково) переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться: в них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того как жизнь уходила вперед, все острей, все пронзительней ощущалась членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым — отсюда возникало желание как можно тщательнее сберечь о нем память. Во-вторых (и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге), именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда. Люди, работавшие в «Старом Петербурге», отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны — достаточно назвать хотя бы П.П.Вейнера. Но, как и все другие обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастие.

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди,

которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломалась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробившаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.

В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен, и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Голод и холод не снижали этого подъема, — может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:

И мне от голода легко
И весело от вдохновенья.

Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и пред которым поставила ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым, подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики.

Между тем культурная жизнь Петербурга сосредоточивалась вокруг трех центров: Дома Ученых, Дома Литераторов и Дома Искусств, которые для нее

служили прибежищем не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех Домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, — о Доме Искусств, или о «Диске», как иногда его называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни: для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно — беллетристическая форма.

Помещался «Диск» в том темно-красном доме у Полицейского (в старину — Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую — до середины XVIII столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум — свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался «Английский магазин», а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это неблагодарно с моей стороны (почему — будет сказано ниже).

Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно — ход с Морской, со двора, в другое — с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин почему-то питал пристрастие, — этих Родэнов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий — переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем

холле — Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. «Куча мала!» — на полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Наппельбаум, маленькая поэтесса, показала мне пальцем:

— А эта вот — наша новенькая студистка, моя подруга.

— А как фамилия?

— Нина Берберова.

— Да которая же? Тут и не разберешь.

— А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога.

К гостиной примыкала столовая, зверски отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином — как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома Литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий — деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные — роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак — весь состав своего пайка, за исключением сахару: сахар он оставлял себе.

Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть «Диска», куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил кн. С.А.Ухтомский, один из хранителей Музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым; жил пушистый седой старик Липгардт, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи «сертификатов» на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Липгардта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко? — будто бы сказал Липгардт, — это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Тициан!»

Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с

кастрюлечкой шмыгала маленькая старушка — М.А.Врубель, сестра художника. Соседкой ее была Е.П.Леткова-Султанова, свояченица К.Е.Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском Богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами (по большей части еловыми) он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, которою прикрывал стынувшую лысину. Над ним по стенам и по потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами — эта комната была некогда спальней г-жи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню, вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт: это ходил по кафельному полу поросенок — воспитанник Ефима.

Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского — единственного молодого обитателя этой части «Диска». Здесь была постоянная толчея. В редкий день не побывали здесь — Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и семнадцатилетний поклонник Т.А.Гофмана — начинающий беллетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель «Серапионовых братьев», только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть — на кровати хозяина, прочие — на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же, на трех стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой.

Комната Волынского потому еще была холодна

в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели «Диска» порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому.

Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго, но зато очутиться наконец в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над иссиня-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, — блаженства этого не опишешь!

Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в самый тот день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Одоевцева, на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, — и убежала, пообещав подарить мне кольдкрему. Кольдкрема этого, впрочем, я по сей день не дождался... О, люди!

Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью — узкая комната в одно окно, находящееся на уровне тесного, мрачного колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и звался «обезьянником». Первую комнату занимал Лев Лунц — вероятно, она-то отчасти и сгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с

заправилами «Диска», не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкою тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору — скромный ученик Гумилева, ныне — усердный переводчик всевозможных джамбулов.

Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастием его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паек и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько «дантовским» профилем (высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок), носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем «пястов». На ногах — прикрученные веревками остатки какой-то обуви, столь, однако ж, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда слышно было за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своею печуркой, а впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимый морозом, голодом и тоской, до поздней ночи, а то и всю ночь он бродил по Дому Искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябр, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении,

совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские «нотабли». В нем было тепло, но оно было рядом с комнатою Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено «помещение» запирать, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он промчался по всему «Диску», по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому на угол Мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопаньем дверей, с грохотом, остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал:

— Окаянные! Что они со мной сделали! Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле — отняли, заперли! О, проклятые!

Та часть Дома Искусств, где я жил, когда-то была занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастию, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: пошло, но импозантно и, уж во всяком случае, чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница А.В.Щекотихина (впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за И.Я.Билибина и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла, — окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М.Л.Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним недающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т.д. Не любить его было невоз-

можно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паек, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял:

— Ну, а теперь будем ужинать!

Соседями нашими были: художник Милашевский, обладавший красными гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем «пясты», и столь же гусарским успехом у прекрасного пола, поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось — одному Богу ведомо, из каких материалов, а также О.Д.Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин порой занимают сплетни: нашептавшись «о последнем» с Ивановым-Разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга — к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне — и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви»:

— Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по Блоке, а потом вышел на амвон да как грохнет:

Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи!

Это с амвона-то! Вы подумайте! Ха-ха-ха! Ну и прелесть!

Достоинством нашего коридора было то, что в нем не было центрального отопления: в комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени,

державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Правда, растапливать их сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было какое-то неслыханное количество. Регистраторы эти служили чудесной растопкой, так же как переплеты столь же бесчисленных копировальных книг. Папиросная же бумага, из которой эти книги состояли, шла на кручение папирос. Этой бумагой «Диск» снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же порой можно было выменять пакетик махорки у мальчишек и девчонок, торговавших на Невском. Один листок этой бумаги сохранился у меня по сей день.

С этими маленькими торговцами (предшественниками будущих беспризорников, которых я уже не застал и не видел) связано у меня одно воспоминание не столь идиллическое. Как я уже говорил, во дворе елисеевского дома некогда находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало «Диску», но им почти не пользовались по той причине, что оно было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра. Она день и ночь лежала в своей конуре под грудой тряпья, ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 года приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков, начавший литературную деятельность еще лет восемнадцать тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка. Голодал начисто. Не без труда удалось мне устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части), раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать лишь тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаками в стену, крича:

— Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду да тебя задушу!..

Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так, из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельца, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила бар. В.И.Икскуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой — по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров, ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая, холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч. Мариэтта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня — марксизму», — говорила Мариэтта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Когда Гумилев был расстрелян, Мариэтта выжила его вдову из «Диска» и заняла гумилевские комнаты, населив их своими шумными родственниками.

Так жил Дом Искусств. Разумеется, как всякое «общежитие», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренно благородная, главное же — как я уже говорил — проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга — подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки, — и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.

За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.

О современниках

ВИКТОР ГОФМАН

К двадцатипятилетию со дня смерти

В тесном кафэ на бульваре Сен-Мишель гремят ложки и блюдца, мечется гарсон, на пыльных диванах примостились парочки. Рыжеватая женщина перекинула ногу в розовом чулке через колено щуплого молодого человека. Не обращая внимания, он продолжает с приятелем партию в трик-трак. Две серокрылые вечерние бабочки вьются у электрической лампы.

«Хожу в здешнюю публичную библиотеку... Как странно потом попасть на наш бульвар, где живу я и где маленькие люди веселятся и любят». Это писал двадцать пять лет тому назад поэт Виктор Гофман об этом самом бульваре. В этом же доме № 43 он жил и умер. Бывал, вероятно, и в этом кафэ.

Гофмана я знал очень юным. Мы учились в одной гимназии. Когда познакомились, ему было 17, мне — 15. Он был в седьмом классе, а я в шестом. Сблизили нас стихи.

Вот он сидит на краю парты. Откинутая назад голова втянута в плечи. Резко очерчено острое колено. У Гофмана худощавые руки и словно девическая ступня с высоким подъемом, плавно изогнутая. Весь он легкий. Курчавые тонкие волосы, прищуренные глаза с длинными ресницами и всегда немного дрожащее пенснэ в роговой оправе. Тихим голосом, слегка в нос, он читает стихи. Читает уже нараспев, как все новые поэты.

1902—1903 годы. Я смотрю на Гофмана снизу вверх. Мало того, что он старше меня и его стихи много лучше. Он уже печатается в журналах, знаком с Бальмонтом, бывает у Брюсова. Брюсов взял у него три стихотворения для «Северных Цветов». В «Грифе» тоже стихи Гофмана. О таких вещах я еще даже и не мечтаю...

Гофман был в обращении мягок, слегка капризен. Было в нем много женственного. Он вырос с девочками, играя в куклы. О кукле же написал двенадцати лет свои первые стихи: «Больное дитя». Отпечаток этого детства сохранился на нем до конца.

Злой рок столкнул его с Брюсовым. Очень впечат-

лительный и доверчивый по природе, семнадцатилетний Гофман тотчас подпал под влияние неистового и безжалостного учителя, от которого перенял его несложную, но едкую философию «мигов».

Это слово, так часто встречающееся в поэзии Брюсова, надобно пояснить. По Брюсову, жизнь состояла из «мигов», то есть из непрерывного калейдоскопа событий. Дело поэта — «брать» эти миги и «губить» их, то есть переживать с предельною остротой, чтобы затем, исчерпав их лирический заряд, переходить к следующим. Чем больше мигов пережито и чем острее — тем лучше.

Эти переживания (самое слово в ту именно пору сложилось и получило право гражданства) не подлежали никакой критике моральной, или философской, или религиозной. Все они считались равноценными. Все дело сводилось к тому, чтобы накопить их как можно больше — все равно каких. Нетрудно понять, что такое накопление, нисколько не обогащая духовно, выматывало нервы. Жизнь превращалась в непрестанное самоодурманивание, в непрекращающуюся лирическую авантюру. В сущности, это и было если не сердцевиною декадентства, то главною его составною частью.

Хуже всего было то, что постоянное возбуждение становилось привычкою и потребностью. От него развилось нечто вроде вечного эмоционального голода, который от переживаемых «мигов» не только не получал утоления, но разжигался пуще. Этого мало. По избранному пути рекомендовалось идти «до конца», не щадя себя. И шли, смутно сознавая, что идут к гибели. Сильные и менее правдивые выдерживали — к числу их принадлежал сам Брюсов. Слабые и самые «верные» погибали. Гофман был только одною из таких жертв. Ему все мерещился какой-то особенно хороший миг — такой, которым была бы искуплена и оправдана вся изнурительная его жизнь. Этот воображаемый, так никогда и не наступивший миг называл он счастьем и тосковал по нем:

Хочется счастья, как же без счастья?
Надо же счастья хоть раз!

Перед Брюсовым Гофман благоговел, как мы все когда-то благоговели. Брюсов, несмотря на то, что был

на одиннадцать лет старше, дарил его дружбой, которая, разумеется, была для Гофмана драгоценна. Дома их стояли почти рядом на Цветном бульваре, против цирка Саламонского. Брюсов, признанный мэтр и вождь, нередко заходил к Гофману, держался с ним на равной ноге, писал ему дружеские стихотворные послания, в которых (честь величайшая по тому времени!) ставил его в один ряд с собой и с Бальмонтом. Наконец, как я уже говорил, Брюсов печатал стихи Гофмана в альманахе «Скорпиона».

И вдруг все разом оборвалось. Гофман провинился. Вина была маленькая, ребяческая. Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов. Имел Гофман основания хвастаться или не имел — все равно. Делать это, конечно, не следовало. Но что поднялось! Наказание оказалось во много раз сильнее вины. На девятнадцатилетнего мальчика обрушились все громы и молнии власть имущих — с Брюсовым во главе. Брюсов отдал приказ изгнать Гофмана из всех модернистских журналов и издательств. Двери «Грифа» и «Скорпиона» отныне для Гофмана были заперты. На ту беду, вскоре вышла первая книга его стихов — «Книга Вступлений», с которою было связано столько боли, страха, надежд и юношеских мечтаний. Брюсов о ней написал в «Весах» уничтожающую рецензию: разнес то самое, что громко хвалил накануне.

Между тем как раз в это время умер отец Гофмана, дела семьи пошатнулись, и студенту Гофману пришлось обратиться к литературе как к источнику заработка. Но модернистские издания для его стихов и литературных статей были закрыты, а в прочих на него смотрели как на декадента. Следовательно, стучаться туда было бесполезно: литературные лагери тогда были резко разделены. Гофману ничего не оставалось, как приняться за газетную работу. В газетах он стал помещать статьи на темы публицистические, отвечавшие моменту (дело было в 1905—1906 годах). Он писал о «Всеобщем голосовании с точки зрения философии», о «Двухстепенных выборах» и т.д. Работа давалась ему с трудом и не интересовала его самого. Однако он кое-как перебивался.

С тех пор, как стряслась с ним беда, прошло уже почти два года. Пора было его простить, но Брюсов был крайне злопамятен. Однажды прослышал он, что Гофман, провожая ночью на извозчике одну барышню, Елену Ивановну Б., вздумал ее поцеловать, но потерпел поражение. Брюсов немедленно написал и разослал знакомым следующие стихи:

ЕЛЕНЕ

О нет, не думай ты, что было мне обидно,
Когда с извозчика меня столкнула ты.
Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.

В объятиях моих для женщин много чести.
Хотя капризен я, оне идут ко мне.
Но ты, о гордая, мне приказала: «слезьте»...
Ну что же, и в мечтах утешусь я вполне.

Ведь я — дитя мечты, я младший альбатросик*.
Принять желания за истину сумев,
Я лаю на слонов среди отважных мосек
И славлю свой успех у женщин и у дев.

Ответные слова пусть очень были жестки,
Но ведь известно всем, что я всегда поэт —
И буду я твердить на каждом перекрестке,
Что от любви твоей мне и проходу нет.

Итак, не думай ты, что было мне обидно,
Когда с извозчика меня столкнула ты.
Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.

Наконец, кончив университет, Гофман решил перебраться в Петербург. Там он прожил два года, издал вторую (и последнюю) свою книгу стихов — «Искус», писал в газетах: в «Речи» и в «Слове». Потом, ради заработка, принимал участие в редактировании «Нового Журнала для Всех». Но и работа была не та, к которой влекло Гофмана, и круг сотрудников «Нового Журнала для Всех» был невысокого, в общем, качества, и — главное — не мог Гофман расстаться со своими лирическими авантюрами. Постепенно у него стала разыгрываться неврастения — неизбежное следствие «мигов».

Уже лет через пять после смерти Гофмана, во

* Намек на подражания Гофмана Бальмонту и через него Бодлеру.

время войны, издатель Пашуканис выпустил двухтомное собрание сочинений Гофмана. Брюсов не постеснялся написать для этого издания вступительную статью, а мне была поручена биография. Во время этой работы у меня в руках была большая пачка писем Гофмана к сестре и к одной поэтессе. Они дают, что называется, яркую клиническую картину неврастении, с характерными сменами настроения, с постоянными обещаниями «преобразовать свою жизнь», с описаниями странных и сумасбродных поступков, с боязнью одиночества, с рассказами о бессонных ночах. Стихи он совсем перестал писать. Пытался работать над прозой — она в таких обстоятельствах не могла быть удачна. Проза Гофмана очень слаба, несравненно слабее его стихов, в которых, несмотря на многие недостатки, была какая-то особая, гофмановская прелесть — знак недоразвитого, но подлинного дарования.

Несколько раз он пытался куда-нибудь уезжать, надеясь вернуться обновленным. Весной 1910 года он приезжал в Москву — тогда я видел его в последний раз. Он имел вид измученный. Потом он жил в Павловске на даче, но и там мучился. Зима 1910—1911 годов далась ему очень трудно. Письма той поры — сплошной стон. Весной 1911 года он решил ехать за границу: все искал «перемены впечатлений», то есть новых, еще не изведанных раздражений, которые как раз были для него ядом.

Ему нужен был санаторий — он поехал в Париж. В то лето в Париже было много русских писателей: Алексей Толстой, Георгий Чулков, Минский, Ахматова, Тугендхольд и другие. Гофман сперва избегал встреч и много работал, но потом, напротив, стал искать людей и работу забросил. 14 июля он танцевал на улице, возле «Ротонды», с одной нашей общей знакомой и, по ее словам, был спокоен, ровен. После 14 июля люди, как водится, стали из Парижа разъезжаться. Толстой и Чулков отправились на океан, Ахматова уехала в Петербург. Гофман остался один, погрузился в жизнь бульвара Сен-Мишель. В то лето неистовая жара стояла над Западной Европой. Тогдашние парижские газеты полны описаниями смертных случаев от жары. Что произошло с Гофманом — довольно трудно понять. 11 августа Я.А.Тугендхольд

10—3400

получил от него записку с просьбой зайти. Гофман писал: «Из того револьвера, о котором я вам говорил, я прострелил себе палец. Главная опасность заключается не в ране, а во французских врачах-шарлатанах. Не могу найти ни одного порядочного».

Сохранилась его записная книжка, испещренная адресами врачей и лечебниц. Наконец он попал к русской женщине-врачу. Рана была пустячная и почти уже зажила, но у Гофмана появился жар. Решив, что это брюшной тиф, Гофман объявил, что поедет в Москву к матери. Одна русская дама предложила ему перебраться к ней, в свободную комнату. В воскресенье, 13 августа, утром, она должна была к нему зайти. В половине одиннадцатого она пришла, не достучалась и вышла на время. Когда же вернулась, то ей сообщили, что в 11 часов гарсон, зайдя в комнату для уборки, нашел Гофмана на полу мертвым.

За несколько дней до этого одна из жилиц отеля сошла с ума и ее увезла полиция. Хозяин отеля впоследствии рассказывал, что в день своей смерти, в 9 часов утра, Гофман вызвал его звонком и сказал:

— Зовите полицию, я сошел с ума.

Хозяин стал его успокаивать. Гофман его, наконец, отпустил:

— Хорошо, можете идти. Я напишу письма и немного пройдусь; надо прибрать комнату, ко мне должна прийти барышня.

Хозяин ушел, а Гофман застрелился, оставив письма к сестре и матери. В одном из них он писал: «Надо попытаться ухитриться застрелиться». Когда я впоследствии передал эти слова Брюсову, тот сказал: «Какая неуклюжая фраза. Но интересно».

В «Пти Паризьен» от 14 августа 1911 года мельчайшим шрифтом напечатано: «Вчера в десять с половиной часов утра русский студент Виктор Гофман, 27 лет, живший в отеле, 43, бул. Сен-Мишель, покончил с собой выстрелом из револьвера в висок».

Студентом тогда назывался каждый русский, читавший книги и живший в Латинском квартале.

Страх перед сумасшествием стал мучить Гофмана гораздо раньше этого лета. Давно уже он пугался перемен в своем почерке, пропуска слов в письмах и т.д. Вероятно, какую-то роль сыграли парижские впечатления тех дней, сумасшедшая женщина, простре-

ленный палец... Но это все — внешнее, это поводы, а не причины. Причина — страшный надрыв русского декадентства, унесшего немало жертв. Гофман был только одной из первых.

О смерти Гофмана я узнал в поезде, когда, едучи из Венеции в Москву, на вокзале в Ченстохове купил «Речь». И Гофман вспомнился так отчетливо — в гимназической куртке, а потом — в неправдоподобном «испанском» костюме, в седом парике, с накрашенным шрамом на лбу. Гофман полулежит в кресле, я стою перед ним на коленях. Он протягивает руку над моей головой и говорит протяжно, в нос:

Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли.
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.

Это мы в гимназическом спектакле разыгрываем «Камоэнса».

Лет десять тому назад я был на могиле Гофмана, на кладбище Банье. На могиле стоит тяжелый памятник, с урной, с крестом и краткою надписью. Тут же разросся огромный куст — весь в колючках. Под ним я нашел полинялый букетик искусственных фиалок.

ЧЕРЕПАНОВ

Недавно М.А.Алданов посвятил несколько статей важному событию из эпохи раннего большевицкого господства — взрыву в Леонтьевском переулке, в особняке, некогда принадлежавшем графине Уваровой. После октябрьского переворота этот особняк был предоставлен левым эсерам, а затем, после убийства графа Мирбаха и так называемого восстания левых эсеров, отошел к большевицкой партии. 25 сентября 1919 года в нем должно было состояться собрание виднейших большевицких деятелей, в том числе Ленина и Троцкого, которые, однако, по случайности не присутствовали. Во время заседания в зал была брошена бомба; было довольно много убитых и раненых. На другой день Чрезвычайная комиссия начала расправу с предполагаемыми и воображаемыми огранизаторами взрыва. Истинные виновники были ею обнаружены значительно позже, когда выяснилось, что покушение было организовано террористической группой, состоявшей из нескольких лиц, именовавших себя «анархистами подполья», и нескольких левых эсеров. Во главе последних стоял некий Черепанов, игравший в террористической группе важную роль: впоследствии он показал на допросе, что подготовка взрыва, выработка плана и руководство были возложены на него. (В самом метании бомбы он, однако, не принимал участия по постановлению «штаба», хотя и находился поблизости от того места, где произошел взрыв.)

Естественно, что в своих статьях М.А.Алданов уделяет немало места личности Черепанова. Со вдумчивостью и тщательностью, присущими всем его работам подобного рода, М.А.Алдановым использован обильный печатный материал: «Красная Книга ВЧК», содержащая очень подробное изложение событий и показания обвиняемых, ряд статей и заметок в советских газетах того времени и т.д. Не ограничившись этими данными, М.А.Алданов лично опрашивал многих лиц, которые могли и должны были знать Черепанова (нужно думать, что этими лицами были члены эсеровской партии, к которой он принадлежал). Тем не

менее собранные сведения оказались невелики по объему: М.А.Алданов прямо говорит, что о Черепанове знает «очень мало». Ему удалось только выяснить, что это был «образованный человек»: окончил юридический факультет и даже был оставлен при университете — не то по кафедре уголовного права, не то по кафедре уголовного процесса; что революция застала его молодым и «очень его увлекла»; что в 1917 году он стал членом эсеровской партии, а затем «все левел: из с.-ров стал левым с.-ром, потом главой левого крыла левых с.-ров». К этому надо прибавить, что, как мы видели, он потом еще полевел: примкнул (хотя бы тактически) к одной из анархических групп.

Эти весьма ограниченные данные заключают в себе то неприятное свойство, что, отмечая быстрые этапы эволюции, проделанной Черепановым, в то же время не содержат в себе ничего, чем можно было бы эту эволюцию объяснить. Мы видим, что человек, которому предстояло стать профессором университета, вдруг очертя голову бросается в революцию и в безостановочном скольжении налево стремительно доходит до прямого сотрудничества с ее самыми темными элементами.

Скольжения вправо обычно нас не смущают: мы их легко объясняем корыстью. Скольжения влево привыкли мы объяснять побуждениями более или менее возвышенными: идейными, или хоть психологическими, или, на худой конец, эмоциональными. В данном случае никакого материала для подобной мотивировки у нас нет. Говоря об «анархистах подполья», М.А.Алданов решается слегка усомниться в их «идейности». Черепанов же был эсером — значит, сомневаться в идейности не приходится. Правда, политические идеи Черепанова М.А.Алданов называет «странными», видимо, не желая назвать их менее почтительно. Но самая наличность этих идей для него несомненна. К тому же Черепанов в его глазах окружен ореолом, как человек, погибший в борьбе с большевиками, и притом проявивший мужество в самом деле замечательное. В результате, не имея данных для суждения о внутренних двигателях Черепанова, М.А.Алданов, как и следовало ожидать от столь добросовестного исследователя, оставляет их под знаком вопроса. Поскольку он не сомневается в их возвышен-

ной природе, личность Черепанова выходит у него таинственной.

Уже в эпоху Временного правительства имя эсера Черепанова стало нередко появляться в газетах — чаще всего в паре с Марией Спиридоновой. Читая о выступлениях Черепанова, без труда можно было проследить его историю — вплоть до взрыва в Леонтьевском переулке. Его принадлежность к партии эсеров с самого начала создала и для меня привычную иллюзию. Совершенно так же, как теперь М.А.Алданов, за действиями Черепанова предполагал я идейные мотивы, мне в точности не известные, но, несомненно, существующие. При этой иллюзии оставался я вплоть до весны 1920 года, когда появилась та самая «Красная Книга ВЧК», которая и Алданову послужила одним из главных источников. Читая в ней главу о взрыве в Леонтьевском переулке, я, однако же, был воистину потрясен внезапным открытием: оказалось, что таинственный эсер Черепанов и просто Черепанов Донька, бывший товарищ мой по гимназии, — одно и то же лицо. До тех пор подобное предположение настолько не приходило мне в голову, что, читая в газетах о Черепанове, я ни разу даже не вспомнил о человеке, с которым восемь лет просидел если не на одной скамье, то в одном классе. Изумление мое было так велико, эти два образа до такой степени не сливались, что, несмотря на редкое имя (Черепанова звали Донат Андреевич), — я поверил не сразу. Лишь небольшая овальная фотография, приложенная к статье, меня убедила. С этой минуты история Черепанова представилась мне совершенно по-иному, чем я себе представлял ее до тех пор и чем ныне она представляется М.А.Алданову.

В московскую 3-ю гимназию, ту, что помещалась на Большой Лубянке, на том самом месте, где некогда находилась усадьба князя Михаила Пожарского, поступили мы с Черепановым в 1896 году. Учился он средне, скорее плохо, чем хорошо, хотя на два года в одном классе ни разу не оставался. Оттого, что я был слаб здоровьем и дома надо мною, что называется, тряслись, я в младших классах был паинькой, очень

хорошо учился и дружбу водил с такими же благовоспитанными мальчиками, читателями книг и собирателями бабочек. Черепанов принадлежал к той части класса, которая книг не читала, бабочек не собирала, ходила в сапогах с голенищами (я носил башмаки на пуговицах), ругалась крепкими словами и вообще удивляла меня бытовыми навыками, о которых раньше я не имел понятия. Как сейчас, помню я день, когда Черепанов (это было уже классе в четвертом) явился в гимназию с огромным, классическим синяком вокруг запухшего левого глаза, со щеками, по которым шли сверху донизу ярко-красные царапины, и с такими же царапинами на руках. Наш классный наставник, Митрофан Дмитриевич Языков, ахнул, его увидя. На вопрос, что случилось, Черепанов ответил:

— Опять с кухаркой подрался, Митрофан Дмитриевич.

Чувствовалось, что бой был не первый и не последний, притом — всерьез и на основах внутреннего равенства.

Отец Черепанова был антрепренер. Некогда он держал в Москве театр «Скоморох» — народный театр, в котором были места по пятаку и по гривеннику. Между прочим, в «Скоморохе», если мне память не изменяет, впервые были поставлены «Первый винокур» и «Власть тьмы». Театр прогорел, кажется, еще до нашего поступления в гимназию. Отца Черепанова видел я раза два — он приходил зачем-то в гимназию. Это был человек среднего роста, с серым лицом, с сильной проседью, похожий манерами и одеждой не то на мастерового, не то на опустившегося купца. Носил он долгополый сюртук и картуз. Начиная говорить, встряхивал головой и вытягивал руки по швам. Матери у Черепанова не было — то ли она рано умерла, то ли была с мужем в разъезде. Была маленькая сестра, учившаяся в балетном отделении Императорского Театрального Училища на Софийке. Впоследствии я с Черепановым раза два ходил туда за ней — брать ее в отпуск.

Приблизительно класса с пятого произошла в Черепанове перемена: из замарашки и драчуна он сделался франтом, а затем очень вскоре очутился в кругу молодых людей, к числу которых я прямо не принадлежал, но которых наблюдал очень близко и за кото-

рыми — что греха таить — в некотором роде тянулся. Дело в том, что с самого раннего детства балет был моей страстью. Подумывали отдать меня в театральное училище, но по болезни я очутился гимназистом, отчего первое время немало страдал. Утешение находил я в том, что сделался усерднейшим посетителем дачных танцулек и всевозможных балов — в Благородном собрании, в Охотничьем клубе и т.д. Разумеется, был у меня обширный круг бальных знакомств, в первые годы совершенно невинных, но затем, именно когда был я классе в пятом, получивших иную окраску. Я подошел вплотную к довольно обширной группе юношей, уже начинавших карьеру прожигателей жизни. Некоторые из них даже вовсе не танцевали, являясь на балы с какими-то особыми целями, а главное — чтобы поразить человечество и друг друга тем же, чем поражали на Кузнецком мосту, на Петровке, в театрах: фантастическим щегольством и фантастическими повадками. Гимназисты, реалисты, креймановцы, комиссаровцы — иной раз умели они перещеголять самих лицеистов. Ездить на трамвае, или на конке (тогда еще конки существовали), или на простых извозчиках считалось позором: надобно было брать лихачей. Парадные мундиры считались дурным тоном и пережитком. Зато шили себе поразительные куртки с высокими воротниками, в талию, с боковою застежкою на крючках. Стягивались они широченными ремнями непременно с кожаной пряжкой, а не с форменной бляхой. Брюки делались до того узкие, что длинноносые лакированные штиблеты в них не проходили: надобно было сперва натянуть брюки, потом надевать башмаки. Натягивались они до такой степени, что суконные штрипки не выдерживали: некие братья В-ны ввели в моду штрипки из металлических цепочек. От тугой натяжки брюки суконные вытягивались на коленях — мы стали их шить, как студенты, из диагонали. Черепанов ввел новшество, о котором тотчас заговорили и которое тотчас же переняли: он стал и куртки шить из такой же диагонали. Фуражки делались такие тесные, что могли держаться только на боку, но зато с огромнейшими полями. Малейший ветер уносил их с голов — приходилось пришивать резинку, которая пропускалась по подбородку. Подкладка в фуражке полагалась черная муаровая с большой золотой буквой на

левой стороне. Делались, впрочем, подкладки и красные, и голубые, но это уже куда ниже сортом. Вечерами по нашим шинелям городовые нас принимали за офицеров и вытягивались, козыряя, — а потом, поняв ошибку, отплевывались. Ходить в калошах было неприлично. Зимою носили мы серые боты, но лучше было иметь ботинки на байке и ходить без калош. При ходьбе надо было особым образом подшаркивать и волочить ноги меланхолически. В походке никто не мог превзойти Григория Исааковича Ярхо, моего приятеля, немножко поэта (это его сын недавно покончил с собой здесь, в Париже, вместе с Борисом Поплавским). Гимназическое начальство на все эти повадки смотрело косо и по мере сил пыталось их преследовать, но мы обретали право свое в борьбе, которую вели даже с некоторым спортивным азартом и соревнованием.

Не приходится удивляться, что жизненная судьба многих московских энкруаяблей оказалась прискорбна, а иногда и вовсе трагична. Чтобы не быть голословным и ради характеристики, я позволю себе рассказать три истории.

Непревзойденным главой и арбитром московских элегантов долгие годы считался Сергей Николаевич Дурасович. Его младший брат был со мной в одном классе. Сам же был старше нас года на три, на четыре, учился в той же третьей гимназии, но проходил курс наук не спеша, а затем и вовсе был исключен. Его отдали в частную гимназию Креймана, которую он окончил тоже не из первых. Был он красив собою и еще в креймановскую пору пользовался большим успехом у женского пола, в котором предпочитал особ, бывших значительно старше и богаче его. Потом, в студенческой форме (он поступил на юридический факультет), катался он по Москве в высоком английском кабриолете, которым правила купчиха С-на. Из кабриолета он пересел в парную коляску, принадлежавшую небезызвестной кокотке Зое П., которая жила на углу Тверской и Пименовского переулка, в доме Коровиной, где случайно жили и мы с Ярхо. Это была женщина далеко уже не первой молодости, очень некрасивая, бывшая на содержании у старенького генерала А., которого лошади бегали на бегах. После Зои П. водил Дурасович и другие того же рода знакомства, которые

привели к тому, что, когда он кончил университет и пожелал сделаться помощником присяжного поверенного, это оказалось для него затруднительно — среди адвокатов никак он не мог отыскать патрона, который согласился бы его к себе «приписать». Наконец, после долгих стараний, патрон нашелся — то был известный Шмаков. Несколько лет спустя, выступая гражданским истцом и добровольным обвинителем в деле Бейлиса, Шмаков посадил рядом с собой своего помощника — и Сергей Николаевич Дурасович очутился в роли защитника устоев, веры и прочего. Однако и на сем поприще не суждено ему было сделать карьеру, потому что он сам со стороны матери был происхождения иудейского. У его бабушки, которой фамилия была Зальцфиш, был небольшой оптический магазин на углу Тверской и Камергерского переулка, в доме Толмачева. Он умер довольно рано, в безвестности и болезнях, которые были следствием рассеянного образа жизни.

Это история просто печальная и скорее жалкая. Две другие вышли трагическими как нельзя более.

У нас был учитель: Александр Петрович Ланговой, человек лет тридцати, со средствами, элегантный, не в пример большинству педагогов державшийся вполне светски. Преподавал он греческий язык. Его несчастьем было то, что и нравы у него были слишком уж греческие. Возможно, что незаметное и скучное поприще гимназического учителя избрал он именно по этой причине. Осенью 1901 года, когда мы были в шестом классе, мать восьмиклассника Ж. подала на него жалобу, обвиняя в деяниях, предусмотренных 996 статьей тогдашнего Уложения о наказаниях. Ланговому грозила каторга, но, говорят, и он, в свою очередь, пригрозил, что на суде сделает разоблачения касательно одной особы из высших московских сфер. Дело до суда не довели, а сослали Лангового в административном порядке в Семипалатинск, откуда впоследствии он вернулся и даже занимал какую-то должность в Государственной думе.

На уроках была у него манера подсаживаться на парты к ученикам, обнимать их, что-то нашептывать. Значение всего этого понял я лишь тогда, когда скандал разразился. Обнаружилось, что и в нашем классе у Лангового были любимцы, которых он приглашал к

себе на дом. В их числе оказался П., один из бальных моих приятелей, красивый и умный мальчик, из хорошей, но небогатой семьи, которая все ждала какого-то наследства. Ланговой толкнул П. на прискорбный путь. Вскоре П. стал гулять по Кузнецкому мосту в обществе хромоногого толстяка Х-ва, пожилого господина, постоянно окруженного смазливыми гимназистами, которых он баловал. За Х-вым последовали другие поклонники. В университетскую пору П. сделался одним из виднейших представителей золотой молодежи. Порой затмевал он и самого Дурасовича.

В 1908 году, после каких-то потрясений (он даже покушался на самоубийство), П. захотел изменить образ жизни. Он женился на очень красивой девушке, дочери некоего Д., мелкого дельца и в некотором роде домовладельца: ему принадлежал публичный дом в одном из переулков, сбегавших от Сретенки к Цветному бульвару. Тем не менее первое время все шло хорошо, но потом все как-то вдруг соскочило с рельс. И П., и его жена уж очень любили веселую, а главное — шикарную жизнь, на которую средств не было. Появились на сцене разные персонажи: с одной стороны — модный тенор, с другой — стареющая кафешантанная дива с громким титулом королевы бриллиантов и отвратительный, грязный старик восточного типа с лысиною, покрытою волосатыми шишками.

Наконец супруги разъехались. Однажды в «Стрельне» они очутились за соседними столиками: она — с богатым меховщиком, он — в другой компании. Собутыльник П., который был уже пьян, стал подтрунивать, указывая ему на жену. П. подошел к ней, вынул револьвер и выстрелил. Она умерла в автомобиле по дороге в больницу. Это было в конце 1911 года.

П-ва судили, процесс был громкий — на всю Россию. Перед судом прошла гнусная вереница свидетелей — представителей веселящейся Москвы. Тут были фланеры с Петровки, эстетствующие купчики, сомнительные игроки. Один пшют на вопрос председателя: «Чем занимаетесь?» — отвечал: «Бываю». — «То есть это что значит? Где бываете?» — «А везде: на скачках, на бегах, в скэтинг-ринге». П-ва защищал присяжный поверенный Измайлов. Со стороны гражданского иска согласился выступить мой брат, хотя я и советовал не делать этого, говоря, что тут настоящее

место на скамье подсудимых — свидетелям, а не обвиняемому, выбитому из колеи в слишком ранней юности.

Надо отдать справедливость присяжным заседателям: они это почувствовали и оправдали П. Сенат дважды кассировал дело — и П. еще дважды вышел из залы суда оправданным, но не счастливым.

Третья история разыгралась как раз тогда, когда эта лишь начиналась.

В Хамовниках, неподалеку от дома, где жил Лев Толстой, был пивоваренный завод. Им управлял некий Алоизий Кара, по происхождению чех. Получал он хорошее жалованье, к тому же имел собственный небольшой пивоваренный завод в Самаре. Семья его состояла из жены, трех сыновей и двух дочерей. Старший сын жил в Самаре, управляя отцовским заводом. Другой служил, кажется, на том же заводе, где и отец. Младший, Александр, учился в коммерческом училище. Девочки получали так называемое домашнее образование. Семья занимала казенную квартиру при заводе. Жили скупо, копили деньги, знакомств не водили, не держали даже прислуги. Заводской дворник приходил топить печи.

Около 1901 года Александр Кара вздумал брать уроки танцев у неких братьев Царман, устраивавших еженедельные вечеринки при своей школе и ежегодно два бала в Благородном собрании. По этим балам я и знал Кара, который, впрочем, был старше меня года на четыре. Собою он был невзрачен. На очень обыкновенном, неумном, невыразительном лице пробивались усики. Держался он скромно, был одет небогато. У Царманов он познакомился с девицей Клавдией Смирновой. Влюбился, стал у нее бывать. Клавденька вела себя пристойно, была сирота, жила с тетенькой. И все-таки этот роман оказался Кара не по средствам. Приходилось платить за посещение вечеринок, иметь белые перчатки, без которых в те времена танцевать никак было невозможно, покупать фиксатуар, чтоб держался ежик на голове, иной раз отвозить Клавдию домой на извозчике и дарить ей конфеты, до которых она была охотница. Меж тем от родителей полагался Александру Кара на карманные расходы один рубль в месяц.

От этого рубля все и случилось. В доме стали пропадать вещи. Однажды Александр тайком заложил

велосипед старшей сестры. Это открылось. Отец, перед которым все в доме дрожали, Александра побил. Александр раздобыл стрихнину и испробовал его действие на собаке. Собака умерла в сильных мучениях — мысль о стрихнине была оставлена. Через несколько времени Александр украл у матери какие-то мелкие драгоценности. Мать его уличила и обещала обо всем рассказать отцу, когда тот вернется со службы. Часов в семь вечера Александр подошел к маленькой девочке, дочери соседей, приходившей играть с его младшей сестрой, и велел ей идти домой. Затем он дал денег дворнику, возившемуся на кухне, послал его в кондитерскую, а сам взял колун (быть может, заранее припасенный) и отправился в столовую, где была мать. Подойдя к ней сзади, ударом топора раскроил он ей череп.

Сестры, игравшие в соседней комнате на пианино в четыре руки, услышали шум. Кара быстро подошел к ним и двумя ударами колуна прикончил обеих. Затем оделся и ушел из дому. Отец, пришедший домой несколько минут спустя, застал три трупа. Поднялась тревога, во время которой Александр вернулся и еще имел присутствие духа кричать, что своими руками растерзает убийцу. Вскоре, однако же, он размяк и к полуночи признался во всем.

Его защищал мой брат. Присяжные возбудили ходатайство о направлении дела к доследованию на предмет освидетельствования умственных способностей Кара. При вторичном разбирательстве его защищали два адвоката: мой брат и В.А.Маклаков. Кара был приговорен к десяти годам каторги, с которой года через три бежал — по глупости в Самару, где многие его знали. Все-таки он там прожил неузнанным около года — нанялся воспитателем к детям какого-то купца. Будучи опознан, вернулся на каторгу, где вскоре и умер от чахотки.

Конечно, не все наши (то есть Черепанова и мои) бальные приятели разделили участь Дурасовича, П. или Кара. Но читатель, я думаю, согласится, что если из сравнительно весьма ограниченного круга этих молодых людей целых трое столь горестно «выдви-

нулись», то это процент огромный, и что, следственно, подобные истории, при всей их исключительности, для данной среды были не случайны. И в самом деле, к уже изложенным биографиям мог бы я присоединить еще несколько, не столь разительных, но, быть может, не менее характерных. Недаром уже тогда я все это угадывал инстинктивно и, боясь, что мне запретят посещать балы, скрывал от домашних свое знакомство с Кара.

Роковою, предопределяющей чертой в истории Дурасовича, П. и Кара было то, что в основе их лежало отсутствие денег для той жизни, которую хотелось вести. Черта эта была характерна и для подавляющего большинства той «золотой», но как раз именно золотом не располагавшей молодежи, о которой идет речь. Жгучая жажда денег была ей свойственна всей поголовно. Порою сюда присоединялась воспаленная зависть. И вот, вспоминая Черепанова-гимназиста, вынужден я сказать, что он в этом смысле терзался даже сильнее многих, потому что был многих самолюбивей и, вместе с Кара, едва ли не всех бедней.

Классе в седьмом начал я отставать от танцев — меня увлекли другие интересы. Вместе с тем я отстал и от прежнего круга, надолго, однако же, сохранив привычку к франтовству. Черепанов в круге остался, и наше приятельство ослабело. В ту же пору на один из гимназических литературно-музыкальных вечеров (на котором я — греха таить нечего — читал «Сакия-Муни») Черепанов с кем-то еще принесли водки и привели двух уличных девиц, с которыми были застигнуты в темном классе надзирателем Д.П.Дельсалем. В университетскую пору мы почти не встречались, тем более что с юридического факультета я через год перешел на филологический. Примерно с 1906 года я на несколько лет совсем потерял Черепанова из виду. Охотно верю, что он был оставлен при университете, но это нисколько не меняет того впечатления, которое у меня сохранилось от нескольких позднейших встреч с ним.

Мы встречались во время войны — на улице, в синематографе. При встречах беседовали. В последний раз минут сорок ехали вместе в трамвае №1 от Нижегородского вокзала на Тверскую. Это было осенью 1916 года, то есть всего за несколько месяцев до начала

его революционной карьеры. На мой вопрос, чем он занимается, Черепанов ответил, что служит в статистическом отделе не то земской, не то городской управы. Однако мне показалось, что даже и для такой деятельности он недостаточно интеллигентен. По всему разговору, по самому даже строю речи, по манерам был он в лучшем случае похож на приказчика. На нем все было дешевое и пестренькое с претензией на щегольство: пестренький пиджачок, пестрый галстук бабочкой, брюки в полоску. Правда, он был в пенснэ — некоторый признак учености. Держался с большой развязностью, говорил о «девчонках», о выпивке, о том, что вот только денег нет, чтобы развернуться. М.А.Алданов предполагает, что он впоследствии потому отказался взорвать Кремль, что ему было жаль «архитектурных, исторических сокровищ Кремля». Я глубоко уверен, что на все архитектурные сокровища ему было в высшей степени наплевать. Скажу по совести — он показался мне хулиганом. На революционера он нисколько не был похож. Но что он был человеком, которому серая, трудовая жизнь до черта наскучила, это несомненно.

Он пришел в революцию через партию эсеров, но весьма примечательно, что настоящие, исконные эсеры, которых опрашивал М.А.Алданов (и отчасти я), — почти ничего о нем не знают. Он для них незнакомец, и это вполне понятно, потому что никакого революционного прошлого у него не было. К эсерам пристал он уже в сумятице 1917 года. И опять-таки очень понятно, почему именно к ним.

На допросе в ЧК Черепанов заявил, что лично он о захвате власти никогда не думал. Алданов склонен верить этому заявлению, я — тоже. Но Алданов тут видит проявление идейности и бескорыстия, я же — как раз обратное. Конечно, о власти в государственном масштабе Донат Черепанов не мечтал никогда. Он-то себя знал, и ему в голову не могло прийти тягаться о власти сначала с Керенским, а потом с Лениным. Но *участия* во власти, но принадлежности к тому слою или кругу людей, которому принадлежит власть в революционную эпоху, он, разумеется, хотел, ибо правильно понял, что тут открывается быстрый доступ к тем жизненным благам, которые он так любил и по которым с детства истосковался.

В начале революции всего ближе к власти были эсеры — он к ним и пристал. Поверхностно усвоить надлежащую фразеологию было дело нехитрое. Что эсеры приняли этого незнакомца — это был их промах, объясняемый, вероятно, тем, что люди им были нужны и некогда было разбираться в том, откуда кто взялся. Дальнейшая эволюция Черепанова вполне естественна и ничуть не загадочна. Нужно только иметь в виду, что по складу характера, по темпераменту он был не просто оппортунистом, а и авантюристом.

Власть от эсеров уходила влево, к большевикам. От эсеровской партии откололись отчасти ее идейно левые элементы, отчасти — авантюристические, стремившиеся застраховать свое участие во власти на случай победы большевиков. Среди них Черепанову было самое место. Далее — не идейное полевение, а внутренняя логика начатой авантюры привела его к участию в убийстве Мирбаха и в июльском восстании левых эсеров. После июльского разгрома среди уцелевших и ушедших в подполье левых эсеров начался раскол, смысл которого сводился к тому, что одни *могли* выйти из подполья и примкнуть к большевикам, другие уже *не могли.* К числу последних принадлежал и Черепанов, отчасти потому, что ему трудно было рассчитывать на прощение, отчасти же потому, что даже если бы он был прощен, пробраться в большевицкую партию у него не было никаких шансов. Следственно, ему ничего другого не оставалось, как проявить максимальную непримиримость по отношению к большевикам. Он очутился во главе того крыла ушедших в подполье левых эсеров, которое за эту невольную непримиримость получило вполне условное наименование левого. Никакого идейного полевения тут опять-таки не было. Не было его и в том, что черепановская группа, малочисленная и не располагавшая средствами, самими условиями тогдашней подпольщины была приведена к контакту с «анархистами подполья». М.А.Алданов указывает, что другие анархистские группы относились к этой «насмешливо-отрицательно». Они имели на то все основания. Лучшая, наиболее «идейная» часть новых друзей Черепанова была связана с Махно. Прочие были просто те «Петьки, Федьки, Васьки и Яшки», о которых М.А.Алданов говорит, что «трудно, очень трудно понять», кто же они все-таки

были. Опять-таки если припомним быт и дух той эпохи, то и это понять, мне кажется, не так трудно. Это были *налетчики*, уголовная вольница революции, постоянно примазывавшаяся к анархистам на тот случай, чтобы при поимке выдать себя за идейный, революционный, а не просто уголовный элемент. Анархисты же их терпели возле себя, потому что пользовались ими для мелких услуг и для займов: оружием и деньгами. В конце концов Черепанов очутился именно в том кругу, к которому и должен был принадлежать если не по социальному положению, то по личным склонностям и по «революционной» деятельности — без революционной идеологии.

Не хочу и не могу отрицать, что на допросах в ЧК он вел себя с замечательным мужеством. В этом я глубоко согласен с М.А.Алдановым. Вполне допускаю, что он и умер с такою же храбростью, если действительно был казнен, а не умер от тифа. Но ни то обстоятельство, что он пал от руки чекистов (*с которыми сам одно время находился в близком контакте*), ни самое это мужество не должны создавать вокруг него ореол, на который, к моему глубокому, искреннему сожалению, он все-таки не имеет права. Один агент уголовного розыска, лично расстреливавший налетчиков, мне рассказывал, что на допросах и во время казней налетчики и вообще уголовные, как общее правило, проявляют более внешнего мужества, нежели идейные борцы с большевиками. Этому нетрудно поверить, но, в конечном счете, убитые определяются тем, *во имя чего* они погибли, а не *как* погибли.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КРЕЧЕТОВА

С Сергеем Кречетовым, скончавшимся 14 мая в Париже, познакомился я давно: весной 1902 года. Был он тогда молодым помощником присяжного поверенного, я — гимназистом шестого класса. Ему было года двадцать три, мне — шестнадцать. Несмотря на разницу лет, положений, характеров, взглядов, мы подружились. Нас сблизило общее увлечение поэзией. В ту пору я писал стихи «для себя» и показывал их лишь ближайшим приятелям — товарищам по гимназии: Александру Брюсову (брату Валерия) и Виктору Гофману, на которого, впрочем, я смотрел снизу вверх: он был одним классом старше меня, он уже напечатал несколько стихотворений в «Русском Листке» и еще где-то, а главное — в том же 1902 году его стихи появились в «Северных Цветах», издаваемых «Скорпионом» под редакцией Валерия Брюсова. Сергей Кречетов уже выступал со своими стихами публично и собирался их печатать. Весной 1903 года им было основано книгоиздательство «Гриф»: новое пристанище литературной молодежи.

Брюсов тотчас ополчился против «Грифа», обвиняя его в эпигонстве и в повторении того, что уже сделано «Скорпионом». Была некоторая кажущаяся правота в этих обвинениях, потому что, действительно, первоначальный модернизм к тому времени уже сложился в определенную литературную школу, осознал себя, внутренно окреп. Брюсов, однако же, глубоко заблуждался, полагая, будто его внутреннее развитие закончено. Если, действительно, к тому времени вполне уже себя выразили (да и то все же вовсе не исчерпали) старшие модернисты, как Брюсов, Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, то этим была внутренно завершена лишь первая, декадентская эпоха модернизма. Вторая, наиболее значительная, символистская, только еще зарождалась в возникающем творчестве Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока.

Отсюда вовсе не следует, что именно «Грифу» было суждено стать колыбелью символизма: этого не случилось — по причинам, которых я коснусь несколь-

ко ниже, но самое то обстоятельство, что в момент основания «Грифа» все символистское развитие модернизма было еще впереди, доказывает, насколько не прав был Брюсов, заранее объявляя, что «Грифу» нечего делать, как только повторять путь, уже пройденный «Скорпионом». Нужно заметить, однако, что, помимо этого добросовестного заблуждения, Брюсовым руководили также и другие мотивы: он чрезвычайно ревниво относился к своему положению главаря новой школы и в возникновении нового издательства видел угрозу этому положению. Он сам наотрез отказался участвовать в «Грифе» и пытался сделать так, чтобы в нем не участвовали другие сотрудники «Скорпиона». Эта попытка тотчас же провалилась: отчасти потому, что растущему модернизму было тесно уже в одном «Скорпионе», но главным образом потому, что личное небескорыстие Брюсова было слишком для всех очевидно. Из сотрудников «Скорпиона» в первом альманахе «Грифа» участвовали: Бальмонт, Вячеслав Иванов, Блок, Белый, Виктор Гофман, А.Миропольский.

Я сказал выше, что «Грифу» не суждено было стать колыбелью символизма, то есть сделаться центром, из которого развивалось бы новое течение модернизма. Это произошло по причине, которую нетрудно было предвидеть: Сергей Кречетов обладал большими организаторскими способностями, но ни как поэт, ни как теоретик он, разумеется, ни в малейшей степени не мог соперничать с Брюсовым. При самой горячей любви к поэзии, он все-таки был дилетантом. Дилетантство и недостаточная образованность нередко ставили его в затруднительное положение.

В воспоминаниях Белого и в переписке Блока сказано о нем много резкого. В значительной степени эти резкости, однако же, преувеличены, что объясняется у Белого — позднейшими личными неладами, а у Блока — влиянием Белого и отсутствием исторической перспективы. Как руководитель издательства, а впоследствии — как редактор «Золотого Руна» и «Перевала», им организованных журналов, он совершил ряд промахов. Между прочим, когда в 1908 году Блок прислал ему пачку стихов с предложением отобрать несколько стихотворений для «Перевала», а остальные вернуть, в число возвращенных попала «Незнакомка». Однако не следует забывать, что ошибки того же

порядка совершались и самим Брюсовым, и «Стихи о Прекрасной Даме», первая книга Блока, не случайно была издана в 1905 году «Грифом», а не «Скорпионом»: Кречетов чрезвычайно высоко ставил Блока в ту самую пору, когда Брюсов к нему относился весьма критически и не склонен был считать его ценным сотрудником. Этого мало: в том же самом «Перевале» начали появляться стихи автора, который незадолго до того, под скромным псевдонимом «Ник. Т-о», выпустил никем не замеченную книжечку «Тихие песни». Этот автор был Иннокентий Анненский. Впоследствии «Гриф» выпустил первое издание его «Кипарисового ларца»: заслуга огромная, неоспоримая, неотъемлемая, которой одной хватило бы на то, чтобы с избытком покрыть все издательские промахи Кречетова.

Однажды начавшись, редакторское соперничество Брюсова с Кречетовым не прекращалось долго — почти до самой войны. Не раз мне казалось, что этим соперничеством следует объяснять и возникновение «Весов», журнала, руководимого Брюсовым и сыгравшего столь большую роль в истории символизма. Учреждая «Весы», Брюсов сделал чрезвычайно ловкий маневр: пользуясь слабостью и неавторитетностью Кречетова как теоретика, он, так сказать, перехватил у «Грифа» те возможности, которые перед ним открывались, и закрепил за собой если не внутреннее, то организационное руководство движением, о возникновении которого узнал только в связи с возникновением «Грифа». Этим объясняется то, что в качестве редактора «Весов» Брюсов очутился возглавителем символизма, которому, в сущности, был глубоко чужд. С другой стороны, то обстоятельство, что во главе «Весов» стоял Брюсов, придало этому журналу модернистски-эклектический характер и помешало отчетливому расчленению модернизма на декадентство и символизм, о чем весьма приходится пожалеть, потому что именно благодаря влиянию Брюсова декадентское наследие тяготело над символизмом во все время его существования.

Именно потому, что расчленение модернизма не совершилось, книгоиздательство «Гриф» приняло такой же эклектический характер, какой Брюсов успел придать «Скорпиону». В обоих издательствах печатались приблизительно одни и те же авторы. В числе

книг, впервые выпущенных «Грифом», надо отметить, помимо упомянутых выше, «Только любовь», «Горные вершины», «Литургию красоты» и «Фейные сказки» Бальмонта, «Возврат» и «Урну» А.Белого, «Истлевающие личины» и «Книгу сказок» Федора Сологуба. Уже в предвоенные годы «Гриф» издал ряд книг Игоря Северянина, начиная с «Громокипящего кубка». Лично я обязан Сергею Кречетову вечною благодарностью за сочувствие, оказанное им мне в годы моей литературной юности: в 1905 году он сам предложил мне дать стихи в третий альманах «Грифа»: это и было мое первое выступление в печати. В 1908 году он выпустил мою первую книгу стихов.

Книгоиздательство «Гриф» существовало до самой войны. Ко времени революции выпущенные им книги были распроданы полностью и, наряду с изданиями «Скорпиона», высоко ценились библиофилами.

ПАМЯТИ Б.А.САДОВСКОГО

Умер Борис Садовской, поэт, беллетрист, историк литературы. Я узнал, что он умер, случайно, в разговоре, и не мог даже выяснить, когда именно это случилось. Может быть, месяц тому назад, а может быть — год. Ни в одном советском издании, кажется, не писали о том ни строчки. Здесь не писали тоже.

В 1913 году, пишучи цикл стихов под общим заглавием «Самовар», последнее стихотворение закончил он пожеланием умереть

Тихой смертью от угара.

В этом стихе затаена была очень грустная мысль. Уже тогда, 12 лет назад, Садовской знал, что легкая, безболезненная кончина вряд ли ему суждена. Болезнь, сгубившая Гейне, Ницше, Языкова, — давала уже себя знать, Садовской очень деятельно лечился, но все, конечно, было напрасно. С 1915 года начались местные параличи (в руке, в ноге), а в 1916 году он слег окончательно, чтобы 8 или 9 последних лет провести в «матрацной могиле». Теперь, говорят, он умер на больничной койке, в том самом Нижнем Новгороде, где в 1881 году родился.

Если не ошибаюсь, он начал печататься в 1904 году, в «Весах», преимущественно в библиографическом отделе. На первых порах он попал под деспотическое влияние Брюсова и принадлежал к числу тех «литературных мальчиков», как их тогда называли, которые, сами того не замечая, были послушным орудием в руках Брюсова. Через несколько лет, однако, Садовской «вырос», стал проявлять независимость — и его отношения с Брюсовым испортились навсегда.

Стать выдающимся, исключительно крупным писателем Садовскому не было суждено. Помимо размеров и свойств его дарования, в этом, мне думается, сыграла большую роль и его болезнь. Она не только подтачивала его силы и не давала развиться, но и почти совсем вывела его из литературного строя приблизительно около 1916 года, то есть на 35-м году жизни и всего на 12-м году писательства.

Тем не менее незаметной фигурой назвать его никак невозможно. Конечно, ни школы, ни даже группы, ни даже, пожалуй, своего, ему лишь присущего, стиля Садовскому создать не довелось. Он прошел без влияния. Больше того: неизменно выступая на стороне так называемой «символистской» (не точнее ли говорить — «модернистской»?) фаланги, порою даже в стиле ее самых деятельных застрельщиков, — сам Садовской, по своим писаниям, вряд ли вполне может быть отнесен к этой фаланге. Его истинные учителя не Бальмонт, не Брюсов — а Пушкин, Фет, Вяземский, Державин. Если бы модернистов не существовало вовсе — Садовской был бы таков же или почти таков же, каков он был. Можно, пожалуй, сказать, что Садовской — поэт более девятнадцатого столетия, нежели двадцатого.

Вероятно, его дарование как поэта было невелико. Но оно было в высшей степени гармонично. Он умел не браться за темы, которые были бы больше его, не ставил себе задач непосильных. Поэтому он никогда не рисковал, так сказать, сорвать голос. Стихи его никогда не изумляли, не поражали, даже и не восхищали, — но это всегда была чистая и возвышенная поэзия. Точно учитывая свои силы, Садовской в поэзии был несколько сдержан, как был и в жизненном обиходе. Если угодно, лирика его была даже суховата, — но зато читатель никогда не мог заподозрить Садовского в желании показаться не тем, что он есть, — в позерстве, притворстве, лжи. Садовской был *правдив*. А быть правдивым поэту труднее, чем об этом принято думать. В стихах своих Садовской говорил скромнее и меньше, чем мог бы сказать. А сколькие стихотворцы, порой прославленные, в уме и сердце имеют лишь малую долю того, о чем сочиняют.

Кроме шести, если не ошибаюсь, книг стихов («Позднее утро», «Пятьдесят лебедей», «Пять поэм», «Самовар», «Полдень», «Обитель смерти»), Садовской написал несколько томов прозы: «Узор чугунный», «Адмиралтейская игла», «Яблочный царек», «Двуглавый орел», «Лебединые клики». Как прозаика его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». Это неверно. Лишь незначительная часть его рассказов («Из бумаг князя N», «Три встречи с Пушкиным» и др.) могут быть названы стилизациями, то есть пред-

ставляют собою как бы документы, писанные не в нашу эпоху. Все прочее писано от лица нашего современника, и только сюжеты чаще всего взяты Садовским из XVIII и первой половины XIX столетий. Это была его излюбленная пора, изученная любовно и тщательно, описанная все с тою же присущей Садовскому сдержанностью, но всегда — выразительно, четко, прозрачнейшим русским языком.

Параллелью к художественной прозе Садовского являются его историко-литературные и критические работы, частью разбросанные по журналам, частью объединенные в сборники: «Русская Камена», «Ледоход», «Озимь». Все это плоды того же пристрастия к отошедшей русской литературе, пристрастия, всегда проступавшего и в его оценках литературы новой. Наиболее ценными мне представляются его работы над неизученными черновиками Фета. Садовскому же, кстати сказать, принадлежит и первое опубликование документов и обстоятельств, относящихся к предсмертным минутам Фета. Как историк литературы Садовской мог гордиться любовью П.И.Бартенева и М.О.Гершензона.

В литературных кругах его порой недолюбливали. Это было несправедливо, но причин тому было несколько. В обращении был он очень сдержан, пожалуй — холоден, но это потому, что до щепетильности был целомудрен в проявлении всякого чувства. К тому же был самолюбив и побаивался, что его протянутая рука повиснет в воздухе. Запанибратства, столь свойственного российской дружбе, боялся он всего пуще. Лично мои отношения с ним тоже начались с чего-то похожего на тайную неприязнь. Но однажды, году в 1912, разговорились в редакции «Мусагета» — и прорвалось что-то: стали друзьями — и уже навсегда.

Второй, очень важной, причиной его неладов с литераторами были политические тяготения Садовского. Я нарочно говорю — тяготения, а не взгляды, потому что взглядов, то есть убеждений, основанных на теории, на строго обдуманном историческом изучении, у него, пожалуй, и не было. Однако ж любил он

подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. Мне кажется, повторяю, что тут им руководило скорее эстетическое любование старой, великодержавной Россией, даже влюбленность в нее, — нежели серьезно обдуманное политическое мировоззрение. Как бы то ни было, монархизм в эпоху 1905—1907 годов был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно. Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафэ на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности — ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности не любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниховского — их поэзией Садовской восхищался.

Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порою мучительную любовь к России. Никогда не забуду, как встретились мы однажды в «Летучей Мыши» на репетиции. Кажется, было это осенью 1916 года. Вдребезги больной, едва передвигающий ноги, обутые в валенки (башмаков уже не мог носить), поминутно оступающийся, падающий, Садовской увел меня в едва освещенный угол пустой столовой, сел за длинный дубовый, ничем не покрытый стол — и под звуки какой-то «Катеньки», доносящейся из зрительного зала, — заговорил. С болью, с отчаянием говорил о войне, со злобной ненавистью — о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской — не легкое и не частое зрелище! Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

— Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами.

В последний раз я видел его летом 1917 года, в лечебнице Майкова. Он приезжал из Нижнего лечить ногу, сломанную при падении. Я ходил к нему с Гершензоном, которого теперь тоже нет уже. Совершенно лысый, с большой бородой, неожиданно темной (Садовской был белокур), он сидел на кровати, рассказы-

вал, что изучает отцов церкви, а также много переводит с польского и английского. Очень бодрился, рассказывал о кружке молодежи, который в Нижнем собирается возле его постели — слушать лекции о русской поэзии. Но чувствовалось, что это свидание — последнее.

Так и было. Я больше его не видел. Он вскоре уехал в Нижний, слег и уже не встал до кончины. Писал редко, едва выводя карандашные каракули, а то и вовсе диктуя. В конце 1918 года произошла между нами размолвка. Я послал ему приглашение участвовать в журнале «Москва», одном из последних частных периодических изданий. Садовской ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и с Гершензоном. Писал, что ему нет дела до брюсовского большевизма: на то Брюсов — демон; нет дела до Белого: на то Белый — ангел, а вот как не стыдно нам с Гершензоном, людям?

Обвинение было несправедливо и безоглядно. Мы решили смолчать и дать Садовскому опомниться. Через полгода он сам написал нам обоим — и дружба восстановилась. Летом 1920 года я хлопотал о некоторых делах его. Потом, по его поручению, послал ему шоколаду, но уж ответа не получил. В трудностях того времени было не до писем. Потом я уехал за границу. Думаю, что последние годы его жизни были ужасны. Если так страдали здоровые, то как должен был страдать он, в голоде, в холоде, разбитый параличом, видящий гибель и оплевание всего, что было для него свято: России, литературы. За эти страдания простятся ему все грехи, ежели они были. Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем память самую дружескую, самую любовную.

С. Я. ПАРНОК

В маленьком поэтическом альманахе, которого уж не помню теперь названия и который вышел в Петербурге летом 1906, а может быть, и 1905 года, среди расхожих, обыкновенных стихов символической поры, отмеченных расплывчатостью мысли и неточностью словаря (я и сам писал тогда именно такие стихи), — вдруг внимание мое остановило небольшое стихотворение, стоящее как-то особняком. В нем отчетливость мысли сочеталась с такой же отчетливой формой, слегка надломленной и парадоксальной, но как нельзя более выразительной. Между бледными подражаниями Бальмонту, Брюсову, Сологубу и недавно появившемуся Блоку пьеска выделялась своеобразием. Теперь я ее забыл, но тогда она мне запомнилась, так же как имя автора: С.Парнок. После того я довольно долго нигде не встречал этой подписи. У приезжавших в Москву петербуржцев спрашивал, знают ли они такого поэта, — никто не знал. Только шесть или семь лет спустя знакомое имя вновь появилось. Поэт оказался поэтессой. Стихи Софии Парнок стали печататься в новом толстом журнале «Северные Записки», издававшемся в Петербурге под редакцией С.И.Чацкиной. В «Северных Записках» я и сам немного сотрудничал. В его критическом отделе был помещен ряд статей, подписанных Андреем Поляниным. Он принадлежал той же Софии Яковлевне Парнок. В эпоху войны перебралась она жить в Москву, мы с ней познакомились, а вскоре и подружились.

Ею было издано несколько книг стихов, неизвестных широкой публике, — тем хуже для публики. В ее поэзии, впрочем, не было ничего такого, что могло бы поразить или хотя бы занять рядового читателя. Однако ж любители поэзии умели найти в ее стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собою поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Ее стихи, всегда умственные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным

рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и отличались той мужественной четкостью, которой так часто недостает именно поэтессам. К несчастию, говоря об ее стихах, я вынужден ограничиться этими общими замечаниями, сделанными по памяти, по тому впечатлению, которое у меня сохранилось. Не могу быть более точным, потому что не могу перечесть их: у меня под рукой нет ни строчки.

Среднего, скорее даже небольшого роста; с белокурыми волосами, зачесанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, «лермонтовском» взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям. Меня с нею связывали несколько лет безоблачной дружбы, которой я вправе гордиться и которую вспоминаю с глубокой, сердечной благодарностью.

Я видел ее в последний раз летом 1922 года, за несколько дней до отъезда из России. Заходил к ней проститься накануне самого отъезда — и не застал дома. Несколько времени мы переписывались — пока можно было со мной переписываться. Она жаловалась на тяжелую жизнь, на изнурительную и одуряющую советскую службу. 26 августа она умерла. С великою горестью перечитываю ее письма, написанные на обрывках желтой, шероховатой советской бумаги, и перекладываю их в конверт, где хранятся у меня письма умерших. Несколько лет тому назад в нем было всего несколько листков. Теперь он уже довольно толст и увесист. Тяжестью он лежит на душе и памяти.

ИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ <СОЛОГУБ>

Время бежит. Скоро уже десять лет, как умер Федор Сологуб, — это случилось в декабре 1927 года. Теперь его деятельности можно бы подвести итоги более объективные, нежели в ту пору, когда память о нем еще была свежа и когда его эпоха еще не столь далеко отступила в прошлое. Некогда я писал, что со временем «о Сологубе напишут большую, хорошую книгу». Теперь я думаю, что, пожалуй, книгу-то писать и не станут — разве что это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто (если будут тогда литературные снобы). Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место — приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но пониже Фета. Прозу его читать не будут — ее уже и сейчас не читают, и время этого не отменит. Романы, которые он писал в сотрудничестве со своей женой Анастасией Чеботаревской («Заклинательница змей», «Слаще яда»), совершенно невыносимы. Вещи вполне оригинальные, как «Творимая легенда», — немногим лучше. На поверку выходит плох и знаменитый «Мелкий бес», которым когда-то мы зачитывались и который останется разве что лишь в качестве документа о быте, и то, конечно, столь шаржированного, что строгий историк вряд ли станет им пользоваться. По-видимому, лучшее из написанного Сологубом в прозе — два-три небольших рассказа, вроде «Стригаль и компания».

И все-таки если не произведения Сологуба, то самая его личность должна занять видное место в литературной панораме символистской поры. Опять же — не потому, что общие или литературные идеи Сологуба занимали центральное или определяющее положение в самом символизме (этого не было), но потому, что в литературной жизни, в обществах, кружках и редакциях он непременно хотел играть и играл весьма заметную роль. Он был вполне искренен в любви к одиночеству и в отвращении к миру. Но и в

мире, им отвергаемом, хотел занимать важное место. Наконец, нельзя отрицать, что как человек он был очень своеобразен и это сказывалось во всех его поступках и повадках. Люди символизма вообще отличались таким ярким «оперением», какого русская литературная среда перед тем не видала по крайней мере лет пятьдесят — с тех пор, как исчезли последние представители ее золотого века. Блок, Брюсов, Белый выделялись из толпы с первого взгляда. Таковы же и ныне здравствующие их соратники. Таков был и Сологуб. Представители иных тогдашних групп и течений были куда безличнее и серее.

Принято было говорить о нем, что он злой. Думаю, что это не совсем так. Его несчастием было то, что несовершенство людей, их грубость, их пошлость, их малость нестерпимо кололи ему глаза. Он злобился на людей именно за то, что своими пороками они словно бы мешали ему любить их. И за это он мстил им, нечаянно, а может быть, и нарочно платя им той же монетою: грубостью, пошлостью. Неверно, что в нем самом сидел Передонов, как многие говорили; но верно, что, досадуя на Передоновых, он нередко поступал с ними по-передоновски.

Излюбленный его прием заключался в том, чтобы поставить человека в неловкое, глупое, а то и тягостное положение. В 1911 году я приехал к нему в Петербург по поручению одного московского издательства. Он пригласил меня завтракать. За столом, в присутствии его жены, с которой я только что познакомился, он стал задавать мне столь непристойные вопросы и произносить такие слова, что я решительно не знал, как быть и куда смотреть. Вести разговор в его тоне было немыслимо, оборвать его резко было бы донкихотством и мальчишеством (он был меня много старше). Я старался переменить тему (вернее — темы, ибо от одной непристойности Сологуб тотчас переходил к другой), но он гнул свою линию и откровенно наслаждался моим смущением.

По-видимому, он до крайности был обидчив, как часто бывает с людьми, прошедшими нелегкий жизненный путь и изведавшими немало унижений. Он тратил немало времени и душевных сил на непрестанное, мелочное оберегание своего достоинства, на которое никому и в голову не приходило посягать. С еще

большею скрупулезностью оберегал он достоинство своей жены, которую, в общем, недолюбливал. Казалось бы, этому противоречит тот случай, о котором я только что рассказал. Но я вполне допускаю, что если бы я не смутился, а позволил себе в присутствии Анастасии Николаевны быть столь же развязным, как он сам, то Сологуб счел бы долгом своим за нее обидеться. За справедливостью он не гнался.

Обидчиков (действительных и воображаемых) своих и своей жены он преследовал деятельно и неумолимо. Не стану в подробностях излагать знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами: о ней уже было писано. Отмечу лишь, что и после того, как она закончилась официальным примирением, Сологуб все-таки буквально выжил из Петербурга двух-трех видных литераторов, которых считал виновниками происшедших событий. Для этого он пустил в ход целый сложный механизм интриг и происков, столь же отчетливо окрашенных в передоновские тона, как и вся история, из-за которой сыр-бор загорелся.

Однако кроме настоящей обидчивости сидела еще в нем искусственная, наигранная. Ему доставляло удовольствие ставить людей по отношению к нему в положение обидчиков — единственно для того, чтобы видеть, как они смущаются и оправдываются. И чем больше было смущение, чем нелепее было обвинение, тем живее радовался Сологуб. Вот совершенно нелепая сцена, которую разыграл он со мною же в начале 1921 года, когда он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля, где перед тем прожил, кажется, года два. Я пришел в редакцию «Всемирной Литературы» и там его встретил. Он сидел у камина в кресле. Между нами произошел буквально такой разговор:

Я. Здравствуйте, Федор Кузьмич.

Сологуб. Ага, теперь «здравствуйте», а то небось (!) уже радовались, что старик околел где-нибудь на большой дороге.

Я (совершенно остолбенев). Помилуйте, почему же я должен был это вообразить и с чего бы стал радоваться?

Сологуб. То есть вы хотите сказать, что я на вас взвел напраслину.

Я. Дело не в напраслине, а в том, что вы, очевидно плохо осведомлены...

Сологуб. Ах, вот как! Значит, я уже, по-вашему, из ума выжил?

Не помню, как я от него отвертелся, но через несколько дней он первый пришел ко мне, читал новые стихи и был так мил, как умел быть, когда хотел.

Другая история, в которую он пытался меня вовлечь, была сложнее и могла кончиться хуже. Расскажу о ней в подробностях — некоторые из них, пожалуй, стоит сберечь «для потомства».

Аким Львович Волынский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный — недаром в конце концов его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайною неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы. В спорах, которые любил страстно, он всегда петушился — вплоть до того мгновения, когда, растерявшись, внезапно сдавал все свои позиции.

В 1921—1922 годах мы с ним вместе жили в петербургском Доме Искусств. Однажды, глядя в окно, я увидел, что он откуда-то возвращается, на ходу читая газету. У меня к нему было дело, и через полчаса я к нему отправился. Общежитие наше помещалось в доме известного богача Елисеева. Волынскому отвели какой-то будуар с золоченой мебелью, бессовестно размалеванный амурами и зефирами, которые так и порхали по стенам комнаты, среди громоздящихся облаков, лир и гирлянд. На потолке кувыркались музы и грации — у Тьеполо сделался бы при виде их нервный припадок. Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных калошах. В руках он держал все ту же газету. Он меня еле слушал — мысли его были не здесь. Наконец он сказал:

— Дорогой, простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось.

«Свершилась» просто небольшая статья, напи-

санная о нем Мариэттой Шагинян в еженедельной газетке «Жизнь Искусства»: первая хвалебная статья за много лет. Он ходил с газетой по всему Дому Искусств, всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия...

Мы переживали эпоху пайков. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. В марте 1921 года Горький привез из Москвы еще восемьдесят. Надо было составить список писателей-кандидатов. Образовали комиссию, в которую вошли Н.М.Волковыский, Б.И.Харитон, Е.П.Султанова-Леткова, А.Н.Тихонов, Волынский, Гумилев и я. Заседали долго, часов до пяти. Все устали, а еще предстояло самое трудное. Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам. Сделать это было необходимо в тот же вечер. Меж тем как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. Настроение в городе было тревожное, и собраться вновь вечером надежды не было. Решили поручить дело тем, кто может друг с другом встретиться, не выходя из дому, то есть обитателям Дома Искусств: Султановой, Волынскому, Гумилеву и мне. Кроме того, мне поручили о чем-то переговорить с Горьким.

После заседания (оно происходило на Бассейной в Доме Литераторов) мы с Гумилевым вышли вместе: я направился к Горькому на Кронверкский, Гумилев — куда-то на Васильевский остров. Чтобы сократить путь, мы пошли наперерез по льду Невы. На улицах и на Неве была уже зловещая пустота. Таяло, снег был липкий, на льду кое-где появились лужи. Солнце садилось влево от нас, и оттуда же, из дымно-красного тумана, уже доносились первые пушечные выстрелы. Прощаясь, Гумилев мне сказал, что если задержится на Васильевском до темноты, то останется там ночевать — и чтобы мы заседали без него.

К десяти часам вечера, как было условлено, мы с Волынским пришли в комнату Султановой. Гумилева не было. Мы принялись за трудное и щекотливое дело — расставлять писателей, так сказать, по росту.

11—3400

Однако особенных разногласий не было. Работа шла быстро. Наконец дошла очередь до Сологуба, который перед тем пайка не имел, ибо, как выше сказано, только что возвратился в Петербург. Волынский внезапно пришел в совершенную ярость. Вытаращив глаза, втягивая щеки, и без того впалые, стуча сухим кулачком по столу, он стал требовать, чтобы Сологуба поместили в самый конец списка, потому что это «ничтожество, жалкий кретин, сифилитический талант». Одному Богу ведомо, что должно было значить это последнее определение, но Волынский его выкрикивал без устали. Видимо, оно ему нравилось. Наконец, после долгих споров (немножко совестно вспомнить, что они происходили под равномерный гул кронштадтской пальбы), мы с Султановой отстояли Сологуба, закончили список и разошлись.

Надо заметить, что в начале заседания мы дали друг другу слово сохранить в тайне все, что будет говорено об отдельных лицах. Такое же слово мы взяли и с одной барышни, которая случайно присутствовала, ибо пришла в гости к Султановой — и осталась ночевать. Не тут-то было. Прошло месяца полтора. Сологуб давно уже получал свой паек. В один непрекрасный день я пришел домой и застал у себя Сологуба. Он меня ждал. Сидел в кресле, каменный, неподвижный, злой. Я сразу почуял неладное, а он сразу, деревянным голосом, задал мне вопрос:

— Дозвольте спросить, на каком основании намеревались вы лишить меня с женой пропитания и позволяли себе оскорбительные на мой счет выражения в заседании, имевшем место тогда-то и там-то?

— Федор Кузьмич, я ничего неблагоприятного о вас не говорил.

— А если вы не говорили, то кто?

— Я не могу дать вам никаких сведений на сей счет.

— Но не отрицаете, что слова были кем-то сказаны?

— Не отрицаю и не подтверждаю, потому что не имею права рассказывать ничего.

— В таком случае я буду считать, что сифилитиком именовали меня вы, и потому почту долгом привлечь вас к суду, как персонального оскорбителя и клеветника.

Это уже было сказано с усмешечкой, по которой я понял, что Сологубу отлично известно, кто был в действительности его «персональным оскорбителем». Пришел же он ко мне, чтобы «добыть языка»: надеялся, что, поразив меня, своего же заступника, нелепым обвинением, он заставит меня проговориться — а затем, уже на основании моих слов, притянет к суду Волынского.

Препирались мы долго — подробностей не помню. Он, наконец, ушел, ничего не добившись. Но вот что примечательно: уходил он уже в другом настроении: тихий, ласковый. По-видимому, ему нужно было только насытить злобу. Не удалось посчитаться с Волынским — он удовольствовался и тем, что заставил меня пережить несколько неприятных минут.

Это было наше предпоследнее свидание. После того я видел его лишь раз, уже осенью, после смерти его жены, у П.Е.Щеголева. От кого он узнал, что говорил про него Волынский, осталось мне неизвестно. Султанова вне подозрений. Может быть, где-нибудь проговорилась барышня, а всего вероятнее — разболтал сам Волынский.

О МЕЦЕНАТАХ

Несколько лет тому назад один молодой писатель, на собрании, посвященном вопросу о положении эмигрантской литературы, воскликнул с энтузиазмом: «Нам необходим меценат, идеальный издатель». Недавно в «Современных Записках» в статье, о которой я уже упоминал, М.А.Алданов мимоходом высказал ту же мысль, только уже безо всякого энтузиазма, без малейшей даже надежды. По его мнению, эмигрантская литература могла бы быть спасена разве только чудесным появлением мецената, который бы согласился истратить очень большие средства, не рассчитывая на возврат их. Чуда такого Алданов, однако, не ждет — и я с ним вместе. Тем не менее красивая мечта о меценате несколько дней «преследовала мое воображение». Но так как будущее на сей счет не сулит ничего, то, естественно, мысль моя очень скоро обратилась к прошлому.

Русская литература никого еще, кажется, не обогатила. Умели наживать издатели газет и журналов, рассчитанных на широкое потребление, издатели дешевых книг «для народа», календарей, учебников и т.п. Успех даже таких под счастливой звездой родившихся предприятий, каковы были «Знание» или «Шиповник», в конце концов оказывался непрочен. Как общее правило, художественная литература приносила убыток, и этот убыток оказывался прямо пропорционален качеству и новизне издаваемого. Выпускать книги новых, молодых, но серьезных авторов, а также книги, рассчитанные на высококвалифицированного читателя, значило обрекать себя на неизбежный убыток. Россия, однако ж, была богата, и богатым людям ее была свойственна широкость. Меценаты в ней не переводились, проявляя себя в разных областях, в том числе и в издательстве. За людьми действительно богатыми и действительно бескорыстными нередко тянулись люди со средствами ограниченными и с целями уже не столь отвлеченными. Соответственно всему этому различна бывала и судьба их затей, и судьба их самих, и честь, которая им полагалась. Всех равно звали меценатами,

но не одинаковое содержание оказывалось вложено в это прозвище. Память мне сохранила несколько таких меценатских образов. Герой одной высокой трагедии говорит: «Мы ведь только играем в предположения, как другие играют в кости». Он говорит это, высказывая свои счастливые чаяния. Чаяний у нас мало. Поэтому мы играем не в предположения, а в воспоминания. Я решаюсь на этот раз поделиться воспоминаниями о некоторых меценатах.

Начну со времени самого отдаленного и с человека, память о котором мне истинно дорога. Сергей Александрович Поляков был сын московского суконщика. Отец заставлял его просиживать положенные часы в «деле». Он там предавался филологическим изысканиям и, так сказать, лингвистическому обжорству. Его специальностью, если не ошибаюсь, был санскрит, но он говорил и читал на множестве языков, европейских и азиатских, которые усваивал с одинаковой легкостью. В самом начале девятисотых годов судьба столкнула его с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом. Он сам не имел к поэзии никакого отношения, но почувствовал, угадал, что этим людям, преследуемым насмешками и улюлюканием обывательщины, принадлежит ближайшее литературное будущее. Они выпускали тоненькие брошюрки — он для них основал солидное издательство «Скорпион». Вскоре вокруг «Скорпиона» образовалась целая группа молодых авторов. Появились на горизонте Белый, Блок, Вячеслав Иванов. Модернизм разветвлялся, ширился. Литературная борьба понуждала обзавестись собственным журналом — Поляков при «Скорпионе» основал «Весы».

Свою лучшую или, во всяком случае, центральную в своем творчестве книгу «Будем как Солнце» Бальмонт посвящал нескольким людям сразу. В этом посвящении значилось, между прочим: «Нежному, как мимоза, С.А.Полякову». Сравнение такое вызывало улыбку: ни с мимозою, ни с каким вообще цветком этот сутулый, лысый, со впалою грудью и седеющей бородой человек, строением лба и овалом лица напоминающий Достоевского, ничего не имел общего. Ничего не было поэтического и в его небольшом, но вечно румяном носике, которым он был обязан пристрастию к коньяку. И вместе с тем, если всмотреться в него,

бальмонтовское сравнение оказывалось не так уж преувеличено. Поляков обладал совершенно исключительною душевною деликатностью, которая как-то очаровательно не гармонировала с его насупленными бровями, с угловатыми движениями и склонностью сиповато покрикивать и махать руками.

«Скорпион» и «Весы» стоили ему больших денег и поглощали немалую часть его доходов. Но эти деньги он тратил с истинным изяществом: без купецкого «мы могем», но и без прижима, без вздохов, без попреков. В нем было глубоко заложено чувство ответственности — в смысле положительном и негативном. Однажды приняв на себя моральное обязательство перед начатым делом и перед людьми, которые это дело делали, он умел приносить жертвы, не колеблясь, но и не выпячивая своей жертвенности. С другой стороны, не будучи профессиональным писателем, он никогда не вмешивался в литературную сторону дела, им созданного. Понимая, что за «Скорпиона» и «Весы» будут отвечать их сотрудники, он не позволял себе влиять безответственно. Обладая отличным литературным вкусом (он «открыл» Кнута Гамсуна, о котором еще не имели понятия в России и мало знали на родине), он за всю жизнь написал в «Весах» одну маленькую рецензию по какому-то специально филологическому вопросу — и то под псевдонимом. В предприятии, которое было им создано и на нем держалось, сам он держался тишайше, скромнейше — и, разумеется, сгорел бы со стыда, если бы кто-нибудь ему посмел намекнуть, что он здесь хозяин. И вот — такова логика человеческих отношений — именно потому, что он держался в тени, именно потому, что на собраниях «скорпионов» казался случайным гостем, к его мнениям прислушивались не только с уважением, но и с любовью. Пожалуй, отчасти благодаря этой любви и уцелел «Скорпион», нередко раздираемый внутренними распрями: Поляков умел усмирять эти распри — не начальническим приказом, но постоянным стремлением объединять, собирать людей. В конечном счете, его незаметное, а главное — невольное влияние оказывалось очень сильно, а в более поздние годы даже и заметно. Но оно было приобретено тем, что он к нему не стремился. Уважение и доверие он завоевал уважением и доверием. Впрочем, иным способом ни то, ни другое не приобретается.

Во многом весьма отличался от него, но кое в чем очень важном был на него похож Михаил Васильевич Сабашников. Издательство Полякова было партийное, боевое, с резко очерченной программой и замкнутым кругом сотрудников. Издательство Сабашникова — эклектическое и разностороннее, включавшее в себя столь различные отделы, как памятники мировой литературы и книги по естествознанию. Всем предприятием Сабашников ведал единолично — никакой редакционной коллегии у него не было. Он обладал средствами гораздо большими, чем те, которые были в распоряжении Полякова. Не думаю, чтобы издательство приносило ему доход, но, вероятно, и убытки были невелики. Однако, если Поляков сознательно и несколько даже вызывающе шел на жертвы, Сабашникова такая перспектива отнюдь не прельщала. Это не потому, что он был скуп, и не потому, что издательство могло расстроить его состояние, но потому, что, в отличие от Полякова, был он хорошим коммерсантом и плохой коммерции просто не любил. К своему делу он относился очень спортивно: прибыль считал победою, убыток — поражением. Но, именно как хороший коммерсант, он понимал, что в издательском деле, как нигде, убыток, понесенный в одном секторе, способствует получению прибыли в другом. Поэтому, когда было нужно, шел он на верный убыток, зная, что в конечном счете окажется не внакладе.

Кто-то прозвал его «калькулятором», и это прозвище ему нравилось. Однако он помнил, что «калькуляция» ничего не имеет общего с мелочностью. Его замыслы были всегда широки в литературном отношении, так же как в финансовом. Он любил большие серии книг, солидные труды, любил вообще все добротное, дельное, первосортное. Он уважал себя, свое дело, своего читателя, а потому второсортных и третьесортных сотрудников у него не было. Это не значит, что он гнался за «именами». Подсунуть покупателю плохую книгу с громким именем на обложке было не в его правилах. Напротив, целый ряд безвестных авторов именно в его издательстве составил себе имя. Для этого нужно было прежде всего уметь находить людей. Но он еще знал, что найдя — нужно уметь человека использовать. Вот тут-то и сближался он с Поляковым: его отношения с сотрудниками были ос-

нованы на уважении к людям, к их труду, знаниям, опыту, дарованию. Это уважение у него было, потому что он сам был человек образованный всесторонне, человек коммерчески одаренный, а еще потому, что в своем издательстве он сам трудился много, по-настоящему. Человек, получивший работу у Сабашникова, знал, что даром денег ему не заплатят, но он мог быть уверен и в том, что ему дадут возможность работать спокойно, не торопясь и не на голодный желудок. В конце концов, затрачивая деньги, Сабашников умел их себе возвращать именно потому, что умел затрачивать, и умел снискать доброжелательство сотрудников к себе и к своему делу, потому что сам был к ним неизменно доброжелателен. Не знаю, было ли у него доброе сердце: никаких отношений, кроме деловых, у меня с ним не было. С виду он был сух и замкнут. Но доброе сердце вовсе не требуется в деловых отношениях. Оно в этом случае прекрасно компенсируется умом. Сабашников, во всяком случае, был столько же умен, сколько Поляков добр. Один — своему сердцу, другой — уму своему, обязаны они тем, что в истории русской литературы не забудутся ни их имена, ни издательства, ими созданные.

Умное доверие к трудящемуся человеку не имеет, конечно, ничего общего с неумным доверием к краснобаю и ловкачу. По этой противоположности от Полякова и Сабашникова я перейду к некоему Р., которого несчастие заключалось в том, что он не был на них похож ни умом, ни богатством. История его жалка. Это был славный, но не талантливый юноша, лет двадцати, совершенно больной, получивший после родителей небольшое наследство и с этим наследством приехавший в Москву из провинции. Писал он стихи в декадентском духе. В Москву его выписал один литературных дел мастер, который, понаслушавшись символистических разговоров о жизни и творчестве, решил новые идеи использовать. В самых замысловатых выражениях он открыл провинциалу, что поэтический подвиг неотделим от жизненного, что поэт должен не только писать, но и жить, и гореть — и что, словом, надо мальчику, если он не ничтожество и не трус, рискнуть своим капиталом для устройства издательства, тем более что и риск не велик, возможны даже прибыли, а слава обеспечена. Издательство устроили.

Мальчик получил титул издателя, а соблазнитель — редактора, с окладом ни больше ни меньше как пятьсот рублей в месяц (7000 франков по-нынешнему). Издательство начало действовать, изредка выпуская книги среднего качества. Убытки обозначились быстро. Всеобщего восхищения своим подвигом провинциал не вызвал, потому что писал плохие стихи, был неопрятен, золотушлив и вечно пьян, а главное — потому, что редактор от его имени делал сотрудникам неприятности. (Он считал себя демоническою натурой вроде Макиавелли и любил «разделять, чтобы повелевать».) Деньги таяли. Провинциал заикался о том, что ему скоро нечего будет есть, но редактор его стыдил, грозя всеобщим презрением за низость души и измену поэзии. Несчастный пугался, раскаивался и просил прощения — издательство продолжалось. Потом меценат уже начинал бунтовать и скандалить, но редактор вновь разражался филиппикой — и бедный мальчик опять каялся, подчас плача настоящими слезами. Через год деньги иссякли. Р. уехал к тетке в провинцию — с тех пор простыл и след его на долгие годы. В 1922 году, в Петербурге, я вдруг получил от него письмо из какого-то городка в Юго-Западном крае. О себе он писал, что служит на почте и стихи бросил. Спрашивал о некоторых общих знакомых: «что пишет такой-то?» — а такой-то уже лет десять ничего не пишет, «как поживает такой-то?» — а такой-то давно в могиле. Не спросил он ничего только о своем демоническом друге. Вероятно, не мог ему простить.

Деятельность Полякова и Сабашникова сложилась удачно и плодотворно. Бедному Р., о котором я также рассказывал в прошлый раз, судьба удачи не принесла. Всему этому были свои причины. Однако и Поляков, и Сабашников, и Р., при всем различии характеров и обстоятельств, объединяются тем, что все трое были глубоко, органически связаны с той культурной сферой, в которой они действовали. Сейчас расскажу я о человеке, который свалился в литературу неизвестно откуда и неизвестно зачем. Точнее сказать, о человеке, которого сделала меценатом прихоть, совершенно напрасно использованная другими людьми.

Л-в принадлежал к чрезвычайно богатой купеческой семье, но сам был беднее своих родственников, потому что ничего не делал и не хотел делать. Родные,

однако же, снабжали его деньгами в огромном количестве — ради престижа. Он чудачил, переходя от «увлечения» к «увлечению». Тут все было: и путешествия по каким-то экзотическим странам, и постройка фантастических особняков, и лошади, и женщины всех национальностей и цветов, и классическое купание этих женщин в ресторанных аквариумах, и не менее классическое битье посуды, и собирание картин, и все вообще, чему полагается быть в таких случаях. Поражать, изумлять, быть предметом правдивых и неправдивых россказней было истинной его манией. На худой конец, когда воображение ослабевало, он готов был поражать окружающих, появляясь в костюме с какими-нибудь столь ослепительными крапинками и полосками, что от них начинало рябить в глазах. В случаях совсем уже крайних он отпускал бороду неслыханной красоты и шелковистости, и когда борода, завитая и умащенная благовониями, становилась уже одной из достопримечательностей города, когда уже ею гордились, когда ее чуть ли не показывали иностранцам наряду с Кремлем и Третьяковскою галереей, — он, как истинный Герострат, внезапно сбривал ее, к ужасу соотечественников.

Он был не плохой человек, скорей даже добрый и не без некоторой приятности. Быть может, он привлекал к себе какой-то природной одаренностью. Если бы меня спросили: к чему именно? — я не сумел бы ответить в точности. Ко всему вообще и ни к чему в частности — но одаренность чувствовалась. Наконец, он был далеко не глуп, но ум его был до крайности недисциплинирован и искажен вечным желанием Л-ва мыслить «оригинально». Это оригинальничанье, да еще в сочетании с обрывками знаний и полузнаний, Бог весть когда и откуда заскочивших ему в голову (человек он был мало образованный), придавало его словам и поступкам совершенную взбалмошность. Слова он не произносил, а как-то выбрасывал из себя, или, лучше сказать, они сами у него выскакивали порой — к его собственному очевидному удивлению. Никак нельзя было предугадать, что он скажет. Иногда выходило метко, иногда — Бог весть что.

Как раз в ту пору, когда он стал увлекаться живописью, то есть накупил кистей, красок, холстов и оборудовал себе мастерскую, один художественный и

критический журнал, тянувшийся за модернизмом, но плохо руководимый, очутился на краю гибели. Уж не знаю, как и через кого, редактор художественного отдела (он же издатель) обратился к Л-ву за помощью. Л-в помог заплатить в типографию за один номер, за другой, потом вздумал перевести все дело на свое имя. Закончив подписной год, первоначальный журнал прекратили и стали выпускать новый, под новым названием, по расширенной программе, включив в нее беллетристику и поэзию. Л-в стал редактором-издателем, а прежние редакторы должны были сохранить за собой фактическое руководство литературным и художественным отделами.

Деньги полились рекой. Журнал был модернистский, модернизм далеко еще не был в силе, круг сотрудников был ограничен, круг будущих читателей и подписчиков — тоже. Тем не менее, Л-в снял для редакции особняк, обставил его шикарно, завел контору и наладил целую бухгалтерию, которую всю нетрудно было уместить в записной книжке. О самом журнале и говорить нечего — это было сплошное великолепие. Формат выбрали самый огромный, типографию — самую дорогую, бумагу — наилучшую. Помимо обильных снимков с картин (черных и трехцветных), рисовальщики не разгибали спин, изготовляя бесчисленные заставки, виньетки, концовки — к стихам и рассказам. Знаменитым художникам заказывались портреты сотрудников. Редактор литературного отдела написал для первого номера вступительный «манифест», донельзя напыщенный и наивный, над которым сотрудники смеялись еще много лет спустя. Л-в приказал отпечатать сей манифест золотом на меловой бумаге. Ему ужасно хотелось «утереть нос» Полякову и «Скорпиону». Литературный редактор, имевший с руководителями «Скорпиона» сложные счеты, поддерживал его в этом.

Чтобы отбить материал у «Весов», Л-в решил самолично отправиться в Петербург, к тамошним писателям. Он им стал предлагать такие гонорары, о каких бедные, почти нигде не печатаемые «декаденты» до тех пор не слыхивали. Они удивлялись и переглядывались, но, разумеется, не отказывались. Один писатель, знаменитый уже в ту пору, всучил Л-ву нуднейшую и длиннейшую свою поэму, получил по рублю за

строчку, уехал за границу и там вдруг испугался, что недобрал. Прислал телеграмму: «Если журнал хочет сохранить мое идейное сочувствие, прошу дополнительно выслать пятьсот рублей». Л-в, надо ему отдать справедливость, нашелся. В ответ он телеграфировал: «В сочувствии не сомневаемся, денег не посылаем».

Первое время все шло благополучно. Потом стало хуже. Началось, кажется, с того, что Л-в пожелал поместить в журнале рисунок своей работы. Редактор художественного отдела дал кому-то рисунок подправить — и напечатал. Тогда Л-в, вообразив, что не боги горшки обжигают, решил стать беллетристом. Сказано — сделано: месяца через два был готов роман. Л-в пригласил всех сотрудников, устроил великолепный ужин, а затем приступил к чтению. Уже в самой этой программе был недостаток: обильная пища, полутемный кабинет с толстыми коврами на полу и отравленными стрелами на стенах, мягкая мебель, голос чтеца — все слишком располагало ко сну. Слушатели зевали в руку. Наконец один известный художник захрапел вслух. Под утро, едва держась на ногах, разошлись по домам. Редактору литературного отдела пришлось выправлять в романе каждую строку — он был написан донельзя безграмотно. По содержанию это было нечто ужасно мрачное (одному Богу ведомо, с чего такому благополучному человеку пришли в голову такие макаберные идеи) — в общем же чепуха отчаянная. К счастью для журнала, роман был слишком велик, его издали отдельной книжкой — в черной обложке.

Почувствовав себя художником и писателем, Л-в решил взять общее руководство журналом в свои руки. Тут обнаружилось самое страшное: у Л-ва завелись литературные идеи. В один прекрасный день он объявил, что за свои деньги может заставить писателей писать так, как он хочет, и что он чуть ли не самим небом избран для высшей миссии: «вернуть русскую литературу ко временам Тургенева». Пробовали ему объяснить, что для такой цели, даже если она достижима и разумна, с самого начала надо было обратиться к иному кадру сотрудников, — Л-в знать ничего не хотел. Литературному редактору пришлось подать в отставку.

Повернуть историю вспять Л-ву, разумеется, не удалось, да он, в сущности, этого и не хотел. Журнал

просуществовал еще года четыре и оставался вполне модернистским, а что разумел Л-в под «временами Тургенева», так и осталось тайной. Зато и он сам не имел представления о том, что он, собственно, издает. Ладить с ним было трудно. Одни сотрудники уходили, другие вступали на их место. В связи с этим в журнале происходили перемены, в которых Л-в тоже не умел разобраться. Наконец, увлекшись чем-то другим, закрыл он свое издательство, совершенно так, как московские купцы порой распродавали свои выезды — «за прекращением охоты». В общем, журнал напечатал ряд хороших вещей — просто потому, что они нашлись у авторов и их где-нибудь надо было печатать. Но в истории русского модернизма не сыграл он той роли, которую мог сыграть, если бы Л-в предоставил «делать литературу» тем, кто умел ее делать. В этом случае не пропали бы деньги, им затраченные, и у людей оставил бы он о себе добрую память, и сам не испытывал бы той горечи, которую, несомненно, должен был испытывать, вспоминая то время, когда был меценатом.

Некто И.А.Добычин, которым я закончу свои воспоминания, был несравненно серьезнее. Меценатом он стал не по внезапной прихоти, а потому, что, располагая очень крупными средствами, искренно хотел принести пользу. Впрочем, известную роль тут сыграло и то, что он был человек одинокий, слегка ипохондрик. Его капитал, вложенный в верные предприятия, не требовал никакого ухода. Добычину хотелось себя чем-нибудь занять. Он затеял издательство. Но вот что любопытно: отроду не трудившись, он труда не уважал и, конечно, не научился его уважать даже тогда, когда себе предписал его как лекарство от скуки. Книги он любил и ценил, но ему в голову не приходило подумать о том, во что они обходятся авторам. Гонорары, которые он платил писателям, казались ему подарками, которые, в сущности, стыдно и принимать. Когда же дело шло о гонораре за второе или третье издание книги, то это считал он уже полнейшею непристойностью. Подчеркиваю: тут самое любопытное то, что Добычин вовсе не был скуп. Он именно и просто не уважал труда.

Чувствуя себя окруженным людьми, которые без всяких оснований тянут у него деньги, он очень скоро

стал относиться к ним с крайним недоверием. Через два-три года его нельзя было узнать. Он сделался неприветлив, нередко груб. Читая самые лестные отзывы об издаваемых книгах, их авторам ни разу он не сказал доброго слова. Напротив, чем больше успеха выпадало на долю писателя, тем более Д. хмурился, подозревая его в намерении «зазнаться». При этом, по естественной человеческой склонности винить не себя, а других, и отталкивая людей своей крайнею неприветливостью, он считал их неблагодарными, а себя обиженным и неоцененным. Это его оскорбляло, и я уверен, что сам он от этого страдал искренно, глубоко.

Как водится в таких случаях, нашлись два-три подхалима, которые сыграли именно на этой слабой струне его. Они добились его доверия, сплетничая, наушничая, а главное — вслух жалея о том, что бедный Д. до такой степени страдает от человеческой неблагодарности. Бездарные от природы, они из редакционных комнат смиренно перекочевали в контору. Незадолго до войны, в Крыму, неподалеку от дачи Чехова, показывали нарядную дачу, любовно выстроенную — на деньги Добычина. Она принадлежала одному из «бескорыстных». Другие тоже не забывали себя.

Добычин не много понимал в литературе, но у него было чутье. Отчасти прислушиваясь к критике, отчасти следя за рынком, отчасти по инстинкту, он умел выбирать для издания хорошие книги. Когда же на его выбор стали влиять советчики, уровень издательства быстро стал понижаться. Лучшие авторы постепенно переходили в другие издательства, тем самым давая Добычину лишний повод обвинять их в неблагодарности и измене. Таким образом, издательство, еще в начале десятых годов почти не приносившее убытка, все более становилось убыточно, потому что совсем хороших книг уже не издавало, а на откровенно третьесортную литературу Добычин тоже не хотел перейти.

Во время войны, когда были заняты западные губернии, с которыми были связаны капиталы Добычина, его дела несколько пошатнулись. Испугавшись, что книгоиздательство станет ему непосильно, Добычин закрыл его неожиданно, за бесценок продав нераспроданные издания.

Потеряв все состояние после октябрьской рево-

люции, он эмигрировал. В 1928 году, проходя по рю Тронше, я увидел его на террасе маленького кафэ. Он был плохо одет, очень постарел, похудел, но был необыкновенно приветлив и, мне показалось, весел. Сказал, что в Париже всего дня на два, живет же в Руане, служит комиссионером по продаже автомобильных принадлежностей. В позапрошлом году он умер.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Из воспоминаний

Было мне двадцать лет. Я жил в Москве, писал декадентские стихи и ничему не удивлялся, предпочитая удивлять других.

Однажды, в Литературно-Художественном Кружке, ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

«Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. *Мариэтта Шагинян*».

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

— Это серьезно?

— Вполне.

Я не был знаком с Шагинян, знал только ее в лицо. Тогда, в 1907 году, это была черненькая барышня, усердная посетительница концертов, лекций и прочего. Говорили — пишет стихи. С М., о которой шла речь в письме, Шагинян тоже не была знакома: только донимала ее экстатическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защищать до последней капли крови», — в чем, разумеется, М. не имела ни малейшей надобности.

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

— Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок.

— Занесла барышня, черняВенькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились, — а знакомы все не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились.

Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможных «измов» и «анств», которые она схватывала на лету и усваивала стремитель-

но, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Неизменно пребывая в экстатическом состоянии человека, наконец-то обретшего истину, она столь же неизменно жалела меня, как пребывающего в безвыходных заблуждениях. Качала головой, приговаривала:

— Ах, бедный Владя! Что мне с вами делать?

— Спасибо вам, Мариэтта, но я вовсе не погибаю.

— Нет, вы погибаете. Это очень печально, но это так.

Под конец я перестал спорить: понял, что нравится ей играть, будто я гибну, а она будто это видит, только помочь не может. Так это навсегда и осталось.

Она всегда была от кого-нибудь «без ума». Иногда это были люди вовсе ей незнакомые, как, например, та М., из-за которой мы должны были драться на рапирах. В начале нашего знакомства кумиром был С.В.Потресов-Яблоновский.

— Это изумительный человек, Владя. Надо его знать, как я знаю.

— Я очень уважаю Сергея Викторовича...

— Нет, вы не можете его оценить. Молчите.

— Я...

— Прошу вас, молчите. Вы совершенно погибаете, бедный Владя. Что мне с вами делать?

Труднее всего приходилось мне, когда С.В.Яблоновского сменила З.Н.Гиппиус. Немедленно выяснилось, что я: 1) безнадежно темен в делах религии, 2) поставил своею целью искоренить христианство и, что всего хуже, 3) злоумышляю против З.Н.Гиппиус лично, так как ее ненавижу. Никаких оправданий Мариэтта не слушала. Не успевал я раскрыть рот — Мариэтта уже обличала меня.

— Опомнитесь, Владя. Подумайте, что вас ждет. Как ужасно, что вы погибли!

Лишь после долгих уверений и покаянных вздохов моих мне было позволено издали смотреть на коробочку с письмами З.Н. и на ее портрет.

Вдруг, кажется, в конце 1909 года, Андрей Белый сменил З.Н.Гиппиус. Мариэтта не была, или почти не была, с ним знакома. Зато, в зимние ночи, в шубе и в меховой шапочке, которую, кланяясь, снимала она по-мужски, с толщенной дубинкой в руках, Мариэтта часами сиживала на тумбе в Никольском переулке, невдалеке от беловского подъезда.

— Представьте, вчера меня приняли за дворника!

Мне позволялось говорить о Белом, пока Мариэтта не познакомилась с ним. С этого дня оказалось, что между ними какие-то такие чрезвычайные отношения «о последнем», что всякое мое приближение к этой теме — кощунство. И опять:

— Владя, вы погибаете!

Безгранично было количество писем к Белому. Непроницаема была тайна их разговоров. Я бывал у Белого, он у меня. Но Мариэтта пуще всего на свете боялась, как бы я с ним не встретился у нее. Нас она принимала порознь — все, что касалось Белого, было окружено мраком и шепотом.

Это был вообще почему-то период тайн. Мариэтта снимала комнату в каком-то огромном, зловещем, полуразрушенном особняке, в глубине церковного двора. К ней надо было проходить какими-то кухнями, залами, закоулками, в которых, вероятно, летали летучие мыши. Крыс, во всяком случае, были целые полчища. Старая, грязная, черная, бородатая женщина, цыганка, армянка или еврейка, вечно пьяная, была квартирной хозяйкой. Однажды я постучал в дверь к Мариэтте. Она высунула голову:

— Это вы? Сейчас нельзя. Подождите. Пойдите по коридору, вторая дверь налево. Это чулан. Там темно. Против двери сундук. Сядьте на него и не шевелитесь, а то что-нибудь опрокинете. Я вас позову.

Ощупью нашел дверь, вошел. На сундуке смутно виден какой-то тюк, вероятно — узел с одеждой. Я взобрался на него и сижу. Темно. Вдруг подо мною зашевелилось, и женский пропойный бас произнес:

— Кто там на минэ сидит?

Рекомендоваться в подобных случаях нет никакого смысла. Но я растерялся, посмотрел на свое студенческое пальто и, не слезая с дамы, ответил обще:

— Студент.

Мариэтта пришла за мной. Я рассказал ей о приключении. Она сделала печальное лицо:

— Все это ничуть не смешно. Вы погибли, Владя. Но хуже всего, что Боря (Андрей Белый) тоже погиб. А для вас я устрою елочку.

И устроила. Угощала пряниками, жалела:

— Ничего-то вы, бедняжка, не понимаете.

После Андрея Белого шел Рахманинов. Мариэтта читала мне лекции о музыке, качала головой:

— Бедный Владя, бедный Владя!

За Рахманиновым — Э.К.Метнер. Следовательно, мы говорили о Гете. Мариэтта убивалась:

— Бедняжка, вы погибаете: вы совсем не так понимаете вторую часть Фауста!..

Так дожили мы до 1911 года — и неожиданно почти потеряли друг друга из виду.

В конце 1920 года, уже в Петербурге, однажды мне показали номер тамошней «Правды» с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить большевикам, «сама себя саботирует» — припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.

Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю, — как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уж вырасти. Она хватается за голову:

— Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой. Все мы в долгу перед народом, надо служить народу. Массы... Маркс... Иисус Христос... Товарищ Антонов...

Выяснилось: на юге она писала патриотические статьи. Но пришли большевики, и она познакомилась с каким-то добродетельным товарищем Антоновым (кажется, так), эдаким большевицким Робеспьером, неподкупным до последней степени. И конечно — сделалась большевичкой. Исполкомские мудрости перепута-

лись в ней с христианством, народничеством и прочим, оставшимся еще от былых времен. О своем фельетоне она сокрушалась:

— Значит, это тактическая ошибка. Но по существу я права. Ах, бедный Владя, как жаль, что вы еще не сделались коммунистом!

Вскоре она поселилась в Доме Искусств, где и я жил. Ходила к большевикам проповедовать христианство. Ходила ко мне — восхищаться А.Л.Волынским. Развенчала Волынского. Влюбилась в почтеннейшего Л.Г.Дейча. Глухота ее сильно увеличилась. Чтобы с ней говорить, надо было садиться рядом, вплотную. В ее огромной холодной комнате часами сиживали они с Дейчем. Мариэтта рассказывала:

— Это святой старик! Он учит меня марксизму, а я его — христианству. А вы... бедный Владя, вы погибаете!

В то время я много писал стихов. Иногда, по старой памяти, показывал их Мариэтте. Она прочитывала, качала головой:

— Ваши стихи больше вас. Вы сами не понимаете того, что пишете. Когда-нибудь я вам объясню...

По обыкновению, кидалась она защищать угнетенных, помогать слабым — всегда невпопад. Возлюбила мерзкую, грязную бабу, одну из горничных. Получая много пайков, делилась с этой же горничной, которая была известна тем, что обкрадывала обитателей Дома Искусств, голодных писателей. Наконец, дочиста обокрала и Шагинян.

«Писательских» пайков было в Петербурге 25. Когда я туда перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, а одного из них перевести на «ученый», так как они читали лекции в разных тогдашних институтах. Остановились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо «ученым» выдавалась одежда, которой писатели не получали.

Однажды, дня через два, сидели мы с Шагинян в приемной «Всемирной Литературы», у окна, на плетеном диванчике. Вошел Гумилев, неся какие-то щетки. Я спрашиваю:

— Что это у вас за щетки?

Гумилев улыбается и отвечает:

— В Доме Ученых выдали. Ведь писательский паек у меня отняли, вот и приходится пробавляться щетками.

Это было вскоре после появления Мариэтты в Петербурге. Она услышала разговор и, когда Гумилев прошел мимо, спросила взволнованно:

— Владя, кто это?

— Гумилев.

— А почему у него отняли паек?

— Отдали другому.

— Кому?

— Мне.

— Владя, как вам не стыдно! И вы взяли?

— Ничего не поделаешь, Мариэтта: борьба за существование.

— Владя, это бессовестно!

Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева. Я с трудом объяснил ей, в чем дело. Успокоившись, она погладила меня по голове и сказала:

— Бедный Владя, вы все такой же заблудший.

А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников... Тоже — с размаху и не подумав.

* * *

Все это вспомнилось мне по поводу фразы, которую Шагинян напечатала недавно в каком-то советском журнале: «Многие из нас, не поняв, что потеряли читателя, вообразили, что потеряли свободу».

По поводу этой фразы я слышал немало негодующих слов. Сама по себе она, конечно, отвратительна. Но я вспоминаю автора — и мне хочется улыбнуться. Не без горечи, может быть, — но все-таки улыбнуться.

Бедная Мариэтта! Она, несомненно, думает, будто к этой мысли пришла таким-то и таким-то путем, а высказала ее потому-то и потому-то. А я знаю, что «путей» никаких не было, а была и есть обычная путаница в ее голове. И фразу эту злосчастную, конечно, она не «высказала», а выпалила, по обычаю — невпопад, по обычаю — с чужих слов, которые она

умеет повторять или развивать даже вовсе не без таланта.

Кто знает имя ее сегодняшнего кумира? И что сама она понимает в этом кумире? Под чью диктовку пишет она свои статьи, сама этого не замечая? Под чью диктовку будет писать их завтра?

ПАМЯТИ В.А.ПЯСТА

Ко времени самой ранней моей литературной юности относится странное воспоминание. Время от времени в московских издательствах символистского толка появлялась рукопись, на заглавном листе которой стояло: «Владимир Пяст. Поэма в нонах». Никто ее не хотел печатать. Мне запомнилась она потому, что к ее грустной судьбе неизменно примешивалась подробность, сама по себе совсем не смешная, но своей необъяснимой повторностью вызывавшая улыбку: перед тем как вернуться к автору, жившему в Петербурге, рукопись всякий раз подолгу лежала в редакциях — и всегда почему-то на подоконнике. Я видел ее в «Скорпионе», в «Грифе», в «Золотом Руне», в «Мусагете». От путешествий по почте туда и назад, от лежания на подоконниках она трепалась, пылилась, желтела и выгорала; страницы ее закручивались; она ветшала у меня на глазах. Наконец, если не ошибаюсь — уже незадолго до войны, она была напечатана в Петербурге. Но и тут ей не повезло. То ли автор, внезапно разочаровавшись в своем создании, остановил продажу его, то ли вышла еще какая-то незадача — не помню в точности. Как бы то ни было, «Поэма в нонах» почти не дошла до читателей. Впрочем, если бы и дошла — успеха бы не имела. Была она благородно-скучная, бледная, порывалась сказать о чем-то важном, но это важное так и не высказалось.

Это была поэма-неудачница. Ее судьба похожа на судьбу самого автора. После небольшого и незамечательного сборника стихов, изданного Вольфом лет двадцать пять тому назад, Пяст работал всю жизнь, силясь выразить себя в поэтической форме, но это не удалось ему. Между тем он был человек образованный, умный, с возвышенным строем души и чувств. Вообще во всем его образе было много истинно поэтического, но литературного дарования он был почти лишен. Плохо приспособленный к жизни, он не был приспособлен и к деятельности литературной.

Однако ж это совсем не значит, что он был лишним в литературе. Конечно, его бледное твор-

чество не имело прямого влияния на ход словесности и не заключало в себе обаяния художественного. Но сам он, как личность до конца поэтическая, был не только современником, но и одним из создателей той эпохи и той среды, которой можно дать имя петербургского символизма. В центре этой эпохи стоял, разумеется, Блок.

Это имя здесь названо не случайно. Те, кому еще дорога русская поэзия и дорога память Блока, никогда не забудут Пяста: его любил Блок. И Пяст был достоин этой любви, потому что сам был Блоку верным и бескорыстным другом. Я думаю даже, что будущий исследователь в самой поэзии Блока сумеет найти пястовские веяния: само собой разумеется, не отголоски пястовской поэзии, но отблески того, каким виделся Пясту мир. В прекрасном и страшном блоковском Петербурге есть следы не только того, что увидел Блок, но и того, что в полубезумии порой чудилось Пясту.

Опять же и это слово — полубезумие — сказано не случайно. Кажется, раза два (еще до революции) Пяста приходилось помещать в лечебницу для нервнобольных. Может быть, именно этой болезнью парализовалось литературное дарование Пяста. Но благодаря ей он, кажется, порой играл при Блоке роль полубезумного оруженосца. Так образ Блока дополняется образом Пяста.

Я познакомился с ним очень поздно, уже в 1920 году, когда поселился в Петербурге. Его настоящая фамилия была Пестовский. Не имею понятия об его происхождении. Это был высокий, довольно плотный человек, с красивым и породистым лицом. На ходу, тяжело ступая, он откидывал назад горбоносую, высоколобую голову в финской ушастой шапке. Нищета его в эту пору была ужасающа. Он жил в полуподвале Дома Искусств; в сырости и морозе. Зимой он ходил почти босиком, в каких-то остатках обуви, прикрученных веревками. Носил рыжую меховую куртку, из-под которой виднелись серые клетчатые штаны — последний остаток лучших времен. Эти штаны были достопримечательностью советского Петербурга, их называли «пястами». Летом 1921 года покойный серапионов брат Лунц по поручению владельца обменял их в Псковской губернии на полпуда ржаной муки.

Пяст получал академический паек, но целиком

отдавал его семье, с которой жил раздельно. По средам, когда приносил он из Дома Ученых тяжелый мешок с продовольствием, сынишка уже поджидал его, отбирал все и уносил домой, на Васильевский остров. Однажды присутствовал я при том, как мальчик выпрашивал у отца огрызок карандаша — Пяст в обмен требовал ломоть черного хлеба. Торг длился долго, отец и сын волновались почти до слез, грозили, упрашивали, совсем было расходились — и вновь начинали торг: так нужны были — одному карандаш, а другому хлеб. Наконец поладили. Пяст немедленно съел свой ломоть. Этого зрелища ни забыть, ни простить нельзя.

Когда-то Пяст был любителем скачек. В советские годы он написал стихи, восхваляющие «великолепную Мангуст» — скаковую кобылу, которой уже, вероятно, и в живых не было. Стихи славились не менее «пястов»; весь Петербург потешался над их бурным пафосом, принявшим столь странное направление; но мало кто знал их конец — отчаянный и надрывный, не по-пястовски сильный и говоривший, конечно, совсем не о лошади...

По ночам мороз выгонял Пяста из его конуры. Он шел в комнаты более теплые — к Мандельштаму, ко мне. Говорил мало, но тонко, проникновенно. Потом начинались дикости, сопровождаемые скрипучим смехом. Потом, заметив, что он уже в тягость, Пяст отправлялся в главное здание Дома Искусств. Там, в темной концертной зале, до утра ходил он один взад и вперед меж зеркальных стен и читал стихи, — вероятно, импровизировал. От его тяжких шагов звенели подвески на огромных хрустальных канделябрах. Голос его гремел на весь дом, отдаваясь в рояле.

— Это господин Пяст, — говорил служитель Ефим, — плохо им очень.

Потом залу начали от него запирать.

В 1923 году издал он воспоминания о Блоке — лучшее из всего им написанного. С год тому назад вышла книга общих литературных воспоминаний его, ценная по обилию фактов, правдивая, благородная. С появлением этих книг его жизнь была как бы завершена. Телеграфные известия о его смерти содержат намек на самоубийство. Так, вероятно, и было. Так, быть может, и лучше. Легче быть среди мертвых поэтов, чем среди живой черни. Теперь Пяст с Блоком.

ПРОГРЕСС

У покойного Горького были железные нервы. Нередко случалось ему сердиться, но гнев никогда не пробивался наружу. Он оставался спокоен даже тогда, когда от злобы надувалась у него жила на шее и лицо наливалось кровью. Впрочем, и в таком состоянии я видел его лишь дважды.

В первый раз это было весной 1921 года. Он раздобыл в Москве восемьдесят пайков для писателей и артистов. Надо было их поделить и распределить. Литературная комиссия в число своих кандидатов внесла В.П.Буренина, известного нововременца. М.Ф.Андреева, жена Горького, заведовавшая петербургскими театрами, заявила протест: она старалась вообще сохранить наибольшее количество пайков за артистами, в частности же, Буренин, разумеется, был для нее в высшей степени одиозен. Мне поручили переговорить с ней и с ее секретарем Крючковым, ныне расстрелянным. Прямо из заседания в Доме Литераторов я отправился на квартиру Горького. Андрееву и Крючкова мне пришлось долго ждать — они явились к вечернему чаю. Лишь только заговорил я о Буренине, Мария Федоровна раскричалась. Я ей ответил, что в нашей комиссии поклонников Буренина нет, но Буренин — профессиональный писатель, худо ли, хорошо ли проработавший много лет, а ныне умирающий с голоду. Лишить его пайка — значит приговорить к смерти.

— И отлично! Я бы его расстреляла своими руками! — воскликнула Андреева.

Вот тут-то Горький, молча сидевший на конце стола, весь побагровел и сказал голосом тихим, но хриплым от злобы:

— Я бы не хотел, понимаете... чтобы такие вещи... говорились у меня в доме.

В другой раз обозлился он на меня. Дело было в Сорренто. Опять сидели за чаем. Не помню, о чем шла речь. Споря со мной, Горький сказал, что если бы вышло по-моему, то прогресс стал бы невозможен.

— Да я не люблю прогресса, — заметил я.

Эффект был необычайный. Горький побагровел,

ткнул папиросу мимо пепельницы, выбежал в свою комнату, и долго мы слушали, как он там кашляет и хрипит. Впоследствии, в одном из писем, он язвительно мне припомнил мои слова.

А за прогресс мне однажды пришлось пострадать еще на заре моего литераторства. В 1908 году, когда Блерио перелетел через Ла-Манш, человечество захлебнулось от радости. Мне показалось, что все это не так уж весело. Я написал небольшую статейку о том, что летать в гости друг к другу мы будем еще не скоро, но что для военных целей авиация будет развита и применена очень быстро и очень страшно. Я писал о предстоящих воздушных броненосцах и бомбардировках. Помню, была у меня и такая фраза: «Кто знает, не придется ли нам зарываться на сорок этажей в землю, как теперь лезем мы на сороковые этажи вверх». (Небоскребы тогда строились только сорокаэтажные.)

Как теперь я припоминаю, статейка была довольно плохо написана. Однако в редакциях, которым я предлагал ее, отказывались не по этой причине, которая была бы уважительна. Редакторы приходили в священный ужас от моего отношения к *прогрессу*. Над моими «мрачными фантазиями» смеялись. Наконец статью взял Козецкий, издатель бульварной газеты «Раннее Утро». Там она и была напечатана под псевдонимом *Кориолан* и, если не ошибаюсь, под заглавием «Тяжелее воздуха». Впрочем, не нужно думать, что Козецкий мне посочувствовал. Он напечатал мою статью просто потому, что ему было решительно все равно, что печатать.

— Никаких этих бомбардировок, конечно, не будет, — сказал он, — но поместить можно. Только больше, чем по гривеннику за строчку, не уплачу.

ГОРЬКИЙ

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 года, либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни — потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие — потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной степени прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого, он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, пред-

ставить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммою данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

* * *

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать Московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А.Н.Тихонова и З.И.Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей при «народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и Наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 года, ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года N. однажды

позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска генерала Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для "Всемирной Литературы". Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал N. Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах Красной армии. Поэтому я ответил N., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств N. повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведовал им В.В.Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой — может быть, даже слегка подвивал ее — и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

— Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

— Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть — в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающее себе карманы на заказах советского правительства — в частности, комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, — и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был Театральный, так называемый Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя Московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было бы справедливо, потому что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева — не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал

В.Э.Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, сымпровизировал я на эту тему целую былину, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай свово коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет вымести,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!»
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю — *и т.д.*

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же казалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся, по тогдашнему обычаю, третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 года, когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведовать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

— Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников, — и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

* * *

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной, вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917—1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая Жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — отдыхать и ле-

читься. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев, со своей стороны, не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку — в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать — об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозится арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно — Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар — можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама — под условным именем *Мара*. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т.п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского

посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В.И.Икскуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 году ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большею частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем и они, грозя кулаками встречным рабочим, кричали:

— Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и наконец в руках у него очутились до-

кументы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева — не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решился ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком — по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

* * *

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, — о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в «Times'е», а Сологуб — наш враг, ненавистник

пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т.д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький, тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу штуковину», — и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22-м числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». — «Не осел, а сукин сын», — возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял.)

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал, уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальный: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю — меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя, по обыкновению своему, не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем на него

надвигалась еще беда, еще одно поражение — может быть, самое тяжкое из всех, понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле, наконец, переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворявшийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т.д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать — замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой оказии кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве — а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

— Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случалось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

* * *

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было бы сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для Вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду увидеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: «*До свидания со мной — подождите принимать предложения "Накануне"*».

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видал и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!» В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос — где же написать? — он ответил: «Да хотя бы "Голосе России". Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднею осенью Горький меня убедил переселиться в городок Saarow, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 года в России существовала только военная цензура. В 1922 году была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в советской России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные Записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой мине. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т.д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали

план журнала. Редакция литературного отдела составилась из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 года появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что, как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю, кому, — при мне говорил о «Беседе» с приезжавшим в Saarow Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался даже ригористически. Некто Лежнев еще ухитрялся издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 года он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении "Беседы" в Россию. Имею сведения, что вопрос этот "рассматривают". О Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то

есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и, таким образом, отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Москве свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то, что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала — просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его

во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может — до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького) вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, — несколько раз напоминала она, — но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, — всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира», — прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич

скончался, телеграфируй текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине — были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, то есть ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н.К.Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

* * *

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С.Г.Сумского, находились в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С.Г.Сумский сообщил мне, что «Международная книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что, «по-видимому, разрешение дано А.М. для утешения, а “Беседу” при-

казано душить». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1-го, 2-го и 3-го номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров; итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, — вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.) Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболь, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть

непочатый запас творческих сил. Стоило Соболю уйти — маска снималась. Соответственную личину надевал и Соболь при Горьком: ложь порождала ложь.

Однажды Соболь не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходившей в Берлине под редакцией А.Ф.Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». — «Позвольте, — возразил я, — ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» — «Но я же *вас* знаю», — ответил Горький. «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: “Сорренто”». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболь собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболю свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболь отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболь был совершенно уверен, что, если бы

секретарь пришлепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть — государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предначертаниях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самою настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидала, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчиками, — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был

хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил как-то конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я и до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную *словесную* точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот какая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, — в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом, — когда был инструктором Всевобуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это — приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заве-

довала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем — здрасьте пожалуйста! Вот мы раз выловили этих самых эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных Записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок — у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок — Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!»

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышленыш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т.д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! — говорит она, — зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, я сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него

папиросу, испробовал, хорошо ли тянет, — а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания было мне тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

— Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека — ни звука.)

— Что ж, пускай едет, коли ему хочется, — сказал я.

Горький слегка рассердился:

— А когда их там всех перебьют, что будет? — спросил он. — Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают — за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она — важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» — и, собрав пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

— Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

— Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

— Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть

Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращенчества».

* * *

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «“Беседа” — кончилась. Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать “Беседу” на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: “не пущать, тогда Горький воротится домой”. А он и не воротится! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на “Беседу” было дано, и книги в Россию допускались, — писал он. — Затем разрешение было опротестовано и аннулировано». Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа "Беседы" или о возобновлении "Беседы". Весь материал заготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал *типа «Беседы»* в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался за границей и что «ограничительные условия» уже налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 года нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский современник» — последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами, журнала в России. Дух журнала был вольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали в нем и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг.Замятина, А.Н.Тихонова и К.Чуковского. В конце 1924 года, по выходе четвертой книжки, «Русский современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский современник» — только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник «Русского

современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русский современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «“Беседа”, кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в “Русском совр.”, который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов “восстановлен во всех правах”, приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все написанное в будущем времени — ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский современник» не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа», — а просто заставят Горького печататься в «Красной нови» и в других казенных журналах, — и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решился не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя

близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 году он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 году, когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможна поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т.д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 году, основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Сознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вовсе, — но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е.П.Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых, по примитивности своего мышления, он никогда не умел отличить от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый, образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказа-

лась не такой, какою он ее создал своим воображением, — мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома — все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался — но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что еще он пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознавал ли он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

ПИСЬМА

1. А. Я. БРЮСОВУ

Лидино, 26.VI.05

Дорогой Саша!

Не знаю твоего акуловского адреса. Пишу в Москву. Думаю, — перешлют. Очень рад буду видеть тебя. Сообщи только тогда заранее точно день и поезд.

Напрасно ты так огорчаешься о литературе. Газеты — не искусство, «Нижегородский сборник»—хуже всякой газеты[1]. Относительно В.Иванова[2] для меня давно решен вопрос о его праве на существование. Терпению и труду не всегда удается перетереть искусство. Что же касается твоего брата, как он представлен в «Северных Цветах», — мне кажется, — ты не прав. Стихи его очень хороши, как всегда. *Драма — изумительна*[3]. Впрочем, я с ним (пока — *между нами)* — затеваю полемику, вне чистой литературы. Как и что — объяснять долго, но советую тебе прочесть в № 4 «Весов» его заметку о «Литургии Красоты», а после, когда выйдет № 5 «Искусства» — в нем мою заметку о том же[4]. Но пока — прошу *никому ничего* об этом не говорить. На тебя полагаюсь.

Посылаю некоторые стихи. Не все, написанные за это время. Впрочем, последние дни я их не пишу, ибо начал еретическую драму, которая должна быть закончена, не в пример другим моим начинаниям. Надеюсь прочесть тебе ее в необработанном виде, когда приедешь.

<...>[5]

Все; извиняюсь за рифму: темный — исступленной. Вольность. Из твоих стихов мне больше нравится второе. Пока — прощай.

М.Э.[6] благодарит за память и шлет привет с приглашением.

Сообщи свой дачный адрес.

Твой *В.Ходасевич.*

P.S. Что скажешь о стихах.

2. Г. Л. МАЛИЦКОМУ

Дорогой Жорж!

Большое тебе спасибо за память обо мне и Марининых именинах. Напишу тебе много и подробно. Я сам поражался твоим молчанием и написал тебе в Москву письмо с вопросами, не сердишься ли *ты* на меня и т.д.

Вдруг получаю письмо твое с Кавказа, где говорится, что ты на днях на несколько дней едешь в Ессентуки. А на сколько дней — не указано. Твое письмо шло неделю, мое прошло бы столько же, и я, боясь, что оно не застанет тебя там, не писал вовсе. Не сердись. Я люблю тебя.

У нас все лето масса народу. Только послушай. На Пасхе был мой брат (Константин[1]) и Сергей Маковский, затем от 19 мая до 20 июня — Борис Койранский[2]. За это время у нас перебывали: одна Маринина знакомая, почти месяц, 2-ой раз Маковский, дней 5, Нина Ивановна[3], дней 5, и Гриф, 2 дня. Около 15 июня приехал Муня[4], который еще у нас, а вчера объявился А.Брюсов, до среды. Кроме того, сегодня или завтра опять приедет Нина Ив. дней на 7. Были еще по одному дню: некто деловой и некто приятель Бор. Койранского, заезжавший за ним.

И можешь себе представить — обилие людей мне почему-то ничуть не утомительно. Пишу порядочно. За то время, как мы с тобой не виделись, я намарал штук 20 стихов, и, за двумя-тремя исключениями, для книги, которую выпускаю, вероятно, в сентябре-октябре.

Как ты живешь? Неужели ты в этом году не приедешь в Лидино? Это было бы чрезвычайно огорчительно. К осени ты должен являться сюда, мы с Мариной к этому прямо-таки привыкли и «убедительно» просим тебя приехать. Ты знаешь, как этим меня обрадуешь: не только бо друг еси моего сердца, но и живое воспоминание разных хороших времен. Приезжай, милый. А?

Саша Брюсов был на Кавказе в одно время с тобой.

Свет мой! Лень мне переписывать стихи. Послать все — значит послать тюк, на это, конечно, моих сил не хватит.

А выбрать — почему это, а не другое? Впрочем, вот тебе несколько. Напиши искренно, что ты о них думаешь, а еще лучше — приезжай сам ругаться и дослушивать остальное.

Беру наугад, поэтому они ничем не связаны. <...>[5]

Пока до свидания. Приезжай непременно. Хочу прочесть тебе всю книгу. Это мне было бы весьма дорого, — твои слова. Что думаешь об этих стихах? *Пиши.*

Обнимаю. Марина кланяется и ждет.

Твой *Владислав.*

Саша кланяется.

Лидино. 7.VII.07

3. АНДРЕЮ БЕЛОМУ

Дорогой Борис Николаевич.

Стражев[1] просил у меня для 1 № своей газеты пародию на 2 симфонию[2]. Я не дал ответа, ибо хотел переговорить с Вами, но Вы вчера не пришли в «Перевал». Дело в том, что за последнее время Вам делают достаточное количество крупных неприятностей, — и я боюсь увеличить число их еще одной, хотя бы и мелкой. Ответьте мне *совсем искренно*, не будет ли Вам почему-нибудь неприятно появление этой пародии в печати. Она написана (верьте) без всяких задних мыслей, но, повторяю, боюсь, что Вам покажется неприятным ее напечатание, хотя мне кажется, что там нет ничего «такого». В этом случае мое письмо только излишняя предосторожность, за которую, надеюсь, Вы не будете сердиться. Жду Вашего ответа. Жму руку.

Вас и искренно и глубоко уважающий

Владислав Ходасевич.

Мой адрес: Бологое, Николаевской ж.д., им. Лидино.

Лидино, 15 августа <1907 г.>

Кланяется Вам моя жена.

4. С. В. КИССИНУ (МУНИ)

Подражание некоей застольной речи

Дитя! Хотя я получил письмо твое во вторник, а корректуру доставил в «Пользу»[1] еще в понедельник; хотя ты надул меня, и я встретил у Л.Я.[2] американцев; хотя Грифы уехали сегодня с Зайцевыми в Крым («дружба, сие священное чувство»...)[3]; хотя мне без тебя грустно («дружба, сие священное чувство»...); хотя мне жаль огорчать тебя; хотя у меня на все праздники в кармане шесть рублей; хотя сия сумма меня не устраивает (хотя я и выиграл в лото копейку); хотя мне придется покупать свою книгу для бедной Брони[4]; хотя ввиду этого ты останешься без книги Белого[5]; хотя ты, таким образом, сидишь по-провинциальному — без «Урны», — а у меня, окаянного, «все удобства»; хотя ныне принято писать дружеские послания в стихах, с посохами и прочими палками[6]; хотя ты, вероятно, уже освирепел за всю эту ерунду; хотя автограф мой немного стоит

— сохрани его, ибо его целью было: послать тебе привет, поздравления, отчет о двух днях и выражение дружбы («сего священного чувства...»).

Владислав.

25 марта 909
Москва

5. С. В. КИССИНУ (МУНИ)

Боже ты мой! Бывает же у человека такой дар слова! Очень уж ты, Муничка, спросил хорошо: «Как тебе приходится?» Вот то-то и есть, что именно «приходится», и невыносимо. Главное и вечное мое ущемление: деньги. Право, многое влечет оно за собой! А где взять? Написал раз для «Русского слова» — оказывается, об этом писали три дня назад, я проглядел. Написал в другой раз, фельетон. Повез в Москву. На вокзале раскрываю газету — готово. О том же —

Сергей Яблоновский[1]. Написал в третий раз — усомнился, не была бы провокация, оставил «в своем портфеле». То есть куда ни кинь — все Клин.

Что я делаю? Ничего. Прочел я книгу Мережковского о Лермонтове[2]. Ну, сам знаешь. Прочел «Коня Бледного» (он вышел в «Шиповнике»)[3] — и огорчился. К чему Мер-ские огород городят? Я не говорю про отдаленных потомков, но у них самих с нынешними с.-р. (или прошлыми?) — ничего не выйдет. От ропшинской книги скучно. Айхенвальд глуп-глуп, а кое-что учуял[4]. Только не «психология революционера» «натянута», а Мережковианство. Не знаю, чем-то эти переговоры с с.-р. напоминают московские переговоры с капиталистами.

Белый должен был приехать третьего дня. Я молчу. Я не показываюсь. Напылит, нагремит, напророчит. Уж очень много пыли. Хоть бы дождичка!

Тишина у вас? Хорошо. Только не читайте Фета в жаркую погоду, нельзя, он (между нами) от жары закисает. А я все стучу по барометру. Он падает, а я огорчаюсь, хотя — зачем мне хорошая погода? Писал я стихи, да что-то перестал. Впрочем, может быть, еще запишу. Только дошел до «Геркулесовых столбов»[5]: рассердился на петуха и погрозился оставить его любовь без рифмы. Должно быть, очень глупо вышло. Это вот — чтó я делаю.

Чего не делаю, но хочу? Да хочу написать на тебя пашквиль, а он не клеится. Я зато понял, почему хочется пашквиля: иначе — Малороссия.

Прощай пока. Я тебя тоже целую и люблю. Лидию Яковлевну благодарю за память и кланяюсь ей низко.

Я все это время очень добрый, приятный в обхождении. Поэтому, если напишу стихи, — то все злые.

Твой Владислав.

Гиреево, 7 июня 09

Адрес. Ст. Кусково, Моск. — Ниж. ж. д., имение Старое Гиреево, мне.

Да, прислали мне из «Острова» через Ремизова комплименты и за стихами[6]. На днях пошлю. Экая все ерунда.

Пиши.

Прости — четыре дня носил в кармане. Но за это время ничего не произошло — можно отправить.

Пишешь ли что? Или не спрашивать? Ну, ладно, валяй.

В.Х.

11 июня

6. С. В. КИССИНУ (МУНИ)

Nervi $\frac{\text{1 июля}}{\text{18 июня}}$ 911

Ежели тебе любопытно знать, как живу и работаю я, — то слушай.

Здесь очень жарко и очень скучно. Этим предрешается дальнейшее. Утром, встав часов в 10, пью кофе и до завтрака жарюсь на пляже. От завтрака часов до 6 тружусь, в 6 опять иду на пляж и, пока Женя[1] купается, пью birr'у, по-нашему — пиво. В семь обедать, а после обеда шляемся мы по городу или взбираемся на гору, чтó очень нравится Жене и чего терпеть не могу я. Потом заходим в кафэ, «Milano», где вертлявая и раскрашенная итальянка поит нас кофе. Потом — полчаса у моря, а потом спать. Верх разнообразия — красное вино в каком-нибудь придорожном кабачке, из тех, куда даже во время сезона не ступает нога чужестранца. Там вокруг сонного хозяина галдят или шепчутся (одно из двух) три-четыре итальянца, полуголых и похожих на бандитов. (Сей родительный падеж неудачно заимствован из польского языка. Прости.)

Таковы впечатления чахоточного. Здоровый гражданин, трепеща перед Вашей Светлостью, заявляет, что Италия — страна божественная. Только все — «совсем не так». О Ренессансе хлопочут здесь одни русские. Здешние знают, что это все было, прошло, изжито, и ладно. Видишь ли: одурелому парижанину русский стиль щекочет ноздри, но мы ходим в шляпах, а не в мурмолках, Василия Блаженного посещаем вовсе не каждый день, и даже новгородский предводитель

дворянства, с которым я очень знаком, не плачет о покорении Новгорода. Здесь в каждом городе есть памятник Гарибальди и via Garibaldi. Этим все сказано. Ежели бы российские италиелюбы были поумнее, они бы из этого кое-что смекнули.

Итальянцы нынешние не хуже своих предков — или не лучше. Господь Бог дал им их страну, в которой что ни делай — все выйдет ужасно красиво. Были деньги — строили дворцы, нет денег — взгромоздят над морем лачугу за лачугой, закрутят свои переулочки, из окна на ветер вывесят рыжие штаны либо занавеску, а вечером зажгут фонарь — Боже ты мой, как прекрасно![2] В Генуе новый пассаж, весь из гранита. Ничего в нем нет замечательного, — а вот ты попробуй-ка из гранита сделать так, чтобы некрасиво было: ведь это уже надо нарочно стараться. А у нас — ежели ты уж очень богат, ну, тогда можешь пустить мраморную облицовочку, которую неизбежно надо полировать (иначе она безобразна), — но из нее ничего, кроме модернчика, не смастеришь. В Финляндии мрамор пестренький, как рябчик; в Гельсингфорсе, говорят, все дома глянцевые и в стиле — нуво. Тьфу!

Здесь *нет* никакого искусства, ей-Богу, ни чуточки. Что они все выдумали? Здесь — жизнь, быт — и церковь. Царица-Венеция! Genova la superba![3] Понюхал бы ты, как они воняют: морем, рыбой, маслом, гнилой зеленью и еще какой-то специальной итальянской тухлятиной: сыром, что ли? А выходит божественно! Просто потому, что не «творят», а «делают». Ах, российские идиоты, ах, художественные вы критики! Олухи царя небесного! Венецианки поголовно все ходят в черных шалях без всяких украшений, с широкой черной бахромой, и ничуть в них не драпируются, потому что некогда. Красиво — изумительно. Это что же, Джотто какой-нибудь выдумал? а? У, скворцы, критики, соли вам насыпать на хвост! Прощай. Обозлился. Завтра поеду в Геную, в порт, ночью, на матросов глядеть. А через неделю — через Пизу и Флоренцию — в Венецию. Россиянин, воспевший Пизу, носит многозначительное имя: Бобка. Только и всего. Вот размахнусь да и пришлю фельетон из Венеции. Посему — сие послание — тайна.

Твой *Владислав.*

Напиши мне в Венецию: Italia, Venezia, Vladislaw Khodassewitch. Ferma in poste.

Женя лишила меня твоего изображения, которое вез я как походную икону. Увы! Получил ли ты его, по крайней мере?

7. Н. И. ПЕТРОВСКОЙ

Милая Нина!

Однажды ночью, еще не зная Вашего адреса, написал я Вам большое письмо, да наутро перечел его — и не отправил: стыдно стало даже Вас. Уж очень было оно «настоящее».

Прошло с тех пор полторы недели. Сегодня я в силах сообщить Вам лишь факты, о коих Вы, пожалуй, уже знаете. Ныне под кровом моим обитает еще одно существо человеческое. Если еще не знаете кто — дивитесь: Нюра[1]. Внутреннюю мотивировку позвольте оставить до того дня, когда снова встретимся мы с Вами здесь, на этой земле, а не где-нибудь еще.

Милая Нина! Я — великий сплетник, но молчал о словах, которые слышал целых полтора года. Во дни больших терзательств мне повторили их снова — и стало мне жить потеплее. Тогда я сдался. Вы хорошо сказали однажды: женщина должна быть добрая. Ну вот, со мной добры, очень просто добры и нежны, по-человечески, не по-декадентски. Ныне живу, тружусь и благословляю судьбу за мирные дни.

И еще. Все ставки — роковые. Миллионер, ставящий на карту копейку и проигрывающий ее, — совершает шаг роковой, ибо уже ничто, никакие выигрыши в мире *этой* копейки ему не вернут, и разорится он в конце концов от того, что проиграл ее. Но все же весело играть не по копейке, а делая ставки решительные. Весело знать — день ото дня непоправимее запутываешь узлы — свои и чужие. Напишите мне все, что думаете, не браните меня и знайте, что я люблю Вас больше, чем всех других людей вместе. Если бы Вы

знали, как я обрадовался, прочтя хорошие, милые слова в начале Вашего письма. Будьте здоровы, поправляйтесь — и мы еще поживем. А на старости будем разводить тюльпаны и жить в добром захолустном согласии. Знаете ли Вы, что все это время я, почти не переставая, помню о Вас. И мне очень хотелось бы, чтобы Вы, Вы, Вы меня любили.

Сегодня утром умер мой отец[2]. Фелицианы кончились.

На днях был у меня Валерий Яковлевич[3]. Не знаю, сделал ли он это в укор «семье» или еще почему, — но я рад не враждовать с ним. Я не любил его за Вас — это Вы знаете. Но тогда, на вокзале, понял многое.

Он мне понравился по-человечески. Может быть, так и надо.

Будьте здоровы, пожалуйста, будьте здоровы. Да лечитесь, как паинька. Может быть, вообще надо жить паиньками. То есть паиньками, паиньками, а потом — трах! — взять да и выкинуть что-нибудь. Мы еще с Вами своих трахов дождемся.

Владислав.

24 ноября 911 г. Москва

Я начал писать стихи. Кончу — пришлю. Черкните же. Надежде Ивановне поклон[4].

А та женщина уехала в Петербург[5]. В ссылку. Не браните меня. «И от судеб защиты нет»[6].

8. Б. А. САДОВСКОМУ

Гиреево
2 мая 1913

Дорогой Борис Александрович.

Не только помню о «письменном» долге, но и вообще рад с Вами побеседовать. Хотите ли московских новостей? Они невелики.

В четверг на Фоминой милый мальчик Бернер читал в Эстетике реферат о грядущих судьбах и прочем[1].

Вздор молол даже удивительный. Никак я не ожидал, что он такой глупеныш. Вал. Як. оборвал ему уши. Он чуть не плакал (буквально) и в припадке отчаяния заявил, что «Брюсов вечно все подтасовывает». Тот, кажется, даже не рассердился.

В минувший понедельник Тастевен читал публичную лекцию о новых течениях[2]. Я ему возражал, и (что́ поразительно!) даже не плохо: футуристам загнул салазки.

Затеял я нечто: оно может мне принести: 1) удовольствие работы, 2) монеты и 3) печальную славу черносотенца, вроде Вашей. Сообщу Вам *по секрету* тему: *Принц Гамлет и император Павел*[3]. Я о Павле читал порядочно, и он меня привлекает очень. О нем (психологически) наврано много. Хочется слегка оправдать его. Стал я читать, удивляясь, что никому не приходило в голову сравнить его с Гамлетом. И вдруг узнал, что в 1781 г., в Вене, какой-то актер отказался играть Гамлета в его присутствии. Нашел и еще одно косвенное подтверждение того, что кое-кто из современников догадывался о его «гамлетизме». Потомки произвели его в идиоты и изверги. Если голод не помешает — летом поработаю. Если мысли мои подтвердятся — осенью выступлю с «трудом». Но пожалуйста — никому об этом ни слова: у меня украли уже несколько тем.

Что Вы делаете, т.е. пишете, и главное — как живете? Я потому говорю: главное — что писать по нынешним временам стали все, — а вот ты поди поживи! Живем-то одни мы, старики. Когда в Москву?

Думаете ли Вы, что я могу обойтись без просьбы? Дело вот в чем. Я еще 11 апреля послал Чацкиной[4] несколько стихотворений «на выбор», как она просила. Она до сих пор молчит, и я не знаю, какие стихи мои пойдут в ее журнале, какие не пойдут. А я бы их куда-нибудь отдал (т.е. которые ей не нравятся). Спешу, ибо осенью хочу издать книгу. Если будете ей писать — напомните обо мне.

Ну, будьте здоровы и пишите любящему Вас

Владиславу Ходасевичу.

P.S. Тяжелые для Вашего сердца вести сообщит Вам Нюра на обороте сем или отдельным посланием: не знаю, ибо сейчас ее нет дома.

9. Г. И. ЧУЛКОВУ

Дорогой Георгий Иванович,

узнал я о Вашей болезни, и она очень меня огорчила[1]. Вы, конечно, не из тех, кто дает болезням владеть собой (а я уверен, что с болезнью лучше всего борется наша воля), но все-таки борьба эта трудная, неприятная и скучная.

Вчера я видел «Современник» с Вашей заметкой обо мне[2]. Позвольте от души поблагодарить Вас за снисходительные и сочувственные слова о моей книге. До сих пор я видел о ней довольно много заметок — и все хвалебные, кроме написанной Пястом[3], которая меня огорчила, — не потому, что ему, очевидно, не нравятся мои стихи, а потому, что он ничего во мне не понял. Пусть бы он понял — и бранился бы. А так — он меня обидел своей незоркостью, особенно упреком в презрении к «невинному и простому».

Я всю книгу писал ради второго отдела, в котором решительно принял «простое» и «малое» — и ему поклонился. Это «презрение» *осуждено в моей же книге*, — как можно было этого не понять? То, за что меня упрекает Пяст, — и для меня самого — только соблазн, от которого я отказался. И вот быть в такой мере непонятым — почти больно. Пяст для меня значит не очень много, но все же он не газетный проходимец и не болтун из эстетов. Ну, Бог с ним.

Нюра Вам, кажется, уже писала, что здоровье Гаррика[4] улучшается и что ничего страшного нет в его болезни. Доктор прописал ему дачу, которую мы ищем и на днях снимем, вероятно, — в Томилине: там сухо, там Диатроптовы[5] и Люба[6].

Отсутствия «Летучей Мыши»[7] я пока не ощущаю денежно, но с радостью ощущаю душой: уж очень противно с ней возиться.

Ну, будьте здоровы. Жму Вашу руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

Поклон Надежде Григорьевне.

М., 16.IV.—914

10. Б. А. САДОВСКОМУ

Дорогой Борис Александрович,

отвечать на письма друзей — великое наслаждение. Но, стремясь к идеалу строго аскетическому, я лишаю себя и этой, невинной в сущности, радости. Прошу Вас быть уверенным, что потому только я и молчал так долго. Кроме того — работаю в сутки буквально часов по восьми, а то и больше, но уж не меньше. Здесь тихо, все всегда дома, и я тоже. Нюра работает в городской управе, в отделе, заведующем распределением раненых. Москва ими полна. Больниц не хватает. Частных лазаретов тьма, и все-таки солдат раздают желающим на квартиры. Хочу взять двоих: капля в море, да уж очень нужда велика.

Приезжайте-ка в Москву лучше. Здесь у нас мрачно, но честно, по Петербургу же Городецкие ходят стадами. Чай, уже к войне примазывается? А мрачно у нас весьма. Я *буквально* никого не вижу, да никого и нет. Весь Кружок превращен в лазарет, никаких сборищ не будет во все время войны. В кабаке не был ни разу, да и не тянет. В гости ходить не принято, как на Страстной неделе. Мне все это нравится.

Чацкина (дай Бог ей здоровья) прислала мне монет (квартира, квартира, отдай мне мои деньги!) и заказала статью о Лермонтове[1]. На днях сажусь писать.

В Киеве ужасы: два целых и три десятых эстета собрались издавать журнальчик[2]. Я дал им стишков. Экая ерунда!

Великий Маг[3] пишет в «Русских Ведомостях» корреспонденции из... Вильно и Варшавы. Хорошо пишет, точь-в-точь — Саша Брюсов. Мы, говорит, воюем; побеждающие побеждают; побежденных побеждают; человек, в которого попала пуля, здесь, в Вильне, называется раненым. Раненые очень храбры. Некоторые из них умирают, прочие рано или поздно выздоравливают. Умершие называются покойниками, а выздоровевшие опять становятся солдатами, пока их не ранят. Тогда они или умирают, или выздоравливают... и т.д., очень последовательно и логично, что в стратегии необходимо.

В Варшаве его чествовали писатели[4]. Это не стра-

тегия, — а потому лошка прихромнула: никаких писателей в Польше нет. Что и есть похожее на писателей — то живет в Австрии (Реймонт, Тетмайер) и в Германии (Пшибышевский)[5]. А в Варшаве... ну, вздор, одним словом!

Будьте здоровы. Жму руку.

Нюра кланяется, из чего Вы можете заключить, что мы не разъехались. Издатель[6] сидит без денег, безумец — просит их у меня! Я бы за него в огонь и воду, но... Будьте здоровы. Мужайтесь: Вы не издатель.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич.

27 августа 914
Москва

11. Г. И. ЧУЛКОВУ

Москва, 15/28 декабря 914

Дорогой Георгий Иванович!

У меня в письменном столе — целая коллекция писем к Вам, начатых и неконченных. Мне всегда почему-то жутко отправлять письмо, которому суждено долго путешествовать. Ваши письма мы получаем дней через пятнадцать, цензурных признаков на них нет.

Однажды пытался я письменно рассказать Вам, каково сейчас в России вообще. Ничего не вышло. Как-то вся жизнь раздроблена на мелкие кусочки. Склеить их сейчас без предвзятой мысли, без натяжки — еще нельзя. Со временем Гаррик напишет «Войну и мир 14-го года» — вот тогда мы все и узнаем. Одно очень заметно: все стало серьезнее и спокойнее. Политических сплетен мало, верят им совсем плохо. Москва покрыта лазаретами. Лечат раненых и жертвуют денег, белья, всяких припасов много, делают это охотно и без вычур. Удивительнее всего, что жертвы эти доходят до тех, кому предназначены. Поэтому дышится в известном смысле приятней и легче, чем это было до войны.

Вопросы пола, Оскар Уайльд и все такое — разом куда-то пропали. Ах, как от этого стало лучше! У барышень милые, простые лица, все они продают цветки, флажки, значки и жетоны в пользу раненых, а не дунканируют. Студенты идут в санитары, тоже торгуют, даже учатся — а не стоят по суткам перед кассой Художественного театра.

Литературы нет, не взыщите. Впрочем, все (ах, и я!) пишут плохие стихи на военные темы. На военные темы, оказывается, русские поэты всегда писали неважно. Я это узнал, составив по заказу «Пользы» антологию: «Война в русской лирике»[1]. Скучная вышла книжка.

Вы мне советуете переводить польских поэтов? Я уже думал об этом, но, поразмыслив, понял: 1) поэтов в Польше ровным счетом три: Мицкевич, Красинский, Словацкий[2]. Первый переведен, да и слишком труден для *нового* перевода, который должен быть лучше старых, — а *стихи* Словацкого и Красинского определенно плохи. У Словацкого хороши трагедии, да и то не так хороши, как принято говорить; лирика же его скучна, риторична и по-плохому туманна. Стихов Красинского не хвалят даже поляки, а у них все поляки — гении.

2) Ну, хорошо, кое-что найду, переведу. А читать не станет никто.

Впрочем — еще пороюсь, подумаю.

Я работаю вовсе не много. «Для себя» сейчас здесь не пишется, трудно, а для печати — печататься негде. «Летучая Мышь» меня извела окончательно, но я ей хоть сыт, и то хорошо.

Нюра работает в управе, Гаррик поглощен военными заботами, Люба ни в кого не влюблена, что, оказывается, украшает ее необычайно. Ничто человеческое ей теперь не чуждо. Она говорит о войне, даже вопросы общественные ее тревожат.

Живем на необитаемом острове. Многие на войне, кто дерется, кто лечит. В Москве стало *тихо,* в самом буквальном смысле, тихо на улицах, в домах.

Ну, будьте здоровы, очень желаю Вам окончательно вылечиться и весной приехать силачом — если только Вы сюда проберетесь. В близкий конец войны мне верится плохо. Впрочем, я уверен, что никто, до Вильгельма II включительно, не может сказать о войне ничего толкового. Это как ветер: пройдет, когда пройдет, не продолжишь его, не уймешь. Война живет сама по себе.

Жму Вашу руку. Привет Надежде Григорьевне. Нюра целует обоих. Пишите, пожалуйста.

Преданный Вам *Владислав Ходасевич.*

P.S. Вы пишете о долгах. В этом шелку хожу и я, хоть здоров, что хуже. Впрочем, может быть, таковы хорошие литературные традиции, и Толстой напрасно их нарушал. Да ему и не трудно было это делать. А вот Пушкин так и умер, не заплативши в лавочку за $2^1/_2$ фунта морошки, которую ел, окруженный друзьями.

12. Б. А. САДОВСКОМУ

Дорогой Борис Александрович.

Простите, что пишу на клочке. Спешу отправить эту записку с оказией.

Я никак не мог поймать Архипова, но от секретаря узнал, что рассказ Ваш уже набран[1]. Боюсь затянуть дело. Немедленно пишите сами Архипову.

У меня уйма хлопот и неприятностей. Только что послал с Рубановичем и Липскеровым коллективное заявление в Эстетику[2]. Нас обидели, заставив читать в прошлый четверг стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича[3]. Будут большие бои. Заявление составлено в выражениях более чем решительных. Будем требовать публичного извинения.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

9 февр. 915
Москва

13. А. И. ТИНЯКОВУ

[6 мая 1915 г.]

Дорогой Александр Иванович,

писали обо мне много, да либо урывками, либо вздор. (Увы — чем хвалебнее, тем глупее! Исключение — Пяст, который меня выбранил, да глупо.)

Вот Вам список «более значительного»:

А.Тимофеев. «В.Ходасевич». Статья в газете «Руль», 1908, 23 апреля[1].

В.Брюсов. «Дебютанты». «Весы», 1908, № 3.

М.Шагинян. «Счастливый Домик», статья в газете «Приазовский край», 1914, № 71.

Г.Чулков. Рецензия на «Счастливый Домик». «Современник», 1914, № 7.

Н.Гумилев. «Письма о русской поэзии». «Аполлон», 1914, № 5.

Между нами говоря, одна М.Шагинян говорила обо мне по существу, понимая меня и мои стихи[2]. В прошлом году я прочел около 50 отзывов о своей книге. Сплошные (кроме одного Пяста) восторги и — сплошная чепуха. Если не считать Шагинян, то надо думать, что либо обо мне серьезно говорить не стоит, можно и так, à la Кречетов[3], либо критик мой еще не родился...

Статья моя о Бр. — не статья, а заметка, вся соль которой — подразнить редакцию «Софии», где заметка была напечатана[4]. Единственное в ней примечательное — разбор стихотворения «Творчество» (фиолетовые руки на эмалевой стене). Вам она не нужна, да и оттиска у меня, конечно, нет.

О Брюсове я с Вами не совсем согласен. Он не бездарность. Он талант, и большой. Но он — *маленький человек*, мещанин, — я это всегда говорил. Потому-то, при блистательном «как», его «что» — ничтожно... Когда напечатаете статью[5] — *обязательно* пришлите мне оттиск. Я Вам дружески возражу именно в этом смысле.

Куда едете Вы 5 мая? Не будете ли проездом в Москве? Если да — я очень хотел бы повидать Вас. Еще раз мой адрес и даже телефон: Петроградское Правое шоссе, 34. Тел. 59-28.

Пока будьте здоровы. Пишите, буду отвечать.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич.

P.S. «Русская лирика»[6] выйдет через месяц или полтора. Она сверстана.

14. С. В. КИССИНУ (МУНИ)

Москва, 9 авг. 915

Милый, милый мой Муничка,

я не пишу оттого, что плохо, оттого, что устал, и еще — черт знает от чего. Я не хочу сказать, что мне хуже, чем тебе, но когда плохо, так уж все равно, в какой степени. Ей-Богу, человек создан вовсе не для плохого! Страховые агенты — великие люди: они-то знают, что ignis ничего не sanat[1]. Это тайная часть их учения.

Ну, хорошо. Я в Москве устал. Я поехал в Финляндию[2]. Там Елена Теофиловна говорила глупости, гадости, пошлости. «Война — это такой ужас!» Если ужас — так с ужасами надо бороться: ступай, стерва, на фронт! А все дело в том, что Иван Трифонович в обозе. По ее мнению, нет в мире ничего страшнее обоза[3].

Валя любит искусство. В благодарность за гостеприимство я по три часа в день сидел в неестественной позе. Впрочем, каждая поза неестественна, когда пишут твой портрет[4]. «Ну, зачем это?»

Ели грибы. Ловили рыбу. Играли в бридж. Все это отвратительно.

Поехал в Царское[5]. Там Чулков сидит и верует в Бога. «Здрасте». — «Здрасте». — «Вы, наверное, голодны. Пожалуйста, супцу. Кстати, Вы в Бога верите?» — «Благодарю Вас, я супа не ем». — «А в Бога верите?» — «Вот котлетку я съел бы». — «А мы с Мережковскими верим».

Вот я и уехал.

В Москве смешение языков. Честное слово, *совершенно серьезно*: это ни на что не похоже, кроме смешения языков. Один хам говорит: «Вот и вздует, вот и хорошо, так нам (?) и надо». Другой ему возражает: «Не дай Бог, чтобы вздули: а то будет революция — и всех нас по шапке». Третий: «Я слышал, что Брест построен из эйнемовских пряников: вот он, шпионаж-то немецкий». Четвертый (ей-Богу, своими ушами слышал): «Я всегда говорил, что придется отступать за Урал. С этого надо было начать. Как бы “они” туда сунулись? А теперь нам крышка».

Муничка, здесь нечем дышать. Один болван «лю-

бит» Россию и желает ей онемечиться: будем тогда культурны. «Немцы в Калише сортиры устроили». Другой подлец Россию презирает: «Даст Бог, вздуем немцев. Марков 2-ой[6] тогда все университеты закроет. Хе-хе».

Муничка, может быть, даже все они любят эту самую Россию, но как глупы они! Это бы ничего. Но какое *уныние* они сеют, и это теперь-то, когда уныние и неразбериха не грех, а подлость, за которую надо вешать. Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени, но я знаю хотя бы одно: эта самая Россия меня поит и кормит (впроголодь). Каким надо быть мерзавцем, чтобы где-то в проклятом тылу разводить чеховщину! Ведь это же яд для России, худший, чем миллион монополий, чем немецкие газы, чем черт знает что! А российский интеллигент распускает его с улыбочкой: дескать, все равно пропадать. А то и хуже того: вот, навоняю, а культурный Вильгельм придет вентилировать комнаты. То-то у нас будет озон! За-граница!

Когда война кончится, т.е. когда мужик вывезет телегу на своей кляче, интеллигент скажет: ай да мы! Я всегда говорил, что 1) верю в мужика, 2) через 200—300 лет жизнь на земле будет прекрасна.

Ах, какая здесь духота! Ах, как тошнит от правых и левых! Ах, Муничка, кажется, одни мы с тобой любим «мать-Россию».

Я не говорю про тех, кто на позициях: должно быть, там и прапорщик порядочный человек. Но здешних интеллигентов надо вешать: это действительно внутренний враг, на ³/₄ бессознательный, — но тем хуже, ибо с ним труднее бороться. Он и сам не знает, что он враг, так где уж его разглядеть? А он тем временем пакостит, сеет «слухи из верных источников» и т.д. Тьфу, я очень устал.

И вот, подвернулись мне письма Антона Павловича Чехова — Царство ему Небесное, но был бы он жив, я бы его повесил.

Джек Лондон пошляк веселый. А.П. — нудный, унылый[7], как пирушка у Зайцевых.

Боря Грифцов напечатал статью о Боратынском[8]. Ну, он ее написал. Но как Струве ее напечатал? Вздор и туман, жеваная промокашка какая-то.

Стихов у меня нет, каких еще тебе стихов? Отстань, пожалуйста. Рассказ мой дрянь самая обыкновенная. Помесь Стендаля, Андрея Белого, Данте, Пояркова, Брюсова, Садовского, Гете и Янтарева. Я его диктовал, пока Валя писала мой портрет. А ты хочешь, чтобы я тебе о нем писал! Не стану. Я его продаю, да не знаю кому. Переезжаю на новую квартиру. Адрес пока Мишин.

Будь здоров, не хандри и пиши. Злись, да не унывай.

Твой *Владислав.*

Нюра тебя очень, очень, очень целует. Она меня загрызла за то, что я тебе не пишу.

Говорил с ранеными. Честные люди. Я тебе одно скажу: если бы не, если бы не, если бы не и если бы не, — я бы пошел добровольцем.

Смешно? Нет. По крайней мере, вернувшись (тоже, если не), — с правом плюнул бы в рожу ах скольким здешним дядям!

15. Г. И. ЧУЛКОВУ

30.III.—1916

Дорогой Георгий Иванович,

только сегодня я пришел в себя после хлопот и волнений, связанных с призывом. Нюра уже сообщила Вам, чем это кончилось: меня оставили ратником, так что я должен буду являться каждый раз, когда будут призываться ратники уже призванных годов. Это неприятно, но терпимо. Освободили меня по глазам и зубам. Если эти пункты потерпят изменение (циркуляры), то у меня все же останется резерв в виде *более серьезных* моих дефектов, на которые в этот раз не обратили внимания, стараясь, видимо, отделаться более «очевидными» данными. Процедура призыва довольно тяжела, но не так, как я думал. Впрочем, дня два после нее я был болен...

Комиссия невнимательна и тороплива, но *весьма снисходительна*, что избавляет ее от ошибок. Я — при-

мер. Меня освободили вовсе не по тем причинам, по которым должны были освободить, — но освободили. Неверна мотивировка — верен вывод.

Проведя у воинского начальника свои пять часов, я имел достаточно времени присмотреться и прислушаться. *Очень* памятуя о Вас, пришел к *неколебимому и безошибочному* выводу: сидите спокойно в Царском; таких, как Вы (простите!), решительно не берут; они (еще раз простите!) действительно не нужны. То же думаю и о себе и потому надеюсь остаться непризванным до конца. У *«вербовщиков»* наших *нюх* совсем не плохой. Они очень видят, что для командования мы жидки, а для строя — просто смешны. Армия, самая плохая, — беспредельно лучше нас.

Большое спасибо Вам за тревоги о моей участи. Повторяю — я почти бессилен ответить Вам тем же: уж очень нельзя за Вас беспокоиться. Не ездите никуда, сидите в Царском.

Куда рвется Блок? Там поэты не нужны, неуместны, едва ли не смешны. Пушкин был другого склада *человек*, — война была не такая, — а я убежден, что под Эрзерумом он гарцевал прекурьезно. Поезжайте, если хотите, *смотреть*: но *воевать* Вас не позовут, как и Блока[1].

Привет Надежде Григорьевне и моему полутезке. Жму Вашу руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

16. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 22 апреля 1916

Дорогой Борис Александрович.

Я ровно настолько хорошо отношусь к Вам, чтобы иметь и право и обязанность говорить откровенно. Если Вам, как заключаю по письму Вашему, не безразлично мое мнение о Тиняковской истории[1], то вот оно в коротких словах.

Тиняков — паразит, не в бранном, а в точном смысле слова. Бывают такие паразитные растения, не

только животные. На моем веку он обвивался вокруг Нины Петровской, Брюсова, Сологуба, Чацкиной, Мережковских и, вероятно, еще разных лиц. Прибавим сюда и нас с Вами. Он был эс-эром, когда я с ним познакомился, в начале 1905 г. Потом был правым по Брюсову, потом черносотенцем, потом благородным прогрессистом, потом опять черносотенцем (уход из «Северных Записок»), потом кадетом («Речь»). Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Эта способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни дурна, как цвет волос или глаз. В моменты переходов он, вероятно, немножко подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит. Меня лично иной раз от этого и подташнивало, но меня и от Раскольникова иной раз рвет. Поэтому его «исповедь», безотносительно к тому, в какое положение она ставила Вас (я на минуту отстраняю от себя свои личные чувства к Вам), меня не возмутила, как, конечно, и не восхитила. Она была в порядке тиняковщины, только и всего. Но присланная Вами вырезка подла бесконечными своими виляниями, подтасовками и передергиваниями. Это о Тинякове. Теперь о Вас.

«Исповедь» я видал. Вашего возражения не видел[2], но слышал о нем как раз от Гершензона, которому я, на основании «исповеди», высказал предположение, что Вы действительно водили Тинякова к Борису Никольскому[3]. Г-н с моим предположением согласился и сказал, что оно подтверждается и Вашим опровержением в «Биржевке», тем местом, где говорится о *Фете*. Думаю, что с Вашей стороны нехорошо было 1) поощрять трусливое, тайное черносотенство Т-ва и 2) так или иначе способствовать снабжению «Земщины» каким бы то ни было материалом. Это нехорошо, из песни слова не выкинешь. Оправдывал я Вас тем, что многое, по-моему, Вы делаете «так себе», а может быть, и с беллетристическим и ядовитым желанием поглядеть, «что будет», понаблюдать того же Тинякова, ради наблюдения мятущейся души человеческой. Правда, это немножко провокация, но почему-то *не хочется* (а не нельзя) судить Вас строго. Гершензон,

как мне показалось, был со мной вполне согласен[4]. Вас не ругал, по крайней мере при мне. Думаю, что и без меня. Вообще же в Москве об этой истории как-то не говорят, ее почти не заметили. Вас не бранят. Вырезку покажу кому надо. Думаю, что Тиняков сам себя съел.

У меня большое горе: 22 марта, в Минске, видимо — в состоянии психоза, застрелился Муни. Там и погребен.

Меня призывали воевать, но не взяли, оставили ратником.

В письме Вашем неразборчиво: 29-го Вы едете (чудо!) или 23-го? Если 23, то это письмо Вас не застанет. Поэтому хоть открыткой известите о его получении. Молчание буду рассматривать как признак неполучения. Да не черкнете ли (хоть телеграммно), в котором часу и какого числа будете проезжать через Москву? Поезд стоит здесь минут сорок на Курском вокзале. Я бы на Вас поглядел.

Будьте здоровы, не гневайтесь за откровенность и верьте, что я истинно хорошо отношусь к Вам. Где же книга и какая она? Стихи? Рассказы? Статьи?[5]

Ваш *Владислав Ходасевич.*

17. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Мой родной мышь[1],

сегодня, т.е. сейчас, вечер 21 числа. Это письмо пойдет завтра, 22-го, и ты получишь его приблизительно 27-го. Так как отсюда ты едешь к Чулковым, то больше в Раухалу я тебе писать не буду, но напишу Хеле, так что если ты задержишься или письма дойдут скорее, ты все-таки будешь знать, что я жив и здоров.

У меня все благополучно. 6-го числа я переезжаю к Волошиным[2], где за те же деньги будет у меня *тихая* комната с отдельной террасой. Приставать ко мне не будут. Я так и сказал Максу.//Он видел в Петербурге Кулины[3] вещи на выставке. Они ему нравятся.

Статью о Державине пишу, хоть и медленно. Однако завтра-послезавтра распишусь и кончу[4].

Меня очень тревожит, как ты будешь жить в Москве. Но я буду писать тебе каждый день (или почти). О денежках позабочусь. Ах, милый мой зверь, я ничуть не *скучаю*, но по тебе *соскучился*. Ты поймешь, что я хочу сказать. Веди себя так же. Что делать, если бы Медведь совсем умер, мышу было бы хуже. Милый мой, я вас очень люблю.

Да! Сегодня София Яковлевна прислала мне вот какие стихи:

Пахнет в саду розой чайной.
Говорю никому, так, в закат:
«У меня есть на свете тайный,
Родства не сознавший брат.

Берегов, у которых не был,
Для него всех призывней краса.
Любит он под плавучим небом
Крылатые паруса,

И в волну, и по зыбям мертвым
Вдаль идущие издалека...»
Владислав Ходасевич! Вот вам
На счастье моя рука![5]

В этих стихах, ежели вчитаться, много хорошего, но есть и слабое. Мне мило, однако же, что они присланы так, ни с того ни с сего, просто по хорошему чувству. Она милая. Последние две строчки очень хорошие по неожиданности и твердости. Тут, в переходе, есть мастерство и смелость. Если хочешь — вот тебе ее адрес: Феодосия, Таврич. губ., *Судак*. Дача священника Степуро-Середюкова (вот так фамилия). Софии Яковл. *Парнок* (а не Волькенштейн). Того, что в скобках, на адресе писать не надо.

Поклонись от меня Георгию Ивановичу. Всех целую. Тебе ручки и ножки.

Твой *Владя*.

Коктебель
21.VI.916

Ах, Боженька, я теперь буду все время мучиться, как бы ты не умер с голоду, как бы без меня не заплакал, как бы не похудел. Спаси тебя Господь и сохрани.

18. А.И.ХОДАСЕВИЧ

Коктебель, 16.VII.916

Дурак мышь, дурак мышь, дурак мышь! Не смей волноваться о деньгах. Трать, сколько нужно, не трать на лишнее. Мне не посылай, а отдай Федору Егоровичу, если есть лишние. Это будет тебе «на всякий случай». А пролежат до моего приезда — будет хорошо.

Снимись и пришли карточку. Только чтобы нос был большой и усы, а хвоста не надо.

Мише, значит, не говори, что я без корсета. Приеду — скажу, что и этот испортился[1].

Я чувствую себя очень недурно. Опять поправляюсь и оправляюсь от изнурительной поездки в Евпаторию. «До востребования» туда писать не надо было — потому я и не велел. Знал, что вернусь через день.

Здесь я знаменит. О моих приездах и отъездах пишут в газете[2]. Вся Феодосия пишет стихи, — ужасные! Но самый город просто очарователен. Я бы в нем с наслаждением прожил зиму, но, конечно, с Мышом.

По Вас я решительно соскучился, — не стану больше скрывать этого. 666 блондинок и брюнеток, с которыми я познакомился, не в силах развлечь меня. Я их систематически не узнаю. Это ужасно. Фельдштейн[3] тебе говорил, что я поймал полную даму и объявил, что с сегодняшнего дня буду у нее обедать и ужинать. Она робко заметила, что у них на ужин рыба. «Пустяки, — сказал я, — мне вы будете делать котлеты». — «Хорошо», — сказала она. Это было дня два тому назад. Только вчера вечером вполне выяснилось, что это была не хозяйка столовой, а *жена Шервашидзе*![4] Завтра они зовут меня *обедать*! Какой ужас! Это же пытка! Мне кусок в горло не полезет. Весь Коктебель умирает со смеху. Я это напишу Куле.

Саша Койранский[5] сказал бы, что я *путаюсь со здешними дамами*.

Боженька, *кушай* и *не волнуйся*. Насчет квартирного налога — умник сто раз. Я, впрочем, в этом не сомневался: ведь ты уже большой мышь. Сырник тебя целует крепко.

Твой *Медведь*.

Поклон Костям[6]. Добрые пожелания Савиничам по случаю новоселья. Как дела Бориса? Пусть напи-

шет[7]. Получил ли он мое письмо? Давно уже посланное, еще в начале июня. Сто рублей от П. Вас. получил. (Т.е. Макс получил повестку на сто рублей неизвестно от кого. Очевидно, это и есть от П.В.)

Заказал папирос?

19. Б.А.ДИАТРОПТОВУ

18 июля 1916. Коктебель

Дорогой Борис Александрович,

я был очень рад получить запоздалое Ваше послание. Еще более обрадовало меня то, что напасти Ваши, о которых я был весьма наслышан, приходят к благополучному концу.

Я живу благополучно и (тайна государственная даже от друзей!) *пока* бескорсетно. Почему — скучно рассказывать. Ем, пью и сплю. Больше ничего, если не считать занятий славою. В такой мере я еще никогда не был знаменит. О моих приездах и отъездах сообщают в симферопольской газете (они обслуживают и Феодосию). Девушки ко мне льнут. Мальчишки показывают на меня пальцами. Куплетец про меня звучит у меня за спиной, куда бы я ни пошел. 10-го я читал здесь в концерте. Сегодня это письмо опущу в Феодосии, ибо в 5 часов за мной приедет автомобиль (моторную лодку я отослал обратно). Буду читать в концерте феодосийском[1]. Его устраивает здешнее военное и гражданское начальство. А 24-го учащиеся девушки умоляют читать в их пользу. Я становлюсь похож на Плевицкую[2].

Все это не совсем ни к чему: я сделал несколько знакомств, которые могут оказаться чрезвычайно полезными, если только феодосийцы — не коварные обманщики.

Мои ближайшие друзья: 1) начальник Феодосийского порта — Шурик[3]; 2) Кедров, профессор Петербургской консерватории, — глуп как сивый мерин; 3) один военный врач здешний, очень милый и обязательный человек; 4) Дейша-Сионицкая (пусть Алексан-

дра Ионовна хрустит от зависти!) — старая идиотка[4]; 5) шестнадцать сладострастных вдов призывного возраста. Все — ученицы Дейши; 6) мировой судья феодосийский, прямой потомок Перикла, поэт, коллекционер, дурак круглый. Враг личный Вашего врага Ал.Толстого: тот его «описал» со всеми потрохами[5]; 7) Макс Волошин, мистический гурман; 8) его мать, умная старуха и хорошая[6]. Пальца в рот не клади; 9) Мандельштам[7]. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское; 10) Львова[8], композиторша, бельфамша, *дочь* «Боже, царя храни»[9]. Собирается делать из меня романсы. Я отвиливаю; 11) барон Кусов. Кавалерист. Ранен. Блистателен. Юн. Вся карьера впереди. Поит меня шоколадом. Самая что ни на есть лейб-гвардия. Свой человек там, куда меня еще не приглашали.

И все-таки 15-го августа меня оторвут от плуга! что-то будет? В крайнем случае отправлюсь на фронт в качестве французских чернокожих войск. Только этим и утешаюсь. У меня руки черные, а не коричневые. Но все-таки Крым — дрянь порядочная. Это мое последнее слово. Со временем мы с Вами махнем на Сицилию.

Пишите, пожалуйста, о себе. Поклонитесь Александре Ионовне. Пусть она *непременно* напишет мне.

Целую Вас нежно.

Владислав.

P.S. Спросите у А. И., почему мамочка до сих пор не прислала мне новую шляпу?[10]

Что Мура? Не изменяет ли мне? Полнеет ли?

Я не сомневаюсь, что Вас отсрочат, — а все-таки пишите, как дела.

Спасибо. Газету получаю.

В.

20. С. Я. ПАРНОК

Милая София Яковлевна,

вот Вам сведения обо мне. Латинское слово, которое Вы забыли, не поняв, — спондилит. Означает оно все тот же добрый, старый туберкулез позвоночника. Но дело в том, что крымские доктора вздумали усомнить-

ся в том, есть ли он у меня. Это было бы радостно, если бы от сомнений перестала болеть спина. Но она болит по-прежнему. По-прежнему я недурно чувствую себя при здешнем режиме, но знаю, что в Москве соблюсти что-нибудь ему подобное будет трудно.

Типун Вам на язык! «Саркома»! Нет ее у меня, слава Богу, решительно нет, — а то бы дело плохо. Саркоме одно лечение: вырезывают *всю* кость. А вырезать целый позвонок — то же, что отрезать голову. Саркома позвонка! — да я бы уже давно лежал на Введенских горах.

Здесь никаких новостей.

Я ничего не делаю. За все это время написал статью о Державине — и только. Сегодня сажусь «переводить» еврейскую поэму[1]. Потом буду писать статью об умершем недавно моем друге Муни (Киссине) — для сборника его стихов[2].

Сам стихов не пишу. Это меня очень печалит.

Знаете ли? — Мандельштам не умен, Ваша правда. Но он несчастный, его жаль. У него ущемление литературного самолюбьица. Петербург его загубил. Ну какой он поэт? А ведь он «взялся за гуж». Это тяжело. Т.е. я хочу сказать, что стихи-то хорошие он напишет, как посидит, — а вот все-таки не поэт. Это несправедливо, но верно.

Милая София Яковлевна, у меня нет бумаги, кроме этого клочка, в Бубны[3] идти не хочется, — а главное, трудно и «лениво» мне *писать* всякие вещи о моих смертельных мыслях. Если сдержите обещание и приедете, мы с Вами поговорим. Право, это все гораздо проще и утешительнее, чем Вам кажется сейчас, издали. Главное — мысли мои не только уживаются, но и прочно дружат с «усиленным питанием».

Кроме того, расскажу еще кое-какие вещи, которых не хочу доверять бумаге. Пожалуйста, приезжайте. С тех пор, как уехали Эфрон[4] и Фельдштейн, я совсем один, — хуже того: болтунов много, а людей нет. Есть ли у Вас обратный билет железнодорожный? Когда едете? Пишете ли стихи? Все это Вы мне напишите. Фельдштейн говорил, что вид у Вас неплохой. Пожалуйста, отлеживайтесь и отъедайтесь напоследок. Будьте здоровы.

Владислав Ходасевич.

Коктебель, 22 июля 916

21. М. А. ВОЛОШИНУ

Дорогой Максимилиан Александрович,

я со дня на день собирался писать к Вам, но так затруднительно эти дни устроены, что вот — насилу выбрался.

О делах. Я навел самые обстоятельные справки. Оказывается, при печатании книг сейчас среднюю цену одного листа при тысяче экземпляров надо исчислять от 70 до 100 рублей, то есть не дороже того, что предполагали мы с Вами в Коктебеле. (Мы считали по 100 р.) Но говорят, что цена эта может слегка колебаться в ту и в другую сторону, скорее даже в сторону удешевления, которое почему-то ожидается. Примите это к сведению.

О себе.

Я, кажется, пока что побиваю все рекорды трудоспособности. Перевел-таки злосчастную еврейскую поэму (340 стихов!); переделал статью о Державине; написал статью для «Известий Кружка» («Стихи на сцене»[1]); перевел сто страниц Стендаля[2]; обстоятельно выправил (по существу) корректуру большой статьи о Ростопчиной; почти (увы!) написал 2 стихотворения[3]; смастерил рецензию для «Утра России» и 2 для «Русских Ведомостей»[4], в которые вернулся; выкроил стихотворную пьеску для «Летучей Мыши».

Если скажете, что этого мало — да будет Вам стыдно.

Новости о гонорарах: плохи. Об авансах — лучше.

Белый в Москве. Призывался и получил трехмесячную отсрочку. Я его еще не видал. Он привез готовый роман, автобиографический, по словам Гершензона[5].

Вяч. Иванов еще на Кавказе. Он перевел за лето четыре трагедии Эсхила[6]. Брюсов, говорят, писал об «Anno mundi ardentis» в «Русских Ведомостях» — нежно[7]. Я не читал.

Больше новостей не знаю.

На днях Вы призываетесь, — но это меня не тревожит.

Видел Эфронов, Оболенских и Михаила Соло-

моновича. Они все живы, благополучны и любят Вас.

Гершензоны меня расспрашивали о Щекотихине[8], нашем друге. Они его крепко не любят. Мне же пришлось за него вступаться: все-таки почти двойник.

Будьте здоровы. Напишите, что́ делаете и как живете. Кончен ли Суриков?[9] Цела ли Феодосия?

Низкий, низкий поклон Елене Оттобальдовне. И ей, и Вам большое и сердечное спасибо за летнюю дружбу.

Обнимаю Вас.

Владислав Ходасевич.

Нюра шлет привет и тоже благодарит. Пожалуйста, пишите.

Москва
19 окт. 916

22. КОРНЕЮ ЧУКОВСКОМУ

Многоуважаемый Корней Иванович,

я Вам очень признателен за предложение — и постараюсь прислать что-нибудь, — не сию минуту, конечно, ибо сейчас ничего подходящего у меня нет.

Сколько я ни думал о том, кто бы еще из московских поэтов мог Вам пригодиться, — никого, кроме Марины Цветаевой, не придумал. Позвонил к ней, но она уже сама получила письмо от Вас. Она говорит, что могла бы здесь подойти Любовь Столица[1], — и даже собирается к Столице обратиться. Поговорю еще с Парнок. Больше, кажется, в Москве нет никого. «Великих» Вы сами знаете — а не великие могут писать только или экзотическое, или заумное. Я же, повторяю, постараюсь быть Вам полезным.

Преданный Вам
Владислав Ходасевич.

Москва
13/XI 916

23. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 26.I.—917

Дорогой Борис Александрович,

мне очень стыдно затруднять Вас просьбой, и я бы никак не решился сделать это ради себя. Но дело идет не обо мне.

Вчера отправлен к Вам в Нижний, в какую-то студенческую распределительную школу прапорщиков, мой добрый знакомый, умный и хороший человек, Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой (Вы с ним летом встретились у Нюры). Человек он совсем больной, не очень умеющий устраивать свои дела, к тому же не имеющий в Нижнем знакомых. Я решился дать ему Ваш адрес. Так вот, если он к Вам за чем-нибудь обратится, — не откажите ему в дружеской услуге и внимании. Может быть, он воспользуется Вами для устройства хождения в отпуск или чего-нибудь в этом роде. Может быть, ему предстоят какие-нибудь комиссии и проч.: используйте же и в сем случае то влияние, которое есть у Вас и у Вашей семьи в Нижнем. Повторяю, это человек больной, как мы с Вами. Его жаль душевно. Все, что Вы сделаете для него, — Вы тем самым сделаете для нас с Анной Ивановной. Еще раз простите, — но мне Эфрона мучительно жаль. Он взят по какому-то чудовищному недоразумению.

Если Вам не чересчур трудно — черкните пару слов о себе, главное — о здоровье. Что пишете и замышляете?

О себе писать прямо не могу: нелюбопытно. Занят, занят, занят — а толку не вижу. Пишу статью о Пушкине[1], перевожу Стендаля, написал пяток макаберных стихов[2]. Видали Вы первую книгу альманаха «Стремнины»?[3] Там Брюсов «докончил» «Египетские ночи». Посмотрите.

Не собираетесь ли в Москву? Приезжайте, ежели можно. Я живу без сверстников, это скучно.

Ну, будьте здоровы. Обнимаю Вас и прошу не забывать Вас сердечно и неизменно любящего

Владислава Ходасевича.

Нюра шлет привет и тоже справляется о здоровье. Право, мы Вас вспоминаем чаще, чем Вы думаете.

Не забудьте же Эфрона!

Ах, Русалка!.. Ах, Скупой рыцарь! Ах, Борис Садовской!..

24. Б. А. САДОВСКОМУ

15 декабря 1917
Москва

Дорогой Борис Александрович,

сердечное Вам спасибо за книжку[1]. Шла она ко мне без малого сто лет. Нужны ли Вам мои похвалы? Скажу все-таки, что есть в ней прекрасные стихи, — «Памятник», например. Холодновата она местами — да уж таков Садовской. Вероятно, ему и не надо быть иным.

Многое из того, что в ней сказано в смысле «политическом» (глупое слово), — как Вы знаете, для меня неприемлемо по существу. Но это все вопросы такие огромные, что о них поговорим при свидании. Не ругайте за то, что не побывал у Вас. Виноваты: хворь моя, Гершензон, говоривший: «пойдемте вместе!» да так и не собравшийся, гнусное житье вообще. Но я уверен, что мы еще с Вами не только наговоримся, но и надоедим друг другу. Не приедете — сам приеду, помяните мое слово. Дайте вот только перемолоться муке́. Верю и *знаю*, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских[2] и Гучковых[3], а России Садовского и... того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная *трудовая* страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на *земле*, — а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому-сыну, праправнуку Лихутина[4], придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я. Очень хорошо, если к идолу Садовского[5] будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели и полущат

у подножия сего истукана семечки. Но не хочу, чтобы вокруг него был разбит «сквер» с фешенебельным бардаком под названием «Паризьен» (Вход только во фраках, презервативы бесплатно). Сквер — штука скверная, это доказуемо и филологически, как видите. Туда ездят в автомобилях.

И кое-что из *хорошего* будущего мы еще с Вами увидим. А пока обнимаю Вас и прошу простить за сумбурное письмо. Пожалуйста, известите о здоровье.

Ваш *Владислав Ходасевич*.

Нюра Вам шлет привет, помнит Вас и любит.

25. Л. Б. ЯФФЕ

Суббота, 23 марта <1918 г.>

Дорогой Лев Борисович,

я Вам пишу, можно сказать, с того берега[1]. Новая моя служба — каторжная[2]. Я буду занят сегодня до 4-х, но в 5 у меня заседание у Толстого[3], очень важное. Вечером буду болен. В воскресенье до 4-х я на службе, а вечером читаю в концерте[4]. В понедельник я на службе с 2 до 4 и с 7 до 2 вечера. Итого, приду к Вам во вторник, под вечер. Ах, если бы к тому времени была у нас вся корректура и мы могли бы заняться версткой! Не сердитесь, если все это задержит нас на 2-3 дня. У меня плохо на душе, я устаю и нервничаю. Да что же делать! Большой литературной работы у меня сейчас нет, мелочами не проживешь. «Русские Ведомости» — и <нрзб.> меня выгнали, а «Власть Народа», из-за которой выгнали, — дрянь, на нее рассчитывать нельзя. Вот и все. Нюра мне говорила, как Вы приняли близко к сердцу мои маленькие печали. Большое, большое Вам спасибо, — а Нюре досталось за то, что она Вас тревожит. Я не хотел Вам ничего говорить, а ее не предупредил, чтоб она молчала. Присланные стихи еще не смотрел, ибо голова ничего не варит. Пожалуйста, если у Вас есть что-нибудь сообщить мне, черкните и перешлите с подательницей этого письма. Но денег, которые оставил у Вас для меня Соболь[5], ей *не*

давайте, ибо она их обязательно потеряет. Когда я выросту большой-большой, как дом, — я буду устраивать свои дела лучше.

Пожалуйста, выздоравливайте. Соболь говорит, что Вам лучше. Правда это? Обязательно напишите о себе.

Привет Фриде Беньяминовне.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

P.S. Хуже всего в моей службе то, что я в ней ровно ничем не интересуюсь, а она все время требует умственного напряжения. Ну, представьте, что Вас заставили бы целый день стоять у окна и складывать номера проезжающих извозчиков: 1427... 3218... 10508... А извозчиков много, а цифры путаются, а голова думает совсем о другом.

26. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Воскресенье, 6 октября 1918. Петербург

Милая Анюта, Боженька, Мышь впятером.

Сегодня уже воскресенье, а еще ничего верного сообщить тебе не могу. Тут за что ни возьмись — приходится выжидать. Модзалевского[1] увижу только завтра. С Горьким важные разговоры можно будет вести не раньше вторника[2]. Надеюсь, что все устрою, но как и что — решительно еще не знаю. К тому же политический момент сейчас такой, когда все склонны ждать, топтаться на месте и проч.

Женя за мной ухаживает, очень мила. Кормит в пределах здешней возможности на совесть. Наташа[3] со мной нежна чрезвычайно.

Петербург уныл, пуст, мрачен. Погода серая, но не мокрая. Я пишу пролог для театра. Вероятно, дня через два кончу и отошлю. Сегодня, может быть, пойду на митинг, где будут выступать Луначарский, [Зиновьев] и т.д. Оттуда пойду к Горькому играть в лото. Однажды уже играл и, конечно, выиграл.

Я тебя очень люблю. Купил тебе подарок: элект-

рическую кипятилку: здесь дешевле. Она очень изящна и действует отлично.

Ну, будь здоров, мой родной. Я по тебе уже соскучился. Пожалуйста, *кушай*. Поцелуй Гарьку, Хелю, Валю и Дидишу[4], ежели они еще в Москве. Что Миша? Что лавка?[5] Пиши. Целую Вам ручки и ножки.

Женя и Наташа тебя целуют.

Медведь.

Здесь папиросы «Ада» и пр. — 3 рубля, а не 5, как в Москве. Выкуриваю в день *меньше* коробки. Ай да я! Зачислили меня во вторую категорию. Ай да я!

27. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 24 марта 1919 г.

Дорогой Борис Александрович,

конечно, Вам ничего бы не стоило хоть изредка уведомить меня о своем здоровье, о том, что делаете и проч. Да видно, Вам лень — ну и Бог с Вами. По бланку этого письма можете Вы судить о том, что есть в Петербурге «Всемирная Литература». Во главе ее стоит Горький, издает она переводы, я наряжен править ее Московское отделение, но все это не любопытно. Есть тут у нас с Гершензоном затеи полюбопытнее, но когда и чем они кончатся — одному Богу ведомо. Живем как полагается: все служим, но плохо, ибо хочется писать, а писать нельзя, потому что служим. У Белого уже истерика, у меня резиньяция с примесью озлобления.

Валерий записался в партию коммунистов[1], ибо это весьма своевременно. Ведь при Николае II — он был монархистом. Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это неверно: он не подлец, а первый ученик. Впрочем, у нас в гимназии таких били без различия оттенков. Младший брат[2] его вернулся из плена, изучив там шестьсот шестьдесят шесть языков, коим не может найти применения, ибо кроме него на сих языках говорят одни католические миссионеры, побывавшие в Центральной Африке. Но миссионеры

съедены еще до введения карточной системы. Из сего благоволите заключить, что я не подобрел, а Саша не поумнел.

Некий Абрамов[3] издает в Москве журнал «Москва», двухнедельный, почтенный и скучный. Пишут в нем уважаемые покойники: Валерий, Бальмонт, Ремизов, Блок, я. Если у Вас есть хорошенький гробик червей на 300-400, то я уполномочен просить Вас присоединиться к нашему обществу. Получите не меньше как по рублю за червя, тотчас по прибытии гроба в кладбищенскую часовню, сиречь в редакцию. Послать можете мне, кистер мне приятель. Это только фасон говорить дурашный, а просьба серьезная и почтительная.

Меценат лавочку свою прикрывает. Служит экспертом по заключению договоров с авторами в Театральном отделе. Убили бобра!

Пишите же, пожалуйста, о себе, пришлите рассказ, лучше всего по адресу «Всемирной Литературы». Обнимаю Вас, Нюра кланяется, Фемистоклюс[4] тоже.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

28. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 3 апреля 1919 г.

Дорогой Борис Александрович.

О состоянии Вашем давно я привык судить по почерку. На сей раз он очень меня порадовал. Да здравствует эшафот: оказывается, это панацея![1]

Жаль, что не хотите писать в «Москве». Но раз таков зарок, я, конечно, молчу[2].

Понимать я Вас, сколько умею, пойму: это лирически. А практически, простите, не беру в толк. Что жизнь надобно перестроить, Вы согласны. До нашего времени перестройка, от Петра до Витте[3], шла сверху. Большевики поставили историю вверх ногами: наверху оказалось то, что было в самом низу, подвал стал чердаком, и перестройка снова пошла сверху: диктатура пролетариата. Если Вам не нравится диктатура по-

мещиков и не нравится диктатура рабочего, то, извините, что же Вам будет по сердцу? Уж не диктатура ли бельэтажа? Меня от нее тошнит и рвет желчью. Я понимаю рабочего, я по-какому-то, может быть, пойму дворянина, бездельника милостию Божиею, но рябушинскую сволочь, бездельника милостию собственного хамства, понять не смогу никогда. Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых[4], Чулковых и прочую «демократическую» погань[5]. Дайте им волю — они «учредят» республику, в которой президент Рябушинский будет пасти народы жезлом железным, сиречь аршином. К черту аршинников! Хороший барин, выдрав на конюшне десятка два мужиков, все-таки умел забывать все на свете «средь вин, сластей и аромат». Думаю, что Гавриил Романович мужиков в «Званке»[6] дирал, а все-таки с небес в голосах раздавался[7]. Знаю и вижу «небесное» сквозь совдеповскую чрезвычайку. Но Россию, покрытую братом Жанны Гренье[8], Россию, «облагороженную» «демократической возможностью» прогрессивного выращивания гармонических дамских бюстов, — ненавижу как могу. А боюсь, что молодежь Ваша к тому идет. Вот что страшно. Я понял бы Вас, если б Вы мечтали о реставрации. Поймите и Вы меня, в конце концов приверженного к Совдепии. Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно. Вот Вам и все.

Неправда, что Розанов[9] умер с голоду. Его коллекция была у него. Я сам передал ему три тысячи, которые выпросил у Горького. Давали ему денег еще какие-то лица и организации. После него осталось тысяч на 15 бумаги (книжной); о каком же голоде можно говорить? Страдал он морально: этому верю и это уважаю. Еще страдал курьезно: от отсутствия кур и творогу. И это понимаю. Но от гурманской грусти до голодной смерти так же далеко, как от нас до добровольческой армии, в которой где-то находится Юрий Никольский[10]. Все сии сведения, как о Розанове, так и о Никольском, подтвердит Гершензон, который Вам шлет привет.

Анна Ивановна Вам пишет особо сегодня же. Эдгар учится в Единой трудовой школе. Таблицу умножения уже забыл. Снег швырять с крыши еще не научился. Это переходный возраст.

Вы буржуй, ибо пишете. Я вот так занят, что работать мне некогда.

Белого трудно поймать: поэтому, чтобы не откладывать письма, пишу Вам, еще с ним не повидавшись. Но надеюсь, что на днях ухвачу его за шиворот и заставлю Вам написать. Впрочем, заранее уверен, что он с Вами во всем согласен — вплоть до ближайшего несогласия.

Ну, прощайте пока, пишите. Коли можно, пришлите стишков для чтения «в кругу семьи».

Обнимаю Вас.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

29. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 10 февраля 1920 г.

Дорогой Борис Александрович.

Я был бесконечно рад получить Ваше хорошее письмо. Признаюсь, что не писал Вам вовсе не оттого, что собирался «порывать» с Вами. Усталость, занятость, чрезвычайная трудность московской жизни — вот действительные причины моего молчания. Признаюсь еще в том, что, даже получив Ваше письмо, я не верил в возможность разрыва. То, что нас связывает, во много раз прочнее и неизменнее всего, что могло бы разъединить. В некотором смысле у нас с Вами общая родина: «Отечество нам — Царское Село»[1].

Просить у меня прощения Вам почти не за что. Немного обидно мне было прочесть Вашу фразу: «Я не знал, что Вы большевик». Быть большевиком не плохо и не стыдно. Говорю прямо: многое в большевизме мне глубоко по сердцу[2]. Но Вы знаете, что раньше я большевиком не был, да и ни к какой политической партии не принадлежал. Как же Вы могли предположить, что я, не разделявший гонений и преследований, некогда выпавших на долю большевиков, — могу примазаться к ним теперь, когда это не только безопасно, но иногда, увы, даже выгодно? Неужели Вы не предполагали, что говоря *Вам* о сочувствии большевиз-

му, я никогда не скажу этого ни одному из власть имущих. Ведь это было бы лакейство, и я полагаю, что Вы не сочтете меня на это способным.

Ну, да все это пустяки. Поставим на этом крест — и конец. Еще очень рад я Вашему доброму душевному состоянию. Дай Бог, чтоб оно углублялось и крепло. Еще дай Бог — нам с Вами поскорее увидеться. Тогда, может быть, Вы услышите от меня слова, которые писать долго и трудно, но которые многое Вам во мне объяснят, хотя, пожалуй, покажутся как будто противоречащими моему «большевизму».

В Вашем сборнике с удовольствием приму участие. Когда надо будет прислать стихи — черкните. На ближайших днях выйдет моя книга[3]. Тотчас, конечно, пришлю Вам.

Ваше письмо передал Белому в тот же день, как сам получил его от Гершензона.

«Ты сплетен ждешь, царица? — Нет их!»[4] — то есть и есть, да скучные. Сплетен не стало, остались одни дела. Впрочем, как-нибудь на досуге посплетничаю. Жду подробностей о Вашем житье. Анна Ивановна Вас целует, Эдгар тоже. Все мы Вас очень помним и очень любим.

Обнимаю Вас крепко.

Ваш всей душой

Владислав Ходасевич.

О здоровье не пишете! Но радуюсь хорошему почерку.

30. Б. А. САДОВСКОМУ

Москва, 27 апреля 1920

Дорогой Борис Александрович,

Вы, вероятно, негодуете на меня за молчание и неисполнение поручений. Но я не столь плох, как Вам кажется. Слушайте. Мне не хотелось *писать* Горькому о Вашем деле: не по лености не хотелось, а по тактическим соображениям. Наконец дождался я его приезда и в первое же свидание сделал то, что мог. Посылаю Вам письмо Горького нижегородским исполком-

щикам. Он говорит, что письмо (с которым Ваш батюшка[1] должен *сам* туда отправиться и переговорить с *председателем* Исполкома) должно подействовать... Необходимое примечание: в начале горьковского письма сказано: «Прилагая при сем письмо гр. Ал.Садовского». Здесь подразумевается прилагаемая записка Вашего батюшки, которую я показывал Горькому. Пожалуй, будет лучше, если Ваш батюшка перепишет эту записку, оставив в ней все по-прежнему, но *смягчив редакцию* последней фразы (но *сохранив* ее смысл).

Согласно Вашему желанию, я совершенно не упоминал Горькому о Вас. Он только спросил сам, идет ли здесь дело о Вашем отце. Я сказал «да» — и ничего больше.

Буду бесконечно рад, если Вам удастся уладить дело. Пожалуйста, известите меня о результатах.

Теперь второе. Никаких книг я Вам не достал. Книжную Лавку писателей (из которой я, впрочем, вышел еще в сентябре), кажется, на днях прихлопнут. Там паника, безумные цены и отсутствие нужных книг. «Логоса» нет, издание Сабашникова рублей по 600 за том и т.д. Однако помню Ваши нужды, и если что подвернется — добуду.

Теперь вот еще что. Думаю, что необходимо Вам стать членом нашего Союза[2]. Это дает кое-какие блага, вроде *охраны библиотеки*, а может быть, и пайка. На днях все частные книгохранилища, сверх 500 томов, будут изъяты от владельцев во всей России. Члены Союза получат охранные грамоты. Поэтому пришлите-ка заявление по следующей форме.

Во Всероссийский Профессиональный
Союз Писателей

Такого-то, живущего там-то.

Прошу принять меня в число членов Союза. Имею такие-то печатные труды. (Перечислите несколько своих книг.) Рекомендуют меня такой-то и такой-то. (Две фамилии, лучше всего из числа следующих: Гершензон, Ходасевич, А.М.Эфрос, Ю.К.Балтрушайтис.) Ваша подпись.

За необходимость «рекомендации» не вздумайте обидеться. Это формальность, необходимая по уставу для всех, кто не состоял в числе членов-учредителей.

Было курьезно, когда мне пришлось «рекомендовать» Горького и Брюсова. Заявление пришлите мне. Я дам его подписать «рекомендателям» и передам куда следует. Настоятельно советую сделать это *как можно скорее*.

О себе сообщу только то, что лишь 2-3 дня, как встал. Пролежал 7 недель. Был у меня фурункулез: 40 нарывов на всем теле, один за другим[3]. Измучился и оброс бородой, что уморительно. Мои Вам кланяются. Будьте здоровы. Очень по Вас соскучился.

Обнимаю Вас

Владислав Ходасевич.

«Всемирная Литература», Знаменка, М. Знаменский, 8, кв. 10.

31. Г. И. ЧУЛКОВУ

<Сентябрь 1920 г.>

Ей-Богу, мне не до стихов,
Не до экспромтов — уж подавно.
Однако ж было б очень славно,
Когда бы эдак в семь часов,
Иль в восемь, или даже в девять
(Мы заняты ужасно все ведь) —
Зашли Вы Нюру повидать.
Она устала и тоскует,
Из здравницы[1] вернувшись вспять,
Затем, что здравница... пустует.
«Продуктов нет» — так рапортует
Хор нянек праздных... А пенять
Лишь на судьбу рекомендует.

Я потому занялся сочинением сей баллады, что хотелось посидеть подольше: нет сил встать и идти.

Однако зайдите, если можете. Надо подумать, а мы уж и думать сами не можем. Так все запуталось.

В.Х.

32. М. ГОРЬКОМУ

Многоуважаемый Алексей Максимович,

обстоятельства так сложились, что я сейчас не могу приехать сам и потому посылаю жену, поразведать точнее о возможности нашего переселения в Петербург[1]. Работу себе я надеюсь найти по приезде, были бы только силы, — а сейчас поручаю жене выяснить вопрос о возможности получить квартиру, отопление и проч. Если при разрешении этих вопросов понадобится Ваш совет или помощь — очень прошу о том и другом. Чувствую, что Москва мне сделалась не по силам: изжита, как теперь выражаются, и материально, и психологически. Работать я здесь не могу — и это меня мучит. Итак, примите участие в кратком семейном совете моей жены с Валентиной. Этим Вы меня еще раз глубоко обяжете.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

1920, 2 октября
Москва

33. П. Е. ЩЕГОЛЕВУ

Многоуважаемый Павел Елисеевич,

жена моя отправляется на разведки, выяснить возможность нашего переселения в Петербург. (Сам я сейчас не могу приехать.) Обстоятельства разных порядков — житейския и психологическия — гонят меня из Москвы. Горький сулит мне в Петербурге всякие блага земные. Это хорошо, но благ небесных он мне не даст, а без них трудно. Тут-то и хочется мне попросить совета у Вас. Скажите моей жене, а еще лучше — черкните пару слов вот о чем: как Вы думаете, сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю заняться, и это единственное, что меня сейчас может «среди мирских печалей успокоить»[1]. Если бы оказалась возможность

работать в непосредственной близости к Вам — это было бы мне всего приятнее. Кое-какой навык у меня есть, самая близкая мне область — поэзия Пушкинского века... Вы меня глубоко обяжете, если уделите несколько минут внимания моему вопросу.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

Москва. 3.X.—920

34. М. ГОРЬКОМУ

Москва, 15 ноября 1920 г.

Многоуважаемый Алексей Максимович,

завтра я окончательно уезжаю в Петербург[1], так и не закончив дела с получением пайка, ибо Брюсов сказал, что оно все равно затянется *на несколько месяцев*[2]. Беда в том, что Покровский[3], узнав, что я уезжаю, вздумал передать мой паек кому-нибудь из ученых. Это совершенно нелепо и несправедливо и юридически, и морально. 1) Я получаю паек индивидуально, по постановлению Совнаркома (от 23/XII 1919) — и лишить меня его может только Совнарком, или суд, — но ведь переезд в Петербург не преступление и карать за него голодом нельзя. 2) Сидеть несколько месяцев без пайка из-за чисто канцелярского затруднения (как перевести) — сущая дикость. 3) Непристойно отнимать у человека паек только потому, что этот паек остается без призора: немыслимо отдавать ученым то, что плохо лежит у писателей. 4) Гуревич[4] перевела свой паек в Москву, а Павлович[5] — в Петербург: они поменялись. Мне говорят: поменяйтесь и вы. Значит, паек сохраняет за собой тот, кто сможет поменяться с товарищем, а кто не сможет — сиди голодный, пока не поймаешь переселенца. И уж тогда Покровский бессилен. Все чушь, чушь и чушь.

Луначарский говорит, что я прав, Брюсов тоже, но вот, им все-таки надо что-то «обсуждать».

Вы меня бесконечно обяжете, если разъясните им всю нелепость положения по существу и скажете, что

столь ответственным лицам просто стыдно совершать ими же признаваемые несправедливости в силу одних только канцелярских трудностей. Это хорошо для советских барышень. А уж о Покровском не знаю, что и сказать.

Очень прошу извинить меня за постоянные просьбы, — да что же делать. Вы можете прикрикнуть там, где я смиренно докладываю. Меня слушают, со мной соглашаются — и ничего не делают.

Всего хорошего. Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

35. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

[23 ноября 1920 г.]

Дорогой Борис Александрович, мы добрались и осели. Что будет дальше — не знаем. Впрочем, *весь* город взволнован нашим прибытием. По улицам — курьеры, курьеры, курьеры. Погода чудная. У нас не квартира, а дворец: 119 комнат, дров — 768 сажен. Петрокоммуна прислала мне золотой венок. На обороте — тип здешних женщин. У меня 24 любовницы из высшего здешнего общества. Едим исключительно бананы и запиваем хересом. Нюра жалуется, что бриллиантовая диадема, которую она носит, ей тяжела. Пустяки, привыкнет. Будьте здоровы. Обнимаю Вас, Ал. Ион., Соф. Сем.[1], и Ольге Алекс.[2] — поклон. Нюра всех целует.

Владислав.

P.S. Что я буду здесь делать без галош — просто ума не приложу! Наш адрес, собственно, прост: Петербург, такому-то. Но, для точности, — лучше пишите так: Садовая, 13, кв. 5.

36. Г. И. ЧУЛКОВУ

Меня ужасно огорчило, дорогой Георгий Иванович, известие о Вашей тяжелой болезни. Ну что ж это такое, на самом деле? Отчего нам с Вами так плохо живется? Впрочем, конечно, и болезни мои, и беды пустячные по сравнению с Вашими. Однако живу здесь уже больше месяца, а еще ни дня, ни минуты отдыха и покоя не видел. И до ужаса стыдно мне, что за месяц не выбрался к Брокгаузу—Ефрону[1] — и все же совесть моя перед Вами чиста: буквально нет дня без неотложного, за глотку хватающего дела, на которое уходит весь день без остатка, пока я не валюсь на диван в окончательном изнеможении... Впрочем, я половину дней, не меньше, просто просидел дома, обмотанный бинтами и компрессами.

Литературного Петербурга я не видал, да его, конечно, и нет. Враздробь видел многих, но мельком, урывками. Люди — везде люди, да простит их Господь, но, кажется, у здешних более порядочный тон, чем у москвичей. Здесь как-то больше уважают себя и друг друга; здесь не выносят непогрешимых приговоров, как в Союзе Писателей; не проповедуют морали общественной — с высоты Книжной Лавки; писатели созывают публику слушать их стихи, а не глазеть на очередной скандал; здесь не покровительствуют друг другу, как друг наш Бама Эфрос, здесь не лезут в высокопоставленные салоны... Т.е., быть может, и здесь делается все это, но как-то не только это, да и пристойнее как-то.

Ну вот, попробую здесь существовать, если уцелею от болезней и неприятностей.

Простите. Всего Вам хорошего, т.е. здоровья: ах, как я научаюсь ценить его!

Сердечно Вас обнимаю. Поклон Надежде Григорьевне и просьба: если есть у Вас новые стихи, то пусть она перепишет (поразборчивее!) — и пришлет мне. Я сам не пишу, конечно.

Ну, еще раз — будьте здоровы.

Владислав Ходасевич.

21 декабря 1920
Петербург

37. Г. И. ЧУЛКОВУ

Дорогой Георгий Иванович,

я целую неделю лежал, сейчас встал, ибо чувствую себя несколько сноснее, — но завтра будут мне резать шею; может быть, придется на несколько дней остаться в лечебнице.

Жаль мне Вас очень; уверен, что Вам не хорошо в Москве, но переезжать сюда решительно не советую, и вот почему:

1) Единственный способ устроиться здесь сытно, это — читать лекции матросам, красноармейцам и милиционерам, обязательно местах в пяти-шести одновременно. Но это — ужасающая трепка с Охты на Галерную, оттуда к Финляндскому вокзалу и проч. Этого Вам не выдержать, как и мне.

2) Академический паек Вам не переведут сюда меньше чем в три-четыре-пять месяцев. Я еще не добился — и сижу без него. Кроме того, он гораздо меньше московского: 45 фунтов хлеба вместо 35 фунтов муки, фунта 4 масла вместо 6, фунтов 15 селедок вместо 20 фунтов мяса, почти нет папирос, 1 фунт сахару и т.д.; крупы тоже вдвое меньше.

3) В Доме Искусств *все* комнаты заняты. Нам дали 2, ибо у нас Эдгар. Для Вас максимум — одна, но и той не получите. Мне пришлось поднять на ноги Горького и всю силу его. Горький сюда звонил и грозил. В результате я *реквизировал* комнату Цензора[1], который слишком медлил въехать в нее, и занял комнату, назначенную для приезжающих на краткий срок. Между тем вне Дома Искусств сейчас нельзя добыть дров даже за деньги, ибо боятся их перевозить.

4) — и, может быть, самое важное: повальный эстетизм и декаденство. Здесь говорят только об эротических картинках, ходят только на маскарады, все влюблены, пьянствуют и «шалят». Ни о каких высоких материях и говорить не хотят: это провинциально. И волна эта захлестнула, кажется, даже Блока. Об его синем домино рассказывают, как о событии дня[2].

Нет, не переезжайте. Вам будет здесь голодно физически и приторно для души. Особенно, пожалуй, будет здесь не по себе Надежде Григорьевне. Наконец, возможность существовать здесь прямо

пропорциональна Вашему расстоянию от Горького.

Все это не субъективно. Нюра того же мнения. Спрашивал я еще кое-кого — все говорят то же: Пяст, Павлович, еще кто-то.

Теперь о нас. У нас 2 комнаты, одна наша с Нюрой (8—9°), другая Гаррика, она же столовая (11—12°). Чисто, прилично, не более. Чудесный вид, вдоль Невского, через Полицейский мост. (Это не в том флигеле, где столовая; тамошние роскошные апартаменты сплошь набиты старичками; младший — Волынский.) Живем мы на остатки московских благ + Нюрина и Гаррика карточки (у меня даже хлебной нет) + Нюрино жалованье (курам на смех) + некие существенные блага, полученные Нюрой на ее службе + помощь моих родных. Я лично не имею *ничего*. Другое дело — надежды. Но еще нет банка, где б их учитывали. Впрочем, от москвичей все это немного *секрет*. Хочу, чтоб думали, будто я здесь раздавлен под тяжестью получаемых пайков.

Так вот. Будьте здоровы, сколько можете. Привет Надежде Григорьевне. Стихи, единственные, здесь написанные, прилагаю[3]. Мне они нравятся своей корявостью. Кажется, я-таки добился умения писать «плохие стихи», от которых барышни морщатся.

Жму руку.

Владислав Ходасевич.

20 янв. 1920[4]

Вчера вечером меня подняли и повели вниз, читать стихи с Кузминым. Народу было немного. Кузмин почитает Лермонтова разочарованным телеграфистом[5]. Здешние с ним солидарны. Я не бранюсь и веду себя скромно: пусть думают, что я тоже дурак, а то обидятся.

38. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

21 января 1921, пятница.
Петербург

Милые мои друзья, единственные из московских людей, которых хотел бы я повидать! Вы, вероятно, не

получили открытку, посланную вскоре по приезде нашем сюда. Она была с Бакстовым рисунком, и я предвидел, что всякий эстетически развитый почтальон предпочтет иметь ее в своей картинной галерее, нежели нести к Вам на 3-й этаж. Но нехорошо, что Вы не пишете. Непременно и тотчас сообщите о своем житье, все мелочи, всякий вздор, мне все хочется знать о Вас. Думаю, что житье не сладкое, и это меня заранее огорчает. Однако черкните же. А теперь слушайте чепуху о нас.

Мы живем в «Доме Искусств». У нас 2 комнаты, в одной мы с Нюрой, другая — столовая и Эдгарова. Вот наша комната[1]:

1 — письменный стол, колоссальный, с полкой. 2 — туалетный столик стеклянный. 3 — ложе двухспальное, деревянное. 4 — круглый столик. 5 — печь, большая, до потолка. 6 — зеркальный шкаф. 7 — шкафчик для книг. 8 — диван. 9 — ломберный стол. 10 — чулан для сундуков и умывальника. ххх — стулья и кресла. У Нюры, кроме большой подушки, есть думка. У меня нет.

Мебель хорошая, совсем новая, только со стульев нельзя снять чехлов: они белые, с золотом и шелковой обивкой, для купеческой «роскошной» гостиной. Но хорошо, что совсем новые, прямо из магазина, были даже обернуты папиросной бумагой, которую мы выкурили. Занавески повесили. Из окна у нас чудесный вид: комната угловая, выходит на набережную Мойки и на Невский, который виден далеко вдоль. Топят нас совсем мокрыми дровами, которые шипят, трещат и больше градусов 9 не дают. Но, братья мои, — это даром! Братья мои, мы за это благословляем судьбу денно и нощно. У Гарьки градусов 11-12 — везет латышам!.. По разу в месяц полагается на каждого ванна — нечто мраморное, наполненное горячей водой. Есть здесь библиотека, раза три в неделю — лекции и концерты, для живущих бесплатные. На днях был маскарад, Нюра плясала до 5 часов утра. Есть у нас кухня, обслуживающая наш коридор, фактически — 3 комнаты (прочие не готовят). Есть очаровательная и многоуважаемая старушка Федосия Васильевна. Она топит, моет посуду и очень вкусно готовит, а Нюру услаждает воспоминаниями о Париже, где бывала с буржуями. Здесь тихо,

однако же не пустынно. Каждый день кто-нибудь у нас бывает. Правда — хорошо? Не жизнь, а масленица. Но — милые мои! — Федосье Васильевне нечего готовить! Я до сих пор не добился перевода своего пайка, и за все время получил из «Всемирной Литературы» 17 фунтов муки, 7 фунтов крупы да 17 фунтов мяса. Это за 2 месяца! У меня даже карточки хлебной нет! Я на содержании у Нюры, которая сейчас богаче меня гораздо, и у родных, — но это не сладко. Вы подумайте: с 27 декабря до сего дня, т.е. до 21 января, за месяц, я всего 6 раз мог выйти на улицу (однажды это кончилось обмороком), я дней 12 провел сплошь в постели, обвязанный, забинтованный. Сегодня меня должны были резать, но отложили до понедельника. Я этой резни очень боялся; обрадовался отсрочке — и вот пишу Вам всякую чепуху. Поэтому — не завидуйте нам. На наши золоченые стулья льются слезы.

Слушайте, ей-Богу, — не для того сел писать, но мне пришло в голову поэксплуатировать Бориса Александровича. Пожалуйста, узнайте у Михаила Ивановича Быкова, могу ли я получить премиальные за свою службу в Отделе печати. Их надо было получить в Государственном издательстве, но почему-то все задерживалось. Теперь, вероятно, деньги уже выдаются. Доверенность прилагаю на всякий случай и Нюрину, хотя вряд ли ей что причитается*. Однако узнайте. Получив деньги, передайте их Марии Генриховне Суткевич, во «Всемирную Литературу» (Знаменка, М.Знаменский, 8, кв. 10, тел. 2-56-47) или зайдите к ней на дом (можно отдать ее матери, Софии Иосифовне): Леонтьевский, 13, кв. 9, т. 1-34-04. Они мне перешлют. Будьте благодетели, устройте, я сижу буквально без гроша: заработал за все время три тысячи. Во всяком случае — сообщите, как обстоит это дело.

Наш адрес: Морская, 14, «Дом Искусств», кв. 30-а, комн. 10.

Привет Ольге Алекс. и Софии Семеновне. Как ее здоровье? Федя[2] цел ли? Скажите ему, что здесь делают шоколад из подсолнечной шелухи и без сахара. Горький меня угощал им. Гарьку отдаем в Тенишев-

---

* Нюра по спискам Отдела печати — Гренцион.

ское училище, где, говорят, кроме супа, есть и учителя. Но не верится.

Обнимаю Вас обоих. Пишите же, Бога ради.

Любящий Вас

Владислав.

39. В. Г. ЛИДИНУ

Дорогой Владимир Германович,

Ваше последнее письмо я читал, слушая, как звенят стекла от кронштадтских пушек[1]. И как ни люблю я матушку-российскую словесность — не захотелось в ту минуту говорить ни о ней, ни о себе. А уж у меня так заведено: сразу не ответил — пиши пропало. Вот почему только нынче собрался Вам ответить — при верной оказии послать Вам с Гарриком Дельвига[2].

Что нового здесь? Ничего. Писатели даже и не пописывают, больше почитывают лекции по разным «культам» и «просветам». Впрочем, вру: на днях выйдет 1-й № «Литературной газеты». Знаете ли о ней? Она будет двухнедельная, редакторы — Тихонов, Чуковский, Замятин и Волынский. Материала 1-го № я не видел, кроме статьи Замятина о свободе печати[3] (жидковато) и передовицы, никем не подписанной, но любопытной. Называется она — «Памяти предка» и излагает историю возникновения и жизни «Литературной газеты» Дельвиговской[4]. Уж и не знаю, кто бы это мог ее написать?.. Вероятно, кто-нибудь из занимавшихся Дельвигом, ибо в ней есть неопубликованные данные о ходе хлопот с получением разрешения на издание газеты... Статейка, впрочем, наводит на размышления.

Недели 2 тому назад читал в «Доме Литераторов» лекцию о смысле и задачах пушкинизма. Сейчас больше пишу стихи. Приеду, вероятно, в Москву приблизительно через месяц, по некоему делу первостепенной для меня важности. Пока сижу смирно, веду себя тихо и наблюдаю жизнь. Кое-какими наблюдениями поделюсь при свидании.

Зачем не присылаете денег на покупку книг? Не сердитесь, ей-Богу, *не могу* покупать на свои, ибо есть у меня паек, есть еще кое-какие блага, но именно *денег* мало до смешного. Обычно в кармане — 5—10 тысяч. Пришлете денег — накуплю книг и привезу. Вышла книга Сологуба «Фимиамы», «Подорожник» Ахматовой.

Что слышно в Москве? Не хорошо, что Вы ждете ответа и сами не пишете.

Здесь с неделю гостит Пильняк[5] и — в моде. Сам он славный, рассказы его буду слушать сегодня. Завтра Белый читает свою «Эпопею»[6]. Он много работает, бодр — и я рад за него.

Вот, кажется, и все. Будьте здоровы и пишите, т.е. міру и мне. Много ли написали за зиму? Как называется? О чем? Сообщите.

Обнимаю Вас.

Владислав Ходасевич.

7 мая 921
Петербург.
Морская, 14, Дом Искусств, кв. 30-а.

Гаррик пробудет в Москве до 16-го. Его адрес: Тверская, 69, кв. 8, тел. 2-67-12. Кв. Гренциона. Принимаются поручения по пересылке книг, писем, денег и проч.

40. М. О. ГЕРШЕНЗОНУ

Дорогой Михаил Осипович,

в Москве ли Вы, т.е. в городе ли? Анна Ивановна была в Москве дня четыре, заходила к Вам — не достучалась.

Хочется мне по старой памяти рассказать Вам о своем житье. Трудно. Голодно и безденежно до легкости. Никакой хлебной работы у меня нет. Живем на мой паек, ставший ничтожным, да на жалкие даже в сравнении с ним получки Анны Ивановны. Продали все решительно, что только можно было продать. Съедаем втроем в день фунта 2 хлеба и фунтов 5

картофелю (или кашу). Но — странное дело! — так тихо здесь в городе, такие пустынные, ясные вечера, так прекрасен сейчас Петербург, что отчего-то живется легко. Только слабость ужасная, у всех троих.

Но живем мы не одиноко — и это хорошо. Каждый день кто-нибудь заходит. Однако и суетни не бывает — это еще лучше. В последние дни стал часто заходить Белый, я этому очень рад. Написал он поэму (точнее — первую часть трилогии) «Первое свидание»[1], четырехстопным ямбом, без нарочитых хитростей, но каким-то необычайно летучим. В поэме — первая любовь и ранняя мистика, и «Летаевская» Москва[2]. Кроме самого начала, как бы дающего каталог тем, которым предстоит развернуться, — все чудесно, и сам он чудесный. Пришел, прочитал, наговорил — и опять столько наколдовал вокруг себя, сколько один он умеет.

Нет у меня хлебной работы, т.е. принудительной, никуда и ни за чем я не гонюсь — и потому, а вернее — еще по некоторым причинам, пишу много стихов. Кроме неоконченных «рассад», как Вы раз хорошо сказали, написал за 4 месяца около 20 стихотворений[3], т.е. в 5 раз больше, чем за весь прошлый год, когда не писал почти вовсе. В последнее время пишу почти каждый день. Но — потерял всякую охоту переправлять и отделывать. То, что совсем не выпишется — просто выбрасываю. Прочее, сознавая все недостатки, оставляю в первоначальном виде. Стихи чаще всего короткие, в общем — нечто вроде лирического дневника, очень бедного красками (значит, и не *при*крашенного), зато богатого прозаизмами, которые мне становятся все милее. Как видите — написал Вам целую автокритику, в наказание за Ваше бегство от критики[4]. Очень мне досадно, что Вы это делаете, — говорю это из неприкрытой корысти. Психологически — ох, как Вас понимаю. Но не выгодно мне не слышать Вашего суда; я к нему пристрастился, хоть не всегда, конечно, был с ним согласен. «Покойный критик Гершензон не гнался, в конце концов, за справедливостью, иногда сочинял себе то, что “критиковал”, но и умел видеть иной раз то, чего не видит никто, — а главное, судил от живого духа»[5]. Вот Вам моя эпитафия. Но о чем пишет Ваша «multapars»[6]? Пожалуйста, напишите о себе. Во всей Москве люблю Вас одного — душой.

(Еще люблю — Лидина, но уж каким-то своим литературным боком, люблю за его беспросветную любовь к литературе, к литературщине, к переплетам, к литературной чепухе. Что он делает? Торгует, небось?[7])

С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю — но мертвечинкой пахнет. Думал — по уши уйду здесь в историю литературы — а вышло, что и не хочется. Кроме того — Гофман очень уж пушкинист-налетчик, да Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский совсем хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части) — да и в нем 7 пудов весу. Нет, не хочу. У меня большое окно, виден весь Невский вдоль, видно небо. Здесь у меня лучше, чем в Академии Наук, где заседают подундуковски прочно[8].

У Горького мне тоже не нравится. Спекуляцией несет нестерпимо, и все в международном масштабе. Прежде бывал там по доброй воле (в самом Горьком все-таки «что-то есть»[9]), но теперь захожу только изредка, чтобы выхлопотать что-нибудь для кого-нибудь. Для себя ничего не могу, окончательно, тошно, язык не повернется.

Хотел было приехать в Москву в связи с одним делом первостепенной важности. Но дело все откладывается, да и я в нем разочаровываюсь. Однако ж надеюсь под осень приехать в гости: к Арбату, к Вам.

Будьте здоровы. Жму руку. Пожалуйста, передайте поклон Марии Борисовне[10].

Любящий Вас *Владислав Ходасевич.*

А все-таки вот Вам «Ласточки»[11].

В.Х.

Петербург, 24 июля 21 г.

41. АНДРЕЮ БЕЛОМУ

4 авг. 21
Псков

Дорогой Борис Николаевич,
пишу с дороги. Бога ради, сообщите о Блоке. Перед отъездом мне сказали, что он безнадежен.

Крепко жму Вашу руку.
Любящий Вас
Владислав Ходасевич.

Порхов, Псковская губ., колония Дома Искусств, «Холомки».

42. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

Бельское Устье. 16 августа 1921

Милые мои,
жить на свете очень чудно́. По случаю коммунистического строя сделался я помещиком. Обсуждаю вопросы об урожае, хлопочу, чтобы скорее мололи «наш» хлеб, и очень серьезно подумываю, не прогнать ли садовника. Впрочем, я недоволен и управляющим: явный вор. Это мнение разделяет и дьякон нашей домовой церкви, очень красивой, XVIII века, о пяти куполах. Собственно, у нас не одно имение, а два: «Бельское Устье», где живем мы + старушка Леткова (любовь Михайловского) с сыном + художник Милашевский, — и «Холомки», в 2-х верстах отсюда. Там живут Добужинские и Чуковские. Все это — в 15 верстах от Порхова, Псковской губернии, на берегу реки Шелони. У нас лучше, хотя в «Холомках» роскошный дом — а у нас какая-то разгромленная дыра. У нас нет ни единой комнаты с целыми рамами, в потолках пули, обои в клочьях. Спим на сенниках, мебель анекдотическая, смесь ампира, лишенного обивки (в ней ходят невесты в окрестных деревнях), с новыми табуретками, пахнущими смолой. Живем во 2 этаже, ибо нижний разгромлен слишком. Зато у нас великолепный вид, верст на 15 вдаль, у нас

церковь и кладбище в ста шагах, у нас аисты, радуги, паровая мельница, агроном, мастер по части жестоких романсов, у нас — плачьте, несчастные! — 1500 собственных яблонь, от яблоков повисающих долу, у нас груши, слива и — персики, сладости неизъяснимой, мягкости обольстительной, сочности сладострастной, — пушистые, как небритый перс Диатроптов.

Итак:

Вот какой «белый налив» кладу я себе в карман[1] — и съедаю дома, любуясь его прозрачностью. На яблоки же мы меняем у окрестных сельчан: яйца, картофель, молоко — и проч., чем обильна Псковская губерния, не знающая доселе, что есть неурожай.

Вот слива, от коей болят животы.

А это груша, мучнистая, но весьма на вкус сладкая.

Это — персик, плод вкусный, но не обильный.

Здесь полагается нам паек: мука; овсяная какая-то дрянь; кофе; немного сахару; тоже — соли. Огород — собственный: свекла, морковь, огурцы, укроп благовонный...

Право же, только гексаметр сему изобилью приличен.
Только в гексаметре можно воспеть красоту простокваши,
Слоем сметаны покрытой. Сметана же чуть розовата,
Персям купальщицы юной подобна по виду, а вкусом —
С чем бы сравнялась она?.. Борис, удаляясь от супруги,
Вспомни лобзания дев, босоногих, искусных в плясанье —
Также в науке любви. Языком розоватым и тонким
Зубы твои размыкает прелестная... Вкус поцелуя,
Сладостный, — вдруг обретает тончайшую некую свежесть
С легкой и томной кислинкой. Таков же и вкус простокваши.

Тут вновь обращаюсь к прозе, чтобы, может быть, вернуться к метру со временем... Должен признаться, что у нас всего две коровы, дающие слишком мало молока. Приходится его выменивать частным образом у туземцев, падких на ситец, иголки, нитки, табак, сахарин, бусы и прочее, но решительно не признающих денежного обращения. (Поэтому привезены нами товары из Петербурга.) Лошадей четыре у нас, сбруи нет, занимаем у дружественных туземцев. Экипаж — один, местного изобретения, бедой именуемый и сему прозвищу отвечающий. Вот он в посильном изображении.

На сию беду кладутся: солома, мешки, люди; кучер же едет верхом на коне, упираясь ногами в оглобли. Бабы ездят верхом же. В иных странах, сколь-

ко я знаю, такие колесницы не употребительны. (В рисунке ошибка: деревянный настил лежит, конечно, на оси. Иначе, как у меня, — колеса в воздухе. Но перерисовывать лень.)

По вечерам, в дубовой аллее, собирается здешняя золотая молодежь: Милашевский, дьякон, агроном (гитара, он же регент в отличном церковном хоре), псаломщик, два-три каких-то парня в куртках. Последние похожи на пастухов и молча сидят у костра. Девушки: жена агронома, штук 6 учительниц из школы (ученость не сочетается с красотою и здесь, как в других местах), какие-то две зубастые порховитянки, еще кто-то, еще какие-то и — *она*: дочь кучера[2], ставшего земледелом. Однако не в кучере дело:

Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока
И сладострастно воздыхает
Из-под кисейного платка.
Ее стопы порою босы,
Ее глаза слегка раскосы,
Но сердце тем верней летит
На их двусмысленный магнит.

Конечно, о сей особе я мог бы для себя написать сто поэм, по длине равных Барсовой Коже, но сейчас не выйдет, и Вам не занятно. Скажу только, что *Имя* ее напоминает мне Вас, Венеру, Милицию —

И наши пьянства, и Москву,
И пыл минутных вдохновений,
Когда над лисьей муфтой Жени
Я клал прелестной на колени
Отягощенную главу.

Не удивляйтесь сему рифмоподражанию. Я в последнее время написал 20 стихотворений, и у меня почти готова книга, которая (что *не* подлежит распубликованию) будет называться «Узел»[3].

Что еще сказать Вам? Что люблю Вас обоих попрежнему, т.е. очень, очень, очень, и жду письма. Сюда не успеете написать, 1-го мы уедем, — но обязательно пусть в Петербурге (Мойка, 59, «Дом Искусств») я застану Ваше письмо (нет, 2, от каждого отдельно).

Обнимаю.

Любящий Вас *Владислав.*

Всем привет.

43. В. Г. ЛИДИНУ

Бельское Устье, 27 авг. 921

Я оставил Ваш адрес в Петербурге, дорогой Владимир Германович, — и только сегодня догадался, что можно переслать письмо через ангела Марию Генриховну[1] (тем более, что «ангел» и значит «вестник»).

Вот что. Живем мы сейчас в Порховском уезде, Псковской губернии, в колонии «Дома Искусств». Житье совсем робинзоновское, но светлое и с разных точек забавное. Живут здесь: Чуковские, Добужинские, мы, старушка Леткова (любовь Михайловского) с сыном, Н.Радлов[2], Замятин, три юных беллетриста: Зощенко, Лунц и Слонимский[3]. Забавно, что у нас тут колоссальный фруктовый сад (1500 яблонь, персики, груши, сливы), «своя» рожь, огород и проч. угодия до старинной церкви включительно*. При церкви — поп, дьякон и псаломщик, великие мастера водить хороводы и играть в легкомысленные игры с поцелуями. Мы большие друзья с дьяконом. Питаемся «собственными» яблоками, ржами, овощами и молоком + вымениваем разные блага у туземцев, которые, не признавая денег, падки до ситцу, платков, сахарина, бус и проч., в Центральной Африке почитаемого так же.

Работать здесь не приходится: шумно, а кроме того, много времени отнимают романтические похождения с тутошними красавицами, которые не в пример лучше питерских, ибо не читали и не будут читать моих стихов, любят петь хором и ходят в баню каждую субботу. Очень легко и весело иногда «опрощаться». Я занимаюсь этим уже 3 недели и мог бы, кажется, прожить таким образом целый год. К несчастию, это неосуществимо, — через неделю надо ехать в Петербург, где и мечтаю вскорости получить от Вас письмо с ответом вот на какой вопрос:

дело в том, что мне в конце сентября надо побывать в Москве[4]. В получении командировки я не уверен, и пожалуй, придется платить за дорогу туда и назад 250 тысяч. Мне этих денег очень жаль, и я хотел бы получить их с добрых москвичей, в свою очередь усладив за это их слух своими стихами. Нельзя ли, в самом деле, устроить мне какое-нибудь чтение, кото-

---

* Есть и кладбище, вещь для меня приятная.

рое покрыло бы сей расход — целиком или частично? Я стихами богат: у меня больше двух десятков новых, еще нигде не напечатанных, писанных в июне-июле (был у меня запой стихотворный). Пожалуйста, поразведайте и сообщите. Делаю Вас своим импрессарио. Могу читать целый вечер, прихватив кое-что из старого и надеясь, что до конца сентября напишу еще, потому что запой, чувствую, вовсе еще не кончился. Мне сейчас очень пишется — и по-моему, не плохо. То же думает и Белый, написавший о новых моих стихах статейку (будет в следующей книге «Дневника Мечтателей»)[5].

Я уехал из Петербурга в тот день, когда у Блока началась агония; о смерти его узнал уже здесь, из письма Белого. Знаете ли, что эта смерть никак не входит в мое чувство, никак не могу *ощутить*, что нет Блока, — и не могу огорчиться. Умом понимаю — и просто душит меня злоба, — а огорчения *здесь* не чувствую. Должно быть, почувствую в Петербурге. Знаете ли, что живых, т.е. таких, чтоб можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца: Белый, Ахматова да — простите — я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов — ни звука к себе не прибавят. Липскеровы, Г.Ивановы, Мандельштамы, Лозинские и т.д. — все это «маленькие собачки», которые, по пословице, «до старости щенки». Футурспекулянты просто не в счет. Вот Вам и все. Это грустно. (Так называемая пролетарская поэзия, как Вам известно, «не оправдала надежд»: села на задние ноги.) Особенно же грустно то, что, конечно, ни Белому (как стихотворцу), ни, уж подавно, Ахматовой, ни Вашему покорному слуге до Блока не допрыгнуть. Это все соображения, не подлежащие огласке; делюсь ими с Вами, потому что знаю Ваше просто-хорошее отношение ко мне.

Пожалуйста, напишите же о себе. Что Вы делаете, как живете? Я сердечно хочу повидать Вас — и надеюсь, что в сентябре это, наконец, устроится.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

44. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Бельское Устье, 5 сент. 21
Понедельник

Мой милый маленький Пип[1],

завтра едет Миша Слонимский, который доставит тебе это письмо. В четверг едут Добужинские и Замятин. В субботу, 10-го, собираюсь ехать я. Но, пожалуйста, если мы не приедем 11-го, — не волнуйся: мы можем застрять в Пскове (боюсь, не застряла ли ты), можем застрять в Порхове, если выйдет какая-нибудь канцелярщина с командировкой. Может случиться и то, что в субботу будет ливень — и я не поеду, чтоб не простудиться и не промочить багажа (что особенно тяжко). Итак, не волнуйся и жди нас терпеливо.

Здесь все благополучно. Я веду себя как ангел, это все подтвердят. Но в общем, больше здесь делать нечего: погода испортилась. Не очень много дождей, но холодно. Я хожу в теплом жилете и в синей куртке Юрия Николаевича[2], а сейчас, после пяти чашек молока, надел даже пальто. Уныло то, что приходится сидеть в комнатах, даже не на террасе, где сплошной вихрь.

Мы сыты, хотя Гаррик очень запаздывает с едой и невыносимо пропадает. Но я не сержусь, ибо привык не ждать от него внимания к нашим особам. Но в общем, я вполне сыт — и это главное. Рожь от дьякона получена и перемолота вместе с рожью, полученной за злосчастный пестрый ситец, за который мы взяли 1 п. 5 ф. ржи + 25 яиц. Кроме того, я умудрился выстирать все белье, которое лежит сейчас на сундуке, белоснежное, компактное и выглаженное. Ай да Медведь!.. Твоего петуха заклевала сова, но сегодня на ужин мы получим другого, которого Гаррик за маленькую пудру + белые нитки + иголки выменял у bellemère[3]. Кстати. Вчера был у нее опять большой бал по случаю сегодняшнего отъезда учительниц. Добужинский корректно ходил в хороводе, потом бойко отплясывал польку с Тоней. Княжна[4] без успеха (и правильно) плясала русскую. Но случилась ужасная психологическая драма: я окончательно бросил Женю, ибо не только «даже песне есть конец»[5], но и предел глупости. Не могу. Не сердись, что я снова без девушки, но нет сил моих.

Должен тебя огорчить. Мне очень хочется писать. Здесь немыслимо. Но чувствую, что в Петербурге будет продолжение прерванного поноса. Итак, готовься к моему сидению у окна, ответам невпопад и проч. Но — что делать, иначе нельзя. Будь здорова. Ю.Н. тебе шлет привет. Он мил. Maman — печеная задница (как яблоко).

Целую ручки, ножки и носик.

Владюша.

Разным людям поклонись, особенно Наде, Ольге Дмитриевне[6] и Федосье Васильевне.

В. Х.

45. Г. И. ЧУЛКОВУ

Петербург, 22 окт. 921

Дорогой Георгий Иванович,

только вчера я увидел Ахматову. Она говорит, что никаких бумаг Недоброво[1] у нее нет и где они — она не знает.

Если Вы все же захотите приехать в Петербург, то вот что (сообщение *официальное*): Дом Искусств будет рад, если Вы прочтете в нем что угодно: хотите — о Тютчеве[2], хотите — рассказ, хотите — стихи. Словом, он рад устроить Ваш вечер, только не раньше 15 ноября. Если Вы согласны, сообщите *немедленно* мне желаемый день и название того, что будете читать. Тогда Вы получите от Пет. отд. Нар. Образ. бумагу, по которой Вам выдадут в Москве бесплатный билет туда и обратно. Помещение для Вас будет приготовлено. Гонорар же будет жалкий: тысяч 100 — 150. Другими словами, Вы чтением окупите дорогу. Что Вы думаете об этом? *Жду ответа во всяком случае.*

О Наст. Ник.[3] ничего нового. Сологуб расклеил по городу печатное объявление: *3 000 000*! рублей тому, кто укажет... и т.д. Сам я не видел, но видевшие говорят, что нечто весьма жутко-сологубовское.

Вот и все. Будьте здоровы. Привет Надежде Григорьевне.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

Мойка, 59, Дом Искусств, кв. 30-а.

Кажется, сегодня начнется жестокое наводнение. Ветер ужасный, и вода прибывает быстро.

46. Г. И. ЧУЛКОВУ

Дорогой Георгий Иванович,

Ваш вечер был назначен на 7 декабря, но я узнал, что Вы больны, и оборвал хлопоты о командировке. Они пошли не особенно гладко, ибо Политпросвет вдруг додумался до того, что Вы — анархист, и потому нежелательно, чтоб читали об эпиграммах Тютчева[1]. Сообщаю как курьез.

Очень плохо, что Вы хвораете. Плохо и то, что хворает Нюра. К стыду своему должен признаться, что я здоров и цинически пишу стихи. Это становится похоже на какое-то мерзостное отправление.

Здесь нет ничего замечательного. Но живем сносно. Вчера устроили вечер в память Анненского. Верховский[2] нудствовал 50 минут, классифицируя Анненского. Он мог бы сказать про себя словами Блока: «Из толпы мне кричали: довольно!»[3] Впрочем, не кричали, но выходили из залы, в дверях была давка. Как ужасен, должно быть, пожар в театре!.. (Простите, что пишу такие глупости. Нюра сердится: он болен, а ты ему о пустяках.) Ну-с, потом Ахматова читала стихи Анненского, изданные. Потом я клятвенно заверял почтеннейшую публику, что Анненский — то же, что толстовский Иван Ильич, только стихотворец. Но — с Иваном Ильичом было чудо (конец повести), а с Анненским не было[4]. Мораль: не гордитесь, поэты. Кажется, велят это повторять в Вольфиле[5]. Потом сын Анненского[6] читал стихи неизданные. Все это было торжественно, потому что сын Анненского меня не слышал. Иначе бы избил, и вечер много утратил бы в отношении импозантности. Опять: простите дурашный тон. Я

три ночи не спал, пишучи статью, вовсе не дурашную. Поэтому сегодня хожу как после длительного пьянства.

Пожалуйста, передайте привет Надежде Григорьевне и Любе. Я думаю после Рождества приехать в Москву[7]. Пожалуйста, ответьте вот на какой вопрос: если бы Вас попросили написать для альманаха статью о российской литературе последних 2-3 лет (собственно, фактически о стихах) — то согласились ли бы Вы? Не знаю, будет ли этот альманах, но Ваше принципиальное согласие или несогласие надо знать *сейчас.*

Крепко жму руку и очень, очень хочу, чтобы Вы не хворали. Меня искренно и сердечно огорчает Ваша болезнь.

Владислав Ходасевич.

15 дек. 21
Петербург

47. А. И. ХОДАСЕВИЧ

922, 2 февр., четверг

Милый мой Пипик,

сижу у Наташи — и вдруг что-то очень мне стало жаль тебя: как ты там прыгаешь без муфточки? Купил ли себе перчаточки? Сыт ли? Не болен ли? Много всякой шушеры возле Пипика — а кто его пожалеет? Один Медведь, которого Пип не жалеет вовсе. Маленький мой человечек, я очень люблю тебя навсегда, хоть ты и ничтожное существо. Пойми, родной, что вся моя боль, вся жалость, все доброе, что еще осталось во мне, — навсегда к тебе. Другим — мои стихи, разговоры, — а тебе — просто я, такой, каким хотела бы меня видеть мама.

О многом я соблазнился, Пипик, — и стал соблазнителен. Темное, дымчатое, сомнительное и пленительное туманит меня, как вино. Я хожу, как пьяный. И это все стало приманивать людей к моим стихам. И все это надо принять в себя, пережечь в себе, чтобы или погибнуть, или стать совершенно светлым.

Милый мой, Господь да сохранит тебя — одну, потому что меня Он сейчас отдал в другие, не в Свои руки. А ты, со всей своей дрянью, все же в Его руках. Ты человечек, а я сейчас — не особенно, как-то только до пояса.

Будь здоров, родной. Помолись за меня, пожалуйста.

Сегодня я переезжаю к Мише. Буду писать. А если не выйдет — улажу кое-какие дела и вернусь. На будущей неделе у меня свидание с Луначарским[1]. Видел Гинцбург[2].

Еще нет ни одного письма от тебя, но надеюсь, что у Ходасевичей уже лежит.

Прощай. Целую ручки.

Твой *Медведь.*

P.S. В Москве черт очень забавно развлекается, играя в христиан, как в куклы. Г.И.[3] влип по самые уши. Теперь ему — или сгнить, или покаяться действительно: уйти в монастырь. Страшный грех — это его христианство.

Наташа тебя целует.

48. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Пятница, 3 февр. 922
Москва

Мышик, сейчас получил твои два письма: от 28 января и другое — не помеченное никак, должно быть — позднее. Открытку не получил.

Я писал тебе: 1) № 1 и № 2 в одном пакете пошли отсюда 27-го; 2) № 3 повезла Валя, которая уехала 1-го числа; 3) опустил вчера вечером (№ 4) — страшно ласковое письмо.

Все это поехало на адрес Бернштейна[1]. В Валином письме $^1/_2$ миллиона. Кроме того, Наташа по моему поручению перевела на имя Бернштейна для тебя по почте миллион. Это было 27 числа.

Это письмо попробую послать в Царское[2].

Когда я уезжал, Берн. говорил, что не сможет

поехать в Царское целую неделю. Надеюсь, что он был у тебя уже после твоих писем ко мне.

Сейчас пришел Гаррик. Он писал тебе дважды через Берн. Открытку он получил. Он, по-видимому, доволен Москвой, здоров и весел. Целует тебя.

Если бы ты, Пип, был на самом деле такой, как в письмах, — все было бы по-другому и — поверь — лучше. Но письма ты пишешь скучая, а живешь веселясь. И, несмотря на все меланхолии, ты скучающий лучше, чем веселящийся, как и все люди, впрочем. Ну, Бог с тобой. За доброе слово — спасибо, но от слова (хоть оно очень правдиво, я знаю) до дела у тебя очень далеко. Поэтому я словам твоим почти не верю. Скучаешь — умнеешь. Развеселишься — опять пойдут мистики, юрики, пупсики — вздор. Я, брат Мышь, под людьми вижу землю на три аршина. Под тобой, прости меня, — тоже. Теперь я — Медведь, который ходит сам по себе. Я тебя звал на дорожку легкую, светлую — вместе. Ты не пошла (Давно уж это было). Теперь хожу я один, и нет у меня никого, ради кого стоит ходить по легким дорожкам. Вот и пошел теперь самыми трудными, и уж никто и ничто, даже ты, меня не вернет назад.

«Офелия гибла и пела»[3] — кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой — *погибать*. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду *один*. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. И еще я ей сказал: «Ты не для орла, ты — для павлина». Все вы, деточки, для павлинов. Ну, конечно, и я не орел, а все-таки что-то вроде: когти кривые.

Будь здоров, родной мой. Спаси тебя Господь.

Твой *Медведь*.

Вернусь к 17-му числу.

У тебя: $^1/_2$ миллиона от Ив.-Разумника, 1 по почте, $^1/_2$ через Валю. Этого должно хватить, но в крайнем случае иди к Белицкому (Ефим Яковл., Мойка, 11, кв. 9). Я ему писал, что в случае беды ты к нему обратишься.

Стихов не пишу. В понедельник читаю в Союзе в пользу Макса Волошина. Он очень болен и очень голодает[4].

Медведь.

49. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Москва, 1 июня 922 г.

Милая Анюта, я долго не писал, потому что 27 числа получил твое коротенькое, но безумное письмо[1]. *Отвечать* на него нельзя. Потом получил хорошее, но как-то не мог наладиться, чтобы писать. Сегодня — 2-е хорошее — и вот пишу.

Спасибо тебе за поздравления, они пришли вовремя.

Ты спрашиваешь, что́ тебе «реально сделать». Не *с*делать, а *д*елать — вот что: жить на свете, *больше любить себя*, устраивать свои дела, работать в студии, для чего (как и вообще для всего) не падать ни духом, ни телом, — вообще быть твердой и спокойной, сколько можешь. Знаю, что это трудно тебе, и не думаю, что тебе все как с гуся вода. Но так надо, говорю это по совести, по-хорошему.

Книгу мою издательство писателей не берет, хотя это еще не официально. Дня через два начну хлопотать в Госиздате, ибо в петербургское «Товарищество писателей» не верю, оно дутое, «волынское», слышал о нем. Эфрону же продам *помимо* России. Поэтому вернусь не очень скоро.

Денег, хоть ты и просишь не посылать, пошлю на днях. В Доме Ученых если что осложнится, обратись *от моего имени* к Вячеславу Петровичу Смирновскому (отдел снабжения). Он устроит все, что можно.

Леве[2] скажи, что Ив. Триф. будет говорить еще раз.

За книги, присланные с Никитиным, спасибо[3].

Н.Н.[4] не «врет». По моим сведениям, она уехала в Новую Ладогу, потом вернется и снова уедет — уже в Ростов. Я пробуду здесь еще недели 2, то есть до

15—16. Надо продавать стихи для какого-то детского альманаха, продавать книгу, писать статью[5] и т.д.

Еще раз умоляю тебя спокойно принимать все, что свершается на свете, просто и без надломов принять мое неизменное, до конца моей жизни, *душевное* и внешнее участие во всем, что тебя касается. Не думай и не желай смерти — это главное. *Смерти нет.* Есть одни перерывы в жизни, тяжелые и с тяжелыми последствиями, если они вызваны искусственно, будет ли это резкое или постепенное самоуничтожение (хотя это не то слово, потому что *уничтожить* себя не в нашей власти). Будь же бодра, здорова, сколько можешь; старайся об этом, ибо все другое — ужасный грех. Пока — до свидания. На днях напишу тебе и Гаррику, который молодец, если только не безобразничает. Поцелуй его. Целую тебя крепко.

Владя.

О «Доме Ученых»: в крайнем случае Волынский может переговорить с Пинкевичем[6], также и Слонимский.

Скажи Сане, что на днях напишу ему.

50. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Москва, 8 июня 1922
Ночью

Анюта, милая, меня тревожит, что ты давно не пишешь. Мне очень не хочется, чтобы ты убивалась и теряла почву под ногами. Это не значит, что я надеюсь когда-нибудь увидеть тебя «счастливой». Что бы ни было, «счастья», т.е. покоя, не знать ни тебе, ни мне. Мы не для счастья сделаны — и, пожалуй, по-какому-то надо сказать: слава Богу.

Прошу и прошу тебя об одном: внешне, «в днях», как выражался Коля Бернер, будь тверда, хладнокровна, будь «как все». Это даст тебе физическую силу переносить трудную штуку, которая называется внутренней жизнью. У всех нас внутри варится суп, и чем сильнее кипит и бурлит, тем лучше: ведь есть его будет

Хозяин. Наша забота — чтобы кастрюля не лопалась раньше, чем суп готов. Ну, и будем беречь ее. Беру с тебя это обещание.

Завтра утром дам денег Наташе, чтоб она отправила тебе перевод: получу утром от Воронского[1].

Книгу завтра же сдаю в политотдел Госиздата: для России.

Сам сейчас пишу статью, но что из этого выйдет — не знаю. Если Госиздат будет тянуть, съезжу на 3-4 дня в Гиреево, к Лиле[2].

Очень жду писем. Целую Гаррика.

Будь здорова, крепко целую тебя и прошу, очень прошу верить, что *всегда*, несмотря ни на что, буду любить тебя.

Владя.

51. П. Н. ЗАЙЦЕВУ

Милый Петр Никанорович,

я родился в Москве, 16 мая 1886 г. Отец — литовец, мать — еврейка. Отец — ученик Академии Художеств, впоследствии забросивший живопись и торговавший в Москве фотографическими принадлежностями (1-й по времени открытия магазин в России: фотография была редкостью). Отец на 51, мать — на 41 г. старше меня. Я младший в семье (три брата и две сестры, все много старше). Семья зажиточная, но не богатая. Все учились. Литературных интересов в семье было мало, почти не было. Впрочем, благодаря старшему брату, рано пристрастился к чтению. Читал очень много, обладал исключительной памятью. (Теперь очень не люблю читать.) Выучился чтению на 4-м году. Первые стихи — 6—7 лет, также «комедии» и «драмы» (в прозе). В 1896 г. — в гимназию, учился очень хорошо. Окончил в 1904 г. — без медали, «за развращающее влияние на товарищей», выразившееся в упорном «декадентствовании». За русские сочинения хотели исключить из 8 класса. Первые сознательные литературные интересы — в 6 классе гимназии. Прекрасные учителя:

В.И.Шенрок, Тор Ланге, Георг Бахман, М.Д.Языков — поэты. Впрочем, в 5-7 классах мечтал о сцене (теперь не люблю театра никакого). В 1904—1905 гг. — знакомство с Брюсовым, Бальм., Белым, с которым очень хорошие отношения с 1907 года. Он — один из самых важных людей в моей духовной биографии и один из самых дорогих мне людей вообще. Он — да поэт С.В.Киссин (Муни), умерший в 1916 году.

Печататься начал ужасно плохими стихами в III альманахе «Грифа» (февраль 1905). Потом — «Весы», «Золотое Руно», «Перевал» и т.д. и т.д. Писал много критических заметок и статей, большинство которых мне теперь глубоко чуждо и даже противно по духу.

Книги: 1908 — «Молодость», 1914 — «Счастливый Домик», 1920 — «Путем Зерна», 1922 — «Тяжелая Лира», «Статьи о русской поэзии», «Из еврейских поэтов», «Загадки (сказка)».

«Счастливый Домик» переиздан в 1922, «Путем Зерна» — в 1921.

Сейчас пишу только стихи, изредка статьи.

В университете — с 1904 г., филологический факультет, который бросил в 1907 г.[1]

Вот и все в общих чертах.

Любимые поэты: Пушкин, которым специально занимался с 1906 года, Борат., Фет, Блок. Сейчас становится очень близок Лерм., которого я раньше не умел ценить[2].

Сам иногда писал рассказы: позорно плохо.

Простите за сумбурность. Ужасно спешу.

Вот стихи, которые хотел бы видеть в Вашей антологии:

1. «Время легкий бисер нижет» (*«Молодость»*) 1907 г.
2. Зима
3. Голос Дженни
4. Сырнику (непременно)
5. Успокоение
6. Вечер (непременно)

(2–6: *«Счастливый Домик»*)

7. В заботах каждого дня
8. Смоленский рынок
9. Золото
10. Дом (непременно)
11. Стансы

} *«Путем Зерна»*

12. У моря
13. Элегия
14. Баллада
15. Лида
16. Ласточки (непременно)

} *«Тяжелая Лира»*

Жму руку.

В.Ходасевич.

Москва, 11 июня 1922

52. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

Рига, 26.VII.1922[1]

Милые Диатроптовы!

Tirgotava и Tirgotaya![2] Мы еще не знаем и, может быть, не узнаем, что это значит; но это написано на всех вывесках в Риге. Думаем, что это приветствие, и на всякий случай обращаемся к Вам с этими словами. Из всего вышеизложенного Вы можете судить о нашем местопребывании. Veikals![3] Этого слова тоже не знаем, но думаем, что это значит пожелание всего хорошего. Оно написано на других вывесках.

Владя и Нина.

Сердечная tirgotava всем Вашим и Маргарите Васильевне[4]. В среду скажем Риге последнее veikals! И тронемся в Берлин. Ехали хорошо.

Все станции в России называются «Кипяток».

В Риге много дешевле, чем в Москве, но мы ничего не покупаем.

Просьба всерьез: как можно скорее напишите об Анне Ивановне и прочем. Адрес: Berlin W 30, 21 Speyerstrasse bei Meyer. Fr. A.Berberoff für W.Khodassewitch.

53. М. ГОРЬКОМУ

Берлин, 1 июля 922

Дорогой Алексей Максимович,

приехал я в Берлин и очень хотел бы повидать Вас: для души и для некоторых дел: мне здесь трудно ориентироваться литературно, не поговорив с Вами. Пожалуйста, черкните два слова: можно ли приехать к Вам, и если да — то, приблизительно, в какой день[1].

Прилагаю два письма: от Молекулы[2] к Вам и от Валентины к Ивану Николаевичу[3], которого, если он скоро будет в Берлине, прошу очень зайти. Живу я почти рядом с ним.

Мой адрес: Berlin, W 50, Geisbergstrasse, 21, pension «Nürnberger Platz», комн. 12, W.Chodassewitsch.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

54. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

[9 июля 1922 г.]

Berlin W 50 Geisbergstrasse, 21,
Pension «Nürnberger Platz»

Rauchen verboten![1] дорогие мои! Как поживаете? Мы живы и благополучны. Приехали и поселились. Оприличились, потому что оказалось, что в советском зраке здесь ходить просто нельзя: глаза таращат. Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами. О, Борис, милый, клянусь: Вы бы здесь целыми днями пели интернационал. Чувствую, что не нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники, убежденные, принципиальные, обросшие 80-пудовыми супругами и невероятным количеством 100-пудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. Тщетной, ибо вся «подходящая» молодежь застряла в Турции и Болгарии, у Врангеля, — а немногие здешние не женятся, ибо «без средств». — У барышень психология недоразвившихся

блядей, мамаши — «мамаши», папаши — прохвосты, необычайно солидные. Мечтают об одном: *вешать* большевиков. На меньшее не согласны. Грешный человек: уж если оставить сентименты — я бы их самих — к стенке. Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу. Впрочем, здесь уж не так-то мирно, и может случиться, что кое-кто поторопит их либо со смертью, либо с отъездом — уж не знаю куда. Я бы не прочь. Здесь я видел коммунистическую манифестацию[2], гораздо более внушительную, чем того хотелось моим соседям по пансиону.

Сами живем сносно — пока. Мода на меня здесь, кажется, велика. Но прокормит ли — не знаю еще.

Сутки пропьянствовал в Heringsdorf'е (это у моря) с Горьким и Шаляпиным. Видел Толстого, Кречетова, Минского, еще кое-какую мелочь. Был у меня в гостях — Серж Маковский (sic)[3]. Литература здешняя — провинция. Придется все перевертывать и устраивать переоценку ценностей. Еще видел Белого. Это — ужас. Его жена сошлась — с *Кусиковым*[4]. Стерва.

Пока живу реальными хлопотами, стихов не пишу, в «иные миры» не заглядываю: nicht hinaus lehnen![5] Это написано во всех вагонах — для образумления нашего брата. Много думаю о смерти: на сию мысль наводят уединенные места с овальными сидениями и надписями: Bitte, Deckel schliessen![6] Подумайте и Вы — обо мне. Целую обоих нежно.

Любящий Вас *Владислав.*

Нина кланяется Шуре и целует Бориса.

Мой адрес — секрет для всех, кроме Вас. Другим давайте его же, но с прибавкой: Frau E.Niedermiller, *для передачи* мне. Это моя сестра. Я же сам будто бы даже и не в Берлине, а неизвестно где. *В.Х.*

55. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Берлин, 12 окт. 922

Анюточка, милая, мне тоже и странно, и больно, что мы все о деньгах да о вещах. Но я твердо знаю, что

это пройдет, потому что мы нужны друг другу. Я вообще все больше и больше верю в жизнь, в то, что все к лучшему, что из самых больших страданий в конце концов вырастают самые большие радости. В твоих письмах, сквозь чепуху деловую, отчетливо слышится, что ты стала тверже, крепче, сама по себе — таким и должен быть человек. Вижу, что ты меняешься, — значит, растешь. Я сейчас с ужасом наблюдаю людей, которые не меняются. Здесь Нина Петровская. Уж чего только не натерпелась, чего не вынесла — а все та же, 1905 год[1]. Ничему не научилась. И я почти избегаю с ней видеться: отстала она от меня где-то далеко позади. А ты вот меняешься, крепнешь, — ничего, что иной раз приходится сжимать зубы. И с радостью вижу, что в тебе — настоящая цепкая сила жить. (Ты плохо зачеркнула последнюю фразу своего письма, которое я получил вчера. Прости, я ее прочел. «Холодно»?) Милый мой, знаю и болею за тебя (пожалуйста, не кори притворством) — только ведь всем нам ужасно холодно. Выноси этот холод; вот я выношу. «Ты — царь. Живи один»[2]: это навсегда и про всех сказано. Тут-то, с величайшей непоследовательностью (только кажущейся), я и говорю: отогреемся. Стынем — чтобы отогреться. Верю в это, потому что знаю, что у нас с тобой еще долгая жизнь впереди, что мы прожили только *худшую* половину и что терпеть остается недолго, хоть и не днями и не неделями надо здесь считать. Я все на той же теории: путем зерна. И вот мы с тобой сейчас оба в земле: темно и душно. И говорю тебе: прорастем, и будем мы с тобой петь и плясать. Пожалуйста, береги себя для этого времени. Ты знаешь, что всегда выходит по-моему, а я предсказываю тебе счастье — и себе. Очень легкое, светлое счастье. И если ты вздумаешь заплакать, то знай, *помни, плача*, что это ты плачешь о том, что счастья *еще нет* и что так трудно до него добраться. А вовсе не о том, что его не будет. Так *я* делаю.

Умоляю тебя никому не показывать моих писем, как — помнишь? — когда-то показала мое письмо Наде (это было в феврале). Не надо. Наше — наше. Ну, пока все, я опять принимаюсь за дела. И даже по пунктам.

1) Если ты купила «Шиповник»[3] для себя — твое дело. Но, ради Бога, не трать денег на покупку книг

15—3400

для моих дел: доставай даром, бери на просмотр — а то так и Бог с ними.

2) «Стрельца» видел. Оказывается, меня ввели в заблуждение и никакого литературного дневника Кузмина в нем нет[4].

3) Деньги тебе идут: 5 фунтов. Шуба шла бы до апреля. К этим 5 фунтам прибавь Гришины деньги и Мишины, если М. пришлет[5]. Думаю, что Гриша пришлет около восьмидесяти миллионов (курс золотого рубля стал вдвое). Если еще не прислал — займи, но «ошубься». Фунт, говорят, стоит 50 миллионов.

4) Попроси Федина дать тебе (для меня, но, конечно, храни у себя) те №№ «Книги и революции», которых у меня нет. Посмотри, на каком остановилась моя пачка.

5) Напиши мне о журналах Диска. Кто редактирует и прочее[6]. И правда ли?

6) Сообщи сплетни: как ко мне относятся, что говорят о стихах и проч.

7) Скажи Сане и Мариэтте, что «Тяжелую Лиру» я пришлю им в берлинском виде, более полном и с другим порядком стихов. Я ее переделал.

8) С Кристи[7] никогда больше о пайке. Это моя ошибка, так мне сказал Пинкевич. Только с ним — и, как видишь, он свое слово держит.

9) Еще раз спасибо за исполнение поручений. Только делай это исподволь, не волнуясь и не уставая.

10) Сейчас я очень беден. *Пока* не могу прислать ничего существенного. Сообщи, выгодно ли получать чулки? Их цена здесь (в переводе на наши деньги) — 5 миллионов за 2 пары. Ты платишь столько же пошлины. Итого — 10 миллионов за 2 пары. Ну, а если бы, например, ты вздумала их продать? То сколько бы получила за пару? *Об этом напиши непременно и поскорей.*

11) Побольше пиши о своей жизни. Очень рад, что с курсами хорошо.

12) Я Мариэтту спрашивал о тебе *кстати*, потому что писал ей о пайке. Поэтому ты напрасно говоришь: *«если бы* тебя (т.е. меня) интересовала истина...» Истина меня очень интересует, но я за ней ни к кому не собираюсь обращаться, потому что ты мне *сама* пишешь. Впрочем, Бернштейнам дай Бог здровья. Кланяйся.

13) ...плохой номер. Ничего под ним не пишу.

14) Все не могу кончить начатые стихи. Вот пока одно. Это все, что есть. Т.е. есть еще одно, но оно вроде «Искушения» и ужасно длинное: 666 строк[8]. Жалко будет, если я его перепишу, а письмо пропадет. И не интересное: там все вещи общественные, а ты ведь в общественности ничего не смыслишь.

15) В «Красной нови» не 5 моих стихов, а 4, все петербургские и тебе хорошо известные. Не понимаю, в чем дело. Посмотри сама «Красную новь». Там же Асеев меня очень забавно ругает[9].

Целую твои руки и жду писем. Перечитывай мои, чтобы не забывать, на что я жду ответов.

Владя.

Что же Гаррик? Почему не пишешь о нем? Стихи на обороте.

<...>[10]

Можешь продать или подождать других, чтобы вместе. Как угодно. Неужели в первом № «Диска» не будет моих стихов? Я, впрочем, не верю, чтобы «Дом Искусств» мог издавать журнал. Прочел об этом в какой-то здешней газете.

Можешь не только продавать готовые, но и принимать заказы. Сообщай, кому и что нужно, — а я буду писать и присылать тебе.

56. М. О. ГЕРШЕНЗОНУ

Berlin, 14 ноября 1922

Дорогой Михаил Осипович,

я очень обрадовался Вашему письму, — если уж не удалось повидать Вас, когда Вы были в Берлине[1]. Очень хорошо, что начинаете поправляться. Если хотите и вовсе поправиться — подольше сидите в своем Баденвейлере и не показывайтесь в Берлин: городок маленький, провинциальный, вроде Тулы, но очень беспокойный. Вот я через два дня сбегаю из него в Saarow ($1^1/_2$ часа езды отсюда). Думаю там прожить не меньше месяца. Пытаюсь утащить туда же Белого,

но не знаю, удастся ли. Чувствует он себя очень плохо. Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Кусиковым (sic!), — какую-то жестокую и истерическую месть ее — за что? одному Богу это ведомо толком. Белый очень страдал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с антропософией, то со Штейнером — и Вы поймете, как плохо бедному Б.Н. Он много пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и физическое) дает ему силы выносить это. Однако я, повторяю, постараюсь увезти его на чистый воздух + от кабаков и плохих поэтов, которые изводят его вконец. Вообще же он чудесен, как всегда, и сейчас, измученного, хочется любить его еще больше.

О других, про кого Вы спрашиваете, могу сообщить немного и очень внешне. Ремизов, по-моему, поздоровел, стал как-то бодрее, свежее, но, по обыкновению, нуждается в деньгах. Бердяев с Франком акклиматизируются и затевают русский университет в Берлине[2]. Муратовы еще одной ногой в Москве и не понимают, что вряд ли туда вернутся. Конечно, как и Зайцевы, в Италию не попадут[3]: там жизнь раз в 14 дороже здешней, а издаваться там негде. Степпуна[4] я не видел. Осоргин с Кусковой издают газету «Дни»[5], в которую пишут Бор.Ник., Ремизов, Муратов, Зайцев, я. Завтра увижу Осоргина и скажу, чтобы эти «Дни» они посылали Вам: вот Вам и развлечение. Они, говоря между нами, очень мечтают о Вашем сотрудничестве, но боятся дороговизны. У Вишняка вышла «Грибоедовская Москва», а сегодня я видел пробный экземпляр «Кривцова». Вишняку велел выслать Вам его издания[6]. На днях получите, так же как издания «Эпохи»: сказал Белицкому. Из этого Вы можете заключить, что я, только сегодня получив Ваше письмо, рьяно принялся отвечать Вам и исполнять Ваши поручения. За это, ибо ничто даром не делается, Вы обязуетесь написать мне, чтó Вы пишете и как поправляетесь.

Сам я написал несколько стихотворений[7] и затерял много других, которые надеюсь написать, вырвавшись отсюда. Плохо то, что я болен: очень сильный катар кишок и маленький — в желудке. Это — 5 приемов лекарства в день, не считая других, еще более унизительных для человеческого и писательского до-

стоинства мер. Пишу об этом весело, т.к. все же начал поправляться, а то было совсем невмоготу.

Денежные дела не важны: чтобы были хороши, надо печататься в Париже, но там живут эс-эры. Они, понаслышке, меня зовут, а когда я даю стихи — морщатся, т.к. хотят чего-нибудь поэтичного, ну там про море или про любовь, про птичку — а у меня выходит непоэтично[8].

Ну, будьте, главное, здоровы. Спасибо Марии Борисовне за привет, целую ей руку. Крепко жму Вашу.

Любящий Вас очень

Владислав Ходасевич.

Нина Николаевна просит сообщить Вам, что, дескать, тоже вот живет П.И.Добчинский, Ваш усердный читатель и почитатель[9].

Так как я не уверен, что в той комнате, которую снял в Saarow'e, проживу долго и не переменю ее на другую, там же, то вот мой адрес: Saarow am Furstenwalde. Neu Sanatorium, Herrn A.Peschkoff (M.Gorky), для Х-ча. Горький мне передаст.

Узнал, что в списке высылаемых из России был и я.

57. М. О. ГЕРШЕНЗОНУ

Saarow, 29 ноября 922

Нет, дорогой Михаил Осипович, я сдаюсь не так скоро. Завтра буду говорить по телефону с Вишняком (о, культура!) — и его выбраню.

Относительно поглупения. Вы меня несказанно утешаете. Видно, не только смерть, но и глупость на людях красна. Дело в том, что я испытываю то же самое поглупение, но меня оно постоянно пугает, да так, что мне хочется припугнуть и Вас. Кажется, поглупений *два*. Одно — то, о каком Вы пишете: доброе безмыслие, оттого, что «растение пересажено с открытого воздуха в комнату». Тут, действительно, «отдых от роста». Но мне все кажется, что есть и другое

поглупение, прискорбное: жутковато, что «в комнате» мы не только не хотим расти (отдыхаем), но и не можем — задыхаемся. Вы говорите, что волокнам больно расти. Но мы такие особенные растения, которые день, два, три отдыхают в свое удовольствие, а на четвертый день эти же волокна начинают болеть оттого, что привыкли расти — а нельзя: комната. У меня бывает такое чувство, что я сидел-сидел на мягком диване, очень удобно, — а ноги-то отекли, надо встать — не могу. Мы все здесь как-то несвойственно нам, неправильно, не по-нашему дышим — и от этого не умрем, конечно, но — что-то в себе испортим, наживем расширение легких. Растение в темноте вырастает не зеленым, а белым: то есть все в нем как следует, а — урод. Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем. И в той или иной степени, с разными изменениями, это есть или будет у всех. И у Вас. Я купил себе очень хорошую пробковую ногу, как у Вашего Кривцова[1], танцую на ней (т.е. пишу стихи), так что как будто и незаметно, — а знаю, что на своей я *бы* танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при *моем* сложении, а не при пробковом. И это так иногда смущает, что бросаешь танец, удачно начатый. Бог даст — пройдет это все, но пока что — жутко.

Белый в Саров не поехал. Сподколесничал в последнюю минуту. Но я его все-таки уговариваю[2], потому что Берлин — Бедлам, а здесь очень хорошо: тихо, буквально 20-30 прохожих в *день*, и воздух — как щетка для легких. Приблизительно через день вижу Горького, час или два. Больше никого нет. Что нет Белого, мне жаль. Его очень задергали в Берлине. Жена пишет ему злобно-обличительные послания. Мать умерла. Добронравные антропософы пишут ему письма «образуммевающие», по антропософской указке, которая стоит марксистской. Вместо людей вокруг него собутыльники или ребятишки. Он сейчас так несчастен, как никогда не был, и очень трудно переносит одиночество. Хуже всего то, что он слишком откровенен, и иногда люди устраивают себе из этого забаву, а то и примазываются к нему ради карьеры. Ходят в кабаки «послушать, как Белый грозит покончить с

собой», «поглядеть, как Белый танцует пьяный». Мне совестно Вам писать об этом, но кроме Вас некому и сказать, какой ужас его жизнь сейчас[3]. Все думается, что он выпрямится, но сейчас это страшно. Горько и то, что вот мне его жаль, а так хотелось бы, чтобы он никогда не становился предметом ничьей жалости, понимаете? Т.е. чтобы не бывал жалок, а он бывает, и когда замечаешь, что его жалеют, то на жалеющих больше злишься, чем на хихикающих: ведь они, значит, видят больше, а не надо, чтоб видели. Впрочем, жалéющих мало, больше хихикающих.

Если поедете в Берлин — пожалуйста, известите, когда и где можно Вас увидеть: я приеду. Пока что — сижу здесь и намерен отсиживаться как можно дольше.

Будьте здоровы. Поклон Марии Борисовне.

Любящий Вас

Владислав Ходасевич.

Мой адрес: Saarow am Furstenwalde, Bahnhofs-Hotel.

Посылаю Вам вырезку из «Дней», рецензию Белого на «Грибоедовскую Москву»[4]. Рецензия, по-моему, слабая.

58. М. М. КАРПОВИЧУ

Saarow, 1 января 1923

Дорогой Михаил Михайлович,

новый год начался для меня очень радостно: сегодня получил Ваше письмо. Большое Вам спасибо за память. Впрочем, я у Вас ничуть не в долгу: вспоминал о Вас часто и любовно, только не имел понятия о Вашей судьбе и не знал, как Вас разыскивать. Спасибо, что сами откликнулись.

Эти годы были для меня очень тяжелы физически и морально. Болел, голодал. В мае прошлого (1922) года расстались мы с Анной Ивановной. Я уехал сюда. Нынешнюю жену мою зовут Нина Николаевна. Если Вы читаете «Дни», то видали там стихи Нины Бер-

беровой. Это — ее. Пишет она недавно, ей всего 21 год. За эти годы выпустил я, кроме книги статей (плохих), книгу «Путем Зерна» (Москва, 1920 и Петербург, 1921). Последняя книжка моих стихов только что вышла в Берлине*. Экземпляров авторских я еще не получил. Получу — тотчас вышлю Вам, как и статьи, которые могу добыть у своего петербургско-берлинского издателя. Хуже обстоит дело с «Путем Зерна»: она здесь не переиздавалась, а российское издание попало в Берлин в ничтожном количестве и его, кажется, нигде нет. У меня тоже нет. Но — поищу. Мне хочется, чтобы Вы прочитали и эту книжку. Буду в Берлине недели через 2-3, тогда все это и сделаю: отсюда нельзя, т.к. на посылку книг за границу надо иметь разрешение, добываемое в Берлине.

Сейчас живу в 2 часах езды оттуда[1], ибо здесь нет сутолоки и жизнь дешевле, что́ для меня очень важно: несмотря на так называемое «имя», зарабатываю мало; а жизнь дорожает, мне же приходится помогать Анне Ивановне, которой живется в Питере чрезвычайно тяжело и голодно. Она в Питере, ибо мы с ней перебрались туда еще в 1920 году. Живет одна, с Гарриком, хворает и подголадывает. Очень тяжело далась мне и ей наша разлука. Но жить вместе стало немыслимо уже давно. Нина Николаевна — только *повод*, а не *причина* нашего разъезда. Милый Михаил Михайлович, Вы сделаете *доброе дело*, если напишете ей несколько ласковых слов: она Вас очень любит и постоянно вспоминает. Ее адрес: Петроград, Мойка, 59, кв. 30-а, А.И.Ходасевич.

Вот сейчас вспомнил старые московские времена, так хорошо связанные с воспоминанием о Вас, и сделалось горько до слез. Куда растерялась молодость, и Россия, и все? Куда разметало всех нас? Ах, Господи, как больно думать обо всем этом — а ведь ни о чем другом и не думаешь.

Об Игоре слышал только то же, что́ и Вы написали мне[2]. Жаль, у него есть дарование, а уж из «заумности» он вряд ли опять выкарабкается. Что это с ним случилось? Как легко стали вывихиваться души у нынешних людей!

---

* «Тяжелая Лира».

Нынче гостит у меня Белый[3]. Очень дружим с ним, но его жизнь тоже очень тяжело сложилась.

Милый Михаил Михайлович, нельзя ли Вас поэксплуатировать? Не зайдете ли в балиевский театр и не поговорите ли с Балиевым? Я ему писал через Тамару Христофор. Васильеву (Дейкарханову)[4]. Получил ли он мое письмо? Я же писал, что он ставит мои пьесы и, таким образом, мне что-то должен. Ответа нет. Так узнайте — почему. Не получил ли он письма, или жаль ему денег (что — всего вероятнее). Утруждаю Вас потому, что Никита Балиев мне многим обязан — а он сейчас богат, я же крепко нуждаюсь. Между тем на 20 долларов мы здесь, в Германии, вдвоем живем месяц. Поэтому, если для Вас не неудобно это почему-нибудь, — загляните к Балиеву и поговорите с ним. Для пересылки *денег* мой адрес — Berlin W 30, Martin Luther Strasse, 13, Epocha-Verlag, Herrn Solomon Kaplun. А уж Каплун мне отдаст.

Вас же очень прошу писать мне по адресу: Deutschland, Saarow am Fürstenwalde, Bahnhofs Hotel, W.Chodassewitsch.

Еще раз спасибо за память. Обнимаю Вас и крепко жму руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

59. М. ГОРЬКОМУ

27.VI.923

Дорогой Алексей Максимович,

хуже всего то, что Вы хвораете. Но я почему-то уверен, что скоро окаянная погода изменится, и Вам станет лучше[1]. Поэтому посидим, «подождем погоды» и поговорим о делах. Например — о Никитине. Я прочитал рассказ. Халтура несомненная. Жаль. Я не думал, что он *решится предложить* в «Беседу» эдакое. В порядке сплетни могу рассказать вот что. Получив Ваше письмо, Никитин взъярился. Как? ему? за которым сам Воронский ухаживает? вернуть? Ему? Да ему Толстой звонил по телефону в первый же вечер, как

приехал в Москву! да он с Пильняком на ты! Главная же беда в том, что он уже по всем ресторанам заявлял: Нет, нет, не приставайте! Не умоляйте, — что́ было — все отдал в «Беседу»! — А из «Беседы» вернули, и повесть оказалась «с прошлым». Вещь, отвергнутую Вами, пристроить нельзя. Хорошо. Придумали мы с ним, будто я (без Вас) взял повесть, — а потом поставил условие, что мы разделим ее на 2 номера. На это Никитин, будто бы, не согласился. Я послал его с рукописью в «Геликон», к Вишняку, — и научил, как надо меня ругать. Расчет был правильный: получалось, что Вишняк у нас *перебивает* повесть. Но — опять беда. Подержал Вишняк у себя рукопись — да вдруг и увидел, что она имеется в каталоге «Круга»; печатается там. Чем это кончится — неизвестно; но факт тот, что хоть я и спрашивал Никитина несколько раз, не продан ли «Полет» в России, — он хотел нам подсунуть вещь проданную[2].

Вообще с ним тяжело. Это — не Лунц. Тот еще очень желторот, но мальчик совсем хороший[3].

Что Вы пишете о невозможности писать о российских порядках — верно[4]. Сейчас нельзя ничего, — но рано или поздно Вам придется рявкнуть, да так, чтобы слышали. Мне все еще думается, что их можно хоть сколько-нибудь образумить. Будет плохо, если Вы промолчите до тех пор, когда уже и Ваши слова будут бесполезны. Дело все в том, чтобы уловить минуту.

О себе сказать нечего. Роюсь в Пушкине по-прежнему. Пишу стихи, но конченных нет. Берберова во всю прыть переводит песни Гете — и статью Элленса. Написала хорошие стихи. В следующем письме пошлет Вам[5]. Сейчас ее дома нет.

Всего Вам хорошего. Целую руку Марии Игнатьевне и к ее приезду обещаю набрать сплетен. Сейчас нет.

Шкловский опять очень мил.

Ваш *В.Ходасевич.*

Вот стихи, шуточные (почти).

<...>[6]

В.Х.

60. М. ГОРЬКОМУ

Berlin, 28 июня 923

Получив Ваше письмо, дорогой Алексей Максимович, понял я, наконец, что я — отпетый мерзавец. Я даже не поблагодарил Вас за «Пушкина и его современников»[1]. Это потому, что Каплун передал мне книги в день приезда Никитина. Приезд же был сопряжен с такими громами, бурями, трусами и другими извержениями, каких и сам Соловей бы не предсказал[2]. В голове у меня помутилось. Простите — и большущее Вам спасибо за книги. Они мне не к спеху, но если иногда, гуляя — допустим хорошую погоду, — зайдете на почту и парочку выпусков мне отправите, — то свой будущий чемодан облегчите, а меня порадуете.

Теперь отвечаю на Ваши вопросы. Где мы? Мы в Берлине, Viktoria-Luise Platz, 9, Pension Crampe, — живем и переживаем квартирный кризис, который может быть представлен в виде трагического боевика (666 тысяч метров длины! Огромный успех!) под названием: «Максим ищет дачу»[3]. Живем недурно, трудолюбиво.

Труднее ответить о том, чего «наши» «напильнячили» в Лондоне[4]. Вот что я знаю, — и чему сперва мало верилось. «В честь Пильняка и Никитина» был «банкет». «Все в смокингах». «Я говорил речь». «Нас чествовали». «Был Голсуорти, был Уэльс и др.» — Теперь из Вашего письма вижу, что был не «банкет в честь», а вечер в клубе, о котором Вы пишете. Как говорил речь Никитин — не знаю. По-английски он говорит хуже, чем я по-китайски (я все-таки по-китайски знаю одно слово: Алексеев[5]). Беда в том, что все эти рассказы я слушал невнимательно: не знал, что они понадобятся, — а слушать хлестаковщину тошно. Знаю только то, что, видимо, «наши» наговорили*, потому что Никитин жаловался: Пильняк с места в карьер «изматюгал Кремль» — и это попало в газеты. Думаю, что «матюгал» и Никитин, потому что на другой день или через день «мы пошли к *красинскому* секретарю спрашивать, что нам говорить». По другой версии (того же Никитина) — их *вызывали* в тамошнее представительство РСФСР — распекли. Все это я слышал в первый же день по приезде Никитина. Многое

* Через переводчиков, там, в клубе, были другие русские.

перезабыл, потому что противно было слушать. Вам не хотел об этом писать, но раз Вы уже что-то знаете, так знайте и то, что известно мне. Больше ничего припомнить не могу. Грамотный. 37 лет. Под судом и следствием не был.

Из Вашего письма не совсем понимаю, почему разговоры Пильняка и Никитина побуждают англичан задавать Вам вопросы о возможности аполитического объединения русских писателей. С Вашим ответом я не вполне согласен. В Московском союзе писателей уживались такие люди, как Бердяев и Аксенов, Айхенвальд и Вересаев. Так что вообще объединение мыслимо, но, конечно, как объединение цеховое, а не идейное[6]. Но какое дело до этого англичанам? Точнее: *зачем* спрашивают?

Виноват, вспомнил еще: Никитин очень недоволен политической окраской англичан. «Соглашатели», «Колпаки», «Кадеты». Сам Никитин (со мной) очень левый, левее Дюшена[7]. Так что уж я для приличия пересел поправее Маркова II[8]. Уверен, что если бы Вы услыхали тов. Никитина, то немедленно бы воспользовались уроками Марии Игнатьевны и огласили бы окрестность стройными звуками Гимна. Впрочем, Никитин не отрицает, что «если бы в Москве платили такие же гроши, как в Берлине, он бы на Москву плюнул». Вообще — мерзок вдребезги.

Сегодня вышел со мной анекдот. Я стал рассказывать одному человеку, как должен писать о самоубийстве на любовной почве «писатель», желающий продать свое произведение в «Круг»[9]. Герой самоубивается от любви. Тема не новая. Кто же герой? Он не может быть коммунист, ибо коммунист «стоит на страже», а не стреляется из-за юбки. Он не белогвардеец, ибо нельзя занимать читателя сантиментами буржуазных сынков. Следовательно, — он нечто среднее *(но обладающее правами на ношение оружия)*, т.е. получекист, полуконтрразведчик... Но тут меня перебили. Оказалось, что я рассказываю эренбурговский роман «Жизнь и гибель Николая Курбова», которого, ей-Богу, не читал[10]. Впрочем, эдакий чекист из бывших поручиков стал бессмысленным героем пильняческой словесности. Он удобен: коммунист — следовательно, автор имеет право утруждать внимание читателей его особой; белогвардеец — следовательно, может и не быть образцом

неколебимой добродетели и не обязан все время цитировать программу партии или фельетоны Стеклова[11]. Но беда в том, что и автору приходится быть такою же смесью. Раньше такие лица звались провокаторами. Увы, всю эту гнусь в Москве едят да похваливают. А г.г. сочинители ездят на советские деньги в Лондон — «матюгать Кремль». — Впрочем, в Москве это знают. Надо быть Троцким, надо быть Зиновьевым, надо быть последним мещанином, а не революционером, — чтобы не брезгать такими людьми, а желать их «использовать». Впрочем, чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости[12]. Ныне эти мещане дождутся того, что разнуздают последнего *духа мещанства: духа земли*: землероба. Этому и коммунист покажется слишком идеалистом, и он удавит последнего попа на кишках последнего коммуниста[13]. Впрочем, может быть и другое: Зиновьев будет висеть на моих, скажем, кишках, Троцкий на Ваших, а патриарх Тихон — на кишках профессора Павлова. (Я со смущением вижу, что затесался в слишком хорошую компанию: тут-то и сбудется поговорка, что на людях и смерть красна.)

Как видите, я зол.

Будьте здоровы, однако.

Очень любящий Вас

В.Ходасевич.

Марии Игнатьевне с любовью низкий поклон.

61. М. М. ШКАПСКОЙ

Berlin W, Viktoria-Luise Platz,
9, Pension Crampe.
12 июля 923

Милая Мария Михайловна,

Бог знает сколько времени я Вам не писал. Даже не поблагодарил за Ваше заботливое письмо. Это все из-за крайней занятости: то писания, то «Беседа», то разные люди — ненужные в большинстве случаев. В

довершение всего — переезжал из Саарова в Берлин, потому что Алексея Максимовича доктора заслали под Фрейбург, а одному мне в Саарове показалось скучно. В августе А.М. вернется, и мы, вероятно, опять поселимся вместе на зиму.

2 № «Беседы» выйдет 5 августа, но Вы, вероятно, не видели и 1-го? Это не от невнимания к Вам, а оттого, что нельзя послать № в Россию, пока он не разрешен к ввозу. А этого-то и нет до сих пор, и чем кончится — не знаем.

У меня же к Вам — ряд просьб. Вот — первая. В 3 № «Беседы» я хочу напечатать много восьмистиший: каждое — принадлежит отдельному автору. Эдак штук двадцать — двадцати поэтов. Идет одно из Ваших, имеющихся у нас стихов. Идут 8 строк Белого, 8 — моих, 8 — Парнок и т.д. Не соберете ли мне еще восьмистиший в Питере? Не попросите ли у Коли Чуковского[1], у Тихонова[2], у Павлович, у Полонской[3], у Рождественского[4] — и вообще у кого найдете хорошие 8 строчек. Очень прошу. Гонорар весь будет прислан Вам. Увы — по одному франку за стих. На сей раз *можно* из печатающихся и в России, но *еще не вошедших* в «книги».

Вторая просьба. Не узнаете ли, где и что Анна Ивановна? Я послал ей деньги, *десять* долларов, которые она должна была получить от Ладыжникова около 25—30 июня. От нее же — ни звука. (Последнее ее письмо помечено 3 июня, с известием о получении 22 долларов.) Она собиралась на дачу. Но адреса дачного не прислала. Так вот: *получила ли она 10 долларов и куда послать ей следующие деньги?* Вообще же спасибо Вам навсегда за А.И. Я зло- и добро- памятен. Вот стихи. Не показывайте никому, кроме А.И. (ей дайте списать, если хочет). Не продадите ли их ради денег для А.И.? Впрочем, в продажу моих стихов на петербургской и московской территории мало верю. Дорогие соотечественники пишут на меня доносы. Особенно стараются *бывшие члены Союза русского народа и Освага*[5]. (Данные — у А.М.) Так вот стихи:

<...>[6]

Конечно, это не продастся. Но — почитайте от нечего делать.

Целую Ваши руки.

Любящий Вас *В.Ходасевич.*

Жду ответа.

Мой адрес в начале письма.

Об Асееве мы оба правы, к сожалению. Помяните мое слово: еще и не то будет.

62. М. ГОРЬКОМУ

Преров, 23.VIII.923

Дорогой Алексей Максимович, беда. Только что узнал из Вашего письма, что Вы не на той даче, которую сняли. А где Вы — не знаю: может быть, Ваш адрес был на конверте — но конверт я выбросил. Посылаю это письмо наудачу.

Не знаю, дойдет ли до Вас и мое предыдущее письмо, числа от 16—17. На всякий случай — кое-что повторю. В № 3 идут стихи Сологуба и Ходасевича. Рассказы: Ваш и Ремизова (из «России в письменах», рукопись будет к 1 сентября)[1]. Я было радовался, что будет и Ценский. Будем надеяться, что он приедет. В крайнем случае обойдемся без него. Но я был уверен, что он, пока я здесь гуляю под дождем по морскому берегу, уже набирается. Дело в том, что Мария Игнатьевна и в «Эпохе» и мне сказала, что рассказ Ценского *получен*, что Вы его на днях высылаете, что он ей очень нравится и что в нем ровно 3 листа! А зачем все сие было сказано — тайна женской души[2].

Очень грущу о Ваших жилищных неудачах. Впрочем, может быть, все это к лучшему. Дело в том, что о какой-нибудь Австрии я сам в последнее время очень крепко думаю[3]. Не объединимся ли мы с Вами где-нибудь в эдаких местах? Я люблю «стоять на посту» и «Беседу» не бросил бы, но боюсь, что, судя по берлинским обстоятельствам, «Беседа» может приостановиться. Германские издательства закрываются одно за другим. Пожалуйста, пишите о своих планах. Очень не хотелось бы, чтобы между нами оказалась какая-нибудь граница. Все это станет для меня яснее дней через 7, когда я вернусь в Берлин и увижу Каплуна и понюхаю воздух. Пишите в Берлин, Victoria-Luise Platz, 9, Pension Crampe.

Пока будьте здоровы. Поклон Максиму, Тимоше, Ив. Ник.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

Нина очень кланяется.

63. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Берлин, 21 окт. 923

Милая Анюта, я долго не писал тебе, потому что сперва ждал твоего ответа на прошлое письмо, а потом ждал выяснения некоторых обстоятельств, но так и не дождался.

Мое ближайшее будущее совершенно неясно. Берлин русский разъезжается, кто куда. Надо ехать и мне. В Россию? — но что я там заработаю? Ничего. За границей издательское дело тоже почти заглохло, но здесь есть еще отдельные лица, которые меня пока поддержат. Ехать можно в Париж, в Прагу или в Италию. Париж очень дорог. Прага — бездарное место с совершенно озверелой эмиграцией. Италия всех дешевле и всех дальше от эмигрантщины. По-видимому, я туда и поеду, если получу визу. На днях это решится. Видит Бог, я больше всего хотел бы домой, в Россию, — но деньги всему помехой. Поверь также, что если поеду в Италию, то это не роскошь, а нужда. Это только красиво звучит: «он катается по Италиям». Никому не советую мне завидовать, и в Италию, о которой я так мечтал, мне ехать совсем не хочется[1].

Когда ты получишь это письмо, меня, вероятно, не будет уже в Берлине. Но так как я хочу поскорее знать, как ты поживаешь, то пошли мне две открытки: одну по адресу: Италия. Флоренция. Italia, Firenze, Al. Signor V.Khodassewitsch. Ferma in poste. Это на случай, если я еду в Италию. Другую открытку адресуй: Berlin W 68, Zimmerstrasse, 7—8, Epoche-Verlag. Мне перешлют сейчас же, где бы я ни был. Пожалуйста, сделай так. А я, приехав на место, сейчас же тебе напишу.

Издательство «Время» (Саня его хорошо знает) обязано уплатить тебе пятьдесят долларов, около 1 ноября. Это тебе до 1 февраля. Никогда не думай, что я скуплюсь. Нет, я очень хочу посылать тебе maximum. Не думай зато и противуположного: помочь тебе — радость для меня. Каждый раз я несколько дней хожу веселый, — а потом начинаю тревожиться.

Спасибо за сообщения о моих стихах. Да, вот еще что: я тут напутал и продал (для «Новой России») «Слепого» и «Доволен я своей судьбой»[2].

Если увидишь их напечатанными, не удивляйся и помалкивай. Не беда. Делай вид, что тебя это не касается. Но — прости, больше так делать не буду. Это, ей-Богу, от рассеянности.

Получил письмо от Шкапской. Напишу ей, когда приеду на новое место. Она очень мила и очень хорошо к тебе относится. По-моему, она очень хороший человек.

Пожалуйста, не верь никаким слухам и рассказам. Вот тебе примеры. Тебе чуть не месяц тому назад говорили, что Белый в Петербурге. Одна дама даже *видела* его. А он только дня через 3-4 выезжает из Берлина. Кстати: я с ним вдребезги поссорился. Точнее — он объявил меня таким-сяким. Слава Богу, все это произошло публично, в присутствии 30-40 человек, которые видели, что я ни в чем не повинен. Он устроил мне скандал, будучи вдребезги пьян, — но, проспавшись, не извинился. Вообще он совсем спился, а кроме того — увы! — ты была во многом права. Он стал мне давно уже противен. Лжет, поливает помоями Л.Д:Блок, все и всех предает и т.д. Впрочем, его очень жаль: это не человек, а червивое яблоко. Жалко, — но все-таки тошно.

Зайцевы ничуть не разъехались. Они в Италии. Что дальше — не знают.

Горький пока в Германии, но, думаю, уедет. Куда — еще сам не знает.

На днях пришлю тебе оттиски моих стихов из № 3 «Беседы». Она еще не вышла.

Пока — будь здорова. Целую твои руки. Напиши же открытки, а потом, когда получишь мой новый адрес, — напиши как следует.

Если это письмо поспеет к 1 ноября, то поздравляю тебя с днем рождения и молю Господа, чтобы

тебе жилось хорошо. Пожалуйста, будь добра и весела, насколько можно.

Владя.

«Эльку» еще не кончил. Все вожусь с Пушкиным[3]. Написал уже 8 листов и вчерне еще 3. Однако скоро примусь за «Эльку» и пришлю тебе. Вот еще бланки доверенностей на всякий случай.

64. А. В. БАХРАХУ

Прага, 7 ноября 923

Дорогой Александр Васильевич,

«судьба играет человеком»: в одно прекрасное утро, не получая итальянской визы, я решил дожидаться ее в Праге. Предчувствия меня не обманули: мы выскочили из очумелого Берлина 5 числа, а 6-го там уже пошла всякая чепуха. Последние дни были омерзительны и смешны. Деньги *действительно* дешевели с часу на час. Считать на биллионы трудно и глупо. Словом — мы третий день в Праге. Отсюда поедем в Италию. Очень странно и непривычно видеть, что все сыты, и совсем не слышать о долларах. Литература представлена здесь преимущественно Вас.Ив.Немировичем-Данченко[1]. Лучшие традиции восьмидесятых годов здесь живы. Но так как я в 1886 только родился, то ничем не могу быть здесь полезен.

Что касается здешних русских, то — случалось ли Вам ездить по России в спальном вагоне 3-го класса? Так вот, представьте, что все пассажиры оного (бухгалтеры, земские статистики, учителя, чиновники контрольной палаты, землемеры) — вылезли на станции «Прага» и закусывают в буфете. Колбаса, сыр, чай («свой кипяток») — и просаленная бумага. Я решил не бриться до получения итальянской визы. Люди здесь честные, не спекулянты. Кроме хороших убеждений, обладают удивительно толстыми задами, куда толще, чем у Белого и у Шкляра*[2]. Ходят в люстриновых

* Все это — о русских. Чехов я еще не разглядел. Но — добрые люди.

куртках и серых штанах. Носят бороды и небритости. Особы женского пола все в очках. Пишут через ять, но без твердых знаков.

Города еще почти не видал, ибо погода ужасная. Сижу дома. Чешский язык для меня труден, т.к. надо лавировать между русским и польским. Знающему только один из этих языков научиться чешскому легче. Всего же легче — если не знать совсем никакого языка: чешские младенцы научаются очень быстро.

Читая здесь немецкие газеты (ей-Богу, это проще), сделал я немаловажное открытие: в европейский обиход вошли только три понятия, выражаемые русскими словами: Zar, Sowiet и Pogrome. По-видимому, это и суть неотъемлемо русские и непереводимые понятия. (NB: «Samowar» — не привился и называется Tee-Maschine[3].)

Из новостей общеевропейского значения могу Вам сообщить, что Муратов едет в Италию с Кат. Серг., Гавриком[4] и собакой, носящей римское имя Муция, — за то, кажется, что при таскании за хвост не визжит. [Фраза составлена неудачно: при слове «едет» подлежащее — Муратов, а при «не визжит» — Муций.]

Если хотите походить на здешнего жителя — купите себе сорочку с красными и зелеными горошинами, а также высокие галоши: низ резиновый, а верх суконный, на застежке. Я таких не видал с 1892 года.

Будьте здоровы. Пожалуйста, садитесь и пишите мне длиннейшее письмо, каждый день, как дневник. Но не отправляйте. Я Вам напишу, когда и куда отправить.

Целую Вас и Ириночку.

В.Х.

Н.Н. кланяется, лапидарно, но нежно.

Проект иллюминации в день нашего совокупления[5].

65. А. И. ХОДАСЕВИЧ

Мариенбад, 7 дек. 1923

Милая Анюта, меня очень беспокоит, что от тебя нет письма. Я просил тебя написать во Флоренцию до востребования и в Берлин — в «Эпоху». Но в «Эпоху» ты, видно, не написала, а во Флоренцию и вообще в Италию <я> не попал. Дело с получением итальянской визы запуталось, в Берлине оставаться больше нельзя было — и я поехал в Прагу, где и просидел с 4 ноября до вчерашнего дня: больше месяца ушло на беганье в итальянское консульство и на бездарное житье в гостинице. С итальянцами так ничего и не добился — и только прожился. В конце концов в Прагу приехал Алексей Максимович — и увез меня сюда, в Мариенбад. Я совершенно измучился в Праге. Сперва 2 недели надежд: вот завтра уеду во Флоренцию — и каждый день разочарование. Потом — $1^1/_2$ недели лежал из-за огромного нарыва на ноге. Хворать в гостинице, да еще в Праге, городе очень неблагоустроенном, — трудно. Главное же — целый месяц не брал пера в руки, выбился из колеи, затормозил все работы и истратил черт знает сколько денег, живя в поганой гостинице. Слава Богу, теперь у меня есть письменный стол и лампа. С завтрашнего дня сажусь работать. Главное же — у меня теперь *есть адрес*, т.к. до сих пор я буквально не знал, где буду находиться завтра. Очень жалко, что не попал в Италию. Жизнь в Мариенбаде в $1^1/_2$ раза дороже, чем во Флоренции или в Сиене. Кроме того, все же Италия — не Мариенбад. Ну, да что делать. Главное, мне обидно, что меня 2 месяца водили за нос, что я, ради визы, давал даром переводить себя на итальянский язык, — и что жить здесь дороже и хуже, чем в Италии.

Пожалуйста, напиши мне о себе поскорее. Если это письмо поспеет к 22 числу — то поздравляю тебя с днем Ангела.

Получила ли ты деньги (50 долларов) от Вольфсона[1], дяди Бернштейнов? Напиши.

С Лежневым дело я улажу: мы с ним «друзья», т.е. я ему очень нужен (это между нами). Он мне писал, я ему тоже пишу сегодня.

Пока — будь здорова. Я все это время был в

сплошной чепухе — так что и написать о себе ничего не могу. Главное, привык работать по 6-7 часов в день, а сейчас больше месяца ничего не делал и очень от этого изнервничался.

Целую руки.

Владя.

Мой адрес (переписывай точно): Чехословакия. Мариенбад. Českoslavensco. Marienbad. Mariánske Lázne, Hotel Maxhof, W.Chodasevič.

66. А. И. ХОДАСЕВИЧ

27 дек. 1923
Мариенбад

Анюта, милая, сегодня получил твое письмо. Рад, что ты, по крайней мере, здорова. Давно не имея вестей, я уже беспокоился. Большая у меня к тебе просьба: не унывай, не расстраивайся, не думай, что никто о тебе не заботится. Верь, пожалуйста, что если наши отношения не могли и не должны были продолжаться в прежней форме, то это еще не значит, что ты для меня чужая. Напротив: я как-то забыл все плохое и хочу помнить одно хорошее. Если в будущем нам не жить под одной крышей, то это не значит, что ты не остаешься очень близким мне человеком.

И еще: в который раз говорю тебе, что моя жизнь — трудная, а не легкая. Не завидуй ей. Не опровергай того, что тебе будут рассказывать, но про себя помни мое правило: не показывать вида. Я, бывало, не ел по 3 дня — а брюки были разглажены и десятилетний Мишин сюртук — как новенький. И все так. И теперь так.

Твое сообщение о моих стихах очень огорчило меня. Не литературно, на «литературу» и «славу» мне 30 раз наплевать, — но деньги. Это значит, что если бы я вернулся в Россию, то не имел бы ни здешнего заработка, ни тамошнего. А вернуться мне хочется. Ну, да время все уладит, я в этом уверен.

Теперь вот какое дело. Если у тебя не хватит

денег до 1 февраля — *займи без страха:* деньги у тебя будут, это наверное. Я еще только не знаю, как ты их получишь. Во-первых, я кончил большую, (2 листа), статью, которая, вероятно, пойдет в журнале Тихонова и Замятина[1]. Гонорар велю отдать тебе весь. Во-вторых, на днях начну кусками присылать тебе «Эльку». В-третьих, ты в начале февраля получишь, вероятно, деньги от Екатерины Павловны Пешковой. Словом, еще не знаю, как и что, но деньги *будут*. Поэтому не огорчайся, если присланных не хватит, а новые еще не получатся: *занимай уверенно*, только не у Тихонова и Замятина — и вообще никому ничего не говори о моем будущем сотрудничестве в их журнале. Будто ничего об этом не знаешь. Это так надо. Почему — скучно объяснять.

В Италию я, может быть, все-таки поеду в конце января. Но пиши мне сюда: Чехословакия. Českoslavensco. Mariánske Lázne. Marienbad. Hotel Maxhof[2]. Кроме того, я как-то мало надеюсь на Италию, хотя это было бы хорошо во всех отношениях: 1) дешевле, 2) теплее, 3) занятнее.

Здесь страшная тишина. «Сезон» в Мариенбаде начинается первого мая. Сейчас все закрыто. Город состоит сплошь из одних гостиниц и ресторанов. Но все это пусто, ставни закрыты, даже хозяев нет. Кажется, только Maxhof отапливается во всем городе, магазины закрыты на $^3/_4$. Похоже на Петербург в 1919 году. Очень много снегу. Сегодня мороз 12 градусов, и я не выхожу, ибо нет шубы и галош. Улицы пусты.

Я работаю по целым дням, а вечером играю в «тетку» с Горьким, Максимом и его женой.

Вот и вся моя жизнь, если не считать хитрейших и труднейших денежных изворотов, подчас чрезвычайно тяжелых. Ну, будь здорова. Целую руки и очень прошу глядеть повеселее. Господь сохранит и уладит всех и все.

Владя.

Скажи Толстому, что я очень люблю его прекрасный талант и его самого. Если он думает, что между нами что-нибудь вышло, то очень ошибается. Между *нами* ничего не вышло, и он напрасно глядит «козерогом».

Стихов совсем не пишу последнее время. Из книги о Пушкине готовы 8 листов, 3 вчерне. Всего будет 12-15, к весне. Нельзя ли издать ее в России?[3] Поговори (по секрету) с дядей Сани. Сколько даст за лист. 6 июня — 125 лет со дня рождения Пушкина. Хорошо бы издать к тому времени. Деньги — тебе.

67. В. Г. ЛИДИНУ

Венеция, 18 марта 1924

Дорогой Владимир Германович,

сам не знаю, почему так долго не отвечал Вам. Все откладывал, а почему — сам не знаю. Что рассказать Вам? С начала ноября по начало декабря жил я в Праге, противнее которой вряд ли есть что-нибудь на свете. Потом приехал Горький и потащил с собою в Мариенбад, где я и прожил с ним до 11 марта. В Мариенбаде — глушь, тоска, холод, снег. Я не написал там ни строчки стихов. Зато кончил книгу о Пушкине. 11 числа я сбежал и из Мариенбада и теперь слоняюсь по свету, мало зная, что́ будет дальше. Вот уже 4 дня, как я в Венеции, еще дня через 4 поеду во Флоренцию, а что будет дальше — никто не знает. Вероятно, Париж, в который меня не тянет. А, может быть, опять съедемся где-нибудь с Горьким. Мы за эти 2 года очень сжились с ним.

Пока что — хожу по Венеции, в которой не был 12 лет. Она все такая же, да уж я не тот. Для Венеции нужна беззаботность, точнее — способность предаваться чистому лиризму (любой окраски). А вот ее-то и поубавилось. Кстати: в Берлине, Праге, Мариенбаде и здесь видел я много домов, в которых родились или жили многие великие люди: Гете, Байрон и т.д. Хотел бы я также повидать дом, в котором родился Герцен. Как по-Вашему: сто́ит?[1] Спрашиваю не для ближайшего времени, а вообще. Вы в таких делах понимаете, и Ваше мнение для меня ценно. Однако весь вопрос — между нами.

Вопрос второй: нет ли издателя на книгу «Поэтическое хозяйство Пушкина»? Часть ее Вы могли видеть в «Беседе». Впрочем, и эта часть ныне значительно исправлена и переделана. Вся книга состоит из 50 заметок, различных по темам, приемам и размерам (от 8 строк до $2^1/_2$ листов). Вся книга = 13 листам сорокатысячным и может быть Вам доставлена в любую минуту, если есть *прочное* предложение. Поразузнайтека, да и черкните по адресу: Berlin SW 68, Zimmerstrasse, 7—8, Epoche-Verlag, Herrn W.Chodasewitsch (*Не* заказным). Мне перешлют письмо тотчас, где бы я ни был. Я бы Вас не затруднял, да не знаю нынешних издательств и их дел.

NB. 6 июня — 125 лет со дня рождения Пушкина.

Пожалуйста, напишите о себе, о Москве и московских людях. Кланяйтесь Михаилу Осиповичу.

«Беседа» с Вашим рассказом, вероятно, вышла[2], но я еще не видал ее, т.к. уехал из Мариенбада.

Будьте здоровы. Дружески обнимаю Вас и люблю по-прежнему.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

68. М. ГОРЬКОМУ

207, B^d Raspail, Paris (XIV)

Дорогой Алексей Максимович.

Приходится мне начинать с очень печальной вести: знаете ли, что 8 мая, в Гамбурге, умер бедный Лунц? — К этому ничего не прибавишь. Поговорим о живых.

В Париже (французском) жить хорошо. В русском — недурно. Впрочем, *мой* русский Париж невелик: «Современные Записки», Осоргин, Зайцев, Познер, Гржебин, Ремизов, еще 2-3 человека — и всё. Мережковские, Бунин, Куприн — вне меня — и вне себя от меня. С Куприным, кажется, выходит у нас «полемика», но о ней до другого раза, — когда закончится, пришлю[1]. Пока посылаю поэму Шкапской. В ней лучшее — краткость, худшее — все остальное[2].

Вы мне сообщаете гадости об андреевской «родне»[3]. Могу Вам сообщить кое-что в обмен. Знаменитая «клятва» серапионовцев была подписана за них всех Никитиным, без их ведома[4]. За сие получил он пощечину от Каверина.

Я написал статейку о Пушкине для «Воли России»[5], в коей напечатана, кстати сказать, весьма восторженная заметка Лутохина о Ваших последних книгах[6]. Написал также «окончание» одних пушкинских стихов (из-за них-то Куприн и взъелся). Пишу сейчас еще 2 статьи: «Вестник и царь» (о восприятии поэзии) и юбилейную — о Пушкине, для иностранных газет[7]. Стихи есть начатые, да кончать некогда: это товар неходкий, а я — торговый человек: продаю людям неподходящее.

Подвел меня Тихонов, с участием Вас и Марии Игнатьевны. Я же Вам говорил, что в статье о «Русалке» 2½ листа. А Тихонов заявляет, что он соглашался печатать *не более ½ листа.* Что ж Вы мне этого не сказали? Тихонов вернул статью Анне Ив., моей бывшей жене. Я не гонюсь за печатанием в «Русском современнике». Но теперь Анна Ив. сидит без денег, я тоже. Кроме того, из-за этого застряла вся книга о Пушкине, на которую нашелся было издатель в Петербурге. Скажите Тихонову «мерси»: он посадил меня рублей на 800 золотых, т.е. на 400 долларов, т.е. на 6 месяцев парижской жизни. Теперь это непоправимо, ибо Пушкинский юбилей — 6 июня, к тому времени книга выйти не может, а после 6 июня издатель отказывается печатать: после ужина горчица[8].

Не знаете ли, жив ли Каплун? Он не отвечает на письма уже 2 месяца, не шлет денег, не шлет корректуры[9]. Я написал ему последнее письмо с уверением, что нельзя работать в журнале, у которого глухонемой издатель, а секретарь (целую у него ручку) — бывает в редакции 2 раза в 3 месяца[10].

Напрасно ломал я голову, стараясь сообщить Вам что-нибудь утешительное. Ничего нет. Впрочем, и Ваше письмо (единственное: отправленное к Гржебину пропало) — невеселое.

Вот что: не напишете ли Вы для «Беседы» о Лунце? Было бы, по-моему, очень хорошо, если б это сделали именно Вы[11].

Браун напрасно пропускает такие переводы, в

которых говорится: «Из трех ворот сам*ое* меньш*ее* направлено (?) на восток», или: «...двое ворот, *одно* с северной, друг*ое* с южной стороны» («Беседа», № 4, стр. 226, строка 14 сверху; стр. 227, строка 1 снизу)[12]. Номер же — хороший: вот и «утешительное».

Будьте здоровы. Где Мария Игнатьевна? Вернулась ли?

Ваш *Влад. Ходасевич.*
Я пишусь тут Hodassevitch.

13 мая 924
Париж

69. М. О. ГЕРШЕНЗОНУ

Croft-House. *Holywood.* Co Down. *Ireland*
6 августа 1924

Дорогой Михаил Осипович, через три дня — год, как мы с Вами не видались[1]. Год для меня пестрый и бродячий. Сейчас я временно в тихом месте, и хочется написать Вам. Почему-то хочется рассказать этот год, хотя бы внешне, потому что о внутреннем — сложно и трудно.

В начале ноября мы уехали из Берлина, в Прагу, ждать итальянскую визу. (Она была обещана, а в Берлине было невтерпеж.) В Праге живут русские профессора и писатели неолитического периода. Младшему, Вас. Ив. Немировичу, — 81 год. Они ходят в галошах и устраивают «едноту»[2] с чехами. А чехи — это богатые родственники, но из тех, кого не приглашают, когда ждут гостей. Они любят целоваться и давать деньги, но хотят, чтоб за это Лев Толстой почитался чешским писателем. К счастью, я не еднался и денег не брал, а лежал две недели в постели (фурункулез). Вскоре приехал Горький, а так как итальянской визы все еще не было, то мы все вместе поехали... в Мариенбад. Не думайте, что мне уже приходится лечиться от толщины. Нет, это были поиски тихого места. В Мариенбаде зимой — глушь, почти все отели и магазины заколочены. Снежные заносы и езда с колокольчиками. Жили очень тихо. Потом пришла моя виза, но развалились зубы. При-

шлось вырывать все старые и делать новые. На это ушло $1^{1}/_{2}$ месяца. Только в начале марта мы с Ниной Ник. (вдвоем) уехали в Италию. Но денег уже оставалось мало: мариенбадские цены и зубы все испортили. Мы пробыли 8 дней в Венеции, которая, как ни странно, приметно одряхлела за тринадцать лет, что я не видал ее. Первое впечатление — гнетущее: прах, пыль, кажется — любой дом можно легонечко растереть между пальцами. Тинторетто в San Rocco[3] так почернел, что перед некоторыми вещами не стоит останавливаться: ничего нет. Нина все же успела сойти с ума, и только дожди выгнали ее из Венеции. Поехали во Флоренцию, но в поезде передумали и докатились до Рима. Там прожили три недели. Что успели, то видели. Больше не было денег, надо было садиться за работу. Поехали в Париж. Там прожили три с половиной месяца, довольно скверно и хлопотливо. В Париже я был в первый раз, но не стал ничего смотреть. Музеи отложены на осень. Сейчас — глаза не смотрят. Скажу по правде: даже в Италии, чтобы смотреть на прошлое, мне приходится делать над собой некоторое усилие.

В одну из трудных минут написал такие стихи:

<...>[4]

А из Парижа поехали мы сюда, в Ирландию. Здесь у Нины двоюродная сестра, замужем за англичанином, еще с 1915 года. Живем здесь пятый день. Дом — огромный, на краю маленького приморского городка. Большой сад, много комнат, крахмальные салфетки, автомобиль, к обеду люди переодеваются. Из окна — залив и невысокие горы, немножко похоже на Крым возле Феодосии. Тихо до странности, очень зелено, поминутно то дождь, то солнце. Кажется, примусь за стихи, которых весь год писал очень мало. Я все сидел за «Поэтическим хозяйством Пушкина». Написал книгу в семнадцать листов (настоящих, сорокатысячных). Приблизительно $^{2}/_{3}$ этой книги вышли в отдельном издании в России и, вероятно, Вам доставлены. В этих двух третях, изданных без моего ведома, напечатан *черновик* части моей книги, т.е. сделана перепечатка из «Беседы»*. В нее не вошли никакие мои поправки и дополнения, которых у меня очень много.

* Прочее напечатано в других местах.

Повторены все опечатки «Беседы» и прибавлена уйма новых, порой искажающих смысл вдребезги. Очень забавно, что вовсе пропал эпиграф из письма М.О.Г.[5], пропал конец 13-й заметки, пропало все вступление к заметке о Наполеоне (15-я). Из *одной* заметки о «Русалке» (42-я) эти идиоты сделали *девятнадцать* (42—60), самовольно поставив цифры вместо звездочек. И все в этом роде, не перечесть. Книга загублена, во всяком случае — на то время, пока я не смогу переиздать ее. Признаться, я был очень огорчен. Но потом решил, что напишу Вам о своем отречении от этой книги; Вас попрошу сказать то же Цявловскому[6] (с приветом) — а до прочих, пожалуй, и дела нет. В общем, однако, эта история меня очень расстроила.

Здесь поживем мы до конца сентября. Потом — снова в Париж, но постараемся там не задерживаться, а, если будут деньги, поедем на зиму в Сорренто. Там — Горький. Отношения мои с ним хороши, хотя я фактически понемногу отошел от редактирования «Беседы». Сотрудничать продолжаю и на обложке значусь.

Пожалуйста, напишите мне сюда. Адрес — вверху письма. Я буду очень ждать Вашего письма, потому что по-прежнему люблю Вас и вспоминаю, наверное, чаще, чем Вы меня. Пожалуйста, передайте самый низкий поклон Марии Борисовне. Привет детям. Также поклон Цявловскому, которому непременно покажите это письмо, чтоб душа моя не болела. Только Вашим и его мнением я дорожу.

Нина Вам всем кланяется.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

70. М. ГОРЬКОМУ

<Середина — конец августа 1924 г.>
Croft-House. *Holywood.*
Co Down. *Ireland*

А я, дорогой Алексей Максимович, думаю, что книга Модзалевского — хорошая[1]. Сотрудники его, Измайлов и Кубасов, люди никакие. Но самого Мод-

залевского очень уважаю и ценю, если не за дарование, то за огромную эрудицию[2]. Его биография вряд ли осветит личность Пушкина, но не сомневаюсь, что внешняя история пушкинской жизни у Модзалевского рассказана очень правдиво и точно[3]. Поэтому мечтаю о том времени, когда добуду сию книгу, для чего надобно переселиться в культурные страны. Вообще завидую Вам, читающему книги. Здесь нет ничего, кроме «Беседы» и тому подобных новинок.

Очень хорошо, что меня не было при Вашем разговоре с Муратовым об интеллектуализме русской поэзии. Я внес бы минорные ноты, спрягая глаголы в прошедшем времени. По-моему, поэзия наша, примерно с 1910—11 года, заметно глупеет. Хуже того: в память былого интеллектуализма она довольно упрямо твердит об одной *идее*. Но идея эта — давайте глупеть! Начали акмеисты, продолжили футуристы. Старики не в счет, но лозунг большинства *передовой* молодежи именно таков. Заметьте, что пролетарские поэты к этому лозунгу не примкнули — и именно *за это* разные Лефы обвиняют их в том, что они плетутся в хвосте у «буржуазных символистов». Так что мне кажется, что в поэтической губернии, если и не вовсе неблагополучно, то уж во всяком случае — «угрожаемо» по глупости, по принципиальному отказу от интеллектуализма[4].

Ирландии я не видел и, по всей вероятности, не увижу, по незнанию языка и отсутствию гида. Впрочем, я и нахожусь в ее наименее интересной части, в Ульстере, который — просто английская провинция. Любопытно было бы побывать на юге и на крайнем западе, но там — разные политические рогатки, а кроме того для этого нужны деньги, а их нет у меня. Посему рассматриваю свое здешнее пребывание как санаторий. Норовлю потолстеть, отлежаться и отмолчаться. Пребывание наше здесь закончится в конце сентября, и по сему поводу вот у меня какие соображения.

Вы звали в Сорренто — и мне (и Берберовой) очень хочется с Вами повидаться. Но денег у нас будет, видимо, маловато, а Италия не обладает российскими газетами и прочими кладохранилищами. Поэтому жить в гостинице нам нельзя. Итак, если в Вашей вилле будет к тому времени место для нас, то мы бы нагрянули с великой радостью. Соловей [5] писал Вален-

тине[6], что вилла велика. Если это верно, то ура. Пожалуйста, напишите, есть ли у *Вас* кров для двух персон и два стола, на которых можно обогащать сокровищницу родного слова. Признаться, я уже принял меры относительно визы, т.е. написал Ольге Ивановне Синьорелли, и жду от нее ответа[7]. Так как она в Сорренто и приятельница Муратова, то, может быть, Вы ее видаете. Если да — то напомните ей, пожалуйста, что нам нужны визы. Дело в том, что уж ехать так ехать, то есть нам не хотелось бы застревать в Париже, — а просто приехать туда, получить у тамошнего итальянского консула визы — и сейчас же к Вам. Потому-то и хлопочу загодя. Если Вы с Синьорелли не знакомы, то скажите, пожалуйста, Муратову, чтоб он ей напомнил.

Написал я три стихотворения, довольно мрачных. Для «Беседы» напишу другое. Успею, ибо Каплун пишет, что только начнет набор № 6 около 1 сентября. Кроме стихов, сочинил я прилагаемое письмо в редакцию[8]. Один экземпляр послал Федину для «Книги и революции». Второй прилагаю. Мне бы хотелось напечатать его в «Беседе». Если разрешаете, то, пожалуйста, перешлите Каплуну. Вся эта история (в чем дело — увидите из письма) испортила мне много крови. Мне необходимо напечатать это письмо и в России, и за границей. «Беседа» для этого всего удобнее, тем более, что я не уверен, существует ли еще «Книга и революция» и не ушел ли оттуда Федин. «Мысль» — кооперативное издательство, изобретенное Гумилевым в 1921 г.

Пока — всего хорошего. Пожалуйста, напишите о возможности нашей соррентизации и о «письме в редакцию» — пойдет ли в «Беседе».

Любящий Вас *В.Ходасевич.*

Берберова кланяется и ждет поэмы.

71. М. ГОРЬКОМУ

14 сент. 924. Holywood

Милый, милый Алексей Максимович,

мрачные мысли Вашего письма, к сожалению, уж очень подходят к тому, что я сам испытываю давно, а в последнее время — особенно остро. Да, такая беспросветная подлость кругом, что дышать нечем, а иной раз и не хочется дышать вовсе. Нужно очень большое напряжение воли, сознательное старание не растерять свое *я*, чтоб не пустить себе пулю в лоб или не «опуститься»... до общего уровня. Потому-то Ваша приписка: «Берегите *себя*» — мне так много и хорошо сказала[1].

Однако, уж пожалуйста, берегите и Вы себя. Уж такое трудное наше занятие: мы лечим обжору от тучности, а он у нас на глазах жрет с утра до ночи, — все, что попало, только не наши лекарства. Да что поделаешь? *Надо* же его, подлеца, лечить. Только этим утешаюсь, а то бы давно сам с горя запил.

Савинкова я тоже считал дрянью. Но все же надеялся, что он сумеет это скрыть, т.е., вернее, сам в этом не признается. А он и признался[2]. Думаю, впрочем, что он еще себя покажет: это не последнее его слово[3].

Да, так плохо идет все на свете, до того все время ждешь какой-нибудь новой напасти и таким ощущаешь себя беззащитным, что — становлюсь суеверен, как купчиха: понедельников боюсь, пятниц боюсь, похорон не обгоняю и очень истово плюю через левое плечо. В этом, конечно, нельзя признаваться вслух, ибо дураки обрадуются: это так хорошо соответствует их теории о происхождении религии, которая, кстати сказать, для народа как раз не *опиум*, а *допинг*.

Жизнь здесь нам с Берберовой изрядно осточертела. Утешаемся только тем, что 26 числа (плохо, 26 — дважды тринадцать, да еще пятница) мы отсюда уедем. 27-го будем в Париже. Числа 4 выедем оттуда и, остановившись дня на 3 в Риме (для визитов к Ольге Ивановне и... к Юреневу (паспорта)) — числа, значит, 10-го — приедем к Вам (тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить).

Тут произойдет великое ликование и плясание, потому что мы очень по Вас соскучились.

Если захотите что-нибудь сообщить или поручить до нашего приезда, то пишите, пожалуйста, в Париж, Познеру, для передачи мне (280, B^d Raspail, Paris XIV^e).

Всего Вам хорошего.

Ваш *В.Ходасевич*.

Есть стихи, да посылать уж не стоит: прочту. А в плохость повести Вашей плохо верю[4].

Дорогой Алексей Максимович,

неужели же действительно через какой-нибудь месяц мы свидимся с Вами! Целый день мы оба до глупостей предаемся мечтаниям: как мы войдем, как посмотрим и т.д., как, одним словом, все «это» будет.

О здешней нашей жизни сказать будет почти нечего, о жизни же здешних обитателей и вообще страны Вам небезынтересно будет послушать. Если будете еще нам писать, ответьте, пожалуйста, что Вы думаете о современном ирландском писателе и поэте Джеймсе Стивенсе? У него мистико-фантастические повести (очень кельтские) и брошюра (30 стр.) о восстании в Дублине в 1916 г. — для «Беседы» нельзя?[5]

72. М. О. ГЕРШЕНЗОНУ

17 декабря 924

Дорогой Михаил Осипович,

Ваше письмо от 23 октября получил я только третьего дня. В последних числах октября уехали мы из Ирландии, дней шесть пробыли в Париже, потом поехали сюда, через Рим, в котором провели всего $1^1/_2$ суток. За это время Вяч. Иванович дважды не застал дома меня, а я столько же раз — его. Так мы и разминулись, ибо я не мог дольше пробыть в Риме.

В конце концов, 9 ноября очутились мы здесь, в Сорренто[1]. Живем по-прежнему с Горьким, который силою вещей становится для нас «тихой пристанью». Здесь проживем до весны, а то и до лета. Я бы остался и дольше, но боюсь, что наступит безденежье и пого-

нит в Париж, о котором думаю с ужасом. Разумею «русский» Париж, который все безнадежнее погрязает в чистейшем черносотенстве. Уже весной я пришелся там не весьма ко двору. Что же будет теперь, когда Н.А.Бердяев официально объединился с Коковцовым[2] и они вместе строят «Сергиевское подворье»?[3] (Сие следует понимать вполне буквально, отнюдь не метафорически.)

Уже четыре месяца, как не написал я почти ни строчки (3-4 неважных стихотворений не считаю). В стихах у меня очередной период застоя, а статьи выходят злобные + такие, что *ни в каком* пункте земного шара их не станут печатать.

Пробую написать воспоминания о Брюсове, но их тоже вряд ли напечатаю, потому что часть пришлось бы выкинуть, ибо она касается живых людей, а в остальном — слишком мало хорошего вспоминается. Мещанство, грубость, казенщина.

Вообще, я, признаться, подавлен всем, что творится на свете. Поэтому — что ни начну писать — кажется мелким, ненужным, главное — бессильным.

Изнываю от зависти к Р.Роллану. Вот счастливец! Каждый месяц присылает по рукописи, преисполненной заглавных букв и прописных истин. Вопросы Человечества, Свободы, Красоты, Науки, Религии, Искусства, Знания, Духа, Гуманности, Любви, Смерти, Долга и всего прочего, а также Задачи Прошедшего, Настоящего и Будущего трактуются с необыкновенною Широтою и Фанфаронством. Каждые две недели присылает он Горькому по письму, в котором, захлебываясь от саморекламы, ораторствует о Творчестве и о Горизонтах. И все это — в необыкновенно цветистых метафорах, в которых при «поверке воображения рассудком» концы с концами никак не сходятся. Несчастная Берберова, обливаясь потом, старается все это переводить так, чтобы французская Красота по-русски не обнаруживала своего Пустословия. (Этим ужасным ремеслом она зарабатывает свой Хлеб!.. О да, это Голод тела толкает ее добывать Орех Истины, дробя Коросту Глубокомыслия Щипцами Языкознания!..)

31 декабря

На этом месте я было отложил продолжение письма, — но Бог меня покарал за злословие. Дня три

мучили разные неотвязные люди и дела, — а потом взяло да зачесалось в ухе. Я почесал. Не проходит. Я почесал покрепче. А на другой день стало нарывать, и произошел небольшой, но мучительный нарыв в ухе. Тут уж было не до писем. Сегодня все это почти кончилось, второго нарыва, надеюсь, не будет. С забинтованной головой встал я вечером с постели — и собираюсь встречать Новый год. Наши шумят и устраивают ужин. Говорят, натащили каких-то веток, на которых сразу висит по тридцать штук апельсинов. Все это очень мило, но к Новому году нужны не апельсины, а снег. А у нас снег виднелся дня три на горах, поправее Везувия, за Помпеей, — да и тот давно стаял.

Тоже и Рождество было ненастоящее.

Возле маленькой церквушки, по соседству с нами, был крестный ход. Во время него пускались неистовые фейерверки и шла просто пальба, самая обыкновенная и неистовая, при помощи чугунков, набитых порохом. Степенный молодой человек, вроде приказчика, нес на руках деревянно-розового Bambino. Над ними обоими держали плоский китайский зонтик из розовой материи. Я восхитился лукавой серьезностью, с которой священник, встречая процессию на паперти, принял младенца из рук приказчика. Я зашел в церковь; служба торопливая и неблаголепная. Ее и не слышно было за несмолкаемой пальбой, которую, видимо, здешний Бог очень любит. Пальба, впрочем, имеет, как и везде, большое агитационное значение. Следственно — да будет пальба! — Великолепный эффект: именно сию секунду бабахнули у меня под самым окном — на сей раз уже в честь Нового года. — Я иду ужинать.

1 января

Простите, милый Михаил Осипович, — это письмо становится похожим на дневник. Но сегодня его нельзя было отправить: почта закрыта.

Итак, поздравляю Вас и всех Ваших с Новым годом и шлю от всей души самые лучшие пожелания. Нина велит вам «ужасно» кланяться. В последнее время мы занимаемся тем, что я построчно перевожу ей Словацкого и Мицкевича. Сейчас читаем «Dziady»[4], и я с огорчением вижу, до какой степени у такого большого поэта душа была «заложена» национализмом, — я иначе не могу выразиться: заложена — как заложен

бывает нос: дыхание трудное и короткое. Вся III часть этим обескрылена безнадежно. Чем выспренней ее внешняя поэтичность, тем прозаичнее она внутренно. Если Пушкин читал ее целиком, то, быть может, этот прозаизм должен был рассердить его всего больше, — больше чем ненависть к России. —

Пожалуйста, напишите о себе. Мне *все* про Вас любопытно, до самых мелочей. Когда думаю о России, всегда вспоминаю Вас, тотчас же. Можете принять это за объяснение в любви.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

Villa «Il Sorito» (Это так только называется).
Capo di Sorrento (Napoli).
Писать надо заказным.

73. В. И. ИВАНОВУ

Сорренто, 21 янв. 25

Самое сердечное спасибо Вам, дорогой Вячеслав Иванович, за доброе слово о «Тяжелой Лире»[1]. Я бы, кстати сказать, давно прислал ее Вам, будь у меня хоть один экземпляр.

Сейчас я сколько ни пробую писать — ничего не выходит. Отчетливо чувствую, что прежняя моя форма должна быть как-то изменена, где-то надломлена. Однако ни вычислить угол и точку надлома, ни натолкнуться на них в процессе работы — мне все не удается. Не скрываю от себя и того, что сей «кризис формы» корнями уходит, конечно, глубже, что должно мне сейчас разрешить для себя ряд других проблем, которые, вероятно, автоматически приведут к разрешению формальной. Но — это дело трудное и затяжное.

В «молитвах издателю»[2] я Вас поминаю усердно. Но: 375 лир за 123 стиха — это выходит по 3 лиры, т.е. больше, чем по 2 франка за стих. А другие эмигрантские журналы («Современные Записки», например) платят по франку, 1½ — maximum. Конечно, это

гонорар нищенский, но он — следствие безвыходного положения эмигрантской печати вообще. В частности, что касается «Беседы», дело обстоит так: для утешения Алексея Максимовича советские жулики формально разрешили ввоз журнала в Россию, но *фактически* приказали своему органу, имеющему *монопольное* право закупки книг за границей («Книга»), — покупать «Беседу» в количестве... 10 экземпляров! Десяти, я не пропустил ни одного нуля! Вот Алексей Максимович и утешается, ибо не то не умеет, не то не хочет понять всю эту махинацию, сколько ему ни растолковывают. В результате — все вскоре выяснится: либо «Беседа» проникнет в Россию в нормальном количестве, либо вовсе прекратит свое существование. В первом случае гонорар, конечно, возрастет. Сейчас дела журнала так плохи, что я лично не получил ни копейки с октября 1923 года. Сам же издатель, Каплун, человек безупречной честности, даже больше: в «Беседу» он ухлопал все небольшие деньги, которые у него были, и сейчас сам живет буквально впроголодь.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

74. М. В. ВИШНЯКУ

16 февр. 925
Sorrento

Дорогой Марк Веньяминович,
очень рад, что «Брюсов» пришелся Вам по вкусу. Я боялся, что Вам все это покажется слишком ужасно. Меж тем о гораздо более жутких вещах я умолчал.

Теперь дело вот в чем. Нельзя ли мне прислать корректуру? (Кажется, я Вам уже писал об этом.) *Я верну ее буквально в тот же день.*

Если же *никак* невозможно это, то, пожалуйста, сделайте хоть одно, важное, изменение. В том месте, где описываются проводы N[1] на вокзале, а потом вечер у матери Брюсова, — у меня нет точной даты. Сказано — «осенью 1911 года» или что-то в этом роде,

не знаю, ибо я Вам послал черновик (он же беловик). Так вот, нельзя ли мое неточное обозначение времени заменить вполне точным: *«9 ноября 1911 года»*. Мне, по ряду обстоятельств, необходимо закрепить эту дату, которую восстановил только несколько дней тому назад, получив письмо от самой N.

Черкните, пожалуйста. Но лучше всего — корректуру!

Ваш *В.Ходасевич.*

75. М. В. ВИШНЯКУ

Sorrento, 27.III.925

Carissimo e gentilissimo[1]
Марк Веньяминович,

Вы угадали: и статью Белого[2], и 23-ю кн. «Современных Записок» я получил. Спасибо. Статью Шестова читать не хочу. Бог с ней. Смущает меня только то, что о Гершензоне-писателе будет, как Вы пишете, тысяч 15 букв, а я вряд ли умещусь (вместе с письмами) меньше чем на 50—55 тысячах. Ну, да в крайнем случае не беда. Я постараюсь сократиться.

Теперь вот что. Вчера приехал Муратов и рассказал, будто кто-то (не помню, кто) писал ему, что Зайцевы переезжают в Прагу. Правда ли это? Меня это очень тревожит, ибо переезд в сию европейскую столицу означал бы, что они переживают крайний, предельный денежный кризис. А я хочу им добра. Сообщите, правда ли это.

Второе. Где Фед. Августович?[3] Застану ли я его в Париже, если приеду около 25 апреля? Это спрашиваю из чистого гурманства: хотел бы с ним посидеть вечерок-другой. Я его вообще *очень* люблю и ценю (можете просплетничать), а его статья в 23 книжке — просто чудесная, особенно первая, общая часть.

Вот рецензия на 23 книжку: хорошо второе стихотворение Гиппиус; Цветаева — вывихнутая бабенка; у нее неправильное положение матки, это можно выле-

чить; напишите ей, чтобы не носила высоких каблуков; Бунин — хорошо, при условии, *если* не окажется сделанным по рецепту:

Крейцерова соната — 1,00
Aquae destill. — 100, — .

24-я книга это выяснит; Зайцев — безнадежно; Ремизов — Ремизов; Ходасевич — хорошо, но злобно[4]. Прочего еще не читал.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

76. М. ГОРЬКОМУ

Дорогой Алексей Максимович,

мы уже три дня в Париже[1], но все еще возимся с разными хозяйственными делами. Почти никого еще не видал, кроме Осоргина, который Вам кланяется.

Сегодня иду в «Последние Новости» «наниматься».

Большое спасибо Вам еще раз за гостеприимство.

Привет всем.
Обнимаю Вас.

В.Ходасевич.

Берберова всех целует.

25 апреля 1925. Париж

77. М. В. ВИШНЯКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВРАГУ

Будут ли ясно сиять небеса,
Иль вихорь подымется дикий, —
В среду, как только четыре часа
Пробьет на святом Доминике, —

Бодро вступлю я в подъезд «Родника»,
Две пули запрятавши в дуле;
Мимо Коварского[1], в дверь Вишняка
Войду — и усядусь на стуле.

Если обещанных франков пятьсот
Тотчас из стола он не вынет,
Первая пуля — злодею в живот,
Меня же вторая не минет.

Чугунная Маска

2 мая 1925
Париж

78. М. ГОРЬКОМУ

7 августа 1925. Париж

Дорогой Алексей Максимович, только сегодня смог послать Вам «Современные Записки»[1]. Простите. А не писал потому, что сперва работал, потом хворал, потом женил Вову Познера[2].

Вы не правы, сердясь на меня за «Бельфаст»[3]. Я не о *сделанном* писал, а *о делании. О воле* к работе, которой в России нет, как не было тогда, когда Вы писали «Работягу Словотекова»[4]. От прожектерства до работы — не один шаг.

Статья Айхенвальда о литературном нэпе, конечно — lapsus. Никто не примет никаких либеральных поблажек от Варейкиса, даже если бы они предлагались честно. Полная отмена предварительной цензуры — вот minimum, при осуществлении которого можно было бы говорить, что большевики начинают одумываться. Но, конечно, на такое требование в Москве только улыбнутся. Следовательно, и торговаться не о чем. — Но, главное, никто циркулярам Ц.К. не поверит. Лавочники и те неохотно клюют на нео-нэп, помня, чем закончился для них первый. А писатели все же дальновиднее лавочников, да и самолюбивее: хотят прав, а не поблажек. Да и было бы забавно, если б мы вздумали *просить* у Варейкиса меньшего, чем *имели* от Столыпина. Для этого надо обладать «религиозной» оторопью перед большевиками, а ее нет.

А нет ли у Вас того № «Известий», где меня ругали? Не пришлете ли вырезку? Я не видал и найти не могу[5].

Милый Алексей Максимович, не сердитесь: но Вы — *любите верить*. Вы как будто с удовлетворением пишете об ионовских предложениях касательно возобновления «Беседы»[6]. Вы говорите: «Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит». — Напротив, *уже* ставит, и условие колоссального значения: печатать в Петербурге. Да ведь это же значит: «под цензурой!!!» Невозможно закрывать глаза на то обстоятельство, что подцензурная петербургская «Беседа» отнюдь не сможет почитаться продолжением свободной берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, — делала это добровольно. — И даже «журналом типа "Беседы"» предполагаемый журнал не будет, ибо самым «типичным» в «Беседе» было то, что над ней не было городового.

Умоляю Вас — будьте как можно осторожнее. Ставить людей в неловкое положение по отношению к товарищам — постоянная (и очень умная) тактика большевиков. А если Вы, один из редакторов закрытого *ими* «Русского современника», согласитесь редактировать *их* новый журнал без бывших товарищей по редакции, то в какое положение поставите Вы себя перед Тихоновым, Замятиным, Чуковским и Эфросом?[7] Вот мне и думается, что Вы можете согласиться только на одном из двух: или — на издание «Беседы» в Берлине, без малейшего контроля над рукописями, или — на возобновление в Петербурге «Русского современника» при прежнем составе редакции, но с любыми добавлениями, — например, с научным отделом. — Признаюсь, я думаю, что они не согласятся ни на то, ни на другое. Но — можете ли Вы согласиться на третье?

Простите, что пишу все это. Я не «учить» Вас вздумал, но меня бы мучила совесть, если б я не сказал Вам всего, что думаю.

Уже больше $1^1/_2$ месяцев я ничего не пишу газетного. Зарылся в непроходимые авансы и пробую писать повесть[8]. Но, кажется, придется опять пуститься в газеты, ибо повести конца-краю нет, а авансам — есть.

Берберова пишет стихи; часть пойдет в следу-

ющий № «Современных Записок»[9]. Она Вас очень благодарит за карточку.

Мне решительно нечего больше сообщить о нас. Все очень обыкновенно.

Привет Марии Игнатьевне.

Будьте здоровы.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

79. М. В. ВИШНЯКУ

24 авг. 925

Милый Марк Веньяминович, я написал о Есенине[1] так бездарно, что не решился печатать, особенно в журнале. Зато написал очень хорошие стихи[2], которые и пойдут в ближайшем № вместе с Гиппиус и Берберовой. «То в Вышнем решено Совете»[3], т.е. Фондаминским[4] и мною, и Вы не рвите и не мечите. Я писал о Есенине в Париже, в жаре, в духоте, под уличный шум. Затем — сбежал и ныне проживаю: 28, rue Alexandre Guilmant, Meudon (S et O). Здесь тихо + две комнаты.

Вчера поладил с «Днями» — Вашими молитвами, и так, как Вы говорили[5]. Будьте здоровы. Сердечный привет Марии Абрамовне. Берберова тоже всячески кланяется.

Знаете что? Передайте-ка от меня поклон Вышеславцеву[6]: он со мной нежен, даже весьма, а я — пень бесчувственный. Так вот, хочу это компенсировать через Вас. Жму руку.

Ваш *В.Х.*

80. Б. К. ЗАЙЦЕВУ

3 сентября 1925

Дорогой Борис Константинович,

я, действительно, не мастер жить на широких просторах. Но все же я и не житель больших городов. Из

тридцати восьми месяцев заграничной жизни я двадцать три провел в городишках вроде Saarow'а. Потому и в Париже писал так мало (почти только то, что явилось под моим псевдонимом А.Даманская[1]). Однако с 14 августа мы перебрались в Meudon. Адрес: 28, rue Alexandre Guilmant, Meudon (S et O). Здесь работаю прилично, но — впрок, для «Дней», которые, как знаете, хотели выйти 1 сентября, потом отсрочились до 15-го. Пишу еще нечто, но уже окончательно впрок. Кроме того, опять принялся за стихи. На днях написал одно неважное и одно очень хорошее[2] (извините, сам знаю, что хорошо).

Главное, здесь у нас две комнаты, и мы с Ниной наслаждаемся невмешательством. К 1 октября вернутся хозяева виллы и нас выселят, но мы подыскиваем кров здесь же, вероятно — найдем и останемся на всю зиму. Я даже не столько не могу жить в большом городе, как в большом доме, с густым населением.

Нина усердно пишет стихи, а также «хронику советской литературы» в «Последних Новостях», под звучным псевдонимом «И».

За сообщения о знакомых — спасибо. Я думаю, Осоргин должен на днях вернуться в Париж. У Берберовой переписка с Патей как-то зачахла. Ваше сообщение о его романтическо-*романическом* настроении проливает некоторый свет на это темное дело[3]. Вот я и не знаю, не должен ли я на Патю обидеться? Тут положение мужа очень трудное. А я-то сдуру в одной статье написал о нем чрезвычайные нежности. Теперь вычеркну.

«Клуб молодых поэтов» уговорил меня редактировать ихние сборники, стихотворные. На днях я должен получить материал первого выпуска. Боюсь, что дело этим и кончится, потому что после моей «редакции» может ничего не остаться, кроме обложки[4]. Я, впрочем, их честно предупреждал о своей лютости.

Отношения с Горьким у меня киснут. Ему не нравятся мои писания в «Последних Новостях» — мне тоже не нравится кое-что. Отсюда — полемика в письмах, с его стороны довольно раздраженная. С моей стороны, напротив, очень спокойная, потому что мое дело — правое.

Между прочим. В СССР, как Вы знаете, провозглашен «литературный нэп». Юлий Исаевич, не тем

будь помянут, взял да и «клюнул»: написал статью, довольно сдержанную, но все же приветствующую большевицкое «оздоровление». Теперь меня из Сорренто корят, ставя Айхенвальда в пример[5]: Айхенвальд, дескать, человек, умеющий благодарить начальство за милости, а я, дескать, неблагодарное и грубое существо. И как это угораздило Айхенвальда попасться на такую удочку?

Ну, будьте здоровы. Мы по Вашему семейству соскучились. Приезжайте скорее. Берберова шлет три привета, я тоже.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

P.S. Я написал для «Современных Записок» о «Живых лицах» Гиппиус. Сделал все реверансы, но... Господи, пронеси! Что-то будет? Co to będzie? Co to będzie?[6]

81. Б. А. ДИАТРОПТОВУ

[15 ноября 1925 г.]

Villa Roger,
avenue de Louvois.
Chaville (S et O)

Милый друг, спасибо Вам за письмо. Если б Вы знали, как я был рад его получить! Не знаю, почему не писал Вам: вероятно, потому же, почему и Вы мне. Зато, кажется, не было дня, чтоб не вспоминал Вас. О сыне же Вашем знал[1], только не мог добиться имени до самой нынешней весны. А весной мне сказала его в Риме Катя[2].

Трудно, точней — невозможно мне рассказать о себе. Должно быть, я как-нибудь изменился, но самому незаметно. После Берлина я много ездил, и это, кажется, было главным признаком моего существования. Вы только подумайте: не считая разных мелких городов, побывал я после Берлина в Праге, Мариенбаде, опять в Праге, в Вене, в Венеции, в Риме, в Турине, в Париже, Лондоне, Бельфасте, опять в Лондоне, Париже, Турине, Риме, в Неаполе, в Сорренто, в

Риме, в Париже, в котором и «под» которым живу теперь, к счастию, уже семь месяцев, меняя только квартиры. И то надеюсь в нынешней просидеть до 1 октября будущего года. А то ведь я однажды подсчитал число комнат, в которых жил или ночевал. Знаете, сколько, не считая, конечно, вагонов и кают? 42. Уверяю Вас, это хлопотливо.

Вы, вероятно, знаете, что в общей сложности почти два года я прожил с Ал. Макс. Думаю — это кончено теперь навсегда, не по личным причинам. Личные, домашние отношения наши ничем не омрачены, но есть глубокие принципиальные расхождения. Вернее — расхождения в поступках, в делах. На словах мы сходимся, а как до дела дойдет — у меня дела те же, что и слова, у него же расходятся. Я устал, больше не хочу, что нам играть в коня и трепетную лань?[3]

Вы, вероятно, знаете еще об одном моем «расхождении» — с Бор. Ник. Если он Вам рассказывал, то — неверно. Однако это расхождение, в котором я был оскорблен не только незаслуженно, но и «за мое же добро» (о, большое добро!) и внезапно (для самого даже Б.Н., ибо спьяну, в дурацкой истерике), — мне гораздо больнее. Ибо — знаю цену его вечной лжи, его притворству, его последнему пошлейшему ничтожеству — и тому чудесному в нем, за что, конечно, давно простил ему все. Напишите, пожалуйста, мне о нем. Мне легко простить его, ибо *моя* совесть перед ним чиста. Он *ужасно* отплатил — не одному мне, а целому кругу людей, которому обязан многим.

В последнее время работаю очень много, иногда — слишком. Живу не голодая, но бедно. И — Вы удивитесь — расчетливо. Нина тоже много работает и к тому же готовит. Пишу много всякого, ради пропитания. Для души — стихи (мало, как всегда) и повесть[4], которую начал, которую наполовину уже проел — а продолжать мешает каждодневная работа.

Нюра писала мне, что ей кто-то сказал, будто видел мою новую книгу стихов. Интересно мне, *кто* сказал, потому что я такой книги не видел. Подумываю о ней — это верно. Вот Вам последнее, что я написал.

<...>[5]

Что ж еще рассказать Вам? Лучше Вы расскажите. Пожалуйста, поцелуйте Шуру, младенца, мною не

виданного, и Федю. Нина тоже целует всех, любит и помнит очень. Пожалуйста, особливо скажите Соф. Сем., что я целую ее руки со всей любовью и нежностью, на какую способен.

Ваш *Владислав.*

P.S. Не в службу, а в дружбу: спишите стихи мои и дайте Нюре. Я ей на днях напишу, но еще раз переписывать собственные стихи — сил нет.

Завидую Вам — у Вас много выходит интересных журналов и книг. На днях видел № 41 ленинградского журнала «Жизнь искусства»[6]. Замечательно интересно, достаньте. А здесь советские издания очень дороги, да и не все доходят.

82. М. М. ШКАПСКОЙ

Милая Мария Михайловна,

к сожалению, должен Вас огорчить: по милости разных негодяев «Беседа» прекратила существование еще прошлой весной, на 6-м номере. Издатель, конечно, не выслал и не мог выслать Вам денег, ибо разорен до неимения денег на трамвай. Конец «Беседы» был очевиден больше года тому назад, осенью 1924 года. Но Ал. Макс. все еще на что-то надеялся и, к сожалению, умел обнадежить других. Вы — одна из многих пострадавших, в числе которых были такие, что писали статьи по специальному заказу Ал. М-ча. Это плохое утешение, но могу Вам сообщить, что я сам не получал редакторского гонорара с конца 1923 года; Нина Николаевна ничего не получила листов за 10 переводов и т.д. Рукописей Ваших я не видел, в «Беседе» они *не* напечатаны, ибо последняя книжка, вышедшая в апреле 1925 года, была *отпечатана* в конце 1924 и лежала несброшюрованной, за отсутствием денег у издателя. Ваши статьи, несомненно, у Ал. Макс-ча (Villa «Il Sorito», Capo di Sorrento (Napoli), Italia; обязательно заказным). Если они Вам нужны, напишите ему, чтоб выслал. Не надейтесь, что он их Вам привезет сам: в Россию он не поедет, чего бы ни говорил газетным

сотрудникам и чего бы ни писал наивным юношам, живущим в России.

Позвольте выразить Вам сердечное сочувствие в Вашем личном горе и поблагодарить за добрые слова о моих писаниях. Они мне особенно дороги потому, что в России распространяются обо мне понятия весьма превратные. Например — в «Жизни искусства».

Преданный Вам *Владислав Ходасевич.*

16 декабря 925
Chaville

83. М. В. ВИШНЯКУ

Дорогой Марк Веньяминович,

вот что. Во-первых, на этот раз я надеюсь — Вы мне дадите несколько оттисков статьи о Пролетарских поэтах[1]. Нужно. Не отдавайте другим, как в прошлый раз.

Во-вторых. В 26 книжке «Современных Записок» вступительную свою заметку к «Казакам» Хирьяков кончает такою фразой: *«Сохранившиеся стихотворные отрывки "Казаков" не представляют интереса».* Это, конечно, простите, — глупо. Но дело не в том. А дело вот в чем. Кроме севастопольской песни (стилизации, в сущности) да еще одного шуточного письма к Фету (да и того никто не помнит), стихов Толстого доныне не существовало в печати. Они, разумеется, представляют колоссальный интерес. Так не похлопочет ли редакция «Современных Записок», не добудет ли из-под Хирьякова этих отрывков, буде они у Хирьякова. Мы бы их напечатали с послесловием Ходасевича, которому любопытно, как Толстой «вертит стихом». Ах, как бы я засел за такую штуку![2] Этому самому Хирьякову, которому царствие небесное обеспечено, скажите иль напишите: *что́ есть — дава́йте, хоть 10 строчек!* Мы и в десяти разберемся. Ах, батюшки мои, до чего любопытно и до чего не терпится. Умоляю — ответьте, можно ли это дело сварганить. Стихи Толстого! Да ведь это все равно что... да нет, это и срав-

нить не с чем! «Не представляют интереса»! Ах, олух!

Но дело вот в чем: Вы это дело держите в тайне и даже самому Х-ву не говорите, что это *так* важно и интересно. А то он сам вздумает высказаться. Т.е. я ничего не имею, пусть выскажется, даже нужно: когда найдены, когда писаны и т.д. А по существу — я бы. А? Как думаете? Поклон Марии Абрамовне. Жму руку, пáдам дó ног, заклинаю.

Неизвестный-из-Шавиля.

P.S. Это только письмо дурашное, а дело серьезное.

22 дек. 925

P.P.S. Баба моя земно кланяется.

84. М. А. ФРОМАНУ

<Декабрь 1925 г.>
14, rue Lamblardie
Paris (12me)

Многоуважаемый Михаил Александрович,

прошло уже два месяца с тех пор, как Н.Н. получила письмо Иды Моисеевны[1]. Она тогда же мне его показала, и мне захотелось написать Вам. Но сперва я был очень занят, по горло, потом хворал, а потом искал новую квартиру, переезжал и устраивался. Так и прошли целых два месяца.

За двадцать один год литературной работы я, мне кажется, ни разу не мог упрекнуть себя в искании «успеха» и «популярности». И не этого порядка причины побуждают меня сейчас писать к Вам. Надеюсь, Вы этому поверите.

Я очень мало дорожу моим маленьким литературно-житейским «я». Но не «я», а *«мое»*, конечно, мне безгранично дорого. Это «мое», — разумеется, не стихи, мною написанные, а то, во имя чего они пишутся и во имя чего я их пишу (или хотя бы стараюсь писать) так, а не иначе. И вот когда узнаю, что эти стихи находят отклик там и среди тех людей, где мне это

всего дороже, но где для этого отклика всего больше препятствий (житейских, психологических, литературных и других), — я радуюсь: не от маленького литературного тщеславия, но от сознания, что «мое» еще живо не только во мне, но и в других, не только здесь, но и там. Вот за эту радость мне хотелось поблагодарить Вас и в Вашем лице — других.

Мне думается, что полоса эстетического (и, разумеется, глубже: духовного) распада, начавшаяся около 1911—1912 гг., должна сравнительно скоро закончиться. Если б не разные внешние, «омолаживающие» обстоятельства, она бы уже, вероятно, и кончилась. Но обстоятельства эти еще существуют, и микробы разложения живут. Письмо И.М. еще раз подтвердило, что болезнь поразила не весь организм и что существуют в нем здоровые клетки, тем более ценные, что молодые и, следственно, способные бороться. Вот им опять-таки хочется послать мой «футуристический привет»: я часто думаю, что будущее принадлежит «моему», и в этом смысле зову себя футуристом.

Меня очень огорчила смерть Есенина, хотя, признаться, еще летом, прочтя его книжку «Стихи 1920—1924 г.», я увидел возможность и вероятность такого конца. Жизнь его была цепью ужасных ошибок — религиозных, общественных, личных. Но одно, самое ценное, всегда было в нем верно: писание было для него не «литературой», а делом жизни и совести. Перечитывая его стихи, вижу, что он всегда был правдив перед собой — до конца, как и должен, как только и может быть правдив настоящий поэт.

Здесь довольно много молодых и не совсем молодых поэтов, но значительных дарований не вижу. Лучше других — Давид Кнут[2], пишущий довольно иногда любопытные стихи в очень еврейском духе. Несомненно даровит некий Божнев[3], но уж очень широко черпает из Ходасевича. Хорошие стихи пишет Н.Оцуп[4], что для меня очень неожиданно.

О нашем житье Н.Н. писала Иде Моисеевне. Если хотите новых моих стихов, то — вот. Посылаю Вам пока первую треть лирического стихотворения, которое на днях написал. Получив от Вас известие, пришлю окончание, а также еще кое-какие мелочи. Одна просьба — до получения конца, этих стихов никому не показывайте.

<...> [5]

Так вот. Получив это письмо, черкните, и я пришлю продолжение. А то — лень переписывать: еще 114 стихов. И я не уверен в Вашем адресе.

Пожалуйста, передайте мой привет Иде Моисеевне. Желаю Вам всего хорошего обоим. Сердечно жму руку. Нина Ник. усердно кланяется.

Ваш *В.Ходасевич.*

P.S. Пожалуйста, не верьте слухам обо мне, ни словесным, ни письменным, ни печатным: все вздор. Я остался таким, каков был.

85. М. М. КАРПОВИЧУ

14, rue Lamblardie
Paris (XIIe)

7 апреля 926

Дорогой Михаил Михайлович,

дело, помнится, было так: написал я Вам письмо в ответ на Ваше от 20 июля, — потом перечел и решил написать другое. Но стояли жары, мы искали дачу, потом переезжали. Так я и не написал Вам, только однажды послал поклон, услыхав, как Зензинов[1] диктует письмо к Вам.

Ну-с, а это письмо будет «автобиографическое». Вы о себе ничего не пишете — я напишу о себе.

Мы до начала марта жили под Парижем. Там и остались бы (мне жить в городе трудно: шум и безалаберщина) — но на старой квартире дико подняли цену, на 50%, а новой подходящей не нашли. Тут вдруг подвернулась в городе — и *без мебели*, а это предел эмигрантского счастия, ибо выходит много дешевле. Так что вышеписаный адрес мой отныне — твердый, на 3 года, если до тех пор не увидимся в Москве (надеяться *надо*, но это не значит: *умно*). С квартирой было много хлопот: мебель и утварь, т.е. долги. К счастию, постепенно от них освобождаюсь — явно, что

при помощи сверхъестественных сил. Сам не понимаю, как это выходит.

Ну вот, это «снаружи». (Впрочем, снаружи еще и возобновившийся фурункулез: наследие России. Сейчас лечусь усиленно.)

«Внутри» же — пишу. Вы, вероятно, получаете «Дни» и тамошнее мое читали. (Прибавьте к Ходасевичу Ф.Маслова.) А читаете ли «Современные Записки»? Там за это время я напечатал статью о пролетарских поэтах и статью об Есенине. Раньше — о Брюсове и о Гершензоне. Как видите, все о покойниках, т.е. для будущего историка литературы. (Для него же — и рецензия на книгу Гиппиус «Живые лица».)

Пишу стихи, но, как всегда, не много. Довольно длинная (для меня) вещь, «Соррентинские фотографии», сейчас печатается во 2 № «Благонамеренного». Если у Вас нет этого журнала, напишите: я Вам пришлю оттиск, когда выйдет книжка[2]. Это — мои самые длинные стихи рифмованные: 182 строки.

С Советской Россией у меня все кончено. Я там весьма одиозен. Даже писать мне оттуда, по-видимому, нельзя. Пишут мало и не на мое имя.

Из людей здешних вижу всех, не дружу ни с кем, но и ни с кем не в ссоре, кроме Куприна[3], но его нигде не принимают. Житейски мне как-то никого и не хочется. Литературно у меня сейчас «флирт» с Гиппиус: за что-то она меня полюбила. Сравнительно охладели мы друг к другу с Осоргиным, на почве его безответственного возвращенчества[4]. Эта штука для меня глубоко неприемлема. Дело ясно: Россию мы любим и без наставлений Кусковой, а большевиков любить нельзя, лить воду на их мельницу — тоже. Помочь русскому народу, работая с большевиками, нельзя, ибо они сами «работают» ему во вред. Всякое сотрудничество с советской властью — по существу, направлено *против* русского народа. Всякая поддержка большевиков есть поддержка мучителей этого народа. Крошечная польза, которая в некоторых случаях могла бы при этом получиться для народа, — буквально крошечная: она дойдет до него в виде крошек с коммунистического стола. Ею голодные не насытятся, а сытые разжиреют. Кускова забыла ужасный опыт 1921 года, когда она призывала помогать голодающим «рука об руку» с властью[5]. Ничего, кро-

ме обирания голодающих + провокации, не получилось. Я тогда то же думал, что и она. Но я-то кое-чему научился, хоть мне и не к чему, я не политический человек. А вот она хочет еще раз упасть на том же месте. *Во второй раз* это уж отчасти и преступно. Но самое мрачное то, что я *знаю*, что и Пешехонов, и она, и прочие — жертвы большевицкой интриги, сознательно проводимой. *Возвращенчество задумано в ГПУ*, и я знал о нем раньше, чем началась обработка Пешехонова, Кусковой и других. Знал даже, что именно их будут обрабатывать. Я здесь говорил об этом с эсерами, называл имя главной провокаторши[6] — не верят. Я плюнул, ибо не хотят верить, боятся, что придется «разочаровываться в людях». А я знаю все от нее самой, слышал еще в конце 1924 года. Ну, довольно об этом. Бурцевские лавры[7] меня не манят, да у меня для этого нет ни знаний, ни умения, ни охоты. Но «про себя» знаю — и соответственным образом все возвращенческое отвергаю. Пишу Вам просто потому, что накипело. Но очень прошу сохранить это в тайне: может быть, мне все же *придется* этим делом заняться, хоть и не хочется[8].

Пожалуйста, напишите о себе. Как живете, что делаете, о чем думаете. Передайте привет жене.

Обнимаю Вас.

Владислав Ходасевич.

P.S. Да, ведь я Вам давно не писал. С тех пор у меня произошел разрыв с Горьким, чисто политический. Лично мы ничем друг друга не обидели. Но я просто в один прекрасный день перестал ему отвечать на письма. Я устал от его двуличности и лжи (политической!), устал его изобличать. А делать вид, будто не замечаю, — не могу. Это значило бы — лгать самому, двуличничать самому. Он же лгал мне в глаза бесстыдно. Будучи пойман, делал вид, будто и не слышит, и лгал сызнова. Отношения наши сводились к сцене из «На дне»:

Татарин: Э, э! Зачем картам рукав совал?

Барон: А что же мне, в нос ее, что ли, сунуть?[9]

Татарин — это я, барон — Горький. Но я такой игры не люблю.

В.Х.

Еще P.S. Моя жена Вам кланяется. Я ей много о

Вас рассказывал. Боюсь только, что Вы постарели, как я постарел.

И еще P.P.S. Ходят ко мне молодые поэты здешние[10]. Но о них — в другой раз.

86. М. А. ФРОМАНУ

14, rue Lamblardie
Paris (12me)

14 апр. 926

Многоуважаемый Михаил Александрович,

в конце моего отрывка, который у Вас имеется, надо поставить звездочку. Потом так:

<...>[1]

Эти стихи, конечно, можете дать кому угодно. Вообще я сейчас пишу стихов не много. Вот Вам «для порядка» список моих стихов, написанных с июня 1922 г. 1) Большие флаги над эстрадой, 2) Ни жить, ни петь почти не стоит (эти два входят в «Тяжелую лиру», изданную в Берлине; кстати — московское издание совершенно негодное: в нем только искажающих смысл опечаток больше 15, стихи не в том порядке и т.д.), 3) Бывало, думал ради мига (тоже вошло в «Тяжелую лиру»), 4) Гляжу на грубые ремесла... 5) Лежу, ленивая амеба, 6) Сидит в табачных магазинах (так!), 7) Пустился в море с рыбаками, 8) Изломала, одолевает (5, 6, 7 и 8 — под общим заглавием «У моря»), 9) Что ж? От озноба и простуды, 10) Черные тучи проносятся мимо, 11) Было на улице полутемно, 12) Вдруг из-за туч озолотило, 13) Трудолюбивою пчелой, 14) Встаю расслабленный с постели, 15) Сквозь облака фабричной гари, 16) С берлинской улицы, 17) Мельница, 18) Весенний лепет не разнежит, 19) Слепой, 20) Жив Бог! умен, а не заумен, 21) Бренте, 22) Нет, не найду сегодня пищи я, 23) An Mariechen, 24) Под землей, 25) Все каменное, в каменный пролет, 26) Интриги бирж, потуги наций, 27) Окна во двор, 28) Перед зеркалом, 29) Хранилище, 30) Пока душа в порыве юном,

31) Уродики, уродища, уроды, 32) Соррентинские заметки (триптих), 33) Баллада, 34) Звезды, 35) Петербург, 36) Соррентинские фотографии. — Как видите, число совпадает с Вашим, но содержание — нет. Напишите, чего не хватает, — пришлю. Зато если у Вас есть «И весело, и тяжело», «Не жди, не уповай, не верь», «Доволен я своей судьбой» и «Песня турка» — выбросьте их: это наброски, неудачные, я их выбросил.

Пожалуйста, поблагодарите Фредерику Моисеевну за ее посвящение[2]. Оно мне особенно дорого, как знак, что она меня помнит. Вам же — большое спасибо за сообщения. Пожалуйста, пишите иногда о людях и книгах. Книжку Вагинова[3] я не получил. Вероятно, Вы послали ее в Chaville, а мне оттуда уже перестали посылать. Если, как обещаете, пришлете другой экземпляр, очень обяжете. Я Вагинова очень помню. Он мне всегда казался даровитым, и его успехи, о которых Вы пишете, меня сердечно радуют. Ида Моисеевна была так добра, что предложила прислать книги. Покупать не покупайте, но если достанете для меня что-нибудь от авторов или издателей, сейчас и впредь, — это было бы чудесно*. К несчастию, по понятным причинам, не смогу ответить Вам тем же. Пожалуйста, передайте И.М. мой привет. Жму Вашу руку, рад познакомиться — пока хоть письменно.

В.Х.

P.S. А почему Коля Ч.[4] не шлет мне стихов? Я по-прежнему отношусь к нему.

87. Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДУ

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Дорогой Юлий Исаевич,

по-моему, — благодарить критика за лестный отзыв — значит отчасти унижать его: ведь он пишет не ради удовольствия автора. Но на сей раз позвольте мне сделать как будто то же, да не совсем то: поблагода-

---

* Книги вообще доходят исправно и быстро.

рить Вас не за *похвалу*, а за то, что Вы, один из немногих, *поняли* моего «Боттома»: его смысла, так хорошо и точно услышанного Вами, — не понимают. Впрочем, и в этом случае слово «поблагодарить» не совсем подходит. — Мне было ужасно приятно Ваше упоминание о Козлове[1].

Зато в суровом приговоре моим воспоминаниям о Брюсове, — по-моему, Вы не правы[2]. Мне больно было писать их, но желание взять да и сказать *правду* — пересилило. Знаете ли, что я далеко не использовал своего материала? Я умолчал о вещах, поистине ужасных.

А вот помните ли мою статью «О чтении Пушкина» и Ваши замечания на нее? Вот где многое Вами замечено так верно и ценно, что я уже не решился бы перепечатать статью без существенных изменений[3].

Как видите — я очень слежу за Вашими отзывами и сердечно ценю их. Пропустил только то, что — говорят — писали Вы о 2 № «Благонамеренного», где были мои «Соррентинские фотографии»[4]. Не знаю даже, поминали ли Вы меня — и добром ли. Я тогда был болен, лежал больше месяца. Нет ли у Вас лишнего экземпляра Вашей статьи? Не пришлете ли, если не трудно? Здесь добыть невозможно.

Я уже больше года в Париже, а то все странствовал. Побывал в Праге (проездом), в Мариенбаде, в Ирландии, дважды в Италии, — все не очень по доброй воле. Теперь, кажется, осел (плюю, чтобы не сглазить). — Если и Вы сообщите несколько слов о себе, буду от души рад и признателен.

Всего хорошего. Крепко жму руку.

Ваш *Владислав Ходасевич.*

31 июля 926

88. Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДУ

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Дорогой Юлий Исаевич,

простите меня, что на Ваше письмо, такое дружеское, отвечаю не тотчас. Кроме того — большое спасибо за

присланную статью[1]. — Промедление мое объясняется тем, что я сперва хворал, потом изо всех сил писал, потом писал и хворал одновременно (уехав из Парижа); потом вернулся, но ждал, чтобы в «Последних Новостях» дали мне экземпляр той статьи, которую прилагаю[2]. В ней есть несколько добрых слов и о Вас. Они были бы и еще теплее, если бы не страх (признаюсь — малодушный), что меня обвинят в «заискивании перед критиком». Дело в том, что эта статья должна войти в мою книгу «Некрополь», которая, по-видимому, выйдет нынешней зимой.

Если хотите, вернемся к «Боттому». Вы великодушно оставляете мне лазейку, говоря, что «фактические неточности ничему не мешают и только делают стих менее привязанным к реальности». К несчастию, я не вправе воспользоваться Вашей аргументацией. Правда, я не гнался нарочно за «внешней реальностью», но и не прибегал к неточностям *сознательно*. Следственно, буду оправдываться (и каяться) по-другому.—

1) Немцы чаще хоронили без гробов, но хоронили и в гробах. След., тут неточности у меня нет.

2) Маршалы в 22-й строфе — союзные, т.е. и французские, и английские. Признаться, не думал, есть ли у англичан маршалы. Но заметьте, что Китченер[3] был фельдмаршал. Так что тут, в худшем случае, полунеточность, вполне допустимая.

3) Я очень помнил об английском добровольчестве. Но если вчитаетесь, то увидите, что мой Боттом погиб в ночь на 3 февраля 1917 г., ибо его жена *два года* плакала до Версальского мира (точнее, 1 г. 9 месяцев). Он мобилизован в конце 1916, в начале 1917 г., когда уже посылали не только добровольцев. О 1914 г. я сказал как о *начале* катастрофы, и тут моя вина непростительная: сказал я темно, неотчетливо: «пришел тогда черед» — выходит, будто в 1914 г. Эту неуклюжесть надо исправить, это мой несомненный грех, малопростительный, ибо я *не сумел выразить собственную мысль*. Это *похуже* фактических ошибок[4].

Впрочем, Бог с ним, с «Боттомом».

Я ушел из «Дней»[5], которые требовали от меня систематических перепечаток из советской литературы. Это превращалось в *пропаганду*, на которую я пойти не мог, — и вернулся в «Последние Новости». Что еще

Вам рассказать о себе? Ничего занимательного нет. Вы, вероятно, не разделяете моего «бурного» негодования на «Версты» — в «Современных Записках» (я сужу по Вашей статье о «Верстах» в «Руле»)[6]. Но мне, к сожалению, известна мерзкая подоплека всего этого предприятия — да и многого другого, что *предпринимается большевиками* с целью разложения эмиграции. За три года жизни с Горьким узнал я столько и такого, что хватило бы на троих. Тут и причина моего разъезда с Горьким (при неомраченных *личных*, чаепитийных отношениях), и того, что уже больше года мы даже не переписываемся. Он недоволен мной, я — тем, что, признаюсь, за три года не добился от него того, что почитал своей «миссией». Я все надеялся прочно поссорить его с Москвой. Это было бы полезно в глазах иностранцев. Иногда казалось, что вот-вот — и готово. Но в последнюю минуту он всегда шел на попятный. После моего отъезда покатился *тотчас* по наклонной плоскости и докатился до знаменитого письма о Дзержинском[7]. Природа взяла свое, а я был наивен, каюсь.

Вы пишете, что иногда Вас тянет на берега Сены. Вот было бы хорошо, если бы выбрались к нам в гости. Подумайте-ка об этом.

Нина Николаевна, разумеется, очень помнит Вас, но не очень была уверена, что Вы помните ее. Она очень благодарит за память и шлет привет. Вчера вышел первый № их маленького журнала, «Новый Дом»[8], который она Вам посылает на суд.

Будьте здоровы. Крепко жму Вашу руку.

Сердечно Ваш *Владислав Ходасевич.*

28 окт. 926

89. М. В. ВИШНЯКУ

8 декабря 927

Дорогой Марк Веньяминович,

вот что я бы просил Вас довести до сведения редакции.

1) Меня не было всего в двух книжках «Современных Записок»: следовательно — не год, а полгода.

2) Вы пишете, что статью о Сологубе нельзя откладывать на шесть месяцев. Допустим. Но тут же прибавляете, что в крайнем случае редакция удовлетворится статьей о Случевском[1]. Тут — «невязка», которую мне бы не хотелось объяснять ничем, кроме лестного для меня желания редакции получить *любую* мою статью. Но — вот что я должен сказать и в чем мне бы хотелось быть, наконец, понятым.

Чтобы писать, писателю нужно быть сытым (хотя бы). Журнальная работа и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты. Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда: ни от сербов, ни от чехов, ни от Розенталя, ни от большевиков, ни от французов. И не устраиваю концертов, сборов и проч. (Не только не получаю, но имею официальное письменное сообщение о том, что чешской субсидии мне не дали ввиду доноса некоего «писателя» о том, что я слишком много зарабатываю в «Возрождении».)

Так вот, чтобы не голодать, я должен писать в газете всех больше. Газетная работа требует от меня:

1) Фельетона каждые две недели, — т.е. судорожной погони за темами (это труднее, чем самое писание).

2) Еженедельного чтения советских журналов для составления изводящей меня хроники.

3) Бывания в редакции и «консультаций» по литературным делам (с голосом, увы, совещательным).

Писание газетных (т.е. неизбежно «общедоступных») статей меня изматывает душевно. Чтобы написать серьезную журнальную статью — я должен не только выкраивать «свободное» время, но и мучительно собираться с духовными силами. Не знаю, поймет ли меня редакция. Боюсь, что не поймут и более благополучно устроившиеся писатели. Каторжники бы поняли, это наверняка.

Поэтому — что я могу ответить? Я приложу все старания к тому, чтобы написать о *Сологубе* как можно скорее. Но будет ли это к 25 января, или февраля, или марта — не знаю. Раз редакция не может поставить меня в человеческие условия работы, то она и не может назначать мне никаких сроков. Казалось бы — это логично и... человечно.

Наконец, буду откровенен и скажу вот что. В

«Современных Записках» есть статья Вейдле обо мне[2]. Вы слишком знаете, что я за рекламой не гонюсь и в этом направлении не прибегаю к мерам, которые, увы, слишком часто применяются. Но я считаю, что о книге, подводящей итог моей «взрослой» поэтической работе, «Современным Запискам» было бы пристойно напечатать серьезную статью, которая и объективно *украсила* бы журнал. И я хотел бы, чтоб эта статья появилась в ближайшем №, а не летом и не через год, — по многим причинам, хотя бы для того, чтобы литературное болотце не радовалось: Х-ч работает в «Современных Записках» из книжки в книжку, вцепляется за них в горло «Верст» — а «Современные Записки» приличной статьи о нем не хотят напечатать. Есть и другие причины. Между тем, дав сейчас статью о Сологубе, я рискую «выпереть» из ближайшей книжки статью Вейдле (кстати сказать — плод годичной работы, серьезной).

Вот на вопрос о статье Вейдле я хотел бы получить ответ, прежде чем сяду писать о Сологубе. Я напишу о Сологубе только в том случае, если это *не* помешает поместить в том же № и статью Вейдле. (О Сологубе, а не о Случевском, о котором сейчас писать не хочу.)

С прискорбием вижу, что научился здесь думать о вещах, самая мысль о которых раньше мне показалась бы постыдной. Но — всему научишься в нашем болоте, где Милюков разливается соловьем на юбилее Зайцева, а когда Зайцев переходит в «Возрождение» — напускает на него какую-то мразь: «ругать Зайцева»![3]

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич.

Искреннейший привет Марии Абрамовне и благодарность от нас обоих за ее привет.

90. М. В. ВИШНЯКУ

16 декабря 927

Дорогой Марк Веньяминович,

Вы, к сожалению, не ответили на мое последнее письмо. Жаль, ибо ежели мне писать о Сологубе, то, чтобы

поспеть к 25 января, надо сейчас же (благо я с понедельника на две недели свободен) садиться за чтение (а сперва заняться добыванием книг). «Факт присыла» Вашей открытки с указанием на ближайшую книжку толкую скорее в смысле того, что мое желание касательно статьи Вейдле будет исполнено (*первая* моя просьба за 5 лет!). Но все-таки жду ясного подтверждения.

Если будете анонсировать статью — то просто: «Сологуб» (как было: «Брюсов», «Гершензон», «Есенин»: сделаем, таким образом, «серию»).

Статья об игроках: *«Игроки в литературе и в жизни»*[1].

Статья З.Н. очень интересна, но, к сожалению, написана не вполне обо мне: одна половина лица — моя, а другая приставлена по воле автора, признающего, что многим моим стихам он придал заведомо другой смысл, — не тот, что у меня[2].

Вашу статью не видел — мне перестали присылать «Дни».

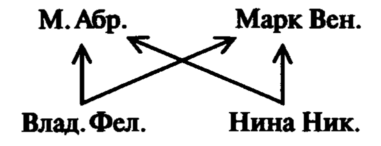
Статья Чебышева из рук вон плоха[3], но забавно, что к «Современным Запискам» она благожелательнее, чем статья «Последних Новостей», — впрочем, продиктованная соображениями, лежащими вне плоскости литературной порядочности. Когда я сказал в редакции, чтобы поручить статью Ант. Кр., — оказалось, что статья Чеб. уже написана.

Кажется, на все пункты Вашего письма я ответил. Жду ответа на свое предыдущее.

Всего Вам хорошего.

В.Ходасевич.

Приветствия по схеме:



91. Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДУ

14, rue Lamblardie
(Paris 12e)
22 марта 928

Дорогой Юлий Исаевич,

пишу Вам экстренно, из кафэ, вот по какому поводу. Только что некто спросил меня, не в Вас ли я «метил», пишучи о Сологубе («Современные Записки»). Вы будто бы тоже писали о «просветлении» Сологуба перед смертью[1] и т.д.

Все это меня встревожило. «Руля» я не получаю, в киосках его не продают (говорят — запрещен во Франции?). Вижу его иногда в редакции, если Яблоновский еще не успел разрезать. Вашей статьи о Сологубе я не читал. *Если* Вы в самом деле писали о «просветлении» — я с Вами не согласен. Но у меня, сами понимаете, не было и причин эдак взъедаться на Вас, ибо, во-первых, каюсь, не помню Ваших *прежних* высказываний о Сологубе. «Метил» же я в Адамовича[2], который подряд *дважды* (в «Днях» и в «Звене») писал что-то слезливое о Сологубе и о России и вообще умилялся по случаю его смерти — а пока Сологуб был жив, отзывался о нем презрительно. Вообще зол я на Адамовича, каюсь: злит меня его «омережковение» — «да невзначай, да как проворно»[3], прямо от орхидей и изысканных жирафов[4] — к «вопросам церкви» и прочему. Сам вчера был распродекадент, а туда же — «примиряется» с Сологубом, который, дескать, *тоже* прозрел (точь-в-точь как Адамович!).

Так вот — пожалуйста, поверьте, что о Вас не думал, не помышлял — и уж если бы стал *спорить* с Вами, то, во-первых, назвал бы Вас, а во-вторых — по-иному, не тем тоном.

Уж если на то пошло — скажу прямо, что давно научился ценить и уважать Вас в достаточной степени. Поэтому — успокойте меня, черкните два слова, что, дескать, понимаете и верите.

Еще — просьба. Некто (тот же) обещал мне дать статью Сирина обо мне[5], но не дал, затерял ее. Так вот — нельзя ли ее получить? Я бы написал Сирину, да не знаю его имени и отчества, а спросить в «Современных Записках» систематически забываю. Так я и эту

статью не читал, а, говорят, — лестная. Вот мне и любопытно.

Нина Петровская перед смертью была ужасна, дошла до последнего опускания и до последнего ужаса[6]. Иногда жила у меня по 2-3 дня. Это для меня бывали дни страшного раскаяния во многом из того, что звалось российским декадентством. Жалко бывало ее до того, что сил не было разговаривать. Мы ведь 26 лет были друзьями. Пишу это Вам потому, что она рассказывала о Вашем участии к ней. Но Вы и представить себе не можете, до чего она дошла в Париже.

Ну, будьте здоровы. Жму руку и жду ответа.

Ваш *В.Ходасевич.*

92. М. В. ВИШНЯКУ

Версаль, 2 апр. 928

Милый Марк Веньяминович,

спасибо за статью Струве[1]. Получил ее вчера, выходя из дому, чтобы ехать в Версаль. Она уже у меня была — но «не дорог твой подарок, дорога твоя любовь».

А для «Современных Записок» я все-таки не смогу написать статью. Я *бежал* из Парижа, чтобы очухаться и написать о Нине Петровской для «Возрождения» и для уплаты за квартиру.

Нина Ник. в Париже. В экстренных случаях пишите ей, она тотчас даст мне знать. Хотя случиться, кажется, нечему.

Вернувшись, начну «новую жизнь». Я думал — эмиграция хочет бороться с большевиками. Она не хочет. Быть так. Я не Дон-Кихот.

Я думал, эмиграция хочет *делать* литературу. Она не хочет — или не может. Опять же — я не Воронов[2]. И не обезьяна, это главное.

Я возился с «молодежью». Но вижу, что эмигркульт не лучше пролеткульта.

Я думал, что Мережковские... А вижу, что Мережковские... Каюсь, другие были прозорливее*.

Баста. Отныне живу и пишу *для себя*, а на чужие дела сил и жизни не трачу. Ей-Богу, одно хорошее стихотворение *нужнее* и Господу угоднее, чем 365 (или 366) заседаний «Зеленой Лампы»[3].

Словом — Вы теперь меня не узнаете. Говорю это очень серьезно.

Я здесь пробуду с неделю. А пишу это Вам потому, что чувства мои к Вам неизменно отличные. Передайте выражение таких же Марии Абрамовне.

Ваш *В.Ходасевич.*

93. З. Н. ГИППИУС

10 bis, rue des 4 Cheminées
Boulogne s/Seine

Милая Зинаида Николаевна, простите, что пишу на машинке: плохо себя чувствую. Получив Ваше древнее письмо и открытку, которая дошла благополучно, несколько раз начинал писать Вам — то неотложная работа, то болезнь меня отрывали.

Спасибо, что меня вспоминали в Белграде. Но, по-моему, недовспоминали. «Взрывать» Струве ради взрыва я Вас не благословлял. Что за борьба, если у противника просто механически заткнута глотка? Тут нет и победы, а одна личная неприятность. Вы как будто удовлетворены тем, что «материально Струве от этого разрушения не страдает». Но страдает хуже: страдает от сознания, что его деятельность (ему-то ведь она кажется благой, он честный человек) прервана, задавлена административным путем.

Я бы еще понял, если б Вы перевели журнал на себя. И тут был бы оттенок физического воздействия, но это была бы борьба двоих за единственный спасательный круг: или я потону, или тебя потоплю. Тут борьба за существование — и все смягчающие обсто-

* Хотя: Блок, Белый, даже Бунин — сидели червяками на этой удочке, как и я.

ятельства налицо. А Вы что сделали? «И сама потону, да зато тебя потоплю». Или —

Ступай, душа, во ад и буди тамо пленна.
О, если бы со мной погибла вся вселенна![1]

Словом, как я Вам говорил в аллейном кафэ, надо или взять журнал и ответственность на себя — или оставить его Струве и бороться идеями, а не пушками.

Простите, что говорю все это так отчетливо. Внутренно я сейчас живу очень просто, ясно, отчетливо. Мне хочется так же и изъясняться. Надеюсь, что это состояние долго не омрачится. Потому, между прочим, что в общественных делах я всегда оказываюсь в положении того легендарного старичка, которому мальчишка говорит на улице, у чужого подъезда:

— Дяденька, позвони, мне не дотянуться.

Старичок сочувствует и звонит: надо ж помочь правому делу. А мальчишка весело убегает. А старичок видит, к чему сводилась вся «общественность». Нет, баста.

Во всем этом есть утешительность горьковатая: утешительность правды.

Не сочувствую и Вашей мечте об уничтожении «Возрождения»[2]. Не вижу, почему надобно русскую эмиграцию, тысячи людей, не спекулирующих на черной бирже, не сутенеров, не проституток, а живущих каторжным трудом, не сочинителей вороватых стишков да похабных романчиков, — выдавать головой под идейное и духовное водительство Талина[3] и К°. Думаю, даже знаю, что и Вы того не хотите. Что же Вас движет? Воля к разрушению, та самая, в которой Вы не раз упрекали меня — несправедливо, ибо уходить от зла не значит разрушать благо. А «Возрождение» — «капля блага», ибо, при всех недостатках, у него есть одно неотъемлемое достоинство: соглашательством там не пахнет, а когда запахнет, то его вышвырнут.

Впрочем, повторяю, на всю литературщинку, которая здесь выдается и принимается искренно за «общественность», смотрю, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело»[4].

Когда вернетесь? Поклонитесь Дм. Серг. Целую руку.

Ваш *В.Ходасевич.*

4 дек. 928

94. М. В. ВИШНЯКУ

Милый Марк Веньяминович,

спасибо Вам и Марии Абрамовне за память. Когда мы получили Ваше письмо, мы оба были в трансе: Берберова писала рассказ, а я писал и рвал, писал и рвал — статью о Бунине[1]. Теперь с этим покончено. ½ часа тому назад статья отнесена в редакцию, я сижу в кафэ, чувствую, что гора свалилась с плеч, и — как видите — первым делом пишу Вам. Берегите это письмо: со временем Вы получите за него бешеные деньги, когда человечество присудит мне титул *короля эвфемизмов*. Представьте себе, что Вам пришлось бы писать похвальное слово Струве. Это как раз была бы та ситуация, в какой находился я, пишучи о Бунине. Результаты предвижу: стихотворцы меня проклянут за то, что я Бунина перехвалил; обыватели — за то, что недохвалил; Гиппиус — за то, что я припомнил, как она восхваляла Бунина; Бунин — за то, что я не провозгласил его римским папой. Сегодня ночью Истина придет ко мне в пижаме (она больше не ходит голой), разбудит и скажет:

— Владислав Фелицианович, вы сделали все, чтобы против меня не погрешить — и чтоб не обидеть почтенного старика. Он в своей жизни написал несколько сот дрянных стихотворений и с десяток хороших. Иные не написали и этого. Спите спокойно.

Я протяну руку, чтобы пощекотать красотку, но она исчезнет, — мне останется безмятежно спать до утра.

А завтра я сяду за Державина, коего рукопись отнес в типографию две недели тому назад[2]. После этого, тьфу, тьфу, не сглазить, все пойдет обычным и нормальным порядком, которым вообще все течет и благодаря которому не могу Вам сообщить ничего любопытного.

Приехал Муратов, и я заставил его написать в «Возрождение» об «Анне» Зайцева[3]. Пишет.

На днях был у нас Илья Исидорович, пили чай, все по-хорошему. Я сказал ему, что «Вишняк есть столп и утверждение истины»[4] и «краеугольный камень» — *этого* он Вам, вероятно, не передаст.

Дьявольство! Зачем я пишу в кафэ, раз у меня все

равно нет Вашего адреса при себе? Конверт все равно придется надписывать дома, и письмо пойдет только завтра. Следовательно, зову гарсона, но до его прихода успеваю пожать руку Вам и поцеловать — Марии Абрамовне.

Ваш *В.Ходасевич*.

12 августа 929,
17 час. 45 мин.
Taverne Rayce.

Derniére heure[5]: кофе обошлось в 2 франка, на чай полтинник.

95. М. В. ВИШНЯКУ

Поздравляю Вас с новобрачными, дорогой Марк Веньяминович! Час тому назад Державин женился. Могу сказать, что изрядно похлопотал, чтобы устроить этот брак: в два дня отмахал 20 000 знаков. Вы, как редактор, конечно, предпочли бы, чтоб Гавриил Романович уже умер, но я доволен и тем, что он разделался, наконец, с холостой жизнью: довольно ему шататься по ресторациям; домашний стол — друг желудка, по себе знаю. — Оставив новобрачных наедине в зеленой папке, я отправился в кафэ, но не могу сразу остановиться, рука разгулялась, и я пишу Вам.

Надеюсь, вернетесь же Вы в Париж, и мне не придется писать Вам ни в Биарриц, ни в Довиль. Пока что — особых событий нет, но люди начали появляться. Приехал Дон-Аминадо[1], — но я не видел его. У него отец снова был при смерти, воспаление легких. Кажется, сейчас ему лучше. Еще приехал Добужинский, сегодня у нас завтракал и рассказывал грустные вещи о Станиславском. А вот Недошивиной нет, и нет корректуры. Кстати, прошу заметить: «рукопись Державина» так же можно сказать, как «рукопись Обломова», «рукопись Рудина». Здесь Державин не Г.Р.Державин, а лишь *заглавие* книги. Поэтому, пожалуйста, в будущем хвалите меня до одурения и даже «до слез напряженья».

Зина, конечно, озвереет за «фишку»[2]: Вы правы. Но — между нами — год тому назад *Бунин* дал мне эти

17—3400

статьи (еще в Грассе), прося помянуть при случае. Я сию просьбу исполнил, ибо — не дело лаять на человека, которого превозносил, — так, точно и всегда лаял (-а? -о? Как надо сказать о Зине?). Вейдле мне пишет, что я Бунина перехвалил. Демидов (по словам Фондаминского) находит, что статья хвалебная.

Посылаю Вам в подарок страницу из «Евразии»[3]. Все прелести Вы оцените сами. Но обратите внимание на то, что *редактор* «Верст» разоблачает псевдоним своего сотрудника! (Пусть все это знают — никто не имеет права это делать печатно, а уж редактор...) Впрочем, я почти польщен: хоть и самым мертвым и трупным, но все же *«из всех когда-нибудь живших»* писателей быть занятно. Четыре тысячи лет (на худой конец) человечество не производило ничего, подобного мне.

Ну-с, а засим ничего мне не остается, как пожелать Вашему семейству всяческого благополучия. Приезжайте — я по Вас соскучился. Жму руку. Берберова нынче в синематографе, но, разумеется, послала бы Вам всякие приветы, если бы знала, что я буду Вам писать.

21 авг. 929

96. В. В. ВЕЙДЛЕ

[6 июня 1930 г.]

Милый Владимир Васильевич,

что это значит? Куда делась статья о прозаиках и откуда взялась — о романтической живописи?[1] Что же теперь будет? Если хотите — пусть о прозаиках печатают в ближайший четверг (хотя я не надеюсь, что Вам дадут два четверга подряд). Ставлю лишь два условия:

1) Чтобы Державина все же тиснули до 15-го, в любой день.

2) Чтобы Вы последили и прочли корректуру вовремя.

Я здесь второй день, тружусь изрядно, но чуть-чуть нервничаю из-за срока. Надеюсь, однако, поспеть.

Здесь мило. Деревушка чистенькая до забавности, точно ее карандашиком нарисовали. Возле дома — полуразвалившаяся церквушка с ослепительным новым циферблатом, как у будильника. Рядом лужайка зеленая с надписью:

«Defense absolue
aux nomades de stationner sur cette place»[2]
и т.д.

Кругом холмики и лужайки, где в изобилии водятся кукушки и зайцы. Двоих зайчат, совсем еще начинающих, я чуть было не вздумал ловить руками — они еле научились прыгать. Но вовремя вспомнил Ноздрева и как-то был этим парализован. Вообще не без удивления обоняю природные запахи и вижу поля *зеленые* — не видал, в сущности, лет одиннадцать. Очень мило и *благородно.* Кукушка накуковала мне только три года — это с ее стороны негостеприимно. Надеюсь, однако, она это сделала, еще не зная, с кем имеет дело.

Больше впечатлений нет, а были бы — некогда писать. Будьте здоровы. Поцелуйте себя и Милочку[3]. И Берберову, если она к Вам придет.

Ваш *В.Х.*

Что слышно? Сообщите, пожалуйста, по адресу: Господину такому-то chez Jarko[4]
Arthies (S et O).
Даже непременно пришлите хоть открытку, т.к. я не уверен в Вашем адресе и не знаю, дойдет ли это письмо.

97. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Пятница, 13 [июня 1930 г.]
[Arthies]

Милый Ниничек, золотой мой,

меня ужасно огорчило твое письмо. Не затем я сижу, поджавши хвост, не затем ты целуешься с Абрамычем, Калишевичем и Демидовым — чтобы опять портить

отношения[1] — из-за чего? Из-за пошлого дурака Осоргина? Охота была расстраиваться.

И что значит — умышленно от меня скрытый Н? Кем скрытый?[2] Надеюсь — тобой? Но неужели ты думала, что я, два года лакейничая (своим молчанием) перед «Последними Новостями», стану все сызнова портить из-за Осоргина? Но если ты боялась моего взрыва — зачем же сама взрываешься? Поверь, что в конце концов вся эта сволочь, которой на Пушкина, на Лермонтова, на всю Россию чхать, запомнит одно: милый Мисинька сделал в литературные штанишки, а Бербесевичи-мерзавцы обрадовались и сводят с ним *личные счеты*. Вот и все.

У меня Пушкин держит экзамен, завтра начнет умирать Державин. Надеюсь, к понедельнику он это сделает, а нет — я его уморю во вторник в городе. Этим все и кончится, ибо больше писать нет ни времени, ни места в «Современных Записках»[3], ни главное — возможности, потому что «Беседу» надо разбить на *3* куска и вообще по многим важным соображениям, надо все так перепутать, что пропуски станут немыслимы: или все, или ничего. Значит — ничего. После 11 марта 1801 наступает прямо 8 января 1815, а потом — 8 июля 1816,— и подпись: Владислав Ходасевич. Этим я сохраню книгу, которую не хочу портить. А прочтут ли ее — не знаю. Может быть, даже скорее прочтут (и купят!) ради такого огромного пропуска.

Вчерашний день у меня погиб: утром была жара и духота, с 4-х надвигалась гроза и болел живот, с 7 до 10 была гроза и ливень + выключение электричества и единственной лампы в столовой, а в 10 я лег спать.

Кроме того, я, наконец, решительно по тебе соскучился и жду понедельника с нетерпением.

Спасибо за газеты, хотя приходят они (ты не виновата) через пятое в десятое. Вот сегодня не пришли.

Будь здоров, Ангел мой. Очень люблю тебя, целую хвостик и под.

Владюша.

Тумаркин[4] 2 года хочет мириться. Но — за твой счет, с признанием твоей вины. Это мне не подходит, и мы вряд ли сторгуемся.

98. М. М. КАРПОВИЧУ

Дорогой Михаил Михайлович,

очень был рад Вашему письму, а то думал, что Вы (двое) совсем нас забыли. А еще обрадовался бодрому складу письма Вашего. Это потому, что сам я в последнее время очень хандрю — не по личным поводам. Все более убеждаюсь... Нет, не так. Давно уже знаю, что эмигрантская литература не состоялась. *Могла* состояться — в этом я уверен. Но не состоялась потому, что старшее поколение ощутило себя не эмиграцией, а оравой беженцев-обывателей. Мещанский дух и мещанский уклад старшей литературы подрезали крылья младшей. Это говорю в общих чертах, но это мною очень глубоко и подробно продумано. Тяжело жить и скрывать сию государственную тайну от публики. Она, впрочем, догадывается, да и объясняют ей (подловато) всякие Слонимы[1]. Кажется, придется и мне однажды объявить то же — с высоты престола. То-то вой подымется! Каюсь — воя не хочется. А молчать — стыдно, скучно, обидно, больно, а пожалуй, и нехорошо. Не знаю, как быть, — и это мне прибавляет страданий — вовсе не шуточных. Все это, впрочем, пока между нами и весьма доверительно. Итак — я во мраке.

Но читал Ваше письмо и веселился. Чешские афоризмы прелестны, хотя «рыхлая езда заказана» не произвело на меня впечатления, ибо по-польски точь-в-точь так, только произношение несколько иное. Зато «позор на пса»[2] уже привилось у нас в несколько иной редакции и в русифицированном смысле (и произношении): когда Наль слишком безобразничает, ему кричат: позор на кота!

В общем, кажется, наши чехословацкие впечатления довольно схожи. Разница может объясниться различием комплекций — моей и Вашей. У Вас жировой слой несколько более предохраняет нервную систему от раздражений.

Ничего нового о Париже сообщить не могу, ибо Вы сами прекрасно все изобразили. Действительно, построение Нового Града отложено — господа отдыхают в Грассе[3]. Действительно, японо-китайская война «Последних Новостей» с «Возрождением» — в

разгаре. Действительно, Павел Николаевич очень потолстел и все играет на скрипке, — а Муратов скачет[4].

А насчет того, что я редко появляюсь в «Возрождении» — ошибаетесь. Недоглядели. Непременно раз в две недели пишу по фельетону — иначе был бы лишен приятной возможности налепить на это письмо полуторафранковую марку. Даже о порнографии sub specie aeternitatis[5] писал.

Статью Лапшина получил[6], но еще не читал — некогда. Буду читать через неделю и тогда ему напишу. Заглядывал в нее — какие-то козероги торчат. Но не бойтесь — напишу ему, что наконец-то Пушкин мне открылся. По-видимому, Лапшин много (и вдумчиво) прочитал такого, чего и читать не стоило. Зато кое-чего понужнее не прочитал. Он чудак, вероятно. Это Вы очень верно заметили. Впрочем, окончательное суждение оставляю за собой.

Нина Ник. велела Вам и Татьяне Николаевне кланяться. Сейчас она в «Перекрестке» по печатному читает старичкам переводы (чужие) из Гете[7], а я сижу дома, потому что мне на днях сделали маленькую операцию (вздор совершенный), а голова забинтована так, словно меня, по крайней мере, трепанировали (как выражается Миша Цетлин: «трепанированный Якубович»). Впрочем, его «Декабристы»[8], кажется, будут совсем недурны. Жидковато, бледновато по письму, но предмет он знает. Теперь это редкость. Бор. Зайцев написал биографию Тургенева, зная только то, что одна толстая певица отказала ему (Зайцеву, а не Тургеневу!) в том же, в чем Виардо иногда отказывала Тургеневу. Это еще нельзя назвать «историко-литературным багажом»[9]. Не отрицаю, однако, что этим устанавливается между героем и автором род душевного сходства. Зайцева я люблю за то, что знаком с ним лет 27. С Тургеневым я не знаком и потому не имею оснований любить его.

За сим — желаю Вам и Татьяне Николаевне всех благ. Пожалуйста, пишите, где Вы и что Вы, а по приезде сюда известите тотчас и приходите тотчас.

Жму руку.

Ваш *В.Ходасевич.*

19 марта 932

На обороте начинаю требуемый список. Нина Николаевна его продолжит[10].

По художественной ценности

Ал.Толстой
Голубые города.*
Петр I.*

Федин
Города и годы.
Братья.

Леонов
Вор.*
Барсуки.

Олеша
Зависть.**

Пильняк
Голый год.

Булгаков
Роковые яйца.
Дьяволиада.

Каверин
Скандалист.
Мечи и свечи. (?) (Щиты и свечи?)
Художник неизвестен.**

Тынянов
Кюхля.
Восковая персона.

Бабель
Конармия
(Одесские рассказы).
История моей голубятни.

Всев. Иванов
Бронепоезд 4172.

Булгаков
Дни Турбиных.

Пильняк
Волга впадает в Каспийское море.
Повесть непогашенной луны.

Быт

Зощенко — все *мелкие* рассказы (в особенности «Уважаемые граждане»). И нужно и хорошо.

Пант. Романов — разные книги рассказов.

Каверин
Конец Хазы.

Шишков
Филька и Амелька.*

Катаев
Растратчики.*
Квадратура круга.

Гладков
Цемент (вещь ужасная, но переведена на 16 языков и разошедшаяся в СССР в миллионном тираже).

Мариенгоф
Роман без вранья.**
Циники.

---

* — хорошие вещи.
** — очень хорошие вещи.

Мандельштам
Шумы времени.**
А.Белый
Москва под ударом.
М.Козаков
Мещанин Адамейко.
М.Шолохов
Тихий Дон.

Привет сердечный.

Н.Берберова.

99. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

[Arthies]
19 июля 932

Я приехал сюда вчера, милый Ниник, и получил твое письмо. Очень рад, что тебе посчастливилось в рассуждении отдыха. Вероятно, и я здесь отчасти приду в себя[1]. Я привез машинку, но писать ничего не буду, а все только переписывать. Этим способом собираюсь состряпать 3 фельетона и 2 гулливера[2]. 1 фельетон и 1 гулливер уже готовы — нащелкал их вчера под вечер и сегодня утром.

Здесь из прежних одни Айзенберги[3], по-прежнему милые. Велят тебе кланяться. Кроме того, здесь Азовы[4]. Вообще публика чище прошлогодней и несколько моложе. Ярко[5] тоже почистились и навели кое-какой порядок. Меня, впрочем, чистка сия не коснулась: я живу в крошечной комнатушке, в том доме, где жили Зайцевы. Погода сухая и холодная, хотя барометр идет вверх.

В последнюю минуту я испугался брать сюда котика — и слава Богу: в моей комнате решительно негде повернуться, она напоминает ту комнату у Паули, где мы ночевали, приезжая из Saarow'a[6]. За котом ходит консьержка.

Здоровье мое терпимо. Настроение весело-безнадежное. Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным. Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест.

Теперь нет у меня *ничего*. Значит, пора и впрямь успокоиться и постараться выуживать из жизни те маленькие удовольствия, которые она еще может дать, а на гордых замыслах поставить общий крест.

Я должен уехать отсюда не позже утра понедельника. Ты, вероятно, получишь это письмо в четверг. Если ответишь мне в тот же день, то я еще получу твое письмо. Впрочем, мне перешлют.

Вот и все. Целую тебя. Обо мне не тревожься. Денежные дела улажу, а иных у меня, кажется, нет. Кажется, с августа даже и жильца найду: на эту тему у меня начались переговоры с Аврехом[7]. Дело решится, когда он вернется из отпуска. Единственное препятствие — он не очень хочет жить за заставой. Ну, да там видно будет.

Еще раз целую тебя.

Владислав.

100. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Arthies
23 июля 932

Милая Нина, ты, конечно, права — мне нужно себя привести в порядок. За пять дней артийских я многое обдумал и твердо решил внести ряд существенных изменений в свою жизнь. Это, разумеется, принесет добрые плоды. На сей счет будь спокойна, — впрочем, я очень рад, что ты, наконец, решила обо мне не тревожиться. Это как раз то, что требуется. В определении причин, из-за которых у нас все «треснуло», ты не права. *Истинные и основные* причины, как ты сама знаешь, совсем не те. Но это вопрос академический — практического значения не имеет.

«Крест» на Пушкине значит очень простое: в нынешних условиях писать его у меня нет времени. Нечего тешить себя иллюзиями. Но, с другой стороны, условия могут измениться — никто не помешает мне ими воспользоваться. Это тем более, что отныне (согласен — поздненько) я буду жить *для себя* и руководствоваться *своими* нуждами.

Я в Арти отдохнул и пощелкал порядочно. Сделал трех (а не двух) Гулливеров и два халтурных фельетона — всего 1320 строк.

Таким образом, следующий Гулливер будет нужен на 18 августа, т.е. ты должна мне его доставить не позже чем *к утру 15 августа.* У меня есть «Новый мир». Как быть? Прислать ли его тебе, или ты успеешь сделать хронику по возвращении в Париж? Ответь, пожалуйста, на 4 Cheminées. Деньги я вышлю тебе, когда получу, — но может случиться, что я сам получу их только 2-го числа (31-е воскресенье, а по понедельникам нам не любят платить).

Айзенберг лежит в гриппе и панике. Марья Вениаминовна тебе кланяется. Впрочем, они слышали, что ты часто бываешь в «Napoli»[1], и туда собираются — чтобы ты не соскучилась. С Азовыми общаюсь мало — только раз гулял с ними. Активных гадостей не заметил.

Сейчас на мне нет, кажется, ни одной хвори, даже ни единого прыщика. Этим я чрезвычайно утешен.

Целую тебя.
В.

101. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

<Весна 1933 г.>

Милая Нина,

я получил твое письмо только сейчас, 2-го числа, ночью. Спасибо за его откровенный голос — он действительно дружеский. Отвечу тебе с тою же прямотой.

Ася[1] сказала правду о моем недовольстве «консьержным» способом сообщения между нами. Но если она сказала, что я «стараюсь узнать» что-нибудь о тебе от кого бы то ни было, — тут она либо просто выдумала, либо (это вернее) — меня не поняла. Что я знаю о тебе, я знаю *от тебя*, и *только* от тебя. Неужели ты думаешь, что я могу о тебе сплетничать с Феклами? Поверь, я для этого слишком хотя бы самолюбив — ведь это очень унизило бы *меня.* Это во-

первых. А во-вторых — ни одна из них этого и не посмеет — мой характер слишком известен, и на сей раз эта известность служит мне хорошую службу. Не только Марьяна, формально воспитанная на ять, но даже Люба[2], никак не воспитанная, в грехе сплетничанья о тебе со мной действительно невиновны.

Этого мало. О каких сплетнях может идти речь? Допустим, завтра в газетах будет напечатано, что ты делаешь то-то и то-то. Какое право я имею предписывать тебе то или иное поведение? Или его контролировать? Разве хоть раз попрекнул я тебя, когда сама ты рассказывала мне о своих, скажем, романах? Я не доволен <не> твоим *поведением.* Я говорил Асе, что меня огорчает твое безумное легковерие, твое увлечение людьми, того не стоящими (*обоего пола, вне всяких любовей!*), и такое же твое стремительное швыряние людьми. Это было в тебе всегда, я всегда это тебе говорил, а сейчас, очутившись одна, ты просто до экстаза какого-то, то взлетая, то ныряя[3], купаешься в людской гуще. Это, на мой взгляд, должно тебя разменивать — дай Бог, чтобы я ошибся. *Это*, и *только это*, я ставлю тебе в упрек. Согласись, что тут дело не в *поведении* и вообще лежит не в той области, в какой могут лежать какие бы то ни было сплетни. Словом, ты можешь быть со мной не согласна в системе отношения к людям вообще и в отношении к отдельным людям в частности, — но не думай, пожалуйста, что я могу о тебе сплетничать. На сей счет мне было бы очень горько оправдываться, если бы самое допущение таких вещей не было отчасти смешно. Подумай спокойно и вообрази себе картину: я сижу с Любой и о тебе судачу. Экая чепуха. Единственная тема моих о тебе разговоров с Любой — лифт. Но это невинно, да и лифт, говорят, уже действует. И эта тема отпала.

Милый мой, ничто и никак не может изменить того большого и важного, что есть у меня в отношении тебя. Как было, так и будет: ты слишком хорошо знаешь, как я поступал с людьми, которые дурно относились к тебе или пытались загнать клин между нами*. Так это и останется, и все люди, которые хотят

* Зина[4] — пример очень наглядный. Она не только тебя на меня настрикивала, но и меня на тебя, если хочешь знать. *За это* я ее и возненавидел навсегда.

быть хороши со мной, должны быть хороши и доброжелательны в отношении тебя. На сей счет нет и не было у меня недоговоренностей ни с кем.

Пожалуйста, не сердись за то, что я написал о твоем разменивании. Я упомянул об этом только ради того, чтобы разъяснить тему моего разговора с Асей (и — о твоем таком отношении к людям тысячу раз я с ней говорил на 4 Cheminées — иногда при тебе, и оба мы тебя бранили в глаза и за глаза: что же мне с Асей стесняться?). В дальнейшем не буду и этого тебе говорить, т.е. твое предложение о «белых перчатках» принимаю. Надеюсь, однако, увидеть такие же точно и на тебе. Предоставим друг другу законное право строить свои отношения с третьими лицами по его выбору. Не усмотри колкости (было бы гнусно, чтобы я *тебе* стал говорить колкости — какое падение!): но ведь зимой, во время истории с Р., он вовсе не восхитил меня во время нашего «почти единственного» свидания в «Napoli» и в «Джигите» (помнишь?). Но ты должна согласиться, что я вел себя совершенным ангелом, — это мне, впрочем, ничего не стоило: я не могу и не хочу выказать неприязнь или что-нибудь в этом роде по отношению к человеку, в каком бы то ни было смысле тобой избранному, — на все то время, пока он тобой избран. Я так делал, как ты могла убедиться, — и так буду делать, и жду от тебя того же. Для тебя это будет даже и легче, ибо никто не станет так безвкусно чуть не в дружбу к тебе навязываться, как Р. навязывался ко мне.

Словом, надеюсь, что наша размолвка (или как это назвать?) залечится. В субботу в 3 1/2 приду в 3 Obus. Тогда расскажу и о своих планах на зиму. Предвиденья мои сносны, но пока что — заели и замучили меня кредиторы. Хуже всего — фининспектор (было 2000; 1000 выплатил — стало опять 2!) и Гукасов[5], у которого я взял осенью 1000. Он мне вычитает по 250 в каждые 2 недели. Выплатив, беру сызнова — и все начинается сначала! Ну, это вздор. Будь здорова. Ложусь — уже скоро четыре часа. Целую ручку.

В.

102. В. В. ВЕЙДЛЕ

22 июля 1935

А я-то думал, дорогой Владимир Васильевич, что Вы с арфой в руках скитаетесь между скал и озер, и на каждой скале Вальтер Скотт, а в каждом озере — семейство ихтиозавров! А Вы, оказывается, в центре культуры и прогресса. Хорошо еще, что сидите в оазисе! Не выходите из него. — Ваше письмо меня очень тронуло — кроме Вас, никто обо мне не вспомнил. Вы, впрочем, неверно себе представляете мое времяпровождение. Я не сижу в «Мюрате»[1] — ни в подвале, ни наверху. Я уже четверо суток просто не выхожу из дому, и оброс бородой, и не вижу никого, кроме Ольги Борисовны (коея Вам кланяется). Делается это ради экономии, которая будет длиться очень долго[2]. (О причинах расскажу при свидании.) Следственно, ехать я никуда не могу. Мы вдвоем тратим в день 25 франков, *включая* папиросы и прочее. Таких пансионов в природе нет. Настроение у меня плохое. Руки болят, и фурункулез появился. Всего хорошего.

В.Х.

103. Р. Н. БЛОХ

24-го октября <1935 г.>

Милая Раиса Ноевна!

К сожалению, не можем быть в «Murat'е» в пятницу — приглашены в гости. Не хотите ли перенести «выдачу» туда же, но в воскресенье? Может быть, придет и Клара Соломоновна. Во всяком случае, поблагодарите ее очень. Будем очень рады Вас повидать. Целую Вас, и сердечный привет Мих. Ген.

Ваш *Ходасевич.*

Жалоба Амура

Амур в слезах поэту раз предстал
И так ему сказал:

«Мой горестен удел: чуть сердца два взогрею,
Уж уступаю место Гименею».

Антон Мяукин

Примеч. редактора к изданию 2035 года:

Черновик без пометок. Датируется предположительно 1974 г., когда поэтесса Р[оза?] Блох вышла замуж за д-ра медицины М[атвея?] Горлина. Чувствуется влияние Богдановича, Оцупа и др. классиков. Инверсия в третьем стихе напоминает подобную же:

Взяли тыквы штуки три,
Чисто выдолбить внутри.
Руки всунет в тыквы две —
А одна на голове[1].

При жизни поэта не печаталось. По-видимому, в ней нашло себе выражение чувство безнадежной любви к Р[озе?] Блох — чувство, как известно послужившее причиной болезни поэта и рано сведшее его в могилу.

Из отзывов критики:

«...Г-жу Блох звали, очевидно, Раисой, как следует из текста письма, на котором находится автограф. Редактор мог бы это сообразить сам. В каких отношениях были Р.Блох, О.Ходасевич (?) и Антон Мяукин, нам, к сожалению, не удалось установить».

104. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Ты, милый друг, путаешь, а я многое уже забыл, потому что дело-то было сорок лет тому назад. Вот что, однако, могу сообщить, а уж ты разбирайся, как знаешь.

Роман называется «Гектор Сервадак» — так зовут и героя[1]. Но никакого телеграфа он отнюдь не изобретал, и о телеграфе нынешнем, электрическом, в романе помину нет. Сервадак — французский офицер в Марокко (или еще где-то в Африке). Он (и еще ряд персонажей) попадает на комету, которая отщепила от земли кусок и утащила с собой. Кусок же земли охватывал как раз то место, где теперь итальянцы хотят подраться с англичанами. Не помню в точности, но помню, что на комете оказался кусок Северной Афри-

ки, Капри и Гибралтар. Однажды мы гуляли на Саро di Sorrento, дошли до самого того мыса, который только узеньким проливом отделен от Капри, и смотрели на Капри. Показывая на груду камней на вершине горы (на *Саро*, а не на Капри), Горький сказал, что это развалины старинного телеграфа. Тогда я и вспомнил, что в «Гекторе Сервадаке» рассказывается о телеграфе — *вероятно*, об этом самом. Телеграф же это был еще не электрический, а зрительный, сигнальный (есть какое-то у него название, но не помню). Пользовались этим телеграфом так: состоял он из высокой мачты с перекладиной, которую приводили в движение при помощи веревок; все сооружение было похоже на человека, который размахивает руками (это сравнение имеется и у Жуля Верна); была условная азбука этих размахиваний — таким образом и передавались известия; «читались» телеграммы при помощи подзорной трубы, почему и устраивались такие телеграфы на горах — чтобы издали было видно. Думаю, что об их устройстве ты можешь прочесть в Энциклопедическом словаре. Умоляю только тебя о телеграфе в нынешнем смысле не упоминать — о нем в романе и речи нет.

Здоровье мое — второй сорт. Два пальца залечились, а два не хотят. Это больно, утомительно. Прибавь сюда неслыханное безденежье (куда похуже 1926 года) — и ты поймешь, что я живу не припеваючи.

Что ты пропал — Бог с тобой, главное — приналяг на роман, двинь хорошенько, как Фохт, который — монахом во Святом Граде Иерусалиме[2]. У него (у Фохта, а не у Иерусалима) — борода, я фотографию видел. Вишняк, говорят, собирается к нему. Намечается песня — «На родину едет счастливый Вишняк», — поется на мотив «Вещего Олега».

Будь здоров, Н.В.[3] поклон. Оля кланяется.

В.

20 дек. 935

Купи-ка ты «Сервадака» да почитай в метро — он не длинный, гораздо короче других романов Ж.Верна. А потом дай мне почитать. Это очень мило и совсем не похоже на Бакунину[4].

Иван Степанович[5] очень помолодел. Встретились в кафэ. Он говорит: «Лукашу[6] все помогут, его все знают». А я ей: «Обелиск на Concorde тоже все знают,

а ведь вот — не держите же Вы над ним зонтик в плохую погоду». Тут они переглянулись, расплатились и убежали. Не надо говорить притчами, это к добру не ведет.

105. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

<Март 1936 г.>

Ангел мой, я получил «Современные Записки» еще в понедельник и сейчас же прочел тебя и ужасно обрадовался. Написал ты чудно, так что даже слезу прошибло. Пошли тебе Господь, чтобы ты всегда так писал — и еще лучше. На четверг приготовлю фельетон о «Современных Записках», но о тебе как раз буду писать немного, хоть и ужасно нежно. Это потому, что совсем еще неизвестно, куда клонит автор, и критику приходится только облизываться, как коту после рыбки, но умствовать еще не о чем (что, может быть, и к лучшему).

Сирин мне вдруг надоел (*секрет от Адамовича*), и рядом с тобой он какой-то поддельный.

Газданову всыплю по первое число и за статью, и за рассказ[1].

Зайцева читать нельзя. А Притыкино-то стало Людиновым! Почему? Потому что *Лутовиново*. Вот осел![2] Надеюсь, что Спиридович превратится во что-нибудь вроде Виардо. Ты это предсказание на всякий случай запомни.

Шляпу не купил за ненадобностью. В кровати и в шляпе один Волынский лежал (я это видел). А лежу, потому что вчера пришлось ехать к Симкову[3], и он меня ковырял, покуда у меня не сделался обморок. Обещал, что нынче же сяду, но еще не сидится.

Следственно, не пойду заседать с Извольской[4]. Ты ей скажи, что я благодарю и проч. А Кологривов давно живет в Амстердаме. Другой иезуит его изиезуитил из Парижа.

Засим — будь здоров.

Владюша.

Оля тоже упилась сочинением и тоже ахает, какой ты молодчина.

106. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Спасибо тебе, мой Ангел, за книжку[1]. Получил ее третьего дня, а сейчас получил открытку. Конечно, все будет так, как тебе нужно. Напишу о ней на 21-е или 28-е, тем более что в этот четверг (или в следующий) придется мне отругиваться от Гофмана и Милюкова (которому на сей раз влетит)[2]. Это немножко досадно, потому что «Чайковского» я уже почти прочел. Официальные комплименты прочтешь в газете, а неофициально могу тебе сказать, что книжка чудесная, а ты умница. Говоря откровенно, «Чайковский» так же хорош, как «Державин», хотя Чайковский действительно не моего романа герой. Подозреваю, что ты еще немножко прикрасила, сгладив бездарные черты его бездарной эпохи. Один «счастливый конец» «Онегина» чего стоит! Этого ужаса я не знал, — вот так фунт!

Вот мелкие ругательства. Нельзя было называть петербуржцев хулиганами, потому что это слово появилось только в начале девятисотых годов. Антонину Ивановну нельзя называть хипесницей: это слово — блатное, означает оно не стерву, не хищницу вообще, а специально проститутку, которая заманивает гостя и обкрадывает его, напоив или во время сна. Тут ты поступила, как профессор Коробкин[3], все цветы называвший лютиками. Наконец, раза два у тебя слова «он», «она» относятся не к тем предметам, к каким надо бы им относиться.

Засим — будь здоров, поздравляю тебя с книжкой и желаю написать еще много таких же. С Карповичем я насилу созвонился: он мне не написал, в котором часу надо звонить. До свидания. Надо надевать штаны, потому что сейчас придут Горлины. Оля тебя целует. И я.

В.

1 мая 936

107. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Это ты, милый мой, уезжаешь не чихнув, — а я-то бы с тобой простился. Однако ставить вопросы в

этой плоскости весьма преждевременно[1]. Действительно, своего предельного разочарования в эмиграции (в ее «духовных вождях», за ничтожными исключениями) я уже не скрываю; действительно, о предстоящем отъезде Куприна я знал недели за три. Из этого «представители элиты» вывели мой скорый отъезд. Увы, никакой реальной почвы под этой болтовней не имеется. Никаких решительных шагов я не делал — не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же — не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве (хотя уверен «в душе», что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то *должны* отнестись положительно). Впрочем, тихохонько, как Куприн (правда, впавший в детство), я бы не поехал, а непременно, и крепко, и много нахлопал бы дверями, так чтобы ты услышала.

Я сижу дома — либо играю в карты. Литература мне омерзела вдребезги, теперь уже и старшая, и младшая[2]. Сохраняю остатки нежности к Смоленскому[3] (читал мне чудесные стихи новые на хорошую, бодрую тему: < нрзб. >) и к Сирину. Из новостей — две: Фельзен, кажется, начинает менять ориентацию, возвращаясь на духовную родину, т.е. отступая из литературы на заранее подготовленные позиции — к бирже. Алферов[4] вчера женился на богатой и некрасивой музыкантше. Квартира (с экономкой!) отделана — молодые поехали в горы. Словом, все эволюционирует в естественном направлении.

О песике слышал. Жалко, что не могу представиться ему, ибо на поездку надо выложить полсотни. Если будешь в Париже — дай знать, чтобы свидеться.

«Париж—Шанхай» опубликовал содержание 1-го №[5]. Плохо. Кроме того, есть признаки, что эти «Записки» повернутся лицом к Китаю, как «Современные» были повернуты к Чехословакии. Уже завелась какая-то тамошняя Папаушкова[6]. Вероятно, будут статьи о юбилее какого-нибудь Фунг-Тюнь-Тяна и о мировоззрении Чан-Кай-Шека[7] — на зависть Масарику![8] — Ты ошибаешься — Фондам. все еще ходит в умниках.

Я видел Пумпянскую — это напомнило мне о молодости (моей) и старости (ее). Она ходит под ручку с Мишей Струве[9] и говорит об Ахматовой, как старые генералы при Николае I говорили о Екатерине.

Зюзя[10] вышла замуж за англичанина. Славный

парень, инженер, делает аэропланы и снаряды. Жить она будет под Бирмингемом, в тамошнем Холивуде. Боюсь — будет ей холивудно и кукисто, но пока что она довольна. В конце концов — ты устроила ее судьбу, это забавно.

Какие ужасы пишет Бунин о Толстом![11] Ох уж эти мыслики. Ученый спор с Алдановым — верх комизма. Жду спора с Марьей Самойловной[12] и Дон-Аминадо.

Наташа[13], действительно, не блещет. Однако я нашел в ней перемену к лучшему: читает «Последние Новости» — и целая полка с книгами. Боюсь, как бы она не замучила нас. Ты, однако, не брыкай ее очень. Уверяю тебя, что ум надо спрашивать только с профессионалов этого дела и что все люди — лучше писателей.

«Бородин»[14] твой занятен, но беда в том, что Чайковский сам по себе гораздо сложнее и интереснее, а в таких случаях личность «героя» — дело важнейшее.

Батюшки! Чуть не забыл! Прилагаю письмо, мною полученное через «Возрождение» и вскрытое потому, что только начав читать, увидел я на конверте: m-lle Nine Berberoff. Прости, пожалуйста, — еще прости, что темы в этом письме (т.е. в моем) перетасованы как-то идиотски. Но я сегодня дописал фельетон, ездил в город, прочел три французских газеты (по случаю Блюма[15]) — а сейчас уже два часа ночи, и я устал, и пора спать.

Будь здорова. Оля тебя целует. Поклонись Н.В. Песика благословляю. Внушай ему хорошие правила с детства.

В.

21 июня 937

108. В. В. НАБОКОВУ

Дорогой Владимир Владимирович,

спасибо за открытку. О Ваших передвижениях я, впрочем, несколько осведомлен. Между прочим, некая особа, собою преизрядная, погубившая на Монпарнассе

144 сердца и два-три семейных очага, жила с Вами в Cannes в пансионе. Должен Вас огорчить — Ваш сын[1] имел у нее больше успеха, чем Вы. «Мальчик, говорит, поразительный, а он сам даже не посмотрел на меня — сухарь». Скажите Вашему сыну, что я при первом же знакомстве научу его читать «Для берегов...» с вариантами.

Кстати, — не состоится ли таковое знакомство, т.е. вечно ли Вы будете возбуждать мою зависть сидением на юге? Если б Вы знали, как мерзко в Париже! Приезжайте же!

Ваш *В.Ходасевич.*

P.S. Секрет: собираюсь писать для «Современных Записок» статью о 20-летии эмигрантской литературы[2]. Полагаю, что

царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется[3].

В.Х.

19 нояб. 937

109. В. В. НАБОКОВУ

Дорогой Владимир Владимирович,

я, конечно, скотина, потому что не ответил на Ваше поздравление и сам Вас не поздравил. Дело в том, однако, что еще 15 декабря я заболел и лежал в постели с температурой и болями целый месяц. (Этим объясняется и отсутствие моих фельетонов в «Возрождении».) Сейчас мне несколько лучше, я лежу по полдня и даже по утрам выползаю на улицу. Так что — если Вы на меня сердитесь, то перестаньте. Как раз в пору Нового Года мне было всего хуже.

Читал очередной кусок «Дара»[1] — с очередным восторгом. Жаль только, что, кроме ахов и охов, от которых какой же прок? — ничего не сумею о нем написать: если бы Вы знали, как трудно и неуклюже — писать об кусках, вынутых из середины! Кстати сказать — прелестны пародии на рецензии. Мортус, как Вы, конечно, заметили, озверел, но это полезно. Не знаю, думали ли Вы о Цетлине, когда изображали

стихотворную часть Линевской критики[2], но угодили Вы ему в самый лоб, и всего забавнее, что образчик «межцитатных мостиков» имеется в той же книжке: см. стр. 430—431 — рецензия на стихи Кузнецовой[3].

В ближайшем номере «Возрождения» прочтите мою статью о нашем друге Георгии Иванове[4]. Она не очень удалась, я дописывал ее в полном изнеможении вчера вечером, но кое-что в ней Вы, надеюсь, оцените.

Правда ли, что Вы написали пьесу?[5] Приедете ли, как подобает драматургу, на премьеру? Будете ли выходить на вызовы? Влюбитесь ли в исполнительницу главной роли? Я, впрочем, все равно решил идти на первый спектакль — из любви к Вам и назло человечеству, так как на пьесы Алданова и Тэффи[6] идти отказался.

Знаете ли новую повесть Белкина о том, как корнет Фондаминский пригласил генерала Милюкова шафером на свадьбу свою с девицей Павловской — а генерал взял да и увез невесту прямо из-под венца к себе на квартиру? Чудная вещь, немножко напоминает «Выстрел»[7], хотя решительно без всякой стрельбы.

Долго ли Вы пробудете в Ментоне? Последний доктор, который у меня был (Аитов), сказал, что мне надо выиграть в Национальную лотерею, и ушел, ничего не прописав. Теперь я стараюсь выиграть, и если выиграю, то поеду в Монте-Карло, и мы станем соседями.

Будьте здоровы. Вам кланяется моя жена.

Ваш *В.Ходасевич.*

25 янв. 1938

110. Н. Н. БЕРБЕРОВОЙ

Ну, душенька, будем надеяться, что мы с тобой переволновались понапрасну: кажется, всеблагие хотят нас избавить от присутствия на их очередной пирушке[1]. Это очень мило с их стороны. Не люблю роковых минут и высоких зрелищ.

Следовательно, надо приниматься за работу. Почему убедительно прошу тебя *экстренно* посмотреть по вечному календарю, в какой день умер Блок. Кроме

того, если ты еще не отдала книгу и если цитата не больно длинна, пришли мне тот отрывок о препирательствах Н.В.Бугаева с Львом Толстым[2]. Впрочем, мне нужно из него *только* то, что касается папочкиных ужимок, приседаний, лысины и голоса. Хочу всунуть в примечания. Укажи точно название книги и страницу.

Страшна не война, страшно то, что Женя сказала мне: «Как только объявят войну, мы все вчетвером (я, Ник. Георг., кот и Нина[3]) едем к Макеевым и будем у них жить». (Нинка приехала.)

Будьте здоровы. Спасибо за гостеприимство. Оля кланяется.

Пишите и приезжайте.

В.

21 сент. 38

111. А. С. КАГАНУ

Многоуважаемый Абрам Саулович,

одновременно с этим письмом я отсылаю Вам последние гранки.

У меня к Вам две просьбы:

1). *Непременно* прислать мне верстку, потому что набор довольно небрежный, а еще потому, что я и сам слегка виноват: в первых 10-15 гранках кое-что недоглядел, необходимо исправить. Строчек ломать не буду — это я Вам обещаю. Кроме того, обязуюсь возвращать верстку всякий раз в тот же день, когда ее получу.

2). Касательно обложки. Очень прошу сделать ее как можно проще и строже. Лучше бы всего — из *серой* бумаги, отпечатав слово «Некрополь» красными буквами (еще бы лучше — *лиловыми!*), а все остальное — черными. Шрифт — самый обыкновенный, типографский, но никаких украшений, рамок и т.п.

Всего хорошего.

Уважающий Вас

Владислав Ходасевич.

28 ноября 1938

112. А.С.КАГАНУ

Глубокоуважаемый Абрам Саулович,

простите, что отвечаю с опозданием. Со дня на день ждал конца верстки и собирался Вам писать тогда же, когда буду отсылать ее обратно. Однако ее все нет. В чем дело?

Мне кажется, Вы правы: подзаголовок нужен. Но давайте напишем не «Книга воспоминаний», а просто «Воспоминания».

Под клише сделаем надпись: «Отрывок из письма М.Горького (факсимиле)».

Мне бы очень хотелось слово «Некрополь» (только его одно) напечатать лиловым цветом, а все остальное черным. Но если, по Вашему мнению, лиловое нехорошо или затруднительно для типографии, то сделаем синим, только не темным, однако и не голубым[1]. Впрочем, я вполне на Вас полагаюсь.

Сердечно благодарю Вас за новогодние пожелания. Примите и от меня такие же. В конце концов, со стороны судьбы было бы очень прилично и справедливо, если бы она отпустила нам немного благополучия.

Преданный Вам *Владислав Ходасевич.*

3 января 1939

Так где же верстка?

Четвертый том сочинений В.Ф.Ходасевича составляет та часть его наследия, которая особенно тесно связана с биографией автора. Это прежде всего его мемуарная проза. Помимо книги «Некрополь», подготовленной перед смертью им самим, Ходасевич написал и напечатал множество мемуарных очерков разного характера. Часть из них собрана в настоящем томе в разделе «Воспоминания». Так же как и критические статьи Ходасевича (см. т. 1, 2 наст. изд.), все мемуарные очерки печатаются по прижизненным авторским публикациям, с восстановлением пропущенных мест и исправлением немалочисленных неточностей, какие были допущены в нью-йоркском издании 1954 г. «Литературные статьи и воспоминания» (повторенном в 1982 г. под названием «Избранная проза»). В настоящем томе очерки условно разделены составителем на два подраздела — «О себе» и «О современниках» — в зависимости от преобладающей установки на автобиографическое или объективно-мемуарное повествование.

Впервые включаются в сочинения Ходасевича его письма, завершающие издание. Ряд писем впервые публикуется по архивным источникам (см. вступительную заметку к разделу «Письма»).

Хотя в Списке условных сокращений (см. т. 1 наст. изд.) последним упоминается 8-й выпуск альманаха «Минувшее», в комментариях к данному тому даются ссылки и на следующие выпуски альманаха в сокращении, образованном по аналогии: *ЭМ-9, М-12, М-13, М-14* и т.д.

Комментаторы тома: «Некрополь», «Воспоминания» — Н.А.Богомолов; «Письма» — И.П.Андреева; два очерка с одинаковым названием «Горький» в «Некрополе» и «Воспоминаниях», а также очерк «Прогресс» и письма к М.Горькому комментировала И.А.Бочарова.

НЕКРОПОЛЬ

Книга воспоминаний «Некрополь» была выпущена книгоиздательством «Петрополис», переместившимся из гитлеровского Берлина в Брюссель, в 1939 г. Вышла в свет она еще при жизни Ходасевича и упоминалась в газетных и журнальных обзорах. См., например, в воспоминаниях В.С.Яновского: «Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Незадолго до того вышла его книга “Некрополь”. Я вел тогда критический отдел в “Иллюстрированной России”. В его книге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попадались и условные, попросту серые страницы. Я так и написал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич умирает» (*Яновс-*

кий. С. 123; ср. также его рецензию, подписанную В.С.Я., в: Русские записки. 1939. Кн. XVIII. Июнь). «Некрополь» был репринтно воспроизведен в 1976 г. изд-вом YMCA-Press (Париж). Мемуарные очерки, составившие книгу, публиковались в различных изданиях; при включении в сборник они редактировались Ходасевичем. Разночтения нами не учитываются.

Конец Ренаты (с. 7). *В*. 1928. 12—14 апреля. Воспоминания Н.И.Петровской о Брюсове опубликованы: *М-8* / Публ. Э.Гарэтто. Частично — *ЛН*. М., 1976. Т. 85 / Публ. Ю.А.Красовского.

С. 7. *...ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству*. — Петровская издала единственный сб. рассказов «Sanctus Amor» (М., 1908; по ее письмам к Ходасевичу видно, что оба стремились издать свои первые книги одновременно), помимо этого печаталась в символистских журналах и альманахах («Весы», «Перевал», «Гриф»), в различных московских газетах («Утро России», «Накануне», «Голос Москвы», «Московская газета», «Руль», «Новь», «Столичное утро» и др.), после революции — в берлинско-московской сменовеховской газ. «Накануне».

Символисты не хотели отделять писателя от человека... — Более подробно концепция символистского жизнетворчества незадолго до мемуаров о Петровской была изложена в статье Ходасевича «О символизме» (*В*. 1928. 12 января).

С. 8. *Выпуская впервые «Будем как Солнце»...* — Первое издание кн. К.Д.Бальмонта «Будем как Солнце» (М., 1903; репринтное воспроизведение — в кн.: Бальмонт К.Д. Стихотворения. М., 1989) было посвящено ряду людей: В.Я.Брюсову, С.А.Полякову, Ю.К.Балтрушайтису, Г.Бахману, М.А.Дурнову, М.А.Лохвицкой, Д.Кристенсен, Л.Савицкой (в последующих изданиях посвящение отсутствует). *Модест* Александрович *Дурнов* (1868—1928) — художник и скульптор, писавший также стихи.

«Из жизни бедной и случайной...» — Из ст-ния В.Я.Брюсова «Золото» (1899). В первой строке Ходасевич заменил эпитет (в оригинале — «бледной»).

Нина скрывала свои года. — По общераспространенным сведениям, Петровская родилась в 1884 г., однако, как следует из ее писем к В.Я.Брюсову, она была заметно старше (род. в 1879).

С. 8—9. *Была невестою одного...* — В экземпляре «Некрополя», принадлежавшем В.В.Вейдле, Ходасевич отметил, что Петровская была невестой В.А.Маклакова (см.: Русская мысль. 1976. 3 июня).

С. 9. *«Скорпион», «Гриф»* — два наиболее известных символистских изд-ва. Владельцем «Скорпиона» был С.А.Поляков, владельцем «Грифа» — московский адвокат и поэт С.А.Соколов, муж Петровской. Подробнее о них Ходасевич писал в очерках «О меценатах» и «Памяти Сергея Кречетова» (см. в наст. томе).

...«Очень мила, довольно умная». — Из письма Блока к матери от 14—15 января 1904 г. (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1963. Т. 8. С. 81). Ходасевич намеренно опустил продолжение

фразы: «умнее мужа», т.к. ко времени газетной публикации очерка С.А.Соколов был жив.

С. 10. *...«Берем мы миги, их губя».* — Из ст-ния Брюсова «Habet illa in alvo» (1902).

«Истекаю клюквенным соком!» — Реплика Паяца из пьесы А.Блока «Балаганчик» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1961. Т. 4. С. 19).

С. 11. *...«любовь к любви».* — Очевидно, имеется в виду ст-ние К.Д.Бальмонта «Хвалите» (сб. «Белый зодчий»): «Хвалите, хвалите, хвалите, хвалите, // Безумно любите, хвалите Любовь...» Впрочем, подобных призывов в символистской поэзии немало.

С. 12. *Первым влюбился в нее поэт...* — К.Д.Бальмонт. См. запись в дневнике Брюсова, датированную 26—31 октября 1903 г.: «Нина Петровская предалась мистике. Бальмонт жаловался, что она лишила его своих “милостей”» (*РГБ.* Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16. Л. 36 об.).

В 1904 году... — Сближение Белого с Петровской началось с ноября 1903 г., в декабре он пишет ст-ние «Преданье», навеянное этими отношениями, в январе 1904 г. «произошло то, что назревало уже в ряде месяцев — мое падение с Ниной Ивановной» (более подробно см.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Ново-Басманная, 19. М., 1990; статья служит превосходным комментарием к воспоминаниям Ходасевича).

С. 13. *...сиять перед другой...* — Имеется в виду Любовь Дмитриевна Блок. Имя ее матери — Анна, т.е. имя матери Богородицы.

...Жены, облеченной в Солнце. — Этот образ из Апокалипсиса (Откр, 12, 1) широко использовался в мифологии русского символизма.

...шепелявые, колченогие мистики... — Имеется в виду московское окружение Андрея Белого начала века, в том числе кружок «аргонавтов» и, видимо, специально С.М.Соловьев, названный «мистиком» в поэме Белого «Первое свидание» (1921). Литературный источник образа Ходасевича — пьеса Блока «Балаганчик» (1906), где мистики являются действующими лицами.

«...Зверь, выходящий из бездны». — См.: Откр, 17.

С. 14. *Весной 1905 года...* — Ходасевич здесь неточен. Брюсов рассказал эту историю в письме к З.Н.Гиппиус, написанном между 16 и 21 апреля 1907 г.: «На лекции Бориса Николаевича подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и *спустила курок.* Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф (С.А.Соколов. — *Коммент.*), Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. <...> Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно, — совсем как в лермонтовском “Фаталисте”» (*ЛН.* Т. 85. С. 694). Инцидент, происшедший 14 апреля 1907 г., описан также Андреем Белым в книге «Между двух революций» (М., 1990. С. 239).

С. 15. *...с «прохожими»...* — См. в письмах Петровской к Ходасевичу: «"Прохожих" больше не принимаю» (Из переписки Н.И.Петровской / Публ. Р.Л.Щербакова и Е.А.Муравьевой // *М-14*. М.—СПб., 1993. С. 373; письмо от 29 апреля 1907 г.); «Сейчас придет один Прохожий, о котором я Вам однажды расскажу. *Не теперь,* потому что еще *это не прошлое*» (Там же. С. 378; письмо от 11 мая 1907 г.).

Нина переходила от полосы к полосе... — Воспоминания Ходасевича хорошо подтверждаются письмами Петровской к Брюсову (*РГБ*. Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 18—22; *РГАЛИ*. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 95).

С. 16. *San Pietro* — собор св. Петра в Риме.

...после пятилетнего нищенского существования в Берлине. — О Петровской в Берлине см. воспоминания Р.Гуля (*НЖ*. 1979. № 137; то же в его книге «Я унес Россию» (Т. 1: Россия в Берлине. Нью-Йорк, 1984), а также письма самой Петровской (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э.Гарэтто // *М-8*; Garetto Elda. Intrecci berlinesi: dalla corrispondenza di Nina Petrovskaja con V.F.Chodasevič e M.Gor'kij // Europa orientalis. 1995. Vol. XIV, № 2).

С. 17. *В дневнике Блока...* — Блок узнал об этом из письма Белого (см.: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1963. Т. 7. С. 82).

С. 18. *В 1909 году...* — Описка Ходасевича: Петровская уехала из России в 1911 г.

Брюсов (с. 19). — *СЗ*. 1925. Кн. XXIII. С. 212—236.

По мнению Ходасевича, публикация этих воспоминаний была одной из причин отказа ему в пролонгации советского заграничного паспорта и, как следствие, перехода на положение эмигранта (см.: *Письма Карповичу*. С. 142—143).

С. 19. *...с его младшим братом.* — Александр Яковлевич Брюсов (печатался под псевд. Alexander; 1885—1966), впоследствии поэт и историк.

«Новости Дня» — московская бульварная газета (1883—1906). В 1890-е годы неоднократно писала о символистах, представляя их в крайне непривлекательном виде. См., напр.: X.Y. Позеры // 1895. 30 августа; Comte Ours [Л.М.Медведев]. Смесь // 1900. 13 апреля; [б. п.]. Наброски // 1900. 23 апреля; Безобразов П. Наши декадентики // 1900. 2 ноября; и др.

«Tertia Vigilia» — третья книга стихов Брюсова (М., 1900).

...тропические фантазии — на берегах Яузы... — Отсылка к ст-нию Брюсова «Ночью» (1895): «Дремлет Москва, точно самка спящего страуса <...> Тянется шея — беззвучная, черная Яуза».

«Chefs d'œuvre» — первая книга стихов Брюсова (М., 1895; 2-е изд. — М., 1896).

«Родину я ненавижу...» — Из ст-ния Брюсова «Я действительности нашей не вижу...» (1896).

Дед Брюсова — более подробно см.: Брюсов Валерий. Автобиография // Русская литература XX века. М., 1914. Т. 1. С. 104—105;

Брюсов В. Из моей жизни: Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.

С. 20. *...устраивались спиритические сеансы.* — Брюсов увлекался спиритизмом по крайней мере с начала 1890-х годов и регулярно участвовал в сеансах. Наиболее подробно о его отношении к спиритизму см.: Брюсов В. Ко всем, кто ищет // Миропольский А.Л. Лествица. М., [1902]; перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990; Богомолов Н.А. К семантике слова «декадент» у молодого Брюсова // Пятые Тыняновские чтения: Тезисы материалов и материалы для обсуждения. Рига, 1990; Grossman Joan D. Alternate Beliefs: Spiritualism and Pantheism among the Early Modernists // Christianity and the Eastern Slavs. Berkeley e. a., 1995. Vol. III (California Slavic Studies, XVIII). В спиритическом *журнале «Ребус»* Брюсов печатался в 1900—1902 гг., но спиритизмом продолжал интересоваться и позднее, регулярно рецензируя книги о нем в журн. «Весы».

...в повести «Обручение Даши». — *РМ.* 1913. № 12. Отд. изд. — М., 1915.

Argumenta baculina — от *лат.* baculum — посох, палка.

С. 21. *«Тень несозданных созданий...»* — Ст-ние Брюсова, впервые опубликованное в 3-м вып. сб. «Русские символисты» (М., 1895). Его разбор см. в статье Ходасевича «"Juvenilia" Брюсова» (т. 1 наст. изд.).

Иоанна Матвеевна Брюсова (урожд. Рунт; 1876—1966) — жена Брюсова.

С. 22. *Шестеркин* Михаил Иванович (1866—1908) — художник, организатор различных художественных объединений. Его жена А.А.Шестеркина фигурирует в списке Брюсова «Мои прекрасные дамы» в 1899—1903 гг. Письма Брюсова к ней частично опубликованы: *ЛН.* Т. 85. С. 622—656.

Фидус — псевдоним немецкого художника Гуго Хеппенера (1868—1948). По его рисунку выполнена обложка к первому изд. сб. стихов Бальмонта «Будем как Солнце». Рисунки Фидуса, принадлежавшие Брюсову, воспроизведены: *ЛН.* М., 1991. Т. 98, кн. 1. С. 56, 58, 60).

Брунеллески Умберто (1879—1949) — итальянский художник, живший в Париже. Его рисунки печатались в журн. «Весы».

Феофилактов Николай Петрович (1878—1941) — художник, участвовавший во многих изданиях «Скорпиона».

Чима да Конельяно (ок. 1459—1517) — венецианский художник-пейзажист.

...новоиспеченным студентом... — Ходасевич учился на юридическом (позже — на историко-филологическом) факультете Московского университета. Подробнее см.: Колкер Юрий. Университетские годы В.Ф.Ходасевича // Русская мысль. 1986. 6 июня.

Соловьев Сергей Михайлович (1885—1943) — поэт-символист, критик, близкий друг Андрея Белого.

С. 23. *Брюсов строго осудил последнюю строчку.* — Ст-ние

Блока «Жду я смерти близ денницы...» (январь 1904) завершается строками: «Царски-каменной улыбки // Не нарушу на земли». Следует отметить, что в рукописи это ст-ние было снабжено эпиграфом из Брюсова: «Приходи путем знакомым...»

С. 24. *Марина Цветаева* рассказала о своих литературных взаимоотношениях с Брюсовым в очерке «Герой труда» (Воля России. 1926. № 9/10—11; Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 4). Отношение Брюсова к поэзии Цветаевой можно толковать различно. См.: Саакянц А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества (1910—1922). М., 1986; Богомолов Н.А. Важная ступень // *ВЛ*. 1987. № 9.

«Искусство», «Перевал» — журналы символистского лагеря (1906—1907), заметную роль в которых играл основатель изд-ва «Гриф» С.А.Соколов. Следует отметить, что в «Искусстве» Брюсов печатался сам.

С. 25. *«Бальдеру Локи»* — ст-ние Брюсова (ноябрь 1904), вписанное в ряд его произведений, связанных с мифологизированными отношениями между ним, Андреем Белым и Н.И.Петровской. Подробнее см. в примеч. к этому ст-нию (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 624—625) и в статье С.С.Гречишкина и А.В.Лаврова «Биографические источники романа Брюсова "Огненный Ангел"».

Тиняков Александр Иванович (один из многих псевд. — *Одинокий*; 1886—1934) — поэт, публицист, литературный критик. Подробнее о нем см. в воспоминаниях Ходасевича «Неудачники» (*В*. 1935. 10, 12 января; перепеч.: Ходасевич Вл. Колеблемый треножник. М., 1991), а также в письмах к Б.А.Садовскому (в наст. томе). Долгие годы Брюсов был для Тинякова «учителем жизни» (см. его воспоминания «Валерий Яковлевич Брюсов»: Последние новости [Пг.]. 1923. 17 декабря).

С. 26. *Гумилев мне рассказывал...* — Аналогичный эпизод описан в очерке Г.Иванова о Тинякове (см.: Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 392—393), однако не исключено, что автор, слегка фантазируя, пересказал именно эпизод из воспоминаний Ходасевича, опубликованных ранее.

Коневской (Ореус) Иван Иванович (1877—1901) — поэт, очень высоко ценившийся Брюсовым. См. в воспоминаниях Н.И.Петровской: «Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта, и как на человека» (*М-8*. С. 43). О Коневском Брюсов написал статью «Мудрое дитя» (Мир искусства. 1901. № 8/9). См. также публикацию их переписки (*ЛН*. Т. 98, кн. 1 / Публ. А.В.Лаврова, В.Я.Мордерер и А.Е.Парниса).

Неплохо он относился к З.Н.Гиппиус. — Об отношениях З.Н.Гиппиус с Брюсовым см. публикации ее переписки с Брюсовым (*ЛН*. Т. 85 / Публ. А.Н.Дубовикова; Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6; 1996. № 7 / Публ. М.В.Толмачева. Коммент. Т.В.Воронцовой) и ее воспоминания «Одержимый» (Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991).

Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту... В отношениях Брюсова и Бальмонта были периоды глубокого взаимного восхищения и столь же глубоких расхождений, доходивших до взаимных оскорблений. См.: Переписка [Брюсова] с К.Д.Бальмонтом / Публ. А.А.Нинова, Р.Л.Щербакова // *ЛН*. Т. 98, кн. 1.

Александр Михайлович *Добролюбов* (1876—1944?) — поэт, впоследствии ушедший «в народ» и основавший секту «добролюбовцев». Брюсов высоко ценил поэзию и личность Добролюбова. См.: Иванова Е.В. В.Брюсов и А.Добролюбов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981. № 3.

Надежда Яковлевна Брюсова (1881—1951) — музыковед, профессор Московской консерватории. Увлекалась теориями Добролюбова, состояла с ним в переписке.

С. 27. *«Мы, как священнослужители...»* — Из ст-ния Брюсова «В Дамаск» (1903).

«Я, дрожа, сжимаю труп!» — Из ст-ния Брюсова «Бальдеру Локи».

«Где же мы? На страстном ложе...» — Из ст-ния Брюсова «В застенке» (1904).

...«не люби, не сочувствуй...» — Неточно цитируется ст-ние Брюсова «Юному поэту» (1896).

Митра — бог солнца в древнеиранской мифологии.

С. 30. *«Они Ее видят! Они Ее слышат!»* — Из ст-ния Брюсова «Младшим» (1903).

...работал годами над книгой... — Имеется в виду книга Брюсова «Сны человечества», над которой он работал в 1911—1917 гг., включая туда и стихи, написанные ранее.

С. 30—31. *...цикл стихотворений о разных способах самоубийства...* — В книге «Все напевы» такого цикла нет. В нем есть лишь ст-ние «Самоубийца». Не исключено, что Ходасевич имеет в виду ст-ние «Демон самоубийства» или поэму «Подземное жилище», вошедшие в сб. «Зеркало теней».

С. 31. *«Опыты»* — кн. стихов Брюсова, изданная в 1918 г. Ее полное название — «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам».

Пэон первый — ритмический вариант хорея, в котором ударения падают на первый, пятый, девятый и т.д. слоги. Некоторыми стиховедами (в т.ч. и во времена Ходасевича) считается отдельным размером.

...у меня есть такое стихотворение... — «Мышь» (Руль. 1908. 26 апреля; перепеч. в т. 1 наст. изд.).

Шервинский Сергей Васильевич (1892—1991) — поэт и переводчик, знакомый Брюсова. См.: Шервинский С.В. Ранние встречи с Валерием Брюсовым // Брюсовские чтения 1963 года. Ереван, 1964 (то же — в его кн.: От знакомства к родству. Ереван, 1986).

«Быть может, всё в жизни лишь средство...» — Из ст-ния Брюсова «Поэту» (1907).

...одна стареющая дама... — А.А.Шестеркина.

Родители ее жили в Серпухове... — Ошибка памяти Ходасевича: родители Львовой жили в Подольске.

Стихи ее были очень зелены... — Они собраны в кн. «Старая сказка» (первое изд. с предисл. Брюсова — М., 1913; второе, посмертное — М., 1914). Ходасевич не раз писал о стихах Львовой (см.: *СС*. Т. 2. По указателю).

С. 32. *...«Стихи Нелли. Со вступительным сонетом Валерия Брюсова»*. — См. коммент. к статье Ходасевича «Стихи Нелли» (1913) в т. 1 наст. изд.

С. 33. *...бежал в Петербург...* — О своих переживаниях в первые дни после самоубийства Львовой Брюсов поведал в письмах к А.А.Шестеркиной. О визите его к Мережковским в Петербурге рассказала З.Н.Гиппиус (Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. С. 270—271 и коммент.). После пребывания в Петербурге он отправился в санаторий доктора Максимовича в Майоренгофе (Майори) под Ригой. Подробнее об отношениях Брюсова и Львовой см.: Лавров А.В. Вокруг гибели Надежды Львовой // De visu. 1993. № 2(3).

«Мертвый, в гробе мирно спи...» — Неточная цитата (первая строка должна читаться: «Спящий в гробе, мирно спи...») из баллады В.А.Жуковского «Торжество победителей» (1823).

С. 34. *Осенью 1914 года...* — Очевидно, ошибка памяти Ходасевича. Сколько можно судить по газетной хронике, 24 июля 1914 г. был устроен обед в честь Брюсова, уезжавшего военным корреспондентом; в августе 1914 г. состоялся прием Брюсова польскими писателями, но не как юбиляра, а как прибывшего из Москвы видного писателя. Чествование Брюсова в связи с 20-летием его литературной деятельности состоялось в Москве в январе 1915 г.

Он был антисемит. — По сообщению Л.С.Киссиной, это место мемуаров не соответствует действительности: С.В.Киссин (о котором подробнее см. в очерке «Муни») и Л.Я.Брюсова венчались по лютеранскому обряду, согласно которому присутствие посторонних не допускается. Об отсутствии у Брюсова явно выраженного антисемитизма свидетельствуют и другие довольно многочисленные факты.

С. 35. *...в Москве, в декабре 1924 года.* — Явная ошибка памяти или, возможно, опечатка. Пятидесятилетие Брюсова отмечалось 17 декабря 1923 г. Афиша вечера воспроизведена: *ЛН*. Т. 85. С. 240.

Эрфуртская программа — программа социал-демократической партии Германии, принятая на съезде в г. Эрфурте в 1891 г.

Карамзин... рассказывает об аристократе... — См.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 226. Комментатор данного издания Ю.М.Лотман полагает, что речь идет о Кондорсе.

С. 36. *«Австралийская песня»* («Из песен австралийских дикарей», 1), первое четверостишие которой цитирует Ходасевич, по плану Брюсова должна была открывать книгу «Сны человечества».

...оно напечатано в «Лютне»... — См.: «Литературный источник "Каменщика" — стихотворение П.Л.Лаврова "Новая тюрьма" (сб. "Лютня". Лейпциг, 1879 и три издания 1893—1897)» (Брюсов В. Собр. соч. Т. 1. С. 613).

Falsus Valerius, duplex lingua! — («Лицемерный Валерий, с лживым языком») — неточно цитируемые (слов «duplex lingua» в оригинале нет) строки из латинского послания А.Я.Брюсова к брату. См.: «...в 1904 году у нас с ним даже произошла своеобразная переписка стихами. Прочитав стихи Валерия "К согражданам" <...> я передал ему следующее послание, написанное на латинском языке <...> Валерий не ответил мне тогда, но вскоре напечатал стихотворение, озаглавленное "Одному из братьев, упрекнувшему меня, что мои стихи лишены общественного значения"» (Брюсов А.Я. Воспоминания о брате // Брюсовские чтения 1962 года. Ереван, 1963. С. 299—300. Ответные стихи Брюсова см.: Собр. соч. Т. 1. С. 438).

В 1913 году он был приглашен... — Неточность: Брюсов заведовал литературно-критическим отделом «Русской мысли» в 1910—1912 гг. С начала 1913 г. его место заняла Л.Я.Гуревич.

С. 37. *Струве Петр* Бернгардович (1870—1944) — экономист, политический деятель, один из лидеров партии кадетов.

Макинциан (Макинцян) Павел Никитич (1888—1938) — армянский общественный деятель, активно помогавший Брюсову в работе над сб. «Поэзия Армении». О *«Красной книге ВЧК»* (она переиздана в 1989 г.) Ходасевич подробно пишет в очерке «Книжная Палата» (см. в наст. томе).

«...все равно...» — Из ст-ния Брюсова «Гребцы триремы» (1904).

С. 38. *Липскеров* Константин Абрамович (1889—1954) — поэт, переводчик с восточных языков, друг Ходасевича.

...заявил себя коммунистом. — Брюсов вступил в РКП(б) в 1920 г.

С. 39. *Каменев* (Розенфельд) Лев Борисович (1883—1936) — советский политический деятель; председателем Московского совета он был в 1918—1919 гг.

Лито — Литературный отдел Народного комиссариата по просвещению. С февраля 1920 г. Брюсов был заместителем заведующего Лито, а с ноября 1920-го — заведующим.

...я принялся хлопотать о переводе моего писательского пайка... — См. об этом эпизоде подробнее в переписке Ходасевича с М.О.Гершензоном (в наст. томе).

С. 40. *...самые первые строки Брюсова...* — Очевидно, имеется в виду заметка «Несколько слов о тотализаторе» (Русский спорт. 1889. 16 сентября). В 1921 г. была опубликована его статья «Об организации школ Гукона» (Вестник коннозаводства и коневодства. 1921. № 1—6).

С. 41. *Г.А.Койранский* (1883—?) — один из трех братьев Койранских, известных в литературе. Печатал стихи под псевд. Г.Тверской. Регулярно лечил от наркомании и нервных болезней Н.И.Петровскую.

Андрей Белый (с. 42). — О творчестве Андрея Белого Ходасевич писал неоднократно. В данном виде воспоминания впервые появились в книге «Некрополь». См. также статьи «Андрей Белый. Черты из жизни» (*В.* 1934. 8, 13 и 15 февраля), «Андрей Белый» и «Начало века» (т. 2 наст. изд.), «От полуправды к неправде» (*В.* 1938. 27 мая). В коммент. учтены примеч. А.В.Лаврова к републикации этого очерка (Русская литература. 1989. № 1).

С. 42. *«С чувством конкретной любви...»* — Следует иметь в виду, что слово «конкретный» для Белого было отмечено как принадлежащее к антропософской лексике.

...девятнадцать лет... — С 1904 по 1923 г.

...он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было... — См. в статье Н.Н.Берберовой «Памяти Ходасевича»: «...ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, "сильнее смерти" любовь, которую он чувствовал к автору "Петербурга". Это было что-то гораздо большее, нежели любовь к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу» (*СЗ.* 1939. Кн. LXIX. С. 259).

...«возвышающему обману»... — Из ст-ния А.С.Пушкина «Герой» (1830): «Тьмы низких истин нам дороже // Нас возвышающий обман».

С. 43. *...сын профессора математики...* — Николай Васильевич Бугаев (1837—1903) был профессором Московского университета.

«Это мой папа»... — Об этом случае (происшедшем, однако, не в концерте, а на обсуждении доклада Д.С.Мережковского «Русская культура и религия» в Московском Психологическом обществе 8 декабря 1901 г.) Белый вспоминал в кн. «Начало века» (М., 1990. С. 198). Об участии Н.В.Бугаева в этом заседании см.: Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927. С. 111—112.

Его мать... — Александра Дмитриевна Бугаева, урожд. Егорова (1858—1922).

На каком-то чествовании Тургенева... — Имеются в виду публичные чествования И.С.Тургенева в Москве в феврале-марте 1879 г.

Екатерина Павловна Леткова — см. коммент. к ст-нию «Гостю» (в т. 1 наст. изд.). См. также: Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1990. С. 102.

...сердце ее еще не чуждо волнений. — См. в черновике письма В.Я.Брюсова к З.Н.Гиппиус, относящегося ко времени похорон Н.В.Бугаева: «Еще были мы у Бугаева. Он по-прежнему как ангел и очень мило хлопочет о делах трех измерений, беседует с гробовщиками, с секретарями и т.п. А мать его рассказывает, как она покупала себе траур. По отзывам одних, это — "красивейшая женщина в Москве", по отзывам других — "вавилонская блудница".

Оба отзыва не далеки один от другого. У такой матери и должен быть сыном ангелоподобный Андрей. Так Алеша — сын Карамазова» (Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 301).

С. 46. *...он окончил математический.* — Белый учился на естественном отделении физико-математического факультета в 1899—1903 гг., а на историко-филологическом — в 1904—1906 гг.

Всего лучше об этом рассказано им самим. — В кн. «На рубеже двух столетий». См. также: Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф. Фольклор. Литература. Л., 1978; Лавров А.В. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980; Лавров А.В. Юношеская художественная проза Андрея Белого // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник 1980. Л., 1981.

...когда совершался между ними разрыв. — Летом 1904 г.

С. 47. *«Золотое Руно»* — московский символистский журнал, выходивший в 1906—1909 гг.

...я прочту подражание вам. — Ст-ние Белого «Преданье» (вошло в кн. «Золото в лазури», М., 1904) было написано не только до разрыва с Петровской, но и до начала превращения их духовных отношений в «чувственные». Ст-ние Брюсова (с датой: 1904, ноябрь — 1905, март — 1906, январь) было впервые опубликовано лишь в 1934 г. (см.: Брюсов В. Собр. соч. М., 1974. Т. 3. С. 290—292).

С. 48. *...Белый познакомился с молодым поэтом...* — Белый познакомился со стихами имеющегося здесь в виду Блока еще в 1901 г., с самого начала 1903 г. они состояли в переписке, однако впервые встретились лишь во время приезда Блока с женою в Москву в январе 1904 г. Имена Блока и его жены в этом фрагменте воспоминаний Ходасевичем не названы, т.к. Л.Д.Блок еще была жива.

В своих воспоминаниях... — Имеются в виду «Воспоминания о Блоке» (Эпопея. 1922—1923. № 1—4) и относящиеся к Блоку части мемуарной трилогии. Отношения Блока и Белого описаны в них совершенно по-разному. Ходасевич представлял себе историю этих отношений из рассказов самого Белого. См.: *Берберова.* С. 452—453.

...уже знакомой некоторым московским мистикам... — Очевидно, прежде всего имеется в виду С.М.Соловьев. Более подробно см. в статьях В.Н.Орлова «История одной “дружбы-вражды”» и «История одной любви» (в его кн. «Пути и судьбы», Л., 1971).

...дала толчок к разрыву с Ниной Петровской. — В качестве комментария к этому месту А.В.Лавров цитирует запись Белого 1923 г.: «...разрыв санкционирован в августе же, когда я заявляю Н.И.Петровской, что я — неумолим; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л.Д.Блок; ее проницательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство».

С. 49. *...история романа представляется мне в таком виде.* — Важные источники для реконструкции этой истории, которых не знал Ходасевич, — «И были и небылицы о Блоке и о себе» Л.Д.Блок (Bremen, 1977; частично — Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1) и письма Л.Д.Блок к Белому (*РГБ.*

Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18; в отрывках опубл.: *ЛН.* М., 1982. Т. 92, кн. 3).

С. 50. *...литературно мстил своему сопернику...* — Очевидно, имеется в виду не только названный А.В.Лавровым Г.И.Чулков (подтверждением чему служит запись Белого: «Первое известие, сражающее меня окончательно: Л.Д. в связи с Г.И.Ч<улковым>; в Петербурге господствует страшная профанация символизма. Нота мести за попранную любовь и за профанацию — углубляется»), но и сам Блок, против которого Белый весьма резко выступает в памфлетном рассказе «Куст» (*ЗР.* 1906. № 7/9; ср. письмо Л.Д.Блок к Белому от 2 октября 1906 г. // *ЛН.* Т. 92, кн. 3. С. 258) и в 1907 г. доводит дело до очень резкого разрыва отношений.

Он провел несколько месяцев за границей... — С сентября 1906 по февраль 1907 г. Белый жил в Мюнхене и Париже. Работа над окончательной редакцией *«Кубка метелей»* (М., 1908) была начата за границей, но окончена уже в России в июне 1907 г.

...из-за личных горестей... — По всей вероятности, имеется в виду осложнение отношений между Ходасевичем и его первой женой, М.Э.Рындиной. В конце 1907 г. они расстались.

Молодой петербургский беллетрист — прозаик Сергей Абрамович Ауслендер (1886 или 1888 — 1943 [1937?]), которому посвящена книга рассказов Петровской; героиня романа Ауслендера «Последний спутник» (М., 1913) имеет Петровскую прототипом. В письмах к Брюсову Петровская так определяла свое отношение к Ауслендеру: «Нигде не была, даже с Владей (В.Ф.Ходасевичем. — *Коммент.*) не пошла обедать, сидела одна, сонная, и кашляла. Так до сумерек. А потом, только не "в золотой час" (в Петербурге ужасная погода), а в серый, пришел Ауслендер. <...> Не подозревай меня в дурном с этим мальчиком. Поверь, быть с Зайцевыми, Стражевыми и московскими мальчишками в тысячу раз хуже. В нем есть настоящая тонкость души. А я иногда люблю быть с людьми, когда они не грубые, как Бунин, и не хамы, как Зайцев» (Письмо из Петербурга от 25 сентября 1907 г.); «Мальчик не умный, душа у него неподвижна, напряжение нервной энергии минимальное. Это другая, не наша порода души. Не знаю, сумею ли из него создать что-нибудь настоящее. Может ли быть творчество из ничего?» (Письмо из Венеции от 20 марта 1908 г. // *РГБ.* Ф. 386. Карт. 98. Ед. хр. 19).

Наконец Белый приехал... — Белый был в Петербурге с 8 октября до середины месяца и с 1 по 18 ноября 1907 г. С Ходасевичем он мог видеться в любой из этих приездов.

С. 51. *«Вена»* — известный петербургский ресторан, место регулярных встреч литературной богемы.

...домино и маска явились в его стихах... — Имеется в виду сквозная тема ряда ст-ний из сб. «Пепел».

С. 52. *...в Петровско-Разумовское...* — Там, в гроте сада Петровской сельскохозяйственной академии 21 ноября 1869 г. членами организации «Народная расправа» был убит студент И.И.Иванов. События этого «нечаевского дела» отразились в романе Ф.М.Достоевского «Бесы». Ходасевич особенно отмечает эту поездку, очевид-

но, в связи с весьма значимой для романа Белого «Петербург» темой провокации. См.: Лавров А.В. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого // Андрей Белый: Проблемы творчества М., 1988 (там же библиография). Для Ходасевича Петровско-Разумовское было связано с детскими годами (см. в наст. изд. очерк «Младенчество» и ст-ние «В заседании»).

...о семье Соловьевых, о пророческих зорях 1900 года... — Имеется в виду семья Михаила Сергеевича (1862—1903) и Ольги Михайловны (1855—1903) Соловьевых, сыном которых был ближайший друг Белого С.М.Соловьев. Встречи с Соловьевыми подробно описаны в мемуарах Белого, а также в поэме «Первое свидание», отсылка к тексту которой содержится в комментируемой фразе («Год — девятьсотый: зори, зори!..»).

Летом 1908 года Ходасевич жил на даче в Гиреeве. Белый относил окончательное оформление идеи разграничения ритма и метра (подробно описанной в его статьях «Лирика и эксперимент» и «Опыт характеристики русского четырехстопного ямба», вошедших в кн.: Символизм. М., 1910) к июлю 1908 г.

С. 53. *...в кружке ритмистов...* — Кружок по изучению ритма, образованный при книгоиздательстве «Мусагет», существовал с апреля 1910 г. Документальных данных об участии Ходасевича в нем не обнаружено. Более подробно см.: Гречишкин С.С., Лавров А.В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1981. Вып. 515; Письма С.П.Боброва к Андрею Белому: 1909—1912 / Публ. К.Ю.Постоутенко // Лица: Биограф. альм. М.—СПб., 1992. Вып. 1; а также в письмах В.Ф.Ахрамовича, С.Н.Дурылина и других корреспондентов Белого (*РГБ*. Ф. 25).

С. 54. *...мадмуазель Штаневич!* — Вера Оскаровна *Станевич* (1890—1967), поэтесса-дилетантка, переводчица и критик, жена поэта Ю.П.Анисимова. Участвовала в работе ритмического кружка, активно переписывалась с Белым. См. о ней: «Обожая всякого рода экстравагантности, она иногда ходила дома в коротких штанишках и вообще отличалась мужскими замашками. Поэтому А.Белый, в которого она была влюблена, называл ее не Станевич (ее фамилия), а Штаневич» (Локс Константин. Повесть об одном десятилетии: (1907—1917) / Публ. Е.В.Пастернак и К.М.Поливанова // *М-15*. М.—СПб., 1994. С. 45).

...«Надоел Пастернак». — Б.Л.Пастернак и Белый были знакомы с 1910 г. Об их биографических контактах см.: Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым / Публ. Е.В.Пастернак и Е.Б.Пастернака // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. Об отношениях Пастернака и Ходасевича см. статьи Дж. Малмстада, Е.В.Пастернак и Н.А.Богомолова (*ЛО*. 1990. № 2).

Мариэтта Шагинян описала свои отношения с Белым и опубликовала письма Белого к себе в мемуарах «Человек и время. История человеческого становления» (М., 1982). О ее взаимоотношениях с Ходасевичем см. ниже, в очерках «Диск» и «Мариэтта Шагинян».

...я поселился в деревне... — В уже упоминавшемся имении Старое Гиреево.

Потом Белый женился... — Белый жил вместе с Анной Алексеевной Тургеневой начиная с ноября 1910 г.; 26 ноября они уехали в заграничное путешествие (Италия, Африка, Палестина), в мае 1911 г. вернулись в Россию и вновь уехали за границу, в Брюссель, 16 марта 1912 г. С основателем Антропософского общества *Рудольфом Штейнером* Белый впервые встретился в Кельне 7 мая 1912 г., а в Швейцарии он жил с февраля 1914 г.

Гетеанум — антропософский храм, строившийся в городке Дорнахе, недалеко от Базеля. Белый действительно работал на его строительстве резчиком по дереву.

Убийство Распутина произошло 17 декабря 1916 г.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — литературовед, историк, философ. Более подробно Ходасевич пишет о нем в воспоминаниях «Гершензон» (см. в наст. томе). Некролог Гершензона, написанный Белым, см.: Россия. 1925. № 5 (14).

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — философ, публицист. Присутствие Белого на собрании у Бердяевых подтверждается его записями «Жизнь без Аси» (Русская литература. 1989. № 1. С. 130).

С. 55. *«Московский чудак», «Москва под ударом»* — первая и вторая части романа Белого «Москва». Продолжение его — роман «Маски».

С. 56. *По своей неизменной склонности к чертежам...* — Чертежи, о которых говорит Ходасевич, нам неизвестны. Однако Белый действительно любил графически изображать различные описания. См., напр., сложные чертежи в автобиографическом письме к Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г. (Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. № 1/2).

...провокационная деятельность департамента полиции... — Речь идет о разоблачении двойничества Е.Ф.Азефа (1908) и аналогичной деятельности убийцы П.А.Столыпина Д.Богрова (1911). Подробнее см.: Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 265—277.

С. 58. *...читал лекции в Пролеткульте...* — См.: Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В.Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988 (то же — в кн.: Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995); Богомолов Н.А. Андрей Белый и советские писатели // Там же; ср. коммент. А.В.Лаврова (Русская литература. 1989. № 1. С. 131).

С конца 1920 года я жил в Петербурге. — Ходасевич перебрался в Петроград в ноябре 1920 г., Белый приехал туда 31 марта 1921 г.

Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов; 1878—1946) — критик, публицист, историк литературы и культуры. Близкий друг Белого.

Принес поэму «Первое свидание»... — См. коммент. к ст-нию «Буря» (т. 1 наст. изд.).

...первую свою статью обо мне... — «Рембрандтова правда в

поэзии наших дней» (*ЗМ*. 1922. № 5). Вторая — «Тяжелая Лира и русская лирика» (*СЗ*. 1923. Кн. XV).

Он давно мечтал выехать за границу. — Это желание документировано (см. в коммент. А.В.Лаврова) с начала 1920 г. Разрешение на выезд было получено в сентябре 1921 г., а уехал в Берлин Белый 20 октября 1921 г.

С. 59. *...дорогими ему обитателями Дорнаха*. — Имеется в виду прежде всего А.А.Тургенева. См. в письме Ходасевича к М.О.Гершензону: «Вы, вероятно, знаете безобразную и безвкусную историю его жены с Кусиковым (sic!), — какую-то жестокую и истерическую месть ее — за что?» (см. письмо 56 в наст. томе). Ходасевич знал о многих обстоятельствах отношений между Белым и его женой из попавшего ему в руки письма Белого, много лет спустя опубликованного Н.Н.Берберовой (Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. Кн. 5).

Рапалльский договор, приведший к нормализации отношений между РСФСР и Германией, был заключен 16 апреля 1922 г.

...миссию Белого Дорнах решил игнорировать... — О своих претензиях к Антропософскому обществу Белый рассказал в кн. «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (Белый Андрей. Символизм как миропонимание. М., 1994). См. также: Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // *М-6, М-8, М-9*; Malmstad John E. Andrej Belyj at Home and Abroad: (1917—1923) // Europa orientalis. 1989. Vol. VIII.

С. 60. *Истерика* Белого, связанные с ней обстоятельства и картины послевоенного Берлина описаны в кн. Белого «Одна из обителей царства теней» (Л., 1924), хотя и с многочисленными преувеличениями и искажениями. См. также описание берлинской жизни Белого в письмах Ходасевича к М.О.Гершензону от 14 и 29 ноября 1922 г. (письма 56 и 57 в наст. томе).

С. 61. *...«выкрикивал в форточку»...* — См. ремарку в ст-нии «Маленький балаган на маленькой планете "Земля"» (1922): «Выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва».

Mariechen — о ней подробнее см. в коммент. к ст-нию «An Mariechen» (т. 1 наст. изд.), а также в мемуарах А.В.Бахраха (Континент. 1975. № 3; то же — Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995).

Каплун (Сумский) Соломон Гитманович (1891, по другим данным 1883—1940) — заведующий издательством «Эпоха», видный член партии меньшевиков. Принадлежал к семье, многие члены которой всячески старались облегчить Белому жизнь в России.

Лурье Вера Осиповна (1901 — после 1983) — поэтесса, член петроградской студии «Звучащая раковина», ученица Н.С.Гумилева. О ней см.: предисл. Томаса Р.Бейера к кн.: Лурье Вера. Стихотворения. Berlin, 1987 (там же — ее стихи, обращенные к Белому); Из воспоминаний Веры Иосифовны Лурье // Континент. 1990. № 62; Лурье В.И. Воспоминания о Гумилеве / Публ. Н.М.Иванниковой // De visu. 1992. № 6 (7).

...появилась в Берлине Нина Петровская... — Она приехала в

Берлин из Италии в сентябре 1922 г.; активно печаталась в сменовеховской берлинско-московской газете «Накануне». Подробнее см. в коммент. к очерку «Конец Ренаты».

...свидание Ренаты с Огненным Ангелом. — Главные герои романа Брюсова «Огненный Ангел». О последних встречах с Белым Петровская писала: «А. Белого я разлюбила навсегда. И жалко!.. Сколько людей ушло из души и стали чужими. Отпадают, как сухие ветки. Иные — так просто отживают, иные... хуже... вырывают с болью чувства к себе, а иные так вылиняли, что ничего не осталось» (*М-8.* С. 110—111).

С. 62. *...в двух часах езды от Берлина.* — В курортном городке Саарове.

Берберова Нина Николаевна (1901—1993) — прозаик, поэтесса, мемуаристка. Третья жена Ходасевича. Об эпизоде, рассказанном Ходасевичем, см. в ее мемуарной книге «Курсив мой» (перепеч.: Воспоминания об Андрее Белом. С. 330—331). Так называемая «берлинская редакция» книги «Начало века» опубликована лишь частично (*Б.* 1923. № 2; *СЗ.* 1923. Кн. XVI—XVII; *ВЛ.* 1974. № 6 / Публ. С. Григорьянца).

Васильева Клавдия Николаевна (1886—1970) — вторая жена Белого, автор «Воспоминаний о Белом» (Berkeley, 1981 / Публ. Дж. Малмстада; частично — Воспоминания об Андрее Белом).

С. 63. *...тоже выхлопатывал себе визу.* — М.О.Гершензон вернулся в Россию в августе 1923 г.

С. 64. *...одна дама...* — По сообщению А.В.Бахраха (Континент. 1975. № 3), это была В.А.Зайцева, жена Б.К.Зайцева.

...я не выдержал... — Более подробно этот случай описан Н.Н.Берберовой и А.В.Бахрахом. В восприятии Белого этот эпизод выглядел по-другому; см. его письмо к А.М.Горькому от 8 апреля 1924 г. в тексте статьи А.М.Крюковой «М.Горький и Андрей Белый» (Андрей Белый: Проблемы творчества. С. 302).

Летом 1923 года... — Восстановление отношений Белого с Брюсовым действительно произошло в Коктебеле, но не в 1923 г., а летом 1924 г.

История этой работы своеобразна. — См. коммент. к статье «Начало века» (т. 2 наст. изд.). История создания и публикации мемуарной трилогии (отдельные тома которой Ходасевич рецензировал) изложена А.В.Лавровым в статье «Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого» (Белый Андрей. На рубеже двух столетий. М., 1990). См. также статью Л.С.Флейшмана «Мемуары Белого» (Andrey Bely: Spirit of Symbolism. Ithaca & Lnd., 1987).

С. 65. *...письма Блока...* — Имеется в виду кн. «Письма Александра Блока к родным» (Т. 1 — Л., 1927; второй том вышел лишь в 1932 г.). Не менее важным для Белого было появление «Дневника Ал.Блока» (Л., 1928. Т. 1—2).

...появившийся только в конце 1937 года... — Неточность Ходасевича: кн. «Между двух революций» вышла в 1935 г. (на титульном листе — 1934).

С. 67. *«Золотому блеску верил...»* — Из ст-ния Белого «Друзьям» (1907).

Муни (с. 68). — *ПН*. 1926. 30 сентября.

Судьба С.В.Киссина была связана для Ходасевича не только с многочисленными личными переживаниями, не только послужила поводом для создания целого ряда стихотворений (см. коммент. к т. 1), но и осмыслялась как чрезвычайно значимая в контексте русской культуры первых двух десятилетий XX в. Подробнее см.: Андреева И. «Огромной рифмой связало нас...»: К истории отношений Ходасевича и Муни // De visu. 1993. № 2 (3). Там же — библиография сочинений Муни и некоторые его стихотворения.

С. 68. *...28 марта 1916 года.* — Ошибка памяти Ходасевича или опечатка: Муни застрелился 22 марта.

С. 69. *...тщедушные барышни босиком воскрешали эллинство.* — Имеются в виду многочисленные подражательницы американской танцовщицы Айседоры Дункан, гастролировавшей в России и бывшей чрезвычайно популярной.

...санинцы и огарки. — Разного рода эротические общества. Роман М.П.Арцыбашева «Санин» массовым читателем воспринимался как проповедь «свободной любви» (см.: Новополин Г. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1909. С. 116—126). Дело орловского общества «огарков» нашумело в 1907 г. (см.: Амфитеатров А.В. Против течения. СПб., 1908).

С. 70. *В одном стихотворном письме 1909 года...* — Письмо от июня 1909 г. (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 56), где строки эти находятся в следующем контексте, восходящем к Евангельской притче о сеятеле и к «Свободы сеятель пустынный...» Пушкина:

...Если семена
Его при камени упали, —
К чему тот тяжкий труд, что мы на рамена, —
Никем не прошенные, — взяли?!
О, наших дней пророк, разбей свои скрижали!
Стихам Россию не спасти,
Россия их спасет едва ли,
Да было б гадко!..

...ту самую каплю запредельной стихии... — Имеется в виду ст-ние А.А.Фета «Ласточки» (1884):

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть.

Маленькие ученики плохих магов... — Помимо очевидной отсылки к «Ученику чародея» Гете, здесь, очевидно, есть намек и на личность В.Я.Брюсова, имевшего репутацию «мага», особенно упрочившуюся после появления посвященного ему ст-ния Андрея Белого «Маг» (1904, 1908).

«Лес символов» — отсылка к сонету Ш.Бодлера «Соответствия» (1855?).

«Качели соответствий» — очевидно, контаминированная от-

сылка к тому же сонету Бодлера и к ст-нию Ф.Сологуба «Чертовы качели» (1907).

Мы с Муни сидели в ресторане «Прага»... — См. в рец. О.Э.Мандельштама на «Записки чудака» Андрея Белого (1923): «Русский символизм не умер. Пифон клубится. Андрей Белый продолжает славные традиции литературной эпохи, когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана "Прага", воспринимался как мистическое явление, двойник...» (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 292).

С. 71. *Ахрамович* (Ашмарин) Витольд Францевич (1882—1930) — литератор, был секретарем изд-ва «Мусагет». См. о нем в указанной статье И.Андреевой (С. 38—39).

Антик Владимир Морицевич (1882—1972) — основатель книгоиздательства «Польза», выпускавшего «Универсальную библиотеку», где часто сотрудничал Ходасевич.

С. 72. *Зайцев* Борис Константинович (1881—1972) — писатель. О Муни см. в его воспоминаниях «Зори» (Зайцев Борис. Голубая звезда. М., 1989).

Голоушев Сергей Сергеевич (1855—1920) — художник, театральный и художественный критик, писавший чаще всего под псевд. *Сергей Глаголь.*

С. 73. *Поярков Николай* Ефимович (1877—1918) — поэт, прозаик и критик. Был тяжело болен и обречен на неподвижность.

«Едкие осуждения» мы... предпочитали «упоительным похвалам». — Отсылка к строкам Е.А.Баратынского:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал...

С. 74. *...кафэ на Тверском бульваре...* — Очевидно, так называемое Café Grec, излюбленное место встреч московских литераторов.

«Куда бы ты ни поспешал...» — Из ст-ния Пушкина «Красавица» (1832).

Жизнь была для него «легким бременем»: так он хотел назвать книгу стихов... — Ходасевич принимал самое непосредственное участие в подготовке этой книги к печати, в 1918 г. по его инициативе несколько ст-ний из нее было напечатано в газ. «Понедельник власти народа», однако в дальнейшем рукопись книги пропала в изд-ве «Эрато».

С. 75. *...«другим концом»...* — Из поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

«Другие дым, я тень от дыма...» — Из ст-ния К.Д.Бальмонта «Тень от дыма» (1904).

С. 76. — *Моя мечта — это воплотиться... в какую-нибудь*

толстую семипудовую купчиху. — «Мечта» об этом превращении заимствована из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» (реплика Черта Ивану Карамазову).

В одном из его рассказов... — «Летом 190* года» (Архив Л.С.Киссиной).

...Беклемишев писал стихи и рассказы... — См.: «Не скажу тебе, зачем я в час, когда приходишь ты...» // Русская мысль. 1908. № 9; «Голодные стада моих полей...» // Русская мысль. 1908. № 12. Следует отметить, что в № 8 и 10 за 1908 г. были напечатаны стихи за подписью «Муни». Именем Беклемишева также планировалось подписать рассказ «Летом 190* года» (не опубликован) и ст-ние в «Антологии» (М., 1911).

С. 77. *...я написал и напечатал в одной газете стихи...* — См. в т. 1 наст. изд. коммент. к ст-нию «Поэту».

...называлась «Обуреваемый негр». — На самом деле пьеса называется «Месть негра» (Театральная жизнь. 1989. № 6 / Публ. Д.Б.Волчека).

С. 78. *...его письма «оттуда» были полны отчаяния.* — См.: *Письма Муни.*

...набросок песенки... «Самострельная». — Автограф хранится в архиве Л.С.Киссиной.

Гумилев и Блок (с. 80). — Ходасевич неоднократно писал воспоминания об этих двух поэтах. В основу данного текста положена статья «О Блоке и Гумилеве» (*Д.* 1926. 1, 8 августа). См. также: Гумилев и «Цех поэтов» // Сегодня (Рига). 1926. 29 августа; Ни сны ни явь: Памяти Блока (т. 2 наст. изд.); Из воспоминаний о Гумилеве: К десятилетию со дня смерти // *В.* 1931. 27 августа; Мелочи: Неизданная статья Блока // *В.* 1933. 7 сентября; и др.

С. 80. *...в один год начали печататься...* — Неточность. В 1905 г., когда начал печататься Ходасевич, Гумилев выпустил первый сб. стихов, а первое его ст-ние было напечатано еще в 1902 г.

Мы познакомились осенью 1918 года... — См. в письме Ходасевича к жене от 12 октября 1918 г.: «Завтра пойду к Гумилеву. Он противный. Познакомился с Шаляпиным. Вроде Гумилева» (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 4 об.).

...на заседании коллегии «Всемирной Литературы». — Гумилев был членом коллегии, а Ходасевич предлагал в изд-во ряд своих переводов.

С. 81. *...эта мебель отчасти принадлежала мне.* — Речь идет о мебели из имения Лидино, где Ходасевич жил в 1905—1907 гг. *М.* — поэт и искусствовед Сергей Константинович Маковский (1877—1962), второй муж М.Э.Рындиной.

С. 82. *...тощенький, бледный мальчик...* — Лев Николаевич Гумилев (1912—1992), впоследствии — известный историк и этнолог.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — известный адвокат, литератор, чрезвычайно популярный и авторитетный в петроградском литературном мире начала 20-х годов.

С. 83. *...Гумилев под руку с дамой...* — Ходасевич, очевидно, имеет в виду поэтессу И.В.Одоевцеву.

Конечно, он не был и на балу. — Однако следует отметить, что 11 января 1921 г. Блок был на маскараде в школе ритма Ауэр, о чем Ходасевич знал (см. его письмо к Г.И.Чулкову от 20 января 1921 г. в наст. томе).

Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. — Материалы вечера были опубликованы в кн. «Пушкин. Достоевский» (Пг., 1921). Описание его см. также в дневнике Е.П.Казанович (*ЛО*. 1980. № 10 / Публ. А.Конечного и В.Сажина) и в письме А.А.Кублицкой-Пиоттух к М.А.Бекетовой (Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1970. С. 328). См. также: Hughes R. Pushkin in Petrograd, February 1921 // Cultural Mythologies of Russian Modernism. Berkeley e. a., 1992.

Волковыский Николай Моисеевич (1881 — после 1939), *Харитон* Борис Осипович (Иосифович, 1877—1941), *Ирецкий* (Гликман) Виктор Яковлевич (1882—1936) — литераторы. *Котляревский* Нестор Александрович (1863—1925) — литературовед, академик. *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед, пушкинист. О двух последних как пушкинистах Ходасевич писал М.О.Гершензону 24 июля 1921 г.: «С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю — но мертвечинкой пахнет. <...> Котляревский — ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. <...> Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части)...» (см. наст. том). Письмо Ходасевича к Н.М.Волковыскому см.: Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 167 / Публ. С.В.Поляковой.

Кристи Михаил Петрович (1875—1956) — советский общественный деятель, в 1921 г. — заведующий Академическим центром в Петрограде. К данному месту воспоминаний см.: «Вл.Ф.Ходасевич в статье "О Блоке и Гумилеве", описывая это заседание, неправильно назвал меня, а также Н.М.Волконского (имеется в виду Н.М.Волковыский. — *Коммент.*) и В.Я.Ирецкого среди сидевших за столом президиума. Мне, по поручению организационного комитета, выпала честь оглашения декларации 16 литературных организаций о *ежегодном всероссийском* чествовании памяти Пушкина. Мы трое состояли членами комитета по организации торжеств, а места за столом занимал почетный президиум, в который вошли только такие большие писатели, как Блок, Ахматова, Сологуб, Кузмин, Ходасевич, Котляревский, Кони, Амфитеатров, Щеголев и... пролетарский поэт Садофьев как необходимая уступка времени, а также, по той же причине, заведующий академическим центром М.П.Кристи, которого Вл.Ходасевич справедливо награждает лестными эпитетами. Это был единственный в то время видный советский чиновник, с которым можно было разговаривать без риска, часто с пользой и иногда не без приятности» (Харитон Б. Жертва: Памяти Александра Блока // Сегодня. 1926. 7 августа).

С. 84. *Свое вдохновенное слово о Пушкине...* — Речь «О назначении поэта».

Во время блоковской речи появился Гумилев. — Полемику с

воспоминаниями Ходасевича см.: Одоевцева Ирина. На берегах Невы. М., 1988. С. 205. Ср. также: Харитон Б. Гумилев — каким мы его знали // Сегодня. 1926. 27 августа.

С. 85. *...я застал обоюдную вражду.* — Об отношениях Гумилева и Блока см. справку Р.Д.Тименчика (*ЛН.* Т. 92, кн. 3. С. 56—57). Ср. в письме Г.П.Блока к Б.А.Садовскому, где приведены слова Гумилева о Блоке: «Если бы прилетели к нам марсиане и нужно было бы показать им человека, я бы только его им и показал — вот, мол, что такое человек» (Там же. С. 529).

...«сокрытый двигатель»... — Из ст-ния Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

С. 86. *Манифесты акмеистов* — т.е. статьи Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» и С.М.Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» (обе — Аполлон. 1913. № 1); были направлены также против теорий Вяч.Иванова.

На ученика — Гумилева — обрушивалась... вражда к учителю — Брюсову... — В молодости Гумилев действительно считал себя учеником Брюсова (см. в его письмах к Брюсову: *ЛН.* Т. 98, кн. 2 / Публ. Р.Л.Щербакова и Р.Д.Тименчика). Об отношениях Блока и Брюсова см. специальную статью Ходасевича «Брюсов и Блок» (*В.* 1928. 11 октября), а также вступительную статью З.Г.Минц к публикации их переписки (*ЛН.* Т. 92, кн. 1).

«Цех Поэтов» возник осенью 1911 г. Первое его собрание описано в дневнике Блока (Собр. соч. Т. 7. С. 75—76). Ходасевич, живший в то время в Москве, знал о деятельности «Цеха» понаслышке, потому в описании его истории допускает ошибки. Так, Г.И.Чулков и Ю.Н.Верховский членами «Цеха» никогда не были; поэт Владимир Иванович Нарбут (1888—1938) спутан с его братом, известным художником Егором (Георгием); сказать, что «Цехом» акмеисты «завладели», нельзя, т.к. акмеизм зарождался внутри самого «Цеха»; Блок не «постепенно отпал», а был на одном только первом собрании. Подробнее см.: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме. I // Russian Literature. 1974. № 7/8.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939), *Верховский Юрий* Никандрович (1878—1956), *Клюев Николай* Алексеевич (1884—1937) — поэты. Об отношении последнего к «Цеху» см.: Азадовский К. Н.А.Клюев и «Цех поэтов» // *ВЛ.* 1987. № 4.

...«Цех» заглох. — 1-й «Цех поэтов» прекратил деятельность весной 1914 г., однако в 1916—1917 гг. существовал еще один, 2-й «Цех», возглавлявшийся Г.В.Адамовичем и Г.В.Ивановым.

С. 87. *Нельдихен* Сергей Евгеньевич (1891—1942) — поэт. Ходасевич близко к тексту цитирует отрывок из его поэморомана «Праздник» (Нельдихен С. Органное многоголосье. Пб., 1922). Подробнее об этом эпизоде см.: Богомолов Н.А. Мандельштам и Ходасевич: неявные оценки и их следствия // Осип Мандельштам: Поэтика и текстология / К 100-летию со дня рождения: Материалы научной конференции 27—29 декабря 1991 г. М., 1991.

С. 88. *Всероссийский Союз Поэтов* возник в 1918 г. Луначарский его председателем не был (подробнее см. в речи Брюсова

«Пятилетие Союза поэтов» (*ЛН*. Т. 85 / Публ. К.Н.Суворовой). О петроградском отделении Союза см.: Блок и Союз поэтов // *ЛН*. Т. 92, кн. 4.

Однажды ночью... — Точная дата «переворота» неизвестна. Ср. запись в дневнике Блока: «В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева» (Собр. соч. Т. 7. С. 420). Однако еще в 1920 г. Блок отказывался от председательствования (см.: Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 504).

С. 89. *«Литературная Газета».* — О судьбе этого издания см.: Сажин В.Н. Неудавшийся прорыв немоты: О невышедшем номере «Литературной газеты» 1921 года // Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. Публикация большинства текстов — Устинов А., Сажин В. Ожог: К истории невышедшей «Литературной газеты» 1921 года // *ЛО*. 1991. № 2.

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — литературный деятель, близкий друг и сотрудник Горького, один из руководителей изд-ва «Всемирная литература».

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883—1936) — председатель совета Северной Коммуны, фактический диктатор Петрограда и губернии.

...1 марта был назначен вечер его стихов в Малом театре. — Описанный Ходасевичем вечер Блока состоялся 25 апреля 1921 г. в Большом драматическом (бывшем Малом, или Суворинском) театре. См. коммент. к статье «Ни сны, ни явь» (т. 2 наст. изд.).

С. 90. *Мать Блока* — Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова, в первом браке Блок; 1860—1923). См. статью Ходасевича «Блок и его мать» (*В*. 1935. 7, 9 февраля; перепеч.: Ходасевич Вл. Колеблемый треножник. М., 1991).

...как бы Чуковский не наговорил пошлостей... — Речь К.И.Чуковского на этом вечере он сам расценивал как неудачную: «А вечером ужас — неуспех. Блок был ласков ко мне, как [к] больному. Актеры все окружили меня и стали говорить: “наша публика не понимает” и пр. Блок говорил: “Маме понравилось”, но я знал, что я провалился» (Чуковский К.И. Дневник 1901—1929. М., 1991. С. 162). Ср. также впечатления от выступления Чуковского в квазимемуарном очерке Г.Иванова (Иванов Георгий. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 423).

То и дело ему кричали: «Двенадцать»! «Двенадцать»!.. — Известно, что Блок сам никогда не читал эту поэму, это делала его жена, Л.Д.Блок.

С. 91. *Через несколько дней... он уехал в Москву.* — См. коммент. к статье «Ни сны, ни явь».

...слег и больше уже не встал. — См.: Щерба М.М., Батурина Л.А. История болезни Блока // *ЛН*. Т. 92, кн. 4. Ср. также выписку из «Краткой заметки о ходе болезни поэта А.А.Блока» доктора А.Г.Пекелиса (Там же. Кн. 3. С. 525).

На Пасхе вернулся... один наш общий друг... — Возможно, речь

идет об Андрее Белом, приехавшем в Петроград 31 марта 1921 г. (Пасха в тот год была 1 мая).

С. 92. *...нового своего знакомца.* — По всей вероятности, речь идет о молодом поэте, авторе кн. стихов «Снежный путь» (М., 1921) В.А.Павлове. Однако И.В.Одоевцева и Н.Я.Мандельштам писали, что достоверных доказательств его провокаторской деятельности не существует.

...«Дом Поэтов»... — См.: «Всероссийский Союз Поэтов (Петербургское отделение) получил разрешение на открытие "Клуба Поэтов". Клуб будет помещаться в помещении Союза Поэтов (угол Литейного и Спасской, дом Мурузи)» (Жизнь искусства. 1921. 25, 26, 28 июня. № 761, 762, 763); «В понедельник, 4 июля в 9 ч. веч. состоится первый вечер Клуба поэтов (*б*. Литейный пр., 24)» (Там же. 2, 3, 5 июля. № 767, 768, 769).

Икскуль фон Гилленбанд *Варвара Ивановна* (1846—1928; встречаются другие указания на дату рождения) — хозяйка великосветского салона. Ходасевич написал ее некролог (*В*. 1928. 28 февраля).

С. 93. *...я был последним, кто видел его на воле.* — Рассказ Ходасевича находится в противоречии с очерком Г.Иванова (Собр. соч. Т. 3. С. 168) и мемуарами И.Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967. С. 440—441; данный фрагмент не вошел в книгу, изданную в Москве).

Павлович Надежда Александровна (1895—1980) — поэтесса, близкая к Блоку в последние годы его жизни. Ее воспоминания о Блоке см.: Блоковский сборник. Тарту, 1964; Прометей. М., 1977. Вып. 11; а также в мемуарной поэме «Воспоминания об Александре Блоке» (в ее кн.: Сквозь долгие года. М., 1979).

...Андрей Белый известил меня о кончине Блока. — В письме от 9 августа 1921 г. (*СЗ*. 1934. Кн. LV. С. 257—258; перепеч. — *ЛН*. Т. 92, кн. 3. С. 533).

...театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев... — Труппа ростовской «Театральной мастерской». См.: Гумилев Н.С. Драматические произведения. Переводы. Статьи. Л., 1990. С. 382—385.

Гершензон (с. 95). — *СЗ*. 1925. Кн. XXIV. С. 212—223. Там же — публикация писем Гершензона к Ходасевичу. Полностью их переписка опубликована И.Андреевой (De visu. 1993. № 5). См. в ней полушутливую эпитафию, во многом определяющую суть отношения Ходасевича к другу: «Покойный критик Гершензон не гнался, в конце концов, за справедливостью, иногда сочинял себе то, что "критиковал", но и умел иной раз видеть то, чего не видит никто, — а главное, судил от живого духа» (см. в наст. томе письмо 40).

С. 96. *...оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина.* — Аполлон. 1915. № 3 (текст см. в т. 2 наст. изд.). Письмо Гершензона в наст. время неизвестно.

С. 98. *...специальное высшее учебное заведение...* — В 1887—1889 гг. Гершензон учился в Шарлоттенбургском политехникуме

(одновременно слушая в Берлинском университете лекции по истории и философии).

...зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. — Гершензон учился на историко-филологическом факультете Московского университета в 1889—1894 гг.

С. 100. *...мы жили в одном санатории.* — См. очерк Ходасевича «Здравница» в наст. томе.

С. 101. *Союз писателей* был основан в марте 1917 г.

...если б не Гершензон — плохо мне было бы в 1916—1918 годах... — См., напр., письмо Гершензона Андрею Белому от 21 декабря 1917 г.: «Милый Борис Николаевич. У меня к Вам дело. Владисл<ав> Фелиц<ианович> Х<одасевич> находится в крайне стесненном положении; необходимо ему помочь. Мы с А.Н.Толстым придумали литературный вечер, и одна богатая дама предоставила для этого залу в своем доме около Арбата. Можно собрать тысячу рублей. Помогите — не откажитесь участвовать...» (*РГБ.* Ф. 25. Карт. 14. Ед. хр. 2. Л. 13. Процитировано также в предисл. И.Андреевой к публикации переписки Гершензона и Ходасевича).

С. 102. *...зачем X, что бы ни писал, — поминает про свою ссылку в Сибирь?* — Имеется в виду Г.И.Чулков.

Профессор Р. — Матвей Никанорович Розанов (1858—1936).

С. 103. *Бобров* Сергей Павлович (1889—1971) — поэт, прозаик, переводчик, стиховед. Книга «Новое о стихосложении Пушкина» была издана в 1915 г. Статья Боброва в черносотенной газете не обнаружена.

С. 104. *«Мудрость Пушкина»* — книга Гершензона (М., 1919). О ее судьбе см. в очерке «Книжная Палата» (наст. том).

...«что и не снилось нашим мудрецам». — Из шекспировского «Гамлета».

Сологуб (с. 106). — *СЗ.* 1928. Кн. XXXIV. С. 347—362.

Статья представляет собою не столько мемуары, сколько критический разбор творчества Сологуба, в который включено лишь несколько фрагментов собственных воспоминаний (см. также в наст. томе очерк «Из петербургских воспоминаний <Сологуб>»), что было с неодобрением отмечено В.С.Яновским: «К сожалению, статьи о Сологубе и Есенине, — где Ходасевич занимается отвлеченным разбором их творчества, — несколько нарушают стройность книги» (Русские записки. 1939. Кн. XVIII. С. 199). Названным характером текста объясняется его особенность — цитирование множества ст-ний Сологуба, взятых из разных сборников. Большинство цитат восходит к кн.: «Собрание стихов. Книги 3 и 4» (М., 1904), «Пламенный круг» (М., 1908), «Собрание сочинений. Том 13. Жемчужные светила» (СПб., 1913), «Фимиамы» (Пб., 1921), «Небо голубое» (Ревель, 1921). Иногда цитаты приводятся с неточностями.

С. 108. *...книга, составленная из одних триолетов* — Сологуб Федор. Собр. соч. СПб., 1914. Т. 17: Очарования земли. Следует, однако, отметить, что, помимо большого раздела «Триолеты», дей-

ствительно составляющего целую книгу, в этом сборнике был также раздел «Разные стихотворения 1913 года».

С. 114. *Лилит, Ева, Альдонса, Дульцинея* — персонажи индивидуальной сологубовской мифологии, перешедшие туда из европейских мифов (Ева и Лилит) и романа Сервантеса «Дон Кихот» (Альдонса и Дульцинея).

С. 115. *Чеботаревская Анастасия Николаевна* (1875—1921) — писательница, жена Сологуба с 1908 г.

...Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью... — Очевидно, имеется в виду статья «Далай-лама из Сапожка» (Весы. 1908. № 3).

В 1924 году... — Речь идет о чествовании Сологуба по поводу сорокалетия его литературной деятельности 11 февраля 1924 г. в Государственном Академическом драматическом театре. Об этом эпизоде Ходасевичу рассказал В.В.Вейдле (см. Вейдле В. Девяностолетие Ходасевича // Русская мысль. 1976. 3 июня).

С. 116. *Ольга Кузьминишна* Тетерникова (1865—1907) — сестра Сологуба, акушерка. Долгое время жила вместе с ним. Отметим, что Сологуб женился только после ее смерти.

С. 117. *...Луначарский подал в Политбюро заявление...* — См. об этом также в очерке «Горький». Официальные документы по оригиналам опубликованы: «Шипение Сологуба не прибавит ничего» / Публ. В.Шепелева и В.Любимова // Источник. 1995. № 1. Ходасевич знал историю по документам, имевшимся в распоряжении М.Горького. См. об этом: Никитина М.А. М.Горький и Ф.Сологуб: К истории отношений // Горький и его эпоха: Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1; Дикушина Н. Как решалась судьба поэта // Литературная газета. 1990. 28 ноября.

С. 118. *...двадцать семь пьес в стиле французских бержерет.* — См. кн. Сологуба «Свирель. Русские бержеретты» (Пб., 1922). О создании этой книги Сологуб писал: «“Свирель” вся написана, чтобы ее (Ан.Н.Чеботаревскую. — *Коммент.*) позабавить. Голодные были дни. Заминка с пайком. Ходил на Сенную, на последние гроши, на размененные по секрету от нее германские марки купить что-нибудь вкусное» (Сологуб Федор. Стихотворения. Л., 1979. С. 628).

Есенин (с. 120). — *СЗ*. 1926. Кн. XXVII. С. 294—322.

Ввиду широкой известности поэзии Есенина среди русских читателей источники многочисленных стихотворных цитат не указываются.

С. 123. *...некий Х.* — Сергей Антонович Клычков (1889—1937), впоследствии известный поэт. Учился на историко-филологическом факультете Московского университета.

С. 124. *Клюев Николай* Алексеевич (1884—1937); с предисл. В.Я.*Брюсова* вышла его кн. «Сосен перезвон» (М., 1912), с предисл. Валентина Павловича *Свенцицкого* (1879—1931) — «Братские песни» (М., 1912).

...хорошо рассказал Г.Иванов... — В кн. «Петербургские зимы»

(см.: Иванов Георгий. Собр. соч. Т. 3. С. 69—70). Ходасевич знал о том, что очерки Иванова являются в первую очередь художественным произведением и как исторический источник далеко не всегда могут быть использованы. Поэтому цитирование этого отрывка Ходасевичем можно истолковать как своеобразную верификацию данного текста. Следует отметить, что у Иванова Клюев всюду называется «Васильевичем»

С. 127. *Чапыгин* Алексей Павлович (1870—1937) — известный впоследствии советский прозаик.

С. 128. *После смерти Есенина она была напечатана...* — Красная нива. 1926. № 2. Написана в 1923 г.

С. 129. *Разумник-Иванов* — Р.В.Иванов (Иванов-Разумник). См. о нем коммент. к очерку «Андрей Белый».

...однажды читал стихи императрице. — По данным В.Белоусова, Есенин встречался с членами царской фамилии минимум дважды — 22 июня 1916 г. и 5—6 января 1917 г. (см.: Белоусов В. Сергей Есенин: Литературная хроника. М., 1968. Ч. 1. С. 97, 105).

«Друг» — Г.Е.Распутин.

С. 130. *...в одном из дисциплинарных баталионов...* — Есенин не был ни на фронте, ни в дисциплинарном батальоне (См.: Белоусов В. Сергей Есенин: Литературная хроника. С. 244—245). О его отказе писать стихи в честь царя известно, в сущности, только из цитируемой Ходасевичем автобиографии.

...оттиск... книги «Голубень». — Эта книга Есенина вышла в 1918 г.

Устинов Георгий Феофанович (1888—1932) — литератор, знакомый Есенина.

С. 140. *Блюмкин* Яков Григорьевич (1898—1929) — левый эсер, сотрудник ВЧК.

...поэтесса К. — возможно, Е.Ю.Кузьмина-Караваева, которая, по свидетельству И.Г.Эренбурга (Воспоминания об А.Н.Толстом. 2 изд. М., 1982. С. 88), часто бывала весной 1918 г. в доме Толстого.

В начале 1919 года... — Очевидно, речь идет о вступлении Есенина в члены «Литературно-художественного клуба советской секции Союза писателей-художников и поэтов», причем в заявлении он писал: «Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП...» (Сергей Есенин в стихах и жизни: Письма. Документы. М., 1995. С. 81). Ходасевич не мог знать этого текста из печати, но, очевидно, слухи о заявлении дошли до него.

С. 145. *Ширяевец* (Абрамов) *Александр* Васильевич (1887—1924) — поэт. Книга, присланная им Ходасевичу, — «Запевка» (Ташкент, 1916). Письмо Ходасевича к Ширяевцу недавно опубл.: Ширяевец Александр. Из переписки 1912—1917 гг. Публ. Ю.Б.Орлицкого, Б.С.Соколова, С.И.Субботина // De visu. 1992. № 3 (4). С. 30—31.

Чурила Пленкович — герой русских былин.

«Летопись» — журнал, выходивший в 1915—1917 гг. Организатором и редактором его был М.Горький.

С. 146. *Вейнингер* Отто (1880—1903) — психолог, автор очень популярной в России кн. «Пол и характер» (1903).

«Ключи счастья» — популярный роман (1909—1913) А.А.Вербицкой. О ней см. коммент. к очерку «Белый коридор».

С. 148. *...были привлечены к общественному суду...* — 20 ноября 1923 г. Есенин вместе с П.Орешиным, С.Клычковым и А.Ганиным был задержан милицией после скандала в ресторане, сопровождавшегося антисемитскими выкриками. 10 декабря товарищеский суд вынес им общественное порицание.

Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович; 1888—1926) — известный в 20-е годы прозаик.

Горький (с. 151). — *СЗ*. 1937. Кн. LXIII. С. 274—292.

Часть очерка напечатана ранее: Из воспоминаний. О Горьком // *В*. 1936. 28 ноября. Перед тем, 14 ноября, состоялось его публичное чтение автором в зале Социального музея на ул. Лас-Каз — см.: *В*. 1936. 7 ноября (объявление о предстоящем чтении); о нем есть также запись в «камерфурьерском» журнале Ходасевича (*АБ*), причем отмечено присутствие И.И.Фондаминского, М.В.Вишняка, В.В.Руднева, Н.Н.Берберовой, Б.И.Николаевского, В.Н.Буниной, Г.В.Иванова, И.В.Одоевцевой, В.М.Зензинова, В.А.Смоленского, В.В.Вейдле, Л.Д.Червинской, Ю.Фельзена, А.С.Головиной, В.С.Яновского и др. (сообщ. И.П.Андреевой).

Помимо этого главного мемуара, вошедшего в «Некрополь», Ходасевич написал о Горьком после его смерти ряд очерков: «О Горьком (из воспоминаний)» (*В*. 1937. 10 декабря), «“Беседа” (из воспоминаний)» (*В*. 1938. 14 января), «О смерти Горького» (*В*. 1938. 18 марта), «Прогресс» (*В*. 1938. 8 апреля), «Завтрак в Сорренто» (*В*. 1938. 6 мая); посмертно опубл. второй очерк «Горький» (*СЗ*. 1940. Кн. LXX).

Надо отметить также более ранние публикации 20-х годов: «К юбилею М.Горького» — Голос России (Берлин). 1922. 30 сентября (приветствие к 30-летию литературной деятельности, подписанное Ходасевичем вместе с А.Белым, Н.Минским, Н.Оцупом, З.Гржебиным и С.Бубриком); «Максим Горький и СССР» — *В*. 1927. 20 октября; «Письмо М.Горького» — *В*. 1928. 15 марта (статья без подписи, касавшаяся ответа Горького на запрос Р.Роллана о положении писателей в СССР — см.: *М-5*. С. 247). В 20-е годы также была написана опубликованная лишь посмертно статья «К истории возвращенчества» (см.: *СС*. Т. 2. С. 430—433) — по поводу перепечатанного парижской прессой из советских газет письма Горького о смерти Ф.Э.Дзержинского и роли Е.П.Пешковой в организации кампании возвращенчества в эмиграции (см. коммент. к очерку «Горький», 1940, в наст. томе). Об отношении Горького к поэзии Ходасевич писал в статье «Научный камуфляж. — Советский Державин. — Горький о поэзии» (см. т. 2 наст. изд.).

С. 151. *...на одном из первых представлений «На дне»...* — Премьера в Московском Художественном театре состоялась 18 декабря 1902 г.

...Нина Петровская была на Капри... — См. ее статью «Максим Горький на Капри. Литературный силуэт» (газ. «Астраханец», 1908, 5 мая).

...мою первую книгу стихов. — Молодость. М.: Гриф, 1908 (вышла в свет в конце февраля — начале марта).

...моей племянницы... — Валентины Михайловны Ходасевич, художницы (1894—1970). См. ее кн.: Портреты словами. М., 1987.

...я счел нужным познакомиться с Горьким. — Ходасевич описывает свое первое посещение дома Горького на Кронверкском пр. в Петрограде, состоявшееся 3 октября 1918 г.; о нем он писал жене в Москву на следующий день, 4 октября: «Вчера был у Горького. Чем кончится, еще не знаю. Он мил, но суховат. Человек не замечательный, а потому с ним трудно» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47). Однако литературно-издательский контакт писателей завязался несколько раньше; см.: Сборник армянской литературы / Под ред. М.Горького. Пг.: Книгоизд-во «Парус» А.Н.Тихонова, 1916 (стихи О.Туманяна и В.Терьяна в переводе Ходасевича); Сборник латышской литературы / Под ред. В.Брюсова и М.Горького. Пг.: «Парус», 1916 (переводы из Аспазии, К.Скальбе и др.); Сборник финляндской литературы / Под ред. В.Брюсова и М.Горького. Пг.: «Парус», 1917 (из М.Любека, Э.Лейно, Я.Прокопе, В.А.Коскенниеми). В начале 1917 г. Ходасевич по совету Брюсова предлагал Горькому свое сотрудничество в журнале последнего «Летопись», о чем свидетельствует ответное письмо Горького от 18 февраля 1917 г. на несохранившееся письмо Ходасевича (*АГ*. ПГ-рл 48-12-1); Ходасевич в «Летописи» не печатался; журнал в 1917 г. перестал существовать. К 1917—1918 гг. относится сотрудничество Ходасевича в редактируемой Горьким газ. «Новая жизнь».

С. 152. *...одного из членов императорской фамилии...* — У Горького на Кронверкском несколько месяцев летом и осенью 1918 г. (до 11 ноября) скрывался кн. Гавриил Константинович Романов с женой, А.Р.Нестеровской, бывшей балериной, и их бульдогом. Воспоминания А.Р.Нестеровской об участии Горького и М.Ф.Андреевой в спасении жизни ее мужа см. в кн.: Берберова Н. Железная женщина. Нью-Йорк, 1982. С. 120—123.

Эта забавная бумага... — Приводим ее текст по копии, сохранившейся в *АГ*: «В Московский профессиональный союз писателей. Прошу принять меня в число членов Союза. Рекомендуют меня Ю.К.Балтрушайтис и В.Ф.Ходасевич. 18 декабря 1919 года. М.Горький (Алексей Максимович Пешков). Владислав Ходасевич. Ю.Балтрушайтис». Справа в углу приписка: «Принят 19/XII 919» (*АГ*. БИО 3-20).

Летом 1920 года... — Ходасевич находился в это время в известной московской «здравнице» — см. очерк «Здравница» в наст. томе.

Он мне велел написать Ленину письмо... — Письмом Ходасевича Ленину не располагаем. Небезынтересно привести выдержки из ответов Ходасевича на анкету, выданную сотрудникам «Всемирной литературы», «подлежащим возвращению к месту прежней службы,

как незаменимых специалистов, согласно декрета Совнаркома от 29 июня 1918 г.». Ходасевич здесь свидетельствовал, что «дважды был признан неспособным к военной службе ввиду того, что страдает туберкулезом позвоночника». На вопрос: «Чем вызвана необходимость ходатайства со стороны учреждения» — читаем: «Ходасевич состоит заведующим Московским отделением с самого начала деятельности Издательства. Находится в курсе всех ведущихся переговоров с авторами, причем компетентен оценивать их работы по существу. Соединяет необходимые литературные знания с техническим опытом по заведованию отделением Издательства. Исполняет ряд самостоятельных литературно-научных трудов, порученных ему Издательством. Всегда занимался литературным трудом» (*ГА РФ*. Ф. 2306. Оп. 2. Д. 453. Л. 372—373). Документ с датой «16 апреля 1919 г.» подписан Горьким, что подтверждает его, по-видимому, неоднократное участие в хлопотах об освобождении Ходасевича от военного призыва.

С. 153. — *Перебирайтесь-ка в Петербург.* — 11 ноября 1920 г. Горький в Москве подписал и передал Ходасевичу удостоверение в том, что изд-во «Всемирная литература» командирует его с женой, А.И.Ходасевич, «на постоянную работу в Петрограде». «Просим надлежащие власти, — говорилось в бумаге, — в срочном порядке и вне очереди выдать тт. В.Ф. и А.И.Ходасевич разрешение на выезд в Петроград и выполнить все формальности, необходимые для беспрепятственного и немедленного выезда» (*АГ*. БИО 15-5-18). Ходасевичи переехали в Петроград 17 ноября 1920 г.

С. 154. *Лашевич* Михаил Михайлович (1884—1928) — активный деятель октябрьского переворота 1917 г. в Петрограде, член Петроградского бюро ЦК.

Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942) — с 1918 г. зав. изд-вом Петроградского совета, затем — зав. Петроградским отделением Госиздата.

Зорин (Гомбарт) С.С. (1890—1937) — в 1919—1920 гг. секретарь Петроградского комитета РКП(б).

Бакаев Иван Петрович (1887—1936) — в 1919—1920 гг. председатель Петроградской губчека.

С. 155. *...покинуть... советскую Россию.* — Горький выехал через Финляндию в Германию 16 октября 1921 г.

...привели меня туда же. — Ходасевич с Н.Н.Берберовой приехали в Берлин 30 июня 1922 г. (эта и другие даты периода близости Ходасевича с Горьким взяты из дневниковых записей Ходасевича, опубликованных Берберовой, — см.: Мосты (Мюнхен). 1961. № 8. С. 265). Как причина отъезда из России в их заграничных паспортах было записано: у Ходасевича — «для поправления здоровья», у Берберовой — «для пополнения образования» (*Берберова.* С. 179).

...в маленький городок Saarow... — Из Херингсдорфа (на балтийском побережье близ Свинемюнде) Горький 25 сентября 1922 г. переехал в Сааров, дачное место в двух часах езды от Берлина. 17 ноября туда же приехали Ходасевич с Берберовой; 9 апреля 1923 г. они поселились в одном санатории с Горьким. 3 июня 1923 г. у Ходасевича в дневнике

записано: «(Воскресенье.) Шкловский, Сумский и мы провожали вечером Горького в Берлин. 4 июня в 5 ч. 30 м. в Берлине. Вечером на вокзал провожать Горького в Гюнтерсталь». 11 июня Ходасевич и Берберова уехали из Саарова в Берлин. 15—19 сентября Ходасевич гостил у Горького во Фрейбурге. 4 ноября он и Берберова переехали из Берлина в Прагу, куда 26 ноября приехал и Горький. 6 декабря все вместе они переселились в Мариенбад, в отель «Максхоф». 11 марта 1924 г. Ходасевич с Берберовой уехали оттуда в Италию.

...а потом в Ирландии. — Со 2 августа по 26 сентября 1924 г. Ходасевич с Берберовой жили у родственников Берберовой недалеко от Белфаста.

...съехались с Горьким в Сорренто... — 9 октября 1924 г.

...до 18 апреля 1925 года. — Т.е. до отъезда Ходасевича в этот день из Сорренто в Париж.

...длилось семь лет. — Сохранилась большая переписка Горького с Ходасевичем за это время. 32 письма Горького к нему Ходасевич в 1939 г., за несколько недель до смерти, подготовил к печати для публикации в *СЗ* со своими коммент.; опубл.: *НЖ*. 1952. Кн. 29, 30, 31 (подлинники хранятся в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне). Оригиналы писем Ходасевича Горькому — в *АГ* (готовятся к печати в *ЛН*; частично опубл. в наст. томе).

С. 157. *...«по грошу в долг и без отдачи»...* — Из ст-ния Г.Р.Державина «Евгению. Жизнь Званская» (1807).

...роман Наживина о Распутине... — Наживин Иван Федорович (1874—1940) — писатель, бывший толстовец, с 1920 г. в эмиграции; автор романа «Распутин» (Т. 1—3. Берлин, 1923).

С. 158. *Он умер от воспаления легких.* — См. статью Ходасевича «О смерти Горького».

С. 159. *...указывал... А.А.Яблоновскому...* — Александру Александровичу Яблоновскому (1870—1934) — журналисту-фельетонисту; до революции — сотрудник «Русского слова», в эмиграции — берлинского «Руля» и парижского «Возрождения», где периодически помещал обличительные материалы о Горьком (напр. — *Р*. 1923. 13 марта, 15 декабря; 1924. 12, 26 марта; 1927. 28 июля). См. заметку Горького о Яблоновском: Горький М. Полн. собр. соч. Варианты к художественным произведениям. Т. 5. М., 1977. С. 687—688.

С. 160. *Андрей Соболь* был в Сорренто у Горького в феврале 1925 г.

С. 161. *...профессор Старков...* — Арсений Викторович Старков (1874—1927) — врач-анатом, жил в Сорренто в 1924—1925 гг.

С. 166. *...писал он Е.Д.Кусковой...* — В письме от 21 января 1929 г. (напеч.: Советские архивы. 1968. № 1. С. 65—69): «Суть в том, что я искреннейше и неколебимо ненавижу правду, которая на 99% есть мерзость и ложь. Вам, вероятно, известно, что, будучи в России, я публично и печатно и в товарищеских беседах выступал против “самокритики”, против оглушения и ослепления людей скверной, ядовитой пылью будничной правды».

С. 167. *13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто...* — См.: *НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 195.

Маяковский, однажды печатно заявивший... — В автобиографической заметке «Я сам»: «Читал ему части облака. Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея» (Новая русская книга (Берлин). 1922. № 9. С. 44).

С. 169. *Некий Роде...* — Родэ Адолий Сергеевич (ум. 1930) — директор открытого 31 января 1920 г. Дома ученых в Петрограде, до революции был владельцем «Виллы Родэ», ночного ресторана с цыганским хором и отдельными кабинетами. О нем вспоминал В.Шкловский: «Роде — человек кафешантанный. В это время он заведовал ЦКУБУ. Как мог попасть Роде к Горькому? Роде знал много вещей, и он умел разговаривать. Если вы скажете Роде: "Принесите мне веревку!" — он вызовет помощника и скажет, предположим: "Принесите мне шпагат № 13". Факт, что шпагат имеет номер и что существует шпагатная культура, поражал Горького, и Роде попадал в число вещей, ему нужных» (Сборник статей и воспоминаний о М.Горьком. М.—Л., 1928. С. 383).

С. 170. *...мы вздумали издавать «Соррентинскую правду»...* — Четыре номера рукописного юмористического журнала «Соррентинская правда» хранятся в *АГ*. В первых трех номерах участвовали Ходасевич и Берберова. См.: Горький М. Полн. собр. соч. Варианты к художественным произведениям. Т. 5. С. 623—646; а также заметку Н.Берберовой: «Максим Пешков и Н.Берберова издавали в Сорренто шуточный рукописный журнал "Соррентинская правда". Текст почти весь писала Берберова, а М.А. делал иллюстрации. Горький сотрудничал в журнале и давал (неизданные) стихи и прозу» (Мосты. 1961. № 8. С. 276—277).

С. 171. *Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс.* — Герберт Уэллс был в России в сентябре-октябре 1920 г.; в Петрограде останавливался в доме Горького. Инцидент на обеде описан Уэллсом в его кн.: Россия во мгле. М., 1959. С. 17. См. также в кн. Н.Берберовой «Железная женщина» (с. 137).

С. 172. *...в ответ на «низкие истины» Кусковой...* — Имеется в виду статья Горького «Об умниках» (Известия ЦИК. 1930. 16 октября), содержавшая прямой отклик на письмо Е.Д.Кусковой Горькому от 8 сентября 1930 г., в котором она предлагала писателю «поднять свой голос» в защиту ученых, арестованных по делу «Трудовой крестьянской партии», — А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева, И.А.Садырина и др., — «людей высокой квалификации и совершенно бесспорной честности в своих действиях». Горький отнес автора письма к разряду «умников», не понимающих разницы между защитой преследуемых государством в царской России и в СССР: «Казалось бы, что теперь "печальники о горе народном" должны отказаться от бесплодного ремесла горюнов и печальников, могут сидеть спокойно, любуясь мощной самодеятельностью трудового народа <...> Казалось бы, что теперь умники могут хорошо спеть "Ныне отпущаеши раба твоего, владыка" и — для окончательного

успокоения своего — позаботиться о могилках. Пора!» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 25. С. 210).

Баронесса Варвара Ивановна Икскуль... — См. коммент. к очерку «Гумилев и Блок»; давняя знакомая Горького (с 1899 г., см.: Летопись жизни и творчества А.М.Горького. М., 1958. Т. I. С. 243); содействовала освобождению Горького из тифлисской (в 1898 г.) и нижегородской (в 1901 г.) тюрем; оказывала дружескую поддержку писателю и в последующие годы. Вскоре после премьеры «На дне» Горький писал К.П.Пятницкому: «Между прочим я получил венок “от петербургских друзей” — Ф.Д.Батюшкова и В.И.Икскуль, коя была даже на двух представлениях “Дна”» (*АГ*. ПГ-рл 33-1-132). В.И.Икскуль бежала из России весной 1922 г. Горький узнал об этом из письма В.Б.Шкловского к нему от 24—25 марта 1922 г.; Шкловский находился в карантине в Финляндии, когда туда прибыла Икскуль (см.: De visu. 1993. № 1. С. 30—31).

С. 173. *...молодой стихотворец кн. Палей...* — Владимир Павлович Палей (1897—1918), сын вел. князя Павла Александровича и княгини Ольги Валериановны Палей, был убит большевиками 18 июля 1918 г. в Алапаевске вместе с вел. княгиней Елизаветой Федоровной, вел. князем Сергеем Михайловичем и другими членами императорской фамилии. В неопубликованных воспоминаниях Е.А.Желябужской, дочери М.Ф.Андреевой, есть свидетельство о попытке Горького спасти им жизнь: «Очень тяжелое впечатление на него произвел расстрел великих князей Павла Александровича, Николая и Сергея Михайловичей. Обратилась к нему морганатическая жена Павла Александровича Пистолькорс, а Николая и Сергея Михайловичей он знал лично и считал всех троих вполне безобидными стариками <...> Алексей Максимович даже лично ездил в Москву просить Ильича, тот обещал, а председатель Чека, в то время, кажется, т. Медведь, предвидя результат ходатайства А.М., распорядился привести приговор в исполнение в ту ночь, когда А.М. ехал из Москвы в Петроград. Я помню это утро: маму вызвала к телефону Пистолькорс, и я слышала, как мама говорила: “нет, нет, уверяю вас, что этого не может быть! Алекс. Максимович только что приехал, и Владимир Ильич обещал...”» (*АГ*. МОГ 4-40-2; Пистолькорс — фамилия О.В.Палей по первому браку). В библиотеке Горького сохранилась поэтическая книга Владимира Палея «Стихотворения. Сборник второй» (Пг., 1918), с дарственной надписью от матери казненного поэта, княгини О.В.Палей: «Алексею Максимовичу Горькому от благодарной матери далекого поэта. Сент<ябрь> 1918».

С. 174. *...написал мне в одном из писем...* — От 21 июня 1923 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 209). Несомненно, это письмо Горького, не называя его, имел в виду Ходасевич в более ранней статье «Цитаты», приводя здесь имя В.Палея как одно из последних в длинном списке имен, говорящем о страшной судьбе русских писателей: «В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей (у меня есть примечательный по гнусности документ, касающийся его смерти) и расстрелянный Гу-

милев» (Новый дом. 1926. № 2. С. 37). Этот же текст повторен в статье «Кровавая пища» (*В*. 1932. 21 апреля).

...от пролетарского поэта Палея... — Абрама Рувимовича Палея (1893—1994), впоследствии советского поэта и прозаика. Горький переписывался с ним с перерывами в 1912—1933 гг. О том, что он имеет дело со стихами пролетарского поэта, которого он не мог, конечно, спутать с поэтом-князем, говорит уже отзыв Горького о стихах А.Палея в письме к нему от 6 июня 1917 г., где Горький пишет о трудностях выражения в поэзии «психики рабочего» (*АГ*. ПГ-рл 30-6-4). В 1917—1918 гг. Горький хотел напечатать в «Новой жизни» ст-ние А.Р.Палея «Война войне»; ст-ние напечатано не было. В 1923 г. А.Р.Палей вновь прислал Горькому стихи, теперь для «Беседы». В письме от 11 июня он писал: «Пять лет тому назад Вы нашли у меня поэтическое дарование и советовали много работать. Посылаю Вам кое-что из плодов пятилетней работы <...> Я был бы счастлив, если бы что-нибудь подошло для “Беседы”» (*АГ*. КГ-П 56-1-1). Получив это письмо во Фрейбурге, Горький послал стихи «на просмотр» Ходасевичу в цитируемом последним письме от 21 июня. Стихи в *Б* напечатаны не были. В библиотеке Горького есть книга стихов А.Р.Палея «Бубен дня» (Екатеринослав, 1922), с дарственной надписью автора от 1 февраля 1928 г. На подарок Горький отвечал весной 1928 г. письмом, в котором продолжал играть в свое заблуждение: «Вы однофамилец поэта Палей, сына Пистолькорс, жены князя Павла Александровича, а мне было указано, что вы и есть “великокняжеский” Палей. Я знал, что это не верно, и об этом вам написал; но письмо было возвращено мне “за смертью адресата” и “за ненахождением”. Курьезный конверт мною сохранен» (*АГ*. ПГ-рл 30-6-6).

С. 175. *8 ноября 1923 года он мне писал...* — Письмо из Гюнтерсталя; см.: *НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 197—198.

...«Джиоконда, картина Микель-Анджело»... — См.: Накануне. 1923. 6 ноября.

...напечатано в книге, именуемой... — Точный титул брошюры: Всем Губ. и Уполитпросветам, Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ: Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы. [М.]: [Главпросвет Республики, 1923]. 22 с. 5000 экз. Брошюра состоит из двух частей: собственно инструкции, подписанной председателем Главполитпросвета Н.Ульяновой (Н.К.Крупской) и зам. зав. Главлитом Н.Сперанским, и приложенного к ней списка книг, подлежащих изъятию; все перечисленные в письме Горького авторы значатся в списке. О реакции Горького на брошюру, помимо письма Ходасевичу, можно судить также по сохранившейся в *АГ* заметке, недатированной, но относящейся, несомненно, к тем же дням: «Отчаяние, отчаяние. Никогда не испытывал ничего подобного. Потрясающая, трагическая пошлость. Только в чудовищно нелепой стране возможно, чтоб глупая больная баба вышвыривала из духовного обихода людей — Платона и Евангелие, фил...» (заметка на отдельном листке, оборвана на полуслове, не печаталась. — *АГ*. Г-3 Ш 4-9). В коммент. к письму Горького в подготовленной им публикации

Ходасевич, кратко изложив свою аргументацию из «Некрополя», добавляет к ней, «что Горький не мог не читать статью об “Указателе”, напечатанную тогда же С.Г.Сумским в “Социалистическом вестнике”» (*НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 199). Здесь Ходасевич ошибается: статья Сумского (неподписанная) «Заметки. Такого не придумаешь!» напечатана в «Социалистическом вестнике» после письма Горького (1923. № 21/22. 27 ноября), который ее, таким образом, читать не мог. Реакция зарубежной прессы на «Инструкцию» вызвала статью Н.К.Крупской «“Огрехи” Главполитпросвета» (Правда. 1924. 9 апреля; и «Ленинградская правда», в тот же день; указано С.А.Федюкиным), в которой она брала на себя ответственность только за первую часть брошюры, ею подписанную, — «циркуляр», приложенный же к нему список книг признавала «огрехом» и заявляла о его аннулировании: «Одиозный список, о котором прокричала вся эмигрантщина и сочувствующая ей иностранная пресса (например, “Форвертс”), — был задержан и отменен после выхода».

С. 181. *...номер берлинского «Руля»...* — См.: Б. Каменецкий [псевд. Ю.Айхенвальда]. Литературные заметки // *Р*. 1924. 4 мая. В горьковском «Рассказе о герое» здесь отмечаются, рядом с «прекрасной выразительностью, которой исполнены у Горького иные страницы», — «старые недостатки»: резонерство, «утомительная канитель изречений». Рассказ же Вас.Сизова назван «беллетристическим предприятием», которое «хочется назвать неудавшимся, признать его манерным и оригинальничающим...»

С. 182. *...свои воспоминания о Валерии Брюсове...* — Очерк «Брюсов» Ходасевич писал в Сорренто в декабре 1924 г. Оттиск из *СЗ* он подарил Горькому в сопровождении следующей записки: «Дорогой Алексей Максимович! “Не имей сто рублей, а имей сто друзей” — гласит народная мудрость. Верно. Но что делать человеку, у которого нет даже и десяти друзей, — а меж тем прислали ему десять оттисков? Ибо ведь книжку всякий получить хочет, — а оттиск, замечаю, соглашается взять только испытанный, верный друг, готовый на все. Дорогой Алексей Максимович, первому Вам — почтительнейше подсовываю сей оттиск под дверь и остаюсь преданный Вам Владислав Ходасевич — с девятью оттисками на руках. Sorrento, 2 апр. 925 г.» Аккуратно подклеенная Горьким к оттиску в виде дарственной надписи записка Ходасевича хранится в библиотеке Музея-квартиры писателя у Никитских ворот. Позднее, после отъезда Ходасевича, в августе 1925 г., Горький писал А.Н.Тихонову о воспоминаниях Н.И.Петровской о Брюсове (он предполагал напечатать их в *Б*, но журнал прекратился): «Очень рекомендую для “Русского современника” воспоминания Нины Петровской о В.Я.Брюсове. Вещь — интересная и, разумеется, более человечная, чем статья Ходасевича, хотя и не столь блестящая» (Горьковские чтения. 1953—1957. М., 1959. С. 51).

С. 183. *...«Аблеуховы — Летаевы — Коробкины».* — Статья перепечатана в *СиВ*, а также в журн. «Русская литература» (1989. № 1). Однако в обеих перепечатках авторский текст сильно искажен.

С. 184. *Александра Николаевна Чеботаревская* (1869—1925) — переводчица.

ВОСПОМИНАНИЯ

В творчестве Ходасевича значительное место занимают мемуарные очерки, не вошедшие в книгу «Некрополь», а оставшиеся на страницах журналов и газет русской эмиграции. Попытки собрать их воедино предпринимались дважды: в 1954 г. Н.Н.Берберовой в кн. «Литературные статьи и воспоминания» и в 1982 г. Г.Поляком и Р.Сильвестром в кн. «Белый коридор» (вышла как первый том «Избранной прозы» Ходасевича, однако второго тома так и не последовало). Обе книги отличаются неточностями текстологии (особенно первая) и небрежностью комментариев (вторая, т.к. в первой комментариев не было вообще). В нашем издании публикуются лишь избранные страницы мемуарной прозы Ходасевича, разбитые на два раздела: «О себе» и «О современниках». Очерки расположены не в последовательности их написания и публикации, а по хронологии жизни автора.

О СЕБЕ

О себе (с. 187). — Новая русская книга. 1922. № 7. С. 36—37.

С. 187. *...я сам заболел туберкулезом позвоночника.* — См. в воспоминаниях А.И.Ходасевич: «В 1916 году мы как-то были приглашены на день рождения поэтессы Любови Столицы. У нее была загородная дача под Подольском. День был ясный и теплый. Поужинали, изрядно все выпили, в комнате было душно. Владя вышел на балкон и в темноте шагнул с балкона на землю, а балкон был почти на втором этаже. Он не упал, но встал так твердо, что сдвинул один из спинных позвонков. Вскоре у него начались боли в спине, и после долгих исследований выяснилось, что у него начался туберкулезный процесс в позвоночнике» (Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 399 / Публ. Л.В.Горнунга).

«Русские Ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь» — московские газеты, в которых Ходасевич сотрудничал.

...началась советская служба... — Подробнее см. в воспоминаниях «Законодатель», «Пролеткульт и т.п.», «Книжная Палата», «Белый коридор» (наст. том).

...заведовал Московским отделением «Всемирной Литературы». — Осенью 1918 г. Ходасевич предложил изд-ву несколько томов своих переводов при условии выплаты ему аванса. Значительного аванса ему предложить не могли, поэтому был реализован

следующий вариант: Ходасевич назначался заведующим московским отделением изд-ва, ему авансом выдавалось жалованье, а потом он его отрабатывал.

...затеял вместе с П.П.Муратовым Книжную лавку писателей. — О П.П.Муратове см. коммент. к статье «Магические рассказы» (т. 2 наст. изд.). О лавке подробнее см. в воспоминаниях М.Осоргина «Книжная лавка писателей» (*НН*. 1989. № 6).

С. 188. *Грифцов* Борис Александрович (1885—1951) — литературовед и переводчик. *Янтарев* (Бернштейн) Ефим Львович (1880—1942) — поэт и журналист. *Яковлев* Александр Степанович (1886—1953) и *Осоргин* Михаил Андреевич (1878—1943) — прозаики. *Линд* Михаил Васильевич — переводчик и беллетрист.

Моя жена... — А.И.Ходасевич.

Поместились в санатории. — См. в очерках «Здравница», «Горький», «Диск» (наст. том), «Во Пскове» (*В*. 1935. 24 октября; перепеч. — Ходасевич Вл. Колеблемый треножник. М., 1991), «Поездка в Порхов» (*В*. 1935. 9, 16 мая; перепеч. — *ЛО*. 1989. № 11).

...я на $1^1/_2$ месяца. — Неточность. Ходасевич находился в здравнице около трех месяцев (см. очерк «Здравница»).

С. 189. *«Серапионовы братья»* — группа писателей, сформировавшаяся из участников литературных студий Дома исусств.

«Звучащая раковина» — небольшая группа молодых поэтов, учеников Н.С.Гумилева, в которую входили К.К.Вагинов, И.М. и Ф.М.Наппельбаум, Н.Н.Берберова, Н.К.Чуковский и др. В 1922 г. был издан сб. стихов «Звучащая раковина».

...в Покровском уезде... — Описка. В Порховском уезде.

...кое-какие события личной жизни... — Имеется в виду роман с Н.Н.Берберовой. Ходасевич нарочито не упоминает свои идейные расхождения с политикой советской власти: введение нэпа, усиление цензурных преследований и закрытие частных издательств, а также сильно подействовавшие на него смерть Блока и убийство Гумилева.

Младенчество (с. 190). — *В*. 1933. 12, 15, 19 октября.

Н.Н.Берберова вспоминала об этом очерке: «Когда он начал печатать свою повесть "Младенчество", "левая" часть эмигрантской общественности была возмущена: кому интересны его воспоминания детства? Что он, Лев Толстой, что ли? Давление было столь сильным, что ему пришлось бросить начатую книгу» (*Берберова*. С. 703). О некоторых событиях ранней биографии Ходасевича рассказывается также в воспоминаниях его второй жены, А.И.Ходасевич (Ново-Басманная, 19. М., 1990 / Публ. Л.В.Горнунга).

С. 190. *Старший из моих братьев...* — Михаил Фелицианович (1865—1925), известный московский адвокат и коллекционер произведений искусства, отец художницы В.М.Ходасевич.

...сестра, ближайшая ко мне по времени рождения... — Евгения Фелициановна, в первом браке Кан, во втором Нидермиллер (1876—1960).

Веньямин — сын Иакова и Рахили, умершей при его родах (Быт, 35, 16—18).

С. 192. *...первое слово, сказанное Державиным...* — См.: «Примечания достойно, что когда в 44 году явилась большая, весьма известная ученому свету комета, то при первом на нее воззрении младенец, указывая на нее перстом, первое слово выговорил: "Бог"» (Державин Г.Р. Избранная проза. М., 1984. С. 25).

...«есть же разность...» — Из поэмы А.С.Пушкина «Езерский» (1832—1833).

С. 193. *Зайчуров* — кот друзей Ходасевича.

...«Легко мне жить и дышать мне не больно». — Из ст-ния А.А.Фета «Измучен жизнью, коварством надежды...» (1864?).

С. 194. *...в Париж на выставку.* — Речь идет о Всемирной выставке в Париже в 1889 г., к открытию которой была сооружена Эйфелева башня.

С. 197. *Гейтен* Лидия Николаевна (1857—1920), *Рославлева* Любовь Егоровна (1877—1904), *Джури* Аделина Антоновна (1872—1963), *Федорова 2-я* Софья Васильевна (1879—1963), *Домашева 2-я* Евдокия Петровна (1882—?), *Гельцер* Екатерина Васильевна (1876—1962) — известные балерины Большого театра.

Вальц Карл Федорович (1846—1929) — декоратор и машинист сцены в Большом театре.

Клодт Николай Александрович (1865—1918) — художник.

Коровин Константин Александрович (1861—1939) — живописец; с 1899 до 1910 г. — художник, а с 1910 г. — главный декоратор московских императорских театров.

С. 199. *Гинекей* — женская половина в греческом доме.

С. 203. *...баба Ивана Никифоровича...* — См.: Н.В.Гоголь, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», гл. III. Ср. черновой набросок Ходасевича «Я помню в детстве душный летний вечер...» (*БП*. С. 287).

С. 206. *...я взял у Майкова...* — Из ст-ния «Весна! выставляется первая рама...» (1854). Подробнее см. в очерке «Парижский альбом. VI».

Одна современная поэтесса... — Н.Н.Берберова. Однако она считала первым своим ст-нием не «Казачью колыбельную песню», а «Молитву» М.Ю.Лермонтова (см.: *Берберова*. С. 42).

Мясницкий (Барышев) Иван Ильич (1854—1911) — популярный в конце века драматург.

С. 207. *...вроде апологов Дмитриева...* — Имеется в виду сб. И.И.Дмитриева «Апологи в четверостишиях» (1826). Пушкин и Языков пародировали эти апологи в цикле «Нравоучительные четверостишия».

«Очи черные» — романс на стихи Е.П.Гребенки, популярный с 1850-х годов (Песни русских поэтов. Л., 1988. Т. 1. С. 518).

«Глядя на луч пурпурного заката» — романс на стихи П.А.Козлова (Там же. Т. 2. С. 259).

С. 209. *Иоанн Кронштадтский* (И.И.Сергиев; 1829—1908) — настоятель Андреевского собора в Кронштадте, один из наиболее

популярных церковных деятелей конца XIX и начала XX в. Святой Православной Церкви (1990).

Парижский альбом. VI (с. 210). — *Д.* 1926. 11 июня.

С. 210. *Первые, помнится, были о сестре Жене...* — См. подробнее в очерке «Младенчество».

С. 211. *Круглов Александр* Васильевич (1853—1915) — очень популярный в конце XIX и начале XX в. писатель, автор множества детских книг.

Законодатель (с. 214). — *Д.* 1926. 21 февраля; под загл. «Новый Ликург». Печ. по: *В.* 1936. 23 апреля.

С. 220. *Ногин* Виктор Павлович (1878—1924) — советский государственный и партийный деятель, в 1917 г. — нарком труда и промышленности, в 1918—1921 гг. — зам. наркома труда.

С. 221. *Ликург* (XI—VIII вв. до н.э.) — легендарный спартанский законодатель.

Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н.э.) — афинский архонт в 594 г. до н.э., знаменитый законодатель.

С. 222. *...завидуя Фоке...* — из басни И.А.Крылова «Демьянова уха» (1813).

Пролеткульт и т.п. (с. 223). — *ПН.* 1925. 17 июня; под загл. «Как я "культурно-просвещал"». Печ. по: *В.* 1937. 23 января.

Появление второго варианта статьи было вызвано двумя датами, широко отмечавшимися в СССР: столетием со дня смерти Пушкина, к которому было приурочено начало выпуска академического Полного собрания сочинений поэта и издание многочисленных книг о Пушкине, а также приближающимся двадцатилетием Октябрьской революции. Об отношении Ходасевича к пролетарской поэзии см. также в его статьях: Пролетарская поэзия // Новая жизнь (Москва). 1918. 9 июля; Пролетарские поэты // *СЗ.* 1925. Кн. XXVI.

С. 223. *Каменев* был автором значительного количества статей о литературе, начиная со сб. «Литературный распад» (СПб., 1908—1909).

Александровский Василий Дмитриевич (1897—1934), *Герасимов* Михаил Прокофьевич (1889—1939), *Казин* Василий Васильевич (1898—1981), *Полетаев* Николай Гаврилович (1889—1935) — пролетарские поэты, входившие также в группу «Кузница».

Плетнев Валериан Федорович (1886—1942) — драматург, критик, один из руководителей Пролеткульта.

С. 225. *Журнал «Горн»* выходил в 1918—1923 гг.

...статью о книжке стихов Герасимова. — «Стихотворная техника Михаила Герасимова» (Горн. 1918. № 1).

...я довольно сочувственно отзывался о нем... — В статье «Сборник пролетарских писателей» (Русские ведомости. 1918. 20 февраля; подпись: Сигурд).

С. 226. *Родов Семен* Абрамович (1893—1968) — поэт и лите-

ратурный критик, теоретик РАППа. Подробнее о нем см. в статье Ходасевича «Господин Родов» (*Д*. 1925. 22 февраля) и в воспоминаниях о Горьком (наст. том).

С. 228. *Хвольсон* Орест Данилович (1852—1934) — физик, почетный академик, автор трудов по электричеству; *Павлов* Иван Петрович (1849—1935) — академик, знаменитый физиолог, лауреат Нобелевской премии 1904 г.; *Модзалевский* Борис Львович (1874—1929) — выдающийся пушкинист.

Книжная Палата (с. 229). — *В*. 1932. 10, 17 ноября.

С. 229. *Ходили слухи... что он позволял себе давать начальству советы и указания...* — См., напр., в воспоминаниях З.Н.Гиппиус: «...он (Брюсов. — *Коммент.*) сразу же пошел в большевицкую цензурную комиссию, — не знаю, как она у них там называется, чуть ли не сделался ее председателем, и заявил себя цензором строгим, беспощадным, суровым» (Гиппиус З.Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 251—252).

С. 230. *...на углу Моховой и Воздвиженки.* — Поскольку география расположения учреждений и квартир существенна для понимания смысла, приведем адреса упоминаемых мест. Книжная палата первоначально находилась на углу Моховой и Воздвиженки, потом была переведена в район Б.Пироговской ул. Брюсов жил на Б.Мещанской (пр. Мира), а Ходасевич — недалеко от Книжной палаты, в 7-м Ростовском пер. Типография И.Д.Сытина находилась в районе Страстной (Пушкинской) пл.

С. 233. *...Амстердам, Антверпен, Филадельфия...* — Из книг такого рода нам известны лишь «Занавешенные картинки» М.Кузмина, выпущенные в 1920 г. в Петрограде, но помеченные Амстердамом.

С. 234. *Недавно М.Осоргин...* — Имеется в виду его статья «Рукописные книги Московской лавки писателей» (Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932. Вып. 3). Ходасевич рецензировал этот сборник (*В*. 1932. 2 июня). См. также: Богомолов Н.А., Шумихин С.В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919—1922 годов // Ново-Басманная, 19. М., 1990.

С. 235. *...сборника «Поэзия Армении»...* — Полное название: «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (М., 1916).

...«Армянский сборник» издательства «Парус»... — Имеется в виду кн. «Сборник армянской литературы» (Пг., 1916).

С. 236. *...взрыва в Леонтьевском переулке.* — Взрыв в помещении Московского комитета РКП(б) 25 сентября 1919 г., в результате которого погибло 12 человек и 55 было ранено. Подробнее см. в очерке Ходасевича «Черепанов» (наст. том).

...«Скрижаль Пушкина»... — История этой статьи рассказывалась неоднократно как в научной печати (см., напр., рец. П.Е.Щеголева: Книга и революция. 1920. № 2), так и в беллетристике (см., напр.: Осоргин М.А. Заметки старого книгоеда. М., 1989. С. 25—28).

С. 237. *Сакулин* Павел Никитич (1868—1930) — литературовед, академик.

Заметка-то ведь не Пушкина, а Жуковского... — «Скрижалью Пушкина» Гершензон посчитал примеч. В.А.Жуковского к ст-нию «Лалла-Рук». Подробнее см.: Рукою Пушкина. М.—Л., 1935. С. 490—492.

...в шляпкинском описании бумаг Пушкина... — Имеется в виду кн.: Шляпкин И.А. Из неизданных бумаг А.С.Пушкина. СПб., 1903. Однако на самом деле запись Пушкина была опубл. В.Е.Якушкиным в труде «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Румянцевском музее в Москве» (Русская старина. 1884. № 12). Сразу после публикации Якушкину было указано на ошибку в атрибуции, которую он признал.

Некто Ш. — очевидно, философ и литературовед Густав Густавович Шпет (1880—1937).

С. 238. *Бухарин только что выпустил свою «Экономику переходного периода».* — Первое издание книги Н.И.Бухарина вышло в 1920 г. Книги с портретом В.И.Ленина, действительно, представляют собою библиографическую редкость.

Щелкунов Михаил Иванович (1884—1938) — издательский деятель, книговед, библиофил.

С. 239. *Клестов-Ангарский* Николай Семенович (1879—1943) — литературный критик, издательский работник.

В.Г.Лидин — см. коммент. к письму 39 в наст. томе.

Белый коридор (с. 241). — *Д.* 1925. 1, 3, 6 ноября. Печ. по: Сегодня (Рига). 1937. 14, 28 ноября, 12, 19 декабря; в данной публ. очерки были лишены единого заголовка, который мы берем из первоначального варианта, сохраняя подзаголовки каждой части из повторной публ.

С. 241. *...в числе многих московских писателей...* — В более раннем варианте воспоминаний среди сотрудников Тео названы также Андрей Белый, Г.И.Чулков, И.А.Новиков, В.М.Волькенштейн, В.Л.Львов-Рогачевский, Н.Е.Эфрос, М.О.Гершензон.

Тео — Театральный отдел Наркомпроса был создан в мае 1918 г. (см.: Купцова О.Н. Из истории становления советской театральной критики: (1917—1926 гг.). Саратов, 1984).

Каменева Ольга Давыдовна (1883—1941) заведовала Тео в 1918—1919 гг. Несколько подробнее о ней см. в очерке «Горький» (наст. том).

...он еще не был тогда литовским посланником... — Ю.Балтрушайтис стал в 1920 г. заведующим специальной миссией Литвы в РСФСР, посланником же — лишь в 1921 г.

С. 242. *Вербицкая* Анастасия Александровна (1861—1928) — прозаик, драматург, автор популярнейшего романа «Ключи счастья» (1909—1913). Ее книги считались типичными образцами массовой литературы.

С. 243. *Рукавишников Иван* Сергеевич (1877—1929) — писатель-символист, автор многих книг стихов и прозы. Принадлежал к богатейшему купеческому роду.

С. 246. *Дуров Владимир* Леонидович (1863—1934) — артист цирка, клоун и дрессировщик.

С. 248. *Бенуа* — Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 1912—1917. Т. 1—4.

Грабарь — Грабарь И. История русского искусства. М., [б.г.]. Т. 1—6.

...издания Общины св. Евгении... — Т.е. известной фирмы, выпускавшей открытки и высококачественные издания по искусству. Подробнее см.: Издательство Общины Св. Евгении — Комитет популяризации художественных изданий (1896—1930): Выставка изданий и оригиналов графики. Каталог / Сост. В.П.Шестопалова; вступ. статья В.П.Позднякова. М., 1990.

Ровинский — какие именно издания имеются в виду, сказать трудно. Вероятнее всего — «Подробный словарь русских гравированных портретов» (СПб., 1889. Т. 1—2) или «Полное собрание гравюр Рембрандта» (СПб., 1890. Т. 1—3).

Мутер — Р.Мутер, автор известных книг: История живописи в XIX веке. СПб., 1899. Т. 1—4; История живописи. СПб., 1903—1904. Т. 1—3; История живописи от средних веков до наших дней. М., 1914. Т. 1—3.

Рейнак — Рейнак С. Аполлон. СПб., 1913.

...книги великого князя Николая Михайловича... — Могут иметься в виду следующие издания: Гр. П.А.Строганов. СПб., 1903. Т. 1—3; Русские портреты XVIII и XIX столетий. СПб., 1905—1909. Т. 1—2; Императрица Екатерина Алексеевна. СПб., 1908—1909. Т. 1—3; Император Александр I. СПб., 1912. Т. 1—2 (2-е изд. — 1914).

«Золотое Руно», «Аполлон», «Старые годы» — журналы 1900—1910-х годов, «роскошно» издававшиеся, со множеством иллюстраций.

...сытинское издание «Войны и мира»... — Толстой Л.Н. Война и мир. М., 1912. Т. 1—3.

Ламанова Надежда Петровна (1861—1941) — известная московская портниха.

С. 249. *...две пьесы Ивана Васильевича.* — На самом деле Рукавишникова звали Иваном Сергеевичем.

С. 250. *В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике...* — См. пьесу Рукавишникова «Часовщик» (Рукавишников Иван. Книга 9-я: Трагические сказки. М., 1915). Приводимая Ходасевичем цитата — с. 96 и далее.

С. 251. *...дело происходило на мельнице...* — Речь идет о пьесе «Мельница» (Там же), одним из действующих лиц которой является котик Федя.

Агриппа Неттесгеймский Генрих Корнелий (1486—1535) — немецкий философ-мистик, которым очень интересовался В.Я.Брюсов. См.: Орсье Жозеф. Агриппа Неттесгеймский: Знаменитый авантюрист XVI века. М., 1913.

С. 259. *...какие-то (она назвала две фамилии...)...* — Видимо, имеются в виду художник и издатель З.И.Гржебин и писатель А.Н.Тихонов, имевшие самое непосредственное отношение к деятельности «Всемирной литературы».

С. 260. *Раскольников* Федор Федорович (1892—1939) — советский военный и общественный деятель, был командующим Волжской флотилией.

Парижский альбом. VII (с. 262). — *Д.* 1926. 25 июля. Отклик на смерть Ф.Э.Дзержинского.

С. 262. *Герценовские торжества* состоялись 20 января 1920 г. в Большом театре. В газетном отчете писалось: «20 января в Большом театре состоялось торжественное заседание членов ВЦИК, Московского совета и фабрично-заводских комитетов, посвященное памяти А.И.Герцена. Заседание открывается "Интернационалом" в исполнении оркестра Большого театра под управлением Кусевицкого. Затем артистами государственных театров Неждановой и Южиным был исполнен "Эгмонт" Бетховена с симфоническим оркестром. С большой речью выступил тов. Каменев. <...> После речи тов. Каменева начались приветственные речи, посвященные Герцену. Выступили: М.К.Лемке, Мархлевский, тов. Садуль, тов. Рязанов. Затем артисты московских театров прочли отрывки из произведений Герцена, прочтено было несколько стихотворений, посвященных памяти Герцена. С большой речью о Герцене выступил Нарком тов. А.В.Луначарский» (Известия. 1920. 21 января). Следует отметить, что 21 января в Малом театре Московский союз писателей устроил еще одно чествование Герцена, на котором выступил и Ходасевич (Известия. 1920. 22 января).

«Эрнани» — опера Дж. Верди (1844). На самом деле Нежданова пела «Эгмонт» (см. предыдущий коммент.).

...два Эфроса... — искусствовед и поэт Абрам Маркович (1888—1954) и театральный критик Николай Ефимович (1867—1923).

Жилкин Иван Васильевич (1874—1958) — поэт и прозаик.

С. 263. *Садуль* Жак (1881—1956) — деятель французского рабочего движения, участвовал в гражданской войне на стороне Красной Армии.

С. 264. *Доктор Моро* — герой романа Г.Уэллса «Остров доктора Моро» (1896).

Покойного Виленкина... — Александр Абрамович Виленкин (1883?—1918), присяжный поверенный, председатель Московского союза евреев-воинов, был расстрелян ВЧК по делу «Союза защиты родины и свободы». Протоколы его допросов см.: Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 107—110. Упоминание Виленкина Ходасевичем могло быть вызвано заметкой: Дзержинский расстреливает // Сегодня. 1926. 22 июля (двумя днями ранее в той же газете было опубл. ст-ние Ходасевича «Двор»).

— *Меня боятся, но...* — Вероятно, имеется в виду следующее место из речи Ф.Э.Дзержинского «Вопросы труда и зарплаты в промышленности»: «Это может произойти в течение дня, если боятся Дзержинского, а если это не Дзержинский, — будет идти целую неделю, целый месяц...» (Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения: В 2 т. 3 изд., испр. и доп. М., 1977. Т. 2: 1924—1926. С. 484; впервые — Правда. 1926. 8 июля).

19—3400

С. 265. *Воровский* Вацлав Вацлавович (1871—1923) — большевик, советский государственный деятель. Ходасевич был знаком с ним.

...у «европейца» Х! — Видимо, имеется в виду Леонид Борисович Красин (1870—1926), нарком торговли и промышленности, полпред в Великобритании и Франции.

Здравница (с. 266). — *В*. 1929. 14 марта.

См. также: Беседы В.Д.Дувакина с М.М.Бахтиным. М., 1996. С. 78—87.

С. 266. Бокова-*Сеченова Мария Александровна* (1839—1929) — жена знаменитого физиолога И.М.Сеченова. Предание о том, что она была прототипом Веры Павловны в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?», не соответствует действительности. См.: Рейсер С.А. Легенда о прототипах «Что делать?» // Труды Ленинградского библиотечного института. Л., 1957. Т. II. С. 115—126; а также коммент. С.А.Рейсера в кн.: Чернышевский Н.Г. Что делать? Л., 1975.

С. 267. *«Переписка»* — кн. «Переписка из двух углов», составленная из писем М.О.Гершензона и В.И.Иванова друг к другу, написанных во время пребывания в «здравнице».

Профессор Г. — Александр Петрович Губарев (1858—1931). Книга «Оперативная гинекология» была издана в Петербурге в 1910 г. и в Москве в 1915 г.

С. 268. *Фирсов* Николай Николаевич (1864—1934) — историк, профессор Казанского университета.

С. 269. *Аксельрод-Ортодокс* Любовь Исааковна (1868—1940) — видная деятельница русского революционного движения, член группы «Освобождение труда», партии меньшевиков. Автор многих книг по философии и истории литературы.

...заметил Брейгель.... — Ср. в прозаическом наброске 1938 г. «Атлантида»: «Чтобы закрыть дырку в обоях, хозяин повесил снимок с картины Брейгеля, купленный за франк вместе со стеклом; человеческие головы, лишенные туловища, похожие на уродливые картофелины, стремятся пожрать друг друга; самая тощая носатая морда воткнула единственный зуб в самую толстую, как тупой нож в подушку» (т. 3 наст. изд.). Здесь явно имеется в виду эскиз к картине Питера Брейгеля Старшего «Битва Масленицы и Поста» (ок. 1559; см.: Tout l'oeuvre peint de Bruegel l'Ancien / Introduction par Charles de Tolnay; documentation par Piero Bianconi. [P., s.a.]. P. 92). Впрочем, не исключено, что в комментируемом пассаже Ходасевич мог подразумевать гравюры по рисункам Брейгеля «Кухня толстых» и «Кухня худых».

С. 271. *Бунин Юлий Алексеевич* (1858—1922) — писатель, старший брат И.А.Бунина.

«Диск» (с. 273). — *В*. 1939. 7, 14 апреля.

С. 273. *Вейнер* Петр Петрович (1879—1931) — искусствовед, издатель журн. «Старые годы».

С. 274. *Прав был поэт...* — Двустишие принадлежит самому Ходасевичу.

Дом Ученых, Дом Литераторов, Дом Искусств — обо всех этих учреждениях существует довольно большая литература. См. библиографию в примеч. М.В.Безродного к републикации очерка Ходасевича «Поездка в Порхов» (*ЛО*. 1989. № 11).

С. 275. *...гастрономического торговца Елисеева.* — Согласно разысканиям М.В.Безродного, дом, в котором размещался «Диск», принадлежал не владельцу фирмы «Бр.Елисеевы» Г.Г.Елисееву, а его родственнику С.П.Елисееву, не имевшему к торговому товариществу отношения (*ЛО*. 1989. № 11. С. 105).

С. 276. *Фрида Наппельбаум* — Фредерика Моисеевна Наппельбаум (1902—1958), поэтесса, дочь знаменитого фотографа М.С.Наппельбаума.

Ухтомский Сергей Александрович (1880—1921) — скульптор, сотрудник Русского музея.

Липгардт Эрнест Карлович (1847—1934) — искусствовед, художник, член общества «Старый Петербург».

С. 277. *Леткова-Султанова* — см. коммент. к ст-нию «Гостю» (т. 1 наст. изд.). Ее воспоминания о Доме искусств см.: Красная панорама. 1928. № 12.

Волынский (Флексер) *Аким* Львович (1863—1926) — искусствовед, литературный критик.

Слонимский Михаил Леонидович (1897—1972) — известный советский прозаик. Его воспоминания о Доме искусств см.: Слонимский М. Завтра. Л., 1987.

...колыбель «Серапионовых братьев»... — В состав этой группы, помимо названных Ходасевичем *Всеволода* Вячеславовича *Иванова* (1895—1963), *Михаила* Михайловича *Зощенко* (1895—1958), *Константина* Александровича *Федина* (1892—1977), *Николая* Николаевича *Никитина* (1895—1963), *Льва* Натановича *Лунца* (1901—1924), Вениамина Александровича *Каверина* (наст. фам. Зильбер; 1902—1989), входили Н.С.Тихонов, Е.П.Полонская и некоторые другие молодые писатели.

С. 278. *Иванов Георгий* Владимирович (1894—1958) — поэт, прозаик, с которым Ходасевич в 20—30-е годы находился в продолжительном конфликте (см.: Богомолов Н.А. Георгий Иванов и Владислав Ходасевич // Русская литература. 1990. № 3).

Одоевцева Ирина (Рада Густавовна Гейнике; 1895—1990; по другим источникам — род. в 1903) — поэтесса, прозаик, мемуарист, с 1922 г. — жена Г.В.Иванова.

Грин (Гриневский) Александр Степанович (1880—1932) — прозаик. Жизнь в Доме искусств отразилась в его рассказе «Крысолов» (1924).

С. 279. *Рождественский Всеволод* Александрович (1895—1977) — впоследствии известный советский поэт.

Пяст (Пестовский) *Владимир* Алексеевич (1886—1940) — поэт, мемуарист, стиховед, переводчик. Подробнее см. в статье Ходасевича «Памяти В.А.Пяста» (наст. том).

С. 280. *Щекотихина* (Щекатихина-Потоцкая) Александра Васильевна (1892—1967) — художница, жена И.Я.Билибина с 1923 г.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — известный художник, был в эмиграции в 1920—1936 гг.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт и переводчик.

С. 281. *Милашевский* Владимир Алексеевич (1893—1976) — художник. О Доме искусств он много писал в воспоминаниях «Вчера, позавчера» (М., 1989). См. также его мемуары «В доме на Мойке» (Звезда. 1970. № 12).

Форш Ольга Дмитриевна (1873—1961) — известная советская писательница, автор романа «Сумасшедший корабль» (1931), описывающего жизнь Дома искусств.

Эрберг (Сюннерберг) Константин Александрович (1871—1942) — поэт, философ, теоретик искусства.

...об одном священнике... — По всей видимости, имеется в виду Александр Иванович Введенский (1888—1946), один из основателей т.н. «живой церкви», неоднократно говоривший о Блоке в своих проповедях и цитировавший его стихи (см.: *ЛН.* Т. 92, кн. 3. С. 824, 827).

С. 282. *Тиняков* — см. коммент. к очерку «Брюсов». Слух о его работе в Казанской ЧК вряд ли соответствует действительности.

С. 283. *Шкловский Виктор* Борисович (1893—1984) вспоминал о жизни в «Диске» в своей кн. «Сентиментальное путешествие» (М., 1991).

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941) — политический деятель, член партии меньшевиков.

О СОВРЕМЕННИКАХ

Виктор Гофман (с. 285). — *ПН.* 1925. 14 октября.

Подробнее о жизни и творчестве Виктора Викторовича Гофмана (1884—1911) Ходасевич писал в большом предисловии к собранию его сочинений (М., 1917. Т. 1; переизд. — Берлин, 1922). См. также: Виктор Гофман: (К двадцатипятилетию со дня смерти) // *В.* 1936. 5 сентября.

С. 285. *Злой рок столкнул его с Брюсовым.* — См.: Брюсов Валерий. Мои воспоминания о Викторе Гофмане // Гофман В. Собр. соч. Т. 1; перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990.

С. 286. *...«брать» эти миги и «губить» их...* — Непрямая цитата из ст-ния Брюсова «Habet illa in alvo»: «Берем мы миги, их губя...»

«Хочется счастья, как же без счастья?..» — Из ст-ния Гофмана «Безнадежность» (1903—1904).

С. 287. *Брюсов о ней написал в «Весах» уничтожающую рецензию...* — См.: Весы. 1905. № 1; перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов.

«Всеобщее голосование с точки зрения философии» — в архиве Гофмана (*РГБ*. Ф. 560) сохранилась вырезка этой статьи (подпись: Xenos) с пометой: «“Русский листок”, ноябрь 1906». Однако в газ. «Русский листок» такой статьи нами не обнаружено.

«Двухстепенные выборы» — Свободный труд. 1906. 11 февраля; подпись: Виллис.

С. 288. *...издал вторую... книгу стихов — «Искус»...* — СПб., 1910.

С. 289. *Пытался работать над прозой...* — См. сб. «Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры» (СПб., 1912).

Минский (Виленкин) Николай Максимович (1855—1907) — поэт.

Тугендхольд Яков Александрович (1882—1928) — художественный критик, автор заметки «Последние дни Виктора Гофмана» (Речь. 1911. 11 августа), из которой Ходасевич заимствовал многие подробности смерти Гофмана.

С. 290. *...оставив письма к сестре и матери.* — *РГБ*. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 9—10. Процитируем последнее письмо к матери: «Дорогая мамочка, Я сошел с ума. Я уже совсем идиот. Я бы не хотел тебя огорчать, но со мною все кончено. Умоляю помнить об Анне Яковл. Сейчас меня возьмут в полицию и в конце концов убьют. Помочь ты ничем не можешь. Я уже ничего не помню. Виктор. Сейчас я хуже, чем приговоренный к смертной казни» (Ед. хр. 10. Л. 49).

Черепанов (с. 292). — *В*. 1936. 18, 26 марта.

С. 292. *Недавно М.А.Алданов посвятил несколько статей...* — Марк Александрович *Алданов* (Ландау) опубликовал в 1936 г. в *ПН* цикл статей: «Взрыв в Леонтьевском переулке» (9 февраля), «Дача в Краскове» (16 февраля), «Нестор Махно» (23 февраля), «Москва и Гуляй-Поле» (1 марта), «Анархисты подполья» (8 марта), «Конец дачи» (15 марта).

Истинные виновники... — Подробнее см.: Красная книга ВЧК. Т. 1. С. 313—400; показания Д.А.Черепанова и его фотография — на с. 398—400.

С. 294. *Спиридонова Мария* Александровна (1884—1941) — лидер партии левых эсеров.

С. 296. *Креймановцы, комиссаровцы* — учащиеся частной московской гимназии Ф.И.Креймана на Петровке и московского Комиссаровского технического училища (в Благовещенском переулке на Тверской).

С. 297. *Ярхо Григорий Исаакович* (1886—1954) — переводчик.

Энкруаябли — от *фр*. incroyable — невероятный.

С. 301. *Маклаков* Василий Алексеевич (1869—1957) — один из лидеров партии кадетов.

С. 302. *«Сакия-Муни»* — популярнейшее в свое время ст-ние Д.С.Мережковского (1885).

С. 304. *...в убийстве Мирбаха...* — Посол Германии в России гр. Вильгельм фон Мирбах (1871—1918) был убит сотрудником ВЧК левым эсером Я.Г.Блюмкиным 6 июля 1918 г., что послужило сигналом к началу левоэсеровского мятежа.

Памяти Сергея Кречетова (с. 306). — *В.* 1936. 28 мая.

С. 306. *...его стихи появились в «Северных Цветах»...* — Ходасевич ошибся: в альм. «Северные цветы» 1902 г. стихов В.В.Гофмана не было. Три ст-ния его были опубл. в кн.: Северные цветы: Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. С. 121—124.

Брюсов тотчас ополчился против «Грифа»... — Это мнение Ходасевича не вполне верно. Первоначально «Гриф» и «Скорпион» были соратниками. См.: «Борьба за новое искусство. Сторонники были "Скорпионы" и "Грифы" (новое книгоиздательство)» (Брюсов Валерий. Дневники. М., 1927. С. 130). Расхождение началось позже, когда Брюсов познакомился с первой продукцией изд-ва: «Позже они издали альманах "Гриф" — серый по обертке и по содержанию» (Там же. С. 131). Ср. также рец. Брюсова на первые два альманаха «Гриф»: Весы. 1904. № 3 (подпись: Д.Сбирко); Весы. 1905. № 3 (обе перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов).

С. 307. *А.Миропольский* (Александр Александрович Ланг; 1872—1917) — поэт, сотрудник сборников «Русские символисты», автор книг «Одинокий труд» (М., 1899; под псевд. А.Березин) и «Ведьма. Лествица» (М., 1904).

...редактор «Золотого Руна» и «Перевала»... — С.А.Соколов был редактором литературного отдела журн. «Золотое руно» (редактором-издателем был Н.П.Рябушинский, стремившийся единолично определять политику журнала) с момента организации его до 4 июля 1906 г. Сразу после ухода из «Золотого руна» он решил основать собственный журнал, которым стал «Перевал» (12 номеров в 1906—1907 гг.). Следует также отметить, что в 1905 г. Соколов был одним из редакторов журн. «Искусство».

С. 308. *...Кречетов чрезвычайно высоко ставил Блока в ту самую пору, когда Брюсов к нему относился весьма критически...* — Первый из зафиксированных отзывов Брюсова о Блоке действительно очень нелестен: «Он из мира Соловьевых. Он не поэт» (Перцов П. Ранний Блок. М., 1922. С. 24). Скептически отозвался он о стихах Блока и в рец. на второй альманах «Гриф» (Весы. 1905. № 3). Об отношениях Соколова с Блоком см.: Переписка Блока с С.А.Соколовым / Публ. К.Н.Суворовой // *ЛН.* Т. 92, кн. 1.

«Тихие песни» — сб. стихов И. Анненского (СПб., 1904). Кн. *«Кипарисовый ларец»* была издана «Грифом» в 1910 г.

Памяти Б. А. Садовского (с. 310). — *ПН.* 1925. 3 мая.

Слух о смерти Б.А.Садовского оказался ложным: он умер в 1952 г., в полной нищете и забвении. О жизни Садовского см. недавние публикации: Садовской Б. Записки / Публ. С.В.Шумихина // Российский архив. М., 1991. Т. 1; Садовской Б. Заметки. Дневник / Публ. И.Андреевой // Знамя. 1992. № 7; Садовской Б.

«Весы»: Воспоминания сотрудника / Публ. Р.Л.Щербакова // *М-13*. Ср. также письма Ходасевича к нему в наст. томе.

С. 310. *Болезнь, сгубившая...*— Прогрессивный паралич на почве сифилиса.

...он начал печататься в 1904 году... — Это утверждение относится лишь к столичной печати. В печати нижегородской Садовской выступал с 1901 г.

С. 311. *Кроме шести... книг стихов...* — Ходасевич спутал название одной книги («Пять поэм» на самом деле назывались «Косые лучи. Пять поэм», М., 1914) и не упомянул еще одного сборника — «Морозные узоры. Рассказы в стихах и прозе» (Пг., 1922), о котором, очевидно, не знал, т.к. вошедшая туда маленькая поэма «Наденька», для сюжетной канвы которой основой послужил роман Брюсова и Н.Львовой, не могла бы не привлечь его внимания.

...его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». — Очевидно, эта фраза восходит к мнению самого Садовского, который 5 апреля 1915 г. писал прозаику Ю.И.Юркуну по поводу «стилизатора» С.А.Ауслендера: «Пора и М.А. (Кузмину. — *Коммент.*) и мне стряхнуть с себя эту пиявку-двойника. То и дело слышат: "Кузмин, Ауслендер, Садовской". Ну, М.А. страдает как дядя, а я-то при чем?» (*РГАЛИ*. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 14). Впрочем, следует отметить, что некоторые стилизации Садовского могли обмануть даже такого опытного исследователя, как Г.Хетсо, который в кн. «Евгений Баратынский. Жизнь и творчество» (Осло, 1973) ссылается на рассказ Садовского «Две главы из неизданных записок» как на исторический источник. См.: Шумихин С.В. Мнимый Блок? // *ЛН*. Т. 92, кн. 4. С. 741—742.

С. 312. *...первое опубликование документов...* — См.: Садовской Б. Ледоход. Пг., 1916.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — историк, издатель журн. «Русский архив». Об отношениях с Бартеневым см. в «Записках» Садовского (Российский архив. Т.1. С. 162—164).

«Мусагет» — московское символистское изд-во, существовавшее в 1909—1917 гг. См.: Толстых Г.А. Издательство «Мусагет» // Книга: Исследования и материалы. М., 1988. Сб. LVI.

С. 313. *«Летучая Мышь»* — московский (позже — в эмиграции) театр миниатюр под руководством Н.Ф.Балиева. И Ходасевич, и Садовской много писали для него.

...со злобной ненавистью — о Николае II. — См. в ст-нии Садовского «Цари и поэты» (1917):

Лишь пред тобой немела лира
И замирал хвалебный строй,
Царь-мученик с лицом вампира,
Несчастный Николай Второй!

(Садовской Б. Обитель смерти. Н.Новгород, 1917. С. 43).

С. Я. Парнок (с. 315). — *В*. 1933. 14 сентября.

См. также статью «София Парнок. Стихотворения» и коммент. к ней (т. 1 наст. изд.).

У Парнок есть два ст-ния, обращенных к Ходасевичу: «Пахнёт по саду розой чайной...» (Северные записки. 1916. № 9) и «С детства помню, груши есть такие...» (Парнок София. Собрание стихов. Ann Arbor, 1979. С. 225), а также статья «Ходасевич» (*СС*. Т. 2. С. 477—484). Письмо Ходасевича к Парнок — *ВЛ*. 1987. № 9 / Публ. Евг.Беня.

С. 315. *В маленьком поэтическом альманахе...* — Проталина: Альм. первый. СПб., 1907.

«Северные Записки» — журнал, издававшийся Софьей Исааковной *Чацкиной* (ум. 1931) в 1913—1917 гг. Среди его авторов, помимо Ходасевича и Парнок, была еще и тесно связанная с Парнок М.И.Цветаева.

...несколько книг стихов... — «Стихотворения» (Пг., 1916), «Розы Пиерии» (М.—Пг., 1922), «Лоза» (М., 1923), «Музыка» (М., 1926), «Вполголоса» (М., 1928).

Из петербургских воспоминаний <Сологуб> (с. 317). — *В*. 1937. 23 июля. См. также очерк «Сологуб», вошедший в кн. «Некрополь», и некрологическую статью «Федор Сологуб» (*В*. 1927. 7 декабря; подпись: В.Х.).

С. 317. *...это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто...* — Ср. с высказыванием Ходасевича о собственной поэзии: «Лет через сто какой-ниб<удь> молодой ученый, или поэт, а то и просто сноб, долгоносый болтун, вроде Вишняка, разыщет книгу моих стихов и сделает (месяца на два) литературную моду на Ходасевича» (*БП*. С. 48).

С. 319. *...знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами...* — Имеется в виду следующий случай: А.М.Ремизов уговорил Ан.Н.Чеботаревскую достать ему для маскарадного костюма обезьяныо шкуру и, когда она с большим трудом у знакомых была добыта, отрезал у нее хвост, чем причинил Чеботаревской много неприятностей. Подробно (однако не называя имени Ремизова) историю эту изложил Г.И.Чулков. См.: Чулков Г.И. Годы странствий. М., 1930. С. 160—161. Ныне см. исчерпывающую статью: Обатнина Е.Р. От маскарада к третейскому суду: («Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве А.М.Ремизова) // Лица: Биографический альманах. М.—СПб., 1993. Т. 3.

...из Вологды или из Ярославля... — В годы революции Сологуб подолгу жил на своей даче под Костромой.

С. 320. *Тьеполо* Джованни Баттиста (1696—1770) — итальянский художник.

С. 320—321. *...небольшая статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян...* — Вероятно, имеется в виду статья «К переизданию "Леонардо"» (Жизнь искусства. 1921. 13 августа).

С. 321. *Мы переживали эпоху пайков.* — Подробное официальное изложение всей истории с выделением и распределением новых академических пайков см.: Академические пайки для литераторов // Вестник литературы. 1921. № 4/5. С. 21—22.

...как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. — 1 марта 1921 г.

О меценатах (с. 324). — *В.* 1936. 3, 17 октября.

С. 324. *...М.А.Алданов мимоходом высказал ту же мысль...* — См.: Алданов М. О положении эмигрантской литературы // *СЗ.* 1936. Кн. LXI. С. 409.

С. 325. *Поляков Сергей Александрович* (1877—1942) — владелец изд-ва «Скорпион», переводчик. Подробнее о нем см.: Гречишкин С.С. Архив С.А.Полякова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980; Malmstad J. From the History of Russian Symbolism: Andrey Belyj and Sergej Poljakov // Stan ford Slavic Studies. Stanford, 1987. Vol. 1; Белый Андрей. С.А.Полякову / Публ. Н.В.Котрелева // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988; Переписка <Брюсова> с С.А.Поляковым / Вступ. статья и коммент. Н.В.Котрелева // *ЛН.* Т. 98, кн. 2.

...Бальмонт посвящал нескольким людям сразу. — См. коммент. к очерку «Конец Ренаты» (с. 537).

С. 326. *...он «открыл» Кнута Гамсуна...* — Поляков был переводчиком романов Гамсуна «Пан» и «Виктория», пьесы «Драма жизни».

...он за всю жизнь написал в «Весах» одну маленькую рецензию... — Поляков действительно печатался в «Весах» очень мало, хотя все же и неоднократно, пользуясь псевд. С.Ещбоев. Возможно, речь идет о рец.: Ещбоев С. Станислав Пшибышевский. Снег // Весы. 1904. № 5.

С. 327. *Сабашников Михаил Васильевич* (1871—1943). — О нем и его изд-ве см.: Белов С.В. Книгоиздатели Сабашниковы. М., 1974; Записки Михаила Васильевича Сабашникова. М., 1994. Ходасевич начинал для изд-ва М. и С.Сабашниковых работу над биографией Пушкина.

С. 328. *Р.* — очевидно, имеется в виду Владимир Васильевич Линденбаум, автор кн. стихов «Уклоны» (Ярославль, 1904), финансировавший издание журн. «Перевал». Линденбаум был официальным издателем «Перевала», а редактором был С.А.Соколов (С.Кречетов), который, видимо, и назван «литературных дел мастером». Можно полагать, что Ходасевич несколько сместил реалии, т.к. только что опубликовал прочувствованный некролог Соколова (см. в наст. томе). Подробнее см.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 174—175.

С. 329. *Л-в* — имеется в виду миллионер, издатель журн. «Золотое руно», литератор и художник-дилетант Николай Павлович Рябушинский (писал также под псевд. Н.Шинский; 1876—1951). См. его характеристики у современников: Бенуа Александр. Мои воспоминания. М., 1989. Кн. IV, V. С. 435—436; Белый Андрей. Между двух революций. М., 1990. С. 68. Несколько апологетический очерк его биографии см.: Думова Н. Московские меценаты. М., 1992.

С. 330—331. *...один художественный и критический журнал...*

— Журн. «Искусство» (1905). Редактором его художественного отдела был Николай Яковлевич Тароватый (ум. 1906), редактором литературного — С.А.Соколов. Подписной год «Искусство», вопреки утверждениям Ходасевича, не закончило, оборвавшись на № 8.

С. 331. *«Манифест»* — *ЗР*. 1906. № 1. С. 3—4. «Манифест» был написан С.А.Соколовым и вызвал издевательскую критику. См.: Товарищ Герман [Гиппиус З.Н.]. «Золотое руно» // Весы. 1906. № 2; Товарищ Герман [Брюсов В.Я.]. «Золотому руну» // Весы. 1906. № 5 (перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов; там же в примеч. — рассказ о литературной игре с одинаковым псевдонимом двух авторов).

С. 332. *...Л-в решил взять общее руководство журналом в свои руки.* — Конфликт между Н.П.Рябушинским и С.А.Соколовым, вызванный желанием первого играть в журнале ведущую роль не только как издатель, но и как редактор, относится к июлю 1906 г. В результате конфликта Соколов покинул журнал.

С. 333. *Некто И.А.Добычин...* — Никакими данными об этом лице мы не располагаем.

Мариэтта Шагинян (с. 336). — *Д*. 1925. 4 октября.

С М.С.Шагинян Ходасевич был знаком достаточно близко. См.: Шагинян М. Человек и время: История человеческого становления. М., 1982. С. 196—197. О характере их отношений (в мемуарном изображении деформированном по политическим мотивам) см. также фрагмент из письма Шагинян к Андрею Белому от 17 декабря [1908 г.]: «В комнате стоит печка и пахнет керосином. Это первая достопримечательность. Вторая — висит на стене портрет Толстого из "Искр", привешенный добродетельной хозяйкой дома (потому что "зачем ему пропадать"), а над ним Ходасевич (приятель двух сестер) повесил боа, "чтоб змей искушал святого старца"» (*РГБ*. Ф. 25. Карт. 25. Ед. хр. 14. Л. 38).

С. 337. *М*. — Марина Рындина.

Потресов (псевд. Яблоновский) *Сергей Викторович* (1870—1954) — журналист, литературный критик.

З.Н.Гиппиус долгое время была объектом самого пристального внимания и поклонения Шагинян, которая любила ее «больше себя и жизни» (цит. письмо к Андрею Белому. Л. 39 об.), написала кн. «О блаженстве имущего (Поэзия З.Н.Гиппиус)» (М., 1912). См. также: Шагинян М. Человек и время. С. 211 и далее.

С. 338. *...кажется, в конце 1909 года...* — На самом деле, в конце 1908 г. Письма Шагинян к Белому хранятся в Отделе рукописей *РГБ*, десять писем Белого к себе опубл. сама Шагинян (Человек и время. С. 239—250).

Полуразрушенный особняк — дом Феррари в Успенском переулке на Малой Дмитровке.

С. 339. *Метнер* Эмилий Карлович (1873—1936) — музыкальный критик, теоретик символизма, один из основателей изд-ва «Му-

сагет». Об отношениях Шагинян с ним см.: Ljunggren M. The Russian Mephisto. Stockholm, 1994 (по указателю).

...с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию... — См.: Шагинян М. Кое-что о русской интеллигенции // Известия Петроградского совета. 1921. 9 декабря.

...патриотические статьи. — Т.е. статьи в защиту «белого дела».

С. 340. — *Ваши стихи больше вас.* — Отношение Шагинян к поэзии Ходасевича выражено в рец. на «Счастливый домик» (Приазовский край. 1914. 16 марта) и «Путем зерна» (Петербург. 1922. № 2).

С. 341. *...его вдову...* — Анну Николаевну Энгельгардт (1895—1942). После смерти Гумилева она оказалась в чрезвычайно тяжелом материальном положении. Подробнее см.: Анна Энгельгардт — жена Гумилева / Публ. К.М.Азадовского и А.В.Лаврова // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994.

«Многие из нас... вообразили, что потеряли свободу». — Из статьи Шагинян «Тревога» (Россия. 1925. № 5 (14). С. 171).

Памяти В. А. Пяста (с. 343). — *В.* 1932. 31 марта.

С. 343. *Сборник стихов* — «Ограда» (СПб., 1909).

С. 344. *...его любил Блок.* — См. вступ. статью З.Г.Минц к публ. переписки Пяста с Блоком (*ЛН.* Т. 92, кн. 2).

С. 345. *...он написал стихи, восхваляющие «великолепную Мангуст»...* — «Великолепная Мангуст...» (Из цикла «Finale») // Пяст Вл. Третья книга лирики. Берлин—Пб.—М., 1922. С. 36—37. Выразительное описание «скаковых» интересов Пяста см.: Тихонов Н. Устная книга // *ВЛ.* 1980. № 6. С. 110—111.

...воспоминания о Блоке... — Пяст Вл. Воспоминания о Блоке. Письма Блока. Пг., 1923; перепеч.: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1.

...книга общих литературных воспоминаний его... — Пяст Вл. Встречи. М., 1929. Рец. Ходасевича — *В.* 1931. 15 января.

Телеграфные известия о его смерти... — Оказались неверными. Пяст умер от рака в 1940 г. См.: *НН.* 1989. № 4. С. 102—103. См. также некрологический очерк Г.Иванова о Пясте «Лунатик» (*ПН.* 1932. 25 июня; перепеч.: Литературная газета. 1990. 14 марта; Иванов Георгий. Собр. соч. Т. 3. С. 344—352).

Прогресс (с. 346). — *В.* 1938. 8 апреля.

С. 347. *Впоследствии, в одном из писем...* — В письме из Сорренто в Париж от 13 августа 1925 г. Горький припомнил Ходасевичу его слова в контексте их спора о «воле к работе» в советской России и современной Европе, завязавшегося вокруг очерка Ходасевича «Бельфаст» (см. коммент. к нему в т. 3 наст. изд.): «Думаю, что и осуждать людей за недостаток “воли к работе” Вам не следует, ведь это воля, творящая “прогресс”, а Вы, по Вашему же заявлению, не принадлежите к числу “любителей прогресса”» (*НЖ.* 1952. Кн. 31. С. 205). Значение этого разногласия в отношениях двух писателей

подчеркнуто тем, что на цитируемом письме Горького оборвалась их переписка (Ходасевич не ответил).

В 1908 году, когда Блерио перелетел через Ла-Манш... — Полет французского авиатора Луи Блерио состоялся 25 июля 1909 г.

...под заглавием «Тяжелее воздуха». — Ходасевич путает: фельетон под этим названием он напечатал в газ. «Руль» (1909. 14 сентября; подпись: Гарольд); фельетон касался темы воздухоплавания, но вспоминает здесь Ходасевич другую свою статью — «Накануне» — в газ. «Раннее утро» (1909. 25 июня; подпись: Кориолан). Статья, таким образом, написана еще до полета Блерио; фраза, цитируемая автором по памяти: «А когда военные визиты откровенно превратятся в сражения — не придется ли нам прятаться под землею, уходить на 40 этажей вниз, как теперь взбираемся мы на сороковые этажи вверх?» (см. статьи «Накануне» и «Тяжелее воздуха» в: *СС*. Т. 2. С. 66—67, 70—71).

Горький (с. 348). — Опубл. посмертно: *СЗ*. 1940. Кн. LXX. С. 131—156; с редакционным предисл.: «Первая часть воспоминаний В.Ф.Ходасевича о Горьком помещена в "Современных Записках" за 1937 (кн. 63). Печатаемая здесь вторая часть публикуется уже в порядке литературного наследства В.Ф.Ходасевича. Покойный В.Ф. сам сомневался в возможности опубликования этой части полностью, поскольку в ней затрагиваются некоторые и поныне здравствующие лица. В согласии с этими соображениями автора, мы сочли себя обязанными опустить в тексте соответствующие места (около полутора печатной страницы), не имеющие к тому же ближайшего отношения к характеристике самого Горького» (С. 131). Написано в 1937—1938 гг., на что указывают первая фраза очерка и две прижизненные публикации фрагментов: «О Горьком (из воспоминаний)» — *В*. 1937. 10 декабря; «"Беседа" (из воспоминаний)». — *В*. 1938. 14 января.

С. 349. *Осенью 1918 года...* — В первой половине октября 1918 г., находясь в Петрограде по вызову Горького, Ходасевич вел переговоры с ним и А.Н.Тихоновым о работе во «Всемирной литературе» — изд-ве, созданном в августе этого года Горьким, Тихоновым, З.И.Гржебиным и И.П.Ладыжниковым (см. договор между ними, подписанный 20 августа 1918 г. — Архив А.М.Горького. М., 1966. Т. X, ч. 1. С. 16—17). 12 октября Ходасевич писал жене из Петербурга: «Все еще не выяснено насчет Горького. Принципиально я получил заказ на 3 тома (ред. и переводы): 2 тома стихов и том прозы. Но только в понедельник выяснится, принимают ли они мою расценку. Кроме того, т.к. это предприятие казенное, то даже мне, редактору, *нельзя* дать аванс. По-видимому, Тихонов хочет его дать, и вот возникает проект сделать меня чем-то вроде московского представителя с определенным жалованьем (месячным), в счет которого аванс можно бы устроить. Я сказал, что без аванса работать отказываюсь. Надеюсь — уладится» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47; см. там же письма от 4, 6, 8, 15 октября). В одной из анкет в 1919 г.

Ходасевич писал: «С октября 1918 г. состоял заведующим Московским отделением изд-ва “Всемирной Литературы”» (*ГА РФ*. Ф. 2306. Оп. 2. Д. 453; цит. по копии, хранящейся в *АГ*).

С. 351. *...в «Правде»... появилась статья на тему о том...* — «Странное недоразумение», подпись: Рабочий-коммунист (Правда. 1919. 9 ноября). Поводом для заметки был выход в частном изд-ве З.И.Гржебина, основанном в 1919 г. при содействии Горького (см. его письмо В.В.Воровскому от 21 мая 1919 г. — Архив А.М.Горького. Т. X, ч. 1. С. 10—11), кн. А.В.Луначарского «Великий переворот», с приложением плана изд-ва, в котором значилась программа серии «Летопись революции» (анонсировались мемуары Ф.Дана, Л.Мартова, В.Чернова, А.Потресова). Заметка выражала недоумение по поводу того, что книга Луначарского вышла не в государственном, а в «авантюристическом» частном изд-ве и что Луначарский попал в меньшевистско-эсеровскую компанию. 2 декабря «Правда» напечатала «Письмо в редакцию», подписанное Горьким, В.Десницким-Строевым, А.Пинкевичем и З.Гржебиным. От имени изд-ва, редакторами которого они являются, авторы письма заявляли: «Назвав издательство З.И.Гржебина “авантюристическим”, автор письма грубо оскорбил нас, нижеподписавшихся. Поэтому предлагаем редакции газеты “Правда” сообщить нам имя автора заметки “Странное недоразумение”, ибо мы находим нужным привлечь его к суду за оскорбление». В том же номере «Правды» помещен от редакции «Ответ издательству З.И.Гржебина» за подписью Н.Бухарина, Н.Мещерякова, Г.Сафарова и А.Сольца; здесь и использована история с закупкой бумаги как дополнительный криминальный факт против изд-ва Гржебина: «Наконец, мы можем привести и еще один пример. Как назвать издательство, которое, как двуликий Янус, имеет сразу и частное и “советское” лицо и в своем “советском” качестве создает “план” закупки бумаги в Финляндии для Питера (который, мол, будет занят Юденичем) и с этой целью стремится заполучить крупные суммы особливо приятного белогвардейцам “думского” достоинства?»

С. 352. *...у него умер ребенок.* — Сын Анатолий, род. 9 (22) декабря 1907 г., умер в июне 1908 г. на Капри, где с января этого года жил Луначарский с семьей. «...мой крестник, — писал Горький Е.П.Пешковой ок. 24 июня (7 июля). — Шесть дней умирал <...> Сейчас иду хоронить» (Архив А.М.Горького. М., 1966. Т. IX. С. 51). Дочь Луначарского от второго брака И.А.Луначарская выразила сомнение в достоверности рассказа Ходасевича. «Атеизм Луначарского, — пишет она, — был философским, а не мещански-бытовым, препятствующим традициям “христианского обряда”. Луначарский в 1902 г. венчался в Вологде, сохранились документы, подтверждающие, что Горький по просьбе Луначарского был крестным отцом мальчика» (Октябрь. 1990. № 2. С. 208).

...имел с нею длинную... беседу... — Подробно о беседе Ходасевич рассказал в «Белом коридоре» (см. в наст. томе).

С. 354. *Мара* — Мария Игнатьевна Будберг (урожд. Закревская; 1892—1974) — секретарь и спутница Горького с 1919 г. См. о ней кн.

Н.Берберовой «Железная женщина» (Нью-Йорк, 1982); также воспоминания ее дочери: Tania Alexander. An Estonian Childhoom. London, 1987. Роберт Брюс *Локкарт* рассказал о «Маре», с которой был близок в бытность его секретарем британского посольства в Москве в 1918 г., в кн. «Memoirs of a British Agent» (London, 1932).

С. 357. *...копию письма Луначарского, датированного 22-м числом.* — Об этой истории Ходасевич уже писал, почти в тех же выражениях, в статье «З.Н.Гиппиус, "Живые Лица"» (1925); см. коммент. к ней в т. 2 наст. изд. В наст. очерке он дополняет свой рассказ сообщением о реакции Горького на письмо Луначарского (копию своего письма в ЦК РКП(б) от 15 июля 1921 г. он направил Горькому; на этой машинописной копии, хранящейся в *АГ*, приписано от руки: «Дубликат тов. Горькому»; ее и показал Горький Ходасевичу). Интересно отметить, что в те же дни или несколько позже (не позднее 23 июля) Горький обратился с заявлением в Наркомпрос на имя Луначарского, где в ряду других тем коснулся и выезда Блока, повторив при этом аргументацию Луначарского (однако не называя имени Сологуба): «Укажу еще на то, что умирающего А.А.Блока, который по глубокой честности своей не скажет ни слова хулы на Совправительство, — Блока не пустили лечиться в Финляндию, а заведомых врагов Соввласти отпускают по три штуки сразу. Это — странно» (Известия ЦК КПСС. 1989. № 5. С. 216).

Тихвинский Михаил Михайлович (1864—1921) — ученый-химик, профессор Петербургского технологического института. В 1905 г. бывал у Горького в дни подготовки декабрьского восстания (см. заметку «Митя Павлов» — Горький М. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 17. С. 220). Расстрелян по Таганцевскому делу. См. опубликованную в заметке Ф.Перченка «Список расстрелянных» дневниковую запись В.И.Вернадского (сентябрь 1924), сообщающую о письме, посланном после ареста Тихвинского Вернадским Горькому с просьбой показать его Ленину; по сведениям Вернадского, письмо до Ленина не дошло, т.к. было отобрано при обыске на квартире Горького в связи с делом Всероссийского комитета помощи голодающим (Новый мир. 1989. № 4. С. 264). В № 1 *Б* (1923. Май-июнь) Горький упоминал Тихвинского в рассказе «Люди наедине сами с собою» (Полн. собр. соч. Т. 17. С. 170).

С. 358. *...Всероссийский комитет помощи голодающим...* — Об истории создания (21 июля 1921 г.) и разгрома комитета (27 августа 1921 г.) и роли Горького в этих событиях см.: Кускова Е.Д. Месяц «соглашательства» // Воля России. 1928. № 3—5; Геллер М. Первое предостережение — удар хлыстом // *ВРСХД*. № 127; перепеч.: Вопросы философии. 1990. № 9.

С. 359. *В день приезда я написал Горькому... Он ответил...* — Письмо от 1 июля 1922 г. (см. в наст. томе, письмо 53). Ответ Горького от 3 июля (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 205).

...я статью написал и напечатал. — Статья «Все — на писателей!» (см. в т. 2 наст. изд.). См. также: Галушкин А.Ю. Еще раз о письме Горького в газету «Накануне» // Горький и его эпоха. Вып. 2. М., 1989. С. 261. Зиновьев назван в статье «Треповым от револю-

ции»: «Ибо кто же, как не Трепов — этот петроградский градоначальник, довольно потрудившийся сперва над распровоцированьем Кронштадта, а после — не пожалевший патронов, чтоб унять бунтарей».

С. 361. *Редакция литературного отдела составилась...* — *Б* выходила в изд-ве «Эпоха» в Берлине в 1923—1925 гг. (1923 — № 1, 2, 3; 1924 — № 4, 5; 1925 — № 6/7) под ред. М.Горького; в редакцию всех номеров входили также В.Ф.Ходасевич (литературно-поэтический отдел) и Ф.А.Браун (научный отдел). Б.Ф.Адлер и А.Белый — авторы *Б* — в редакции числились почти номинально. Основными работающими фигурами были: Горький, Ходасевич, Браун, С.Г.Каплун-Сумский (издатель), М.И.Будберг (секретарь); обширную их переписку *АГ* в наст. время готовит к печати. Авторское участие В.Б.Шкловского — лишь в № 1 *Б*; первоначальное намерение ввести его в состав редакции было Горьким отклонено.

...на средства меньшевика Д. — Далин Давид Юльевич (1889—1962) — публицист, меньшевик, сотрудник «Социалистического вестника»; до октября 1923 г. совладелец изд-ва «Эпоха» вместе с С.Г.Каплуном-Сумским.

...«Рассказ Лежневу я не могу дать...» — Из письма Горького от 27 сентября 1923 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 194). Речь идет об участии в журн. сменовеховского направления «Россия», возобновлявшемся его издателем И.И.Лежневым (1891—1955) с февраля 1924 г. после полугодового перерыва (выходил с 1922 г., первоначально под назв. «Новая Россия»).

С. 362. *...Троцкий... осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.* — 13 июля 1924 г. Горький писал Ходасевичу: «А т.Троцкий говорит, что я контрреволюционер и настраиваю крестьянство против советской власти» (*НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 196). Горький имел в виду выступление Л.Д.Троцкого на собрании писателей в Москве в мае 1924 г. (газетную вырезку с отчетом о нем прислал Горькому С.С.Зорин; хранится в *АГ* (КГ-рл 5-86-1); см. также: Троцкий против Горького // *Р*. 1924. 2 июля). Троцкий говорил: «Горький, несомненно, один из крупнейших русских современных писателей, но, к сожалению, он не понимает дух русской революции, и потому он не может любить ни духовных вождей этой революции, ни самой революции». И далее — слова, отчеркнутые Горьким красным карандашом: «Максим Горький, сумевший обмануть наше правительство сладенькими статьями о Ленине и получивший от нас по болезни отпуск за границу, сбросил с себя маску, как только он переступил границы России, и проявляет себя теперь в своем истинном свете. Он возбуждает теперь русских крестьян и подстрекает их к революции против советского правительства». Ходасевич отвечал Горькому 18 июля 1924 г.: «Что же касается Вашей контрреволюционности, то, извините, это верно. Если то, что там происходит, есть революция, то, конечно, Вы контрреволюционер» (*АГ*. КГ-П 83-8-34).

С. 363. *...телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой.* — Запись в дневнике Ходасевича от 21 января 1924 г.: «Умер Ленин. Телеграмма Е.П.Пешковой» (Мосты. 1961. № 8. С. 271).

С. 364. *«...телеграфируй текст надписи на венке».* — Телеграмма Горького Е.П.Пешковой от 23 января: «На венке напиши прощай друг» (Архив А.М.Горького. Т. IX. С. 232).

...воспоминания о Ленине... переведут на многие языки. — В дневнике Ходасевича от 5 февраля: «Горький читал свою статью о Ленине (вслух)» (Мосты. 1961. № 8. С. 271). Первые публикации воспоминаний появились в апреле-мае 1924 г. во французских, английских и чешских газетах (см.: Горький М. Полн. собр. соч. М., 1974. Т. 20. С. 530).

...приехал... Крючков. — В дневнике Ходасевича приезд П.П.Крючкова в Мариенбад не отмечен; отмечен приезд З.И.Гржебина (31 января; см.: Мосты. 1961. № 8. С. 271). Известно письмо Горького Крючкову от 26 января с откликом на смерть Ленина (Летопись жизни и творчества А.М.Горького. М., 1959. Т. 3. С. 359).

...Н.К.Крупская прислала письмо... — Опубл.: Октябрь. 1941. № 6. С. 20; В.И.Ленин и А.М.Горький. М., 1969. С. 265—266.

Горький ответил ей резким письмом... — В *АГ* не обнаружено. Горький послал его через П.П.Крючкова (см. письмо Горького ему, март 1924 г.: Архив А.М.Горького. М., 1976. Т. XIV. С. 451).

...Мара прислала мне радостное известие... — В письме М.И.Будберг Ходасевичу, присланном в одном конверте с письмом Горького (получено Ходасевичем 22 мая 1924 г.): «“Беседа” разрешена в России! Что Вы на это скажете? Надеюсь — довольны, хотя, конечно, всему есть своя обратная сторона...» (цит. по ксерокопии с автографа, хранящегося в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне). «Что означает многоточие и в чем заключается “обратная сторона”? До выяснения оной не могу радоваться...» — отвечал Ходасевич Горькому в 20-х числах мая (*АГ.* КГ-П 83-8-26).

С. 365. *Так, в «Известиях» было напечатано...* — В отчете о судебном процессе по делу о злоупотреблениях в ГУМе (Известия. 1923. 19 декабря) в сенсационной форме сообщалось о связях с Горьким обвиняемого Шатиля, ранее работавшего в КУБУ и пользовавшегося в корыстных целях рекомендательной запиской писателя. См. письмо Горького Е.П.Пешковой от 15 января 1924 г. (Архив А.М.Горького. Т. IX. С. 232). В заметке 25 апреля 1924 г. «Известия» выражали сожаление по поводу своей публикации показаний Шатиля, бросающих тень на Горького.

С. 366. *...статья «Господин Родов»...* — *Д.* 1925. 22 февраля.

С. 367. *В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова.* — Ошибка: Е.П.Пешкова была в Сорренто в конце ноября — начале декабря 1924 г. (Летопись жизни и творчества А.М.Горького. Т. 3. С. 386). Эти сроки («в конце 1924 г.») называл Ходасевич в статье «К истории возвращенчества» (*СС.* Т. 2. С. 430).

С. 368. *...я у него работал... когда был инструктором Всевобуча.* — Отражение работы М.А.Пешкова инструктором спорта и допризывной подготовки при Всевобуче, в отрядах особого назначения Московского комитета РКП и в ВЧК в 1918—1919 гг. см. в его письмах отцу: М.Горький и сын. М., 1971. С. 184—189.

С. 370. *Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.* —

О роли Е.П.Пешковой в организации этой кампании в 1925—1926 гг. Ходасевич писал в неопубликованной при жизни статье «К истории возвращенчества» (1926): «Живя в Сорренто, Е.П. поддерживала оживленную переписку с некоторыми видными представителями эмиграции, в том числе — с Е.Д.Кусковой и Л.О.Дан. Из Сорренто Е.П.Пешкова 3 декабря 1924 года уехала в Россию. Уезжая, не раз говорила, что проездом должна побывать в Праге, чтобы там повидать Е.Д.Кускову "и других" (кого именно — не называла). На просьбы погостить еще — отвечала, что должна ехать, так как иначе не застанет Кускову в Праге, а между тем это свидание для нее весьма важно. Спустя приблизительно месяца два после ее отъезда Горький однажды сказал мне, что в сентябре этого года (1925) истекает трехлетний срок, на который была условно выслана из России известная группа писателей, ученых и общественных деятелей, — и что в сентябре же некоторые из них станут проситься обратно и поведут агитацию за возвращение. "Давно пора", — не раз повторял Горький. Я выразил сомнение, чтобы это могло случиться. Но Горький настаивал на достоверности своих сведений и в точности назвал мне четыре имени: Е.Д.Кусковой, С.Н.Прокоповича, А.В.Пешехонова и М.А.Осоргина. На мой недоверчивый вопрос, откуда ему все это известно, он ответил, что от Е.П.Пешковой. При этом прибавил, что Екатерина Павловна ездила в Прагу, чтобы оказать непосредственное влияние на Кускову, Прокоповича и Пешехонова» (*СС*. Т. 2. С. 430—431). См. об этом также письмо Ходасевича М.М.Карповичу от 7 апреля 1926 г. в наст. томе.

С. 371. *...статья Пешехонова...* — «Родина и эмиграция» (Воля России. 1925. № 7—11).

По этому поводу Горький писал мне... — 15 мая 1925 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 200).

...я не без горечи указал ему в ответном письме... — от 23 мая 1925 г. Ходасевич писал: «"Беседу" жаль, конечно, но злоба во мне преобладает. Ведь ровно год тому назад Вам послали офиц<иальную> бумагу с допущением "Беседы" в Россию. А теперь — заседание: допускать ли? Ясно, что никакого разрешения и не было (как я и говорил Вам), а "бумага" была — обман, очередной подлог этих негодяев. Одно утешение: *больше уж я с ними ничем не связан:* даже апокрифическим разрешением» (*АГ*. КГ-П 83-8-40).

На это Горький мне возразил... — в письме от 29 мая 1925 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 201—202).

С. 372. *...он писал мне 20 июля...* — См.: *НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 203—204.

Я ответил Горькому... — 7 августа 1925 г.: «Милый Алексей Максимович, не сердитесь: но Вы — *любите верить*. Вы как будто с удовлетворением пишете об ионовских предложениях касательно возобновления "Беседы". Вы говорите: "Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит". — Напротив, *уже* ставит, и условие колоссального значения: печатать в Петербурге. Да ведь это же значит: "под цензурой!!!" Невозможно закрывать глаза на то обстоятельство, что подцензурная петербургская "Беседа" отнюдь

не сможет почитаться продолжением свободной берлинской, ибо берлинская, как ни была смирна, — делала это добровольно. И даже журналом типа "Беседа" предполагаемый журнал не будет, ибо самым "типичным" в "Беседе" было то, что над ней не было городового» (см. наст. том, письмо 78).

Учитывая все это, я написал Горькому... — В том же письме (см. наст. том, письмо 78).

С. 373. *...пришел от Горького такой ответ...* — От 13 августа 1925 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 204—205).

С. 374. *...Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев...* — 17 мая 1925 г. (Летопись жизни и творчества А.М.Горького. Т. 3. С. 407).

...знаменитое письмо о смерти Дзержинского... — Письмо Я.С.Ганецкому от конца июля 1926 г.; напечатанное в «Правде» (11 августа под загл. «Максим Горький о тов. Дзержинском»), было перепечатано парижской прессой (*Д*. 1926. 15 августа; *ПН* за то же число). Послужило стимулом для статьи Ходасевича «К истории возвращенчества» (см. коммент. к с. 370).

...куда через год пришлось и вовсе переселиться. — Неточность: после двух длительных поездок в СССР в 1928 и 1929 гг. Горький с мая 1931 г. живет по полгода в Москве и Сорренто, но только в мае 1933 г. уезжает в СССР окончательно.

ПИСЬМА

Письма Ходасевича впервые включаются в собрание его сочинений. Часть из них печатается по автографам, хранящимся в российских архивах: РГАЛИ, РГБ, РО ГЛМ, РНБ, ИМЛИ, ИРЛИ, в семейных коллекциях. Сотрудникам этих архивов мы благодарны за многолетнюю деятельную помощь.

Другая часть эпистолярного наследия Ходасевича разбросана по отделам редких книг и рукописей Йельского, Колумбийского, Индианского университетов, Гуверовского института (Стэнфорд), Амхерст колледжа и др. Мы признательны Дж. Соресу и хранителям американских библиотек за возможность работать в архивах и познакомить читателей с неизвестными письмами периода эмиграции.

Вошли в этот раздел также письма, опубликованные отечественными и зарубежными исследователями в журналах и альманахах. Тексты их, когда это было возможно, сверены с оригиналами и выправлены.

Особая благодарность издателю «Минувшего» Владимиру Аллою за разрешение перепечатать письма Ходасевича, впервые появившиеся на страницах альманаха (это — прежде всего письма к Н.Н.Берберовой, подготовленные Д.Бетеа, и блок писем к разным адресатам, среди которых В.В.Набоков, Вяч.Иванов, З.Н.Гиппиус, разысканных в частных архивах Д.Малмстадом).

Расположенные в хронологическом порядке (1905—1939 гг.), письма образуют «канву к биографии».

С юности выращивал, воспитывал в себе Ходасевич «культ дружества», черты литератора пушкинской эпохи, сознательно отвергая «городской» язык XX в.: телефонный разговор, записку; даже машинопись воспринималась им как неуважение к собеседнику.

Переписка для Ходасевича — естественная форма продолжения отношений, порой не требующая разлуки: прерванный разговор может подхватить, продолжить письмо (таковы многие письма к М.О.Гершензону, А.В.Бахраху, В.В.Вейдле).

С каждым из корреспондентов у Ходасевича складываются свои отношения, длящиеся годами, десятилетиями, это долгий приятельский разговор, порой болтовня: слова недописываются, сообщения обрываются на полуслове, кавычки не признаются.

Для удобства читателя мы не стали сохранять или графически обозначать эти сокращения, даже наиболее характерные (обычно вместо «как» Ходасевич писал «кк», вместо «Петербург» — «Пбург»), за исключением случаев, когда возможно не единственное прочтение. Тем более, что у него не было устойчивых, излюбленных сокращений для названий газет и журналов: например, «Русская молва» может быть представлена как РМ, или «Рус. молва», или «Р. молва» и т.д.

Но имена мы сохранили в том виде, как они написаны в подлинниках, т.к. обращение к инициалам (Н.Н. — Н.Н.Берберова или Б.Н. — Борис Николаевич Бугаев) свидетельствует о короткости отношений, в других случаях эти сокращения продиктованы словесной игрой, создают новые значения. Надо думать, Ходасевич веселился, выводя в письме к Муни «Мер-ские» (Мережковские), зная, что Муни заметит и оценит шутку.

Даты в начале (или конце) письма мы тоже сохранили такими, как в автографах. Часто автор забывал ставить их (в то время как педантично писал число под каждым вариантом стихотворения и даже стихотворной строкой). В тех случаях, когда дата устанавливается по содержанию письма, она заключена в угловые скобки; если же переносится с почтового штемпеля или со страниц «камерфурьерского» журнала — в квадратные.

Со студенческой поры, с девятнадцати лет, Ходасевич вел жизнь профессионального литератора. И его собеседниками были поэты, писатели, издатели: В.Брюсов, Андрей Белый, Ф.Сологуб, Муни, Б.Садовской, Г.Чулков, М.Гершензон, А.Ремизов, Вячеслав Иванов, М.Горький, М.Волошин, К.Чуковский, К.Федин, М.Слонимский, В.Лидин, З.Гиппиус, М.Вишняк, А.Амфитеатров, В.Ирецкий, Ю.Терапиано, В.Набоков и др.

По словам Алданова, близко знавшего Ходасевича, «личные его симпатии и антипатии переплетались так или иначе с литературной оценкой» (Русские записки. 1939. Кн. 19. С. 182).

Ходасевич понимал историческую ценность письма, собирал в своем архиве письма деловые и дружеские, поздравительные, анонимные, даже пасквили, даже письма, не ему адресованные. К своей переписке он присоединил письма П.П.Муратова к будущей жене

(многое открывают они исследователю Ходасевича, позволяя увидеть, что образ царевны в стихах «Счастливого домика» поддержан не только литературной традицией, но и восхищенно-влюбленной интонацией соперника: «О, принцесса Мален!..»); наконец, черновик письма В.Я.Брюсова к З.Н.Гиппиус. Три письма Андрея Белого Ходасевич опубликовал (*СЗ*. 1934. Кн. LV), сохраняя все особенности автографа, специально пояснив: «В этом последнем обстоятельстве не следует видеть педантизма: поправки, описки, знаки препинания, а порой и орфографические ошибки немало свидетельствуют о душевном состоянии пишущего». В случае же с Андреем Белым они становились частью той фантасмагории, в которой он жил: терялись рукописи, буквы и числа прыгали и менялись местами. «Казалось, предметы, попавшие в его обиход, подхватывались тем вихрем, которым он сам был всегда подхвачен».

В эмиграции Ходасевич пытался заново воссоздать свой архив, но время для этого было очень уж неподходящим: революция и советская власть, а потом вторая мировая война уничтожали не только письма — многих из тех, кому они были адресованы.

След от иных потерянных писем остался в «камерфурьерском» журнале, где отмечены дни отправления корреспонденций Марине Цветаевой и Борису Пастернаку, О.Д.Форш, Н.Оцупу, Илье Эренбургу и Раисе Блох; пропали некоторые письма к В.И.Иванову, Б.К.Зайцеву, М.О.Гершензону и М.Горькому. «Камерфурьерский» журнал хранит бесценные свидетельства для будущего составителя полного собрания сочинений Ходасевича, где переписка займет не один том. Мы публикуем малую часть: из 40 писем к Б.А.Садовскому — 10; из 31 единицы хранения в архиве Г.И.Чулкова — 8; из 42 писем к М.Горькому — 10; и всего несколько писем из обширного собрания (1910—1926) ежедневных, дневниковых посланий к А.И.Ходасевич.

Письмо для Ходасевича — не литературный жанр, но главная тема и содержание писем — творчество, литература.

Так же внимательно, как прислушивался он к своему здоровью («оптическо-аптекарски-химически-анатомический налет», который В.Сирин почувствовал в его стихах, явственно ощущается и в переписке Ходасевича), он отмечал симптомы, свидетельствующие о переменах в поэтической системе: появление «корявых рифм»; стихов, «от которых барышни морщатся»; особую нежность к прозаизмам.

В письмах к А.И.Ходасевич отражен процесс перестройки, «переналадки» языка в 20-е годы, рождение прозаизмов Ходасевича, возникавших при сознательном разрушении «условно-поэтических», романтических понятий и образов. Вдохновение он сравнивает с поносом, ценность жизни с чулками, которые жалко порвать, духовную жизнь с кастрюлей, в которой кипит суп, и т.д. При этом содержание не только не разрушается, но соседством, соположением с бытово-обиходной лексикой выделяется, подчеркивается.

Сознательные поиски «неприкрашенного», почти домашнего слова («Бог знает что себе бормочешь...»), потребность в таком

слове отчетливо сформулирована поэтом в «автокритике» на стихи, составившие книгу «Тяжелая лира», отправленной М.О.Гершензону в письме от 24 июля 1921 г.: «В последнее время пишу почти каждый день. Но — потерял всякую охоту переправлять и отделывать. То, что совсем не выпишется — просто выбрасываю. Прочее, сознавая все недостатки, оставляю в первоначальном виде. Стихи, чаще всего короткие, в общем — нечто вроде лирического дневника, очень бедного красками (значит, и не *при*крашенного), зато богатого прозаизмами, которые мне становятся все милее».

Изменения в поэтической системе Ходасевич всегда связывал с изменением личности, судьбы поэта. «У поэта язык, система образов, выбор эпитетов, ритм, характер рифм, инструментовка стиха, словом, все, что зовется манерой и стилем, — есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких изменениях душевных, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней», — отметил он весной 1921 г. в Записной книжке.

Вячеславу Иванову в 1925 г. Ходасевич жаловался на «кризис формы», которая должна быть «как-то изменена, где-то надломлена», а несколько раньше объяснял М.О.Гершензону, что кризис формы корнями уходит в более глубокий, духовный кризис, причина которого — оторванность от России. Его письма к Гершензону, в которых Ходасевич всегда серьезен, глубок, а главное, доверчив, — не отшучивается, не отгораживается иронией, — позволяют понять, почему поэт замолчал так внезапно и, можно сказать, «на взлете»: «Мы все здесь как-то несвойственно нам, неправильно, не по-нашему дышим — и от этого не умрем, конечно, но — что-то в себе испортим, наживем расширение легких. Растение в темноте вырастает не зеленым, а белым: то есть все в нем как следует, а — урод. Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем» (29 ноября 1922 г.).

Со временем ощущение это не только не прошло, но заставляло сталкивать, сравнивать впечатления настоящего и прошедшего, быть разом в «двух совместившихся мирах»: пышность и яркость итальянской природы воспринимать «в студеной дымке», — жить в том сложном эмоциональном и психологическом напряжении, которое поэт передал в «дневниковом» письме к М.О.Гершензону (начатое 17 декабря 1924 г., оно дописывалось 1 января 1925 г.).

Письмо это — первый набросок впечатлений, которые вызвали к жизни стихотворение «Соррентинские фотографии». Его основная тональность — недоумение: недоумением окрашен рассказ о встрече Нового года и Рождества в Сорренто, идет ли речь о семейном празднике, где вместо елки комнату украшают ветви с апельсинами («но к Новому Году нужны не апельсины, а снег»), или о крестном ходе, поражающем яркостью, блеском фейерверков («а служба торопливая и неблаголепная»). Все это больше похоже на игру взрослых детей: Ходасевич подчеркивает «лукавую серьезность», с которой несут деревянно-розового Bambino под плоским

китайским зонтиком из розовой материи. Розово-плоская, яркая картинка, отсутствие глубины, трагизма становятся свидетельствами «ненастоящести», нереальности происходящего.

Деревянно-кукольную неподвижность Bambino легко узнать в изображении Девы Марии «Соррентинских фотографий»: «Плывет высокая, прямая, // Ладонь к ладони прижимая, // И держит ручкой восковой // Для слез платочек кружевной». В письме к М.Горькому от 14 сентября 1924 г. Ходасевич отметил, что религия «для народа как раз не *опиум,* а *допинг*»; поэт для определения простонародной веры нашел точное и емкое слово «мечты»: «...к Ее подножью // Летят молитвы и мечты, // Любви кощунственные розы...» Роз так много, что они даже в стране роз, конечно, — бумажные, фигурка Богородицы плывет «В шелках и розах утопая...»

В письме звучит одна тема, но угадывается ее развитие, сюжет, ритм, даже тот «чуждый звук», что переносит из одного мира в другой: в послании к Гершензону это — пальба и «неистовые фейерверки», в стихотворении — «мотоциклетка стрекотнула».

В жизнерадостном, насыщенном юмором рассказе Ходасевича о Бельском Устье, обращенном к другу молодости Борису Диатроптову, с которым его связывают общие воспоминания, прямо на наших глазах вырастают стихотворение «Лида» и строки, посвященные Жене Муратовой. Письма несут тот сгусток впечатлений, ощущений, из которых рождаются стихи, не становясь при этом литературой. Здесь открывается «кухня», или, как насмешливо писал Ходасевич М.В.Вишняку, — «кухня ведьмы». А литература, если использовать образ Ходасевича, сравнивавшего поэзию со зданием, предстает «с черного хода».

Творческие замыслы и размышления о политических событиях и искусстве соседствуют в письмах с литературными анекдотами, остроумными словечками, подневным, календарным рассказом о мельчайших событиях дня; беглыми зарисовками современников от откровенно-шаржированных (Александр Брюсов в письме к А.И.Ходасевич от 6 октября 1921 г.) до глубоких социально-психологических портретов в несколько строк (см. емкую характеристику А.И.Тинякова или отточенный афоризм: «Макс Волошин, мистический гурман»); в них найдется место и ценам на папиросы, хлеб, пирожное, печатный лист — вообще денежным и деловым расчетам и «изворотам» — это живой, неприкрашенный поток жизни, цельный, при всей раздробленности и мозаичности, как личность, за ним стоящая.

Ощущение ценности человеческого «я» — одна из важнейших тем в творчестве Ходасевича — в письмах открывается как основа жизнестроения. Вот почему равно интересны и беседы его с М.О.Гершензоном, всегда о «высоком», о литературе, проблемах профессиональных, и письма к А.И.Ходасевич, наполненные бытовыми житейскими мелочами, — порой они даже значительней, потому что здесь поэт открывается, не боясь слов, говорит просто о самом для него важном, что обыкновенно доверял только стихам. Особенно в пору расставания, разрыва, пережитого им болезненно, как «катастрофа». Тревожась за нее, пытаясь поддержать, он делится простей-

шими правилами сохранения человеческого «я» в период распада и душевной смуты. То, что уже сформулировал в стихах, перекладывает в азбучные истины. Сравните строки стихов: «Я сам себе целую руки, // Сам на себя не нагляжусь. // И как мне не любить себя, // Сосуд непрочный, некрасивый, // Но драгоценный и счастливый // Тем, что вмещает он — тебя?» — с отрывками из писем к А.И.Ходасевич: «Ты спрашиваешь, что́ тебе "реально сделать". Не *с*делать, а *де*лать — вот что: жить на свете, *больше любить себя*, устраивать свои дела, работать в студии, для чего (как и вообще для всего) не падать ни духом, ни телом, — вообще быть твердой и спокойной, сколько можешь» (1 июня 1922 г.).

И несколькими днями позже: «Прошу и прошу тебя об одном: внешне, "в днях", как выражался Коля Бернер, будь тверда, хладнокровна, будь "как все". Это даст тебе физическую силу переносить трудную штуку, которая называется внутренней жизнью. У всех нас внутри варится суп, и чем сильнее кипит и бурлит, тем лучше: ведь есть его будет Хозяин. Наша забота — чтобы кастрюля не лопалась раньше, чем суп готов. Ну, и будем беречь ее» (8 июня 1922 г.).

Осознание ценности человеческой жизни связано с чувством ответственности за воплощение задуманного, постоянную тягу к «чудесным божеским началам», представление о необходимости пути, роста. «Будь же человеком, а не ребенком. Меняйся внутри, не упрямься, не упирайся. *Расти*». Крик «Расти!» пронизывает его письма к жене, равно как и его творчество.

Он радовался процессу роста в самых разных формах, глядя, как «травка прорастает сквозь трещины асфальтных плит», и был захвачен болезненно-творческими переменами первых месяцев революции. До той поры, пока не понял, что нечего ждать от людей, «желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости» (Письмо М.Горькому от 28 июня 1923 г.). В стихах и письмах он не переставал твердить: «Я все на той же теории: путем зерна».

Насколько Ходасевич сам менялся с годами: изменились голос, интонация, духовный строй, — свидетельствуют письма. Неизменной осталась забота о создании и сохранности личности, требующая постоянного вслушивания и работы. «Нужно очень большое напряжение воли, сознательное старание не растерять своего *я*, чтоб не пустить себе пулю в лоб или не "опуститься"... до общего уровня», — писал он М.Горькому 14 сентября 1924 г.

Пристальное внимание к «я», множеству соседних «я», «чувствам и мыслям» людей, сумевших «выявить», выразить устремление целого поколения, и привело к созданию удивительной, новой в жанровом отношении книги — «Некрополь».

В предисловии автор особо отметил, что рассказ о времени он писал, «опираясь на прямые показания действующих лиц и на печатные и письменные документы». «Прямые показания действующих лиц» — это прежде всего письма. С того момента, как он задумал очерк о Брюсове, он умолял А.И.Ходасевич высылать ему листки из архива, оставшегося в России. И в последнем письме к ней просил:

«Пришлите мне в 2-3 приема: а) письма покойного Гершензона, которые лежат в регистраторе, взятом Вами у Наташи Хр <ущевой>, b) письма Муни, они в отдельном пакете, с) письмецо Нади Львовой и, в особенности, листок с черновиком ее стихотворения (там еще нарисован женский профиль), d) письмо Валерия ко мне и черновик его письма, начинающийся словами: "Дорогая Зинаида Николаевна".

Я Вам писал об этом уже раза два, но Вы все забываете, а мне письма всех умерших *очень нужны* для одной работы» (лето 1926 г. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 126).

Письма Гершензона Ходасевич опубликовал вместе с очерком о нем, широко пользовался письмами других писателей в «Некрополе». Живые голоса, непосредственная интонация писем создавали ощущение достоверности, документальности.

М.В.Вишняк — один из немногих, кто с первого очерка оценил замысел Ходасевича, — понял и в воспоминаниях своих объяснил потребность автора в жесткой «неприкрашенной» правде. Он увидел, что нормы эстетические продиктованы чертами характера. Хотя прямолинейная правдивость Ходасевича порой больно била Вишняка по самолюбию и в конце концов поссорила их, он писал об авторе «Некрополя»: «...он был *правдолюбцем;* того больше — *борцом за правду в искусстве и литературе, в личных отношениях и общественных.* Он искал и отстаивал обретенную им правду фанатически и упорно, против всех и вопреки всему, не считаясь ни с какими последствиями и отрицая всякую "ложь во спасение", "условную ложь общежития" или, по Горькому, — "ложь утешительную, ложь примиряющую"» (*НЖ*. 1944. № 7. С. 283).

Это часто ссорило Ходасевича с людьми, склонными к самооправданию, предпочитающими комфортный способ отношений, построенный на взаимных уступках. Ходасевич прям и точен и когда приходилось писать Садовскому о его роли в «Тиняковской истории» или высказывать свою точку зрения на поведение Гиппиус в Белграде на съезде писателей и журналистов, из каприза разрушившей надежду на журнал П.Б.Струве. Да и Горькому он впрямую говорил то, о чем впоследствии написал в очерке: «Милый Алексей Максимович, не сердитесь: но Вы — *любите верить.* Вы как будто с удовлетворением пишете об ионовских предложениях касательно возобновления "Беседы". Вы говорите: "Никаких ограничительных условий Ионов, пока, не ставит". — Напротив, *уже* ставит, и условие колоссального значения: печатать в Петербурге. Да ведь это же значит "под цензурой!!!"

<...> Я не "учить" Вас вздумал, но меня бы мучила совесть, если б я не сказал Вам всего, что думаю» (7 августа 1925 г.).

Со временем круг приятелей делается уже; один за другим уходят те, кто был особенно близок: Муни, Гершензон, Андрей Белый. Но судя по «камерфурьерскому» журналу, и в 30-е годы рядом с Ходасевичем людей было много, особенно молодых писателей. То Бахрах, то Терапиано, заговорившись, засидевшись за полночь, прогуляв до закрытия метро, остаются у Ходасевича ночевать; во всем он мог положиться на Вейдле; до последних дней сохранялась дружба с гимназическим приятелем Аркадием Тумаркиным.

И тем не менее, характер отношений резко меняется, что отражается на переписке. Все чаще юмор и ирония вспыхивают в письмах Ходасевича не от полноты жизни, а становятся завесой, отделяющей, отгораживающей его и его внутренний мир от корреспондентов. Он сочиняет множество масок, как бы вытесняющих, замещающих автора: «Дудкин», «Чугунная Маска», «Неизвестный из Шавиля», «Неунывающий дачник» — это только в переписке с М.В.Вишняком.

И когда в 1926 г. он стал адресовать письма к А.И.Ходасевич на имя «Сони Бекетовой» (ее псевдоним), а свои подписывать «Медведев», «выкроив» фамилию из интимного прозвища, — в этом проявилась не только наивная попытка уберечь бывшую жену от опасности репрессий, но и желание уйти от отношений, себя изживших. Ставя между собой и бывшей женой старомодного желчного господина, который может невзначай обронить о Ходасевиче: «Супруг ваш тоже переменил адрес. <...> Но, по-моему, Вам не стоит к нему ни с чем обращаться. Это, извините за откровенность, тип отпетый», — он мог за него спрятаться.

Только любовь к каламбурам и роднит Ходасевича с Медведевым, во всем остальном он совершенно на него не похож, он анти-Ходасевич. Разве мог Ходасевич написать о своих стихах: «Через несколько времени пришлю Вам кое-какие безделушки» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 124).

И до последних дней большое место в письмах занимает работа, ее навсегда заведенный ход, не подвластный ни войнам, ни личным трагедиям, ни болезням. Не случайно последние известные нам письма Ходасевича обращены к издателю А.С.Кагану, выпускавшему «Некрополь». Уже смертельно больной, Ходасевич подробно обсуждал с ним шрифт, подписи, цвет обложки. И в последний раз настойчиво звучит вопрос, который он столько раз повторял в письмах: «Так где же верстка?»

1. А.Я.Брюсову. — *РГБ*. Ф. 708. Карт. 7. Ед. хр. 55. Публ. впервые.

Брюсов Александр Яковлевич (о нем см. в очерке «Брюсов» в наст. томе и коммент. к нему) — младший брат В.Я.Брюсова, одноклассник Ходасевича, вместе с ним начинал литературный путь, печатался в журн. «Перевал», «Кривое зеркало» и др. На своем сб. стихов «По бездорожью» (М., 1907), выпущенном под псевд. «Alexander», А.Брюсов сделал надпись: «В.Ходасевичу от Alexander'a, который убежден, что "Молодость" будет лучшей книгой за последнее время» *(РГБ)*.

Вместе собирались они переводить книгу, изданную впервые в 1487 г. Она была анонсирована изд-вом «Гриф» (1910): «"Malleus maleficarum. Молот ведьм. Руководство для инквизиционных судов по ведовским процессам" Якова Шпренгера и Инститора. Перевод А.Брюсова и В.Ходасевича (Готовится)». Но книга не вышла — самый перевод так и не был сделан.

А.Брюсов — человек ярких и разнообразных дарований. Бо-

льше трех лет проведя в лагере для военнопленных (1915—1919), он изучал языки, перевел «Лузиады» Камоэнса, занялся археологией. В 1925 г. окончил факультет общественных наук по отделу археологии и искусства Московского университета; археолог. См. воспоминания А.Брюсова в журн. «Север» (1965. № 4. С. 128—135).

«1897. Останкино. Фотография. Балы. Малицкий. Брюсовы...» — писал Ходасевич в *АЗ*, а в ст-нии, посвященном Ал.Брюсову: «Меня роднят с тобою дни мечтаний, // Дни первых радостей пред жертвенным огнем...» (1905; *БП*. С. 217).

Юношеская дружба не привела к глубоким отношениям. Как к чудачеству относился Ходасевич к некоторой всеядности, многообразным интересам приятеля. 6 октября 1921 г. он писал из Москвы А.И.Ходасевич: «Заходил я к Саше Брюсову... <...> Очень увлечен — переводом англ<ийских> книг по портновскому ремеслу. Жену не видал. Впрочем, она живет в комнате Матр<ены> Ал<ександровны>. У нее урыльник с веночками Empire; она старообрядка; чтобы жениться, Саша принял сию веру. Ты и представить не можешь, как сложно переходить; часа $1^{1}/_{2}$ тяжелой работы. Саша мне все рассказал и, *на всякий случай*, научил меня отрекаться от Никоновой ереси. Так что, если я перейду в православие, то уж теперь мне ничего не стоит сделаться старообрядцем» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47).

[1] Ходасевич отвечает на письмо А.Брюсова (недат.): «Приехав, набросился я на книги, признаюсь, удивлен: нижегородский сборник — плох, газеты (оставшиеся в живых) — ниже критики, хорошие газеты — поголовно запрещены. Прочел Альманах (Сев<ерные> Цв<еты>) — Иванова совсем не могу понять. Валерий понравился меньше, чем до отъезда, или, вернее, совсем не понравился. Проза — ни к черту. Бог знает что <...> Вообще от литературы прихожу в отчаяние, с отчаяния и принялся за Э.По в подлиннике» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 57). Рец. Ходасевича на «Нижегородский сборник» см. в журн. «Искусство» (1905. № 5/7. С. 171—172).

[2] Стихи и трагедия Вяч.Иванова «Тантал» опубликованы в альм. «Северные цветы ассирийские» (М.: Скорпион, 1905). В рецензии на альм., появившейся в журн. «Искусство», о Вяч. Иванове сказано: «Усидчивость и трудоспособность — не все. Какова бы ни была филологическая ценность услуги, которую оказывает Иванов русскому языку, воскрешая бесконечные ряды забытых слов, стихи его, как и его Трагедия, — во многом мертвы. Их пышность — пышность катафалка» (1905. № 5/7. С. 166). Автором рецензии, подписанной псевд. «Нарцисс», был, по предположению В.И.Иванова, Гриф (С.А.Соколов).

[3] В альм. напечатаны ст-ния В.Брюсова «Молния», «Пытка», «Адам и Ева», «Клеопатра», «Бальдеру Локи» и пьеса «Земля», которая произвела на Ходасевича столь сильное впечатление, что в ст-нии «В моей стране» отразился и ее бессолнечный («мертвеный») колорит, и реплики: «Число рождений сокращается с каждым поко-

лением. Женщины выкидывают, не доносив...» (Северные цветы ассирийские. С. 170).

[4] Оглядка на В.Брюсова угадывается в любом замысле Ходасевича этих лет, он ученик-бунтарь. В рец. на сб. К.Бальмонта «Литургия Красоты», не называя Брюсова, он спорил с его попыткой вернуть Бальмонта к «нежным напевам». Ходасевич в этой книге увидел начало новой всемирной поэзии «Космоса и всеобъемлемости» (Искусство. 1905. № 5/7. С. 165).

[5] Следуют стихи, написанные в мае 1905 г. и не вошедшие в *М*: «У людей» (15 мая); «Deo ignoto» (17 мая); «Диск» (23 мая); «Ухожу. На сердце — холод млеющий...» (23 мая); «Жизнь-полководец» (24 мая) (*БП*. С. 210, 212—214).

[6] *М.Э., Марина* — здесь и далее: Марина Эрастовна Рындина (1887—1973), первая жена Ходасевича.

2. Г.Л.Малицкому. — Публ. впервые по машинописной копии из архива Л.В.Горнунга (*РГБ*. Ф. 697. Карт. 4. Ед. хр. 18).

Малицкий Георгий Леонидович (1886—1953) — одноклассник Ходасевича. После окончания Московского университета работал в Историческом музее, известный музеевед, поэт-любитель (см. его ст-ние «Осеннее» в журн. «Сегодня» — М., 1922. № 6).

Стихи Г.Малицкого Ходасевич цитировал в гимназическом сочинении «Правда ли, что стремиться лучше, чем побеждать»: «Каждый смотрит по-своему: люди, живущие здоровой жизнью, говорят, что хорошая цель уже достигнутая, сладостное удовлетворение, безумцы, пророки и поэты, что —

Жизни цель и красота —
В бурях вечного исканья!
Г.Малицкий

Надо бы помнить, что буря — вещь опасная! 28 января 04. *В.Х.*» А годом позже писал другу: «С памятных дней нашего сближения, в начале 7 класса, я ни разу еще, даже летом, не расставался с тобой на столь продолжительный срок, как теперь. Итак, — очень прошу, приезжай, притом скорее. Хочу быть больше с тобой» (14 апреля 1905 г.).

[1] *Константин* — Константин Фелицианович Ходасевич (1872, Тула — ?). Как и младший брат, он окончил 3-ю классическую гимназию, затем — юридический факультет Московского университета; адвокат. В 1912 г. вел в суде дело В.Ф.Ходасевича против издателя К.Ф.Некрасова «об уплате гонорара» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 113). 2 августа 1924 г. Ходасевич писал Б.К.Зайцеву: «Мать Нины рассказывает, что в России творится нечто невероятное. Относительно переписки с заграницей Вера, к несчастью, была права, а я — нет: за переписку, действительно, сажают. <...> Между прочим, оказывается, что один мой брат, Константин, сослан в Сибирь» (*АБ*. Ф. Зайцева). На запрос о судьбе К.Ф.Ходасевича из Главного информационного центра МВД был прислан ответ, что сведениями о нем «не располагают».

[2] *Койранский* Борис Арнольдович (1882—1920) — поэт, сотрудник журн. «Перевал»; адвокат.

Ходасевич хорошо знал трех братьев Койранских, которые учились с ним в Московском университете. Генрих был врачом и лечил от наркомании Н.И.Петровскую и Валерия Брюсова; Александр Койранский, по образованию юрист, был поэтом, художником, театральным критиком. Ближе других Ходасевич был с А.Койранским. В 1957 г. Александр Койранский, живший в Сиэтле (США), прочел кн. М.В.Вишняка «Дань прошлому» и засыпал автора вопросами и воспоминаниями: «Знавали ли Вы Марину Ходасевич, его первую жену, впоследствии вышедшую замуж за Сергея Маковского? Жива ли она? Между прочим, Ходасевич в 3-ей гимназии был одноклассником Бухарина (Н.И.Бухарин учился в 1-ой классической гимназии. — *Коммент.*) и Саши Брюсова, брата Валерия, ныне куратора Исторического музея. У отца его был магазин фотографических принадлежностей в доме Михайлова на Дмитровке». В другом письме он рассказал, что Ходасевич часто бывал в доме Петрово-Солово на Колымажной площади, где А.Брюсов и А.Койранский вместе снимали квартиру, и А.Койранский «писал портрет Влади» (Гуверовский институт. Стэнфорд. Ф. Вишняка).

[3] *Петровская* Нина Ивановна (см. очерк «Конец Ренаты» в наст. томе и коммент. к нему) летом 1907 г. была особенно внимательна к Ходасевичу: она видела непрочность его семьи. 7 июля 1907 г. она писала: «Что Мариночка? Не обойдутся ли все эти дела мирно или необходимо разрушение? Напишите, расскажите мне, я ведь Вас люблю и всякие правды понимаю. Только помните одно — никогда не нужно подвешивать себя на волосе над неизвестностью. Определенность, какая бы то ни было, нужна для того, чтобы можно было писать, спать, даже плевать в потолок. Жить, исходя из какого-нибудь решения» (*М-14.* С. 385).

[4] *Муня* — здесь и далее: Киссин С.В. (Муни).

[5] Следуют ст-ния: «Листвой засыпаны ступени...», «Цветку Ивановой ночи», «К портрету в черной рамке (Послание к Нине Петровской)» и «Протянулись дни мои...», вошедшие в *М.* См. т. 1 наст. изд.

3. Андрею Белому (Б.Н.Бугаеву). — *РГБ.* Ф. 25. Папка 24. Ед. хр. 25. Публ. впервые.

О роли, которую Андрей Белый в эти годы играл в жизни молодых поэтов, Муни писал Ходасевичу в письме от 11 июня 1915 г.: «...когда он нашим с тобой Ставрогиным был...» (*Письма Муни).*

[1] *Стражев* Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, прозаик, был издателем и редактором газ. «Литературно-художественная неделя». № 1 вышел 17 сентября 1907 г., после № 4 издание прекратилось. О газ. см. очерк Б.Зайцева «Андрей Белый» (Зайцев Б.К. Далекое. М., 1991).

[2] Ходасевич пишет о своей пародии на «Симфонию (2-ю, драматическую)» Андрея Белого. При жизни Ходасевича не пе-

чаталась, опубл. Р.Хьюзом в *ВРСХД* (1987. III. № 151. С. 145—149).

Приводим ее по беловой рукописи, сохранившейся в *АИ*.

МОСКОВСКАЯ СИМФОНИЯ
(5-ая, перепевная)

Часть первая

1. Уже день горел над Москвой.

2. Уже неистовствовали дворники, кутаясь в пыльные клубы. Уже поливальщики поливали.

3. За всем этим следила Городская Управа*.

4. Но поливали они на улицах людных, а Сивцеву Вражку предстояло сохнуть.

5. Всем жаром своим обрушивался день на Сивцев Вражек.

1. За всем этим зорко следила Городская Управа.

2. И не могла уследить.

1. От жара спешил поэт укрыться в редакции.

2. Был поэт социал-демократом.

3. Мелкой рысцой бежал он в редакцию. Боялся расплавиться в драповом пальто. Надоел ему бабушкин зонтик.

4. Ибо нельзя было в нем укрыться от небесных костров: основательно был продран бабушкин зонтик.

5. Прилипали поэтические калоши к трутуару.

6. Но не успевал поэт, но покуривал папироску, но картинно сплевывал на сторону.

7. Ибо он был социал-демократом.

1. Вот и теперь нес он под правой мышкой речи Жореса, а под левой — Бебеля. Поглаживал Жореса по корешку, входя в редакцию.

2. Говоря: «милый...»

3. А в сердце его входила радость.

1. Посмеиваясь, раскланиваясь, здоровался поэт с сотрудниками.

2. Смотря в окно, подмигивал. Намекал на Жену Облеченную в Солнце.

3. Скоро... Скоро...

1. На дворе Петрушка колотил Цыгана.

2. Он не знал, что будет съеден Заморским Чудищем.

3. А Чудище барахталось уже в ситцевом мешочке...

4. Глазели мальчишки на Петрушку, и высыпали на двор сотрудники. Давали пятачки Петрушечнику.

5. А иные — гривенники. Были и такие, что могли подать пятиалтынный.

6. Были и сотрудники, подающие только надежду.

---

* См. московские газеты за май месяц 1907 г.

1. Но высунулся поэт в окно, погрозил им пальцем, закричал:

2. ...«Неврастеники»...

3. Восставал поэт против ужасов, восставал против расколов в душах сотруднических. Грозил *балаганщикам.*

1. Этого не знал Петрушка, доколачивая городового.

1. В конторе редакции розовое дитя позвякивало монетами, шелестело бумажками...

2. Выдавая сотрудникам, — каждому по делам его.

3. Были нарочито сосчитаны строчки и записаны в Книгу.

4. Розовое дитя выдавало сотрудникам гонорары. Каждому — по делам его.

5. И записывало в Книгу, и отчеркивало по железной линейке:

6. *Ему предстояло пасти народы жезлом железным.*

1. Но просчиталось дитя, но не хватало у него в кассе 3 рублей 78 копеек.

2. И заплакало: ему предстояло пасти народы.

3. К лицу его прильнула голубая занавесочка. Ласково утирала слезы. Шептала: «милый...»

4. Это был лоскуток небесной лазури...

1. На улицах катились поливальщики, трясясь на бочках. Они поливали Кузнецкий Мост и Воздвиженку.

2. А Сивцеву Вражку предстояло сохнуть.

1. В тот час появился поэт в дверях конторы.

2. Посмеиваясь, раскланялся, — подмигнул, намекая.

3. И утешилось дитя, видя улыбку поэта. Догадалось о несказанном.

4. Скоро... скоро.

5. Они понимали друг друга. Поэт смотрел в окно... Дитя выдавало гонорар поэту...

6. Это был воздушно-золотой фейерверк невинности.

1. Уже день догорал над Москвой. Огненное вино тухло на горизонте.

1. Напившись чаю, выходил поэт из редакции.

2. Ибо не только получал он там гонорары, но и пил чай. Вознамерился он широко использовать печатное слово.

3. Был поэт социал-демократом.

Часть вторая

1. Мелкой рысцой бежал поэт по Сивцеву Вражку.

2. Бежал — заворачивал на Пречистенский бульвар.

3. Тот, которому надлежало пасти народы, обогнал его, неподвижно сидя на извозчике.

4. Направляясь к издателю.

5. Извозчик сосредоточился на козлах. Понимал, *что* делает.

6. Дитя поклонилось поэту. Поэт подмигнул значительно.

7. Скоро... скоро...
8. И уже не видно было младенца...

1. Бежал поэт по пыльным тротуарам.
2. Попыхивал папироской, картинно сплевывая. Он был социал-демократом.

1. Розовая зорька хохотала как безумная.
2. Бледнея, умирала со смеху, кашляя и задыхаясь.
3. Она была чахоточная, и ей вредна была московская пыль.
4. И так как об этом не писали в газетах, — она хохотала, а Управа бездействовала.

1. Но хмурился редактор, читая статью поэта.
2. Статья была длинная, туманно-безмирная и подмигивающая. Она говорила — о неска́занном.
3. Хмурился редактор, хмурился, но сложил статью аккуратно.
4. Надписал на ней: «Принято. Корпус».

1. Ибо петитом печатались только рецензии.

1. Поэт напивался домашнего чаю, в кабинете своем, близ Успенья на Могильцах.

1. Редактор пошел домой, неся портфель под мышкою.
2. Смилостивилось солнце над Москвой. Унылые граждане выбежали на улицу подышать свежим воздухом.
3. Это все были подписчики: действительные и предполагавшиеся.
4. Редактор похлопывал по портфелю рукой своей, говоря громко:
5. «О, сколь много интересного для подписчиков кроется в портфеле редакции!»
6. Но его не слышали угрюмые подписчики. Затыкая носы, дышали они свежим воздухом.
7. Безумцы наслаждались вечером, ласково-пыльным.
8. Но все же предстояло им прочесть статью поэта.
9. Она была длинная и подмигивающая, и говорила о неска́занном.

1. Розовая зорька хохотала как безумная.
2. Но уже видно было, что не миновать ей смерти.
3. Она была чахоточная, — и Городская Управа бессильна была спасти ее.
4. Как бы ни заботилась она об удовольствиях граждан.

Часть третья

1. Вечером поэт пошел к приятелю.
2. Оба молчали, намекая на несказанное.
3. Клали заплаты на крылатку Владимира Соловьева.
4. Ибо приятель поэта был внук того и племянник этого.

5. И вот затаскал он дядину крылатку, ибо был расточителен.

1. В тот самый момент черный кот выкарабкался-таки из-под серого и поколотил его.

2. Это был кошачий ужас, а назывался он — *возмездием.*

1. Тогда пошел поэт от приятеля.

2. Задумчиво брел он по звонкому тротуару. Покуривал папироску, картинно сплевывая. Он был социал-демократом.

3. Но никто этого не знал и не видел, ибо и зорька умерла уже в тот час.

1. ...Была зорька розовая и безумная.

2. Она одинаково хохотала и поэту, и редактору — прямо в лицо...

Трандафырь.

4. С.В.Киссину (Муни). — *Письма к Муни.* Публ. впервые.

13 писем Ходасевича к Муни (1909—1915) передала в Пушкинский Дом А.И.Ходасевич в 1959 г.

Ходасевич знаком с Киссиным с 1905 г., в *АЗ* он отметил дату рождения дружбы: «907, начало. Муни...»

[1] *«Польза»* (1906—1918) — изд-во, для которого Муни и Ходасевич делали переводы, редактуру, корректуру. «Напиши, каково мое и твое положение в К-ве, — нельзя ли нам остаться сослуживцами?» — спрашивал Муни в письме от 28 сентября 1909 г. (*Письма Муни*). О делах в книгоиздательстве Ходасевич сообщал почти в каждом письме: «К-во собирается издавать библиотеку классиков. М.б., одним из первых — Иридион моей работы» (10 октября 1909 г.); «...Польза меня пока завалила. Там дела на всех парах...» (29 октября 1909 г.).

18 марта 1913 г. он написал А.М.Ремизову: «С разными Антиками, с “Пользами” я расстался: уж очень бойкий народ» (*ИРЛИ*. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 1663), хотя автором «Пользы» Ходасевич оставался: писал вступительные статьи, составлял антологии.

[2] *Л.Я., Лидия Яковлевна* — здесь и дальше Лидия Яковлевна Брюсова (1888—1964) — жена С.В.Киссина, младшая сестра В.Я.Брюсова.

[3] См. наброски Пушкина к статье «О русской прозе»: «Эти люди никогда не скажут *дружба*, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.» (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 227).

[4] *Броня* — Бронислава Матвеевна Рунт (в замужестве — Погорелова; 1884—?) — свояченица В.Я.Брюсова, переводчица, некоторое время была секретарем журн. «Весы». В своих воспоминаниях (Погорелова Б. Валерий Брюсов и его окружение) она писала: «В.Ходасевича помню сначала гимназистом (учился вместе с братом В.Я. — Александром), а потом студентом. Болезненный, бледный, очень худой, читал он слабеньким тенорком довольно

приличные стихи. За выдержку не по летам, за совершенно "взрослую" корректность товарищи-гимназисты прозвали его "дипломатом". Думаю, что таким он и остался на всю жизнь, что, впрочем, не мешало ему быть порою едко-остроумным. Помнится, Брюсова он поражал своим изумительным знанием материалов о Пушкине, о его переписке и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве и что не доходило до широкой публики» (Воспоминания о серебряном веке / Сост. В.Крейд. М., 1993. С. 35).

О ней см. в мемуарной кн. Дона Аминадо «Поезд на третьем пути» (М., 1991. С. 143): «А милая наша насмешница Броня Рунт, "председательница оргий", могло ли ей прийти в шалую ее голову, замученную папильотками, обрамленную завитушками, что много, много лет спустя, где-то в угловом парижском кафэ, на бульваре Мюра, два когдатошних аборигена, два усердных посетителя ее Вторников или Сред в Дегтярном переулке, будут <...> вспоминать далекое прошлое, и воспоминания опять закончатся стихами, и на экземпляре "Счастливого домика", подаренного поэтом Ходасевичем автору настоящей хроники, будут написаны последние, грустным юмором овеянные гекзаметры?

Общею Музою нашей была Бронислава когда-то.
Помню остро́ты ее и черты, к сожалению, помню.
Что ж? Не по-братски ли мы сей девы дары поделили?
Ты унаследовал смех, а мне досталось уродство».

[5] Муни просил купить и прислать ему сб. А.Белого «Урна» (М.: Гриф, 1909): «...а то когда еще увижу...» (22 марта 1909 г.).

[6] Ходасевич вспоминает письмо С.Соколова (Кречетова): «Вы не поняли надписи на книге? Посох есть посох моей дружбы и нежности к Вам, которую Вы сами заглушили в сильной мере, отойдя от меня, многим и многим (заглушили, но не убили — я не хочу лгать). Посох на мгновение зацвел от воспоминаний» (30 апреля 1907 г. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 82).

5. С.В.Киссину (Муни). — *Письма к Муни.* Публ. впервые.

[1] *Яблоновский* (Потресов) *Сергей* Викторович (1870—1954) — литературный критик и фельетонист, сотрудник газ. «Русское слово».

[2] Мережковский Д.С. М.Ю.Лермонтов: Поэт сверхчеловечества. СПб.: Пантеон, 1909.

[3] Кн. В.Ропшина «Конь бледный» вышла в 1909 г. в изд-ве «Шиповник». В.Ропшин — псевд. Савинкова Бориса Викторовича (1879—1925) — члена боевой организации социалистов-революционеров, литератора. По воспоминаниям А.Бенуа, квартира З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковского в Париже в 1906 г. стала штаб-квартирой революционеров, Б.Савинков часто бывал там.

Д.С.Мережковский чрезвычайно высоко оценил книгу В.Ропшина в статье, опубликованной в двух номерах газ. «Речь» (27 и 28 сентября 1909 г.). Вопрос о насилии он вывел из плоскости политической в религиозную, находя поддержку в судьбах Сергея Радонежского и Александра Невского. «Это не противоположность

добра и зла, кощунства и святости, а противоречие в самом добре, в самом законе, в самой святыне. Это, может быть, не только человеческие, но и божественные антиномии Ветхого и Нового Завета, Отца и Сына...» И далее: «Если бы спросили меня сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л.Толстого и Достоевского, я указал бы на “Коня Бледного”».

[4] Ходасевич вспоминает рец. Ю.Айхенвальда — «Авель убивающий», написанную в ту пору, когда «Конь бледный» был напечатан в *РМ* (1909. №1). Отмечая, что в книге В.Ропшина изображено «специфически русское зло, которое из благородного материала трепетных юных сердец создает трагическую антиномию — Авеля убивающего»: «совесть приводит их к бессовестному», — критик писал: «Все эти образы выступают вопреки повести», которую назвал рассудочной, искусственной, умышленной (Слово. 1909. 11 (24) февраля).

[5] *...дошел до «Геркулесовых столбов» (перен.)* — до предела.

[6] В письме от 31 марта 1909 г. А.М.Ремизов по просьбе редакторов журн. «Остров» просил Ходасевича прислать стихи: «Вас очень ценят и Гумилев, и Потемкин. Гумилев у них главный. Ему и стихи надо послать и <в> №1 “Острова” написать. Гумилев сейчас же Вам ответит» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 79). 28 мая 1909 г. Ходасевич отвечал А.М.Ремизову: «Вы мне писали о стихах для “Острова” Пришлю с удовольствием. Прислал бы и в этом письме, да не знаю, застанет ли оно Вас в Петербурге. <...> Говорят, пометили меня островитяне сотрудником. Так уж попросите их прислать мне журнал, в Москве его нигде нет, — значит и купить не могу; а посмотреть хотел бы, мне эта затея очень нравится» (*РНБ*. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 231). Стихи Ходасевича в журнале появиться не успели: вышло два номера «Острова».

6. С.В.Киссину (Муни). — Из собрания Л.С.Киссиной. Публ. впервые.

25 июня 1911 г. Муни отвечал: «Да — вот еще: ты знаешь, та Италия, о которой ты пишешь, открыта Немировичем-Данченко и П.П.Гнедичем? Это тоже старая Италия! Ну, что ж! Ведь ты сам знал, знаешь и, сколько бы ни мистифицировал себя, будешь знать, что грязь на улицах столь же показательна, как и архитектура; что в Николаевскую эпоху фокус общества был вовсе не в Пушкине; что Россия того времени была едва в три тысячи человек (может, и меньше, сколько подписчиков у Литературной Газеты?); что в Ассирии был тоже быт, а не одни Сарданапалы и отрубленные головы пленных царей и т.д.

И где это быт — не главное? Прости меня за эти рассуждения томительные: у нас погода сырая, а у тебя скрытый энтузиазм. Вот “ты в восторге от Берлина, мне же больше нравится Медынь”, по слову мудреца.

В фельетон вставь рассуждения о том, какие преимущества имеет жара у моря перед жарой в середке суши: об этом любят говорить, слушать, читать. Это из породы: “как это верно!” Неожи-

данности должны быть только успокаивающего свойства, напр.: в Италии не все черны, не все красивы, не все англичане, ну, одним словом, все даже правда» (*Письма Муни)*.

[1] *Женя* — Муратова Евгения Владимировна (1884 или 1885—1981). См. о ней в наст. изд., т. 1. Муратова вспоминала об этих днях в эссе «Встреча»: «Затем встреча в Венеции на лестнице отеля "Leone Bianco". Я "танцовщица", Владислав лечится от туберкулеза в Нерви. Опять прогулки, кабачки, но уже итальянские, в тесных узких улочках Генуи. Бесконечные выдумки, развлечения, стихи, чудесное вечное море. Мы почти весь день около него. Я купаюсь, Владислав — нет. Я ем сырых креветок и всякую морскую нечисть frutti di mare. Владислав возмущается и не может понять, как можно по два часа сидеть в воде, заплывать в такую даль и есть такую гадость.

Владя чувствует себя неплохо, весел, много шутит, часто говорит "я жиденок, хоть мать у меня католичка, а отец поляк" и много, много пишет стихов — "Звезда над пальмой". Наконец я уезжаю. Расставание» (*РГБ*. Ф. 218. Карт. 1353. Ед. хр. 6).

[2] Ср. с фельетоном Ходасевича «Ночной праздник (Письмо из Венеции)» (т. 3 наст. изд.). О театральности быта Венеции, о художественном законе, «и до сих пор управляющем городом черных гондол и черных платков», писал и П.Муратов в кн. «Образы Италии» (Т. I. М.: Научное слово, 1911. С. 40).

[3] *Genova la superba!* — Генуя великолепная! (*ит.)*.

7. Н.И.Петровской. — *М-14*. С. 390—391 / Публ. Р.Л.Щербакова и Е.А.Муравьевой.

Возможно, письмо Ходасевича так и не было отправлено Н.И.Петровской в Италию: автограф случайно обнаружен в книге, купленной в букинистическом магазине, и находится в собрании Р.Л.Щербакова.

[1] *Нюра* — Анна Ивановна Чулкова (по первому браку Гренцион; 1887—1964) рассказала о своей любви в письме к Н.Я.Брюсовой, брата которой оставила ради Ходасевича:

«Дорогая Надя!

Спасибо тебе, родная, за письмо: было страшно немножко. Теперь уже лучше, есть еще страх, но уже за другое — за Гареныша.

Не умею я писать писем, а тебе особенно — ведь ты строгая. Но все-таки попытаюсь рассказать, как было. Помнишь, еще весной между мной и Сашей были недоразумения? Потом, за границей, я вдруг почувствовала себя большой. Большой и приехала в Москву. А Саша все продолжал быть маленьким. Да еще ему дали новую игрушку — военную службу. Вот он и ушел с нею куда-то далеко от меня. А я осталась одна. Правда, было утешение — моя дружба с Владей. Помнишь, весной я не знала, куда пойти с моим горем, к тебе или к Владе? Мы давно были очень дружны. День ото дня Саша все дальше уходил от меня, а дружба с Владей — крепла. А вот как пришла и когда пришла любовь — не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о

женщине как о чем-то низком и благодаря этому все гораздо проще и понятней. Наша старая дружба позволила нам узнать друг друга без прикрас, которыми всегда прикрываются влюбленные.

Все-таки перед уходом от Саши было у меня маленькое колебание: страшно, если Гарька будет голодать. Потом поняла, что гадко обманывать себя и Сашу даже из-за Гареныша.

Ведь мне еще только 25 лет! Неужели же я не найду возможности как-нибудь заработать деньги для Гарьки? Пока не кончу курсы, будет мне трудно. Гареныш сейчас у отца с Fröulin и чувствует себя хорошо. Я его почти каждый день вижу. Я сейчас живу в одной комнате с Владей и питаюсь ресторанной едой.

Мечтаю продать рояль и на эти деньги снять крошечную квартирку и купить кровать, стол и стулья и быть опять с Гаренышем.

На курсах много занятий.

Кроме того, помогаю Владе — выписываю ему стихи для какого-то сборника. Знаешь, даже согрешила сама: написала два стихотворения, конечно, очень нескладно. Еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье.

Прости, дорогая Надя, что пишу так глупо и нескладно. Может быть, через год так вырасту, что научусь даже писать письма. Я теперь во все верю. Прощай, милая! Пиши мне пока на тот же адрес. Лидушу твою очень люблю. Владя шлет тебе сердечный привет.

Твоя Нюра.

2 декабря 1911 г.»

Письмо сохранилось в архиве Л.С.Киссиной. Публ. впервые.

На сб. *М*, подаренном А.И.Ходасевич 12 ноября 1911 г., Ходасевич сделал надпись: «Милому Нюрику — спасибо за то, что он есть, за любовь, за небо и радость. — *Ее Владислав*» (Из собр. комментатора).

[2] В начале 30-х годов Ходасевич вспоминал: «*1911*. Болезнь. Италия. — Петербург. — Смерть мамы (18 сент.). Бродячая жизнь. Нюра. Козихинский пер. Бедность. Голод. Смерть отца.

1912, февр. Гиреево. Голод. Переезд к Торлецким. Знаменка, 7. "Институт красоты". "Мусагет". Садовской. Брюсов и Надя Львова» (*АЗ*).

[3] 18 ноября 1911 г. И.М.Брюсова писала Н.Я.Брюсовой: «Валя должен был пойти к Белому, уговорить его прочесть обещанную лекцию. Вернулся Валя в 6 часов. Белый уговорился. Эстетика состоится. Спрашиваю Валю, где же он еще был, оказывается, он заходил к Нюре. Если быть очень искренней, надо сознаться, что я очень сильно рассердилась. <...> Владя последнее время был другом ближайшим этой несчастной M-me Гриф. Я вижу в Валином поступке и этой дружбе связь. Теперь Нюра будет дружить с тем лагерем, враждебным мне» (*РГБ*. Ф. 386. Оп. 145. Ед. хр. 35).

Посещение Брюсова запомнилось и А.И.Ходасевич: «Мы очень удивились, так как Валерий Яковлевич раньше не бывал у Владислава Фелициановича. Решили, что это по каким-нибудь литературным

делам. Но вечером приехал Валерий Яковлевич с большой коробкой конфет и сам попросил напоить его чаем. За чаем в милой беседе высказал желание, чтобы мы познакомились и взяли под свое "семейное покровительство" молодую поэтессу Надежду Львову. Он был очень ею в то время увлечен» (Ново-Басманная, 19. С. 395).

[4] *Надежда Ивановна* — сестра Н.И.Петровской.

[5] Скорее всего, речь идет о Е.В.Муратовой.

[6] Последняя строка поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

8. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому.* С. 15—16.

8 из 40 писем, хранящихся в *РГАЛИ* (Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 226), опубликованы Р.Хьюзом и Д.Малмстадом в «Slavica Hierosolymitana» (V—VI. Иерусалим, 1981. С. 467—500).

[1] Отчет о докладе Н.Ф.Бернера, поэта и критика, см. в *ГМ* (1913. 26 апреля): «—Мы, и только мы, футуристы, стоим на распутье. Мы не признаем никого до нас, и нам нет никакого дела до любимцев веков, до мавзолеев культуры.

— Жрецы новой веры — футуризма, мы без боязни выступаем в крестовый поход» («У эстетов»). В автобиографии Н.Бернер подчеркнул: «Валерий Брюсов был моим другом и первым наставником. Один из его сонетов (акростих) посвящен мне» (Содружество: Сб. Вашингтон, 1966. С. 510—511).

[2] Сообщение о лекции Г.Э.Тастевена напечатано в *ГМ* (1913. 30 апреля). Среди выступавших в прениях названо имя Ходасевича.

[3] 20 июля 1913 г. Ходасевич сообщал Чулкову: «Начинаю писать книжечку (будет в ней листов 5), за которую историки съедят меня живьем. Она будет посвящена Павлу I. Хочу доказать, что на основании того же материала, которым пользовались разные профессора, можно и должно прийти к выводам, совершенно противоположным их выводам. Но до сих пор я только читал. Теперь собираюсь взяться за перо и думаю, что в месяц или полтора напишу все» (*РГБ.* Ф. 371. Карт. 5. Ед. хр. 12). План исторической монографии о Павле I, наброски и материалы опубл. А.Зориным в прилож. к кн. Ходасевича «Державин» (М., 1988). Неопубликованными остались заметки к теме «Гамлет и Павел»: на одной половине листа Ходасевич выписывал цитаты из «Гамлета», на другой — соответствующие ситуации в судьбе Павла (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 30). Мемуары К.Г.Локса сохранили заглавие книги — «Гамлет на троне» (Ново-Басманная, 19. С. 468).

[4] *Чацкина* София Исааковна — издательница журн. «Северные записки». В № 8 за 1913 г. напечатаны ст-ние Ходасевича «Увы, дитя...» и ст-ние З.Красиньского в переводе Ходасевича «Ужель в последний раз...»

9. Г.И.Чулкову. — Опыты: Журнал эссеистики, публикаций, хроники (Санкт-Петербург—Париж). 1994. Кн. 1. С. 86—87 / Публ. И.Андреевой. Из 31 письма, находящихся в фонде Чулкова (*РГБ*), мы печатаем восемь.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт, прозаик, драматург, историк литературы — брат А.И.Ходасевич. Надежда Григорьевна Чулкова (1874—1961) — его жена.

[1] В 1914 г. у Г.И.Чулкова открылся туберкулезный процесс, заставивший его вскоре уехать в Швейцарию.

[2] В рец. на *СД* Чулков писал: «...простота этих стихов, их скупая форма, их строгие ритмы свидетельствуют о целомудренной мечте поэта, об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности: он презирает звонкие "погремушки рифм" и "потешные огни" метафор. Точность и выразительность, как необходимое условие лирического творчества, интересует Вл.Ходасевича прежде всего» (Современник. 1914. № 7. С. 122—123).

[3] Рец. В.Пяста на *СД* см. в прилож. к газ. «День»: «...за что такое презрение к только что пройденным склонам гор <...> и такое противопоставление им бесплодных вересков верхних террас цепи, на которых можно дышать небесным "горним воздухом"?» Критик заключал рец. словами: «Образы Владислава Ходасевича обладают малой вещественностью. Наиболее воплощенные, они дают все-таки не настоящее, а "нарочное": "ситцевое царство", "магазин игрушек"...» (Отклики. 1914. № 14).

[4] *Гаррик* — Эдгар Гренцион, сын А.И.Ходасевич от первого брака.

[5] *Диатроптовы* — Диатроптов Борис Александрович (1883—1942), близкий друг Ходасевича, и Александра Ионовна, его жена.

[6] *Люба* — Любовь Ивановна Рыбакова (1882—1973), старшая сестра А.И.Ходасевич.

[7] *«Летучая Мышь»* — театр миниатюр, театр-кабаре, открытый Н.Ф.Балиевым в августе 1912 г. Балиев вел программу вечеров, был художественным руководителем. Для этого театра Ходасевич в 1913—1916 гг. писал много стихов, сценок, инсценировок, представление о которых можно получить главным образом из газетных репортажей: успехом пользовалась его пьеса «Любовь через все века» (сентябрь 1913 г.).

10. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 25.

[1] Статья Ходасевича «Фрагменты о Лермонтове» при жизни автора не публиковалась. Авторизованный машинописный экз. сохранился в *АИ*. См. т. 1 наст. изд.

[2] Скорее всего, речь идет о сб. «Арион» (М.—Киев, 1915. I), где напечатано ст-ние «Вот в этом палаццо жила Дездемона...» (1914).

[3] *«Великий Маг»* — В.Я.Брюсов.

24 июля в Литературно-художественном кружке дан торжественный обед в честь уезжавшего «на театр военных действий» В.Я.Брюсова. С августа 1914 г. его корреспонденции печатаются в *РВ*: их Ходасевич и пародирует в письме.

[4] В ряде московских газет, в том числе и в «Известиях Литературно-художественного кружка» (1914. Вып. 7), появились сообще-

ния о том, что 23 августа в Варшаве Общество польских писателей на торжественном заседании принимало В.Я.Брюсова. Он сам описал это событие в письме к И.М.Брюсовой от 24 августа 1914 г.:

«Милая Jeanne!

Сегодня Варшавское польское “Общество Литераторов и Журналистов” устроило заседание в мою честь. Было много народа. Произносились речи по-польски, по-русски и по-французски. Говорили, что сегодня великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде привечать *русского* поэта, хотя бы столь великого, как я (это — их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений и т.д. и т.д. Я, сколько умел, отвечал, конечно, по-русски, но и на *польские речи*, которые был *должен* понимать. Потом декламировались мои стихи “К Польше”. Редактора приглашали меня сотрудничать в их польских журналах. Одним словом, еще один “триумф”» (*РГБ*. Ф. 386. Оп. 142. Ед. хр. 16).

[5] Произведения этих польских прозаиков, популярных в России в начале века, Ходасевич переводил для изд-ва «Польза» (серия «Универсальная библиотека»). Среди них известный роман Владислава Станислава Реймонта (1867—1925), получивший Нобелевскую премию, — «Мужики» (1910—1912); три книги Казимежа Тетмайера (1865—1940): «Орлицы. Татрские рассказы» (1910), «Марина из Грубаго. Татрская повесть» (1910) и «Яносик Нендза Литмановский» (1912); два романа Станислава Пшибышевского (1868—1927): «Дети горя» (1917) и «Адам Джазга» (1918) и др.

[6] Обычно издателем и меценатом в письмах к Садовскому Ходасевич называет А.М.Кожебаткина, владельца изд-ва «Альциона». Он был земляком Садовского, и сб. «Самовар» открывался стихотворным посвящением Издателю. Но, возможно, здесь Ходасевич пишет о В.Португалове, выпустившем кн. Садовского «Косые лучи. Пять поэм» (М.: Изд. В.Португалова, 1914). Свои письма он подписывал: «Ваш уважаемый издатель меценат — Португалов» (*РГАЛИ*. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 107).

11. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 88—90.

[1] Война в русской лирике / Сост. В.Ходасевич. М.: Польза, 1915. См. статью Ходасевича «Война и поэзия» (*В*. 1938. 21, 28 октября).

[2] «Три поэта, которых творчество не может быть исключено из сокровищницы не только польской, но и всемирной литературы, жили и творили тогда одновременно. Эти трое — Мицкевич, Словацкий, Красинский. В их созданиях впервые с достаточной глубиной отразилась душа Польши. Они первые, и, к сожалению, — только они, сумели исконно польское сделать общечеловеческим», — писал В.Ходасевич в предисловии к неопубликованному сб. «Адам Мицкевич. Избранные стихи в переводе русских поэтов» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 37). Сборник этот, как Ходасевич сообщил Муни в письме от 27 декабря 1915 г., он начал готовить в

конце 1915 г., имея устную договоренность с изд-вом М. и С.Сабашниковых.

Стихи Мицкевича в переводах Ходасевича включались в собр. соч. Мицкевича даже в ту пору, когда имя Ходасевича не появлялось на страницах советской печати. По мнению С.Бэлзы, «перевод "Чатырдага", выполненный Ходасевичем, превосходит все существующие переводы этого сонета...» (Мицкевич А. Сонеты. Л.: Наука, 1976. С. 337). Ходасевич перевел драму Красиньского «Иридион» (М.: Универсальная библиотека, 1910); 4 мая 1917 г. заключил договор с изд-вом Сабашниковых на новое, исправленное издание (книга с правкой автора сохранилась в архиве Сабашниковых — *РГБ*. Ф. 261. Карт. 14. Ед. хр. 9). В 1912 г. он предложил К.Ф.Некрасову выпустить собр. соч. Красиньского, для которого перевел историческую повесть «Агай Хан» и «Неоконченную поэму». Историю несостоявшегося издания см. в газ. «Юность» (Ярославль) (1987. 14 мая) и в публ. И.Вагановой «Книгоиздательство К.Ф.Некрасова и русские писатели начала XX века» (Российский архив. М., 1994. V). Ходасевич упоминал о том, что он переводит пьесу Ю.Словацкого в письме к Б.Садовскому от 24 марта 1915 г. И когда польский театр привез в Москву «Фантазии» Словацкого, он напечатал рец. в *УР* (1916. 23 марта). Потребность перечитать польских поэтов-изгнанников появилась у него в первые годы эмиграции, когда он вслух, построчно переводил Н.Н.Берберовой Мицкевича и Словацкого (см. письмо М.О.Гершензону от 1 января 1925 г. в наст. томе). Он думал и писал о творчестве этих поэтов, о том, что помогло им состояться на чужбине, в связи с судьбой русской литературы в эмиграции.

12. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому.* С. 27.

[1] *Н.Архипов* (Бенштейн Николай Архипович) — прозаик, драматург, редактор журналов и литературных отделов в журналах: «Новая жизнь», «Новый журнал для всех», «Свободный журнал». В февральском номере «Свободного журнала» за 1914 г. опубликованы рассказ Б.Садовского «Смерть Малюты Скуратова» и перевод ст-ния Э.Слонского «Все шли из ненастной дали...», выполненный Ходасевичем.

[2] Заявление трех поэтов сохранилось в архиве Брюсова: «Предлагая вниманию собрания ряд своих произведений, являющихся выражением наших глубочайших переживаний и раздумий, мы не могли безропотно примириться с мыслью, что наше выступление в конце концов явилось прелюдией к балаганной выходке гг. футуристов. В составе комитета находятся два писателя: В.Я.Брюсов и Ю.К.Балтрушайтис. Надеемся, что они, со своей стороны, не откажутся объяснить г. Трояновскому, в какой степени неудобно делать выступление других писателей, ничем доныне не запятнавших своего доброго литературного имени, — предлогом к развлечению, интерес которого — интерес к скандалу» (*РГБ*. Ф. 386. Карт. 115. Ед. хр. 9. Трояновский Иван Иванович — врач, коллекционер, член Комитета Общества свободной эстетики).

1 марта 1915 г. В.Я.Брюсов, получавший отчет обо всем происходящем в Москве из писем И.М.Брюсовой, предложил выход из положения и два варианта ответа: «В деле с Ходасевичем и другими я считаю виноватой Эстетику. Если было условие, что футуристы не должны читать, нельзя было позволять им читать и после окончания программы. Я бы на месте Комитета *извинился*, а после извинения “хлестнул бы” за письмо, конечно, неприличное. Но может быть, Комитет извиняться не хочет. Тогда остается только сослаться на то, что читали футуристы по окончании собрания. Вот тебе две редакции ответа: выбери любую (лично я считал бы *справедливой* первую, но поступайте, как найдете нужным).

1. Таким-то. М.Г.Г! В ответ на Ваше письмо от 6 февраля с.г. Комитет О-ва свободной Эстетики считает своим долгом выразить сожаление по поводу того, что во время собрания О-ва 5 февраля, по прискорбному недоразумению, не было соблюдено одно из условий, которые были установлены по соглашению с Вами при предложении Вам прочесть на собрании свои новые стихи. Однако Комитет в то же время обращает Ваше внимание на то, что чтение стихов гг. Зданевичем и Маяковским происходило уже по окончании программы вечера, не было объявлено на повестках, являясь, в сущности, личным делом отдельных членов О-ва, и получило до некоторой степени характер выступления общественного лишь потому, что предложение выслушать стихи этих поэтов исходило от лица, председательствовавшего на собрании, не сложившего с себя ранее, по недосмотру, обязанностей председателя.

Наконец, Комитет, указывая Вам на то, что О-во всегда стремилось оправдать свое название и видело “свободу” в широкой терпимости по отношению ко всем литературным школам, полагает, что Вы найдете нужным взять обратно заключительные слова Вашего письма...» (*РГБ*. Ф. 386. Оп. 69. Ед. хр. 7).

Этот первый вариант и взяла за основу И.М.Брюсова, но Ходасевич остался не удовлетворен объяснениями и сожалениями: письмо его было общественным протестом.

Он и к Садовскому обратился как к единомышленнику, последовательно выступавшему против футуристов. Именно в письмах к Садовскому прозвучали оценки и формулы деятельности Маяковского, которые в дальнейшем Ходасевич будет развивать и уточнять. Ср. название статьи 1927 г. «Декольтированная лошадь» и строки из письма от 25 мая 1913 г.: «Декольте-Маяковский (какая отличная фамилия для шулера!), пожалуй, не хулиган, а просто кабафут» (*Письма Садовскому*. С. 16). Насмешливое «кабафут» включало в себя и воспоминание о манифесте Маринетти «Музик-холл», отводившем особое место мюзик-холлу как школе пародий всех традиций, где можно «систематически проституировать всякое искание классического», и отголоски слова «каботинство». «Кабафут» — это шут (фут) из кабаре. И в более позднем портрете Маяковского сохранены ритм и краски балаганного шута, фокусника: «Маяковский, напротив, явился с известным запасом мыслей, окрашенных очень ярко. <...> Мир идей он подверг быстрому и решительному пересмотру

— сложное упростил, тонкое огрубил, глубокое обмелил, возвышенное унизил и втоптал в грязь. Разумеется, Богу досталось в особенности. Интеллектуальная улица обрела в нем своего глашатая» (Литература и власть в сов. России, I // *В*. 1931. 10 декабря).

Таким же видел и почти теми же словами описал В.В.Маяковского Садовской в статье «Футуризм и Русь» (1913): «Теперешний, находящийся при последнем издыхании футуризм дает две резкие фигуры, ожидающие своего Салтыкова: кентаврообразного детину-апаша в цветной рубахе, не умеющего связать двух слов и перо в руке держащего, как томагавк, и тощего недоростка с жидким пробором, в модном смокинге с игрушкой в петлице и смердяковской улыбочкой на скопческом лице» (Садовской Б.А. Озимь. Пг.: Изд. автора, 1915. С. 30).

[3] *Зданевич* Илья Михайлович (1894—1975) — поэт, прозаик (известный под псевд. Ильязд), участник футуристических групп, изданий, теоретик авангарда.

13. А.И.Тинякову. — Континент. 1986. № 50. С. 365. Ю.Колкер опубликовал семь писем Ходасевича к Тинякову. Сверено с подлинником — *РНБ*. Ф. 774. Ед. хр. 45.

О Тинякове см. коммент. на с. 541. Фигура яркая и своеобразная. Блок в дневниках и записных книжках отмечал свои разговоры с ним. Воспоминания о нем оставили Ходасевич (очерки «Диск» и «Неудачники»), Б.Садовской (его воспоминания и дневники полностью не опубликованы — *РГАЛИ, РГБ*), Г.Иванов (Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989. С. 345—346 и 471—482), К.Чуковский (Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. Т. 2. С. 531—533). Он стал одним из персонажей повести М.Зощенко «Перед восходом солнца».

Письмо — ответ на «опросный листок», который А.Тиняков разослал поэтам, собирая материал для антологии. Он работал над антологией вместе с А.Н.Чеботаревской (переписку их см.: *ИРЛИ*. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 284). «Опросный листок» с ответами поэта Б.Лившица опубл. в *М-8* (с. 184—185). Ходасевич писал А.Тинякову 23 апреля 1915 г.: «На присланные Вами вопросы ответить по листку мне как-то затруднительно. Посылаю Вам нечто вроде "автобиографии": Вы сумеете из нее извлечь то, что Вам нужно. Искренне желаю Вам успеха в составлении антологии, вернее — в издании ее, ибо в том, что она будет хорошо сделана Вами, я не сомневаюсь» (Там же. С. 364). Из-за ссоры составителей издание не состоялось. А.Н.Чеботаревская вскоре выпустила антологию «Война в русской лирике» с предисловием Ф.Сологуба (Пг.: Кн-во М.В.Попова, 1915).

[1] Эссе А.Тимофеева «Литературные портреты. II. Ходасевич» появилось в газ. «Руль» 23 апреля 1908 г.:

«Тонкий. Сухой. Бледный. Пробор посредине головы. Лицо — серое, незначительное, изможденное. Только темные глаза играют умом, не глядят, а колют, сыплют раздражительной проницательностью. Совсем — поэт декаданса! <...>

Позже я познакомился с поэтом. И надо сказать, в нем действительно как-то странно и привлекательно сочетаются — физическая истомленность, блеклость отцветшей плоти с прямой, вечно пенящейся, вечно играющей жизнью ума и фантазии. Как в личности, так и в творчестве, в поэзии Ходасевича, который по праву озаглавил свою единственную книжку стихов "Молодость" (ведь он так молод, так юн *годами*, наш поэт!) — так же странно и очаровательно сплетаются две стихии, два начала: серость, бесцветность, бесплотность — с одной стороны, и грациозно-прозрачная глубина, кокетливо-тонкая острота переживаний, то грустно смеющаяся, то нежно грустящая лирика — с другой стороны. <...>

Очень молод поэт. Но он хорошо, он смело начинает. В дни, когда в поэзию вторглись крикуны и ломаки, когда господствующим принципом в искусстве стал принцип — "чем неестественней, тем лучше" — творчество Ходасевича отражает интимность, искренность, глубину душевных переживаний».

Особо подчеркнул критик одиночество поэта, которое «спасает его. В эпоху, когда во всем пошла стадность, на все пошла мода, когда все хотят сравняться в толпе, в сборнике, в кружке».

Это был первый серьезный анализ стихов молодого поэта, оставивший глубокое впечатление. Отныне Ходасевич сознательно будет стремиться к бесцветности и бесплотности слова, в то же время давая волю «жизни ума и фантазии». Самое одиночество его, поддержанное критиком, приобрело отныне особое содержание.

[2] Статья М.Шагинян не утратила ценности и сегодня. Отнеся *М* к новым книгам, «новым в боевом, завоевательном смысле», она писала об авторе: «В его горечи нет ни элегической жалости к самому себе, ни позы. Ясный и насмешливый ум поэта, никогда не изменяющий ему вкус к простоте и мере, — стоят на страже его переживаний и не позволяют ему ни поэтически солгать, ни риторически разжалобиться. Ходасевич постоянно знает себе цену (понимая это и положительно, и негативно), и отсюда у него развиваются два прекраснейших свойства, одинаково недостающие теперешнему "первовесеннему" поколению поэтов: чувство собственного достоинства и скромность». Первой сказала М.Шагинян о «подлинном культурном деланье» Ходасевича (Приазовский край (Ростов-на Дону). 1914. 16 марта).

[3] Рец. С.Кречетова на *СД* — типичный образчик пустой риторики: «В этом "Счастливом Домике", за которым в чистом поле, на перекрестке трех дорог, погребена молодость, живет жутко счастливая умудренность человека, раненного смертельно...» (*УР*. 1914. 22 февраля).

[4] См. статью «"Juvenilia" Брюсова» (т. 1 наст. изд.).

[5] Замысел написать статью о Валерии Брюсове зрел у А.И.Тинякова с 1913 г., когда он делился с Садовским ближайшими планами, в числе которых — статьи о Брюсове, о футуристах и об Игоре Северянине (письмо от 29 июня 1913 г.). Почтение к В.Я.Брюсову («...Брюсов на долгое время стал моим литературным учителем и предметом моего поклонения», — писал он в «Отрывках

из моей биографии») мешалось в его душе с чувством обиды на то, что Брюсов не поддержал его публично, когда вышла книга стихов «Navis nigra». Тиняков прямо пишет об этом в своей исповедальной прозе: «Брюсов совсем промолчал, хотя при свидании со мной в Петербурге в ноябре 1912 г. обещал дать отзыв в печати... Но как бы то ни было, в публике моя книга успеха не имела и мне никогда не дано было изведать тех сладостных и упоительных (пусть хоть мимолетных!) радостей, которые выпали на долю С.Городецкого, потом — Игоря Северянина, еще позже — Есенина и которые теперь каждый день выпадают на долю самых бездарных и безмозглых бумагомарак» (Отрывки из моей биогафии. 11 апреля 1925 г. — *ИРЛИ*. Ф. 273. Оп. 2. Ед. хр. 29).

[6] «Русская лирика. Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней» (М.: Польза, 1914) — вышла, как следует из письма Ходасевича к Тинякову от 17 ноября 1915 г., — в ноябре 1915 г.

14. С.В.Киссину (Муни). — *Письма к Муни.* Публ. впервые.

[1] *...ignis... sanat* — огонь... лечит (*лат.*).

[2] Со 2 по 13 июля 1915 г. Ходасевич провел в Раухале, в семье племянницы Валентины Михайловны Ходасевич (в замужестве Дидерихс). Муни, получивший повестку в первый день мобилизации, с июля 1914 г. с военно-санитарными поездами объездил всю страну: от Хабаровска до Белой Олиты. В 1915 г. он служил под Варшавой.

[3] *Елена Теофиловна, Хеля* — жена старшего брата Ходасевича; *Иван Трифонович* Данилов — помощник М.Ф.Ходасевича.

[4] Портрет В.Ф.Ходасевича работы Валентины Ходасевич напечатан в журн. «Аполлон» (1916. № 8; на вклейке между с. 12 и 13).

[5] 12 июля Ходасевич писал А.И.Ходасевич из Раухалы: «Завтра, 13-го, в понедельник, еду в Петербург, вернее — в Царское... <...> Что делать мне дальше — предоставлю Георгию Ивановичу, ибо рассказ свой я кончил только сегодня и не успел его переписать. Если Г.И. скажет, что мыслимо тотчас получить за него деньги, я, пожалуй, перепишу его в Царском же и подожду результата. Если нет, поеду домой. <...>

Скажу даже по совести. Если бы все дело было только в рассказе, я завтра же был бы в поезде и ехал в Москву. Но мне хочется побывать у Чулковых, к которым я попаду только к вечеру... Хочется побывать в Царском и после здешних разговоров о ягодах и грибах да о сухом квасе — поговорить с людьми. Я отдыхал, мне здесь было хорошо, но прямо приехать в Москву — нет, у меня остался бы от поездки дурной, то есть нудный осадок» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48).

Рассказ, о котором Ходасевич пишет в письме, — «Заговорщики» (см. его в т. 3 наст. изд.), с мыслями о нем он приехал в Раухалу и 3 июля 1915 г. извещал А.И.Ходасевич: «Я сегодня же сажусь за рассказ» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 44).

[6] *Марков 2-ой* — Марков Николай Евгеньевич — депутат 3-й и 4-й Государственных дум, возглавлял крайне правую фракцию,

был известен своими реакционными выступлениями. Один из руководителей «Союза русского народа».

[7] *А.П.* — А.П.Чехов. В отношении к его творчеству Ходасевич был последователен. 15 августа 1909 г. он писал Е.В.Торлецкой: «От чеховщины меня тошнит (извините), а живу я, кажется, по-чеховски. И письмо это — чеховское, и Гиреево — место чеховское. Да я-то, черт побери, не чеховский» (Русская литература. 1992. № 2. С. 193).

Заметил ли он, что фраза о том, что «через 200—300 лет жизнь на земле будет прекрасна» — реплика Вершинина из пьесы «Три сестры», или же сознательно ее использовал?

Смерть Чехова в восприятии Ходасевича подводила черту под русской литературой XIX в. и открывала возможности для развития новой литературы: в *АЗ* 1904 год соединял, сводил имена Чехова и Брюсова:

«*1904*. Гиреево. Тарновская и Марина. Нарывы, смерть Чехова. Брюсов. Франтовство, жениховство. Юридический факультет. — Ключевский. С.Н.Трубецкой».

[8] Статья Б.А.Грифцова «Две отчизны в поэзии Боратынского» напечатана в *РМ* (1915. № 6).

15. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 91—92.

[1] В отличие от Ходасевича Чулков в войне с Германией видел нравственный поединок России с европейской цивилизацией, рационализмом и забвением христианских идей. См.: Чулков Г.И. Судьба России: Беседа о современных событиях. Пг.: Корабль, 1916. Книга была посвящена сыну Владимиру (его и называет Ходасевич «полутезкой»).

В необходимости продолжать войну до победного конца Чулков был убежден и в 1917 г. — см. его цикл «Вчера и сегодня» в журн. «Народоправство». Непременным для себя он считал личное участие в войне; хлопотал о том, чтобы нести службу вместе с Блоком.

16 августа 1916 г. он в составе 1-го Сибирского отряда городов выехал в армию санитаром.

16. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому.* С. 33—34.

[1] *Тиняковская история* заключалась в следующем. В петроградском «Журнале журналов» (1916. № 11) появился стихотворный фельетон, подписанный «Б.Борисов» (псевд. Б.А.Садовского), — «Литературные типы. История одинокого человека». И слово «одинокий», и намек на другие псевдонимы: Куликовский, Чернохлебов, Немакаров — указывали на Тинякова. Этими псевдонимами он подписывал откровенно черносотенные статьи (о деле Бейлиса, в частности), публикуемые в газ. «Земщина».

Свой ответ А.Тиняков назвал «Исповедь антисемита». Он не отрицал, что печатался в «Земщине» и «Речи», но оправдывал себя тем, что «коренные перевороты» бывают у всех «мало-мальски мыслящих людей». Ответственность за происшедшее он возлагал на Б.А.Садовского, т.к. он отнес статью Тинякова о деле Бейлиса к

«известному “правому” деятелю, профессору N». Тиняков писал, что «поступал, быть может, и необдуманно, но искренно и, в сущности, честно. <...> Г-н же Садовской поступал гораздо более предосудительно, чем я, а теперь он же “обличает” меня и невольно заставляет клеветать других людей...» (Журнал журналов. 1916. № 13. С. 7).

[2] В ответ на «Исповедь антисемита» Садовской поместил в газете «Письмо в редакцию», в котором оповещал читателей: «...я *никогда никакого отношения к “Земщине” не имел.* Что касается “правого” профессора, упомянутого в заметке, то я, действительно, знаком с одним “правым” профессором, но с ним сблизился исключительно на почве долговременного изучения поэта-классика, рукописями которого этот профессор владеет» (Биржевые ведомости. 1916. 17 марта).

О «пасквильной статейке в “Журнале журналов”» Садовской писал отцу, объяснялся со знакомыми. Вспомнил он об этом эпизоде и в заметке об А.А.Блоке, написанной в 1946 г.:

«Последний раз я виделся с Блоком в марте 1916 г.

Незадолго перед этим я сделался жертвой литературной сплетни, родившейся в одном из петербургских еженедельников. Ни оправдываться, ни звать обидчика в суд невозможно: очень уж грязен уличный журнальчик.

Никто, разумеется, этой клевете не поверил. Но мне по неопытности все мерещится, будто я погиб и моя репутация запятнана навеки. Теперь мне смешно, а тогда я страдал не на шутку» (Звезда. 1968. № 3. С. 186).

В наши дни «Тиняковская история» стала сюжетом «повести в документах» Вардвана Варжапетяна «“Исповедь антисемита”, или К истории одной статьи» (*ЛО*. 1992. № 2).

[3] *Никольский Борис* Владимирович (1870—1919) — проф. Петербургского и Юрьевского университетов, специалист по римскому праву, поэт, историк литературы, собиратель рукописей А.А.Фета, издатель Собр. соч. Фета (П., 1901). Открытый, крайний черносотенец, примыкал к группе Дубровина. Ходасевич был прав в своем предположении: Садовской познакомил Тинякова с Никольским. Копией письма Б.В.Никольского Тиняков шантажировал Садовского, грозя его обнародовать.

[4] М.О.Гершензона Ходасевич привлекал в качестве третейского судьи и потому, что считал его человеком редкой совестливости и правдивости (см. очерк «Гершензон» в наст. томе), и потому, что Садовской свел Ходасевича с Гершензоном.

[5] Речь идет о сб.: Садовской Б.А. Ледоход: Статьи и заметки. Пг.: Изд. автора, 1916.

17. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Публ. впервые. Письма к А.И.Ходасевич составляют самую внушительную часть эпистолярного наследия В.Ф.Ходасевича (1910—1926).

1916 год — один из труднейших в жизни В.Ф.Ходасевича. Врачи ставят диагноз: туберкулез позвоночника, приговаривают к

ношению гипсового корсета. Его записная книжка, подаренная А.И.Ходасевич и ею надписанная: «Серенькому медвежонку серенькую книжечку от серенькой мышки — для мышиных стихов. Бараночник», — исписана тревожными вопросами: «На сколько времени ехать? Снимается ли гипс? Когда корсет? На сколько времени? Пускают ли туберкулезных в санатории? Боль в боках». Тут же — наброски стихов, в которых сплетаются темы смерти и войны:

Здесь на севере совсем не жутко.
Здесь не страшно жить и умереть.
Камешки, песчинки, незабудка,
Паутины радужная сеть. —

и

С грохотом летели мимо тихих станций
Поезда, наполненные толпами людей,
И мелькали смутно лица, ружья, ранцы,
Жестяные чайники и морды лошадей...

(*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 20).

Известие о самоубийстве Муни приводит Ходасевича к нервному срыву. М.О.Гершензон помог раздобыть деньги для поездки на юг. 4 июня 1916 г. В.Ф.Ходасевич уезжает в Крым и живет в Коктебеле до середины сентября.

[1] «Мышь», «мышь-мельничек», «бараночник», «мышь-впятером» — шутливые семейные прозвища А.И.Ходасевич; «Медведь» — В.Ф.Ходасевича.

В 1919 г. художники Ю.Оболенская и К.Кандауров к дню рождения Ходасевича сделали ему «книжку», на первой страничке которой вырезали и приклеили фигуру Медведя, а вокруг его головы нарисовали венок из мышей (Записная книжка Ю.Оболенской. 1919 г. — *РО ГЛМ*. Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 3).

Дружба с Юлией Леонидовной Оболенской (1889—1945) началась в Коктебеле в 1916 г.

[2] *Волошин* Максимилиан Александрович (1877—1932) — поэт, переводчик, художник и критик. В его доме в Коктебеле летом собирались поэты, художники, музыканты. Волошин ценил стихи Ходасевича. «Голос глубокий, завуалированный, негромкий и прекрасный, западающий в душу верностью тона», — писал он в плане к статье «Голоса современных поэтов» (в кн.: Волошин М.А. Лики творчества. Л., 1988. С. 770; примеч. Т.Л.Никольской и Г.А.Левинтона). См. также ответ М.Волошина на анкету Е.Архиппова «Вопросы о любви к поэтам». Среди современных поэтов он выделил имена Ходасевича, Цветаевой, С.Парнок и Вс.Рождественского (*РГАЛИ*. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 46. Запись сделана 30 июня 1932 г. Вс.Рождественским). В письме к М.О. и М.С.Цетлиным от 20 сентября 1916 г. М.Волошин писал: «Теперь у нас жизнь стала тише и опустела. Ходасевич, с которым я был дружен все лето, — уехал». А в письме от 3 сентября, рекомендуя Ходасевича для работы в создаваемом Цетлиным изд-ве, он дает ему развернутую харак-

теристику: «Мне кажется, что я здесь же в Коктебеле нашел человека, который бы соединял практичность и бескорыстие, необходимое для "Зерен". Это поэт Ходасевич, которого я близко узнал и очень полюбил за это лето. <...>

Ходасевич, между прочим, и пушкинианец — у него есть очень интересная статья о петербургских повестях Пушкина, изданная у Антика: "Уединенный домик на Васильевском". <...>

Кто меня очень поразил своими стихами за это лето — это Мандельштам. Я ни у кого из современных поэтов не встречал такой сосредоточенной звучности стиха. Стихи Ходасевича очень интимны и совершенны, но скромны. И обаяние свое они приобретают лишь в его голосе. Прекрасны последние стихи Марины Цветаевой» (*ВЛ.* 1990. № 9. С. 277—279).

[3] *Куля,* Кудря — прозвища Валентины Ходасевич.

[4] «В статье о Державине пусть не смеют вычеркивать ни единой буквы, а то все развалится, вышло хорошо», — писал Ходасевич жене 8 июля 1916 г. Статья опубл.: *УР.* 1916. 9 июля.

[5] *«Пахнет в саду розой чайной...»* — Ст-ние С.Парнок напечатано в журн. «Северные записки» (1916. № 9), где 1-я строка переделана: «Пахнёт по саду розой чайной...» Ходасевичу посвящено также ст-ние Парнок «С детства помню: груши есть такие...», вписанное в альбом А.И.Ходасевич 30 ноября 1928 г. (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 127).

18. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Публ. впервые.

[1] В Евпатории Ходасевичу пришлось заказывать новый корсет, и местные врачи поставили под сомнение диагноз: туберкулез. Ходасевич тревожился, что из-за этого может лишиться денежной помощи брата.

[2] Объявления и отчеты о концертах печатали симферопольская газ. «Южные ведомости» (9, 14, 17, 21 июля 1916 г.) и «Вестник Феодосии» (17 июля).

[3] О Михаиле Соломоновиче *Фельдштейне* (1884—1944) Ходасевич писал жене: «Мы знакомы еще с гимназии, только он на два года старше меня», «очень милый человек», «наш».

[4] *Шервашидзе* (Чачба) Александр Константинович (1867—1968) — живописец, театральный художник, «декоратор Императорских театров», сотрудник «Аполлона». По воспоминаниям А.Бенуа, князь был очень милым, легким человеком. О его первой жене Екатерине Васильевне А.Бенуа писал: «Он был женат на особе прекрасных душевных качеств, умной и образованной, но с виду напоминавшей простую деревенскую бабу» (Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., 1990. Т. II. С. 427).

[5] *Койранский* Александр Арнольдович (1884—1968) — поэт, критик, художник, признанный острослов. См. о нем в мемуарах Б.Садовского «"Весы" (воспоминания сотрудника)», где Койранский назван «игрушечным декадентом», там же приводятся его эпиграммы — «щегольский набор великолепнейших рифм», которыми сла-

вился Койранский (*М-13*. М.—СПб., 1993. С. 22). В Париже в 1921—1922 гг. Койранский был ответственным секретарем *СЗ*. «Разваливаю фронт у эсеров», — шутил он. В 1923 г. уехал в США с театром Балиева как переводчик.

[6] *Поклон Костям*. — Речь идет о поэтах, приятелях Ходасевича — Большакове Константине Аристарховиче (1895—1938) и Липскерове Константине Абрамовиче (1889—1954). Их книги Ходасевич объединил и в рец. «Новые стихи» (т. 2 наст. изд.). См. ст-ние К.Большакова «Бельгии», посвященное Ходасевичу, в сб. «Солнце на излете» (М.: Центрифуга, 1916). Там же ст-ние «Prelude», посвященное К.Липскерову.

[7] Ходасевича тревожили «призывные» дела Б.А.Диатроптова. *Б.Савинич* — журналист, критик — был женат на сестре Диатроптова.

19. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 86 / Публ. Евг. Беня.

Письма Ходасевича к Б.А.Диатроптову выправлены по автографам, сохранившимся в архиве Д.Б.Диатроптова (ныне — *РО ГЛМ*). В 1979 г. 8 писем напечатаны в лондонском журн. «Slavonic and East European Review» (Vol. 57. №1. January. P. 71—88) по неполным машинописным копиям (*РГАЛИ, ИМЛИ*), с обстоятельными коммент. Д.Малмстада и Д.Смита.

Ходасевич, сестры Чулковы, Диатроптовы, А.Брюсов составляли одну компанию, вместе снимали летом дачи, оттуда, с юношеских лет, идет хвастливый, «дурашный» тон Ходасевича, пародирующего в письмах монологи Хлестакова (см. его открытку Б.Диатроптову от 23 ноября 1920 г.). Не случайно художница Юлия Оболенская, хорошо знавшая Ходасевича, использовала реплики Хлестакова для рисунка-шаржа на Ходасевича.

В письме к Магде Нахман она рассказывала: «Я задумала для него в подарок картинку следующего содержания. Ночь. Interieur: в глубине через проломленную стену видна кухня. Окно замерзло, на водопроводе сосульки, под окном лужи. Видно, как спит под шубами кухарка. Перед стеной с проломом — письменный стол. Висит электрическая лампа и не горит, а светит огарок в бутылочке. За столом с одной стороны сидит Владислав в шубе, шапке, валенках, унылый, кислый. С другой стороны — Пушкин, закутанный в тот плед, что Кипренский изобразил на его плече. Он — ясный, немного удивленный и очень деликатный.

Ходасевич (из “Ревизора”): “Ну что, брат Пушкин?”

Пушкин: “Да так, брат... Так как-то все...”» (9 февраля 1920 г. — *РГАЛИ*. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 7).

[1] Ср. описание концертов в письме Ю.Оболенской к М.Нахман: «После отъезда обормотов в Коктебеле сменилось несколько жизней. Одна — период трех поэтов и концертов... <...> Везли нас в Феодосию на катерах, автомобилях, а нам с М.Ал. и Мандельштамом достался автобус, где мы на империалах тряслись в обществе урядника, сгибая головы под телеграфной проволокой.

<...> Мандельштама действительно освистали — 3 раза повторял одно место под хохот публики: “я с ними проходил 3 раза то, что им было непонятно”, — говорил он.

Макс имел большой успех, а Ходасевичу и Массалитинову, на бис читавшему Пушкина, кричали: “Довольно этих Мандельштамов”» (2 августа 1916 г. — Там же).

[2] *Плевицкая* Надежда Васильевна (1884—1940) — популярная исполнительница народных песен и романсов.

[3] *Шурик* — Александр Александрович Новинский — начальник феодосийского порта.

[4] *Дейша-Сионицкая* Мария Адриановна — оперная певица, выступавшая на сцене Мариинского и Большого театров. Из года в год воевала она с гостями Волошина, на что они отвечали новыми куплетами импровизированной песенки на популярный мотив «Крокодила». 22 июня 1917 г. Волошин писал Ю.Л.Оболенской: «Это не мешает неистовой Дейше обвинять “обормотов” во всем, что происходит в Коктебеле, и даже собирать подписи среди крестьян и нормальных дачников под постановлением о том, чтобы выселить нас с Пра из Коктебеля на вечные времена. Пожалуйста, не думайте, что я выдумываю. Это все результаты нового куплета в “Крокодиле”, который звучит так:

Из Крокодилы с Дейшей,
Не Дейша ль будет злейшей?
Чуть что не так —
Проглотит натощак...

У Дейши руки цепки,
У Дейши зубы крепки,
Не взять нам в толк,
Ты бабушка иль волк?»

(*ИРЛИ*. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 84).

[5] А.Толстой сатирически изобразил П.Н.Лампси — феодосийского судью, внука И.К.Айвазовского — в рассказе «В гавани» (1915).

[6] Волошина Елена Оттобальдовна (1850—1923) — мать М.А.Волошина. О ней Ходасевич писал с неизменным уважением: «Но кто мне тоже в конце концов нравится — это мать Макса. Умная, строгая и хорошая старуха» (А.И.Ходасевич, 26 июля 1916 г.).

[7] Ходасевич приехал в Коктебель 6 июня 1916 г., Мандельштам — 7 июня. С первого дня встречи Ходасевич пишет о нем насмешливо-пренебрежительно: «Тут случилась беда: из-за холмика наехали на нас сперва четыре коровы с ужаснейшими рогами, а потом и хуже того: Мандельштам! Я от него, он за мной, я взбежал на скалу в 100 тысяч метров вышиной. Он туда же. Я ринулся в море — но он настиг меня среди волн. Я был вежлив, но чрезвычайно сух. Он живет у Волошина» (А.И.Ходасевич, 7 июня 1916 г.). Тему преследования подхватила уже упоминавшаяся импровизированная песенка:

Оттуда — прямо в «Бубны»,
Сидят там люди умны,

Но ей и там
Попался Мандельштам...

(см.: Купченко В. Осип Мандельштам в Киммерии // *ВЛ*. 1987. № 7. С. 190—191). Мандельштам часто бывал объектом розыгрышей и шуток, но неприятие Ходасевича носило принципиально иной характер, непохожий и на обычное его злоязычие, часто стилизованное. Фигура Мандельштама, его поведение не совпадали с представлениями о поэте, воспитанными символизмом. Мандельштам сам чувствовал это несовпадение и сделал его фактом литературы: «Дурень Мандельштам...», «Щелкунчик, дружок, дурак...» См. его слова, записанные С.Рудаковым: «Я не Хлебников... Я Кюхельбекер — комическая сейчас, а может быть, и всегда фигура. Оценку выковали символисты и формалисты. Моя цена в полушку и у тех и у других» (Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 23). Характерно признание Бориса Зайцева в письме к Ю.К.Терапиано, сделанное много позже, 25 июня 1961 г.: «Стихи М<андельштама> в “Возд<ушных> Пут<ях>” некоторые очень пронзительны. Судьба его вызывает глубокое сочувствие и горечь. В самом же облике (для меня) странным образом переплетаются любовь к античному с неким юродством — юродивые не по моей части даже и в православии. Так что у меня к нему отношение двойственное. А по человечеству очень его жалеешь. Съели его, конечно» (*Байнеке*. Ф. Терапиано). В манере и поведении Ходасевича его современника и сверстника К.Г.Локса поразила, напротив, «важность»: «...худенький молодой человек <...> державшийся с какой-то смешной важностью» (Локс К. Повесть об одном десятилетии // Ново-Басманная, 19. С. 467).

[8] *Львова* Юлия Федоровна (1873—1950) — музыкант и композитор.

[9] *...дочь «Боже, царя храни».* — Шутка Ходасевича, породнившего Ю.Ф.Львову с поэтом, архитектором, композитором А.Ф.Львовым, автором музыки российского гимна (1833).

[10] *Мамочка* — мать А.И.Диатроптовой. По воспоминаниям Д.Б.Диатроптова, Александра Ионовна родилась в купеческой семье, у ее матери были фабрика и магазин в Верхних торговых рядах в Москве, и любимой шуткой В.Ходасевича была «Шурочка, возьмите у мамочки тысячу рублей и махнем в Италию» (Диатроптов Д.Б. О моих родителях // *НН*. 1988. № 3. С. 93).

20. С.Я.Парнок. — *ВЛ*. 1987. № 9. С. 232—233.

[1] *Еврейская поэма* — скорее всего «Завет Авраама» С.Черниховского. В списке переводов, составленном Ходасевичем, датирована только 2-я часть поэмы (26.X.—9.XI.1916 г.).

[2] Сб. Муни Ходасевич подготовил к печати, написал статью. После неудачной попытки издать его в «Альционе» он передал рукопись петербургскому частному изд-ву «Эрато», о чем сообщил вдове друга, Л.Я.Брюсовой: «Я принципиально договорился с одним издательством относительно Муниной книги. Через месяц (м.б., с небольшим) она уже поступит в продажу. Выйдет она одновремен-

но со вторым изданием моей "Молодости" и по внешности будет совершенно с ней одинакова» (28 октября 1921 г. — Архив Л.С.Киссиной). Книга не была издана, и Ходасевич из Берлина безуспешно пытался получить рукопись от издателей.

[3] *«Бубны»* — подробно об этой кофейне на берегу моря см. в кн.: Купченко В. Остров Коктебель. М., 1981. С. 12—13; а также: Давыдов З., Купченко В. Крым Максимилиана Волошина: Фотоальбом. Киев, 1994. С. 130—131.

[4] *Эфрон* Сергей Яковлевич (1893—1941) — муж Марины Цветаевой. «Он — очаровательный мальчик (22 года ему). Едет в Москву, а там воевать», —— писал Ходасевич жене 7 июля 1916 г.

21. М.А.Волошину. — *ИРЛИ.* Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1246. Публ. впервые.

[1] Статья В.Ходасевича «Стихи на сцене» появилась в «Известиях Литературно-художественного кружка» в 1917 г., вып. 17/18.

[2] Рукопись перевода повести Стендаля «Воспоминания итальянского дворянина» сохранилась в архиве изд-ва М. и С.Сабашниковых (*РГБ.* Ф. 261. Карт. 15. Ед. хр. 4). Очевидно, с М.Сабашниковым у Ходасевича была договоренность об издании повести, т.к. в письме к нему от 25 декабря 1918 г. он спрашивал, «когда можно напечатать мои переводы из Стендаля» (Там же. Карт. 6. Ед. хр. 99).

[3] Одно из ст-ний — «Слезы Рахили» (начато 5 октября 1916 г., закончено 30 октября). О втором с уверенностью сказать трудно, возможно, это — «Сердце». Ходасевич начал его до отъезда в Коктебель, в марте 1916-го, тогда оно называлось «Отчаяние», и в течение 1916 г. продолжал работу над ним. Первоначальный вариант от окончательного отличался попыткой сохранить физический образ сердца, перебивку ритма («аритмию»), особый отсвет — багряный, багровый, от чего поэт в окончательном варианте освободился. (Из этой «рассады» впоследствии выросло ст-ние «Так бывает почему-то...»)

Уж траурный ангел торопит
Земное кончать бытие,
А жадное сердце всё копит
[Земное] богатство свое;
Богатство всё копит свое!

И днем, и в полуночной тени
[Всё слышу: незримый скупец]
Червонцы [прожитых] мгновений
Считая, бросает в ларец.

Когда же глухое биенье
Замедлит порой он слегка —
Отчетливей слышно паденье
Червонца на дно сундука.

А ночью, когда привскочу я,
Ужасным разбуженный сном...

В подземной таинственной сени
Багряный, горбатый скупец
Червонцы прожитых мгновений,
Считая, бросает в ларец.

Мне слышно, багряный... Багровый
Я слышу, незримый...

(*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 21).

[4] Для *УР* Ходасевич написал рец. на кн. Софии Парнок «Стихотворения» (*УР*. 1916. 1 октября. № 274); в *РВ* в 1916 г. были опубл. статья «Сахарный Пушкин» (1916. 9 ноября. № 259) и рец. на «Избранные стихотворения» И.З.Сурикова (1916. 21 декабря. № 294).

[5] В начале сентября А.Белый вернулся в Россию после длительного пребывания в Дорнахе и привез почти законченного «Котика Летаева». Отрывок из повести появился в *РВ* 13 ноября 1916 г.

[6] Летом 1916 г. В.И.Иванов с семьей уехал в Красную Поляну; с ними предполагал ехать и Ходасевич, но потом отправился в Крым. Лето 1916 и зиму 1916/17 гг. Ивановы провели в Сочи, где Вяч. Иванов переводил трилогию Эсхила «Орестея» и «Персы» для изд-ва М. и С.Сабашниковых. Переговоры с изд-вом о переводе Эсхила велись с 1911 г., М.О.Гершензон был непосредственным их участником, и все эти сведения В.Ф.Ходасевич знал от него. Издание не состоялось; впервые трилогия опубл. в 1950 г. без имени переводчика (Греческая трагедия: Эсхил, Софокл, Еврепид / Под ред. Ф.А.Петровского. М., 1950). В 1989 г. вышло научное, комментированное издание, где собраны все трагедии Эсхила и фрагменты в переводе Вяч. Иванова (Эсхил. Трагедии. М., 1989). Там же — статья Н.В.Котрелева «Вячеслав Иванов в работе над переводами Эсхила».

[7] О кн. М.Волошина «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915») — М.: Зерна, 1916. — В.Брюсов писал в *РМ* (1916. Кн. 6, разд. III. С. 1—2): «М.Волошин всегда говорит “не-просто”, напряженно и вычурно о “не-простом”, сложном и глубоком. Как выискано заглавие книги “Anno mundi ardentis”, так трудна ее тема: современная война с точки зрения мировой, даже космической. В великой борьбе наших дней М.Волошин видит осуществление апокалиптических откровений, себя же представляет провидцем... <...>

Обилие прописных букв, наприм., для таких слов, как Земля, Потоп, Бездна, Сеятель, Ложь, и цитат из Библии обличают намерение автора сказать нечто важное, но настойчивая забота говорить непременно умно, непременно красиво, непременно оригинально, не так, как другие, — лишает книгу светлости, прозрачности и легкости, составляющих высшее очарование поэзии. Спасают автора воспитанный вкус и своеобразная эрудиция, но прежде всего значительность тем, воспринятых серьезно».

Завершал критик рецензию словами: «Книга М.Волошина — одна из немногих книг о войне, особенно в стихах, которые читаешь без досады, без чувства оскорбления, но с волнением, хотя его

источник — не в поэте, а в величии переживаемого нами. Среди тягостного убожества и вопиющей пошлости современных "военных стихов" стихи М.Волошина, при всей надуманности их стиля, при всех их внутренних и внешних недостатках, — благородное исключение».

[8] Коктебельская жизнь, полная мистификаций, розыгрышей, игры, породила мифические существа, которые без пояснений участников были бы непонятны. По счастью, Ю.Оболенская сделала подробные примечания к письму, которое вслед ей послали остававшиеся в Коктебеле Волошин и Ходасевич: «Без тебя будет нам очень грустно. Быть может, кружок наш, который ты так прекрасно объединяла, распадется совсем. Ты помогала нам словом и делом. Ты направляла деятельность нашего общества. Скажем прямо: ты была нашим духовным вождем. В тебе соединились все качества, отличающие каждого из нас в отдельности. Талантливая, как Щекотихин; начитанная, как Вислоухов, изящная, как Марат-в-ванне, деятельная, как Юра Гусиная Лапа; проворная, как Пудель, задумчивая, как Зайцепес, отважная, как Капар; стройная, как Мария Павловна; красноречивая, как Бабушка Синопли; воспитанная, как г-жа Княжевич; обольстительная, как Джафар; кокетливая, как Елена Юрченко, — ты, тринадцатая, объединившая нас, — была, можно сказать, маленьким Мюром и Мерилизом Добродетелей. Это звание мы и просим тебя принять. До свидания. Пиши. Счастливый путь!

20 августа 1916 г.»

Далее следовали подписи и нарисованный след медвежьей лапы. А на обороте письма 20 февраля 1936 г. Ю.Оболенская написала:

«Щекотихин, Вислоухов } личности, вымышленные Ходасевичем.

Марат в ванне — старушка-певица в Коктебеле.

Юра — Гусиная Лапа — молодой человек, грек.

Пудель и Зайцепес — вымышленные демонические существа» (*РГАЛИ*. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 67).

Видимо, Ю.Оболенская забыла, что Пудель — прозвище актера Владимира Александровича Соколова, близкого приятеля семейства Эфронов; после революции он жил в США. Все другие — лица наиреальнейшие: Мария Павловна — хозяйка столовой (мать Юры); Синопли — владельцы лавочки; г-жа Княжевич — жена писателя Арцыбашева; Капар — лодочник, турок, а Джафар — лавочник; Елена Юрченко — горничная.

[9] М.А.Волошин летом 1916 г. писал монографию о художнике Сурикове, при жизни печатались отрывки, главы; полностью кн. М.А.Волошина «Суриков» (Л.) издана в 1985 г.

22. Корнею Чуковскому. — *РГБ*. Ф. 62. Карт. 72. Ед. хр. 36. Публ. впервые.

Корней Чуковский (Корнейчуков Николай Васильевич; 1882—1969) — поэт, прозаик, критик, в 1916 г. задумал издать книгу для маленьких детей «Радуга», а для того, чтобы переломить «умильно-

ласкательную» интонацию произведений для детей, обратился к «взрослым» поэтам с просьбой принять участие в сборнике: к Маяковскому, Брюсову, Волошину. Волошин, посылая ему перевод шведской «Колыбельной», среди поэтов, которых стоило бы привлечь, назвал имена Ходасевича и Цветаевой (копия письма М.А.Волошина хранится у Е.Ц.Чуковской. — *Коммент.*).

До этого Ходасевич не писал для детей, но сразу увидел тему для детского ст-ния в семейной домашней игре, родившейся из детской песенки: «Пляшут мышки впятером за стеною весело», — которую А.И.Ходасевич пела сыну. Она стала называться «Мышь» или даже «Мышь-впятером», «Бараночник». Среди семейки мышей были Книжник и Свечник-поэт, Сырник и Ветчинник. С годами игра питалась и прирастала как реальными событиями, так и книжными сюжетами, вроде поэмы Жуковского «Война мышей и лягушек».

Первое детское ст-ние «Разговор человека с мышью» Ходасевич написал в тот же день, когда получил письмо от К.Чуковского, но чем-то оно показалось ему неподходящим, он торопился кончить и послать ст-ние (почти поэму) «Про мышей. Вечер».

Из-за типографской разрухи книга была отпечатана лишь в конце января 1918 г. и переименована в «Елку» (Пг.: Парус). Вошло в нее ст-ние Ходасевича «Разговор человека с мышкой, которая ест его книги». Сб. переиздан в 1994 г. (М.: Горизонт — Минск: Аурика).

В 1916 г. Ходасевич по просьбе К.Чуковского перевел «Английскую детскую песенку» — напеч. в прилож. к журн. «Нива» — «Для детей» (1917. № 1. С. 10). Переводы из Р.Стивенсона: «Вычитанные страны» и «Луна» опубл. в сб.: С т и в е н с о н Р.Л. Детский цветник стихов. М.: Гос. изд-во, 1920; перепеч. в альм. «Крылья» (М.—Пг., 1923).

В 1920 г. Ходасевич сделал рукописную книжку «Стихи для детей», куда включил «Английскую песенку», «Вычитанные страны», «Луну», «Разговор человека с мышкой, которая ест его книги» (*ИМЛИ*. Ф. 209. Оп. 1. Ед. хр. 6. Печать на обороте свидетельствует, что книжечка входила в коллекцию Литературного музея Всероссийского союза писателей: № 56).

[1] *Столица Любовь* Никитична (урожд. Ершова; 1884—1934) — поэтесса.

23. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 36—37.

[1] Вероятно, статья «Египетские ночи». Первая часть ее в рабочей тетради написана между 17.XI и 3.XII.1916 г. Напечатана в журн. «Ипокрена» (1918. № 2/3. С. 33—40).

[2] *Макаберные стихи* — от *фр.* macabre — похоронный, погребальный. В рабочей тетради Ходасевича с девизом «omen aversum» (*лат.* дурной знак) — одно за другим следуют ст-ния «Слезы Рахили» — 5.X.1916; «Сны» — 13.XI; «Утро» — 13.XI; «Висел он, не качаясь...» — 27.XI; «Смоленский рынок» — 12—13.XII; затем план статьи или доклада «Пушкин и смерть»; пьеса по рассказу Пушкина «Гробовщик» и множество незаконченных отрывков на тему близ-

кой смерти: «Когда же прерву вереницу // Давно <своих> затянувшихся дней, // Велите запречь в колесницу // Двенадцать отборных коней...»; «Друг последний! Недалек он, // Тихий день твоей печали. // С похорон моих усталой // Ты вернешься к нам домой. // Из привычных глянешь окон — // Тот же вид, все те же дали...» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 21). 12 мая 1916 г. В.Зайцева писала Б.Грифцову: «Видела Ходасевича, бедный Владя, как он ужасно выглядит — мне что-то его очень жаль. Точно он приговоренный» (*РГАЛИ*. Ф. 2171. Оп. 2. Ед. хр. 4).

[3] «*Стремнины*» — I. М., 1917.

24. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 37.

[1] Садовской Б. Обитель смерти. М.: Изд. автора, 1917.

[2] *Рябушинский* Николай Павлович (1876—1951) — меценат, поэт-любитель из семьи русских промышленников и купцов, издавал *ЗР*. О нем см. в письме В.Я.Брюсова к З.Н.Гиппиус: «Рябушинский блистал, чувствуя себя если не Нероном, то Лукуллом наверное» (*ЛН*. Т. 85. С. 688).

[3] *Гучков* Александр Иванович (1862—1936) — крупный промышленник, основатель «Союза 17-го октября», председатель Центрального военно-промышленного комитета, военный и морской министр во Временном правительстве.

[4] Ходасевич вспоминает ст-ние «Прадед» (1910): «Дед моего отца и прадед мой Лихутин...» Б.Садовского. Об этом ст-нии Ходасевич писал в обзоре «Русская поэзия» (см. т. 1 наст. изд.).

[5] Ст-ние Садовского «Памятник» (1917) кончалось строфой:

Но всюду и всегда: на чердаке ль забытый
Или на городской бушующей тропе,
Не скроет идол мой улыбки ядовитой
И не поклонится толпе.

25. Л.Б.Яффе. — Russian Literature (Mouton—The Haugue—Paris). 1974. № 6. P. 27—28 / Публ. Луиса Бернхардта.

Яффе Лев Борисович (1876—1948) — поэт, переводчик, общественный деятель. Во время первой мировой войны, когда все еврейские издания были закрыты, а еврейским языком (идиш и иврит) было запрещено пользоваться даже в личной переписке, он основал в Москве еженедельник «Еврейская жизнь», затем изд-во «Сафрут». В сборниках «Сафрут» Ходасевич опубликовал в 1918 г. переводы поэм С.Черниховского «Завет Авраама» (сб. I) и «Вареники» (сб. III).

Летом 1917 г. Гершензон познакомил Ходасевича с Яффе, и они начали работу над кн. «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии» (М., 1918 — 1-е изд.; в Берлине в 1922 г. З.И.Гржебин переиздал его).

В 1918 г. Яффе с семьей переехал в Вильно, где пережил погром, арест, случайно избежал расстрела, а в 1920 г. уехал в Палестину. Он писал М.О.Гершензону 6 мая 1922 г.: «В Палестине мы уже два года и четыре месяца. Живем в Иерусалиме. <...> Здесь — если б меня просили одним словом определить, как нам живется, —

тяжело и светло. Недавно я объехал целый ряд стран и с большой ясностью увидел, что самые мучительные дни здесь не променял бы на блеск и радость других стран» (*РГБ*. Ф. 746. Карт. 44. Ед. хр. 58). В следующем письме он просил Гершензона узнать адрес Ахматовой: Яффе переводил Ахматову и других русских поэтов, издавал газету на еврейском языке; погиб при взрыве здания. В 1948 г. в Тель-Авиве вышла кн. Яффе «Воспоминания», где Ходасевичу посвящена глава.

В сентябре 1922 г. Ходасевич писал ему: «Все эти годы я вспоминал о Вас куда чаще, чем Вы, вероятно, вспоминали меня. Знаете ли, что Вы — одно из немногих самых светлых моих воспоминаний, когда я думаю о тяжелых временах московской жизни в 1917—1918 гг.? И знаете ли, что Вы навсегда останетесь одним из самых любимых моих людей? И знаете ли, как бесконечно радовала и утешала меня мысль, что наконец-то для Вас осуществилась самая дорогая Ваша мечта и что Вы можете жить в своей Палестине и делать свое заветное, любимое дело?» (Russian Literature. 1974 № 6. P. 29).

[1] *...с того берега.* — Отсылка к кн. А.И.Герцена «С того берега» (1849 — вышла на нем. яз., 1855 — на рус. яз. в Лондоне), в которой писатель осмыслял трагический опыт революций в Европе («Все побеждены, всё побеждено, а победителя нет...») и завещал сыну: «Не останься на *старом берегу...*»

События в России 1917—1918 гг. для Ходасевича окрашены горько-оптимистической тональностью этой книги. Благодаря ей во многом сложилась у него концепция исторического движения, влияние ее ощущается на самых разных произведениях тех лет: он цитирует и интерпретирует Герцена и в ст-нии «Дом» (ср. со строчками Герцена: «Человек, конечно, дома в истории...»), и в статье «О завтрашней поэзии», где, помимо прямого цитирования, различим ритм герценовской публицистики, ее пафос. И очерк «Помпейский ужас» задан книгой Герцена. Так что участие Ходасевича 21 января 1920 г. в вечере памяти Герцена, где он читал стихи, — не случайно.

[2] Скорее всего, в это время Ходасевич работал в Комиссариате труда. См. его очерк «Законодатель» в наст. томе.

[3] *Толстой* Алексей Николаевич (1882/83—1945) — поэт, прозаик, драматург. В 1918 г. коктебельское знакомство переросло в близкие, семейные отношения, что подтверждают и «канва автобиографии», и воспоминания А.И.Ходасевич.

[4] 24 марта 1918 г. Ходасевич выступал на вечере поэтов и писателей в Богословской аудитории университета. Свои произведения читали Бальмонт, Чириков, А.Толстой, Эренбург, Вл.Ходасевич, Андрей Соболь, Балтрушайтис (газ. «Раннее утро»). Начинается период чтений, выступлений в кафе: 3 апреля вместе с А.Толстым он выступает в кафе «Элит», 8-го — там же (А.Толстой, Эренбург, Ходасевич); 15-го — в кафе «Трилистник» и т.д.

[5] Андрей *Соболь* (наст. имя Юлий Михайлович; 1888—1926) — прозаик, прошедший путь профессионального революци-

онера: тюрьмы, ссылки, эмиграцию. 12 мая 1926 г. застрелился в Москве. Ходасевич писал о нем дважды: *Д.* 1926. 20 июня; и десять лет спустя — *В.* 1936. 29 августа.

26. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47. Публ. впервые.

[1] *Модзалевский* Борис Львович (1874—1928) — историк литературы, известный пушкинист. Ходасевич готовил собр. соч. А.А.Дельвига, одна из целей поездки — разыскать «дельвиговские бумаги» в Пушкинском Доме и Публичной библиотеке.

[2] 3 октября Ходасевич познакомился с Горьким, о своих впечатлениях написал жене на следующий день. В письме к А.И.Ходасевич от 12 октября 1918 г. он подвел итог впечатлениям: «Скажи Пате и Борису, вскользь, что Г<орький> мне не понравился».

[3] *Женя* — Евгения Фелициановна, сестра В.Ф.Ходасевича, с которой у него до последних дней сохранились близкие отношения; *Наташа* — племянница.

[4] *Дидиша* — Дидерихс Андрей Романович, художник, муж В.М.Ходасевич.

[5] Книжная лавка писателей, где Ходасевич и его жена работали в 1918—1919 гг., — книготорговое предприятие на паях, — организована П.Муратовым, А.Дживелеговым, М.Осоргиным и др. См. о ней в очерке Ходасевича «Торговля»; в воспоминаниях М.Осоргина (Временник общества друзей русской книги. Париж, 1928. II; 1932. III; *НН.* 1989. № 6) и А.Эфрон (О Марине Цветаевой. М., 1989. С. 99—105). Ходасевич не только расспрашивал, как идут дела в лавке, но и добыл для нее в Петрограде «штук семьдесят отличнейших детских книг» (из письма к А.И.Ходасевич от 15 октября 1918 г.).

Делами Книжной лавки осенью 1918 г. Ходасевич и его жена были заняты чрезвычайно. Все письма А.И.Ходасевич в Петербург переполнены сообщениями о Лавке: «В Лавке много перемен. Диесперов отпал. Боря Грифцов поступил на службу. Линд у нас в Лавке на жалованье 750 р. будет каждый день с 10 до 4-х ч. По-моему, это очень хорошо. Мне прибавили жалованье, буду получать 600. И Лавка велела мне купить валенки на ее счет» (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 90). На следующий день, 8 октября 1918 г., А.И.Ходасевич сообщает: «В Лавке дела превосходные — сегодня 2322 руб.», — и пересылает заказы на книги, которые хорошо бы купить в Петербурге: от «Мурманской железной дороги» до сб. А.А.Блока «Театр» (П.: Земля, 1918).

27. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому.* С. 38—39.

Это письмо, а также письма 28 и 29 написаны на бланке изд-ва «Всемирная литература».

[1] *Валерий* — В.Я.Брюсов. В коммунистическую партию он вступил в 1920 г. В очерке М.Волошина «В.Брюсов. Воспоминания.

Фрагменты» один из фрагментов озаглавлен «Бр<юсов> о коммунизме». На вопрос «Каким образом Вы стали коммунистом?» следует ответ: «Вы ведь знаете мою симпатию к Риму, к империи, к власти... Из всех политических партий в России только коммунисты удовлетворяли этому порядку моих симпатий. <...>

Что же касается моей "партийности", то это произошло так: я однажды в одной беседе с Анатолием Вас<ильевичем> высказал ему, что я вообще принимаю доктрину Маркса, так же, как принимаю дарвинизм, конечно, со всеми поправками к нему. Этот чисто теоретический разговор Ан<атолий> Вас<ильевич> счел нужным понять как мое желание вступить в партию и сделал туда соответствующее заявление. Об этом я узнал, только получивши из партии официальное согласие на принятие меня в члены.

Вы понимаете, что при таких обстоятельствах отказаться было для меня равносильно стать в активно враждебные отношения. Это в мои расчеты не входило. И в то же время не было ничего, что бы меня сильно удерживало от входа в партию.

Таким образом я оказался записанным в члены КП» (*ЛН*. М., 1994. Т. 98, кн. 2. С. 394 / Публ. К.М.Азадовского и А.В.Лаврова).

[2] *Младший брат* — А.Я.Брюсов.

[3] *Абрамов* Соломон Абрамович (1884—1957) возглавлял изд-во «Творчество», выпускал журн. «Москва» (1918—1922; вышло шесть номеров).

[4] *Фемистоклюсом* (шутливая отсылка к «Мертвым душам») Ходасевич называет Гаррика.

28. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 39—40.

[1] В 1921 г. Садовский писал А.А.Блоку: «Я теперь неизлечимо болен, у меня сухотка. Четыре года лежал я пластом, живым трупом» (*РГАЛИ*. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 391). Прикованный к постели, он искал опоры в религии, в работе «красным профессором» (студенты приходили к нему домой), в антропософии. О глубоком духовном кризисе он рассказал в отчаянном письме к А.Белому от 15 декабря 1918 г.: «...меня дважды вынимали из петли. Жажда смерти особенно мучила меня в последнее время, и только в силу случайности я остался жив» (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 262).

[2] Неприятие Октябрьской революции проявилось у Садовского в отказе печататься. В 1922 г. он переменил решение. Точнее — протест его нашел иную форму выражения: историк литературы, собиратель рукописей, документов превратился в мистификатора, выдающего собственные стихи за произведения Некрасова, Блока, Есенина. Мистификации Б.А.Садовского попали даже в учебник по текстологии — см.: Рейсер С.А. Основы текстологии. 2 изд. Л., 1978; а также публ. М.Д.Эльзона «О воспоминаниях Н.И.Попова и их авторе» (Русская литература. 1982. № 3) и статью С.Шумихина «Мнимый Блок?» (*ЛН*. Т. 92, кн. 4).

[3] *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — политический и государственный деятель, председатель Совета министров в 1905—1906 гг., автор Манифеста 17 октября 1905 г.

[4] *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — историк, один из лидеров партии кадетов, редактор газ. «Речь» (а в эмиграции — *ПН*), министр иностранных дел во Временном правительстве.

[5] Любопытно, что почти теми же словами убеждал Садовского в исторической неизбежности власти большевиков «правый» профессор Б.В.Никольский; и врагов видел равно в октябристах и эсерах: «Я Вам должен сказать, что с советским режимом я мирюсь откровенней, искренней и полнее, чем с каким бы то ни было другим, не говоря уже о Распутинско-Штюрмеровски-Протопоповском. Худого лично мне и моей семье большевики ничего не сделали, а доброго и хорошего много. Враги у нас общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно» (Монархист и Советы: Письма Б.В.Никольского к Б.А.Садовскому 1913—1918 / Публ. С.В.Шумихина // Звенья: Исторический альманах. М.—СПб., 1992. Вып. 2. С. 371). В 1919 г. Б.В.Никольский был расстрелян «за участие в контрреволюционном заговоре», его дочь арестована и отправлена в лагерь.

[6] *...«средь вин, сластей и аромат»...* — Из ст-ния Державина «Фелица» (1782). *«Званка»* — имение второй жены Державина, где он жил последние годы.

[7] *...с небес в голосах раздавался.* — Парафраз строк Державина: «Но, будто некая цевница, // С небес раздамся в голосах» («Лебедь», 1804).

[8] Реклама *Жанны Гренье,* обещавшей «развить гармонический бюст», обошла страницы всех газет, была своего рода «классикой» и воспринималась Ходасевичем как образец «аршинной поэзии».

[9] См. о Розанове в рец. Ходасевича на кн. Гиппиус «Живые лица» и коммент. к ней — т. 2 наст. изд.

[10] *Никольский Юрий* Александрович (1893—1922) — историк литературы. После окончания университета, решив заняться Фетом, писал Садовскому; летом 1919 г. преподавал в Нижнем Новгороде и подружился с ним. Он оказался зорким свидетелем жизни Садовского, его настроений и рассказал об этом Л.Я.Гуревич в письме от 8 июля 1919 г.: «Садовской написал роман, где Николай Павлович, черт и жидо-масоны. Пока это роман — смотрится, как офорт, чернота берется, потому что стиль требует, и он искренний человек, "дубровинец", par esprit, и я ценю, что он не "полу", понимаете, все эти "полу"!.. "Но!" <...> Я просто скажу, что в ужасе от предстоящего и того электричества мести, что незримо накопилось, особливо в юных душах. Это стихийно и потому неудержимо, страшно и опасно. Ведь будет — такой еврейский погром! И интеллигентские мальчики пойдут с душой — вот в чем гадость и ужас. Это не факты, понимаете, что я излагаю, а так, носом чую. Еще и монарха захотят. Одним словом, Людовик Осьмнадцатый, и именно это готовится в умах, а не империя, такая полуэстетическая "маленькая" монархия в стиле офорта и Мюссе. Густо. Дворянчики повыймут гербы и шлемы, вспомнив голубую кровь свою — а? — тоже донкихотство, но без голубой искры сентиментальности и человечности. Все жестко, и гербы из жести, всякие там лилии — хорошо еще, если лилии, а не топоры» (*РГАЛИ*. Ф. 131. Оп. 1. Ед. хр. 162). Никольский

нарисовал и точный портрет книги Садовского «Обитель смерти», где «жестко, в стиле офорта» изображена «полуэстетическая "маленькая" монархия» с гербами из жести.

В июле 1919 г. Никольский уехал в Петроград, затем, по командировке Наркомпроса, в Одессу, где заведовал музеями; дал Садовскому знать, что будет пробираться в Крым: «Может быть, вечером сегодня вырешится дальнейшая судьба жизни. Подумай обо мне из своего далека, может быть, душевная помощь как-то поможет на расстоянии, если есть любовь» (1 сентября 1920 г. — *РГАЛИ*. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 147). Из Севастополя, через Константинополь Никольский добрался до Белграда, преподавал в Белградском университете, выпустил кн. «Тургенев и Достоевский. История одной вражды» (София, 1921); в парижской газ. «Общее дело» публиковал статьи о Блоке, Гумилеве. Из Белграда сумел переслать весточку Садовскому: «Научная работа наладилась еще мало. С чужим языком дело туже, чем я думал. Главное же — "отходил" — отходил от всего пережитого в тихой пристани. И второе главное, что Ее нету со мной. И отца. И тетки. И Тебя. Грущу».

На этом листке неровным, дрожащим почерком Садовского нацарапано: «умер в 1922 г.». Умер Ю.А.Никольский в советской тюрьме от сыпняка, вторично — на этот раз в обратном направлении — проделав тайный путь из Белграда в Россию.

29. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 41—42.

[1] Из ст-ния Пушкина «19 октября» (1825).

[2] Ср. с записью Садовского в дневнике (1930): «И все же честь и слава большевикам. Как вспомнишь эпоху 1905—1914 гг. — всю брюсовско-милюковскую-сологубовско-аверченковскую гниль и пошлость, "сплошной бобок", журналы и газеты вроде "Русского богатства" и "Речи", цинизм сверху и хамство внизу, вырождение и оподление — хочется сказать с поклоном: спасибо, милые люди! Правда, вы поступили по пословице: осердясь на вшей, шубу в печь, — но черт с ней и с шубой, коль ее все равно нельзя было носить» (*РГБ*. Ф. 669. Карт. 1. Ед. хр. 12).

[3] Путем зерна. М.: Творчество, 1920.

[4] Шутливо перефразированная строка В.Брюсова: «Ты песен ждешь? — Царица, нет их!» («На нежном ложе...», 1907).

30. Б.А.Садовскому. — *Письма Садовскому*. С. 42—44.

[1] Садовский Александр Яковлевич (1850—1926) — отец поэта, краевед, археолог, историк. См. о нем в сб.: Памяти Александра Яковлевича Садовского. Изд. Нижегородской археолого-этнографической комиссии, 1928. В чем заключалась его просьба к Горькому — неизвестно.

[2] Московский профессиональный союз писателей, скорее всего, создан в начале 1918 г., хотя 15 марта 1917 г. М.О.Гершензон писал брату: «Теперь здешние писатели заняты составлением "резолюций" и выработкой плана Союза писателей. Хожу на собрания и я, да только все идет вразброд, никак не столкуются» (Гершен-

зон М.О. Письма к брату. М.: Изд-во М. и С.Сабашниковых, 1927. С. 182). В 1920 г. Московский союз перерегистрировался и переименовался во Всероссийский союз писателей. Все писатели, которых Ходасевич предлагает в «поручители» Б.А.Садовскому, были членами-учредителями Союза. Вот почему к одному из них, А.М.Эфросу, обратился Ходасевич в 1927 г. с гневным «Письмом», в котором напоминал, ради чего был Союз создан: «В 1918 г. мы с Вами вместе трудились, основывая Московский Союз писателей, ставший впоследствии всероссийским. Первым его председателем был М.О.Гершензон. Большевики, как Вы помните, в Союз не допускались. Мы открыто им заявляли, что в Союз писателей не могут входить лица, принципиально отрицающие свободу печати. <...>

И вот из этого опозоренного Союза Вы, друг мой, не только не вышли (что было бы демонстрацией, быть может, рискованной), — но и до сих пор принимаете самое деятельное участие в его жизни. Вы близки к самым верхам его. Вот от этой близости Вы могли бы воздержаться. Но Вы не воздержались, а потому и несете свою долю ответственности за деяния Союза. <...>

Теперь Союз сделал нечто худшее. Он поспешил выступить с осуждением тех несчастных, которые, доведенные до отчания, рискуя жизнью, переслали сюда, за границу, свое письмо. Союз "писателей" предательски отрекся от своих братьев. Их предсмертный стон Союз захотел представить перед Европой как подлог и клевету, сам же поспешил засвидетельствовать, что он премного благодарен доброму начальству за сладостное житье писателей в СССР» (*В*. 1927. 29 сентября).

Утверждение М.Долинского и И.Шайтанова, что адресатом «Письма» был В.Г.Лидин — неверно (см.: Экран и сцена. 1990. № 47). В «Письме» Ходасевич напоминал Эфросу и о дружбе с Муни, и о «приятельстве со времен нашей юности»: «Ведь мы, хоть и были на "вы", все же по юношеской привычке зовем друг друга не по имени и отчеству, а уменьшительными именами» (Эфроса он называл «Бамой»).

Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) — театровед, искусствовед, переводчик, автор кн. «Профили» (М., 1933), «Рисунки поэта» (М., 1934) и др.

[3] О том, как трудно жил Ходасевич в 1920 г., рассказывает в письмах к подруге Ю.Оболенская: «Вчера был у меня Владислав, похудел еще больше. Их подвал окончательно залило водой <...> А<нна> И<вановна>, в пять часов придя со службы, готовит обед, и Вл<адислав> говорит, что на ней уже и румяна не держатся (как признак плохого состояния здоровья). Одним словом, они переезжают, куда, еще не решено. Я мечтаю, чтобы поближе к нам. Несмотря на нашу грязь, копоть и сырость, приводящие маму в исступление, Вл., сидя у нас, говорил: "Хорошо у вас, товарищи, тепло, чисто, картинки на стенах..."» (9 марта 1920 г.). В письме от 18 сентября 1920 г.: «Владислава забирают на военную службу. Можешь ты понять это? Ведь его вообще надо положить в лазарет

— сейчас он, кстати, и не дома, в санатории, но в городе, без воздуха. Нарывы все не прекращаются. Я, признаться, весной боялась за его жизнь, а теперь находят годным в строй. Или им все равно? А я удивляюсь, как он ноги передвигает» (*РГАЛИ*. Ф. 2080. Оп. 1. Ед. хр. 7).

31. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 92—93.

Записка написана на обороте корешка приходного ордера № 1860. Недат. Очевидно, конец сентября 1920 г. Передает состояние и настроение Ходасевича перед отъездом в Петербург. Дневники Ю.Л.Оболенской, которая вместе с Ходасевичем ходила летом 1920 г. на поиски квартиры, открывают глубину усталости, истощения, отчаяния, овладевших им осенью 1920 г.

9 октября 1920 г. он писал жене в Петроград: «Ходасевичей окончательно выселяют. Они ищут квартиру себе и нам вместе. Но я предпочел бы Петербург. Да и неизвестно, найдут ли. Ведь не нашли же мы для Палаты. Если не уладится с переездом — попытайся устроить дела насчет материи, башмаков, галош... Добудь ордера и купи» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47).

[1] *Здравница* — см. очерк Ходасевича того же названия о «здравнице для переутомленных работников умственного труда», где он жил с августа по октябрь 1920 г.

32. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-2. Публ. впервые.

Первое из 42 сохранившихся писем Ходасевича Горькому.

[1] А.И.Ходасевич в первых числах октября была в Петрограде и встречалась с Горьким.

33. П.Е.Щеголеву. — Памир. 1988. № 8. С. 176 / Публ. Е.Ю.Литвин.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, исследователь Пушкина, редактор журн. «Былое», «Минувшие годы», а также лит. прилож. к газ. «День» — «Отклики». В 1918 г. — председатель историко-революционной секции Центрархива.

24 ноября 1920 г. Ходасевич писал М.О.Гершензону: «С 1 декабря начну работать в Пушкинском Доме, составлять описания рукописей. Модзалевский, как всегда, очень мил и доброжелателен. Обещал приставить меня к пушкинской эпохе. Для начала, кажется, буду разбирать альбомы. Официальное мое звание будет — ученый сотрудник...» (*Письма Гершензону*. С. 24).

[1] *...«среди мирских печалей успокоить»*. — Строка из монолога Бориса Годунова (Пушкин А.С. Борис Годунов. Сцена «Царские палаты»).

34. М.Горькому. — Авторизованная машинопись на бланке изд-ва «Всемирная литература», Московское отделение (*АГ*. КГ-П 83-8-3). Публ. впервые.

[1] Ходасевичи прибыли в Петроград 17 ноября 1920 г. в международном вагоне, имея при себе командировочное удостоверение от

изд-ва «Всемирная литература», подписанное Горьким (см. в наст. томе коммент. к очерку «Горький» в «Некрополе», к с. 153). Первое время они поселились в доме, принадлежавшем известному петербургскому антиквару М.М.Савостину, знакомому Горького, В.М.Ходасевич и ее мужа А.Р.Дидерихса по работе в Оценочно-антикварной комиссии по учету национальных ценностей, председателем которой был Горький; жили там до переселения в Дом искусств.

[2] О сложностях перевода своего пайка из Москвы в Петроград и о неблаговидной роли Брюсова рассказано в очерке «Брюсов» (см. в наст. томе). В Петрограде Ходасевич не только получал паек по линии КУБУ (Петроградской комиссии по улучшению быта ученых, председателем которой был Горький), но и после своего отъезда за границу в июне 1922 г. сумел его, с помощью Горького, сохранить за своей оставшейся в Петрограде женой — А.И.Ходасевич. В письме от 11 июля 1922 г. он просил Горького дать об этом распоряжение доверенному лицу Горького — А.П.Пинкевичу — и напоминал в связи с этим: «Не худо, если упомянете, что я здесь в официальной, но безденежной командировке от Наркомпроса (мандат, подписанный Покровским, № 3322, от 23 мая 1922)» (*АГ*. КГ-П 83-8-5). В январе 1923 г. он послал жене на имя Пинкевича бумагу, удостоверяющую продление своей заграничной командировки (срок которой кончался 8 декабря 1922 г.); см.: *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Хлопоты о пайке для А.И.Ходасевич продолжались еще и летом 1923 г.: 8 июня Ходасевич вновь просит Горького подтвердить легальность его положения за границей: «...не напишете ли Державину и Ольденбургу по письму о том, чтоб они выдавали мой паек Анне Ивановне Ходасевич. Мотивировка: работаю здесь по истории литературы, редактирую с *Вами* “Беседу”, паек сокращает мои расходы по содержанию жены в России... И пишу стихи» (*АГ*. КГ-П 83-8-7).

[3] *Покровский* Михаил Николаевич (1868—1932) — историк, с 1918 г. заместитель наркома просвещения РСФСР. Резкую характеристику Покровского Ходасевич дал в статье «Все — на писателей!» (1922) — см. т. 2 наст. изд.

[4] *Гуревич* Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница, литературный и театральный критик.

[5] *Павлович* Надежда Александровна (1895—1980) — поэтесса. Переехала из Москвы в Петроград летом 1920 г.

35. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 88.

«Ходасевич, в 1920 году переехавший из Москвы в Петроград, был чуть ли не единственный литератор, совершивший в это время подобное переселение», — отметил Н.Чуковский (Чуковский Николай. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 109).

[1] *Софья Семеновна* — мать Б.А.Диатроптова.

[2] *Ольга Алексеевна* Мочалова (1898—1978) — поэтесса, автор воспоминаний «Литературные встречи» (неизд.), друг и биограф Г.И.Чулкова.

36. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 95.

[1] *...к Брокгаузу—Ефрону...* — Имеется в виду изд-во, основанное в Петербурге в 1889 г. для издания энциклопедии; выпускало также собр. соч. Байрона, Мольера, Шиллера и др., а после 1917 г. — книги по литературоведению и искусству.

37. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 95—97.

О петербургской зиме Ходасевич писал М.О.Гершензону 7 мая 1921 г. «Я весь ноябрь ужасно мучился с военными делами, весь декабрь искал квартиру (первая оказалась непригодной), а январь и половину февраля пролежал в постели — все с теми же нарывами. Последний был 121-й. С тех пор живу сносно, читаю неинтересные лекции почтовым служащим, немного пишу стихи, статьи.

Здесь тихо, мирно и благожелательно. От угорелой Москвы очень отдохнул. Физически здоров, не отъелся, но отлежался и отогрелся в прекрасной комнате, из которой виден весь Невский и в которой было тепло и идеально чисто всю зиму. В комнате, словом, хорошо. Но, выходя из нее, каждый раз угнетаюсь пустыней, скукой, мертвечиной. П<етер>бург сейчас — отличный кабинет для историка, но как подумаешь, что история здесь не только пишется, но и совершается, — начинается горечь и угнетенность» (*Письма Гершензону*. С. 24).

[1] *Цензор* Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт.

[2] Подробно о маскараде в школе ритма Ауэр 11 января 1921 г. и темно-синем домино Блока рассказала Н.Павлович (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 493). В поэме Н.Павлович «Воспоминания об Александре Блоке» Ходасевич упомянут как участник маскарада:

И Ходасевич, едкий, терпкий,
Со скуки забредя в тот зал,
Острот небрежных фейерверком
Кружок соседей ослеплял.

(Павлович Н.А. Думы и воспоминания. М., 1962. С. 35).

[3] Ходасевич пишет о ст-нии «Душа». Против него на *ЭБ* пометка: «4 января 1921 г. Первое стихотворение, написанное в Петербурге после выздоровления».

[4] Описка: 20 января 1921 г.

[5] В Дневнике 1921 г. М.А.Кузмин записал: «19 (среда) <...> В Доме искусств скучно, холодно, публики маловато. Читал плохо» (*М-12*. 1993. С. 439). Скорее всего, среди других стихов Кузмин прочел ст-ние «Лермонтову», вошедшее в сб. «Нездешние вечера» (Пг.: Петрополис, 1921), где есть строки:

Ты страсть мечтал необычайной,
Но ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной, —
Могилой стал тебе Кавказ.

И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная метель...
Ты выбираешь — что? две пули,
Да пошловатую дуэль.

38. Б.А.Диатроптову. — *НН.* 1988. № 3. С. 88—89.

[1] Пункты 1—10 — пояснения к плану комнаты, нарисованному автором.

[2] *Федя* — сын А.И.Диатроптовой от первого брака.

39. В.Г.Лидину. — *М-14.* С. 425—426 / Публ. И.Андреевой. Автографы — в семье В.Г.Лидина, письма опубл. с разрешения его дочери Елены Владимировны Лидиной.

Лидин (Гомберг) Владимир Германович (1894—1979) — прозаик, автор двух десятков романов и повестей, множества рассказов; известен моментальными зарисовками книг, которые он собирал, и людей, создававших книги: художников, издателей, писателей («Люди и встречи», «Друзья мои — книги»).

Знакомство Ходасевича с Лидиным относится к весне 1917 г., времени создания Московского клуба писателей. Лидин был сотрудником изд-ва «Северные дни», где Ходасевич выпустил перевод романа Клода Тилье «Дядя мой, Веньямин» (М., 1917); составлял альманахи «Северные дни», в которых печатался Ходасевич.

Приятельские отношения не прервались и после отъезда Ходасевича за границу; когда В. Г. Лидин в 1922 г. приезжал в Берлин, они виделись, о чем сохранилась запись в «камерфурьерском» журнале за ноябрь: «*11, суб.* Обедать (у Бербер<овой>). Геликон (Белый, Пастернак). Ландграф ("клуб") (Зайцевы, Осорг<ин>, Франк, Белый, Ященко, Муратов, Бердяев, Лидин...)» (*АБ*).

[1] Подавление кронштадтского восстания (28 февраля — 15 марта) Ходасевич, как и другие обитатели Дома искусств, пережил трагически. Художник В.Милашевский, живший с Ходасевичем в одном коридоре, описал эти дни в своих мемуарах: «Артиллерийские гулы наполняли воздух днем и ночью.

Петроградцы всех рангов — рабочие, интеллигенты, бывшие буржуи, академики — нервничали. Был введен комендантский час: после семи вечера на улицах ни души, только патрули. <...>

Читали стихи, курили, слонялись из комнаты в комнату, передавали друг другу стихи, присаживались на стулья, на кушетки, и эти неодушевленные предметы начинали скрипеть отвратительной нервной дрожью...

Бух! Бух! Бух!» (Милашевский В.А. Вчера, позавчера...: Воспоминания художника. М., 1989. С. 213).

«Вестник литературы» (1921. № 3) сообщал о том, что отложен Пушкинский вечер, намеченный на воскресенье, 5 марта, «вследствие запрещения зрелищ и собраний на время осадного положения». В № 1 «Литературной газеты», о которой далее пишет Ходасевич, сообщалось об аресте группы литераторов. По-видимому, с кронштадтскими событиями связано и запрещение «Литературной газеты». Первый номер был конфискован в типографии. Текст его опубликовали А.Устинов и В.Сажин (*ЛО.* 1991. № 2).

[2] В 1918 г. В.Ходасевич собирался издавать собр. соч. Дельвига и даже отправился для этого в Петербург разыскивать дель-

виговские бумаги. 8 октября 1918 г. он писал А.И.Ходасевич: «Дальше — секрет. Никаких Дельвиговских бумаг в Публичной библиотеке нет. Они все погибли несколько лет тому назад. Это сильно облегчает мою задачу. Есть кое-что в Пушкинском доме, и это все Модзалевский обещает мне приготовить к четвергу. Если придет Мирович, скажи, что я работаю по Дельвигу, больше ничего» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 47).

Тогда же он попросил ряд книг из библиотеки Лидина для работы. Но проект не состоялся. В архиве Лидина сохранился типографский бланк «Издательство З.М.Мировича»; об этом «мифическом издателе» он написал в очерке «Вячеслав Иванов».

[3] Статья Е.Замятина называлась «Пора» (см.: *ЛО*. 1991. № 2. С. 97—98).

[4] Передовая, написанная В.Ходасевичем — «Памяти предка», — хотя и имела подзаголовок «Историческая справка», была страстным публицистическим откликом на происходившее в стране: «...в непроглядной тьме варварства, произвола, насилия, хамства — лишь ее (независимой русской литературы. — *Коммент.*) голос всегда звучал путеводным зовом. Но слишком часто бывало так, что черная сила наваливалась, душила, давила: сперва слышался только хрип, потом затихал и он. И молчание становилось общественным бедствием.

И обратно: это молчание свидетельствовало об общественном бедствии еще большего обхвата. Вот закон истории, подобный законам физики: "Молчание литературы всегда отмечает в России эпоху глубоко реакционную".

В одну из таких черных эпох, во дни Николая Первого, когда одни из писателей были уже удавлены на виселице, другие сосланы, третьи изнывали в тисках официального покровительства; когда словесность была головою выдана жандармам и цензорам, состязавшимся в невежестве, глупости и любви к казенному отечеству; когда литературе предлагалось петь гимны существующей власти — или не быть вовсе; когда общественное мнение изображалось подкупленными перьями международных проходимцев Булгарина и Греча; когда между просвещением и народом стояла непробиваемая стена служилой сволочи, желавшей лишь одного: казнокрадствовать и бездельничать; когда писателю приходилось становиться чиновником, чтобы не умереть с голоду и не быть заподозренным в крамоле, — в те проклятые времена несколько писателей, состоявших на замечании у правительства, вздумали издавать газету, которой цель заключалась в том, чтобы казенным литературным мнениям, пристрастным оценкам, доносам и невежеству Булгариных, хотя бы в области узколитературной (ибо касаться иных вопросов было вовсе запрещено), противопоставить придавленное цензурой, но все-таки независимое и неподкупное мнение людей честных и сведущих в том, о чем они пишут» (*ЛО*. 1991. №2. С. 96—97).

[5] *Пильняк* (Вогау) Борис Андреевич (1894—1938) — прозаик.

[6] «Преступление Николая Летаева» было задумано Андреем Белым как первый роман будущей *«Эпопеи»*.

40. М.О.Гершензону. — *Письма Гершензону.* С. 26—27.

15 писем В.Ф.Ходасевича к М.О.Гершензону сохранились в архиве Гершензона (*РГБ).* Письма М.О.Гершензона Ходасевич опубликовал как приложение к очерку «Гершензон» (*СЗ.* 1925 Кн. XXIV). Ходасевич предупредил читателей: «В письмах пришлось по условиям времени сделать небольшие сокращения <...> и заменить буквами некоторые собственные имена». Имена и изъятия восстановлены Н.Н.Берберовой, напечатавшей письма Гершензона в *НЖ* (1960. № 60). Хотя некоторые из писем Гершензона и Ходасевича утрачены, это редкий случай сохранившейся переписки.

Их дружба завязалась летом 1915 г., когда Ходасевич послал Гершензону оттиск своей статьи «Петербургские повести Пушкина».

«В ответ получил письмо, набитое комплиментами, похвалами, приветствиями и другими пряностями, но хорошее и простое. Старик мне мил», — писал Ходасевич Муни 19 июня 1915 г. (*Письма к Муни*).

3 августа Б.А.Садовской по просьбе Гершензона привел к нему Ходасевича, и Гершензон написал Садовскому летом 1916 г.: «По Вашему совету я познакомился с Ходасевичем и полюбил его» (*РГАЛИ*. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 42). 1917—1920 годы связали их не только общими бедами, но и совместными работами, общими замыслами. М.О.Гершензон предисловие к 4 тому «Русских Пропилей» (письма из Огаревского архива) кончал словами: «Приношу искреннюю благодарность В.Ф.Ходасевичу за добрую помощь в настоящей работе». Вместе готовили они «Антологию еврейской поэзии». Ходасевич писал М.Б.Гершензон после смерти ее мужа: «Михаил Осипович был для меня человеком, к которому, за последние десять лет, я к первому шел делиться всеми радостями и горестями. И в писаниях, и в жизни (а это — важней и трудней) был он для меня таким умным, таким безжалостно-строгим и таким бесконечно доброжелательным судьей, какого уж больше я не найду, — да и не стану искать» (De visu. 1993. №5. С. 39).

[1] Отдельным изданием поэма *«Первое свидание»* вышла в октябре 1921 г. (Пб.: Алконост).

[2] Слово *«Летаевская»* образовано от имени главного героя автобиографической повести Андрея Белого «Котик Летаев» (Пг.: Эпоха, 1922). Ходасевич не только обозначил, очертил им Москву А.Белого, но хотел усилить, передать легкость ямба, которым написана поэма «Первое свидание»: «летучий» — «летаевская».

[3] За ст-нием «Психея! Бедная моя!..», которое Ходасевич послал Гершензону в письме от 7 мая 1921 г., последовали другие, составившие *ТЛ*. См. их в т. 1 наст. изд.

[4] Получив «Психею», Гершензон написал: «Стихи Ваши прочитал с удовольствием, а критики не напишу. Замучила меня критика; в середине зимы я объявил, что больше не буду разбирать никаких стихов, и с тех пор тверд — как скала. Как приносят мне стихи, я благодарю, говорю, что непременно прочитаю, потому что люблю стихи, но суждения не произнесу» (27 мая 1921 г.).

[5] О том же Ходасевич писал и в очерке «Гершензон», но парадоксальность и одновременно некоторая прямолинейность суждений Гершензона о стихах порой раздражали, порой смешили его, что нашло отражение в дневнике Ю.Оболенской, где она записала рассказ Ходасевича: «О *Гершензоне* и его манере новой ненаучной философ<ии>, приеме провинц<иальном>, <кот>орым он терр<оризирует>, не дав опомн<иться>. Знаете вы, что такое Библия? Библия — это лошадь. Да, да, я об этом напишу.

Прием быть парадоксальным не вызывающе легко, а глубокомысленно, так что незаметно; а в дальнейшем развивается целая постройка над мал<енькой> ошибкой. И не докопаться. ("Христианс<тво> тоже казал<ось> сначала парадокс<ом>").

По мнению Вл<адислава>, все это происходит от лысости. Будь он красив и молод, был бы Оскар Уайльдом. Он же — некрасив и лыс, поэтому справедливо облекает парадоксы в подходящую форму.

О его критике стихов. Хотя самого Владислава он хвалит очень; но прежде он любил читать ему, то была очень тонкая крит<ика>, а теперь (по поводу чужих стихов), например, — пошло рифмовать первую строку с четвертой или — "о всей вещи можно судить по первой строке". Тогда (гов<орит> В<ладислав>) читатели первого издания "Руслана и Людмилы" должны судить о ней иначе, чем читатели второго издания» (11 июля 1919 г. — *РО ГЛМ.* Ф. 348. Оп. 1. Ед. хр. 4).

[6] *Ваша «multapars»* — Ваше Разнообразие или Ваше Многообразие *(лат.)*.

[7] В.Г.Лидин служил в Книжной лавке «Содружество писателей», да и как коллекционер выменивал, продавал и покупал книги.

[8] Отсылка к эпиграмме Пушкина: «В Академии наук заседает князь Дундук...» (1835).

[9] *...«что-то есть»...* — Слова М.Горького о футуристах из выступления на вечере, посвященном выходу сб. «Стрелец», 25 февраля 1915 г. Все петербургские газеты подхватили их: «Конечный вывод Максима Горького "В футуристах все-таки что-то есть"» (День. 1915. 27 февраля. Цит. по кн.: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985. С. 102). В тексте опубликованной Горьким статьи «О футуризме» этих слов не было; ее предваряло пояснение редакции: «Ввиду путаницы, созданной газетными известиями о выступлении Максима Горького на вечере футуристов, — редакция "Журнала журналов" обратилась к знаменитому писателю с просьбой выяснить его точку зрения» (Журнал журналов. 1915. № 1). В воспоминаниях современников слова «что-то есть» остались летучим словцом, анекдотом.

[10] *Мария Борисовна* Гершензон (урожд. Гольденвейзер; 1873—1940) — жена М.О.Гершензона.

[11] Ст-ние *«Ласточки»* впервые опубл. в альм. «Северные дни» (М., 1922. Вып. 2).

41. Андрею Белому. — *ВЛ*. 1987. № 9. С. 241—242.

Написано на обрывке листа, карандашом, неровным почерком.

Ответное письмо А.Белого Ходасевич опубл. в *СЗ* (1934. Кн. LV. С. 257—258):

«Дорогой Владислав Фелицианович,
приехал лишь 8 августа из Царского: застал Ваше письмо. Отвечаю: — Блока не стало. Он скончался 8 августа в 11 часов утра после сильных мучений (Белый несколько раз переправлял цифру 7 на 8. Блок умер 7 августа 1921 г. — *Коммент.*): ему особенно плохо стало с понедельника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду, 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище.

Да!

— Что ж тут сказать? Просто для меня ясно: такая полоса; он задохся от очень трудного воздуха жизни; другие говорили вслух: "Душно". Он просто молчал, да и... задохся.

Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто "бытие" Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или *умирают*, или *просветляются* внутренно: вот и стукнуло мне его смертью: *пробудись* или *умри: начнись* или *кончись*. <...> Он был поэтом, т.е. *человеком вполне*, стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле). А жизнь так жестока: он и задохся.

Эта смерть — первый удар колокола: "*поминальнаго*", или "*благовестящаго*". Мы все, как *люди вполне*, "*на роковой стоим очереди*": "*погибнуть, иль... любить*". Душой с Вами. *Б.Бугаев*».

42. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 89—90.

О колонии писателей в Бельском Устье и Холомках см. подробные комментарии И.Безродного, опубликовавшего очерк В.Ходасевича «Поездка в Порхов» (*ЛО*. 1989. № 11. С. 106—112). Дата приезда Ходасевичей отмечена в дневнике Корнея Чуковского. См. запись 6 августа 1921 г.: «Сегодня событие: приезд Ходасевичей» (Чуковский К. Дневник 1901—1929. М., 1991. С. 178).

[1] Описания яблока, сливы, груши, персика и «беды» сопровождались рисунками В.Ходасевича.

[2] О Жене Вихровой, дочери бывшего кучера, и ее сестре Тоне см. очерк «Холомки» в кн.: Чуковский Николай. Литературные воспоминания. С. 92—99.

[3] *«Узел»* — первоначальное заглавие сб. стихов, получившего название «Тяжелая лира».

43. В.Г.Лидину. — *М-14*. С. 427—429.

[1] *Мария Генриховна* — М.Г.Суткевич, секретарша Московского отделения изд-ва «Всемирная литература».

[2] *Н.Радлов* — Николай Эрнестович Радлов (1888—1942), художник.

[3] *...три юных беллетриста: Зощенко, Лунц и Слонимский.* — Входили в литературную группу «Серапионовы братья», рождавшуюся на глазах у Ходасевича. «Пожалуйста, поклонитесь Серапионам: хорошие мальчики», — писал он М.Л.Слонимскому из Берлина. С Лунцем и Слонимским его связывали приятельские отношения; Зощенко Ходасевич ценил как прозаика, писал о его книгах, внимательно следил за его выступлениями. 24 августа 1922 г. он писал М.Л.Слонимскому: «Зощенко. Я читал его автобиографию, перепечатанную "Рулем" из Дома Литераторов. Нехорошо. Нехорош балагурный тон, оригинальничанье без оригинальности. Избитый прием — введение ничего не говорящих имен (Олечка Зив, которой кланяюсь). Дешевое остроумие — "2 раза самоубивался, 3 раза меня били". То, о чем говорит Зощенко, и, главное, сам он весь — стоит серьезного умного рассказа. Вообще же — рано писать автобиографии людям, о которых самые осведомленные люди не знают еще ничего, кроме этих автобиографий. Это саморекламирование, размашистость, "непринужденность" — не дело для писателя, уважающего литературу, себя и — да, да, читателей. (Ибо, если не уважаете — зачем с ними заигрываете, а если уважаете — зачем в их глазах так никчемно себя рекомендовать?) Главное же, повторяю, Зощенко так неведом, что теперь иные хорошие умные люди (Борис Зайцев, например) знают о нем только по этой злосчастной обмолвке — и знают дурно. "А чтó это еще за Кусиков, которому фамилия Зощенко?" — это буквальный вопрос. А дальше: "это не тот, которого Вы так хвалили?"» (*РГАЛИ*. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 545). Приводится по копии, сделанной для В.Н.Орлова. Автографы — *ЦГАЛИ—СПБ*).

А в следующем письме, рассказывая о втором номере журн. «Беседа», «который будет шикарный», Ходасевич прибавлял: «не хватает *Вашего* рассказа и *Зощенки*» (27 марта 1923 г.).

[4] В Москву Ходасевич выбрался только 1—2 октября и пробыл до 16 октября 1921 г. В письмах к А.И.Ходасевич он подробно рассказывал о жизни знакомых москвичей, о делах: «Был у Герш<ензона>. Мил, но занозист. Биогр<афию> Пушкина заказал мне от имени Сабашн<икова>, который сидит, но, вероятно, скоро будет освобожден». Открыткой от 11 октября 1921 г. Ходасевич известил: «Вчера читал в Союзе. Была "вся Москва". Кажется, я имел весьма большой успех» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48).

[5] Статья А.Белого «Рембрандтова правда в поэзии наших дней (О стихах Ходасевича)» (*ЗМ*. 1922. № 5. С. 136—139). Делая помету рядом со ст-нием «Искушение», Ходасевич написал: «С этого стих<отворения> началась последняя дружба с Белым. Его статья обо мне в "Записках Мечтателей" — гл<авным> образ<ом> — из этого стихотворения» *(ЭБ)*.

44. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48. Публ. впервые.

[1] К ряду домашних прозвищ А.И.Ходасевич надо добавить *Пип* — имя главного героя романа Диккенса «Большие надежды».

[2] *Юрий Николаевич, Ю.Н.* — Султанов, сын писательницы Летковой-Султановой.

[3] *Belle-mère* — теща или свекровь *(фр.)*.

[4] *Княжна* — Софья Андреевна Гагарина, приятельница Добужинского. О ней см.: Чуковский К. Дневник 1901—1929. С. 159.

[5] *...«даже песне есть конец»...* — Из ст-ния Ходасевича «Ворожба».

[6] *Надя* — Н.А.Павлович, *Ольга Дмитриевна* Форш — соседки Ходасевича по Дому искусств и близкие приятельницы.

45. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 98—99.

[1] *Недоброво* Николай Владимирович (1882—1919) — поэт и критик, близкий друг Ахматовой, умер от туберкулеза в Крыму.

Архив его, оставленный в Царском Селе, в его квартире, попал в Государственный книжный фонд, откуда в 1928 г. передан в Пушкинский Дом. Интерес Г.И.Чулкова к архиву Недоброво вызван был его работой над изданием Тютчева: Недоброво собирался писать книгу о Тютчеве, читал рефераты о его творчестве.

[2] См. кн.: Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы, остроты / Предисл. Г.И.Чулкова. М.: Костры, 1922. Статьи Г.Чулкова «Любовь в жизни и лирике Тютчева» и «Судьба рукописей Тютчева» опубл. в кн.: Тютчевский сборник (1873—1923). Пг.: Былое, 1923.

[3] О смерти А.Н.Чеботаревской см. очерк Ходасевича «Сологуб» в наст. томе. Она бросилась в речку Ждановку 23 сентября 1921 г., а тело нашли и опознали 2 мая 1922 г.

46. Г.И.Чулкову. — Опыты. 1994. Кн. 1. С. 99.

[1] Так, спустя годы, искаженно, отозвалось эхо литературного скандала вокруг статьи Г.Чулкова «О мистическом анархизме» (Факелы. 1. 1906).

[2] *Верховский* Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, историк литературы. См. рец. Ходасевича на сб. Верховского «Идиллии и элегии» (*УР*. 1911. 12 февраля) и его приписку к деловому письму из Берлина от 1 августа 1922 г.: «...пользуюсь оказией, чтобы черкнуть Вам два спешных слова о том, что помню и люблю Вас не только как поэта, но и как хорошего человека. Очень мне дорога память о нашей дружбе» (*ВРСХД*. 1978. IV. № 127. С. 121).

[3] *...«Из толпы мне кричали: довольно!»* — Неточная цитата из ст-ния Блока «Я был весь в пестрых лоскутьях...» (1903).

[4] Статью Ходасевича «Об Анненском» см. в т. 2 наст. изд.

[5] *Вольфила* — Вольная философская ассоциация, созданная в Петербурге по инициативе Иванова-Разумника, А.Белого, Блока, К.Эрберга и др. в ноябре 1919 г.

[6] Анненский Валентин Иннокентьевич, подписывавший свои стихи псевд. «В.Кривич», был издателем произведений Иннокентия Анненского, его биографом.

[7] В Москву Ходасевич выбрался 24 января 1922 г. 26 января он сообщал А.И.Ходасевич: «Сегодня я видел Г<еоргия> И<вановича> и Диатроптовых. Г<еоргий> И<ванович> не плох на вид, работает. Диатроптовы целы.

Вчера вечером был у Лидина на собрании "Лирического Круга". Все это довольно ничтожно, убого, бездарно.

Завтра надо идти в заседание Правления Союза Писателей.

В субботу Г<еоргий> И<ванович> читает у Лосевой свой рассказ. Надо идти.

Слава моя велика и обильна, а порядка в ней нет. То есть из "Лирич<еского> Круга" денег еще не получил.

Но: я подписал договор с Сабашниковым относительно биографии Пушкина».

31 января, продолжая отчет о московской поездке:

«В субботу у Лосевой Г<еоргий> И<ванович> читал свой рассказ, я стихи. Ахали. Вчера занимался тем же у Пахомова. Ахали. <...>

Дороговизна в Москве чудовищная. Хлеб черный — 28 т., пирожное — 30, торт в Ампире — 90 т. кусок! Бифштекс — 150. За статьи — два с половиной м<иллиона>, за рассказы — 5 с листа. Но стихи — 10—15 maximum. Коппельман, возрождающий "Шиповник", согласился платить мне по 25, но под честным словом — не говорить московским стихотворцам, которым я бы, впрочем, не дал гроша ломаного. Марина, Липскеров, Глоба пишут такое, что хоть святых вон выноси. О, сестры Наппельбаум! О, Рождественский! Это — Боги в сравнении с москвичами» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49).

47. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Публ. впервые.

[1] Ходасевич составил подробный план предстоящего разговора с Луначарским:

«VI 1) Я не хочу писать белых статей.

III 2) Я хочу занять независимое положение в зарубежной прессе.

I 3) Я хочу печатать стихи и статьи на темы ист.-литер. и культуры.

V 4) Я хочу лечиться.

II 5) Я хочу бороться с духом буржуйства, т.е. с идейным обывательством, мещанством, оппортунизмом.

IV 6) Я хочу осв<ежить> впечатл<ения> с чисто эстет<ической> стороны. (Давно бы съездил.)

III 7) Я хочу и должен видеть совр<еменную> Европу» (Глагол. Анн Арбор: Ардис, 1978. Альм. 2. С. 121). Лист не датирован.

[2] *Гинцбург* — возможно, речь идет о Юдифи Наумовне Гинзбург — бывшей секретарше А.В.Луначарского, знакомой Ходасевича по Дому искусств.

[3] *Г.И.* — Георгий Иванович Чулков.

48. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Публ. впервые.

[1] *Бернштейн, Берн.*— Бернштейн Игнатий Игнатьевич, для близких «Саня» (1892—1970) — друг А.И.Ходасевич.

[2] А.И.Ходасевич лечилась в это время в санатории в Царском Селе.

[3] *«Офелия гибла и пела»...* — Первая строка ст-ния А.Фета (1846). Из цикла «К Офелии».

[4] 8 февраля 1922 г. Ходасевич писал А.И.Ходасевич: «В понедельник в Союзе Пис<ателей> был вечер в пользу Макса Волошина, который очень болен (он в Коктебеле). Собрали 15 миллионов. Читали: Бердяев, Новиков, Лидин, Парнок, Борис Зайцев и я. Публику уложил я в лоск. Ахали».

49. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Публ. впервые.

[1] 12 мая 1922 г. Ходасевич отправил А.И.Ходасевич письмо: «Ты просишь писать правду, не бояться тебя огорчать, п<отому> ч<то> "хуже того, что было, не может быть". Рад, что хоть на бумаге ты благоразумна. Отвечу правду. Думаю, что всего лучше было бы и для тебя, и для меня — разъехаться. <...> Если бы ты на это решилась, было бы и умно, и великодушно, и любовно с твоей стороны. О себе же скажу, что, пожалуй, только тогда я смогу быть тебе таким верным и любящим другом, каким, видит Господь, я хочу быть. Только тогда я смогу быть тебе настолько полезным, насколько хотел бы. *Вздор* все твои речи о старости. Люба совсем седая, — а все же живет, работает, борется. А ведь такой поддержки, какой был бы для тебя я (и внутренне, и материально), у нее нет. Прошу тебя быть терпеливой, работать в студии, обдумывать свои действия, ни с кем не ссориться, никого не изводить. Анюта, мы *оба* сделали друг другу много добра и много зла. Но если и впредь останемся вместе, — будем делать одно только зло. Так нельзя. Наше хорошее обязывает к хорошему и в дальнейшем, но это хорошее должно принять иные формы. Не плачь, не злобься, прими эти слова любовно, потому что Господь видит, как я любовно пишу их».

Письмо испещрено надписями на полях почерком А.И.Ходасевич «Уничтожить», «Сжечь», вопросительными знаками.

[2] *Лева* — Лев Натанович Лунц (1901—1924) — прозаик, драматург, вдохновитель литературной группы «Серапионовы братья», приятель Н.Н.Берберовой. Через И.Т.Данилова Ходасевич хлопотал во Внешторге о том, чтобы Лунц мог получить посылку от родителей из Германии.

[3] 15 мая 1922 г. Ходасевич просил переслать ему «Евгения Онегина» и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина.

[4] *Н.Н.* — здесь и далее Нина Николаевна Берберова. В это время она приехала в Москву оформлять заграничный паспорт.

[5] Возможно, это перевод ст-ния Р.Стивенсона «Вычитанные страны», в 1923 г. опубл. в детском альм. «Крылья» (М.—П.:

Госиздат, 1923). О какой статье идет речь в письме — сказать трудно. Попытка же Ходасевича устроить *ТЛ* в какое-нибудь частное московское изд-во — провалилась. 18 мая он писал А.И.Ходасевич: «Стихами не торгую, п<отому> ч<то> здесь все прикрывается. В "Узле" еще не был, но, говорят, он вряд ли выпустит № 2, а, м<ожет> б<ыть>, и 1-й не выйдет. "Дельфин", Коппельман, Пахомов и "Сев<ерные> дни" от моей книги уже отказались. Сейчас был у Зайцева. М<ожет> б<ыть>, устроится с "Изд<ательством> Писателей". Если и это лопнет — пойду в Госиздат, к П.С.Когану, чего по тысяче причин не хотелось бы делать».

К 1 июня выяснилось, что московское «Издательство писателей» рукопись не берет; 8 июня Ходасевич открыткой сообщил: «Сегодня рукопись перепечатывают, и она идет в Госиздат, на рассмотрение Коллегии».

В Госиздате, как он и предполагал, *ТЛ* вышла со множеством опечаток. 2 января 1923 г. Ходасевич писал из Берлина: «...московское издание ужасно. <...> Мелких опечаток не выписываю: их — больше сорока».

[6] О *Пинкевиче* см. коммент. к письму 34 в наст. томе.

50. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49. Публ. впервые.

[1] *Воронский* Александр Константинович (1884—1937) — литературный критик, мемуарист, редактор журн. «Красная новь»; в 1922 г. в № 4 *КН* была опубл. подборка стихов Ходасевича.

[2] *Лиля* — Елена Васильевна — жена И.А.Торлецкого, в дачном доме которого Ходасевич находил убежище в самые трудные дни. В 1922 г. он надписал ей кн. «Путем зерна»: «Елене Васильевне Торлецкой, на память о четырнадцати годах нашего знакомства

Владислав Ходасевич.

15 февраля (часовая стрелка — на час вперед)» (Русская литература. 1992. № 2).

51. П.Н.Зайцеву. — *ИМЛИ.* Ф. 15. Оп. 2. Ед. хр. 146. Публ. впервые.

Зайцев Петр Никанорович (1889—1970) — поэт, редактор; был секретарем журн. «Рабочий мир», в 1922 г. — секретарем газ. «Московский понедельник» (Ходасевич печатался в этих изданиях); в 1922—1925 гг. — секретарем изд-ва «Недра». В это же время из литературного кружка, собиравшегося на квартире П.Н.Зайцева, образовалась издательская артель «Узел». Автобиографию в форме письма Ходасевич прислал для антологии, которую готовили И.С.Ежов и Е.И.Шамурин. «Кланяйтесь Шамурину. Что "Узел"? Что Ваши антологии?» — интересовался он из Берлина 6 сентября 1922 г. «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней» вышла в 1925 г. (М.: Новая Москва). Планом автора составители не воспользовались, напечатав стихи по

своему выбору и в произвольном порядке. Отредактировав и сократив письмо В.Ф.Ходасевича, П.Н.Зайцев превратил его в биографическую справку, которую включил в «Био-библиографию поэтов» (1923. Рукопись. — *ИМЛИ*). Ее опубл. Д.Малмстад в примеч. к работе: «А.Белый и П.Н.Зайцев. Переписка» (*М-13*. С. 218).

[1] На юридическом факультете Московского университета Ходасевич числился студентом до летних каникул 1910 г. В его студенческом деле (*ЦИАМ*. Ф. 418. Оп. 318. Ед. хр. 1279) сохранился студенческий билет на 1910 г. Только осенью, как не внесшего плату в пользу преподавателей, его отчислили из университета.

[2] На частые реминисценции из произведений Лермонтова в стихах Ходасевича 1920—1921 гг. указывал Ю.И.Левин в работе «Заметки о поэзии Вл.Ходасевича» (*Левин*. S. 50—51, 56, 62).

52. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 91.

[1] *26.VII* — описка. В «камерфурьерском» журнале записана дата отъезда из России: 22 июня 1922 г., приезд в Берлин — 30 июня в 8 часов утра *(АБ)*. Письмо написано Н.Н.Берберовой под диктовку Ходасевича карандашом.

[2] *Tirgotava* — лавка, магазин; *tirgotaya* — продавец *(латыш.)*.

[3] *Veikals* — крупный магазин *(латыш.)*.

[4] *Маргарита Васильевна* Сабашникова (1882—1973) — художница, поэтесса, первая жена М.А.Волошина, — была в приятельских отношениях с Диатроптовыми; портрет Александры Ионовны работы Сабашниковой хранится в семье Диатроптовых.

53. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-4. Публ. впервые.

Ходасевич пишет Горькому сразу же по приезде в Берлин.

[1] Горький ответил из курортного местечка Герингсдорф 3 июля: «Если это удобно для Вас, — приезжайте в четверг <...> Очень рад буду видеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете <...> До свидания со мною — подождите принимать предложения “Накануне”» (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 205). Последняя фраза, как рассказал Ходасевич во втором очерке «Горький», его тогда удивила. «Мне показалось странно, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я» (с. 359 наст. тома). Позднее, готовя к публикации письма Горького к нему, Ходасевич так комментировал эту фразу: «“Накануне” — сменовеховская газета, издававшаяся в Берлине. Предполагая, что А.Н.Толстой, заведовавший ее литературным отделом, предложит мне в ней участвовать, Горький старался предупредить события, так как относился к “Накануне” весьма отрицательно» (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 205). Горький при этом хотел сохранить Ходасевича как сотрудника в собственном предприятии (будущей «Беседе»), планы которого им уже вынашивались. Ходасевич ездил к Горькому в Герингсдорф 6—7 июля. При встрече Горький навел его на мысль статьи «Все — на писателей!» (см. т. 2 наст. изд. и с. 359 в наст. томе).

² Домашнее прозвище Марии Александровны Гейнце (1902—1930), близкой знакомой Горького, жившей у него в петроградской квартире на Кронверкском проспекте.

³ От Валентины Михайловны Ходасевич, племянницы поэта, художницы, к И.Н.Ракицкому. См. о нем и Молекуле в кн.: Ходасевич Валентина. Портреты словами. С. 114—115, 152—156 и др.

54. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 91—92.

¹ *Rauchen verboten!* — Курить воспрещается! *(нем.)*

² День, когда состоялась манифестация, и все дни, от приезда до отправления письма, занесены в «камерфурьерский» журнал. Это очень важные для Ходасевича дни, наполненные встречами с людьми, которых он хорошо знал в России, но не виделся с некоторыми со времен молодости.

«*1922*

30 июня, пятн. В 8 утра — Берлин. / К Жене./ А.Берберова. К парикмахеру. Вера Лурье, Бахрах. А.Берберова. Письмо к Горькому.

1 июля, суб. [К Ракицкому]. / Гуляли с Женей./ Веч<ером> — к Берберовым. [Белый].

• *2, воскр.* Залшупин. У Зайцевых. / Веч<ером> у Кречетова.

3, понед. К парикмахеру. А.Берберова. За покупками. / Геликон. / Белый. Амфитеатров./ Гулял. [Ракицкий]. [К Ракицкому]. Кафэ. Письмо от Горького.

4, вторн. В «Огоньки». / Шкловский. Кафэ./ Демонстрация.

5, среда. Ванна. / В Геликон./ За покупками. К Ященко. / Ася. Нина. Маковский. Вишняк. В кафэ с Вишняком и Цветаевой (Pr<ager> D<iele>).

6, четв. К портному./ В кафэ. 1 ч. 20 — в Heringsdorf./ Там: Горький, Максим с женой, Ракицкий, Добровейн, Шаляпин, кн. Багратион-Мухранский. [Кречетов. Парнах]. Письма к Нине Петр<овской> и Чулкову. [Ася].

7, пятн. До 2 1/2 в Heringsdorf'e (Те же и Толстой с Тусей). В 9 ч. — в Берлине. Шкловский. / В кафэ (Минский, Венгерова, Юренева, Постников, Кусиков, Пуни и др.).

8, суб. К портному. За покупками. / Слоним. Ася. Женя. За папиросами. / В кафэ (с Женей) (Pr<ager> D<iele>).

9, воск. Маковский. Письмо к Диатроптовым. У Жени. Шкловский. У Кречетова. Поехали в Париж. 10 фр. для Нюры» *(АБ)*.

(В квадратных скобках Ходасевич обычно отмечает получение или отправку писем. — *Коммент.*)

³ В России у Ходасевича с С.К.Маковским, после того как Марина Рындина стала женой Маковского, сохранялись литературные, деловые отношения (Ходасевич сотрудничал в «Аполлоне»), личных — они избегали. В Берлине им пришлось встречаться часто, а в Париже они вместе работали в *В*, причем Маковский был заведующим литературным отделом. Их отношения снова осложнились. См. письмо Ходасевича к А.В.Амфитеатрову: «...я бываю в

редакции очень редко, особенно с тех пор, как прекратил всякие отношения с Маковским. Кстати, не писал ли он Вам когда-нибудь, будто я заведую литер<атурным> отделом "Возрождения"? Обнаружилось, что, возвращая авторам рукописи, он нередко ссылался на меня» (1 января 1932 г. — Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост. В.Крейд. М., 1994. С. 364).

[4] *Кусиков* (Кусикян) Александр Борисович (1896—1977) — поэт; в Берлин приехал в командировку; в Россию не вернулся; в 1926 г. поселился в Париже.

В рубрике «Писатели о себе», постоянной в журн. «Новая русская книга», он писал:

Обо мне говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес,
Что кротость орлиная и волчья
В подшибленном лице моем и профиле резком.

С гордостью сообщал, что в 1919 г. сформировал первый советский конный полк. «Имею недвижимость: бурку, бешмет, башлык, папаху и чувяки. Жены нет, но детей имею: дочь — шашка, сын — кинжал, приемная дочь — винтовка, приемный сын — пистолет. Единственный и верный мой друг — конь. <...>

Что больше всего люблю?

Вздыбленную Русь, маму и стихи свои...» (1922. № 3. С. 43—45).

[5] *Nicht hinaus lehnen!* — Не высовываться! *(нем.)*

[6] *Bitte, Deckel schliessen!* — Пожалуйста, закрывайте крышку! *(нем.)*

55. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Публ. впервые.

[1] Н.Н.Берберова вспоминала о своей встрече с Н.И.Петровской 22 сентября 1922 г.: «Нина Петровская появилась у нас однажды днем, в сопровождении сестры Нади. Надя была придурковатая, и я ее боялась. С темным, в бородавках, лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, Нина мне показалась очень старой и старомодной» (*Берберова.* С. 204). См. о ней также в кн.: Гуль Роман. Я унес Россию: Апология эмиграции. Нью-Йорк: Мост, 1981. Т. 1. С. 203: «Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н.И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии — всегда черная шляпа с сногсшибательно широкими полями. Острая на язык».

В Берлине она переводила с итальянского новеллы для «Накануне», писала рецензии. Рец. Н.Петровской на *ТЛ* см.: Накануне. 1922. 24 декабря. Лит. прилож.

[2] *«Ты — царь. Живи один»...* — Из ст-ния Пушкина «Поэту» (1830). Для жизнестроения Ходасевича строчка важная и значимая. Из нее выросло ст-ние, посвящ. Муни, — «Апрельский дождик слегка накрапывал...» (24 июня 1920 г.), она — ключ к его трагической концовке:

Ведь мы же клялись: навек, навсегда.
Зачем же после с такой жестокостью
Меня ты бросил здесь одного?

— В тетради Ходасевича 1920 г. сначала появилась строка: «Ты — царь. Живи один», ставшая отправной точкой для размышлений.

Ну вот, живу один. А где же царство?
Последний раб меня богаче: он...

(De visu. 1993. № 2. С. 36).

[3] В альм. «Шиповник» (1. М., 1922) напечатана подборка стихов В.Ходасевича.

[4] Ходасевич просил прислать «Стрелец. Сборник третий и последний» (Пб., 1922), прослышав, что там будет опубликован дневник Кузмина.

[5] *Гриша* Хрущев — работник Госиздата. О нем Ходасевич писал А.И.Ходасевич в письме от 5 октября 1922 г.: «Ты получишь от Гриши Хрущева около 40 миллионов: это — доплата за "Тяж<елую> Лиру" из Госиздата. Я Грише послал доверенность. Он же заведует корректурой и пришлет тебе экземпляры для раздачи». *Миша* — М.Ф.Ходасевич. В том же письме: «...я вхожу с Мишей в договор, по которому покупаю ему здесь книги, а он расплачивается с тобой. Но — не знаю, сколько он ассигнует, и потому не знаю, сколько пришлет. Думаю, миллионов 50—100».

Уехав из России, Ходасевич продолжал заботиться об А.И.Ходасевич, добился, чтоб ей оставили квартиру, паек, чтоб ей переводились гонорары за публикации в русских изданиях; посылал деньги, просил друзей о помощи и внимании к ней, переписывал новые стихи. Среди тех, кто заботился о ней, — Сергей Игнатьевич Бернштейн, старший брат И.И.Бернштейна, и его жена Полина Самойловна. О них Ходасевич пишет в пункте 12-м.

[6] Петербургской литературной жизнью Ходасевич продолжал интересоваться и годы спустя, писал своим друзьям по «Диску»: М.Слонимскому, О.Форш, М.Шагинян. См. рец. на повесть Н.Чуковского «Слава»: «В отличие от московской, петербургская литература стояла далеко от властей и ревностно охраняла свою независимость. Сочетание этой внутренней свободы с суровым трагизмом окружающей жизни давало творчеству острый, даже мучительный, но и мощный импульс. Много тому способствовало зрелище самого тогдашнего Петербурга, неизъяснимо величественного и прекрасного своей пустынною тишиной. Может быть, не случайно в те дни Ахматова, Гумилев, Сологуб писали свои лучшие стихи, а Белый приехал в Петербург, чтобы написать "Первое свидание". Блок уже не писал стихов, но так читал старые, что нельзя забыть этих чтений.

Три смерти, три бедствия, стрясшиеся одно за другим, — смерть Блока, убийство Гумилева, самоубийство Анастасии Чеботаревской — придали тем годам отпечаток сугубо трагический, но те, на чью долю выпало горестное счастье жить тогда в Петербурге, знают, что все-таки, вопреки всему, несмотря ни на что — это было счастье. Этим сознанием они между собою связаны навсегда, неразрывно» (*В.* 1935. 15 августа).

[7] *Кристи* Михаил Петрович (1875—1956) — уполномоченный Наркомпроса в Петрограде (1918—1926).

[8] Возможно, речь идет о ст-нии «Сквозь облака фабричной гари...» Начатое в 1922 г., оно завершено весной 1923 г. В *ССт-27* Ходасевич его не включил. 30 января 1923 г. он писал А.И.Ходасевич: «Напрасно ты обиделась, что я не хочу "переписать" для тебя "длинные" стихи, в них "666" строк и т.д. В тех стихах было *шестнадцать* строк, и не послал я их потому, что они были политические (даже не против Советской Власти), но цензура не разобрала бы по глупости. Впрочем, потом я их выбросил: плохи».

[9] См. статью Н.Асеева «По морю бумажному» (*КН.* 1922. № 4. С. 246—247): «И этакую зловещую, усталую до полной импотенции, отказывающуюся от всякого движения поэзию А.Белый рекомендует как последнюю правду и новизну? <...> Тление это, разложение, а не откровение духовного мира». См. также полемику с Асеевым в статье «Поэтическое хозяйство Пушкина» (*Б.* 1923. № 2. С. 185). Б.Л.Пастернак 31 июля 1926 г. писал М.Цветаевой: «Асеев сказал: "как она там может жить?" и, странно, прибавил... "среди Ходасевичей". И тогда я подхватил это сопоставленье, и вспомнил одно твое письмо, сказал им про твою нелюбовь к нему, и про то, как тебя покоробило, когда я стал его защищать. Я знал, как они на меня за тебя набросятся (они Ходасевича ни в грош не ставят и ненавидят), и только затем и говорил, изображая все в ином свете, чем это было в действительности» (в кн: Райнер Мария Рильке. Борис Пастернак. Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., 1990. С. 180).

[10] Следует ст-ние «Что ж? От озноба и простуды...»

56. М.О.Гершензону. — *Письма Гершензону.* С. 29.

[1] В феврале 1922 г. из-за крайнего истощения у М.О.Гершензона обострился процесс в легких, врачи рекомендовали ему лечиться в Баденвейлере, и он с семьей отправился в путь, задержавшись с 21 по 24 октября в Берлине.

[2] Н.А.Бердяев вспоминал: «Присутствие в группе высланных людей науки, профессоров дало возможность основать в Берлине Русский научный институт. Я активно участвовал в создании этого института, был деканом отделения института. Читал курс по истории русской мысли, при очень большой аудитории, и по этике» (Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1991. С. 248). Открытие института состоялось 17 февраля 1923 г.

[3] В 1922 г. многие из уехавших еще не понимали, что расстались с Россией навсегда, хранили командировки и продлевали их, хотя возвращаться медлили. 16 ноября 1922 г. в газ. «Накануне»

сообщалось: «В Берлине находится и едет вскоре в Италию Хранитель Румянцевского музея П.П.Муратов». 9 сентября 1923 г. уехали в Рим Зайцевы, что отмечено в «камерфурьерском» журнале: «Провожать Зайцевых»; идут сборы у Ходасевича: *«10, понед.* За покупками (сундук)» *(АБ).*

[4] *Степпун* — Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, литератор, деятель театра. В 1922 г. жил во Фрейбурге. С Ходасевичем знаком с 1910 г. См. его мемуары: Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Лондон: Overseas Publications Interchange. Ltd., 1990.

[5] Редактором газ. «Дни» был А.Ф.Керенский, активными сотрудниками — М.А.Осоргин и Е.Д.Кускова. Впервые в газ. «Дни» Ходасевич напечатал рец. на кн. О.Мандельштама «Tristia», подписавшись «В.Х.» (12 сентября 1922 г.; см. т. 2 наст. изд.).

[6] *Вишняк* Абрам Григорьевич (1895—1943) — владелец изд-ва «Геликон» — переиздал в Берлине ряд книг М.О.Гершензона: «Грибоедовская Москва» (1922), «Декабрист Кривцов» (1923), «Исторические записки» (1923). Ходасевич в 1922 г. по заказу Вишняка составлял альманах; с просьбой прислать стихи обращался к Ф.Сологубу, Ю.Верховскому, С.Парнок и др. 1 марта 1923 г. написал А.И.Ходасевич: «В июле изд-во “Геликон” вздумало издать альманах стихов под моей редакцией. (Теперь это дело расстроилось)» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50).

[7] Ходасевич работал над циклом «Каин». 6 октября 1922 г. он писал А.И.Ходасевич: «Новых стихов есть 2, но плоховаты (говоря между нами). Я их пришлю, когда кончу 3-е, кот < орое > мне нравится. Я, кажется, к Рождеству смастерю цикл, кот < орого > название сообщаю по секрету: “Европейская ночь”. Туда войдут 3 стих < отворения >, посланные Слонимскому с продолжением “Каина”, посланным тебе, то, что пишу, и то, что собираюсь написать. Всего будет штук 12, издам книжечкой и пришлю тебе: не продашь ли книжечкой для России». А в письме от 12 октября 1922 г. он переписал ст-ние «Что ж? От озноба и простуды...» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49).

[8] Ходасевич пишет об учредителях и соредакторах журн. «Современные записки», которых он публично, не раз, в выступлениях и статьях называл «общественниками, не научившимися разбираться в вопросах искусства».

[9] Очевидно, это шутка М.О.Гершензона, подхваченная Н.Н.Берберовой. «Бобчинский» подписал он заметку, для рукописного журн. «Бульвар и Переулок» (1915).

57. М.О.Гершензону. — *Письма Гершензону.* С. 30—31.

[1] Николай Кривцов — главный герой кн. М.Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья»: при Кульме французским ядром ему оторвало ногу выше колена, но в Лондоне сделали искусственную, «с которой он мог не только ходить, но даже танцевать».

[2] 17 ноября 1922 г. Ходасевич и Берберова поселяются в Саарове вместе с Горьким, о чем свидетельствуют записи в «камерфурьерском» журнале. А.Белый приезжал в Сааров.

«17, пятн. В *Saarow*. Валя, Ракицкий. *С ними к Горькому.* Переезд в Saarow.

18, суб. Валя, Ракицкий, Мар<ия> Игн<атьевна>.

19, воскр. У Горького (Юшкевич, Гржебин, Ладыжников и др.). Валя (веч<ером>).

20, понед. Валя, Ракицкий. *Веч<ером> у Горького* (Горький, Валя и др. Карты).

21, вторн. Ракицкий. *У Вали.* Гулял с Горьким.

22, среда. У Горького (Крючков, Лашевич и др.). Залшупин.

23, четв. Гулял. Валя. В 9 ч. — в Берлин. Prag<er> Diele (Белый, Каплун, Вишняк).

24, пятн. У Белицкого. К Гринбергу. У Жени. В Геликон. К антиквару. "Москва". К Гржебину. Кафэ Vict-Luise (Бахрах, Лурье). С ними у Белого.

25, суб. Банк. В Геликон. К Гринбергу. К спекулянту. "Москва". У Белицкого. За покупками. Обедать. Домой. Веч<ером> — Клуб писателей (Белый, Зайцев, Муратов, Бердяев, Ремизов, Лурье, Юшкевич, Эренбург).

26, воскр. В 2 часа в Саарове. Веч<ером> *у Горького.*

27, понед. Гулял. / Гулял. Максим. Веч<ером> *у Горького* (карты: он, я, Максим).

27, вторн. Чернов.

29, среда. Веч<ером> у Горького (вдвоем).

30, четв. Ракицкий. *Веч<ером> у Горького* (Ракицкий).

1 дек., пятн. Веч<ером> у Горького (карты).

2 дек., суб. Веч<ером> у Горького (карты).

3, воскр. Каплун. *Веч<ером> у Горького* (карты).

4, понед. Веч<ером> у Горького (карты).

5, вторн. Веч<ером> *у Горького* (карты).

6, среда. Белый и Вишняк. Веч<ером> пьянство.

7, четв. Вишняк и Белый. Днем с Бел<ым> у Горького. / Веч<ером> — пьянство. (Получил Тяж<елую> Лиру).

8, пятн. Вишняк уехал. Белый.

9, суб. В час уехал Белый. *Веч<ером> у Горького» (АБ).*

[3] Ср. приписку А.Белого на письме С.Г.Каплуна к Гершензону (без даты): «Вас я люблю самой настоящей горячей любовью, чувствую в Вас старшего брата и часто наставника, помню все часы, проведенные вместе.

Не пишу о себе; скажу лишь, что я сейчас веду легкомысленный образ жизни: пью (благостно), веселюсь, учусь танцам и, как змея, меняю шкуру. Приезжайте к нам, все тогда расскажу». Но в письме от 24 февраля 1923 г. он отбросил нарочито-легкомысленный тон: «Милый, хороший, — было так тяжело эти месяцы, тяжелей, чем когда-либо в жизни; и это ложилось камнем на душу. Казалось, только в словах сумею найти *слова*; и эти *слова* я мысленно произносил, думая о Вас» (*РГБ*. Ф. 746. Карт. 28. Ед. хр. 25).

[4] Рецензия опубл. в *Д* 26 ноября 1922 г. за подписью «А.Б.». «Гершензон — тонкий знаток Москвы начала истекшего века, — писал Белый, — только он может так воссоздать жизнь эпохи;

тончайшей кистью рисует он жизнь, быт и деятелей старой Москвы с центральной фигурой, Марьей Ивановной Римской-Корсаковой, которую знавали Вяземский, Грибоедов и Пушкин; портрет ее встает перед нами. "Время подобно кинематографу, постепенно все более придвигает ее к нам, ее фигура, приближаясь, растет и растет, и вот в 20-х годах она стоит перед нами во весь свой рост, вся на виду, до мельчайшей морщинки". Надо быть историком русской культуры, чтобы иметь право сказать так об историческом лице на основании документов; они скрыты от нас. Гершензон на основании документов осуществляет картину; и вот Грибоедовская Москва вплотную придвинута к нам. Гершензон не только историк, он тонкий художник, подобный Сомову, влюбленный в аромат эпохи и умеющий передать этот аромат нам.

Дважды читал я "Грибоедовскую Москву" с одинаковым увлечением (в первом и втором издании). Книга издана изящно и стильно, как и все Геликоновские издания».

58. М.М.Карповичу. — *Письма Карповичу*. С. 137.

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959) — историк, в мае 1917 г. в составе посольства выехал из России в США. Был преподавателем в Гарварде, редактором *НЖ*. Его знакомство с Ходасевичем началось еще в Москве, во времена студенчества. В 1916 г. Карпович писал ему: «Известие о самоубийстве Муни сильно меня огорчило. Я очень мало знал Муни, всегда чувствовал к нему искреннюю симпатию. Очень его жаль» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 65).

[1] В Саарове Ходасевич и Берберова жили с 17 ноября 1922 г. до 11 июня 1923 г.

[2] Знакомство Ходасевича с Игорем Терентьевым (1892—1937) относится к концу 1913 — началу 1914 г., когда Терентьев учился в университете. Ходасевич читал его первые стихи и рекомендовал их к печати. 10 июля 1924 г. он писал А.И.Ходасевич: «...поклонись Игорю, участие которого в Лефе мне огорчительно (не футуризм его)» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51). Судьба Терентьева сложилась трагически: поэт-заумник, художник, режиссер (его постановки в ленинградском Доме печати имели шумный успех) — был изгнан из театра, арестован, сидел на Соловках, расстрелян. Терентьев был женат на сестре Карповича.

[3] 30 декабря 1922 г. Ходасевич уехал в Берлин, на следующий день вернулся с А.Белым. Новый год они отпраздновали вместе с Горьким в Саарове. «*31, воскр.* (Нина Кан уехала). В 1 $^1/_2$ ч. — в Saarow с Белым. Валя, Ракицкий. Веч<ером> — у *Горького* (Горький, Белый и свита).

1923.

Январь.

1, понед. Гуляли. *У Горького.* Веч<ером> дома (Б<елый> читал восп<оминания> о Блоке).

2, втор. К Ракицкому. К доктору. / Ракицкий. *С ним и с Белым в кафэ.*

3, среда. Гулял. Веч<ером> Белый. Ракицкий.

4, четв. Белый уехал в 7 утра. / Ракицкий» *(АБ)*.

[4] *Балиевский театр*, успешно гастролировавший в США, был в это время в Нью-Йорке. *Тамара Христофоровна Васильева (Дейкарханова)* — актриса театра.

59. М.Горькому. —*АГ*. КГ-П 83-8-11. Написано на бланке журн. «Беседа» с эмблемой берлинского изд-ва «Эпоха». Публ. впервые.

[1] Ответ на письмо Горького от 21 июня из Гюнтерсталя (местечко близ Фрейбурга), в котором тот жаловался на бронхит и дурную погоду (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 209).

[2] *Никитин* Николай Николаевич (1895—1963) — прозаик; входил в группу «Серапионовы братья». Приехал в Берлин из Лондона 18 июня 1923 г.; остановился в одном пансионе с Ходасевичем. Записи последнего в «камерфурьерском» журнале фиксируют их почти ежедневные встречи с 19 июня по 17 июля. Получив от Никитина повесть «Полет» для *Б*, Ходасевич, не читая, переслал ее Горькому в Гюнтерсталь и просил скорейшего отзыва. Отзыв Горького был отрицательным: «Так я и написал Никитину, но — м<ожет> б<ыть>, Вы проверите мое мнение? Я бы очень просил Вас об этом. Рукопись посылаю вместе с этим письмом» (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 209). Ни в *Б*, ни в изд-ве «Геликон» у А.Г.Вишняка повесть Никитина напечатана не была. Анонс ее появился в объявлении о 3-м альм. «Круг»; вышла в том же году отдельным изданием: Никитин Н. Полет: Повесть. М.: Круг, 1923.

[3] Лев Натанович *Лунц* в июне 1923 г. приехал из Петрограда к родителям в Гамбург, собираясь затем в научную командировку в Испанию. 15 июня из Гамбурга приезжал в Берлин «на два дня, ради Виктора <Шкловского> и Ходасевичей» (из письма Лунца Горькому от 18 июня 1923 г.: Неизвестный Горький. М.: Наследие, 1994. С. 149; см. также 13 писем Лунца Берберовой: Опыты. Нью-Йорк, 1953. Кн. 1. С. 169—179; а также: *Берберова*. С. 161—163). О своей встрече с Лунцем Ходасевич писал Горькому 18 июня: «Был здесь Лунц. Очень хороший мальчик, но очень еще мальчик. То, что он говорил о России, — ужасно. Цензурные анекдоты убийственны. “Критика” стала сплошным доносом. <...> Зощенко по уши ушел в мелкую юмористику <...> Лунца почти не печатают, Каверина — вовсе <...> Всего, что рассказал Лунц, не упомнишь, — но — грязь, грязь и грязь. Рукописи для “Беседы” у Лунца отобрали. Точнее — не позволили провезти, и он тут же, в таможне, отдал их провожатым» (*АГ*. КГ-П 83-8-8). Обострение болезни помешало Лунцу съездить во Фрейбург к Горькому, он вернулся в Гамбург, где умер 8 мая 1924 г. См. далее письмо 68 и коммент. к нему.

[4] В ответ на пересказы Ходасевичем рассказов Лунца о происходящем в России Горький писал ему 21 июня: «Очень хочется видеть его и послушать рассказы о Питере. Что делать? Писать об этом? А — какой смысл? Боюсь, что этим только отягчишь положе-

ние молодежи». Полусоглашаясь с Горьким, Ходасевич, однако, напоминает ему о необходимости «рано или поздно <...> рявкнуть» — одно из скрытых зерен их неизбежного расхождения в скором будущем.

[5] Берберова по просьбе Горького переводила для *Б* две статьи Франца *Элленса* (псевд. Фредерика ван Эрманжана, 1881—1972): «Современное положение французской литературы в Бельгии» (*Б.* № 1) и «Моральное и умственное состояние Бельгии» (*Б.* 1923. № 3). В письме от 28 июня она послала Горькому два своих ст-ния: «Точильщик. Песня» (напечатано в журн.: Жар-птица (Берлин). 1923. № 11. С. 20) и неозаглавленное, в печати названное «Памяти N. Шарлоттенбургская песня» (*СЗ.* 1923. Кн. XLII. С. 118—119). Ответное письмо Горького (конец июня — начало июля 1923 г.) с разбором этих стихов Берберова приводит (с неточной датой: 1924) в кн. «Курсив мой»: *Берберова.* С. 233—234.

[6] Далее следует текст ст-ния «Нет, не найду сегодня пищи я...», с черновым вариантом шестой строки: «Нисходит серо-синий мрак».

60. М.Горькому. — *АГ.* КГ-П 83-8-12. Написано на следующий день после письма 59 как ответ на следующее (недатированное) горьковское письмо из Гюнтерсталя. Публ. впервые.

[1] Т.е. за новые выпуски периодического издания, выходившего в Петербурге с 1903 г.; в 1922 г. вышли 33—35-й выпуски, в 1923-м — 36-й. В 1923—1925 гг. Горький регулярно снабжал Ходасевича книгами, необходимыми для его историко-литературной и переводческой работы, используя при этом помощь Е.П.Пешковой, П.П.Крючкова, И.П.Ладыжникова и др. Благодаря за присланные книги по пушкинистике, Ходасевич писал 8 июня 1923 г.: «Теперь у меня под ногами начинает образовываться что-то вроде почвы» (*АГ.* КГ-П 83-8-7). По переписке с Горьким проходят, в частности, такие основополагающие книги, полученные Ходасевичем: «Материалы для биографии Пушкина» и «Пушкин в Александровскую эпоху» П.В.Анненкова; «Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки» Л.Н.Майкова; издание пушкинских дневников 1833—1835 гг. под ред. Б.Л.Модзалевского. 11 сентября 1924 г. Ходасевич будет писать А.И.Ходасевич, прося ее продать оставленные им в Доме искусств книги Пушкина и о Пушкине: «Ал<ексей> Макс<имович> мне достал здесь все это — и ты меня нисколько не затруднишь, если продашь» (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51).

[2] И.Н.Ракицкий, имевший в доме Горького репутацию человека, обладавшего даром предчувствия катастрофических событий, «сейсмографа в образе человека», как назвал его Горький в одном из писем.

[3] 16 июня 1923 г. Ходасевич писал А.И.Ходасевич: «В Саарове стало дорого. Я сейчас в Берлине до приезда Горького. Потом, если найдем подходящую дачу, снова зимой будем жить вместе» (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50). Поиски дачи были поручены сыну Горького.

[4] Горький спрашивал: «Пильняк и Никитин успели в Лондоне проникнуть в “PEN”-клуб — интернациональное, но аполитическое объединение литераторов, где председателем Голсуорти, а членами состоят самые разнообразные люди: Р.Роллан и Мережковский, С.Лагерлёф и Гауптман и т.д. Наши бойкие парни чего-то наболтали там, и я, — тоже член сего клуба, — уже получил запрос от Правления: считаю ли возможной аполитическую организацию русских литераторов, живущих в России и рассеянных за границей? <...> Было бы очень важно знать: чего именно напильнячили наши в Лондоне?» (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 210—211). Б.Пильняк и Н.Никитин были в мае-июле в Лондоне (откуда в июне Никитин приезжал в Берлин) по командировке от Наркомата внешней торговли и присутствовали там на первом международном конгрессе ПЕН-клуба, открывшемся 1 мая. Горький дважды (в ноябре 1922 и январе 1923 г.) от имени президента клуба Дж.Голсуорси получал приглашение на конгресс, но от поездки уклонился. Одной из задач конгресса было распространение деятельности клуба в разных странах мира. В этой связи Пильняк выступил на конгрессе инициатором идеи открытия ПЕН-центра в России, мотивируя свою идею возможностью объединения в этих рамках писателей из советской России с писателями-эмигрантами. Правление клуба решило запросить об отношении к этой идее авторитетных русских писателей и обратилось с письмами к Бунину, Куприну, Мережковскому и Горькому. Об этом же писал Горькому Никитин: «Мне передана просьба Голсуорси переговорить с Вами об этом плане: т.е. как Вы смотрите на это дело, считаете ли Вы нужным и удобным это вхождение, а также возможным при теперешних политических условиях. Предполагаете ли Вы необходимым разделить эту организацию на 2 — т.е. на *русскую* в пределах России и на *русскую* за границей <...> идеологическое значение такого вхождения огромно» (*АГ*. КГ-П 53-16-10). О своем отрицательном отношении к идее русского ПЕН-центра Горький немедленно сообщил и в Правление, и Никитину, и Ходасевичу. Из письма последнему: «Ответил — отрицательно, указав на “Леф” и его отношение к литераторам, с одной стороны, к власти — с другой. Указал также, что один из нас приемлет Совввласть, другие же нетерпеливо ждут гибели оной, чем и кормятся, но не согласны и не сойдутся с третьими, которые ожидают помощи Керзона, Пуанкаре, коя не может допустить аполитической организации в Москве, ибо не признает бытия людей, не зараженных политикой с колыбели». Настоящее письмо Ходасевича и содержит реакцию на этот невнятный ответ Горького, с которым Ходасевич «не вполне согласен». В следующем письме ему от 4 июля Горький пытается иначе обосновать свое решение, говоря о защите авторских прав писателей-членов клуба как об одной из ее объявленных целей: «Я не знаю, осуществляется ли практически эта защита и как осуществляется? Но я знаю, что в России переводят и издают английских книг значительно больше, чем в Англии — русских. Отсюда и возникает интерес англичан к защите прав русских авторов и отсюда же ясно, что “сие надо понять в противном смысле”» (*НЖ*. 1952.

Кн. 29. С. 211). Как и Горький, но с другими мотивировками (невозможность для них объединения с советскими писателями в одной организации), отрицательно на запрос ответили Бунин и Мережковский. Подробное освещение этого сюжета дано в статье: Казнина О.А. Борис Пильняк и ПЕН-клуб // Борис Пильняк: Опыт сегодняшнего прочтения. М.: Наследие, 1995. С. 134—152. Развязкой сюжета явилось письмо секретаря Правления ПЕН-клуба Эми Доусон-Скотт Горькому от 29 июля 1923 г.: «Дорогой М.Горький, мне поручили сообщить Вам, что, учитывая Ваше письмо и письмо одного-двух русских писателей, которым мы писали, комитет не считает целесообразным санкционировать в настоящее время образование ПЕН-клуба в Москве. Мы искренне благодарим Вас за Ваш ценный совет» (*АГ*. КГ-ин АН 1-38-4). Об этом решении был оповещен и Пильняк. Вопрос об участии России в ПЕН-организации возникал и в последующие годы, но уже наталкивался и на опасения ее руководителей. В 1927 г. Голсуорси писал Эми Доусон-Скотт: «Проблема с Россией такова: кто бы то ни было в какой угодно стране может открыть свой ПЕН-центр — и никто не станет обливать нас грязью. Но стоит нам только принять в число своих членов Россию, и мы сразу увязнем в политических проблемах. Все "правые" тут же ощетинятся. Россия, как мне представляется, — это какая-то затянувшаяся политическая пощечина всему миру» (см. упомянутую статью О.А.Казниной, с. 144). Так «русский вопрос» на многие десятилетия предопределил изоляцию русских писателей от международной литературной ассоциации.

[5] *Алексеев* Василий Михайлович, китаевед, писал для *Б.*

[6] Реакция на ответ Горького в ПЕН-клуб. О создании Московского союза писателей Ходасевич вспоминает в очерке о Гершензоне в «Некрополе» (см. в наст. томе). Ходасевич сопоставляет имена литераторов с разными политическими и эстетическими позициями (Бердяев — философ-идеалист, оппозиционный советской власти, и И.А.Аксенов — радикальный авангардист в эстетике, служивший на высоких постах в Красной Армии и Наркоминделе) для характеристики чисто профессионального, внеидеологического, «аполитичного» характера Союза.

[7] *Дюшен* Борис Вячеславович (1886—1949) — член редакции берлинской газ. «Накануне». В 1926 г. вернулся в СССР.

[8] *Марков II* — см. примеч. 6 к письму 14.

[9] *«Круг»* — книгоизд-во «артели писателей» в Москве, организованное летом 1922 г., уже после отъезда Ходасевича из России. Издавало крупнейших писателей — Л.Леонова, А.Толстого, М.Пришвина, А.Белого, Б.Пильняка, И.Эренбурга и др. В 1923—1927 гг. выпустило 6 книг альм. «Круг». За иронической репликой Ходасевича стоит вопрос о самоопределении по отношению к процессам, происходившим в новой советской литературе, — вопрос, уже в это время скрыто разделявший Ходасевича с Горьким. Инициатором и организатором «Круга» был А.К.Воронский. Из недавно опубликованных К.М.Поливановым материалов явствует, что организация «Круга» шла при прямом участии и под руководством

Агитпропа ЦК, целью которого было возможно более широкое объединение «лояльных» писателей для обеспечения идеологического контроля над ними: «Организация “артели” писателей “Круг” стала одним из первых опытов создания подконтрольного писательского объединения» (Поливанов К.М. К истории «артели» писателей «Круг» // De visu. 1993. № 10. С. 6). В дальнейшем в 1929 г. «Круг» вошел в ФОСП (Федерацию объединений советских писателей), что стало шагом к возникновению — через три года — Союза советских писателей. Горький неоднократно получал приглашения участвовать в альманахах «Круга», но до 1927 г. от этого уклонялся, хотя и внимательно следил за их продукцией. В 1927 г. он на такое участие согласится.

[10] Вышел в «Круге» в 1923 г.

[11] Т.е. передовицы редактора «Известий ВЦИК», «ckловицы» (см. о них в статье Ходасевича «Все — на писателей!» в т. 2 наст. изд.).

[12] См., напр., письмо Ходасевича Б.А.Садовскому от 15 декабря 1917 г. (письмо 24 в наст. томе).

[13] Аллюзия к известному четверостишию, приписывавшемуся молодому Пушкину:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

61. М.М.Шкапской. — *РГАЛИ.* Ф. 2182. Оп. 2. Ед. хр. 8. Публ. впервые.

Шкапская Мария Михайловна (1891—1952) — поэтесса, автор книг: «Mater Dolorosa» (1921), «Барабан Строгого Господина» (1922), «Кровь-руда» (1923) и др. «Земные ремесла» (1925) — последний сб. стихов, после чего занималась только журналистикой. Ср. ее ст-ние «Пара за парою — муж с женой...» (1922) и «Сквозь ненастный зимний денек...» Ходасевича.

Приехав в Берлин в командировку, М.М.Шкапская 2 февраля 1923 г. отправилась в Сааров, о чем сохранилась запись в «камер-фурьерском» журнале: «*2, пятн.* Бахрах. *Гуляли.* / Горький. Шкапская. Веч<ером> у *Горького*» *(АБ).*

[1] В № 1 *Б* Ходасевич опубл. поэму Н.Чуковского «Козленок». См. письмо Горького в «Жизни искусства» (1922. 5 июля): «По мнению Владислава Ходасевича, который, на мой взгляд, является величайшим из современных поэтов, молодой Николай Чуковский подает блестящие надежды». В письме к К.И.Чуковскому от 17 марта 1924 г. Ходасевич писал: «Пожалуйста, спросите Колю, нет ли у него хороших стихов для “Беседы”, я его люблю по-прежнему» (*РГБ.* Ф. 62. Карт. 72. Ед. хр. 36).

[2] *Тихонов* Николай Семенович (1896—1979) — поэт, прозаик, переводчик. Ранняя лирика его имела большое влияние на молодую петроградскую поэзию.

[3] *Полонская* Елизавета Григорьевна (1890—1969) — единственная женщина в группе «Серапионовы братья», поэтесса, переводчица.

[4] *Рождественский* Всеволод Александрович (1895—1977) — отмечал в автобиографии: «Многим обязан личной дружбе с Гумилевым, Кузминым, Ахматовой, Владиславом Ходасевичем» (1922 — *РГАЛИ*. Ф. 1068 (П.Я.Заволокин). Оп. 1. Ед. хр. 34). В 1923 г. он опубл. рец. на *ТЛ* (Записки Передвижного театра... 1923. 19 июня). В 1926 г. убеждал Е.Я.Архиппова: «Как бы мне хотелось, чтоб Вы прониклись лирикой Владислава Ходасевича. Прислушайтесь к его "Тяжелой лире". "Сумеркам" Баратынского она все же сродни» (*РГАЛИ*. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 74). В кн. мемуаров «Страницы жизни», выходившей дважды, в 1962 и 1974 гг., о Ходасевиче не упоминает.

[5] В письме к А.И.Ходасевич от 22 марта 1923 г. он называет этих писателей: «Боюсь, впрочем, что печатать сейчас мои стихи трудно: Бобровы, Асеевы, Брюсовы, Аксеновы и прочие бывшие члены Союза русского народа ведут против меня достаточно энергичную кампанию. Вообще для меня окончательно выяснилось, что бывшие черносотенцы перекрасились в коммунистов с двумя целями: 1) разлагать сов<етскую> власть изнутри и компрометировать ее, 2) мстить нам, "сгубившим Россию", т.е. Романовых. Все это ясно для всех, кроме тех, кому надо бы это знать. Но кому надо — не знают. Так всегда бывает на свете» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50).

[6] Следуют тексты ст-ний «Берлинское» («Нет, не найду сегодня пищи я...») и «Отрывок» («Доволен я своей судьбой...»).

62. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-15. Написано на бланке журн. «Беседа» с эмблемой изд-ва «Эпоха». Публ. впервые.

Письмо из приморского местечка Преров, где Ходасевич с Берберовой отдыхали с 14 по 28 августа 1923 г. «Мы здесь второй день и очень отдыхаем, — писал Ходасевич Горькому 16 августа. — Вчерашний день я весь проспал. Из россиян здесь Муратовы, Зайцевы и Бердяевы (последних не видал и вряд ли увижу: не люблю)» (*АГ*. КГ-П 83-8-14).

[1] См.: *Б*. 1923. № 3 (сентябрь-октябрь) — Вл.Ходасевич. Берлинские стихи («An Mariechen», «Нет, на найду сегодня пищи я...», «Под землей»); Федор Сологуб. Стихи («Душа, судьбы необычайной...», «Под легкою мглою тумана...», «Мой ангел будущее знает...», «На пастушьей дудке...»); М.Горький. Рассказ о безответной любви; Алексей Ремизов. Россия в письменах (часть рукописи 2-го тома книги, которую Ремизов подготовил специально для *Б*, о чем он сообщал Горькому в письме от 30 августа 1923 г. (*АГ*. КГ-П 65-10-13); 1-й том вышел отдельным изд.: Ремизов Алексей. Россия в письменах. Москва—Берлин: Геликон, 1922. Т. 1).

[2] Ожидание обещанной автором рукописи от С.Н.Сергеева-Ценского — один из сквозных сюжетов переписки Горького с Хода-

севичем летом 1923 г. Сергеев-Ценский был одним из российских писателей, которого Горький особенно ценил (1-й том эпопеи Ценского «Преображение» вышел в 1926 г. в Нью-Йорке в английском переводе М.И.Будберг с предисл. Горького) и настойчиво звал в *Б*, приглашая приехать в Германию. В письмах Горькому Ценский жаловался на трудности печатания на родине: хотя рассказы «аполитичны», писал он, «я никогда в них не пою дифирамбов Октябрю, и это уже делает их нецензурными» (*АГ*. КГ-П 71-2-10). Рассказ для *Б* Ценский обещал, но так его и не прислал; на предложение же приехать в Берлин отвечал Горькому из Алушты 25 мая 1923 г.: «Я давно уже отвык от себя как писателя, и вот уже 8 лет как живу физическим трудом, занимаясь маленьким хозяйством <...> иногда я забываю, в какой именно стране я живу. Жить в Берлине будет для меня значить снова стать писателем — раз, эмигрантом — два, русским — три... Поневоле задумаешься над такой метаморфозой!» (*АГ*. КГ-П 71-2-8). Тема ожидания рукописи от Ценского проходит в письмах Горького Ходасевичу от 11 июня и 23 июля 1923 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 207—208, 213—214). Позднее, готовя письма Горького к печати, Ходасевич так комментировал эту тему: «Уже ранее этого времени начало обнаруживаться, что писатели, живущие в сов. России, не решаются сотрудничать в “Беседе”. Некоторые рукописи, посланные оттуда, пропали на почте. Все труднее становилось рассчитывать на материал, присылаемый из России, но Горький не хотел в этом признаться ни мне, ни себе. В частности, рукопись Ценского, о которой идет речь в начале этого письма, никогда не была получена» (*НЖ*. 1952. Кн. 29. С. 214).

[3] Австрийская тема связана здесь с планом перевода издания *Б* в Вену. Об этом Горький писал Ходасевичу 17 августа (*НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 190). В следующем письме Горькому из Прерова (25 августа) Ходасевич развивает тему отъезда из Германии: «Из Берлина мрачные вести. Книги печатать становится дороже, чем во Франции. “Новая русская книга” и “Сполохи” официально прекращены. Гржебин, говорят, остановил набор уже *начатых* книг. Изд-во “Нева” тоже. “Дни” вряд ли протянут долго. Боюсь, не вышло бы какой беды и с “Беседой”, тем более, что по новым ценам № стоит уже 10 миллионов, т.е. 2 доллара. Покупатели бастуют. <...> Не прокатиться ли нам с Вами в какое-нибудь государство? Не дадут нам здесь покоя! Давайте подумаем и поговорим об этом». В письме приписка Берберовой о том, что в Берлин возвращаться страшно: «Очень, очень не хватает Вас <...> о Саарове мы уже *вспоминаем* как о далеком и радостном прошлом!» (*АГ*. КГ-П 83-8-16). Вопрос об отъезде обсуждался и с А.И.Ходасевич (см. в наст. томе письмо к ней от 21 октября 1923 г.). 4 ноября 1923 г. Ходасевич с Берберовой уехали в Прагу.

Один из мотивов, побудивших Горького уехать из Германии, Ходасевич назвал в воспоминаниях: «за ним по пятам ходили шпики» — и т.д. (см. с. 362 в наст. томе).

63. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Публ. впервые.

[1] В ответ он получил открытку от А.И.Ходасевич:

«Милый Владя!

Я живу, но живу плохо, — болят глаза и скверно на душе. Погода точно не итальянская. Удивляюсь твоим планам — если трудно в России, то не менее трудно в Италии. Пиши чаще. Благодарю за поздравления. *А.Ходасевич.*

31.X.1923.

Спасибо за деньги — получила».

На другой открытке с той же датой: «Твой переезд в Италию меня удивляет — где же ты там будешь работать? Я живу плохо. <...> У меня очень болят глаза — от слез. Желаю тебе быть здоровым» (*ИРЛИ*. Р. I. Оп. 33. Ед. хр. 139).

Очевидно, открытки передавались с кем-то из уезжающих за границу: без марок и почтовых штемпелей.

[2] Журн. «Россия» (1922—1925), в 1926 г. переименованный в «Новую Россию», издавался И.Лежневым (наст. фам. Альтшулер Исай Григорьевич; 1891—1955). Ст-ния «Слепой» и «Доволен я своей судьбой...» не были опубл. в журн. В 1926 г. Лежнев арестован и выслан из России.

[3] Поэма С.Черниховского «Свадьба Эльки» в переводе Ходасевича печаталась в *Б* № 4 и 5 (1924); «Поэтическое хозяйство Пушкина» — в *Б* № 2, 3 (1923), № 5 (1924), № 6/7 (1925).

64. А.В.Бахраху. — Новое литературное обозрение. 1993. № 2. С. 178 / Публ. Д.Малмстада.

Бахрах Александр Васильевич (1902—1985) — литературный критик, автор мемуарных книг «Бунин в халате» (Нью-Йорк: Т-во зарубежных писателей, 1979) и «По памяти, по записям. Литературные портреты» (Париж: La presse libre, 1980) — постоянный спутник Ходасевича в Берлине, затем в Париже. Его имя появляется в «камерфурьерском» журнале 30 июня 1922 г., с октября они встречаются почти ежедневно. Бахраху посвящены шутливые стихи Ходасевича (*БП*. С. 263, 264). Воспоминания Бахраха о Ходасевиче (Мосты. 1965. № 11. С. 242—246) — реплика в полемике с Набоковым, высоко оценившим Ходасевича-поэта: «...восторгаясь блеском его стихов, его умом и поэтическим тактом, преклоняясь перед его взыскательностью к собственному творчеству, нельзя в то же время не заметить, что в стихах Ходасевича нет той сказочной "живой воды"...» Каждая фраза воспоминаний выдает противоречивое отношение автора к Ходасевичу — поэту и человеку. «Должен сказать, что я весьма близко знавал Ходасевича, особенно в первое десятилетие его пребывания за границей, часто с ним встречался и, так как мы жили очень далеко друг от друга, нередко по субботам отправлялся к нему с ночевкой. До последнего метро мы не успевали обо всем переговорить, а о такси тогда и не думалось. Впоследствии дружба наша по разным причинам как-то сама собой истаяла», — писал он в статье «О Ходасевиче» (Новое русское слово (Нью-Йорк). 1983. 11 сентября).

[1] *Немирович-Данченко* Василий Иванович (1844/45—1936) — прозаик и публицист. Письма к нему Ходасевича см.: *ВЛ*. 1987.

№ 9. С. 242—245.

[2] *Шкляр* Евгений Львович — поэт, автор семи сборников (три из них вышли в Берлине в 1922—1923 гг.). Имя его в 1923 г. упоминается в «камерфурьерском» журнале: *«июнь 25, понед.* <...> Никитин — Шкляр — Бахрах...» (*АБ*).

[3] *Tee-Maschine* — чайная машина *(анг.)*.

[4] *Екатерина Сергеевна* Урениус — жена П.П.Муратова; *Гаврик,* Гавриил — сын.

[5] Ходасевич нарисовал «высокие галоши» и украсил письмо гирляндой из сердец с инициалами: «А», «И», «В». «И», *Ириночка* — И.Одоевцева: Бахрах дружил с ней и Г.Ивановым.

65. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Публ. впервые.

В Праге Ходасевич и Берберова пробыли с 4 ноября по 6 декабря 1923 г.

История этой поездки отражена в «камерфурьерском» журнале:

1923 г., ноябрь. «*4, воскр.* В 8 утра из Берлина. В 4 ч. — в Праге. *Веч<ером> в кафэ* (Немирович, Тизенгаузен, Варшавский).

5, понед. Воля России (Слоним, Постников). *Обедать.* В полицию. / У Немировича. *В кафэ* (Немирович, Бем).

6, втор. В банк. / За покупками. [Пис<ьма> Горькому и Каплуну].

7, среда. Воля России. / *Веч<ером> у Немировича.*

8, четв. В рус<ское> предст<авительство>. / *В рус<ском> предст<авительстве>. / Веч<ером> у Немировича.*

9, пятн. В Итал<ьянское> конс<ульство> (Слоним). *На почту. / Обедать* (Якобсон). / Веч<ером> одни.

10, суб. В Волю России (Цветаева, Слоним). / *Веч<ером> к Якобсону, с ними в ресто<ан>* (чехи).

11, воскр. Цветаева, Эфрон — *У Папаушки.*

12, понед. У Немировича. / Веч<ером> у поэтов.

13, вторн. Ит<альянское> конс<ульство>. Якобсон. / *Веч<ером> в ресторане.*

14, среда. Гулял. / *К Цветаевой. / В кафэ* (Чернов).

15, четв. Гулял. / Веч<ером> дома.

16, пятн. В Итал<ьянское> конс<ульство>. В рус<скую> мис<сию>./ К Булгакову./ В банк. К Булгакову [Цветаева, Эфрон]. / *К Немировичу.* / Цветаева, Эфрон. — *С ними в кафэ* (Кубка).

17, суб. В рус<скую> мис<сию>. В итал<ьянское> конс<ульство>. В "Волю России". / Веч<ером> дома.

18, воскр. У Папаушки.

19, понед. Брей — Цветаева, Эфрон. / *С ними в рестор<ан>.*

20, втор. Якобсон — Гулял. / Веч<ером> дома.

21, среда. В Земгор. (Гуковский, Немирович, Тизенгаузен, Руднев, Постников, Брей, Потемкин, Кожевников). Чириков. / Веч<ером> дома. (Нина в синем.) —

22, четв. (Дальнейшее — почерком Н.Н.Бербровой. — *Коммент.)* Ножка болела. Лежал.

23, пятн. Ножка болела. Лежал (Марина, Сережа. Якобсон). Капризничал, как пай. Был умником. Ел ветчину. Ничем Ниника не обижал.

24, суб. Якобсон. Лутохин. Гусь жареный.

(Последние три слова вписаны рукой Ходасевича, затем до 29 ноября записи ведет Н.Берберова. После голодного Берлина гуси произвели на приезжих неизгладимое впечатление как символ богатой, «роскошной» провинции. Ходасевич упомянет их и в письме к Бахраху от 7 декабря 1923 г.: «Прага — чудесный город, не хуже Чернигова или даже Харькова. Все время едят жареных гусей (Husa pečena)». Н.Берберова в приписке к письму выделяет среди литераторов Цветаеву—Эфрона: «С Мариной Ивановной познакомились. Мы, кажется, обе друг другу понравились. Она и ее муж — единственные живые люди там». — *Коммент.*).

29, четв. Якобсон — Марина, Эфрон, Якобсон и т.д.

30, пятн. Якобсонша — Амфитеатров. / *Встал с постели.*

1, суб. Якобсон.

2, воскр. К Якобсону. / Якобсон. С ним в кафэ и в рест <оран> (Папаушки).

3, понед. Синематограф и пивная (Горький, М.И.). / (Приезд М.Горького и М.И.Будберг — 26 ноября 1923 г., понед. — *Коммент.).*

4, вторн. Синематограф (Горький и Мар<ия> Игн<атьевна>).

5, среда. В полицию. / В Земгор (Постников). / *Катались с Горьким и М.И. В кафэ. К Немировичу.* Веч<ером> Якобсоны.

6, четв. В 11 утра — *в Мариенбад.*

7, пятн. Письма: Нюре, Лидину, Лежневу, Бахраху. Пошли 8-го» *(АБ).*

[1] Ходасевич пишет об Илье Владимировиче *Вольфсоне*, совладельце изд-ва «Время», что специально уточняет в письме, т.к. брат его, Лев Владимирович Вольфсон, был владельцем изд-ва «Мысль»: именно ему впоследствии А.И.Ходасевич отдала оттиски статей, составивших кн. «Поэтическое хозяйство Пушкина».

66. А.И.Ходасевич. — *РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Публ. впервые.

[1] А.Н.Тихонов — ответственный редактор журн. «Русский современник», издававшегося «при ближайшем участии» Е.Замятина, К.Чуковского, А.Эфроса и М.Горького. «“Русский современник” — последний независимый журнал в Сов<етской> России», — писал Ходасевич, комментируя письма М.Горького (*НЖ.* 1952. № 31. С. 192). Вышло четыре номера, после чего, в декабре 1924 г., журнал был закрыт.

В № 2 «Русского современника» опубл. статья Ходасевича «Амур и Гименей»; он надеялся напечатать там также статью «Русалка», которую отправил А.И.Ходасевич 2 февраля 1924 г., но

А.Н.Тихонов статьи не взял, сославшись на то, что она слишком для журнала велика. Объяснения с Горьким по этому поводу см. в письме Ходасевича от 13 мая 1924 г. и коммент. к нему.

[2] В Мариенбад Ходасевич и Берберова приехали 6 декабря 1923 г. и прожили там до 11 марта 1924 г.

[3] 17 марта 1924 г. Ходасевич писал Корнею Чуковскому: «Кончил я книгу "Поэтическое хозяйство Пушкина". Содержит она 50 заметок, очень пестрых по темам, размерам и "точкам зрения". Самая маленькая заметка состоит из 8, кажется, строчек; самая большая — в $2^1/_2$ листа. Всего в книге 13 листов (сорокатысячных). Возможно, что с некоторыми заметками Вы знакомы, если видели "Беседу".

Одна заметка, самая большая, об автобиографической природе "Русалки", идет в № 1 "Русского современника", и Вы ее, вероятно, видели. Так вот эту-то книгу надобно мне продать. Я не знаю сейчас ни издательств питерских, ни их дел. Писать "наугад" — скучно и долго. Поэтому я решился прибегнуть к Вашей помощи. Не согласитесь ли быть моим комиссионером? Хорошо бы сладить все поскорее, ибо нужны деньги, а кроме того — не кстати ли книге выйти к 6 июня (125 лет со дня рождения Пушкина)?

Простите, что затрудняю Вас, но Анна Ив <ановна> по этой части не мастерица, Вы же видаете людей и — думаю — относитесь ко мне доброжелательно. <...>

Вряд ли нужно прибавлять, что книга не содержит ничего неподходящего. Если удастся Вам что-нибудь наладить, я тотчас пришлю рукопись, состоящую из рукописей в точном смысле и из *сильно исправленных и дополненных* оттисков "Беседы" и др.» (*РГБ*. Ф. 62. Карт. 72. Ед. хр. 36).

К этому времени А.И.Ходасевич уже отдала в изд-во «Мысль» имеющиеся у нее оттиски из журн. «Беседа».

67. В.Г.Лидину. — *М-14*. С. 435—436.

[1] *Дом, в котором родился Герцен,* на Тверском бульваре, — сейчас там Литературный институт, — был хорошо известен Ходасевичу и Лидину: в нем размещался Всероссийский союз писателей. Ходасевич знал страсть В.Г.Лидина «коллекционировать дома», в которых родились и жили известные поэты, писатели, поэтому облек свой вопрос-иносказание в понятную адресату форму: возможен ли его приезд в Россию?

Этот вопрос тревожит Ходасевича с осени 1922 г. 19 октября 1922 г. он писал А.И.Ходасевич: «Да, моя командировка кончается 8 декабря. Да, мне сейчас предлагают работу, кот <орая> обеспечит меня еще на 6 мес <яцев> и внутренне мне *очень* желательна. Кроме того, не знаю, что мне делать сейчас в России, что я могу там заработать. Ты знаешь мое отнош <ение> к Сов <етской> Власти, ты помнишь, как далеко стоял я всегда от всякой белогвардейщины. И здесь я ни в какой связи с подобной публикой не состою, разные "Рули" меня терпеть не могут, — но в России сейчас какая-то неразбериха. Футуристы компетентно разъясняют, что я — душитель молодых побегов, всего бодрого и нового. И хотя я продолжаю утверждать, что футуризм —

это и есть самое сволочное буржуйство, — все же официальная критика опять, как в 1918 г., стала с ними нежна, а с нами сурова. У меня нет уверенности, что моя “мистика” не будет понята, как нечто дурное, — и тогда мне в Р<оссии> житья не будет, печатать меня не станут, — я окажусь без гроша. А спорить и оправдываться я не стану, насильно быть милым — унизительно.

Я к Сов<етской> Вл<асти> отношусь лучше, чем те, кто ее втайне ненавидят, но подлизываются. Они сейчас господа положения. Надо переждать, ибо я уверен, что к лету все устроится, то есть в Кремле сумеют разобраться, кто истинные друзья, кто — враги.

Тогда и поднимется вопрос о моем возвращении, — вопрос, кот<орый> осложняется тем, как сложатся наши отношения» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 49).

В 1923 г. вопрос ставится конкретней: «Слушай. Дело обстоит так. Во-первых — сторона политическая. *Могу* ли я вернуться? Думаю, что могу. Никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. Самые же стихи совершенно лояльные и благополучно (те же самые) печатаются в советских изданиях. Это дело можно уладить. В Кремле знают, что я — не враг.

Хуже — второе. Здесь я кое-что зарабатываю. Жизнь здесь дешевле. Есть люди, которые мне помогают. А вот где я буду печататься в России — не вижу. Вряд ли я смогу там печататься больше, чем ты сейчас продаешь моих вещей. А сейчас я печатаю то же самое — два раза: там и здесь. Здесь легче находить издателей на книги. Здесь “Беседа”, которая мне дает фунта два в месяц и в которой у меня есть верный кредит. Но, предположим, что я рискую — и все же решаюсь ехать в Россию, куда мне, конечно, очень хочется. Тут настает третье затруднение.

Кроме визы советской, мне нужна *твоя* виза на въезд в Россию. Боюсь, что ее получить — труднее. Подумай хорошенько и просто, спокойно, по-человечески ответь мне: сможем ли мы ужиться в Питере? (В Москву ехать я не хочу. Терпеть ее не могу.)» (1 августа 1923 г. — *РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50).

В 1924 г. Ходасевич снова оказывается на распутье: без работы (еще появится № 6/7 *Б*, но издание прекратилось), без дома. Вопрос вызван отчаянием и усталостью.

10 июля 1926 г. на подобные метания М.М.Карповича Ходасевич ответил жестко и определенно: «Вы говорите: я бы вернулся, “если б была хоть малейшая возможность жить там, не ставши подлецом”. В этом “если бы” — самая святая простота, ибо ни малейшей, ни самомалейшей, никакой, никакейшей такой возможности не имеется. Подлецом Вы станете в тот день, когда пойдете в сов<етское> консульство и заполните ихнюю анкету, в которой отречетесь от всего, от себя самого. (Не отречетесь — так и ходить не стоит.) А каким подлецом Вы станете, ступив на почву СССР, — об этом можно написать книгу. <...>

Но — допустим чудо: Вы приехали в Москву, не сподличали и не попали в ГПУ, довольно долго гуляя на свободе. Но Вы “соскучились по русской общественности” — и желаете ею заняться.

Голубчик! Да русская общественность существует скорее на Марсе, чем в Москве. Там общественность равняется без остатка *работе внутри РКП.* <...> Клянусь Вам — никакой больше общественности там нет, если не считать препирательств с соседями по квартире: кто сколько времени имеет право проводить в уборной?» (*Письма Карповичу*. С. 151—152).

[2] Рассказ В.Лидина «Зацветает жизнь» опубл. в *Б* в 1923 г. (№ 4).

68. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-24. Ответ на письмо Горького от 2 мая 1924 г., присланное из Сорренто (*НЖ*. 1952. Кн. 30. С. 201—202). Публ. впервые.

[1] Полемика завязалась 3 мая 1924 г. открытым письмом Куприна «В.Ходасевичу», напечатанным в парижской монархической «Русской газете». Письмо относилось к ст-нию Ходасевича «Романс», появившемуся в *ПН* 27 апреля и представлявшему собой эксперимент над пушкинским текстом (см. об этом ст-нии в коммент. к т. 1 наст. изд.). Опыт Ходасевича Куприн назвал «странной грубой выходкой с великой тенью Пушкина», а предпринятое им окончание пушкинского наброска — «гитарным перебором штабного писаря», «злой дерзкой мистификацией, дурачащей нэпманских модниц, снобов из чека и большевизанствующих приват-доцентов срока 1917 года». Ходасевич отвечал Куприну также в виде открытого письма («А.И.Куприну от В.Ф.Ходасевича») в *ПН* (№ 1251. 22 мая). В тот же день он послал свой ответ Горькому: «Прилагаю для развлечения статейку. Купринской у меня нет. В ней намеки на всякие мои грехи перед родиной (служба в Ч—К и др.)» (*АГ*. КГ-П 83-8-25). В своем ответе он перевел конфликт на литературную почву, защищая творческую свободу поэта, аргументы же Куприна назвал невежественными: «...в своем письме вы пытаетесь аргументировать “от Пушкина”, — и здесь возражать приходится, так как с невежеством надо бороться». Куприн ответил новой статьей «Товарищ Ходасевич» в той же «Русской газете» (28 мая). По этому поводу Ходасевич писал Горькому 18 июня: «Меня “кроют” здешние правые газеты. Тень моя пала даже на Пушкина. Так и выражаются: “Товарищ Ходасевич”, “Товарищ Пушкин”. Следовательно, я с Пушкиным на дружеской ноге, и меня надо почитать» (*АГ*. КГ-П 83-8-30). Новым выпадом Куприна была статья «Два юбилея» (Русская газета. 1924. 11 июля), где он дал сатирическую картину торжественного собрания 12 июня в Сорбонне по случаю пушкинского 125-летия и выступления на нем Ходасевича. За литературными основаниями полемики стояли разные культурно-политические ориентации в эмиграции. Хотя Ходасевич в письмах Горькому от мая-июня трижды коснулся этого неприятного сюжета, Горький в ответных письмах никак на него не откликнулся и только 10 августа кратко высказался о самом предмете полемики — ст-нии «Романс», пересказывая свой разговор с П.П.Муратовым: «Добрым словом помянули Вас за стихи в последней книге “С.З.” Муратову не

нравится “Романс” <...>, а мне — нравится. Да и он, в сущности, говорил лишь о том, что “оканчивать” Пушкина — не надо» (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 196—197). В свою итоговую поэтическую книгу *ССт-27* Ходасевич «Романс» не включил. В последующие годы в критических статьях он хорошо оценивал новые вещи Куприна. «Мы с А.И.Куприным всегда принадлежали к разным, отчасти враждебным лагерям, — писал он в 1932 г. в рец. на кн. L *СЗ*. — Случалось нам и полемизировать — довольно задорно с обеих сторон. Но вот, я читаю начальные страницы “Жанетты” — и поверх всех разногласий и расхождений не могу не подпасть их неотразимому очарованию» (*В*. 1932. № 2704. 27 октября). См. также статью «Юнкера» в т. 2 наст. изд.

[2] Поэтесса Мария Шкапская была в начале 1923 г. в Берлине и заезжала к Горькому и Ходасевичу в Сааров. По следам этой встречи 1 мая 1924 г. Шкапская писала Горькому из Ленинграда: «...посылаю Вам через Влад. Фелиц. свою новую поэму на Ваш суд. Делаю это потому, что она, во-первых, написана после посещения Берлина в прошлом году, а во-вторых, является до известной степени выполнением того задания, которое Вы мне тогда поставили — во время нашей беседы в Саарове. Судите сами — справилась ли я с этим заданием и в какой мере, и то ли это, чего Вы от меня хотели» (*АГ*. КГ-П 88-22-3). Это была поэма «Человек идет на Памир» в двух частях с посвящ. заводу Сименс-Шуккер в Берлине и датой: Ленинград. 17/IV—24. Горькому поэма, как и Ходасевичу, не понравилась (см. его ответ на наст. письмо Ходасевича — *НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 190). Поэма, как и стихи Шкапской (см. письмо 61), напечатаны в *Б* не были, а две статьи о частушках, которые она послала Горькому позже (в ноябре 1924 г.), появиться в журнале уже не могли по причине его прекращения.

[3] В письме от 2 мая Горький раздраженно отзывался о полученной им от автора кн. Н.Н.Фатова «Молодые годы Леонида Андреева. По неизданным письмам, воспоминаниям и документам» (М.: Земля и фабрика, 1924).

[4] Упоминаемый инцидент был вызван появлением после смерти Ленина в «Петроградской правде» письма «Пролетарские писатели памяти тов. Ленина» за подписями группы писателей, за которым шло примеч.: «К настоящему присоединяются члены объединения ленинградских писателей А.Н.Толстой, В.Муйжель, Всев. Иванов и группа Серапионовых братьев: Н.Никитин, К.Федин, М.Зощенко, Н.Тихонов, Е.Полонская, М.Слонимский и В.Каверин» (Петроградская правда. 1924. 27 января). Подпись «Серапионовых братьев» была санкционирована единолично Никитиным. Л.Лунц писал Федину, узнав об этом в гамбургской клинике (письмо от 19 февраля): «О Никитине. За несколько дней до получения ваших писем я имел счастье прочесть в здешних г... газетах все “ваше” воззванье с вашими подписями — здесь, разумеется, все перепечатали с соответствующими комментариями <...> Вся здесь идиотская публика зашипела. Ну, на них наплевать, но я, признаться, тоже смутился. Дело не в воззвании и не в отдельных подписях — каждый

имеет право подписывать что ему угодно, — а в том, что там стоит наша марка, серапионовых братьев, а этого мы всегда избегали. Выходит, что *всякий* брат *должен* принять это воззвание. Это насилие и неправда. Поэтому я искренно обрадовался, получив от Лидочки известие, что это дело Никитина. Но как, почему? — не знаю! Подробности?!» (*ВЛ.* 1993. Вып. IV. С. 257 / Публ. Н.Фединой).

[5] «Гробница поэта» (Воля России. 1924. Кн. 8/9; вошла в *ПХП*).

[6] Отзывы Л.Лутохина о произведениях Горького в «Воле России» за 1924 г. не обнаружены.

[7] Юбилейная статья — «О чтении Пушкина (К 125-летию со дня рождения)» (*СЗ.* 1924. Кн. XX). Там же, в кн. XIX — «Кощунства Пушкина»; в газ. *Д* — «Приезд Пущина в поэзии Пушкина» (1924. 8 июня).

[8] Статью о пушкинской «Русалке» Ходасевич закончил в канун 1924 г. (см. письмо 66 к А.И.Ходасевич от 27 декабря 1923 г.). Весной 1924 г. в Париже, приехав из Италии, Ходасевич узнает от нее, что А.Н.Тихонов от печатания статьи в журнале воздерживается. 24 апреля он пишет А.И.Ходасевич в Ленинград: «Горький категорически заявил, что Тихонов ее берет для 1-го и заплатит по 50 руб. Я послал ему рукопись еще в феврале, писал Тихонову, что прошу уплатить тебе за 2 1/2 листа. Он рукопись взял, а мне не соблаговолил написать, что она ему не годится. Я тем временем упустил возможность напечатать “Русалку” здесь» (*РГАЛИ.* Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50). В «Русском современнике» статья не была напечатана; она вошла как часть в *ПХП*, где, однако, была напечатана в искаженном виде, о чем автор писал 10 июля А.И.Ходасевич: «Эти идиоты одну заметку о “Русалке” разбили звездочками на ряд глав, разбили на 18 самостоятельных заметок!» (Там же. Ед. хр. 51). В Париже статью Ходасевич все же напечатал в кн. XX *СЗ*, но в книгу 1937 г. «О Пушкине» (см. т. 3 наст. изд.) включать не стал. Горький и М.И.Будберг ответ на упреки Ходасевича дали в совместном письме от 18 мая 1924 г. «В недоразумении с Тихоновым моей вины нет, Владислав Фелицианович, — писал здесь Горький, — ибо я ему писал о статье размером 1 1/2 листа, как Вы мне и сказали. Мария Игнатьевна имеет письмо Т-ва, в коем он, соглашаясь взять статью, размер ее не ограничивает» (*НЖ.* 1952. Кн. 31. С. 190).

[9] *Каплун* (Сумский) Соломон Гитманович (1891—1940) — владелец изд-ва «Эпоха» в Берлине, выпускавшего *Б*; до революции — журналист, сотрудник «Киевской мысли»; меньшевик, в 1921—1923 гг. — автор многих статей в «Социалистическом вестнике», органе русских социал-демократов в эмиграции. Ходасевич ждал письма от него, беспокоясь за публикацию своей книги *ПХП* в *Б*, где уже до этого появились ее главы (в № 2, 3 и 5). «В случае, если № 6 не выйдет, — писал он Горькому в следующем письме (18 мая), — как раз самая занимательная часть работы пропадет (в № 5 — самая скучная) <...> Между тем, говоря по совести и между нами, я мало верю в выход 6-го №. Вряд ли у Каплуна будут деньги. Чтобы оплатить счета по № 4, ему пришлось продать даже

мебель и пишущую машинку <...> А России нет и не будет. — Посему — грущу, ибо журнал хороший и нужный» (*АГ*. КГ-П 83-8-26). Лишь в конце августа Ходасевич сообщил Горькому о получении «довольно мрачного письма» от Каплуна (*АГ*. КГ-П 83-8-35).

[10] М.И.Будберг. Ироничная реплика Ходасевича может создать неточное представление о ее практической деятельности как секретаря *Б*. Деятельность эта была активной; в частности, вся связь с *Б* отсутствующего в Берлине Горького осуществлялась через Будберг.

[11] В недатированном ответном письме Горький вернул Ходасевичу его просьбу: «О Лунце я не стану писать, лично его я знал мало, Вы — больше меня. Вас я прошу убедительно: напишите страничку, две — сколько можете! В 5-й книге печатается его последняя вещь, пьеса; Вы ее знаете» (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 190—191). Ходасевич ответил в конце мая: «...все утро сегодня честно трудился, старался написать о Лунце — и бросил это дело. Был он очень хороший и талантливый мальчик, но — мальчик. Для меня в нем было ценно будущее. В настоящем он был для меня "непитателен", потому что беззаботен и ребячески "позитивен". Как я ни старался, это отношение, как к ребенку, выпирает наружу. Для посмертной и редакционной заметки это не годится, и я складываю оружие, ибо не "по-своему" сейчас писать не в силах, а "по-своему" — выходит какое-то непристойное и неуместное нравоучение. <...> Не напишете ли и Вы хоть одну, тоже "объективную" строчку о Лунце, хотя бы за подписью "Редакция"? <...> Если будет писать "редакция", то не обойдет ли она молчанием серапионов, избегая сего термина? Что, в сущности, общего было у Лунца (и Каверина) с этой компанией невежд, лакеев и хулиганов? <...> Надобно их забыть, это лучшее, чего они стоят» (*АГ*. КГ-П 83-8-25). Вероятно, эта резкая оценка связана с упомянутым в письме инцидентом, однако по существу она отражает нарастающее расхождение с Горьким в оценках литературной ситуации в советской России. Горький продолжает рассчитывать на «серапионов» как на ценную литературную силу и принимать участие в большинстве из них — см. его переписку с писателями из группы в *ЛН* (М., 1963. Т. 70). Заметку «Памяти Л.Лунца» написал все-таки Горький и поместил ее за своей подписью в № 5 *Б* (С. 61—62); в том же номере напечатана посмертно пьеса Лунца «Город Правды». «Я уверенно ожидал, — писал в некрологе Горький, — что Лев Лунц разовьется в большого, оригинального художника, — он обладал бесспорным талантом драматурга».

[12] Примеры из статьи проф. К.Шухгардта «Ретра и Аркона — два главных славянских святилища в Германии».

69. М.О.Гершензону. — *Письма Гершензону*. С. 34—35.

[1] 11 июня В.Ф.Ходасевич и Н.Н.Берберова переехали из Саарова в Берлин. В августе 1923 г. перед отъездом в Россию М.О.Гершензон с семьей тоже приехал в Берлин. Почти ежедневные встречи писателей отражены в «камерфурьерском» журнале:

«1 августа, среда. В Книгу. В кафэ. / Оболенская. — Гершензоны. Амфитеатров — Бахрах. *С ним в рестор<ан>.*

2, четв. На почту [В Нов<ую> Рус<скую> книгу]. На почту. / Мария Игн<атьевна>. Веч<ером> дома.

3, пятн. У Гершензона. / У Гершензона. / Гершензон, Бахрах. / *Веч<ером>* в *ресторан* (Муратов).

4, суб. Веч<ером> *у Гершензона.*

5, воскр. Кикимора со стихами. У *Гершензона.* Бахрах. У *Амфитеатрова* (Немирович).

6, понед. У Гершензона (Шестов). Веч<ером> дома.

7, вторн. В банк. В Эпоху. / *В кафэ,* гуляли. / Бахрах. С ним у Ремизова и в кафэ.

8, среда. Осоргин — Кадашев — Антокольский, Гершензон. — Кадашев, Осоргин, Бахрах. Веч<ером> в *рус<ский> рестор<ан>.* (Осоргин, Бахрах).

9, четв. Бахрах, Гершензон. — В “Дни”. В библиотеку. / Антокольский. — Гуляли. / Гершензоны (4). Веч<ером> — Гершензон. (Завтра он уезжает рано утром)».

У Гершензона была возможность остаться или продлить пребывание в Берлине, для чего Л.И.Шестов собрал деньги, но Гершензон принял решение об отъезде. О причинах этого решения он написал Шестову 16 июля 1923 г.: «Посмотрел я жизнь наших в Берлине — Ловцких, Ремизовых, Лазарева и др.: не многим легче московской (я говорю только о внешнем). И притом призрачно, пустынно, одиноко. И странно: после всех жалоб, все без исключения настойчиво советовали мне не ехать в Россию, особенно Ремизов, — и притом аргументировали все только от внешнего» (*М-6* / Публ. А.д’Амелиа и В.Аллоя. С. 288).

Многими эмигрантами отъезд Гершензона был воспринят как переход в политический стан врагов. Б.Зайцев в очерке «М.Гершензон» писал, не скрывая неприязни: «Что могло нравиться Гершензону в советском строе? Быть может, то, что вот ему, нервно-путаному, слабому, но с глубокой душой, “тип” в полушубке даст по затылку? Что свирепая, зверская лапа сразу сомнет и повалит все хитросплетение его умствований? <...> Гершензон не раз плакался на перегруженность культурой. В нем была древняя усталость. Все хотелось приникнуть к чему-то сильному и свежему. <...> И, стремясь к такому, готов был принять даже большевистскую “силушку” — лишь за то, что она первобытно дика, первобытно яростна, не источена жучком культуры» (З а й ц е в Б.К. Далекое. М., 1991. С. 427—428).

[2] Чешско-русская *Еднота* — Общество культурных связей Чехии с Россией, помогавшее писателям-эмигрантам.

[3] Скуола ди *Сан Рокко* — двухэтажное здание братства святого Рокко и церковь, которые расписывал Якопо *Тинторетто*; сохранилось несколько десятков полотен и плафонов; в частности — «Моисей источает воду из скалы» — сюжет, который нашел отражение в стихотворении Ходасевича «Моисей» (1909—1915).

На молодого Ходасевича Тинторетто произвел огромное впечатление во время первой поездки в Италию летом 1911 г.; имя

художника упоминается в фельетоне «Ночной праздник». В ст-ние «Вечер» (1911) поэт любовно перенес сюжет картины Тинторетто «Бегство в Египет» — в творчестве Ходасевича случай не частый.

Ходасевич-поэт сознательно отказывался от чувственно-зрительных образов, наказывая себе: «Не надо красок. Сделать гравюру», — как записал он в тетради рядом со ст-нием «Хлебы» (см. *БП.* С. 382). И в тетради 1918 г., набрасывая план ст-ния, тему которого можно обозначить словами «...Венеция. Моя тогдашняя...», он вспомнил Тинторетто, его портреты, освобожденные от мелочного психологизма, выступающие из времени: «...одни глаза» (см. статью Н.А.Богомолова «История одного замысла» — Русская речь. 1989. № 5).

[4] Следует ст-ние «Хранилище». Впервые опубл. в журн. «Звено» (1924. 8 декабря). В приведенном в письме варианте первая строка звучит иначе: «Едва хожу, гляжу лениво...» (ср. в т. 1 наст. изд.: «По залам прохожу лениво...»). Имеются различия и в пунктуации.

[5] Ходасевич просил разрешения у М.О.Гершензона сделать эпиграфом к кн. «Поэтическое хозяйство Пушкина» его слова из письма. Гершензон дал согласие: «Напишите так: "*В трудные дни* я не знаю большей радости, как читать Пушкина и делать в нем маленькие открытия"; и подпишите буквами или полным именем, — как хотите» (24 апреля 1923 г. — De visu. 1993. № 5. С. 33). При публикации эпиграф выпал.

[6] Мстиславу Александровичу *Цявловскому* (1883—1947) Ходасевич писал: «Посылаю Вам "письмо в редакцию". Нельзя ли его напечатать — где угодно. Нельзя — не надо, на Вас в обиде не буду. Посылаю, в сущности, *для Вас.*

Здесь о Пушкине пописывают — ужасно. Невежество лютое. Бурцев, напр<имер>, вздумал предложить новый текст "Памятника" — юмористический, иначе назвать нельзя. Он его "исправляет", но не по документам, а по собственному *вкусу,* о чем простодушно и повествует. Кончается тем, что в его "редакции" даже рифмы не "сходятся", но он этого не замечает.

М.Гофман 1/2 года тому назад умудрился напечатать морозовский текст X главы "Онегина" с одной или двумя своими поправками чтения. Но вступительную часть статьи он так ловко средактировал, не упомянув ни Морозова, ни Венгерова, что здешняя публика была уверена, будто Гофман "открыл" *всю* рукопись и впервые ее печатает. Кто-то, однако же, возмутился и написал "Письмо в ред<акцию>". Гофман вывернулся: "я, дескать, потому не поминал про Морозова, что каждому известно и проч.". Но, конечно, он бил именно на невежество. — Он вообще изрядно хлестаковствует, но — хворает и бедствует, а потому надо ему прощать. Кроме того, все же это единственный человек из тутошних, читавший Пушкина. Прочие — не читали». Начинает же Ходасевич письмо словами: «Я всегда очень любил и ценил Вас, а теперь, после смерти Михаила Осиповича, Вы для меня самый дорогой человек в России. Простите за сии "излияния": они искренни» (Париж, 29 июня 1925 г. — *ИРЛИ.* Ф. 387. Ед. хр. 323).

Из писем Ходасевича к М.А.Цявловскому и М.Д.Беляеву видно, как задыхался он от отсутствия необходимых книг для работы над Пушкиным. Беляеву он писал: «Право, не беспокоил бы Вас, но ни Пущина, ни Саитовской переписки, ни Брюс<овской> "Гавр<иилиады>" нет здесь ни в библиотеке, ни у частных лиц. А нужно — до зарезу...» (Сааров, 21 мая 1923 г. — *ИРЛИ*. Ф. 24. Ед. хр. 238).

70. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-28. Публ. впервые. Датируется по письму Горького от 10 августа 1924 г. (см.: *НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 196), на которое является ответом.

[1] Ответ на сообщение Горького в письме от 10 августа о вышедшей в Петрограде «...биографии Пушкина, составленной Модзалевским, Н.В.Измайловым и А.И.Кубасовым; книгу эту очень хвалят. Не верю. Биографию Пушкина можете написать только Вы. Это — убеждение, а не комплимент» (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 196—197). Горький книги не видел и сообщает о ней по рассказам гостей из России. Речь идет о популярном биографическом очерке, написанном Н.В.Измайловым при участии Б.Л.Модзалевского: Пушкин. Очерк жизни и творчества. Л.—М.: Изд-во «Петроград», 1924.

[2] В 1927 г. Ходасевич посвятит памяти Б.Л.Модзалевского некролог (*В*. № 1050. 17 апреля).

[3] Этим замечанием Ходасевич отделяет обычный тип биографии Пушкина (к какому относит и очерк Измайлова—Модзалевского) от собственного заветного замысла, так и неосуществленного (см. коммент. к циклу «Из книги "Пушкин"» в т. 3 наст. изд.). Собственный замысел биографии Пушкина — в том, чтобы именно «осветить личность Пушкина».

[4] В этих рассуждениях отозвалась историко-литературная концепция Ходасевича, развиваемая в ряде статей эмигрантского периода. Состояла она в резком отделении постсимволистского движения в русской поэзии, открывшегося акмеизмом, от символизма, кризис которого обозначился в те самые 1910—1911 гг., начиная с которых поэзия «заметно глупеет». Символизм для Ходасевича сближался с классической традицией философской серьезности и духовной насыщенности, в то время как «так называемый акмеизм», который он называл «упадочной фракцией символизма», и тем более враждебный ему футуризм он склонен был пристрастно понимать как утрату интеллектуального уровня поэзии. В одном из вариантов своих воспоминаний о Гумилеве и Блоке Ходасевич рассказывал о конфликте его с Гумилевым, в 1921 г. произнесшим похвальное слово глупости по поводу чтения стихов С.Нельдихена в «Цехе поэтов»: «Он очень серьезным тоном отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею гнушались, никто не хотел слыть глупым. Это несправедливо: пора и глупости иметь голос в хоре литературы». Стихи Нельдихена Гумилев защищал таким образом: «Свою естественную глупость он выражает с таким умением <...> А ведь поэзия — это и есть умение. Следовательно, Нельдихен — поэт, и я

обязан принять его в “Цех поэтов”». Ходасевич пересказывает свой спор с Гумилевым: «Пробовал я уверять его, что для человека, созданного по образу и подобию Божию, глупость есть не естественное, а противоестественное состояние, — Гумилев стоял на своем. Указывал я и на учительный смысл всей русской литературы, на серьезность как на традицию русской словесности, — Гумилев был непреклонен». Под влиянием этого разговора Ходасевич вышел из «Цеха поэтов» (Ходасевич Владислав. Белый коридор: Воспоминания. Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. С. 175—176). Эта мемуарная статья («Гумилев и “Цех поэтов”»), очевидно, связанная у Ходасевича с размышлениями в настоящем письме, появилась через два года после него (Сегодня (Рига). 1926. 29 августа), а несколько позже он посвятил теоретическую статью вопросу о специфическом интеллектуализме поэзии («Глуповатость поэзии» — *СЗ*. 1927. Кн. XXX. С. 278—285), выступив против тех, кто «в защиту немудрых стихов» приводит известные пушкинские слова из письма П.А.Вяземскому от середины мая 1826 г. Ходасевич дает им в статье свое толкование. «Оказывается, что мудрость поэзии возникает из каких-то иных, часто противоречащих “здравому смыслу” понятий, суждений и допущений. Вот это-то лежащее в основе поэзии отвлечение от житейского здравого смысла, это расхождение со здравым смыслом (на языке обывателя входящее как часть в так называемое “воображение поэта”) и есть та *глуповатость,* о которой говорит Пушкин. В действительности это, конечно, не глуповатость, не понижение умственного уровня, но перенесение его в иную плоскость...» (цит. по: Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 194).

[5] И.Н.Ракицкий.

[6] Валентине Михайловне Ходасевич, с которой Ходасевич и Берберова виделись в Лондоне по пути в Ирландию.

[7] *Ольга Ивановна* Ресневич (по мужу — *Синьорелли*; 1883—1973) — переводчица, знакомая и корреспондентка многих деятелей русской и итальянской культуры. См. публикации из ее богатого архива (хранится в Венеции): Гаретто Э. Письма Н.С.Гончаровой и М.Ф.Ларионова к Ольге Ресневич-Синьорелли // *М-5;* Жизнь и смерть Нины Петровской // *М-8*. С Горьким была знакома еще с дореволюционных лет и особенно близко — в Сорренто, где всегда останавливалась на вилле Горького; пользуясь своими дипломатическими связями, помогала его знакомым в получении виз. На вопрос Ходасевича о возможности их с Берберовой «соррентизации» Горький ответил 21 августа: «...место для Вас будет и, думаю, достаточно изолированное. Ждем. Синьорелли вчера видел, сказал о визах. Обещала <...> Вы приедете к сбору винограда», — а 2 сентября сообщил, что визы уже посланы прямо в Ирландию (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 198). Ходасевич с Берберовой прибыли в Сорренто 9 октября и прожили в доме Горького до 18 апреля 1925 г.

[8] «Письмо в редакцию» по поводу ленинградского издания *ПХП*, за которое автор здесь снимает с себя ответственность, поскольку оно напечатано с «безобразными искажениями, пропусками

и добавлениями, которые не могу иначе назвать как наглыми и умышленно издевательскими...» (см. коммент. к кн. «О Пушкине» в т. 3 наст. изд.). Письмо появилось в *Б* (1925. № 6/7. С. 478—479). В России письмо напечатано не было: «Книга и революция», в редколлегию которой входил К.А.Федин, как и подозревал Ходасевич, закрылась еще в 1923 г.

71. М.Горькому. — *АГ.* КГ-П 83-8-36. Публ. впервые. Публ. вместе с припиской Н.Н.Берберовой.

[1] Ответ на концовку горьковского письма от 5 сентября: «...каждый день, раззевая гнилую пасть, орет гнусности и дышит отравой. Честное слово, — ночами я, один на один с собою, так тяжко чувствую себя, что — не будь это пошло и смешно — застрелился бы. Утешаюсь лишь тем, что все пишу, пишу до полного утомления и знаю, что пишу очень плохо, все не то, не так. Стараюсь шутить, — тоже плохо выходит. Раньше шутка помогала мне. Привет. Берегите себя» (*НЖ.* 1952. Кн. 31. С. 198—199).

[2] Ответ на вопрос в письме Горького: «Как Вам нравится Борис Савинков? Я всегда считал его типично русским мерзавцем карамазовского типа и, конечно, не Митей, а — Смердяковым. Палач, склонный к лирике.

Нет, Вы представьте, как должна чувствовать себя воспитательница его, Гиппиус? Я — не злорадствую, нет; мне искренно жаль эту талантливую и умную женщину, отвратительные дни должна переживать Зинаида Николаевна!» (Там же).

«Мрачные мысли» непосредственно следуют за этим местом письма.

Реакции Горького и Ходасевича — это отклик на московский судебный процесс над Б.В.Савинковым, в августе 1924 г. арестованным в Минске, куда он под чужим именем прибыл из Польши, нелегально переправившись через границу. Суд над Савинковым, проходивший 27—29 августа, приговорил его за контрреволюционную деятельность к высшей мере наказания, замененной десятью годами лишения свободы. Мотивировкой смягчения приговора было раскаяние подсудимого, говорившего на суде: «Побежден не только “я”, не только “Союз защиты Родины и Свободы”, мы все побеждены Советской властью. Побеждены и белые, и зеленые, и беспартийные, и эс-эры, и кадеты, и меньшевики», побеждены «физически» и «душевно»; «Мы — живые трупы» (Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного суда СССР. М.: Литиздат—НКИД, 1924. С. 139—145; книга есть в личной библиотеке Горького с его пометами).

З.Н.Гиппиус была литературным покровителем Савинкова (выступавшего под псевд. В.Ропшин), начиная с первого его романа «Конь бледный», напечатанного в «Русской мысли» (1909. № 1), где литературный отдел вел Д.С.Мережковский, а Гиппиус входила в редакцию журнала. Свой третий роман — «Конь вороной» — Савинков издал в Париже в 1924 г. На него тут же откликнулась Гиппиус (А н т о н К р а й н и й. Литературная запись: О молодых и старых //

СЗ. 1924. Кн. XIX. С. 244—249). Причислив роман к «настоящей литературе», Гиппиус видит в центре его «одну из глубоких моральных проблем — о праве человека убить» — проблему, которая стояла в центре и первого романа автора. Реплика в адрес Гиппиус в горьковском письме, вероятно, связана и с печатавшимися в *СЗ* ее воспоминаниями, где она рассказала о том, как Блок отказался от ее предложения участвовать в организуемой Савинковым в октябре 1917 г. антибольшевистской газете «Час», ответив ей: «Да, если хотите, я скорее с большевиками...» (Гиппиус З.Н. Живые лица. Прага, 1925. С. 59—62).

[3] Ходасевич оказался в этом предположении прав. Во время пребывания Савинкова во внутренней тюрьме ГПУ, в сентябре 1924 г., его последняя книга была напечатана в СССР: В.Ропшин (Б.Савинков). Конь вороной. Л.: Прибой—М.: Госиздат. Книга вышла с предисл. автора и вступит. статьей Н.Л.Мещерякова, сообщавшего, что роман «прекрасно разоблачает психологию» бандитов — врагов пролетарской революции. Сам Савинков о «Коне вороном» говорил на суде как о свидетельстве того, что уже «больше года назад, в Париже», он убедился в своих ошибках. Самым же последним словом Савинкова стало его загадочное самоубийство в тюрьме в 1925 г.

В последующие годы Ходасевич откликнулся беспощадной статьей на книгу стихов Савинкова, изданную в 1931 г. в Париже с предисл. З.Н.Гиппиус (см. т. 2 наст. изд.).

[4] «Дело Артамоновых», о котором Горький писал Ходасевичу, что «погряз в повести очень бытовой и в такой мере скучной, что если за скуку где-нибудь дают премии — первая премия обеспечена, я ее получу».

[5] *Джеймс Стивенс* (1882—1950) — ирландский поэт, принадлежал к движению «Ирландское национальное возрождение», организатором которого был великий ирландский поэт У.Б.Йетс.

72. М.О.Гершензону. — *Письма Гершензону*. С. 38—39.

[1] Запись в «камерфурьерском» журнале: «*9, четв.* В 9 ч. утра из Рима. В 6 ч. — в *Сорренто*» *(АБ)*. Отмечено также 16 ноября, воскресенье — переезд в «Il Sorito», где Ходасевич и Берберова проживут до 18 апреля 1925 г.

[2] *Коковцов* Владимир Николаевич (1853—1943) — министр финансов России в 1904—1914 гг., крупный банкир. В Париже продолжал заниматься банковской деятельностью.

[3] Летом 1924 г. в Париже на пожертвования эмигрантов был куплен участок земли и на нем — бывшая немецкая церковь. Летом 1925 г. здесь открылся Богословский институт. См. статью М.Осоргина «Воспоминание о приобретении Сергиевского Подворья» (*ВРСХД*. 1987. III. № 151).

[4] *«Dziady»* — поэма А.Мицкевича «Дзяды» (1821—1822, 1832).

Эту поэму Ходасевич перечитывал, готовя том переводов А.Мицкевича, искал в журналах фрагменты, переведенные на русский, сравнивал разные переводы и обсуждал с М.О.Гершензо-

ном их достоинства и точность (см. письмо Ходасевича от 14 января 1916 г. — *Письма Гершензону*. С. 21).

Строки из поэмы «Дзяды» он сделал эпиграфом к тетради 1918 — 1919 гг., написав ниже дарительной надписи: «1918, 12 января. Другу моему единственному от Анютки» —

Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego roskazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie (Dziady. Ч. I).

(*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 24).

В переводе Л.Мартынова:

Слушайте вы все и разумейте,
Знайте — так Господь повелевает:
Кто с землей не знался здесь на свете,
Тот на небесах не побывает!

(Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1952. Т. III. С. 48).

Букв. перевод: ...тому, кто не коснулся земли, никогда не быть в небе!

73. В.И.Иванову. — *М-3*. С. 264—268 / Публ. Д.Малмстада.

С В.И.Ивановым Ходасевич познакомился зимой 1914 г., когда Иванов переехал в Москву. 23 февраля 1914 г. Ходасевич писал Б.А.Садовскому: «На прошлой эстетике за ужином Вяч.Иванов произносил речи, в коих возводил меня на высоты головокружительные. Скучно, но лестно. Вообще, кажется, моя книга (*СД*. — *Коммент.*) имеет "успех"...», а в письме от 9 ноября 1914 г. Вячеслав Иванов поставлен им в центре московской литературной жизни: «Сплетен московских нет, ибо Вячеслав Иванов тих, как луна, а больше в Москве, кроме его и (простите, Бога ради) меня, порядочных писателей сейчас нет» (*Письма Садовскому*. С. 23, 26).

Не будучи в сколько-нибудь близких отношениях с В.И.Ивановым, Ходасевич встречался с ним у М.О.Гершензона, некоторое время (1920 г.) они жили в «здравнице для переутомленных работников умственного труда».

Ходасевич хотел привлечь В.И.Иванова к сотрудничеству в *Б*. Будучи в Риме 5—8 октября 1924 г., он зашел к Иванову, не застал и оставил записку с просьбой прислать в *Б* стихи. В ноябре В.Иванов послал пять «Римских сонетов», потом еще четыре и 1 декабря получил письмо от Горького: «Прекрасные стихи Ваши получил, примите сердечнейшую благодарность, мастер». По поводу этого письма В.Иванов записал в дневнике 1 декабря 1924 г.: «Искренне благодарен он, что я не обиделся. А я — не то, что не обиделся, а признателен ему за нравственную поддержку. Состарился — и люблю теперь моралистов. Вечером другое письмо из Сорренто — от Ходасевича, хвалит также "высокое и скромное мастерство" сонетов. Пишет о своей болезни и грустном "мыкании" по разным странам. "Россия раскололась пополам", и обе половины гниют "каждая по-своему". Но и там, и здесь "разительное понижение интеллектуального уровня — грубейшее насилие над

совестью и умом, затыкание ртов"» (Иванов В.И. Собр. соч.: В 3 т. / Под ред. Д.В.Иванова и О.Дешарт. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 851).

Горький продолжал заказывать Иванову статьи — об «Идиоте» для № 7 и о Пушкине для № 8. Ходасевич понимал, что, скорее всего, эти номера не будут выпущены, что у *Б* нет будущего, и предупредил об этом Иванова.

Сонеты В.Иванова в *Б* опубликованы не были. В 1936 г. они напечатаны в кн. LXII *СЗ*. Их появление Ходасевич назвал «литературным событием». В своей статье он рассказал историю публикации «Римских сонетов». Он писал: «Вячеслава Иванова как поэта нельзя ни понять, ни оценить, не почувствовав органической слитности мысли и чувства в его творчестве. Самая эрудиция этого человека, совершенно поразительного объемом и глубиною познаний, служит для него источником не только умозрений, но и живых, реальных переживаний». Разбирая стихи В.Иванова, критик приходил к выводу: «...нельзя, да и нет никакой надобности отрицать, что поэзия Вячеслава Иванова имеет интеллектуальную, умственную природу. Но у него из мысли родится чувство не менее, а порою более живое (и живительное), чем у иного вполне "чувствительного" поэта. Следственно, поэзия Вячеслава Иванова не умственна, а умна» (*В*. 1936. 25 декабря).

От переписки Ходасевича и В.И.Иванова сохранилось немногое, часть писем, отмеченных и в «камерфурьерском» журнале, и в дневнике В.И.Иванова, — утрачена.

Снова они увиделись в апреле 1925 г., когда В.Ф.Ходасевич с племянницей Валентиной Ходасевич и Н.Н.Берберовой приехали в Рим. В «камерфурьерском» журнале отмечены две встречи: в воскресенье, 19 апреля они виделись с В.И.Ивановым у П.П.Муратова; 20 апреля Ходасевич, Муратов и Иванов были в гостях у О.И.Синьорелли. 21 апреля Ходасевич с Берберовой выехали в Париж.

[1] 12 января 1925 г. Вяч.Иванов писал Ходасевичу: «От Муратовых добыл я книгу Вашу: читаю и перечитываю "Тяжелую Лиру" с восхищением, конечно, боль, горечь и скорбь исполняют свое высшее эстетическое (— и не только эстетическое!) назначение, когда из их горнила вырывается гимн, — когда

На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

Этот высокий акт преодоления озаряет Вашу лирику необыкновенным, несколько жутким, ибо нездешним, отблеском, падающим из мира "страшных братьев", и проносится по ней мгновеньями ветер "почти свободы". У Бодлэра вырываются порой больные и вместе торжествующие крики этого великолепного дуализма» (*НЖ*. 1960. № 62. С. 286—287).

[2] *В «молитвах издателю»...* — Речь идет о Соломоне Гитмановиче Каплуне-Сумском. Ходасевич ценил его как издателя бескорыстного и влюбленного в свое дело.

74. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

Впервые опубл. — *НЖ*. 1944. № 7 / Публ. М.В.Вишняка.

Письма Ходасевича к М.В.Вишняку, представленные в наст. томе, исправлены и дополнены автографам, хранящимся в архиве Вишняка, в библиотеке университета Индианы — *Lilly Library*.

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1977) — один из лидеров партии эсеров, секретарь Учредительного собрания; в эмиграции — один из основателей и редакторов *СЗ*. Встречу с Вишняком Ходасевич отметил в «камерфурьерском» журнале: 1924, апрель. «*14, понед.* В $6^1/_2$ утра в Париже. <...> В Совр<еменные> Зап<иски> (Вишняк, Алданов)...» *(АБ)*. Вишняк писал в очерке «Владислав Ходасевич (Из личных воспоминаний и архива б[ывшего] редактора)»: «Поразил внешний его облик — крайняя моложавость, не шедшая к представлению, которое составилось по его стихам. Его ответная реплика была, как всегда, когда он хотел быть любезным, — полуиронической:

— Я тоже представлял себе Вас с бородой, таким вот — Михайловским! — Михайловским! — и он покрутил в воздухе на некотором расстоянии от своего подбородка тремя пальцами, явно обнаруживая неверное представление о физическом облике покойного Михайловского и его подлинной бороде» (*НЖ*. 1944. № 7. С. 280. См. также: В и ш н я к М. «Современные записки»: Воспоминания редактора. Индиана, 1957. С. 202—215).

Реплика Ходасевича намекала на принадлежность Вишняка к чуждой Ходасевичу партии «общественников». Несмотря на личную приязнь к Вишняку, он не уставал повторять в статьях и публичных выступлениях, что «общественники, не научившиеся разбираться в вопросах искусства, влияют на ход литературы, потому что почти все издания фактически находятся в их руках» (*Терапиано*. С. 58). В свою очередь, Вишняк считал Ходасевича «от природы <...> существом недостаточно социальным». Это приводило к разногласиям и в конце концов совсем развело их.

Письма к Вишняку позволяют проследить, как складывался замысел «Некрополя». Поначалу автор и сам побаивался нетрадиционной формы жесткого очерка-некролога, где «последняя правда» высвечивалась траурной рамкой.

[1] *N* — Н.И.Петровская. Правка, характерная для работы над «Некрополем», главный герой которого — «дух эпохи», заключенный во временну́ю оболочку. Обозначения времени: год, месяц, день, час — очень важны автору и часто несут не смысловую — художественную нагрузку.

75. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] *Carissimo e gentilissimo* — Милейший и любезнейший (*ит.*).

[2] Ходасевич просил прислать статью А.Белого на смерть М.Гершензона (Россия. 1925. № 5): «...пожалуйста, пошлите — без нее не могу сесть за статью...» (12 марта 1925 г.).

[3] *Фед. Августович* — Ф.А.Степун.

[4] В XXIII кн. *СЗ* напечатаны статья Шестова «Памяти Гершензона»; «Мысли о России» Ф.Степуна; 1-я часть рассказа «Митина любовь» Бунина; «Золотой узор» Б.Зайцева; «Esprit (сказ-вяканье)» А.Ремизова; цикл М.Цветаевой «Двое». Отмечает Ходасевич ст-ние З.Гиппиус «Ключ»; *«Ходасевич — хорошо, но злобно»*, — пишет о своем очерке «Брюсов».

76. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-38. Публ. впервые.

[1] Это первое письмо Ходасевича Горькому после отъезда из Сорренто 18 апреля 1925 г. 25 апреля Ходасевич оставил в дневнике запись об отправке двух писем: открытки Горькому и в Россию — А.И.Ходасевич. Из письма к ней от 24 апреля: «Мне самому в Париже будет так трудно, что и не знаю, как буду перебиваться. Заработков почти никаких <...> мой парижский адрес: 8, Rue Amélie. Prettu-Hôtel. Paris (F-e)» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 52).

77. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] *Коварский* Илья Николаевич — владелец книжного магазина и изд-ва «Родник», которые находились в одном помещении с редакцией *СЗ*.

78. М.Горькому. — *АГ*. КГ-П 83-8-43. Публ. впервые.

Последнее письмо Ходасевича Горькому. Горький ответил письмом от 13 августа 1925 г. (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 205), на которое Ходасевич не отвечал; см. об этом во втором очерке «Горький» в наст. томе, с. 372—373. Эти страницы очерка дают развернутый автокомментарий к настоящему письму. См. также письмо к М.М.Карповичу от 7 апреля 1926 г. (письмо 85 в наст. томе).

[1] В письме от 20 июля Горький просил прислать *СЗ*, кн. XXIV, с окончанием бунинской «Митиной любви».

[2] *Познер* Владимир Соломонович (1905—1992) — поэт, журналист и прозаик, начинал в Петербурге в кругу «Серапионовых братьев», близкий знакомый Ходасевича еще по Дому искусств; обосновался затем в Париже, в 30-е годы вступил в компартию Франции.

[3] См. т. 3 наст. изд. Горький, как он писал Ходасевичу 20 июля, «рассердился» на него за «Бельфаст»: «...несправедливо ставить это “учреждение” в упрек сов. власти. Германия, Франция технически богаче России, но Бельфаста и у них, ведь, нет. Это — нечто исключительное, верфь Бельфаста. Да и вообще несправедливо упрекать Москву в безделье — там работают и учатся работать». Дневниковая заметка Горького о Ходасевиче, видимо, записанная вскоре после их разрыва, начинается словами: «Переехав в Париж, Владислав Ходасевич поторопился заявить перед эмиграцией о своем благомыслии. Вышло — натужно и неумно. С хрипотой в голосе. Напечатал в “Последних новостях” статейку о Бельфасте и “ни к селу, ни к городу”, но в патетическом тоне бросил Москве упрек: “О вы, которые хвастаетесь, выработав полфунта гвоздей!

Почему вы не создадите такую верфь, как Бельфаст?"» (Горький М. Полн. собр. соч. Варианты к художественным произведениям. М., 1977. Т. 5. С. 694).

[4] Горький возражал 13 августа: «Ссылка на "Словотекова" — не годится, текста этой шутки Вы не знаете». «Работяга Словотеков» — сценарий, написанный Горьким (1920) для Театра народной комедии, который обычно использовал авторский текст как каркас для импровизации. Руководителем театра был С.Э.Радлов, художником-оформителем — В.М.Ходасевич. Премьера состоялась 16 июня 1920 г. Впервые текст сценария был напечатан только в 1941 г.

[5] В письме Горького от 20 июля: «За фельетон "О том, как" — Вас жестоко обругали в "Известиях". Это меня огорчило. Очень. Тем более, что "резолюция ЦК партии по вопросу о политике в области художественной литературы" с ее осуждением — резким — "комчванства" — явление, которое приветствует даже Айхенвальд, хотя и "сквозь зубы"» (*НЖ*. 1952. Кн. 31. С. 204). Горький имеет в виду фельетон Ходасевича «Как я культурно-просвещал» в *ПН* (1925. № 1578. 17 июня). «Ругань» на Ходасевича за этот фельетон в «Известиях» не обнаружена. Статья Айхенвальда — «Литературные заметки» (*Р*. 1925. № 1402. 15 июля). Ю.И.Айхенвальд понимает резолюцию ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. как констатацию «факта банкротства» партии в области литературы. «Партия, хотя и медленно, но все-таки умнеет», — писал Айхенвальд и, цитируя положения резолюции, восклицал: «...большевики, требующие такта, осторожности, терпимости, — это, согласитесь, зрелище прямо трогательное <...> значит, большевики приветствуют не какую-нибудь специфическую, а *всю* литературу». Реакции Ходасевича и Горького как на партийную резолюцию, так и на наивно-либеральный отклик Айхенвальда — свидетельство окончательного расхождения и разрыва их литературно-политических позиций. См. как о статье Айхенвальда, так и об отношениях с Горьким в письме Ходасевича к Б.К.Зайцеву от 3 сентября (письмо 80 в наст. томе).

[6] См. цитату из письма Горького от 20 июля, на которое Ходасевич здесь отвечает, во втором очерке «Горький» (с. 372 наст. тома). После прекращения *Б* в течение всего 1925 г. Горький со многими лицами обсуждает планы создания нового журнала «типа "Беседы"». 25 июля он посылает в Ленгиз проект журн. «Собеседник». О своем неверии в эти планы Ходасевич определенно высказался еще в письме Горькому от 4 июня 1925 г.: «Вообще, я думаю по совести, что русский журнал может сейчас жить только в России и с редактором-коммунистом. Всякий другой будет задушен. Задушили "Беседу" — здесь, "Русский современник" — там, а "Звезда" и "Красная новь" выходят и будут выходить. Это — в России. А здесь эмиграция насилу дает дышать "Современным запискам" ("Воля России" — не в счет, она живет на субсидию). На второй журнал, да еще без Бунина и без Мережковских — эмиграция не даст ничего. Это ясно: читателей хватает только на один журнал» (*АГ*. КГ-П 83-8-41).

[7] О том, что журн. «Русский современник» «возобновляется

при старой редакции», Горький фантазировал в ответном (последнем, оставшемся без ответа) письме Ходасевичу от 13 августа; см. соответствующую цитату из этого письма во втором очерке «Горький», с. 373 наст. тома.

[8] См. «Из неоконченной повести» в т. 3 наст. изд.

[9] Берберова Н. Два стихотворения // *СЗ*. 1925. Кн. XXV.

79. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] Очерк «Есенин» см.: *Д*. 1925. 30 мая; затем — *СЗ*. 1926. Кн. XXVII. В письме к Ю.Терапиано Ходасевич писал: «Как мне ни стыдно — я должен сказать, что обещание читать в Союзе о Есенине останется неисполненным. Статья вышла в значительной степени политической, а Вы согласитесь, что для политических выступлений перед случайной публикой, да еще столь недисциплинированной, как нынешняя, — надобно иметь толстую кожу и любовь к скандалам. У меня нет ни того, ни другого, а скандал, как я вижу, оказался бы неизбежен. Подождем лучших имен» (12 февраля 1926 г. — *Байнеке*. Ф. Терапиано).

[2] *...очень хорошие стихи...* — «Баллада». См. в письме к Б.К.Зайцеву от 3 сентября 1925 г. и в письме к А.И.Ходасевич: «Я написал "Балладу", которая мне очень нравится» (17 октября 1925 г. — ***РГАЛИ***. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 52).

[3] *«То в Вышнем решено Совете»...* — строка из письма Татьяны к Онегину.

[4] *Фондаминский* Илья Исидорович (псевд. И.Бунаков; 1880—1942) — друг Вишняка, один из соредакторов *СЗ*. Погиб в концлагере.

[5] Вишняк писал, что помог Ходасевичу устроиться в *Д* осенью 1925 г. после того, как он неожиданно пришел «взволнованный и мрачный» и сообщил, что, «не будучи больше в силах существовать, он решил покончить с собой!..» (*НЖ*. 1944. № 7. С. 282). В *Д* (редактор — А.Ф.Керенский) Ходасевич вел литературный отдел вместе с Алдановым в 1925—1926 гг.

[6] *Вышеславцев* Борис Петрович (1877—1954) — юрист, философ, публицист. Писал о *ПЗ* (Жизнь искусства. 1922. № 1), отметил цикл стихов Ходасевича в альм. «Северные дни» (Феникс. I. М.: Костры, 1922).

80. Б.К.Зайцеву. — *АБ*. Ф. Зайцева. Публ. впервые.

В фонде Б.К.Зайцева сохранилось пять писем В.Ф.Ходасевича.

Знакомство Ходасевича с Борисом Константиновичем Зайцевым (1881—1972) и его женой Верой Алексеевной (урожд. Орешниковой; 1878—1965) относится к студенческой поре. В *АЗ* периодом сближения назван 1906 г.: «Карты. Пьянство. Желтые цветы. Зайцевы. Бунин. — "Золотое Руно". — Ссора с Рябушинским. — "Перевал"».

В.Н.Буниной запомнился литературный вечер 4 ноября 1906 г. на квартире Б.К.Зайцева, где она впервые увидела И.А.Бунина; тогда же услышала и запомнила стихи Ходасевича.

Отношения писателей оставались семейными, приятельскими. Деревня Притыкино — имение Б.К.Зайцева — вписана среди адресов в тетради Ходасевича 1915—1916 гг. В 1922 г. Зайцевы уехали из России. Их имена постоянно упоминаются в «камерфурьерском» журнале. Ходасевич обращается к Зайцеву со всеми вопросами, касающимися Данте, и в шутку называет его «дантистом».

Но к творчеству друг друга писатели относились прохладно. 27 декабря 1916 г., размышляя над строчками Н.А.Некрасова: «...и не Милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет», — Ходасевич писал: «Малое и большое. Посредственное и образцовое. ("Бел<инский> и Г<оголь>"). Среднее между Мил<ордом> и Бел<инским> и Г<оголем>. Оценка данных вещей. Чем обогащаем? [Слякотью] Копейку — богачу. (Ибо худ<ожник> — великий мастер.)

Народ дал нам былины, сказки и песни. Мы ему — Зайцева. "Отдарили"» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 21).

Творческое противостояние усилилось, когда Зайцев и Ходасевич обратились к жанру биографий: в кн. XLIII *СЗ* опубл. последние главы повести «Державин», а в кн. XLIV начала печататься «Жизнь Тургенева» Зайцева. Ходасевич не принимал ни беллетризованных биографий, очень популярных во Франции, ни смешения в этом жанре биографических и автобиографических линий, наложения их или даже подмены. О Державине и в письмах он пишет неизменно отстраненно, со стороны, как добрый приятель: «Час тому назад Державин женился. Могу сказать, что изрядно похлопотал, чтобы устроить этот брак...» В повести «Жизнь Тургенева» Ходасевич подметил притязания автора на роль российского барина, помещика; насмешливо называл Зайцева «наш Тургенев», а увлечение его исполнительницей цыганских романсов Спиридович тут же повлекло язвительное сравнение с Тургеневым и Виардо.

В 1945 г., прочитав мемуары М.В.Вишняка о Ходасевиче в *НЖ*, Б.К.Зайцев откликнулся из Парижа: «О Ходасевиче мне тоже приятно было читать. Что там вспоминать прежние мелочи, язвительности, уколы, все это так ничтожно... А человек он был нашей культуры, то есть "любитель просвещения", а это сейчас вроде зубров становится. Вы, разумеется, его смягчили. И ничего. Хорошо, что забылось, когда писали, желчное и едкое, что и Вам лично он иногда подпускал» (14 ноября 1945 г. — *Гуверовский институт. Стэнфорд*. Ф. Вишняка).

[1] Шутка: Августа Филипповна *Даманская* (1875—1959) — журналистка, писательница, писала много, быстро и небрежно.

[2] *..одно неважное...* — Вероятно, «Из дневника» («Должно быть, жизнь и хороша...»), 1—2 сентября 1925 г.; *...одно очень хорошее...* — «Баллада» («Мне невозможно быть собой...»), июнь—17 августа 1925 г.

[3] Шутка, вызванная восхищенным отношением Н.Берберовой к П.П.Муратову. См. ее ст-ние «Перед разлукой горестной и трудной...» с посвящением М. (*СЗ*. 1924. Кн. XX). Там же рассказ П.Муратова «Шехеразада», посвященный Нине Берберовой.

[4] 24 сентября 1925 г. Ходасевич написал Ю.К.Терапиано: «Многоуважаемый Юрий Константинович, к сожалению, ввиду того, что я на долгий срок буду перегружен неотложной работой, я вынужден отклонить предложение Правления о редактировании альманаха и о председательствовании в Литературной Студии. Позвольте просить Вас довести об этом до сведения общего собрания и передать Союзу мои наилучшие пожелания его начинаниям. Примите уверения в сердечном уважении. *Владислав Ходасевич*» (*Байнеке*. Ф. Терапиано).

[5] См. коммент. 5 к письму 78.

[6] *Co to będzie?* — Что будет? (*пол.*)

81. Б.А.Диатроптову. — *НН*. 1988. № 3. С. 92.

[1] Диатроптов Даниил Борисович родился в 1923 г. Его воспоминания об отце, о семье см. в том же номере *НН*.

[2] *Катя* — Екатерина Сергеевна Урениус, жена П.П.Муратова.

[3] Парафраз из поэмы Пушкина «Полтава» (1828).

[4] Отрывок из повести, о которой упоминает Ходасевич, см. в т. 3 наст. изд.

[5] Следуют ст-ния «Баллада» и «Звезды».

[6] Первая заметка о Ходасевиче, похожая на политический донос, появилась в № 36 за 1925 г. в ленинградском еженедельнике «Жизнь искусства»: «Итак, вчерашний прихлебатель покойного ленингр. Дома Искусств и бывший лектор лит. кружков В.Ходасевич — ныне певец реакции и столп монархизма...» (С. 14). В № 41 последовало продолжение: «Влад. Ходасевич раз навсегда стал непременным черносотенцем и глашатаем самодержавия. <...> Очевидно, поэт Ходасевич решил никогда не вступать на территорию СССР. Тем и лучше. В нашей стране нет места подобным шарлатанам и негодяям» (С. 8).

Две первые заметки были анонимными, третья «Ходасевич, Адамович, Иванов и К°», обвинявшая Ходасевича в двурушничестве и черносотенстве, подписана «Г.А.». Ходасевич понимал, что написал ее редактор газеты Гайк Адонц, что, скорее всего, это заказная кампания. С этого времени он, по существу, прекращает переписку с Россией. Свои письма к А.И.Ходасевич адресует «Софии Бекетовой» (ее псевдоним), сам подписывается «В.Медведев». Редкие приезжающие из СССР боятся встреч с эмигрантами. См. рассказ Н.Н.Берберовой о встречах в Париже с О.Д.Форш, которая сказала, что в советском посольстве ей официально запретили видаться с Ходасевичем: «Мы стояли посреди комнаты, как потерянные.

— Владя, простите меня, — выдавила она из себя с усилием» (*Берберова*. С. 271). Ср. этот эпизод с рассказом самой Форш о парижских впечатлениях, записанным К.Чуковским: «Рассказывала об эмигрантах. Ужаснее всего — Мережковские — они приехали раньше других, содрали у какого-то еврея большие деньги на религиозные дела и — блаженствуют. Заразили своим духом Ходасевича. Ходасевич опустился — его засасывает» (Чуковский К. Дневник 1901—1929. С. 441).

82. М.М.Шкапской. — *РГАЛИ*. Ф. 2182. Оп. 2. Ед. хр. 8. Публ. впервые.

83. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] Статью «Пролетарские поэты» см.: *СЗ*. 1925. Кн. XXVI. С. 444—455.

[2] Публикуя неизданный вариант повести Толстого «Казаки», А.М.Хирьяков упомянул о попытках автора писать повесть стихами. Это и вызвало у Ходасевича желание посмотреть, «как Толстой вертит стихом». Нужных для работы материалов у него не оказалось. Главу «Толстой-стихотворец» включил в свою кн. «О Толстом» В.Ф.Булгаков (Тула, 1964).

84. М.А.Фроману. — Часть речи (Нью-Йорк). 1980. № 1. С. 292—294 / Публ. С.Поляниной.

Фроман Михаил Александрович (наст. фам. Фракман; 1891—1940) — поэт, переводчик. Н.Чуковский писал, что Фроман в 1923 г. приехал в Ленинград из Ташкента, к Наппельбаумам его привела «пламенная любовь к Ходасевичу» (Чуковский Николай. Литературные воспоминания. С. 110). Ленинградский писатель Л.Борисов вспоминал, что Фроман в одежде, манере говорить, «вплоть до пенсне, подражал Ходасевичу. <...> Когда скажешь ему, что он вылитый Ходасевич, Михаил Александрович польщенно кланяется и говорит, что каждый поэт на кого-нибудь похож, не похож на других только Крученых, зато его и читать никто не читает, — зачем?» (Борисов Л. За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л., 1972. С. 134).

[1] *Н.Н.* — Берберова; *Ида Моисеевна, И.М.* — И.М.Наппельбаум (1900—1992), жена Фромана, подруга Берберовой, поэтесса, автор сб. «Мой дом» (Л., 1927).

[2] *Давид Кнут* — Довид Кнут (Фихман Давид Миронович; 1900—1955) — поэт «младшего» поколения эмиграции, автор шести сборников стихов, вышедших в Париже. Ходасевич был на обсуждении первой кн. Д.Кнута «Моих тысячелетий» в Союзе молодых поэтов и писателей весной 1925 г.; писал о нем М.Вишняку 24 ноября 1925 г.: «Посылаю стихи Д.Кнута. На Вашем месте я бы их напечатал. *Один отрывок я давно уже поместил в "Днях"*. Поместил бы и эти — но они связаны, их надо напечатать вместе все три...» (*Lilly Library*. Ф. Вишняка). В период оккупации Д.Кнут активно участвовал в Сопротивлении вместе с женой Ариадной Александровной Скрябиной, которая была расстреляна. Воспоминания о поэте оставили все мемуаристы «младшего» поколения: Ю.Терапиано, В.Яновский, З.Шаховская, А.Бахрах, Н.Берберова и др. Последние годы жизни провел в Израиле.

[3] О *Божневе* Борисе Борисовиче (1898—1969) см. вступит. статью Лазаря Флейшмана в кн.: Божнев Борис. Собр. стихотворений: В 2 т. Беркли, 1987. Т. 1. В 1925 г. вышла первая кн. Божнева «Борьба за несуществование», которую один рецензент назвал «пис-

суарной поэзией» (Е.А.Зноско-Боровский); Г.Адамович приветствовал автора, который «говорит по-своему»; Н.Берберова, напротив, упрекнула поэта за то, что «в его стихах перефразированы многие стихи Ходасевича» (*СЗ*. 1925. Кн. XXIV. С. 442; подписано псевд. «Ивелич»). В 1927 г. Божнев выпустил кн. восьмистиший «Фонтан»; в 1936 г. — поэму «Silentium Sociologicum» и «Альфы с пеною омеги». С 1939 г. жил в Марселе, скрываясь от фашистов в домах друзей. Он продолжал писать стихи (на рус. и фр. яз.) и издавал их сам, печатая на переплетах старых нот.

[4] *Оцуп* Николай Авдеевич (1894—1958) — поэт, критик, мемуарист, начинавший как ученик Н.Гумилева. Ходасевич печатал его ст-ния в *Б*, отметил сб. «В дыму» и поэму «Встреча» (*Д*. 1926. 27 июня; *В*. 1928. 8 марта). В статье «Там или здесь?» он писал: «Даровитая молодежь в эмиграции имеется. Таковы хотя бы поэты: Н.Оцуп, В.Злобин, Б.Божнев» (*Д*. 1925. 18 сентября).

[5] Следует текст «Соррентинских фотографий» до строк: «О чуждый камень спотыкаясь...»

85. М.М.Карповичу. — *Письма Карповичу*. С. 146—150.

[1] *Зензинов* Владимир Михайлович (1880—1953) — писатель, публицист, постоянный сотрудник *Д*. Ходасевич писал о его кн. «Беспризорные» (*В*. 1929. 9 мая) и «Путь к забвению» (*В*. 1932. 28 июля).

[2] В фонде М.М.Карповича (*АБ*) сохранился машинописный экземпляр «Соррентинских фотографий» с надписью Ходасевича: «Дорогому Михаилу Михайловичу Карповичу на добрую память. *В.Х.*»

[3] Полемика Ходасевича с Куприным началась еще в России, когда в статье «А.Куприн и Европа» критик представил его как писателя нового типа, писателя-рассказчика, «среднего обывателя», который «сам не располагает бо́льшим внутренним и художественным опытом, чем его читатель» (*РВ*. 1914. 26 июня). Отвечая Куприну на открытое письмо (В.Ходасевичу // Русская газета. 1924. 3 мая) по поводу ст-ния «Романс», Ходасевич вспомнил свою давнюю статью, несколько даже огрубив ее мысль: «...в 1914 году в “Русских Ведомостях” я высказал свое мнение о вас как о писателе некультурном». Ответ его на критические замечания Куприна свелся к одной фразе: «...прежде, нежели вступаться за Пушкина, его надо знать» (А.И.Куприну // *ПН*. 1924. 22 мая). См. также коммент. 1 к письму 68.

Позже, в статье о романе «Юнкера», критик отметил «очень тонкое, смелое мастерство, с которым Куприн пишет “Юнкеров” как бы спустя рукава», но «кажущаяся эпизодичность, кажущаяся небрежность, кажущаяся нестройность его повествования в действительности очень хорошо взвешены и обдуманы. Простоватость купринской манеры на этот раз очень умна и, быть может, даже лукава. Куприн как будто теряет власть над законами романа — на самом же деле он позволяет себе большую смелость — пренебречь ими. <...>

Единство фабулы он мастерски подменяет единством тона, единством того добродушного лиризма, от которого мягким, ров-

ным и ласковым светом вдруг озаряется нам стародавняя, несколько бестолковая, но веселая Москва...» (*В.* 1932. 8 декабря).

Скорее всего, единственное письмо Куприна к Ходасевичу с признанием его критического мастерства (недат.; *РНБ.* Ф. 405. Ед. хр. 11. Ксерокс) написано в ответ на эту статью.

[4] Письмо написано в разгар горячих споров о том, как относиться к происходящему в советской России, к возвращенчеству и возвращенцам. С целым рядом статей по этому поводу выступил М.Осоргин в *ПН*: «Кафедральствующий» — 2 сентября, «Требуется ланцет» — 28 октября, «Самоубийственная страничка из...» — 24 ноября, «Можно ли печататься в России?» — 11 декабря 1925 г. Он утверждал, что «только физический возврат может дать полное духовное слияние!», и призывал эмиграцию «стремиться не только к “духовному возврату”, но и к фактическому возврату пера русского зарубежного писателя — домой, в Россию, к России, к читателю тамошнему, — всеми доступными и нравственно приемлемыми путями». Его «Особое мнение» (название статьи М.Осоргина в журн. «Еврейская трибуна», 1923, № 21) базировалось на убеждении, что «русская революция вовсе не продукт интеллигентской работы и комиссарских маневров. Она — явление стихийное, народное». Эти взгляды разделял и Александр Васильевич Пешехонов (1867—1933), много лет добивавшийся разрешения вернуться на родину — см. его кн. «Почему я не эмигрировал» (Берлин: Обелиск, 1923) и статью «Родина и эмиграция» в журн. «Воля России» (1925. № 7—11). Особого накала достигло движение к весне 1926 г., после доклада Е.Д.Кусковой «Сдвиги в России и в эмиграции (психология и действительность)». Оценку доклада см. в передовой *ПН* 18 марта 1926 г. Там же — изложение доклада. Кускова призывала эмиграцию к терпимости и сотрудничеству: «...надо сблизиться с Россией, надо всматриваться в тот еще неясный абрис великой России, которая должна образоваться. Мистика эмиграции, лишающая Россию чести и достоинства, непристойна и вредна». Больше того: исходя из положения, что власть в России признана населением и «перемешалась с ним», она писала, что «нужно получать директивы оттуда, как себя вести и что делать здесь».

[5] Всероссийский комитет помощи голодающим, или Помгол, образован 21 июля 1921 г. Его возглавили Е.Д.Кускова и ее муж, экономист С.Н.Прокопович. Осоргин был членом комитета. В августе 1921 г. комитет разгромлен, множество людей арестованы. 24 августа 1921 г. Горький писал из Петрограда Е.П.Пешковой: «...аресты здесь — ужасающие. <...> В ночь сегодня — весь город гудел от автомобилей ЧК» (Архив А.М.Горького. Т. IX. С. 219). В 1922 г. многие из членов комитета были высланы за границу.

[6] Ходасевич считал, что Е.П.Пешкова была послана Дзержинским наладить контакты с эмиграцией: «...эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции...» (см. второй очерк «Горький» в наст. томе). Гнев Ходасевича вызвала «политическая провокация». «*Ваше* “возвращенчество” — не то, которое меня приводит в ярость. Я не согласен и с Вашим, но одно дело — не

согласен, другое — меня тошнит и злит, — писал он М.М.Карповичу 10 июля 1926 г. — Главное, решающее отличие Вашего "возвращенчества" от Кусково-Осоргинского в том, что Вы не знаете, куда хотите возвратиться. Вы не видали большевизма и, простите, не имеете о нем никакого представления. Говорю не о ЧК и всяких *кровавых* ужасах, которые — в прошлом и с *этой* точки зрения простить их можно. Говорю о *нынешней* России. Я уехал оттуда 4 года тому назад, но, зная, что́ было, и читая тамошние газеты и журналы, могу вычислить, что́ есть. Не из эмигр <антского> "запала" говорю: РСФСР 1922 г. и эпохи "военного коммунизма" — либеральнейшая страна в сравнении с СССР 1926 года. Вы, не знающий, не *видавший* прежнего, психологически правы, когда представляете себе черта не таким страшным, как его малюют, и я понимаю, если Вы (подобно иностранцам) не вполне верите нам, эмигрантам. А Кускова и Ос<оргин> и др. — знают, а зовут. (А Осоргин и вовсе гнусно: шлет других, прибавляя: *я* — не поеду)» (*Письма Карповичу*. С. 150—151).

[7] Бурцев Владимир Львович (1862—1942), публицист, был особенно известен тем, что в 1908 г. разоблачил провокаторскую деятельность лидера партии эсеров Евно Азефа — агента охранки.

[8] В 1926 г. Ходасевич написал статью «К истории возвращенчества», но не опубликовал ее. Впервые ее напечатал Р.Гуль в журн. «Народная правда» (Нью-Йорк, 1951. № 17—18), а затем перепечатал в кн.: Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции. Нью-Йорк: Изд-во «Мост», 1981. Т. 1: Россия в Германии. С. 190—193.

[9] Неточная цитата из пьесы М.Горького «На дне», которую Ходасевич использовал в очерке «Горький», навеяна письмом Муни: «Если Мережковского уличают: "Зачем карта рукав совал?" Отвечает: "Что же, мне ее в нос сунуть?" По-своему прав, ибо шулер *природный*» (31 июля 1909 г. — *Письма Муни*).

[10] В мае 1925 г. Ходасевич, по воспоминаниям Ю.Терапиано, был в Союзе молодых поэтов и писателей на вечере Д.Кнута и с той поры «сделался самым желанным гостем в кругу молодых поэтов» (Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 84—85. Здесь же см. главу «Перекресточная тетрадь»).

Частые встречи в кафе «Ротонда», в Союзе молодых поэтов и писателей, прогулки с Терапиано, Кнутом, Оцупом и другими в 1925—1926 гг. отмечены и в «камерфурьерском» журнале, начиная с записи: 1925. Июнь. «*27, суб.* Оцуп. С ним обедать и в Союз Молод<ых> Поэтов (Я читал) (Сидерский, А.Вишняк, Оцуп, Познер, М.Струве. Г.Иванов, Ховин)...»

86. М.А.Фроману. — Часть речи (Нью-Йорк). 1980. № 1. С. 294—297.

[1] Следует продолжение «Соррентинских фотографий» от слов: «Мотоциклетка стрекотнула...» до конца. После стихов помета: 1926, февр. Chaville.

[2] *Фредерика Моисеевна* Наппельбаум (1902—1958) — поэтесса. В ее единственном сб. «Стихи. 1921—1925» (Л., 1926) нет посвя-

щения Ходасевичу, но в ст-нии «Мне дорого воспоминанье пустынных и прекрасных дней...» использованы образы и строки *ТЛ*. См. также ст-ние М.Фромана «Из желтого пивного зала...», обращенное к Ходасевичу и построенное как диалог, спор «младшего» поэта со «старшим»: «Нет, не хочу, не променяю // Я дикий рай моей земли! // Здесь все мое, и здесь, я знаю, // Крылами плечи проросли» (Фроман М. Память: 1924—1926. Л., 1927).

[3] *Вагинов* (Вагингейм) Константин Константинович (1899—1934) — поэт, прозаик. О сб. Вагинова «Стихотворения» (1926) см. рец. Ходасевича (*Д.* 1926. 13 июня).

[4] *Коля Ч.* — Николай Чуковский.

87. Ю.И.Айхенвальду. — Встречи с прошлым. М., 1990. Вып. 7. С. 95—96 / Публ. Е.М.Беня.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — критик, автор популярных книг «Силуэты русских писателей» (3 вып.), «Спор о Белинском», «Пушкин» (резко отрицательную рец. Ходасевича «Сахарный Пушкин» см.: *РВ.* 1916. 9 ноября). В 1922 г. выслан из России. Вел литературный отдел *Р.* Свои «Литературные заметки» часто подписывал псевд. Б.Каменецкий. Его статьи о творчестве Ходасевича см.: *Р.* 1923. 14 января; Сегодня. 1927. 9 декабря.

Откликаясь на гибель Айхенвальда, Ходасевич писал: «Об Айхенвальде как о литературном противнике вспоминаю я ныне с величайшей скорбью. Его полемическая честность и вообще честность была безгранична. Вот почему в результате наших разногласий постепенно сложилась во мне прочная любовь к Айхенвальду» (Желтый конверт // *В.* 1928. 27 декабря).

[1] См. коммент. к ст-нию «Джон Боттом» в т. 1 наст. изд.

[2] Даже такой парадоксальный, острый критик, как Айхенвальд, не сразу оценил новизну замысла «Некрополя». Статью «Брюсов» он нашел кощунственной: «Она морально неприемлема. На недавно закрывшуюся могилу поэта другой поэт, близкий к нему при жизни, возложил венок из крапивы и чертополоха. <...> И все-таки... все-таки большую нравственную самоотверженность проявил В.Ф.Ходасевич тем, что он на себя взял справить такие поминки и сказать такую правду о своем старшем товарище...» (Каменецкий Б. Литературные заметки // *Р.* 1925. 8 апреля).

[3] См. «Литературные заметки» (*Р.* 1924. 23 июля).

[4] «Естественно хороши и художественны стихи Владислава Ходасевича “Соррентинские фотографии” — умное, лирическое сказание о “двух совместившихся мирах”» (*Р.* 1926. 5 мая).

88. Ю.И.Айхенвальду. — Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 136—137 / Публ. С.Шумихина.

[1] Скорее всего, Айхенвальд послал *Р* (5 мая 1926 г.) со своей рец., о которой Ходасевич писал в предыдущем письме.

[2] 30 сентября 1926 г. в *ПН* опубл. очерк «Муни».

[3] *Китченер* Гораций Герберт (1850—1916) — английский фельдмаршал, в 1914—1915 гг. — военный министр Великобритании.

[4] Третий стих в строфе:

Проклятье вечное тебе,
Четырнадцатый год!..
Пришел и Боттому тогда,
Как всем другим, черед —

Ходасевич исправил на: «Потом и Боттому пришел...»

[5] Последний очерк Ходасевича в *Д* («О Блоке и Гумилеве») опубл. в двух номерах: 1 и 8 августа 1926 г. В сентябре 1926 г. в «камерфурьерском» журнале появилась запись: «*22, среда.* Гулял. / В Совр<еменные> Зап<иски> / В кафэ. В Дни (моя “отставка”). / *23, четв.* Гулял. / В Посл<едние> Новости. В кафэ (Демидов). В Посл<едние> Новости. Вейдле» (*АБ*).

[6] Сделав выпад против Д.Святополка-Мирского («Капризен князь. Часто метки и злы, часто только злы его характеристики писателей и произведений; неожиданны его вкусы и симпатии...»), Айхенвальд в целом принял «Версты», отметив, что редакторы «направляют читательское внимание на лучшее и самое что есть живое в современной русской литературе» (*Р*. 1926. 11 августа). Рец. Ходасевича на «Версты» была очень резкой (*СЗ*. 1926. Кн. XXIX. С. 433—441).

[7] В «Известиях» (1926. 11 августа) и одновременно в «Правде» (того же числа) напечатано письмо М.Горького к Я.С.Ганецкому о смерти Дзержинского: «Совершенно ошеломлен кончиной Феликса Эдмундовича. Впервые я его увидел в 9—10 годах, и уже тогда, сразу же, он вызвал у меня незабываемое впечатление душевной чистоты и твердости...» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 473). Письмо перепечатано в *ПН*. В *Р* опубл. протест Союза журналистов, где письмо Горького названо «панегириком палачу» (*Р*. 1926. 3 сентября). В письме к Б.К.Зайцеву от 23 июля 1927 г. Ходасевич спрашивал у него, будет ли он принимать участие в сборнике, куда приглашен также и М.Горький: «Вы понимаете, а вероятно, и разделяете трудность положения: с одной стороны, надо не обидеть Оберучева, с другой — нельзя с Горьким. Тут, мне кажется, надо действовать если не “скопом” (что неудобно), то все же единообразно» (*АБ*. Ф. Зайцева). М.Горький жаловался Е.П.Пешковой: «Едят меня за Ф<еликса> Эд<мундовича>!..» (Архив А.М.Горького. Т. IX. С. 256).

[8] Журн. «Новый дом» выпускали Н.Берберова, Д.Кнут, Ю.Терапиано и В.Фохт. Айхенвальд тепло отозвался о «домике»: «по устройству своему он очень уютен и мил», но особо выделил ст-ние Ходасевича: «Острым и каким-то злым недоумением перед прозой жизни проникнуты “Бедные рифмы” Ходасевича» (*Р*. 1926. 17 ноября).

89. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] *Случевский* Константин Константинович (1837—1904) — поэт, которого любил Ходасевич: 10 ст-ний Случевского он включил в антологию «Русская лирика». Возможно, собирался о нем писать: М.Горький просил прислать для Ходасевича Случевского из России. См. статью Н.Берберовой «Памяти Ходасевича»: «Он сам вел свою

генеалогию от прозаизмов Державина, от некоторых наиболее "жестких" стихов Тютчева, через "очень страшные" стихи Случевского о старухе и балалайке и "стариковскую интонацию" Анненского» (*СЗ*. 1939. Кн. LXIX. С. 260).

[2] *Вейдле* Владимир Васильевич (1895—1979) — поэт, литературный критик, искусствовед, близкий друг Ходасевича. Статья его «Поэзия Ходасевича» (*СЗ*. 1928. Кн. XXXIV) принадлежит к наиболее глубоким работам о творчестве Ходасевича, «авторизована» Ходасевичем, написана в процессе долгих разговоров с ним. Вейдле писал: «Да, в России, после Блока, Ходасевич наш поэт. Быть может, это теперь яснее, хоть именно потому, что это правда, это так трудно объяснить, именно потому, что мы все так близки к нему, нам трудно его показать друг другу. Пусть кажется одним, что его поэзия — слишком здравого ума, и другим, что она чересчур земная. Пусть нам самим это кажется иногда. Но если с нами этот бескрылый гений, то разве не нам он послан и не мы его лишили крыл? <...> У этого времени, кроме него, не было и нет поэта. Конечно, стихи о революции не лучшие в "Тяжелой лире", но ведь и дело совсем не в них. Дело в том, что *всё* в поэзии Ходасевича: подавленность ее тона, ее голос, низкий и глухой, страшная вещественность мира, всегда присутствующего в ней и сквозь который она устремлена прорваться, все это вызвано Россией, Европой последнего века или последних лет, невыносимым временем, которое она выносила и выносит, — и за это одно надо было бы ей воздать хвалу».

При этом критик сомневался, есть ли в ней «ростки неизвестных форм и залог будущего развития»: «...поэзия не всегда — кухня будущей поэзии, искусство не всегда — каменоломня нового искусства» (С. 468—469). Статья вышла отдельной кн.: Вейдле В. Поэзия Ходасевича. Париж, 1928. См. также его статью «Ходасевич издали-вблизи» (1962) в кн.: Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973; статью «Ходасевич» в цикле «О тех, кого уже нет» (Новое русское слово. 1976. 6 июня).

После смерти Ходасевича О.Б.Марголина писала Вейдле: «Был у меня на днях Руднев: говорил, что Вы уже начали статью о В.Ф. Очень бы хотела ее прочитать еще до напечатания. Я думаю, что только Вы один сможете дать верный и правдивый облик В.Ф. и написать о нем так, как он бы этого хотел, т.е. то, что он больше всего ценил — правду» (20 августа 1939 г. — *АБ*. Ф. Вейдле).

[3] В октябре 1927 г. Б.Зайцев из *ПН* перешел в *В*. 6 декабря 1927 г. в *ПН* была напечатана отрицательная рец. о сб. рассказов Б.Зайцева «Странное путешествие» (под псевд. «М.Ю.Б-ов»).

90. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] *«Игроки в литературе и в жизни»* Ходасевич обещал написать для *СЗ*. Как отголосок замысла — статья «Пушкин, известный банкомет» (*В*. 1928. 6, 7 июня). Сам страстный игрок, Ходасевич несколько раз принимался писать об игроках. В рабочей тетради, начатой 12 января 1918 г., сохранился план прозаического произведе-

ния, в центре которого игрок, психология игрока: «I. После игры. N выигрывает. Домой пешком. Спальня. Ключ. День. Семейное счастье. Манечка из гимназии. Башмаки? Невозможно. II. Игра. Игроки. Выигрывает (и завтра, и еще). Спокойствие, благоволение. Домой. Хорошо: вот на башмаки. III. Проигрался: раз, два, три... Денег нет. О, зачем понтировал на прошлой неделе? Ведь сохранил бы две тысячи. А из них что могло стать?! Мерзость! Довольно! Бросить. Презренье, злоба. Драка. Везем домой. Жена всех нас знает понаслышке. Старые знакомые» (*РГАЛИ*. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 24). И последний прозаический набросок Ходасевича (17—19 мая 1938 г.) «Атлантида» — автобиографического характера — о карточной игре (см. т. 3 наст. изд.).

[2] Статья З.Гиппиус «Знак (О Владиславе Ходасевиче)» (*В*. 1927. 15 декабря) подписана псевд. Антон Крайний. В стихах Ходасевича Гиппиус отметила «постоянную разъединяемость, как бы распад внутренний, — нестерпимый для "я"». И одновременно — четкость, ясность. Для его стихов она находит определение: «...кристаллические стихи: подобно кристаллам, сложны они и ясны; ни одна линия неотъемлема, нужны все одинаково». Объяснение этому критик видит в верности пушкинским традициям, но отмечает также, что «кристаллическое начало есть в самом "я" поэта». «Очасти благодаря своей четкости, резкости прямых линий, поэзия Ходасевича не "обворожительна". <...>

Один критик сказал мне недавно: "По Ходасевичу, как по секундной стрелке, можно видеть движение времени — от Блока — вперед. Блок уже не современен; Блок ездит еще по железной дороге; у Ходасевича автомобили и те крылатые; даже крылья у них — разве не важно? — у одних белые, у других черные..."

Да, это правда. Ходасевич весь принадлежит сегодняшнему дню. Блок — вчерашнему. Трагедия Блока — не то что менее глубока; но при всех "несказанностях" ее "механика" как-то проще. Сложнейшая трагедия внутреннего распада и постоянная мучительная борьба с этим распадом — воистину трагедия нашего часа».

В заключение Гиппиус отмечала в поздних стихах Ходасевича «тяжкую усталость» и в то же время «уверенность во всезнании», находя последнее опасным. Обращаясь к ранним стихам Ходасевича, она уподобляла поэта пауку-крестовику:

«И он бежит от гнева твоего,
Стыдясь себя, не *ведая* того,
Что значит *знак*
Спины его мохнатой...

Не ведая, не зная...

Вот оно, — и какое важное! — чего Ходасевич не знает, а главное, сам знает, что *не* знает: ведь рассказывает он это "Про себя"».

Ю.Терапиано писал, что Гиппиус «ценила стихи Ходасевича за его формальное мастерство, хотя и прибавляла, что, к сожалению, Ходасевич "не имеет на спине креста, как паук-крестовик", т.е.

находила его поэзию недостаточно христианской, в чем, пожалуй, ошибалась». Отсутствие в стихах его «бездн и тайн» Терапиано объясняет «духовным целомудрием»: «он был верующим католиком, ходил в костел» (*Терапиано*. С. 114).

Среди откликов на смерть В.Ф.Ходасевича, напечатанных в *В* 7 июля 1939 г., есть письмо из Ужгорода от иеромонаха Алексия, настоятеля Храма-Памятника русским воинам, павшим в Великую войну на Карпатах. Он писал: «Для меня Владислав Ходасевич — не только выдающийся поэт, критик и историк литературы», но и замечательный человек, верующий человек, глубокий мыслитель и неустанный вопрошатель. Письма его в Болгарии когда-нибудь увидят свет. Много хорошего добавят эти письма к биографии поэта-человека».

[3] О XXXIII кн. *СЗ* в *В* писал *Н.Чебышев* (1927. 15 декабря), в *ПН* ее рецензировал Г.Иванов, резко отозвавшийся о пьесе П.Муратова «Мавритания»: «...эстетизм 1910 года в 1927 году неуместен» (1927. 15 декабря). В письме к М.Вишняку от 25 декабря 1927 г. Ходасевич интерпретировал эти статьи и причины, их вызвавшие, по-своему: «Кажется, я Вам писал об уничтожении Зайцева в “Посл<едних> Нов<остях>”. Затем был изничтожен Муратов — прошу заметить. Теперь, значит, очередь за мной, потом за Берберовой. Это называется: “пиши у нас, а то докажем, что твои писания ничего не стоят”. Помните московских извозчиков? На одного садишься, а другой кричит: “Ён не довезет! У яво лошадь хромая!” Все повторяется» (*Lilly Library*. Ф. Вишняка). К разгару «газетной войны» *В* и *ПН* и относится, очевидно, литературная пародия Ходасевича, изобразившая редакторов и сотрудников газет *Д* и *ПН* героями воровской «малины». Одновременно это пародия на «воровскую» повесть — жанр, распространенный в советской литературе 20-х годов, — причем ее журнальный вариант.

ЧУЖАЯ НОЗДРЯ

*Повесть**

. . . .

XIII

Нас пятеро было: Васютка Рвач, Машка-Мышка, Андрей Бесхвостый да я. А пятый — Милюков Пашка. Да он и не в счет, потому что сопливый.

. . . .

XXI

Литовцева Шлемку я первый раз бил за дело, а потом — потому что вошло в привычку:

— Шлемка, гони марафет!

— Нима.

— Гони, черт, а то перышком!

. . . .

* Печатается в отрывках.

XXX

У Васьки Маклакова нос провалился. Пофартило ему: в солдаты не взяли.

. . . .

Керенский Шурка по мокрому делу в ящик сыграл.

(Окончание следует.)

Петр Муругов

(Lilly Library)

91. Ю.И.Айхенвальду. — Встречи с прошлым. Вып. 7. С. 99—100.

[1] В статье «Памяти Сологуба» Айхенвальд назвал автора «Мелкого беса» певцом смерти, «ее платоническим любовником, богомольцем зла; поклонником небожьего мира», но признавал: «В свои последние годы он проявил живую любовь к уходившей жизни и к той родной земле, к родному краю, который ему предстояло покинуть...» И за эту любовь «“прощен” Федор Сологуб читающей Россией...» (*Р.* 1927. 14 декабря).

[2] «“Оправдание добра” — так можно было бы озаглавить все последние стихи Сологуба, — писал Г.Адамович. — <...> Эти светлые старческие стихи действительно достойны занять место рядом с лучшими стихами наших лучших поэтов...» (Звено. 1928. № 2. С. 71).

[3] Реплика Хлёстовой из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

[4] «Жирафы и орхидеи» — намек на подражание Н.Гумилеву, учеником которого считался Г.Адамович. Сам он себя не числил в продолжателях Гумилева и писал Ю.П.Иваску 6 сентября 1968 г.: «Насчет Гумилева: я совсем не люблю его стихов и даже не верю, что его “поэтика” до сих пор властвует. <...> Влияние Гумилева было устное, в разговорах, а стихи его не плохие и не хорошие, а, в сущности, никакие. Мне жаль это говорить, потому что для меня в нем как в человеке было какое-то обаяние» (Центр Русской Культуры, Амхерст-колледж).

[5] В.Сирин восторженно отозвался о *ССт-27:* «...*проза в стихах* значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов. Дерзкая, умная, бесстыдная свобода плюс правильный (т.е. в некотором смысле несвободный) ритм и составляют особое очарование стихов Ходасевича» (*Р.* 1927. 14 декабря).

[6] Нина Петровская до последних дней переписывалась с Айхенвальдом. Он помогал ей деньгами, пытался найти работу. Последнее ее письмо, датированное 25.I.1928 г., — написано дрожащей рукой, с пропусками букв: «Дорогой, незабвенный друг! Слов у меня нет, я мертвая. Нина» (см.: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э.Гарэтто // *М-8.* С. 137). На смерть Н.Петровской Айхенвальд написал очерк «Нырнула в ночь», где широко использовал ее письма (Сегодня. 1928. 4 марта).

92. М.В.Вишняку. — *Lilly Library.* Ф. Вишняка.

[1] Рец. Г.Струве «Тихий ад» напечатана в варшавской газ. «За

свободу» (1928. 2 марта). Струве писал: «Ходасевич сочетает жуткий, цинический реализм с какой-то страшной фантастикой, напоминая и тем и другим Бодлера.

<...> Стихи "Европейской ночи", по строению резко отличные от стихов "Тяжелой лиры" — те гораздо ровней, размеренней, эти отрывисты, переболтаны, почти судорожны в своем ритме, — таят в себе и глубокое внутреннее отличие. Устремленный к духовному поэт, отчаявшись "прободать прозрачную, но прочную плеву", обратился вновь к миру, но не с тем, чтобы принять его, а чтобы еще пуще его заклеймить, избичевать, обрушить на него всю свою злобу и ненависть. Поэзия "Европейской ночи" — страшная и жуткая — это подлинная поэзия разложения, распада, тления. Поэт клеймит пошлость мира, но вместе с тем с каким-то сладострастием в ней купается». Критик спрашивал: «Не есть ли эта *поэзия разложения* начало *разложения поэзии?»*

[2] С.А.*Воронов* — автор кн. «О продлении жизни» (М., 1923), рассказал об опытах по пересадке щитовидной железы обезьяны больным людям. Он видел в этом способ продления жизни человека, сохранения интеллекта и трудоспособности.

[3] О «Зеленой лампе» и разногласиях Ходасевича с ее духовными «вождями» Д.Мережковским и З.Гиппиус см. коммент. к статье «Подземные родники» (т. 2 наст. изд.).

93. З.Н.Гиппиус. — *М-3*. С. 272—277 / Публ. Д.Малмстада.

Отношения Ходасевича и Гиппиус были сложными. 7 апреля 1926 г. Ходасевич писал М.М.Карповичу: «Литературно у меня сейчас "флирт" с Гиппиус: за что-то она меня полюбила» (см. письмо 85). Следы этого «флирта» легко обнаружить в критических статьях З.Гиппиус того времени. В статье «Поэзия наших дней» она противопоставила Ходасевича другим современным поэтам, среди которых называла Пастернака, Мандельштама, Есенина, молодых поэтов эмиграции, видя в поэзии их «ломку всего, что составляло стихи: звука, ритма, фразы и слова». О Ходасевиче же писала как о «большом, настоящем, новом, современном поэте», его именем заверяя читателей: «Наши дни — не последние, если есть еще творцы истинной поэзии, ревниво любящие наш язык» (*ПН*. 1925. 22 февраля; подпись: Антон Крайний).

Но литературные увлечения З.Гиппиус были непостоянны и капризны, с 1927 г. она уже выстраивала оборонительный союз с Г.Адамовичем и писала ему: «А ваши стихи — самые лучшие. Не оттого ли говорю, что они мне так родственны? Нет, это a part, говорю объективно.

Если бы мне вздумалось кого-нибудь "в гроб сходя, благословлять", — то именно вас» (31 марта 1927 г.).

1927 год был переломным в отношениях Гиппиус и Ходасевича. 5 февраля 1927 г. Ходасевич прочитал речь на первом собрании общества «Зеленая лампа», но «метафизический уклон» обсуждений и разговоров разочаровал его, требовавшего прежде всего серьезной литературной работы. 19 июня 1927 г. Гиппиус сообщала Адамови-

чу: «Завтра приедут Ходасевичи (у меня, увы, кончился с ним медовый месяц прошлогодней переписки). Володя нанял им квартиру где-то на выселках, куда скачи не доскачешь, ни оттуда никуда. Хотя "Eden" (здесь все Eden'ы)». В письмах она выражает недовольство позицией Ходасевича, его отношением к «Зеленой лампе», а 8 августа 1927 г. задает сакраментальный вопрос: «Я хотела заметить (не говоря ничего дурного), что я до сих пор не могу решить, есть ли у Ходасевича какой-нибудь интерес к интересному или только к неинтересному? Ведь хочется всегда решать не с кондачка, по совести и крепко» (Письма Гиппиус к Адамовичу. *Байнеке*).

К 1930 г. наступил полный разрыв, но до этого Ходасевич и Гиппиус порой объединялись и действовали как литературные союзники, хотя Ходасевич всегда ждал от нее «провокаций». «Провокацией», с его точки зрения, было и поведение З.Гиппиус на Зарубежном съезде русских писателей и журналистов в Белграде (25 сентября — 1 октября 1928 г.), где она выступила против создания журнала только потому, что редактировать его было предложено П.Б.Струве. Ходасевич болел и не поехал на съезд. 26 октября 1928 г. Гиппиус писала: «Мы до седьмого пота старались — разрушали Струве; успели (материально от этого разрушения не страдает), но успели тем самым и разрушить, на ближайшее время во всяк <ом> случае, — журнал. <...> Словом, — синицы ни перышка, одни, как говорится, "ивиковы журавли". Особенно я: приехала без единой насущной выгоды и без перспектив даже. Но я утешаюсь всей забавой, которую получила, оперетками, анекдотами, которые видела, ну — информацией новой тоже, конечно. Люблю смотреть» (*Гиппиус*. С. 92—93). Подробно о съезде в Белграде см.: Письма Б.К.Зайцева к И.А. и В.Н.Буниным // *НЖ*. 1981. № 143. С. 145—149. Зайцев в Белграде просил о стипендии для Ходасевича и Тэффи, но получил отказ.

[1] Последние строки трагедии А.П.Сумарокова «Димитрий Самозванец» (1771).

[2] «Что день грядущий нам готовит — в смысле печати? — спрашивала Гиппиус в письме от 26 октября 1928 г. — Хоть бы паршивая лавочка Возр<ождения> лопнула!»

[3] В.И.*Талин*, Ст. Иванович — псевд. журналиста Португейса Степана Ивановича, сотрудника *ПН*.

[4] Из ст-ния Тютчева «Она сидела на полу...» (1858).

94. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

[1] Статья «О поэзии Бунина» (см. т. 2 наст. изд.).

[2] Главы из кн. «Державин» печатались в *СЗ* в 1929—1930 гг.

[3] Рец. П.Муратова на повесть Б.Зайцева «Анна» см.: *В*. 1929. 5 сентября. Ходасевич назвал эту повесть среди лучших произведений эмиграции в неоконченной статье «О двадцатилетии эмигрантской литературы» (*АБ*. Ф. Карповича).

[4] Ходасевич шутливо использует название кн. П.Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914).

[5] *Dernière heure* — В последний час (*фр.*).

95. М.В.Вишняку. — *Lilly Library*. Ф. Вишняка.

Написано на фирменном бланке «Hôtel & Restaurant Lavenue».

[1] *Дон-Аминадо* (наст. имя и фам. Аминад Петрович Шполянский; 1888—1957) — поэт-юморист, сотрудник *ПН* и «Сатирикона», для которого писали Н.Берберова и Ходасевич (Сатирикон. 1931. № 16. С. 3).

[2] *«Фишкой»* Ходасевич называет слова в статье «О поэзии Бунина»: «Голос З.Н.Гиппиус в похвалах Бунину взял наиболее высокую ноту (я разумею статьи в бурцевском "Общем деле")». В двух статьях — «Тайна зеркала. Ив.Бунин» и «Бесстрашная любовь. Русский народ и Иван Бунин» (газ. «Общее дело», 1921, 16 мая и 23 октября), — З.Гиппиус писала о зоркости Бунина, проникновении в тайну души народной: «Бесстрашен в правде Бунин». В его творчестве она увидела «крепкую скрытую, упрямую силу любви к самому сердцу бытия — к его смыслу, к его светлой тайне». В 1925 г. она оставила за Буниным только титул «короля изобразительности», подчеркивая тем самым ограниченность его дара: «Конечно, талант изобразительный по преимуществу, художник, не склонный к обобщениям и не ищущий смысла явлений» (О любви. II // *ПН*. 1925. 25 июня). Написанная для *СЗ*, статья была отклонена журналом по категорическому требованию Бунина. К статье «Поэзия Бунина» Гиппиус отнеслась одобрительно: «Хотелось написать Вам и после "Державина", и после Вашей умной статьи о Бунине. Умной, доброй, искусной» (28 августа 1929 г. — *Гиппиус*. С. 97).

[3] *«Евразия»* (1928—1929) — еженедельник по вопросам культуры и политики. В № 33 (1929. 10 августа) Святополк-Мирский, анализируя кн. XXXIX *СЗ*, писал: «Конечно, Ходасевич настоящий писатель, по уму и литературному умению превосходящий всех представленных в этом номере... Но какая утонченная извращенность, граничащая с садизмом, нужна была, чтобы самому мертвому и "трупному" из всех когда-нибудь живших писателей выбрать своей жертвой насквозь живого и здорового Державина» (С. 8). О статье Г.Федотова, напечатанной в той же кн. *СЗ*, критик заметил, что это «вариация» статьи, опубликованной в «Верстах» под псевдонимом «Е.Богданов».

96. В.В.Вейдле. — *АБ*. Ф. Вейдле. Публ. впервые.

[1] Статья Вейдле «Романтическое искусство (По поводу трех выставок)» напечатана 5 июня 1930 г., в следующий четверг — глава из «Державина» — «Новый царь» (*В*. 12 июня), а 19 июня 1930 г. — статья Вейдле «Русская литература в эмиграции», развивающая мысли Ходасевича о жизнеспособности молодой литературы. Вейдле обнаружил в прозе молодых (Сирин, Газданов, Берберова) поворот от сказа — к «речи рассудочно-расчлененной». Особо отметил он прозу Сирина: «В его писаниях, особенно в первых опытах, больше, чем качества, выбора, вкуса, отделки, замечаешь богатство воображения, щедрость выдумки, напор тысячи вещей, с силой выбрасываемых наружу, как бы в стремлении ничего не оставлять в себе, а вовне ничем не брезговать. <...> все пущено в ход, поднято,

округлено как бы внезапным волевым усилием. <...> Русская литература нас не приучила к этим встряскам, резким поворотам, подчеркиваниям, ударам хлыста».

[2] Надпись по-французски: «Категорически воспрещается кочевникам останавливаться в этом месте».

[3] *Милочка* — Людмила Викторовна Вейдле (урожд. Барановская), жена В.В.Вейдле.

[4] *Ярко* Семен Маркович — хозяин пансиона в Арти, куда Ходасевич приезжал летом в 1930—1932 гг.

97. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 271—272.

Берберова Нина Николаевна (1901—1993) — поэтесса, автор рассказов, повестей, биографических романов, а также рецензий и статей, которые иногда подписывала псевдонимами «Ивелич», «И», — более всего известна книгой «Курсив мой. Автобиография» (1-е изд.: München: Wilhelm Fink Verlag, 1972; 2-е: В 2 т.: New York: Russica Publishers, INC, 1983; 3-е: М.: Согласие, 1996). В этой книге она рассказала историю своих отношений с Ходасевичем.

74 письма Ходасевича к Н.Н.Берберовой с обстоятельными комментариями опубл. Дэвид Бетеа, автор первой монографии о Ходасевиче. См.: Bethea David M. Khodasevich: His life and art. New Jersey: Prinseton University Press, 1983. Еще одно письмо Н.Н.Берберова поместила в *М-6* (Paris, 1988. С. 471).

[1] *Абрамыч, Калишевич, Демидов* — ведущие сотрудники *ПН:* А.А.Поляков, Н.В.Калишевич (Р.Словцов), И.П.Демидов.

[2] Речь идет об очерке, точнее — о рассказе М.Осоргина «Человек, похожий на Пушкина» (*ПН*. 1930. 11 июня). Номер газеты с рассказом Берберова скрыла от Ходасевича, обнаружив, что строки Лермонтова автор приписал Пушкину.

Это рассказ-гротеск, главный персонаж его Александр Терентьевич Телятин, маленький чиновник, служивший по акцизному ведомству, так похож на Пушкина, что сослуживцы называют его «Пушкин» и «поэт»; жена вышла за него, гордясь этим сходством: оно определило его судьбу и жизненное предназначение. После работы, как на службу, на несколько часов он идет посидеть у памятника Пушкину, людей делит на замечающих сходство (благородные и порядочные) и не замечающих (чернь). По воскресеньям, напившись чаю с баранками, «он читал ей стихи Пушкина, и тогда ей казалось, что вот он читает ей свое, посвященное ей. Так что, когда он ей читал, например:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть... —

то ей думалось, что вот тут вторая строчка вышла у него немножко похуже других...»

Скорее всего, автор нарочно смешал строки Пушкина и Лермонтова: ведь его герой к стихам равнодушен, он любит символ, знак, памятник; немного смущают слова «*читал* стихи Пушкина», позволяющие допустить, что М.Осоргин мог перепутать строки Пушкина и Лермонтова.

[3] Повесть «Державин» печаталась в *СЗ* в 1929—1930 гг. (кн. XXV—XLIII). Ходасевич стремился и в журнальном варианте сохранить целостность жизнеописания, для чего использовал прием временных обрывов, сдвигов.

[4] *Тумаркин* Аркадий Самуилович — приятель, соученик Ходасевича по 3-й московской гимназии, вместе с ним учился в Московском университете (на естественном, медицинском, затем юридическом факультетах), окончил юридический факультет. Брат М.С.Цетлиной. Был близок с Ходасевичем в годы эмиграции, поддерживал его материально, ссора была эпизодом в их долголетней дружбе.

98. М.М.Карповичу. — *Письма Карповичу*. С. 153—157.

[1] Ходасевич имеет в виду статью М.Слонима «Заметки об эмигрантской литературе», в которой критик утверждал, что старики в эмиграции доживают свой век, молодые европеизируются и потому у эмигрантской литературы нет будущего (Воля России. 1931. № 7—9).

[2] *...«рыхлая езда заказана»* — быстрое движение запрещено; *...«позор на пса»* — берегись собаки *(чеш.)*.

[3] *«Новый град»* — философский, публицистический журнал, основанный Г.Федотовым, И.Фондаминским, Ф.Степуном, — выходил нерегулярно с 1931 по 1939 г.

[4] Ходасевич шутливо перефразирует строки письма, послужившие завязкой в «Ревизоре» Гоголя: «Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрыпке...» Павел Николаевич Милюков, редактор *ПН*, любил играть на скрипке, а Павел Павлович Муратов занимался верховой ездой и много разъезжал по миру.

[5] *Sub specie aeternitatis* — с точки зрения вечности *(лат.)*. Статью «О порнографии» см.: *В*. 1932. 11 февраля.

[6] Статья проф. И.И.Лапшина «Эстетика Пушкина» опубликована в сб. Русского института (Прага, 1932. № 2).

[7] К столетию со дня смерти Гете литературная группа «Перекресток» устроила вечер, на котором Берберова читала стихи Гете в переводах русских поэтов (19 марта 1932 г.).

[8] Роман М.Цетлина «Декабристы» печатался главами в *В*. Там же см. рец. Ходасевича (1933. 27 июля).

[9] «Жизнь Тургенева» Б.Зайцева вышла отдельной книгой в 1932 г. Ходасевича забавляло подсознательное желание автора не столько перевоплотиться в героя, сколько занять его социальное положение — русского барина, помещика. Развитие этой темы см. в письмах к Н.Н.Берберовой.

[10] Список написан рукой Ходасевича до фамилии Вс.Иванова в 1-м столбце и Мариенгофа — во 2-м, затем дополнен Берберовой. Названия некоторых книг приведены неточно: «Щиты и свечи» — рассказ В.Каверина из кн.: Каверин В. Рассказы. М.: Круг, 1925; повесть Вс.Иванова называлась «Бронепоезд 14-69», а проза О.Мандельштама — «Шум времени». О каждом из названных произведений Ходасевич писал статьи или отмечал их в «Литературной летописи».

99. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 284—285.

[1] В конце апреля 1932 г. Н.Н.Берберова оставила Ходасевича. Причины разрыва каждый понимал по-своему. Он расставание с ней воспринял как конец жизни, крушение всех замыслов. Прощание с ней в его сознании означало и прощание с Пушкиным.

Но, восприняв уход Берберовой трагически, Ходасевич сумел построить ту модель отношений, которую некогда предлагал А.И.Ходасевич: полную духовную близость, несмотря на раздельные жизни: он помогал Берберовой в работе, радовался ее успехам, входил во все мелочи быта и в «камерфурьерском» журнале отмечал даже мимолетные, случайные встречи с ней в кафе, на улице.

[2] *3 фельетона* — скорее всего, рец. на кн. В.М.Зензинова «Путь к забвению» (*В*. 1932. 28 июля), кн. Н.Волкова «Блок и театр» (*В*. 1932. 4 августа) и статья «О Горгуловщине» (*В*. 1932. 11 августа).

[3] *Айзенберги* — Айзенберг И.В. и его жена Марья Вениаминовна — знакомые Ходасевича по пансиону.

[4] Владимир *Азов* (псевд. Ашкенази Владимира Александровича) — журналист, фельетонист, которого Ходасевич знал по Москве: он писал сценки для «Летучей Мыши», печатался в московских газетах.

[5] Пансион *Ярко* располагался в двух домах, кроме того, два домика хозяин снимал в деревне: Ходасевича поселили в деревне.

[6] Ходасевич вспоминает комнату, которую он и Берберова снимали в Берлине, живя в Саарове: там они оставались ночевать, допоздна задерживаясь в Берлине.

[7] После переезда Н.Н.Берберовой в отель Ходасевич хотел подыскать себе жильца; некоторое время предполагал делить с ним квартиру В.В.Вейдле, но обстоятельства изменились, и Ходасевич вел переговоры с ночным выпускающим газ. «Возрождение» — *Аврехом*.

100. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 286—287.

[1] *«Napoli»* — кафе, о котором Н.Н.Берберова пишет, что там «в тридцать первом, тридцать втором году собиралось иногда до двадцати человек за сдвинутыми столами, и не только "младших", но и "старших" (Федотов, Зайцев)» (*Берберова*. С. 396).

101. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 294—296.

[1] *Ася* — двоюродная сестра Н.Н.Берберовой.

[2] *Марьяна* — Марианна Борисовна Марголина, племянница писателя М.Алданова. *Люба* — сестра М.Алданова. Ходасевич сблизился с семейством Марголиных, т.к. в 1933 г. женился на Ольге Борисовне Марголиной (1890—1942). Когда немецкая армия вошла в Париж, Ольга Борисовна и Марианна Борисовна были арестованы, погибли в концлагере Аушвиц.

[3] *...то взлетая, то ныряя...* — Строка из ст-ния А.Майкова «Сенокос» (1856).

[4] *Зина* — З.Н.Гиппиус.

[5] *Гукасов* Абрам Осипович — владелец газ. «Возрождение».

102. В.В.Вейдле. — *АБ.* Ф. Вейдле. Публ. впервые.

[1] *«Мюрат»* — кафе, часто упоминаемое в «камерфурьерском» журнале Ходасевича (здесь составлялись партии в бридж) описано в прозаическом отрывке «Атлантида» (т. 3 наст. изд.).

[2] Безденежье постоянно мучило Ходасевича в эмиграции. См. отчаянное письмо к секретарю Союза писателей и журналистов В.Ф.Зеелеру от 14 апреля 1930 г. о невозможности вернуть ссуду: «Обстоятельства мои исключительно тяжелы. Я не получал и не получаю никаких субсидий от иностранных правительств. В пользу мою ни разу не было устроено ни одно из развлечений, устройством которых общество поддерживает писателей гораздо более обеспеченных, чем я, и гораздо менее работающих. <...> Но мне надо сию минуту садиться за очередную статью — о медленном самоубийстве Поплавского и, быть может, о том, что самоубийство есть последнее прибежище *пишущих* писателей, т.е. живущих работой, а не рекламой» (*АБ.* Ф. Зеелера).

103. Р.Н.Блох. — *ВРСХД.* 1979. IV. № 130. С. 231 / Публ. Мартина Сикссмита.

Ходасевич дружил с Раисой Ноевной Блох (1899—1943) и ее мужем Михаилом Генриховичем Горлиным (1909—1942), поэтами; писал об их книгах (*В.* 1937. 9 января; статью «Новые стихи» см. в т. 2 наст. изд.); посвятил им множество шуточных, пародийных стихов (см. в *БП,* с. 265—269: «Куплеты», «Блоха и горлинка», «О други! Два часа подряд...», «Приношение Р. и М. Горлиным»).

Первые послания посылались без уверенности, что будут верно, без обиды восприняты. На машинописном экземпляре басни «Блоха и горлинка» (1930-е годы) сохранились расписки: «Принимаю без обиды. *М.Горлин.* Прошу выдать блины в неограниченном количестве — нисколько не обидевшаяся *Раиса Блох» (АБ.* Ф. Карповича).

Письмо Ходасевича написано как пародия на научное исследование: Р.Блох и М.Горлин были историками литературы. В Берлине опубликована докторская диссертация Горлина «N.V.Gogol and E.Th.A.Hoffmann» (1933). Его статьи, вошедшие в кн. «Этюды» (на рус. и фр. яз.; Париж, 1957), — «Египетские ночи», «Неразгаданные стихи Пушкина о Мицкевиче», «Баллады Адама Мицкевича» и др. — тематически очень близки историко-литературным работам Ходасевича. Книга вышла после смерти авторов: оба погибли в концлагере.

[1] Строки из очень популярной в России детской кн. В.Буша «Макс и Мориц». Вполне вероятно, Ходасевич не случайно цитирует эту поэму: «Макс» и «Мориц» — прозвища близких подруг Р.Н.Блох по студии М.Л.Лозинского, «лозинят», составлявших вместе «руку»: мизинец — Катя Малкина, безымянный — М.Рыжкина, она же «Макс», Ада Оношкович-Яцына — указательный, «Мориц», «средний — солидная, добродетельная Рая» и большой — «мэтр», М.Л.Лозинский. Все были влюблены в «мэтра», писали стихи, переводили и, возможно, Р.Н.Блох и Ходасевич вспоминали особую влюбленно-творческую пору жизни петербургских студий 1921—

1922 гг. См. Дневник 1919—1927 гг. А.И.Оношкович-Яцыны в *М-13* (публ. Н.К.Телетовой).

104. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 303—305.

[1] Сюжет *«Гектора Сервадака»* Жюль Верна понадобился Берберовой для работы над романом, который в *СЗ* напечатан под названием «Книга о счастье» (1936. LX—LXII); отдельным изданием выпущен в 1938 г. и назывался «Без заката» (Париж: Изд-во «Дом Книги»).

[2] *Фохт* Всеволод Борисович — поэт, журналист, в 1926—1927 гг. вместе с Берберовой издавал журн. «Новый дом».

[3] *Н.В.* — Макеев Николай Васильевич (1889—1974) — второй муж Н.Н.Берберовой.

[4] *Бакунина* Екатерина Васильевна (1889—1976) — прозаик, поэт. Ходасевич писал о ее стихах, рецензировал романы «Тело» (*В*. 1933. 11 мая) и «Любовь к шестерым» (*В*. 1935. 1 августа).

[5] *Иван Степанович* Чекунов — доктор.

[6] *Лукаш* Иван Созонтович (1892—1940) — журналист, писатель, сотрудник *В*. О его исторических романах «Пожар в Москве» и «Вьюга» Ходасевич писал в *В* (1930. 17 апреля; 1936. 18 июня). Он почти ослеп, перенес глазную операцию, на повторную нужно было собрать деньги. 8 декабря 1935 г. в *В* объявлен вечер Лукаша.

105. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 305—306.

[1] В *СЗ* (кн. LX) опубл. I часть «Книги о счастье» Берберовой; окончание романа В.Сирина «Приглашение на казнь»; рассказ молодого писателя Гайто Газданова «Освобождение» и его статья «О молодой эмигрантской литературе». Газданов писал, что в эмиграции еще возможно появление писателя (В.Сирин). И то «только в силу особенности, чрезвычайно редкого вида его дарования — писателя, существующего вне среды, вне страны, вне всего остального мира». Но не надо требовать от писателей-эмигрантов литературы, ибо «творчество есть утверждение». «У нас нет нынче тех социально-психологических устоев, которые были в свое время у любого сотрудника какой-нибудь вологодской либеральной газеты». «Только чудо могло спасти это молодое литературное поколение; и чуда — еще раз — не произошло» (С. 404—408).

[2] «Людиново» назвал Б.Зайцев отрывок из автобиографической повести «Путешествие Глеба». Ходасевич предположил, что название «Людиново» создано автором по аналогии с «Лутовиново», родовым имением Тургенева.

[3] *Симков* — врач, который в это время лечил Ходасевича.

[4] *Извольская* Елена Александровна (1897—1974) — поэтесса, переводчица, эссеистка. Умерла в католическом монастыре в Канаде. По предположению Бетеа, Извольская и Ходасевич посещали кружок русских католиков.

106. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 308.

[1] Кн. Берберовой «Чайковский. История одинокой жизни»

вышла в 1936 г. (Берлин: Петрополис). Рец. Ходасевича в *В* напечатана 21 мая 1936 г.

[2] Статья Ходасевича «О письме г. Гофмана» (*В*. 1936. 14 мая) подводила итог полемике, тянувшейся с 1929 г., когда Ходасевич обвинил М.Гофмана в заимствованиях из кн. «Поэтическое хозяйство Пушкина». Гофман вызвал его на суд чести. Проработав почти две недели, суд был прерван по просьбе Ходасевича. См. его письма к М.Л.Гофману и историю их отношений в журн. «Russian Literature and History. In Honour of Professor J.Serman» (Jerusalem. 1989. P. 154—163).

[3] *Профессор Коробкин* — персонаж романа А.Белого «Московский чудак» (М.: Никитинские субботники, 1927).

107. Н.Н.Берберовой. — *М*-*5*. С. 312—314.

[1] В ответ на сообщенные Берберовой слухи об отъезде Ходасевича в Россию, которые появились в связи с возвращением на родину А.И.Куприна в мае 1937 г.

[2] Ходасевич переживал глубокий кризис, вызванный болезнью и разочарованием в литературе. 23 октября 1936 г. он писал Аркадию Тумаркину: «Прямо говорю: твое общество я бы предпочел всякому другому, если бы вообще был еще способен к общению. Но я могу делать два дела: писать, чтобы не околеть с голоду, и играть в бридж, чтобы не оставаться *ни с своими, ни с чужими мыслями*. <...> Я — вроде контуженного. Просидеть на месте больше часу для меня истинная пытка. Я, понимаешь, стал неразговороспособен. Вот если бы я мог прекратить ужасающую профессию *эмигрантского* писателя, я бы опять стал человеком. Но я ничего не умею делать.

Следственно, не сердись. Я тебя очень люблю и очень помню твое доброе, милое, бесконечно дружеское отношение ко мне. Беда в том, что я куда-то лечу вверх тормашками» (*НЖ*. 1944. № 7. С. 286).

[3] 30 ноября 1935 г., сообщая в *В* о предстоящем вечере Смоленского, Ходасевич обратился «к широкому кругу эмиграции» с просьбой прийти и проявить нравственную поддержку, «потому что творчество молодежи есть одно из важнейших дел, которые оправдывают наше пребывание за рубежом, придают этому пребыванию высший и благородный смысл». 5 декабря в отчете о вечере сообщалось, что народу было «непростительно немного». О Смоленском см. статью «Наедине» и коммент. к ней в т. 2 наст. изд.

[4] Юрий *Фельзен* (Фрейденштейн Николай Бернардович; 1895—1943) — прозаик, автор романов «Счастье» (Берлин: Парабола, 1932), «Письма о Лермонтове» (Париж: Объединение поэтов и писателей, 1935) и др. Анатолий *Алферов* опубл. несколько рассказов и статей в журн. «Встречи» и «Меч». О его удачной женитьбе вспоминает В.Яновский (*Яновский*. С. 211).

[5] *«Париж—Шанхай»* — называет Ходасевич журн. «Русские записки» (1937—1939), дочернее предприятие *СЗ*, но ориентированное на дальневосточную эмиграцию.

[6] *Папаушкова* Н.Ф. — жена крупного чиновника, помогала получать *СЗ* чешские субсидии.

[7] *Чан-Кай-Шек* — Чан-Кай-Ши (1887—1975), известный китайский военный и государственный деятель, с 1927 г. ставший во главе государства.

[8] *Масарик* Томаш (1850—1937) — философ, в 1918—1935 гг. — президент Чехословакии; поддерживал русскую эмиграцию и деятелей ее культуры — на «чешские субсидии» жили многие русские писатели.

[9] *Струве* Михаил Александрович (1890—1948) — поэт. С ним и *Пумпянской* Ходасевич был знаком по Петербургу.

[10] *Зюзя* — Мелита Лифшиц — племянница О.Б.Марголиной. Ходасевич вспомнил лето 1924 г., проведенное в Холивуде (Ирландия), у двоюродной сестры Н.Берберовой — Наташи Кук. Отсюда игра слов: «холивудно» и «кукисто».

[11] Главы из кн. Бунина «Освобождение Толстого» см. в журн. «Русские записки» (1937. № 1). Рец. Ходасевича на этот номер напечатана в *В* (1937. 1 октября).

[12] *Мария Самойловна* — М.С.Цетлина — жена М.О.Цетлина.

[13] *Наташа* — Н.Кук.

[14] Биография композитора Бородина печаталась в *ПН*. Когда она вышла отдельной кн. (Берберова Н. Бородин. Берлин: Петрополис, 1938), Ходасевич написал о ней статью: *В*. 1938. 24 июня.

[15] *Блюм* Леон (1872—1950) — известный французский социалист; в 1936—1938 гг. возглавлял «Народный фронт» (союз радикалов-социалистов, социалистов и коммунистов), ставший правящей партией во Франции.

108. В.В.Набокову. — *М-3*. С. 280 / Публ. Д.Малмстада.

Ходасевич обратил внимание на ранние произведения Набокова. В заметке «1928 год за рубежом» он отметил «роман В.Сирина “Король, Дама, Валет” — вещь безусловно даровитую, современную по теме и любопытную по выполнению» (*В*. 1929. 14 января). См. его статьи «Камера обскура», «О Сирине» и коммент. к ним в т. 2 наст. изд.

Они встретились 23 октября 1932 г., в воскресенье, на квартире у Ходасевича, куда были приглашены Терапиано, Смоленский, Вейдле с женой. И всякий раз, приезжая в Париж, В.В.Набоков виделся с Ходасевичем. Дважды устраивали они совместные вечера в Париже: 8 февраля 1936 г. Ходасевич читал «Жизнь Василия Травникова», а В.Набоков — три рассказа; 24 января 1937 г. Ходасевич открыл вечер Набокова, сказав слово о Сирине, которое и легло в основу статьи «О Сирине». Когда Набоков с семьей в сентябре 1938 г. переехал в Париж, встречи их стали более частыми, все они внесены в «камерфурьерский» журнал.

«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней», — писал Набоков о

Ходасевиче (*СЗ*. 1939. Кн. LXIX. С. 262). Свою статью «О Ходасевиче» он перевел на английский язык и включил в сб. статей «Strong opinions» (N. Y., 1973).

В.Яновский, незадолго до смерти Ходасевича опубликовавший в журн. «Русские записки» (1939. Кн. 18) рец. на «Некрополь», где спорил с его определением символизма и находил «отвлеченными» некоторые очерки, позднее вспоминал, как на похоронах Ходасевича подошел к нему «худощавый тогда и в спортивных брюках "гольф" Сирин; очень взволнованно он сказал:

— Так нельзя писать о Ходасевиче! О Ходасевиче нельзя так писать...» Его поведение поразило Яновского: «Существовала легенда, что он совершенно антисоциален, ни в каких общественных делах не участвует и вообще интересуется только собой...» (*Яновский*. С. 123—124).

[1] 15 мая 1934 г. В.Набоков открыткой известил Ходасевича о рождении сына Дмитрия.

[2] Черновой вариант статьи «О двадцатилетии эмигрантской литературы» сохранился (*АБ*. Ф. Карповича). Ходасевич писал: «Писатели, ушедшие после Октября в добровольное изгнание и положившие начало эмигрантской словесности, унесли с собой лишь общие традиции русской литературы: ее национальную окраску, ее тяготение к религиозно-философским и нравственным проблемам, наконец (и в особенности) — ее духовную независимость. В Советской России всему этому места не было. Эмигрантская литература видела смысл своего существования в том, чтобы эти традиции сберечь, пронести через лихолетие, которое мнилось ей непродолжительным. Она их сберегла, — по крайней мере, как идеал, и в этом есть несомненная, неотъемлемая заслуга ее зачинателей. Но той жизненной энергии, того благодетельного духа новых исканий, который свойствен творческим, а не критическим эпохам, она с собой не принесла и не могла принести <...> По очень глубокому и верному замечанию Ф.А.Степуна, память о России все более подменялась воспоминаниями о ней. <...> Лишенная литературного пафоса, она не в силах была обрести в себе и пафос гражданский. Она сделалась беженской, а не эмигрантской, обывательской, а не героической. Сама идея сохранения традиций постепенно уступила место инстинкту персонального самосохранения. Горделивая мечта о посланничестве уступила место преувеличенным заботам о хлебе насущном, скромному, но судорожному желанию хоть как-нибудь пережить, перетерпеть ненастье. Вместо щита в руках очутился зонтик». Единственным исключением Ходасевич считал Бунина, «сделавшего в эмиграции еще один большой шаг по пути мастерства».

[3] Строки из «Бориса Годунова» Пушкина.

109. В.В.Набокову. — *М-3*. С. 281—282.

[1] *«Дар»* печатался в *СЗ* в 1937—1938 гг. (кн. LXIII—LXVII). Ходасевичу приходилось в обзорах писать о каждом «куске» романа отдельно. Уже после первой публикации ему стало ясно, что это

совершенно новое произведение, у которого, может быть, и читателей еще нет. «Слишком рано еще подводить “итог” Сирину, измерять его “величину”, но уже совершенно ясно, что, к несчастью (к нашему, а не его), сложностью своего мастерства, уровнем художественной культуры приходится он не по плечу нашей литературной эпохе. Он в равной степени чужд и советской словесности, переживающей в некотором роде пещерный период и оглашающей воздух дикими кликами торжества, когда кому-нибудь в ней удается смастерить кремневый топор, и словесности эмигрантской, подменившей традицию эпигонством и боящейся новизны пуще сквозняков» (*В.* 1937. 15 мая).

[2] Христофор *Мортус* и Валентин *Линев* — персонажи «Дара», литературные критики, рецензии которых приводятся в романе. Ходасевич увидел в них пародии на рец. Г.Адамовича (Мортус) и М.Цетлина (Линев). Д.Малмстад в интересных коммент. к письмам отмечает, что, как всегда у Набокова, в Мортусе соединились черты двух критиков: Г.Адамовича и З.Гиппиус. Не случайно Мортус в конце концов оказывается женщиной, которая подписывается мужским именем. (Антон Крайний — псевд. З.Гиппиус.) «Мортус <...> озверел» — отклик Ходасевича на обзор кн. LXV *СЗ*, сделанный Г.Адамовичем: о «Даре» критик заметил, что он «длится — и сквозь читательский немагический “кристалл” еще не видно, куда и к чему его клонит» (*ПН.* 1938. 20 января).

[3] В *СЗ* (кн. LXV) напечатана рец. М.Цетлина на сб. Галины Кузнецовой «Оливковый сад» (Париж: Изд-во «Современные Записки», 1937), в которой Ходасевич увидел «образчик “межцитатных мостиков”».

[4] См. статью «Распад атома» в т. 2 наст. изд. Ходасевич иронически называет Г.Иванова «нашим другом», т.к. он равно делал выпады против В.Набокова и В.Ходасевича. Набокова он называл «типом способного, хлесткого пошляка-журналиста» с большими имитаторскими способностями и большой самоуверенностью (Числа. 1930. № 1. С. 234—235).

Статью Ходасевича «В защиту Лужина» некоторые писатели восприняли как «защиту Сирина», и Ходасевич не отрицал этого. В письме к В.Я.Ирецкому от 26 июля 1930 г. он писал: «Кстати. Вступаясь за Сирина, я, конечно, сделал лишь то, что сделал бы на моем месте всякий порядочный человек, находящийся в курсе дела. Вы и представить себе не можете всю мерзость, которую развела здесь Ивановская шайка. Надо принять во внимание, что литература у нас в руках политиков. Об Иванове, Одоевцевой, Адамовиче они до 1923 года не слыхали. В то время старик Винавер носился с идеей газеты, которая служила бы *Звеном* между старой русской литературой и будущей, — эдаким хранилищем заветов. Когда наша честная компания здесь появилась, старик вообразил, что перед ним — “честная, отзывчивая молодежь”, “племя младое” — по идейным причинам покинувшее советскую Россию. Они же все напирали на дружбу свою с Гумилевым. Выходило, что и Жоржики чуть не погибли за родину. И вот — Одоевцева и К° стали поддерживать

священный пламень, возженный Радищевым... Сперва вели себя смирно, потом обнаглели, да и природа взяла свое» (*РГАЛИ*. Ф. 2227. Оп. 1. Ед. хр. 189).

[5] 4 марта 1938 г. Русский театр в Париже поставил «Событие» Набокова. Ходасевич был на втором представлении, 6 марта; написал, что «постановка "События" есть действительное событие нашей театральной жизни» (*СЗ*. 1938. Кн. LXVI. С. 424), о пьесе же сказал, что «она не принадлежит к лучшим вещам этого автора» (*В*. 1938. 22 июля).

[6] В репертуаре Русского театра были пьесы М.Алданова «Линия Брунгильды» и Н.Тэффи «Момент судьбы».

[7] Сюжет пушкинского «Выстрела» Ходасевич использовал для пародийного рассказа действительного эпизода из истории «Русских записок». Созданный на средства эсера М.Н.Павловского, журнал выходил под редакцией И.И.Фондаминского, но в начале 1938 г. Павловский передал его П.Н.Милюкову. Апрельский номер вышел уже под редакцией Милюкова. Ходасевич участия в журнале не принимал.

110. Н.Н.Берберовой. — *М-5*. С. 324.

[1] Парафраз ст-ния Тютчева «Цицерон» (1830). 29 января 1939 г. Ходасевич писал Берберовой: «У меня душа в пятках — не хочу воевать. В сущности, только об этом и думаю, а что-то пишу и хлопочу, — как сквозь сон» (*М-5*. С. 326).

[2] Вероятно, Ходасевич просит сделать выписки из кн. А.Белого «Между двух революций», о которой писал Н.Берберовой 21 мая 1938 г.: «Взял книгу у Фондаминского, но читаю по странице в час — сил моих нет, какое вранье ужасное, горестное» (*М-5*. С. 321).

[3] *Николай Георгиевич, Нина* — семейство сестры Ходасевича Евгении Фелициановны Нидермиллер (во втором браке).

111. А.С.Кагану. — Часть речи. 1984. № 4/5. С. 61 / Публ. Г.Поляка.

Каган Абрам Саулович (1889—1983) — книгоиздатель, создавший в Петербурге вместе с Я.Н.Блохом изд-во «Петрополис». В 1922 г. выслан из России. Продолжил издательское дело в Берлине, организовав ряд изд-в: «Огни», «Грядущий день», «Обелиск». Первый выпустил Полное собр. соч. Бунина (оно и было представлено в Нобелевский комитет); романы А.Куприна, Д.Мережковского, М.Алданова, В.Набокова. «Некрополь» Ходасевича вышел в феврале 1939 г. В *ПН* 6 июля 1939 г. сообщалось, что 10 июля в Брюсселе на вечере памяти Ходасевича, организованном Клубом русских евреев, доклад о его творчестве прочтет А.С.Каган.

112. А.С.Кагану. — Часть речи. 1984. № 4/5. С. 62—63.

[1] Цвета: лиловый, голубой, черный — значимы для Ходасевича, это цвета эпохи символизма. См. статью А.Блока «О современном состоянии русского символизма» (1910): «Вместе с тем

они (миры. — *Коммент.*) начинают *окрашиваться* (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является тот цвет, который мне всего легче назвать пурпурно-лиловым... <...> лиловые миры... Но именно в черном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры. И когда гаснет золотой меч, протянутый прямо в сердце ему чьей-то Незримой Рукой — сквозь все многоцветные небеса и глухие воздухи миров иных, — тогда происходит смешение миров, и в глухую полночь искусства художник сходит с ума и гибнет» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.—Л., 1962. Т. 5. С. 427, 434). Ср. со вступлением Ходасевича к первой кн. *М*, так и оставшимся в рукописи. Опубликовано Н.Богомоловым в коммент. к *БП:* «Но эти годы навсегда останутся на моей памяти овеянными синим светом сумеречной печали, закатной боли» (*БП.* С. 361).

23—3400

Указатель составила Т.В.Глазкова

СОДЕРЖАНИЕ

НЕКРОПОЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

О СЕБЕ

О СОВРЕМЕННИКАХ

ПИСЬМА

Ходасевич В. Ф.

Х 69 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. — М.: Согласие, 1997. — 744 с.

ISBN 5—86884—047—Х (Т. 4)
ISBN 5—86884—041—0

Настоящее четырехтомное собрание сочинений Владислава Фелициановича Ходасевича (1886—1939) — первое столь представительное издание творческого наследия выдающегося поэта, прозаика, критика, мемуариста, литературоведа. В него вошли все книги, как поэтические, так и в прозе, изданные Ходасевичем при жизни, а также большой массив произведений, не собранных автором в книги, рассеянных по газетам и журналам русского зарубежья.

В четвертом томе представлены знаменитая мемуарная книга «Некрополь», другие воспоминания, а также письма Ходасевича.

Х $\frac{4603020101—021}{8Д1(03)—97}$ ББК 83.3Р7

На фронтисписе: В.Ф.Ходасевич. Фото П.И.Шумова. Париж, 1931.

ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ
ХОДАСЕВИЧ
Собрание сочинений в четырех томах
Том четвертый

Технический редактор *Е.Н.Волкова*
Корректоры *Г.В.Заславская, Л.М.Кочетова*

Сдано в набор 23.07.96. Подписано в печать 05.02.97.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,48. Уч.-изд. л. 46,71.
Доп. тираж 3000 экз. Заказ № 3400.

АОЗТ «Согласие».
113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

ОАО «Типография «Новости».
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.